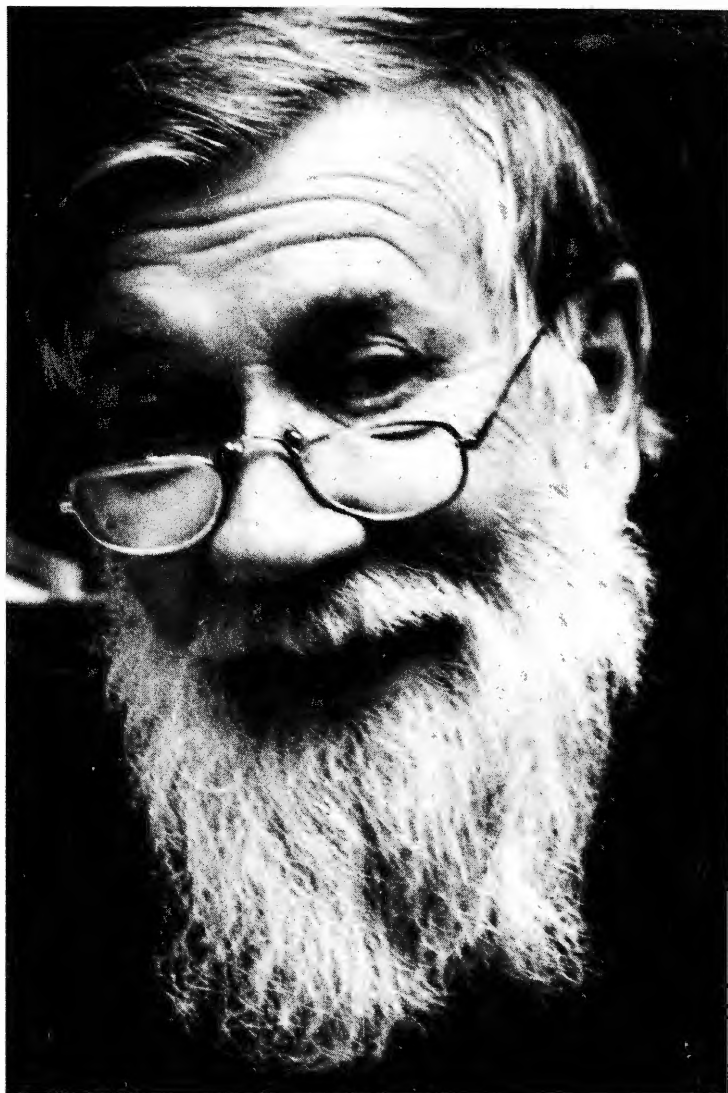


Абрам ТЕРЦ

Абрам
ТЕРЦ

1



Абрам
ТЕРЦ
/Андрей
СИНЯВСКИЙ/

Собрание сочинений
в двух томах

Том 1

СП "Старт"
Москва
1992

Оформление художника Н. Пьяных
Фото А. Колмыкова

ISBN 5-85215-025-8

- © М. В. Розанова, 1992 г.
- © В. И. Новиков, предисловие, 1992 г.
- © Н. Пьяных, оформление, 1992 г.

СИНЯВСКИЙ И ТЕРЦ

Дожили! У Абрама Терца в Москве выходит собрание сочинений. А причем тут Андрей Синявский?

Не так-то просто ответить на этот, казалось бы, элементарный вопрос. Вообще-то каждому человеку полагается иметь одно имя, которое значится в его паспорте, а если оно становится широко известным, то попадает в энциклопедии. Бывает, что писатель пользуется псевдонимом, но в большинстве случаев это не мешает здравому смыслу и житейской ясности — либо настоящее имя остается главным, а псевдоним указывается в скобках: П. Мельников (Андрей Печерский), либо псевдоним вытесняет «паспортное» имя: Федор Сологуб, Анна Ахматова, либо два имени соединяются в целое: Бестужев-Марлинский, Салтыков-Щедрин...

Случай с Синявским и Терцем не вмещается ни в одну из перечисленных моделей. Откроем, к примеру, «Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года», составленный Вольфгангом Казаком и вышедший в 1988 году. На одной из страниц подряд по алфавиту две отсылки:

Синявский, Андрей → Терц, Абрам

Сирин, Владимир → Набоков, Владимир

С Набоковым понятно: писал некоторое время под псевдонимом Сирин, потом вернулся к настоящему имени, и словарь совершенно справедливо отсылает нас от несуществующего Сирина к реальному Набокову. А в случае с Синявским и Терцем все выходит вроде бы наоборот: от реального лица — к выдуманной маске. Кто же, простите, родился в Москве 8 октября 1925 года?

8 октября 1925 года в Москве родился все-таки Андрей Донатович Синявский, которому суждено было разработать новый, непривычный тип писателя, изобрести весьма нестандартную модель творческого поведения и тем самым создать трудности для авторов энциклопедий, внести сумятицу в общественно-литературное сознание и подтолкнуть читателей к поискам самостоятельного взгляда на жизнь и на искусство.

В 1945 году Синявский служил радиомехаником на военном аэродроме, после демобилизации учился на филологическом факультете Московского университета. В 1952 году защитил кандидатскую диссертацию, затем стал научным сотрудником Института мировой литературы. Преподавал в университете, в школе-студии МХАТа. Профессиональная карьера Синявского-литературоведа складывалась весьма успешно: у него наметился широкий круг интересов, не было

недостатка в гипотезах и идеях. Хотя возможности свободного высказывания в советской печати были тогда сильно стеснены, Синявский в своих работах сумел сформулировать многие заветные мысли Борьба новых и старых стилей в искусстве занимала его не меньше, чем политическая проблематика, а может быть, даже больше. И эстетические симпатии Синявского оказались на стороне новаторов и первооткрывателей. Об этом свидетельствуют и статьи в «Новом мире», и книга о Пикассо (1960), написанная в соавторстве с И. Голомштоком, и книга «Поэзия первых лет революции. 1917—1920» (1964), написанная в соавторстве с А. Меньшутиним.

Однако Синявскому захотелось не только исследовать литературу, но и творить ее. Вот почему в середине пятидесятых годов родился Абрам Терц. Это было не «раздвоение личности», как потом утверждали обвинители Синявского, а удвоение духовного мира. С ним произошло примерно то же, что случилось в середине двадцатых годов с Юрием Тыняновым — писателем и ученым, уроки которого ощутили и в научной, и в творческой деятельности Синявского. Иным людям Бог дает сразу два таланта — писательский и исследовательский, другим ни одного, потому до сих пор находятся завистники, приписывающие Синявскому-Терцу «двоемыслие» и «двоедушие» (имена их не заслуживают упоминания, но подобные суждения можно прочесть в журнале «Вопросы литературы», 1990, № 10, где помещены материалы дискуссии о «Прогулках с Пушкиным»).

Антиномия «Синявский — Терц» (здесь нужно поставить не соединяющий дефис, а разделительное тире) включает в себя сразу несколько страстных столкновений. Это вечная «нераздельность и неслиянность» жизни и искусства, интуитивного творчества и рассудочной рефлексии, «подглядывания» художника за самим собой. Это еще и постоянная дружба-вражда автора и персонажа, сплав самовыражения и перевоплощения, синтез субъективного «Я» и объективного «ОН». Потому-то в сознании Синявского Абрам Терц сложился даже как зрительный образ: «Он гораздо моложе меня. Высок. Худ. Усики, кепочка. Ходит руки в брюки, качающейся походкой. В любой момент готов полоснуть — не ножичком, а резким словом, перевернутым общим местом, сравнением... Случай с Терцем сложнее, чем просто история псевдонима... Терц — мой овеществленный стиль, так выглядел бы его носитель».

А взял это имя Синявский из блатного одесского фольклора, из песни, где упоминается «Абрашка Терц, карманник

всем известный». То есть по своему мифологическому происхождению Абрам Терц, во-первых, преступник, во-вторых, еврей. Преступник не в банально-уголовном, а в философском смысле: человек, который преступил, переступил установленные границы. Создатель Терца заранее вызывал огонь на себя, накликал беду, предчувствовал и предсказывал предстоящий ему несправедливый суд, грядущую клевету, которая протянется опять-таки до нашего времени, когда современные «литературоведы в штатском» инкриминируют автору «Прогулок с Пушкиным» «блатной», «лагерный» взгляд на русского национального гения.

И еврейство Терца — такой же знак неприкаянности, изгойства, мучительной отдельности от толпы. Тут уместно привести строки Марины Цветаевой:

В сем христианнейшем из миров

Поэты — жида.

Не раз случалось, что русские писатели еврейского происхождения брали славянские псевдонимы — не важно, для того ли, чтобы ослабить преследования (в советской печати существовал лимит на авторов-евреев), либо для того, чтобы обозначить свою духовную «русскость», свою глубокую связь с русской литературной традицией. Но чтобы русский по крови литератор взял себе еврейский псевдоним — такого до Сняевского не было. Псевдоним оказался обоюдоострым, и писателя кололи обоими остриями. Во время судебного процесса его демагогически обвинили в разжигании антисемитизма: дескать, из-за этого Абрама Терца евреев еще сильнее будут ненавидеть. А в совсем недавнее время околосредствительные шовинисты стали называть писателя по сталинско-ждановской модели «Сняевский (Терц)», как бы намекая, что еврей Терц укрылся под относительно русской фамилией Сняевский. Что ж, это все не случайно: писатель сам себе готовил Голгофу, сам себя делал мишенью для людской злобы, победить которую можно только принеся себя в жертву.

С 1955 по 1963 год Сняевским были написаны рассказы «В цирке», «Ты и я», «Квартиранты», «Графоманы», «Гололедица», «Пхенц», повести «Суд идет» и «Любимов». Эти произведения были переданы автором за границу и с 1959 года начали там публиковаться под именем Абрама Терца, некоторые сначала в переводах. Риск был огромен, автор ставил на карту и свою научную карьеру, и семейное благополучие. Впрочем, о семейной жизни писателя лучше всего сказать словами его жены Марии Васильевны Розановой: «С Сняевским было не скучно. Я вышла замуж не только за

него — за его прозу. В этом был страх, авантюра: отправка рукописей на Запад, и каких рукописей!» Мария Васильевна стала активной соучастницей творческой судьбы Андрея Синявского, соучастницей сотворения Абрама Терца.

Произведения Терца этой поры отличаются не столько крамольностью, сколько необычайной степенью внутренней свободы. Политическая крамола всегда связана с причастностью к той или иной идеологической системе и критикой ее с позиций данной системы. После смерти Сталина и XX съезда коммунистической партии передовая советская интеллигенция была увлечена разоблачением «культы личности» (эвфемистического и, как видим сегодня, слишком осторожного обозначения чудовишного массового террора), «восстановлением» революционных идеалов 1917 года, «очищением» идей социализма от их «искажения». Очень немногие тогда были способны трезво оценить не только Сталина, но и Ленина, считанные единицы усомнились в правоте марксизма, в том, что коммунизм — светлое будущее всего человечества. Период после смерти Сталина и до ареста Синявского и Даниэля получил в литературе название «оттепель». Но у Синявского с Терцем это была не оттепель, а весна.

В ранней прозе Терца социальное несовершенство советской жизни предстает не как следствие каких-то отдельных деформаций, а как следствие изначальной несвободы людей. Не «культу личности» противостоит автор, а скорее тому культу безличья, о котором писал Пастернак в одном из стихотворений 1956 года. А в романе «Доктор Живаго» один из персонажей — Николай Николаевич произносит слова, очень подходящие для иллюстрации главного пафоса всей литературной деятельности Синявского: «Всякая стадность — прибежище неодаренности, все равно верность ли это Соловьеву, или Канту, или Марксу. Истину любят только одиночки и порывают со всеми, кто любит ее недостаточно». Во всех социальных конфликтах и бурях симпатии Синявского на стороне одиночек. Если угодно, в его творчестве последовательно выражен культ свободной личности, самоценной и суверенной.

И право быть личностью в странном, фантастичном художественном мире Терца признается за каждым человеком, как бы неразумен, нелеп и беспомощен он ни был. В те годы, когда большинство писателей добросовестно искало корни человеческих недостатков в «пережитках капитализма», а вольнодумное меньшинство нашупывало их и в социалистическом строе, — Синявский рассматривал каждого отдельного человека не только как «продукт системы», но и как

индивидуально-неповторимое сочетание добра и зла, стадности и личности, пробивающейся сквозь тоталитарный стандарт.

Персонажи Терца — это не психологические типы и не сатирические воплощения пороков. Они соотнесены не только с обществом, но и с миром. Отсюда их гротескная причудливость, отсутствие внутреннего равновесия. Каждый из них наделен активным сознанием, своим голосом в едином человеческом хоре.

Абрам Терц обнаружил себя как отъявленный модернист, впрочем, ведущий свою родословную от таких реалистов, как Гоголь и Щедрин, ощущающий генетическую связь с такими прозаиками, как Замятин, Булгаков, Платонов. Активный участник травли Синяевского и Даниэля Д. Еремин, интерпретируя идею повести «Любимов» формулой «крах коммунистического эксперимента» («Известия», 13 января 1966 г.), услужливо обращал внимание судей на фразу: «Мужик с угрюмым спокойствием, откровенно, на виду у всех, мочился в котлован с незаполненным бетоном фундаментом». Нельзя не признать, что и трактовка была в целом верной, и фраза весьма характерной. Сегодня мы можем констатировать перекличку между антиутопией Терца и платоновским «Котлованом».

Однако в обширном ряду антиутопий нашего века «Любимов» выделяется благодаря некоторым сугубо индивидуальным смысловым оттенкам. Главный герой, неудачливый творец «светлого будущего» Леонид Иванович Тихомиров — представитель не партии, не народа, а самого себя. И свою идеологию вычитал он не из Маркса, не из Ленина, а из старинных книг. Тем самым сюжету придается отчетливо личный и философски-вселенский характер. Стремление к власти потенциально заложено в каждом человеке, так же, как в нем заложено творческое начало. Скажем, в «Графоманах» автор не просто смеется над неумелыми сочинителями, графомания — уродливый выброс творческой энергии, которая может найти и лучшее применение.

В 1957 году Синяевский пишет свою знаменитую маленькую монографию «Что такое социалистический реализм», ставя над названием имя Абрам Терц, поскольку теоретические идеи этой работы теснейшим образом связаны с художественными поисками автора. О социалистическом реализме написана уйма книг и статей, защищены тысячи диссертаций: советские литературоведы тщетно пытались придать этому словосочетанию высокий смысл, западные ученые его развенчивали. Однако статья Синяевского, вышедшая затем малюсенькой

книжкой, оказалась весомее и тяжелее премногих томов — советских и антисоветских. Именно здесь с предельной ясностью был вскрыт утопический характер «социалистического реализма», его внутреннее противоречие с полноценным реализмом XIX века, парадоксальная связь с нормативной поэтикой классицизма XVIII века. Модернистская эстетика начала XX столетия — это не «отклонение» от заветов русской классики, а ее закономерное продолжение и развитие.

Автору монографии в равной мере чужды консерваторы политические и эстетические, он спорит не только с коммунистическими ортодоксами, но и с либералами, пытающимися раскрыть противоречия жизни посредством внешнего правдоподобия характеров и ситуаций. Мечтая о будущей литературе, Терц опирается как на чужой, так и на свой собственный творческий опыт: «...Я возлагаю надежду на искусство фантазмагорическое, с гипотезами вместо цели и гротеском взамен бытописания. Оно наиболее полно отвечает духу современности. Пусть утрированные образы Гофмана, Достоевского, Гойи и Шагала и самого социалистического реалиста Маяковского и многих других реалистов и не реалистов научат нас, как быть правдивыми с помощью нелепой фантазии». Можно привести немало примеров из современной русской литературы в подтверждение правоты прогноза Абрама Терца. Ограничимся одним, но весьма красноречивым. Один из студентов Синявского из школы-студии МХАТа, вторя своему учителю, говорил: «Я больше за Свифта, понимаете? Я больше за Булгакова, за Гоголя...» Это был неистощимый фантазер, выдумщик гротескных сюжетов Владимир Высоцкий...

Тем временем слухи об опубликованных на Западе произведениях Абрама Терца дошли до Москвы, что-то из его прозы передавалось по зарубежному радио. В начале осени 1965 года в «Библиотеке поэта» с предисловием Синявского вышел однотомник стихов Пастернака. Автор статьи успел подарить эту книгу нескольким друзьям, а 8 сентября он был арестован. Одновременно был арестован и его друг, поэт и переводчик Юлий Даниэль, публиковавший на Западе свою прозу под псевдонимом Николай Аржак.

Судебный процесс над Синявским и Даниэлем — трагическая страница в истории многострадальной русской литературы, в истории нашего несвободного общества. Одни, как М. Шолохов, в эти дни покрыли свои имена несмываемым позором, другие осмелились заступиться за неправедно гонимых. Ярчайший пример мужества и внутренней свободы явили сами подсудимые. Документальная драматургия про-

цесса зафиксирована в «Белой книге по делу А. Синявского и Ю. Даниэля», составленной А. Гинзбургом и вышедшей за рубежом, многие материалы помещены в сборнике «Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля», выпущенном в Москве издательством «Книга» в 1989 году.

Синявский был приговорен к семи годам лишения свободы, Даниэль — к пяти. Свой срок Синявский отбывал в Мордовских лагерях, вышел на свободу на год раньше благодаря энергичным усилиям М. В. Розановой, одержавшей верх в сложном поединке с советскими карательными инстанциями. Годы заключения не сломили писателя, поскольку он и в этих условиях продолжал заниматься главным делом своей жизни. Синявский регулярно отправлял своей жене рукописи-письма по 15—20 страниц, написанных убористым почерком. Так были созданы книги «Голос из хора», «Прогулки с Пушкиным», начата работа над книгой «В тени Гоголя».

«Лучшее, что лагерь дал мне, — веру в искусство и народ. Я увидел, что это народ-художник», — говорил впоследствии Синявский, и это отнюдь не расхоже-высокие слова, если вдуматься в них как следует. Чрезмерная преданность искусству в России всегда была некоторой ересью и непременно корректировалась принудительной «любовью к народу». У Синявского же отважный эстетизм и глубокий, неподдельный демократизм гармонично соединились.

Особенно это ощущается в «Голосе из хора» — книге уникальной по жанру, сочетающей интимность с открытостью, иронию с лиризмом, свободное движение мысли с сюжетными зарисовками, доподлинные эпизоды со сновидениями и грезами. Здесь сплелись дневник и письма к жене, фольклористические записки и философские афоризмы. Внутренний сюжет «Голоса из хора» — обретение гармонии человека и мироздания, личности и «роя», говоря словом Льва Толстого (не стада!). «Голос из хора», как и написанные ранее «Мысли врасплох», — качественно новый шаг в развитии жанра эссе на русской почве: здесь автор по-своему продолжает традицию фрагментарной прозы высоко ценимого им В. В. Розанова (на основе лекций, читанных в Сорбонне, он впоследствии напишет книгу «„Опавшие листья“ В. В. Розанова», относительно академичную и поэтому подписанную «А. Синявский»).

Жизнь в Москве после возвращения из лагеря постепенно делалась невыносимой, и Синявские с маленьким сыном Егором в 1973 году эмигрировали во Францию.

А. Д. Синявский работает профессором русской литературы в Сорбонне, а М. В. Розанова занимается издательской деятельностью. В 1978 году она создает журнал «Синтаксис» (название унаследовано от московского самиздатского журнала более раннего времени). Активными авторами и сотрудниками журнала становятся и Андрей Синявский, и Абрам Терц (множество материалов опубликовано в «Синтаксисе» и за той, и за другой подписями).

В 1975 году выходит отдельным изданием книга Абрама Терца «Прогулки с Пушкиным». Она производит эффект разорвавшейся бомбы в кругах русской литературной эмиграции, эхо скандала докатывается и до Москвы. Споры о «Прогулках» не утихают до сих пор: когда журнал «Октябрь» напечатал в 1989 году фрагменты из книги, охранительно-националистические силы организовали в печати настоящую травлю автора и, не будь он в Париже, чего доброго, потребовали бы новой судебной расправы над ним.

В чем же тут дело? В том, наверное, что два основных приема «Прогулок» — это ирония и гипербола. Искренняя, неподдельная любовь автора к Пушкину выражается не прямым образом, а через противоположность — шутливое задирание Пушкина как поэта и как человека, преувеличенную демонстрацию внутренних противоречий его мыслей и чувств (а без подобных противоречий совершенно невозможно творчество, тем более творчество гения, улавливающего все контрасты бытия). Абрам Терц демонстративно пребывает «с Пушкиным на дружеской ноге» (недаром в эпиграф вынесены слова гоголевского Хлестакова). Но ведь и сам Пушкин весьма бесцеремонно тревожил тени своих великих предшественников: посмотрите, в каком заниженно-бытовом контексте фигурируют в «Евгении Онегине» имена и цитаты Гомера и Данте, Ломоносова и Державина. Если на то пошло, быть «на дружеской ноге» с культурой — значит владеть ею и развивать ее. «Веселое имя Пушкин», — сказал Блок, и вся книга «Прогулки с Пушкиным» как бы аналитически раскрывает эту формулу.

«Прогулки с Пушкиным» меньше всего похожи на строгое исследование, тем более — на учебник. Задача книги — не заменить творчество Пушкина какой-то схемой или трактовкой, а пробудить в каждом читателе живой, азартный интерес к Пушкину как человеку и художнику. Худшая для классика участь — равнодушие к нему и его творениям, и с этой точки зрения «Прогулки» блестяще справляются со своей целью. Неумолкающие споры о книге это лишний раз подтверждают.

Так же свободно и непринужденно ведется разговор о другом гениальном русском писателе в книге «В тени Гоголя». Автор помогает читателю отойти от привычных штампов «обличение» и «разоблачение», помогает увидеть космический масштаб гоголевского мира, его эстетическое богатство, помогает извлечь из гоголевских текстов читательское наслаждение (задача, для традиционного литературоведения почти невыполнимая).

В 1983 году завершен роман «Спокойной ночи», вобравший весь житейский и художественный опыт писателя. Он вновь обращается к своей молодости, к судьбе репрессированного отца, к истории своего ареста и заключения. Эмоциональный нерв романа — напряженная рефлексия, критический самоанализ. Это свойство русского интеллигента не раз объявлялось слабостью, подвергалось осуждению и осмеянию. Роман подводит к мысли о том, что беспощадная самооценка — не слабость, а сила русской интеллигенции. Видя эту черту в таких людях, как Сахаров, Синявский (ряд продолжить не так легко), убеждаешься, что нравственность нации не утрачена

Что делают Синявский и Терц в настоящий момент? Синявский в прошлом году получил степень доктора Гарвардского университета в США, закончил монографию о русском фольклоре «Иван-дурак». Абрам Терц тем временем пишет новый роман.

И Синявский и Терц — оба сегодня в отличной форме. Оба продолжают работать, вызывать раздражение и провоцировать споры. Репутация обоих чиста от хрестоматийного глянца: ни пятнышка благодности и академической солидности.

Книги Абрама Терца рассчитаны не на одноразовое прочтение, а на долгий диалог с читателем-собеседником. С ними не надо церемониться, открывайте в любой момент на любой странице, и острое словцо автора непременно зацепит, уколует, вызовет какие-нибудь «мысли врасплох» — для того и писалось.

В чем главное свойство созданного Синявским типа писательства? Абрам Терц в каждом из нас пробуждает сочинителя, дремлющего, таящегося до поры. Кто-нибудь спросит: а нужно ли это делать, надо ли, чтобы каждый читатель стал писателем, и вообще не слишком ли много их развелось? «Правильно, — с совершенно серьезным видом ответит Синявский (или Терц из-за его плеча?), — писателей надо убивать». Опять ирония, опять гипербола. Но эта кривая каким-то непостижимым образом ведет к истине и — не

побоимся этого слова — к добру, к тем целям и идеалам, которые упорно остаются недостижимыми для догматиков и моралистов.

Может ли литература сделать человека лучше и добрее? Этот вопрос, по-видимому, всегда останется открытым. Но сделать читателя смелее и свободнее, чем он был прежде, писательское слово может. Произведения Абрама Терца, судьба Андрея Синявского — яркое тому свидетельство.

Владимир Новиков

ЛЮБИМОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Расскажу я вам, товарищи, о городе Любимове, который древнее, быть может, самой Москвы и только по ошибке не сделался крупным центром. Может, проведи сюда вовремя железнодорожную ветвь или просверли подходящую нефтеносную скважину, и жизнь бы в городе Любимове забила фонтаном, и вырос бы на его месте целый Магнитогорск. Но обошли нашу местность пути развития, и состоит она из простых равнин, поросших невысокой растительностью, да болот, да болотистых лесочастьков, где водятся одни дикие зайцы и разная несъедобная птица.

Правда, подальше, за Мокрой Горой, сосредоточена знаменитая утка, годная для стрельбы, и говорят, в старину эту утку возами возили и за еду не считали. Но чтобы в нашем краю водились бизоны, или тапиры, или какие-нибудь жирафы со змеевидными шеями, так это уже и старики не помнят. И хотя доктор Линде продолжает всем доказывать, что однажды на вечерней заре повстречался ему вместо тетерева доисторический птеродактиль, все это вымысел, брехня и нету у нас ничего похожего. Это в Африке, действительно, живет еще в озере один птеродактиль — читал я в одном журнальчике. А доктор Линде если и встретил кого у Мокрой Горы, то, это, наверное, была обыкновенная болотная выпь. Страшно она кричит и стонет из темноты, выпь.

Зато сам по себе город Любимов — ничего, веселый, и жители в нем развитые, интересующиеся, много комсомольцев и довольно густая интеллигентская прослойка. А в позапрошлый сезон — еще до событий — прислали из Ленинграда учительницу, Серафиму Петровну Козлову — преподавать иностранный язык в старших классах. Ее появление просто всех удивило. Во всяких скетчах, пикниках — ей первая скрипка. Бывало, на именинах хлопнет рюмку шипучки, взвизгнет, побледнеет и сейчас же — нож в зубы, прямо за лезвие, и пошла по всем правилам выбивать лезгинку, только локти летают.

Но ничего такого себе не позволяла: уж очень была гордая. По ее недоступности доктор Линде чуть с ума не сошел. «Спорю, — говорит, — на две дюжины пива, что я с этой феей в течение двух вечеров войду в интимное положение». И проиграл. Выпили мы пиво, посмеялись. Самое большее, чего он достиг, так это ручку потрогать. И то — один кончик, полтора ноготка.

Я один раз тоже ее зондировал, из спортивного интереса. Приходит Серафима Петровна в городскую библиотеку и спрашивает скучающим голосом чего-нибудь почитать. Поглядел я на нее проницательно и отвечаю:

— Не хотите ли интересный роман Ги де Мопассана «Милый друг»? Очень развратный роман из французской жизни...

Она зевнула, потянулась, так что все груди выпятились, и говорит:

— Нет, спасибо, что-то не хочется. Мне бы,—говорит,—Фейхтвангера, либо Хемингуэя...

Я даже крикнул.

— Что вы!—шепчу,—у нас такого не водится. Мы с этой гнильи покончили в сорок седьмом. Инструкция была из центра, насчет Фейхтвангера.

— Разве? а я не знала. Дайте тогда, пожалуйста, «Спартак» Джованьоли. Люблю перед сном погрузиться в приключенческую тематику.

— Вот это можно,—говорю.—Это сколько угодно. «Спартак» в нашем городе целых два экземпляра.

И злюсь на себя ужасно, прямо до иступления. Ведь я Серафиме этой в отцы гожусь. Читал я ее Фейхтвангера, и Хемингуэя читал. Ничего особенного. И женщин таких, как она, я за жизнь свою перепробовал, может, человек пятьдесят. Даже таких случалось, которые шляпки носят. А вот с ней говорю и теряюсь, и глаза вниз опускаются. А все потому, что — ленинградка, с законченным образованием. Эх, провинция!..

Между прочим, также имеются памятники архитектуры. Бывший монастырь эпохи средневековья. После революции, в 1926 году, когда святых отцов выслали в Соловки исправительным трудом заниматься, прикатил к нам профессор для научного обследования, как все это было на самом деле. Целое лето мерили и в земле ковырялись, мумию хотели найти. Мумия служила у них для отвода глаз. Золото — вот чего они докапывались под церковными плитами, титулованный металл. Берешь в руки — имеешь вещь. Но разгадать тайну клада не посчастливилось. Отрыли голый скелет одного монаха с кабаньими клыками вместо зубов, с тем и уехали.

Много у нас народу тогда интересовалось про те клыки у скелета и того профессора и лекцию бесплатно прослушать — как образовалась земля из солнца и откуда возник животный, растительный мир. Я тоже в эту сторону сделал небольшую прогулку. Повязал, помню, шелковый

пояс с кистями, соломенную шляпу надел. Не торопясь, подхожу, здороваюсь. Приподнял вежливо соломенную шляпу: «Здравствуйте,— говорю.— Ну как идут вперед ваши научные розыски?»

А профессор — обыкновенный такой, простенький, в резиновых тапочках, сразу не догадаться, что профессор,— ласково на меня смотрит и серебристую бородку почесывает, а на старческой ручке у него обручальное кольцо. Эге, думаю,— царский режим! Снял из уважения соломенную шляпу, стою, обмахиваюсь, как веером, улыбаюсь. Вдруг сам делает ко мне шаг:

— Скажите, молодой человек (мне в ту пору еще тридцати не было),— где тут у вас в старое время историческая часовня стояла и куда она исчезла, не могу понять?

И когда я, указав на чистое место, разъяснил ему подробно, как часовенку нашу взорвали на воздух в период борьбы с безграмотностью, потому что уж очень ее чтили и скапливались народные массы, в основном женщины, даже имелись факты случайного совпадения, когда чудесным способом исцелился один слепец еще до революции, да не хватило динамиту, пришлось вручную доламывать, думали пекарню поставить, к Рождеству сгорел председатель, у Марьямова Егора Тихоновича отсохла одна рука, а двух других взрывателей случайно убило в момент взрыва динамитной волной, и через год Андрюшу Пасечника, который всех подговаривал, настигло бревном по голове на лесозаготовке, привезли его домой, к утру помер,— поглядел еще более ласково и говорит:

— Вам, молодой человек, надлежит все это записывать в хронологическом порядке в отдельную тетрадь. Получится правдивая летопись из жизни вашего города, и войдет город Любимов в историю человечества. Это может пригодиться для пользы дела, и ты прославишься навеки, словно какой-нибудь Пушкин...

Поговорили мы так с профессором и разошлись. Я тогда по малолетству не придавал его словам буквального значения: все барышни на уме, голые задницы и всякий флирт, самоучитель игры на гитаре в двадцать пять уроков. Велосипед. Оглянуться не успел, смотрю — из-под волос лысина показалась, вдовец, дочка Ниночка замуж выскочила, и нет уже в душе прежней любви к велосипедному спорту.

Начал я понемногу задумываться. К чему, думаю, вся эта суета? Для чего живет и борется бессознательный человек, если — возьми любую книгу, и с первой же страницы ты можешь завести себе и новую жену и детей, уехать в другой

город, испытать массу ярких впечатлений, не подвергая при- том свое здоровье непосредственной опасности? Ведь чем хороша книга? Пока ты ее читаешь и твоя душа витает где-то там, плавает на корабле под парусами, фехтует на шпа- гах, страдает и облагораживается, в это время тело тво- е сидит на месте и отдыхает, и даже может незаметно по- куривать папироску и прихлебывать из стакана прохлади- тельные напитки. Мы забываем себя, мы превращаемся в Спартака, в короля Ричарда Львиное Сердце из романа Вальтера Скотта, но в то же самое мгновение ничем, ну ничем не рискуем за эти самовольные отлучки и политиче- ские шаги. И, вспомнив про свою обеспеченность, мы сладко потягиваемся...

Одно лишь бывает горько — когда писатель пускается вдруг в фантазию. Ты тут сидишь, переживаешь, и у тебя, может быть, мурашки по хребту бегают, а он, оказывается, все это из головы придумал. Нет, уж если взялся писать, так пиши про то, что сам видел или хотя бы слышал из прове- ренных источников. Чтобы читательская душа, путешествуя по страницам, не портила понапрасну драгоценное зрение, но получала бы надежные и полезные сведения для внутрен- него развития. Она жить хочет, душа-то, жить и богатеть, высасывая глазами из книги чужую теплую кровь, а не пустой воздух...

К чтению я пристрастился, когда начал заведовать го- родской читальней. Сперва — от нечего делать, потом — втя- нулся. Потом сам попробовал, стихами. Вижу: получается, даже в рифму. Но все мне как будто чего-то недостает, а чего — и сам не пойму. Тут и припомнился мне профессор, приезжавший в Любимов в 1926 году. Эх, думаю, случись в нашем городе какая-нибудь история — ну пожар хотя бы или судебное следствие, — я бы сейчас же ее на бумаге увеко- вечил для будущего потомства. Посетителей у меня не так уж много, разве что доктор Линде заглянет поговорить о ходе науки, да припрется инструктор из райкома посмот- реть, что нынче делается в газетах для увеличения поголовья скота, да — бывало — придет и сядет тихо в сторонке еще один посетитель, про которого я пока говорить не буду, потому что не подоспел еще срок о нем говорить... Здесь он с ней и подружился, с Серафимой Петровной Козловой, здесь, в моем присутствии, все и началось... Но помолчим!

Прихожу я однажды в читальню...

Нет, не так!

Однажды выхожу я из дому...

Нет, не так!

До чего же трудно бывает написать первую фразу, после которой все должно начаться. Потом будет легче. Потом, я уже знаю, дело пойдет, как по маслу, поспевай только переворачивать исписанные листы да проставляй на свежей страничке порядковый номер. Пишешь и не понимаешь, что с тобой происходит и откуда берутся все эти слова, которых ты и не слыхивал никогда и не думал их написать, а они сами вдруг вынырнули из-под пера и поплыли, поплыли гуськом по бумаге, как какие-нибудь утки, как какие-нибудь гуси, как какие-нибудь чернокрылые австралийские лебеди...

Порой такое напишешь, что страх охватывает и выпадает из пальцев самопишущее перо. Не я это! Честное слово, не я! Но перечтешь, и видишь: все правильно, все так и было... Господи! Да что же это такое? Нету в этом деле моего прямого участия! Может, как и весь этот милый заколдованный город, я только пущен в ход чьей-то незримой рукой?..

Если призовут меня к ответу грозные судьи, закуют мои ручки и ножки в железные кандалы,— заранее предупреждаю: я от всего отрекусь, как пить дать, отрекусь! Эх! — скажу — граждане судьи! Оплели вы меня, запутали. Стреляйте, если хотите, но я не виновен!

Может, я потому и медлю, что мне жить хочется? Может, первая фраза уже давно сидит в моей запутанной голове, а я просто притворяюсь, дурака валяю и время тяну? Пожить бы еще немножко. Покурить, попить бы пиво. Книжечку почитать в тишине, в безопасности. Читать — это вам не писать. Сходить бы на рыбалку. В бане попариться. Поговорить с доктором Линде насчет птеродактилей...

Ну вот опять! Откуда залетело сюда чуждое нам слово? Я его и произносить-то не умею, птеродактиля этого, и говорил ведь — не водится в наших краях ничего такого. Кыш, ты! Кыш! Лети прочь, гадина!

...Выхожу я однажды на крылечко и вижу...

Нет, погодите. Еще рано. Во-первых, почему — «я»? и почему — «выхожу»? Что это за дурная привычка во все самому соваться! И не я это выходил тогда на крылечко, а он, он, Леня Тихомиров — главный наш механик по перетягиванию велосипедов. Во-вторых, все эти подробности, ужасно они мешают. Если появилось крылечко, то, значит, надо описывать — каким оно было, крылечко, — высоким или низеньким, и не с резными ли столбиками, а уже если с резными, — то пошло и пошло, и сам не заметишь, как совсем про другое рассказываешь.

Чтобы не распыляться, в исторических книгах и летописях (так уж заведено) устраиваются особые сноски, располо-

женные внизу, под страницей. Зыркаешь туда глазами время от времени и все воспринимаешь. И я тоже снизу приделаю эти сноски, для читательского облегчения. Каждый читатель может туда спуститься и, немного передохнув, узнать о подробностях или еще о чем. А кто не желает, или некогда, или ему надо побыстрее понять главное содержание, тот пусть эти второстепенные снопочки спокойненько пропускает и шпарит дальше, без передышки, сколько влезет.

Итак, приступим¹.

Ох, и страшно, голова кругом идет².

Тянет меня, понимаете, тянет, словно горького пьяницу, и подкатываются к самому сердцу безответственные слова.

Ну, поехали. Вперед! Начинаю...³

Глава первая

О НАУЧНОМ ПЕРЕВОРОТЕ, СОВЕРШЕННОМ 1- ГО МАЯ ЛЕНЕЙ ТИХОМИРОВЫМ

Однажды утром Ленья Тихомиров в костюме стального цвета, а сандалиях на босу ногу вышел на свое приземистое крыльцо. Постояв немного, будто в нерешительности, он вынул из кармана самодельный блокнот⁴ и погрузился в какие-то математические вычисления.

Погода была чудесная. В лазурном небе таяли сахарные облака, и солнце сверкало с таким интегральным блеском, что в глазах все играло и прыгало, и сквозь плетень фигура Лени представлялась как бы в золотом ореоле. Но стоило присмотреться внимательнее, и всякий бы заметил, что Ленья Тихомиров не просто изучает блокнот, а что есть силы туда вглядывается, и все его длинное, узкогрудое тело ритмически извивалось, а рот тяжело дышал и на лбу вздулись две жилы. Неподготовленный зритель мог бы испугаться за его здоровье, потому что эти жилы совсем уже напряглись, образуя на лбу синий остроугольник, наподобие римской цифры V⁵.

¹ Это было 1 мая 1958 г.

² Семь бед — один ответ.

³ Господи, благослови!

⁴ Испещренный мелкими письменами.

⁵ От этого часто бывают кровоизлияния в мозг.

Тут донеслись звуки из громкоговорителя, подвешенного на главной площади на столбе, напоминая о приближении Первомайского праздника, и эта боевая музыка возвратила Леню к действительности. Он сунул блокнот в карман и сказал: «Ага!» Что это значило, было пока неясно. Он сказал: «Ага!» и весь обвис, и жилы у него на лбу тоже утихомирились.

Мать-старушка, звякая ведрами, выползла на крылечко и спросила, не подать ли своему единственному сыну творог со сметаной.

— Нет, мамаша, я не желаю, вы сами кушайте,— отвечал Леня Тихомиров как-то очень спокойно.— Я лучше пойду натошак слегка прогуляюсь...

В его голосе сквозила неподдельная интонация.

Больше в то утро на том крылечке его никто не видал.

Но перенесемся теперь на главную площадь и посмотрим, что там. А там уже вовсю гремит боевая музыка, и возвышается посередине большой фанерный ящик, обтянутый красной материей, и на тот огромный-преогромный красный фанерный ящик вылезло все начальство со светлыми лицами. Ждут, когда взойдет секретарь горкома товарищ Тищенко Семен Гаврилович, возвестив своим появлением начало праздника.

Все пространство очищено, мокрые места посыпаны и не видно ни одной коровы или хотя бы овцы, щиплющей раннюю травку. На каланче гордо реет алый стяг, а внизу шеренга милиционеров из пяти единиц— весь гарнизон— зорко смотрит по сторонам, чтобы не просочились на площадь преждевременные пьянчуги и не испортили бы своим расхлябанным видом международную демонстрацию.

Но вот уже вдали весело клубится дорожная пыль, и народ по проспекту Володарского передвигается к центру. Впереди идут дети в белых рубашечках, и кто держит флажок, кто бумажный фонарик, а кто ничего не держит, а идет себе, не потея, и грызет леденец или пряник, размазывая по щекам розовые счастливые сопли. За детьми покачиваются кое-какие трудящиеся— леспромхоз, райпотребсоюз, работники телеграфа и почты, да еще пригнали из деревни два грузовика, набитые колхозными девками. При взгляде на эту картину, в особенности на детишек, шагающих нам на смену своими бодрими ножками, товарищ Тищенко Семен Гаврилович чуть-чуть не прослезился от радости. Весь улыбается, сияет, точно он с утра блинов наелся, и делает народу приветственные знаки. То руку приложит к козырьку фуражки, то просто так порожняком стоит и головой кивает.

Дескать, проходите, граждане, мимо, не толпитесь и дайте нам тоже немного отдохнуть от исполнения служебных обязанностей. И народ — очень довольный — пылит со всех ног под музыку, восклицая: «Ура! ура нашим доблестным воинам!»

Вдруг — стоп! — что такое? Никто не проходит мимо, а все толпятся у центра и смотрят с интересом на товарища Тищенко, который вытянул вдаль растопыренную правую руку и приоткрыл рот, будто бы собираясь что-то произнести, и на лице у него написана внутренняя борьба. И даже радио на столбе поубавило звуки, как бы предоставляя ему свободу слова.

Сначала думали — он хочет поговорить о внешней политике, поздравить с днем солидарности и все такое. Хотя не полагается нарушать порядок и держать речи под солнцем, когда давно пора по домам, к праздничному столу, но это уже не наше дело, где чего говорить и почему у них вышла небольшая задержка. Наше дело — выслушать речь, а после и выпить можно. Выпить всегда успеется, были бы деньги. Не алкоголики — погодим, а погода — выпьем. Послушаем сперва внимательно, что нам хочет изложить товарищ Тищенко, а потом уж и выпьем без помехи, эх! и выпьем же мы сегодня! эх! и погуляем!..

Но вместо этого товарищ Тищенко сказал совсем не то. Как топор, ударил по площади его надтреснутый голос. Скажет слово и замолчит, еще скажет и опять замолчит, и потом еще скажет два слова. Будто его сию секунду дернуло за язык сделать народу экстренное сообщение, а он даже с мыслями собраться не успел и сам не понимает, куда его черт заносит.

— Дорогие сограждане! — произнес Тищенко и умолк, и стало заметно, что он волнуется. — Дорогие сограждане... я хочу... мы хотим... объявить... с этого дня...

Он дернулся, побагровел и что есть мочи, на одной струне, выкрикнул:

— ...с этого дня в Любимове начинается новая эра. Все руководство, во главе со мной, добровольно — я подчеркиваю! — добровольно снимает себя всецело с занимаемых постов. На освободившееся место я приказываю сейчас же, немедленно, всенародным голосованием утвердить одно лицо, которое поведет нас... нашу гордость!.. нашу славу!.. приказываю... прошу...

Тут он запнулся, подпрыгнул и схватил себя за горло — в обтяжку — обеими руками, словно хотел удержать льющуюся оттуда речь. Глаза его странно выпучились. Казалось,

еще миг, и он рухнет, задушенный, на помост, который звенел и колыхался под ударами его тугого, крупного тела. Но, видно, власть повыше его — разомкнула оцепеневшие пальцы и отвела назад скрюченные руки, освободив от мертвой хватки помятое, в кровоподтеках горло. Он стал похож на краба с разведенными по сторонам клешнями и в этой обезвреженной позе закончил свое выступление:

— ...избрать верховным правителем, судьей, главнокомандующим,— прошептал он, свистя бронхами,— товарища Тихомирова Леонида Ивановича, ура!

Народ безмолвствовал. Было тихо. Было так тихо, что слышалось, как стучат зубы у начальника особого отдела и секретной службы товарища Марьямова Егора Тихомировича, что стоял на охране, с краю трибуны, бледный, как однорукая статуя¹. Да еще на задворках, далеко-далеко, мычала не ко времени отелившаяся корова².

Спустя полминуты, однако, то здесь, то там раздались голоса, и скоро вся толпа задвигалась, зарокотала, выражая одобрение вынесенной резолюции:

— Да здравствует Тихомиров! Слава Леониду Ивановичу!..

Правда, один мужик сунулся было с расспросами: кто такой Тихомиров и за что ему такая почесть? Но этого грубого мужика со всех сторон затолкали:

— Как? Ты не знаешь нашего Леонида Ивановича? ничего не слыхал никогда про Леню Тихомирова?! Да ведь это же наш главный механик по перегигиванию велосипедов! Стыдись! Сразу видать — из деревни, туда тебя растуда, сволочь необразованная!..

Никому не казалось странным, что вчера еще безвестный юноша, велосипедный мастер Леня, в один момент взлетел так высоко. Напротив, все удивлялись, почему до сих пор в Любимове не предоставили Леониду Ивановичу какую-нибудь руководящую должность и как посмело наше безмозглое городское начальство не оценить по достоинству его организаторский ум?!

— Это все Тищенко виноват,— говорили в толпе.— Он первый не давал проходу нашему бедному Лене. За то и заплатился... Видите? Видите? Стоит, парализованный, и ручки свести не может. Сгорбился весь, растопырился, ровно печной хват. Растопыр! вурдалак! поганка гнилая!

¹ Это был тот Марьямов, у которого в борьбе с суевериями отсохла одна рука.

² Это была та корова, которая имела привычку с заднего хода проникать на площадь и незаметно пастись.

Услыхал эти слова один спящий младенец, сосунок еще двухмесячный, головку еще не держит — одна молодуха прямо в пеленках его с собой прихватила демонстрацию поглядеть. Так вот он проснулся, выпростался из пеленок, ощерил до ушей свои беззубые десны, да как запишит:

— Хочу,—говорит,—требую, чтобы Леня Тихомиров был в нашем городе царем!

Гром аплодисментов заглушил его детский лепет. Народ, обезумев, дружно хлопал в ладони, повторяя хором, по складам, дорогое русское имя:

— Ле-ня Ти-хо-ми-ров! Ле-ня Ти-хо-ми-ров!

И тогда, делать нечего,—из толпы выступила фигура Лени. Он был в своем костюме стального цвета¹, но вид имел застенчивый и как бы немного сконфуженный. Выйдя на середину поля, он поклонился по-старинному на все четыре стороны и сказал:

— Извините, братьцы-товарищи, я просто не понимаю, кого вы тут выкликаете в мой адрес. Я просто недостойн такой вашей ласки. Но если вы так желаете и даже требуете, то мне остается дать вынужденное согласие. Буду вашим слугой по воле народа, и, пожалуйста,—никаких последствий культа личности. Должность министра юстиции, обороны и внутренних дел я тоже попросил бы оставить пока за мною. Конечно, государство — понятие отмирающее, но без контроля, братцы, нам тоже не обойтись — как вы считаете, Семен Гаврилович Тищенко, бывший наш начальник и отставной секретарь?..

Наступила пауза.

— Леня, пусти,—простонал с высоты Тищенко.—Пусти, тебе говорю,—повторил он с угрозой, не в силах пошевелить ни одним суставом.

Ничего не ответил Леня, только стиснул покрепче худощавые челюсти, так что на лбу выступили две жилки. Дескать, проси не проси, Семен Гаврилович, все равно я тебя никуда не пущу.

— Пусти, Леня!—просипел Тищенко в третий раз, но уже слабее.

Казалось, вся власть ушла из его тела. И вдруг — сказывали потом городские старухи — и вдруг — такова легенда, родившаяся в народном сознании, — Тищенко сделал переворот и упал с трибуны, как поверженный идол. Упал он с трибуны, ударился оземь башкой, и нет его, а из выемки, образовавшейся на месте падения, взвилась с громким карканьем черная птица-ворона, вся в перьях!..

¹ Вот он, оказывается, для чего с утра нарядился.

— Ружье, дайте мне поскорее какое-нибудь ружье! — вскрикнул Ленья Тихомиров не своим голосом.

Ружья, как водится, поблизости не оказалось. Тогда Леонид Иванович, не будь дураком, разбежался и грянул в то же место всюю расстегнутой грудью, и тотчас его руки обнаружили строение крыльев, ноги укоротились и упрятались под живот, а новенький костюм стального цвета, почти не меняя окраски, пошел на верхнее оперенье. Клюв у Лени загнулся, окостенел, глаза округлились, мигнули, и вот вам вполне готовый боевой ястреб рванулся в погоню за карающим Семеном Гавриловичем. Выются они над площадью, показывают чудеса пилотажа, народ снизу дивуется, новую власть подбодряет:

— Бей его, Ленья, в темя! дай ему прикурить!..

Прижал его Ленья к земной поверхности и уж когти ястребиные в черное сердце наставил — чтобы терзать, так нет, товарищ Тищенко — хлоп! — и на тебе: обернулся в лисицу, в настоящую живую лису с хвостом. Лучше бы он, сатана, зайцем обернулся — тут бы ему и крышка в когтях у нашего сокола. А против лисы, говорят, даже орел безвреден, настолько она хитра и коварна.

Видали вы когда-нибудь, как лисы бегают? Они так скачут, так петляют, что голыми руками их поймать нет никакой возможности. Но в городе товарищу Тищенко скрыться некуда: кругом дома, заборы, ноги, девки юбки задрали, чтобы нашему Лене было легче видеть всю перспективу. Чувствуя моральную помощь, Ленья не растерялся и тоже — хлоп! — и взял на себя временно облик густопсовой собаки, из породы борзых. Она хоть и собака, но до того резвая, что не хуже антилопы. Рыло узкое, лапы длинные, а тело изогнуто наподобие вензеля и, когда бежит по земле, складываясь и раскладываясь, то пишет по воздуху китайские иероглифы.

...Он схватил его за хвост, оставшийся в зубах у собаки, а лиса, не теряя скорости, перестроилась на колеса и поехала велосипедом без участия всадника, лишь пустые педали крутились автоматически. Народ попадал друг на дружку, очистив дорогу. Недолго думая, Ленья принял внешний вид мотоцикла и газанул следом за... пустые педали... по мостовой... лисий хвост... лаяла... между ног... дуй до горы!.. по спицам... вся в перьях!.. автоматически! автоматически! с нами крестная сила... затрепчат под мотоциклом велосипедные хрящички...

Однако мы не будем продолжать эту погоню, потому что она, как сказано выше, не подкреплялась фактами, а была результатом народного вымысла и может рассматри-

ваться наравне с мифом об Илье Муромце, олицетворяющем борьбу человека с природой. На самом же деле события развивались тогда по-иному, и следует возвратиться к тому месту рассказа, когда товарищ Тищенко попросил у Леонида Ивановича освободить его из-под гнета, который он испытывал.

— Пусти, Леня,— простонал он в третий раз, не в силах пошевелить ни одним суставом.

Казалось, вся власть ушла из его тела. И вдруг, словно почуяв некое послабление, он приказал отряду, расположенному под каланчой:

— Приказываю арестовать гражданина Тихомирова, и пусть смеется тот, кто смеется последний!

Лицо его, оживевшее на неподвижном туловище, изобразило злорадство...

Группа милиционеров, поскрипывая амуницией, приблизилась к Леониду Ивановичу. Двое извлекли револьверы, болтавшиеся в кобурах, и, как по команде, начали громко палить, целя в радиорупор, подвешенный на столбе. После четвертой пули тот вновь заиграл, а после шестой— хрюкнул и перестал. Так была сломлена незаконная власть бывшего секретаря Тищенко.

Опустошенные револьверы были развинчены на составные части и в кумачовом платке вручены Леониду Ивановичу. Разоружение происходило в боевом порядке, в торжественном молчании, но с акробатической ловкостью. Подмавив меня пальцем, Леня Тихомиров передоверил груз¹.

Тем временем остальной гарнизон соорудил из еловых ветвей и флагов небольшой переносный плацдарм для триумфального шествия. Поднятый на квадратные плечи своей дюжей дружины, Леонид Иванович стал похож на бронзовое изваяние. Он мог бы процитировать вслух пророческие строки поэта, которые мы приведем здесь в исправленном и подновленном виде:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной,
Чем бывший секретарь, товарищ Тищенко, мечтал когда.

¹ Я стоял в толпе, шагах в двадцати от Лени и, когда подбежал к нему по мановению пальца и взялся руками за узел с револьверной мелочью, то почувствовал как бы легкое электрическое сотрясение. И в тот же миг у меня в мозгу прозвучал внутренний голос: «Брось этот узел в реку!», что и было исполнено в присутствии старшины Михайлова, который и теперь может подтвердить мою полную тогда душевную независимость.

И буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые повсюду возбуждал,
Что я в Любимове навек провозгласил свободу,
И дум высокое стремление всяк из вас через меня узнал¹.

Проплывая мимо трибуны, где все еще торчал пригвожденный Тищенко, а прочие власти попрятались кто куда, Ленья Тихомиров притормозил бравых носильщиков и наставительно произнес:

— Смотрите сюда — такой удар настигнет всякого, кто осмелится посягнуть на независимость нашего города.

— Да здравствует вольный город Любимов!

Да здравствует мировой прогресс науки и техники!

Да здравствует мир во всем мире! —

Его косые глаза блуждали, волосы развевались. На лбу сиял багровый знак — римская цифра V. Через два часа городской телеграф отстукал текст:

Всем. Всем. Всем.

Город Любимов объявлен вольным городом. Свобода и автономия граждан охраняются законом. Без пролития капли крови власть перешла к Верховному Командующему Лицу — Леониду Тихомирову. Слушай мою команду.

Леонид Тихомиров.

Глава вторая

ОБЪЯСНЯЮЩАЯ ПРИЧИНЫ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ

До сих пор в глубине народа не затихают споры: кем был прислан сюда этот Леонид Тихомиров и какой таинственной властью сумел он зачаровать в один день целый город? Иные видели в нем посланца Божия. С другой стороны, есть мнение, что в могуществе Леонида Ивановича замешана более бесовская, чем ангельская, сила. Но я лично твердо стою за то, что в происхождении Лени не было ничего чудесного или сверхъестественного, а все легко объясняется с научной точки зрения.

Леонид Иванович Тихомиров родился в простой рабочей семье. Родитель его служил в артели по ремонту обуви

¹ Стихотворение «Памятник» А. С. Пушкина. Обработка наша.

и погиб на войне от пули фашистских извергов. Мать была простой, скромной домохозяйкой. Но, говорят, в ее роду, в девятнадцатом веке, имелся один знатный барин, дворянин Проферансов, женившийся после отмены крепостного права на крестьяночке. От него-то, говорят, Леня унаследовал страсть к науке и с детских лет мастерил разные механизмы. Один раз он склепал из консервных банок подводную лодку размером в человека, на четырех винтах, если их вертеть руками и ногами, лежа в этой лодке на животе. Закономерно, что жизненный путь Леонида Ивановича привел его в семнадцать лет в велосипедную мастерскую. Проклеить дырявую камеру, ниппель сменить, соскочившую цепь поставить на свои зубцы — было ему все равно, как нам с вами выпить стакан пива. Да что там ниппель! Он весь аппарат мог перетягивать заново: железный пустотелый каркас взять от кровати, колеса поменять местами, а заднюю втулку сострять из пары окурков... И на все про все максимум четыре гвоздя!..

Но главной его заботой был вечный двигатель, снабжаемый от вращения Земного Шара вокруг оси. Предварительный план машины в запечатанном письме был послан в столицу, в Академию наук. Своего ответа, как водится, изобретатель не получил: рутинеры мешали приближению будущего. Что им бессонные ночи провинциального мастера! Все эти трудности и потери Леня встретил спокойно и тосковал лишь об одном: как бы американцы не похитили вечный двигатель, что могло бы потом замедлить нашу победу.

— Зря ты стараешься, Леня,— убеждал его доктор Линде, сидя за пивом.— Вот я в прошлом году своими глазами видел доисторического птеродактиля, обитающего на Мокрой Горе. Мое описание этого вымершего экземпляра до сих пор валяется без движения где-то в центральной редакции газеты «Медицинский работник». Научные открытия мало кого задевают. Каждый думает, чем бы набить карман. Человечество, в сущности говоря, все еще находится на очень низкой стадии своего сознания.

Усы доктора Линде, пепельные от пива, имели, по его уверению, солоноватый привкус. Он облизывал их, как гурман, по-кошачьи, ярко-розовым языком и высказывал о вещах нинические парадоксы. Например, он утверждал, что человек — это бесхвостая обезьяна.

— Неправда,— возражал ему Леня твердым голосом.— Человека тоже можно улучшить...

И уходил в себя. Единственная кружка пива, которую он себе позволял, всегда оставалась недопитой...

В этих беседах я занимал промежуточное положение. От человечества у меня был опыт посильнее, чем у доктора Линде. Однако упрямство Лени мне нравилось и состояние прогресса тоже не казалось безвыходным. Уж скоро, скоро, верил я, мы завоюем космос!..¹

Когда-нибудь наука и не такого еще достигнет, а будет нас подстерегать на каждом шагу. Когда-нибудь простой человек простым нажатием кнопки сумеет снабдить себя всем необходимым, о чем лишь можно мечтать в наше переходное время. Нажал кнопку, и тут же, в отдельном кабинете, где ты сидишь и подпрыгиваешь на пружинном диване, — не сходя с места, как призрак, возникает столик, уставленный продуктами и бутылками с десертным вином². Ты кушаешь все это подряд, кушаешь так, что лопнуть хочется, и видишь, что единственно, чего недостает тебе в жизни, так это недостает на столике кокосовых орехов, и так тебе становится обидно и одиноко из-за этого невнимания к твоей потребности, что хоть удавись... Нажимаешь кнопку, и вот, без человеческого участия, подъезжает к тебе на колесиках самоходная вагонетка, заваленная доверху кокосовыми плодами всех сортов. Но ты уже расхотел и говоришь, кривясь:

— Уберите эту падаль, не нужно мне вашего одолжения! — и вновь нажимаешь кнопку, чтобы сменить кокосы на что-нибудь поинтереснее.

В ответ на твой вызов, из люка, замаскированного под паркетом, выскакивает на шарнирах белокурая дева чудной красоты. Нажимаешь кнопку, — и все в порядке. Нажимаешь вторично кнопку — и опять все в порядке. Нажимаешь ту же кнопку в третий раз... И хотя все в порядке, но ты чувствуешь в душе какую-то тяжесть и говоришь:

— Катись ты, Люська, обратно в люк, а мне пора в путешествие подальше от цивилизации!

Нажал — Венеция. Нажал дальше — Венесуэла. Нажал совсем далеко — Венера, Меркурий или какой-нибудь Плутоний. И пока черт тебя носит по свету со скоростью ультразвука, ты сочинишь стихи и песни про победу над космосом, пропущенные сквозь твою мозговую сетчатку специальным таким кибернатором. И говоришь, кривясь:

— Ну что, допрыгались? Достигли вершины? Начinalи с паровоза, а чем дело кончилось? Лучше б мне во вшах

¹ История потом показала мою прозорливость.

² Крепкие спиртные напитки, я полагаю, даже тогда будет регулироваться с помощью государства.

истлевать, лучше б мне в первобытном виде вниз головой, зацепясь хвостом, на эвкалиптовой ветке качаться. Темноты хочу! Тени жажду! Клочок тени, куда бы укрыть обесчещенное лицо!..

А какая тогда может быть тень, когда повсюду, со всех сторон — свет?

И запыет человек, с тоски, в знак протеста. Регулированные государством спирты, водку, марафет воровать станет. Хулиганом станет. Кнопочки отверткой вывинчивать, провода ножиком резать, лампионы в небе из рогатки вышибать...

Чтобы этого не случилось, надо его переделать: старое сознание вытеснить, новое — вместить. И переделанный человек добровольно двинется по пути к совершенству, да еще за всю науку будет вам благодарен, и Леня Тихомиров это понял и рассчитал¹. Он, Леня, догадывался, что голая буржуазная техника ни к чему не приведет, если ее не подкрепить изнутри переделкой сознания². То есть, как это — слабо догадывался, когда он в один день мог всех переделать по собственному вкусу, и кто тут мне под руку посторонними словами мешает?...³ Да кто вы такие важные, чтобы еще командовать?...⁴

...Так вот я и пишу, что Леня ей говорит:

— Вы мне очень нравитесь, будьте моей подругой!

Серафима Петровна посморела на его иронически и отвечает:

— Я сама вижу, что вам я очень нравлюсь, но придумайте чего-нибудь более оригинальное.

А сама ленивым движением поправляет прическу, отставляя локоток так, чтобы ярче отгнать свою грудную клетку, и от этого наш Леня горит пожаром и кричит, ломая свои золотые руки:

— Я вас буду на руках носить! Я вам своими руками сломанные часики почию, и, если вы не возражаете, я так устрою все двери в нашем будущем шалаше, что они сами начнут отворяться и затворяться при одном появлении...

И кричит еще:

— Я человек простой, без высшего образования, но не думайте, Серафима Петровна, я тоже разбираюсь в науке и технике, но только в нашем городе нет пока института, где бы можно было выучиться и получить инженерный диплом.

¹ Плохо он рассчитал.

² Слабо он догадывался.

³ А вы поменьше рассуждайте и пишите, как было дело.

⁴ Пишите, пишите дальше, я нажимаю кнопку!

Но вопреки насмешкам судьбы я тоже могу прославиться каким-нибудь подвигом, и вы тогда заскучаете, что не решились ответить взаимностью, когда все начнут вокруг меня удивляться. Да если я только сделаюсь знаменитым героем, я вам всю спальню обклею трехрублевыми бумажками, вместо зеленых обоев зелененькие трехрублевки, за один ваш поцелуй, а то повешусь...

— Вы говорите пустяки,— перебила его Серафима Петровна, притворно морщась.— Причем здесь поцелуй! Поцелуй — это банально. Трехрублевки — дешево, дурной тон. Уж если оклеивать квартиру такими смешными бумажками, то лучше — сотенными. И вообще учтите: богатство, деньги я презираю, а честолюбие в человеке цену. «Безумство храбрых — вот мудрость жизни», как сказал Максим Горький. Но смотря какой подвиг вы думаете совершить, чтобы мне было не стыдно протягивать руку дружбы и шагать с вами в ногу в жизни и в обществе. Учтите: мелкий подвиг мне не улыбается. Я не согласна с Юлием Цезарем, который сказал: «Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе». Лучше быть сразу первым в городе. Во всяком случае, для начала город Любимов должен лежать у моих, то есть у наших с вами общих ног.

Вся ее политика сразу переменялась: на влажных губах играла интригующая улыбка, в глазах был пьяный дурман, и в шлифованном аппетитном носике заключался какой-то утонченный, невыразимый намек...

— Я еще не знаю, чего бы мне совершить,— сказал Леня понуро.— В нашем городе еще не бывало таких великих людей, про которых вы рассказываете. Но я постараюсь!..

— Вот когда вы придете ко мне на щите, как Спартак, увенчанный листвою винограда, вот тогда мы поговорим более детально. Пока!..— отрезала она категорическим тоном и, не подарив его на прощание даже рукопожатием, исчезла, вихляясь.

Тогда я вылез из-за шкафа, где сидел и читал журнал «Новый мир», чтобы не мешать их молодому делу (а больше в нашей читальне никого не было), и сказал ему как старший товарищ:

— Эх, Леня, Леня, не связывайся ты с этой изнурительной бабой. Высосет она из тебя весь твой талант, помани мое слово. Я таких, как она, за жизнь свою перепробовал, может, человек пятьдесят. Ничего особенного. Даже еще хуже, чем безо всякого образования. Ведь у тебя, Леня, золотые руки, и за тебя любая девушка без разговоров пойдет, а Серафима Петровна, я полагаю, уже и не девушка, и, кто знает,—

может, у нее уже и дети были. Она старше тебя и еще ко всему еврейка, хотя скрывает, а с еврейками, Леня, русскому человеку лучше не связываться...

Ну, он — на дыбы и пошел слюнями брызгать:

— Все это клевета, — заявляет, — клевета и невежество. Для меня все нации равны, и потом за Серафимой Петровной не замечалось еврейских повадок, и фамилия у нее самая обыкновенная, русская — Козлова, от простого русского слова «козел». А вот ваша фамилия, Проферансов, имеет иностранную форму, и еще неизвестно, кто вы такой на самом деле по национальному признаку...

Но я на него за это не обиделся.

— Дурак ты, — говорю, — и больше ничего. Проферансовы в нашем городе коренная фамилия, и в ней, если хочешь знать, затаена чистопородная музыка, старинная игра. Ты вслушайся в эту игру гармонических созвучий: ПРО-ФЕ-РАН-СОВ!! — Это тебе не какой-нибудь Чижииков или Кукушкин, а полный музыкальный пасьянс. Твоя родная бабушка по материнской линии, если хочешь знать, тоже имела счастье носить в девичестве эту редкостную фамилию, и происходит она от одного ученого филантропа, женившегося потом на крестьяночке, у которого и ты, может быть, на одну восьмушку позаимствовал культурную кровь. Мы с тобой, Леня, может быть, от общего корня пошли, но только у тебя получилось научное разветвление, а во мне сосредоточилась вся сила искусства, главный исторический ствол.

— Что же мне делать теперь, Савелий Кузьмич? — спрашивает Леня упавшим голосом. — Ведь я из-за ее красоты человека могу зарезать. Мне теперь одна дорога — в разбойники и бандиты: либо грудь в крестах, либо голова в кустах!

— А ты вместо этого книжки читай, — посоветовал я ему. — Смотри, сколько тут разных переплетов. И в каждом переплете знаменитые умы человечества делятся своим жизненным опытом. Книга — все равно, что бутылка пятизвездного коньяку: одну прочитал — вторую хочется. Всю жизнь можно читать и не соскучишься, и сам не заметишь, как время пройдет.

С того дня Леня сделался злейшим читателем. Он и раньше кое-что читывал для общего уровня. Теперь же его от книжки трактором не оттащишь, все свои механизмы в небрежении бросил и знай сидит в углу, как дикий схимник, и губами шевелит. А потом и шевелить перестал, только зрачками работает с бешеной скоростью и, бывало, за один присест усиживал по пятьсот страниц кряду, что в переводе на другое измерение означает пол-литра. А литературу он

брал у меня все на тему великих людей: Коперника, Наполеона, Чапаева, Дон Кихота... Роман из римской жизни «Спартак» перечитывал раза четыре и начал постепенно зачитываться в уме и требовать уже сочинения про нервную психику и магнитную физику. Вижу: пропал человек, сдвинулся от сильной любви в противоположную крайность, так что теперь на него даже Серафима Петровна не могла оказать влияния. Прилетит в библиотеку менять приключения, а Лена из-под лампы и носа не кажет. Она тотчас к нему, будто ей интересно, про что он в книжке читает, и заглядывает, и свешивается то с одного краю, то с другого, едва не задевая его грудями на какой-нибудь миллиметр. Я за своей конторкой верчусь, знаки ему показываю. Дескать, сожми пальцы в кулак — и поймана птичка. Да что толку? Сидит, как железный гвоздь в стуле, и глазами по страницам ездит взад-вперед, а на ее танцы-реверансы ноль внимания. Ну, она повеется, повеется вокруг, почирикает и прочь улетит в досаде. Мне даже неловко за него становилось, тем более, как вспомню, что он сам недавно в пылких чувствах клялся, а нынче такую женщину на сухую бумагу променял.

Эх, напрасно, думаю, я тогда занижал ее в национальном вопросе. Да ведь и занижал-то лишь ради его спасения. Потому что по себе знаю, какая сила скрыта в еврейском племени, рассыпанном по лицу земли словно изюм в пироге или перец в супе. Я бы их еще с солью сравнил, но соль растворяется, а эти сохраняют изначальное свойство, какое им Богом дано. Может, для того они и рассыпаны по Божьему миру, чтобы свою крепость явить и терпкое упорство, чтобы мы, наткнувшись на еврея в нашей русской каше, вспоминали бы, что не сегодня история началась, и еще неизвестно, чем она может кончиться...

Ах, была у меня в жизни одна евреечка, век не забуду той евреечки! Волосы черные, мелким бесом завитые, брови тоже черные, мохнатые, как два червяка, а кожа смуглая, в желтизну, а на ощупь — сафьян. По-русскому болтала — не отличишь, а по-еврейскому знала одно слово «цорес», что значит по-ихнему горе, неприятность, тоскливый сор какой-то, колющий сердце, и от этого сердечного сору получается «цорес». И была в ней крупинка цореса, изюминка такая невыковыренная, но всажена, вмурована та изюминка в состав души. Бывало, смеется, ластится, а глаза печальные-печальные и от них пустыней веет аравийской или, может, Сахарой, по которой они бежали тогда с детишками, с рухлядью на спинах, на верблюдах, и всю мировую скорбь вынесли на

себе и на тех верблюдах горбоносых, надменных и тоже похожих на евреев, с тяжелыми, круглыми веками.

— О чем,— спрашиваю,— ты, крошка, тоскуешь? На что жалуешься?

— А я не жалуясь,— отвечает крошка,— и не тоскую. С чего вы взяли? Мою четвертную вы мне все равно уплатите, да с прошлой недели за вами оставалась десятка.

То есть она говорила по правде, не разумея своим женским мозгом, что из-под черных ее ресниц, из-под верблюжьих век глядит в печальном остеклении высохшая пустыня и будто ждет чего-то, и будто зовет куда-то, хоть садись на песок и плачь безутешно от исторических воспоминаний...

По такому верному признаку всегда распознаются евреи, что они в глазах пустыню носят, и у Серафимы Петровны мелькало в лице это пустынное выражение, по которому я давно приметил ее породу. Для того и Леня Тихомиров был мною уведомен, чтобы не иссох он раньше времени, как травинка в поле, от жгучего еврейского взгляда. Но у Лени на уме было теперь иное...

Прихожу я однажды в читальню после обеденного перебива и вижу, он уже сидит на своем стуле и страдает с карандашом над произведением Фридриха Энгельса «Диалектика природы». А слева от диалектики покоится неизвестная книга средней толщины, в кожаном облачении такой на вид твердой прочности, что если бы этой книжной кожей подшить сапоги, то двести лет не было бы тем сапогам сносу. Спрашиваю, где взял и как называется.

— Эта книга, отвечает Леня, прикрывая ее ладонью,—упала на меня в пятницу с потолка. Хорошо, что не в висок.

И рассказывает, как в прошлую пятницу приколачивал он в сенях рукомойник, а у них на потолке для теплоты жилища всякая древность свалена в несколько слоев: старые подметки, валенки, прохуdivшиеся на обе ноги, битые горшки, полушубки, хомуты гнилые, эт цетера, эт цетера. Должно быть, доски на потолке тоже распозлись,—и вот вам результат. Как сказала Ленина матушка, покопавшись в рыхлой памяти, неизвестная книга могла перейти на чердак по наследству от дедушки, либо отец Лени, потомственный пролетарий, заполучил ее в годы революционной борьбы, когда по всей округе разоряли гадючьи гнезда и давили в зародыше феодальный выводок.

— А ведь эта книга,—добавил я, пораскинув умом,—могла принадлежать самому барину Проферансову, который

в девятнадцатом веке производил научные опыты и даже, говорят, потратил все свое состояние, чтобы поехать в Индию...

Тут, слово за слово, он и признался: книга называется «Психический магнит» и писана рукою с индийского языка красивым почерком. А написано в ней про то, как иметь влияние в жизни, пользуясь мозговою силою, именуемой «магнетизм».

— Ох, Леня, смотри,—забеспокоился я, услышав это нерусское слово.—Смотри-ка ты сам не попади под влияние чуждой идеологии. Не содержит ли эта книжица какого-нибудь колдовства, противного законам природы и научным достижениям?

Но Леня меня тотчас разуверил, сказав, что у Фридриха Энгельса в «Диалектике природы» имеются на этот счет веские подтверждения и, между прочим, написано, что сознание есть высший продукт материи, а в жизни все течет, все изменяется. Значит, сознание тоже должно изменяться и производить какой-нибудь материальный продукт...

— Так-то это так,—согласился я, подумав,—но все же на всякий случай не мешает книжечку сжечь, покуда на нее кто-нибудь не заявил. А кожу от книги можно оставить и пустить на подшивку сапог, потому что эта кожа царского производства и ей не будет сносу двести лет.

С этими словами я хотел ее пощупать, но едва лишь прикоснулся, был отброшен в грудь электрическим током на середину читальни.

— Что же ты не предупреждаешь, что книга заряжена током? — рассердился я не на шутку, трясаясь и отплевываясь.

А Леня блесет от смеха и говорит:

— Это, Савелий Кузьмич, не она заряжена, это я заряжен волевой энергией, и сейчас я буду делать над вами научный опыт.

И вот я вижу, что комната опрокинулась, а я стою на руках вниз головою, из меня летят с грохотом ключи, медяки, спички, а пиджак свесился и трет губы. Но, удивительное дело, попав в такую позицию, я не чувствовал ни боли, ни кровяного прилива, ни даже опасения за свои стариковские немощи, точно привык всю жизнь, как чемпион, стоять вверх ногами. И в то же время у меня в сознании ничего не изменилось: я не спал и не грезил, а находился в твердой памяти и в ясном уме, испытывая в душе восторг перед способностью Лени так легко и просто переворачивать человека. И, пританцовывая на руках (так они были сильны и пружинисты), я сказал Лене, что он молодец и что ему не надо больше уговаривать Серафиму Петровну выйти замуж, потому что

теперь он может получить от нее даром какую угодно любовь. А еще он может нажимом волевой энергии вытребовать у директора велосипедной мастерской повышение зарплаты.

— Нет, мне этого мало! — возразил Тихомиров и принял развивать идею, по которой выходило, что его прямая обязанность позаботиться о человечестве.

— Поймите, Савелий Кузьмич, ведь почему нам плохо, вернее — почему нам недостаточно хорошо? Потому что каждый думает, чем бы набить карман. Потому что не перевелись еще, к сожалению, в нашем прекрасном обществе рутинеры и бюрократы, очковтиратели, воры, стилиаги, многоженцы и декаденты. А теперь даже тюрем не надо, чтобы всех исправить и превратить нашу землю в один цветник. Я каждому внушу правильный образ мыслей, я научу их уважать труд и любить родину. Я научу их безгранично повышать свой материальный и культурный уровень...

Я стоял перед ним вверх ногами, развесив уши, и кричал от удовольствия. Стоять так и слушать его речи было наслаждением. Он казался мне высоким-высоким, запрокинутым куда-то назад, в правый верхний угол, и лишь одно я не совсем понимал: зачем он безумно рискует, балансируя на двух ногах, если гораздо проще и приятнее ходить на руках, которые лучше чувствуют точку опоры? Но, наверное, так надо, думал я, наверное, он жертвует своей жизнью ради нас, простых людей, и ему поневоле приходится держать голову на высоте, чтобы смотреть вперед и озирать горизонт... Но, видно, во мне оставалось какое-то сомнение, или его внушающий аппарат был еще не вполне разработан, потому что я оторвал одну руку от пола и, по старой привычке погрозив ему пальцем, сказал:

— Только ты, Ленья, со своей магнетической книжкой не вапади в идеализм!

— Что вы, Савелий Кузьмич! — воскликнул он с живостью. — Да я еще раньше, до всякой книжки, пришел к этим выводам, имеющим строгое научное подкрепление. Теперь мне надо только подкрепить этот магнит таким карманным волновиком-усилителем, который бы посылал мою волю и мысли на далекие расстояния...

И Ленья начал толковать о взаимодействии энергий, о том, что в нашей природе существует ритмическое колебание всех частиц — начиная от вращения Земного Шара и кончая вращением мозговых полушарий. Об этом писали Дарвин, Жюль Верн и граф Калиостро. Оставалось лишь разыскать математический знаменатель этим ритмам и, собрав всю волю в пучок, излучать ее со знанием дела по одной

волне. Я уже не помню технической стороны вопроса, но помню, что примеры, приводимые Леней, звучали весьма убедительно.

Наконец он упрятал книгу в облезлый чемоданчик и сказал:

— Теперь, Савелий Кузьмич, примите свое вертикальное положение и подберите свои вещи, вылетевшие из кармана.

Я встал на обе ноги, слегка оглушенный, растерянный, но даже не поскользнувшись, и подобрал поспешно ключи, медяки, спички.

— А теперь, старик, забудь все, что ты видел и слышал, чтобы не разболтать преждевременно тайну открытия!..

...И я забыл. И про книгу его забыл, и про то, что на руках по полу бегал, тоже забыл. Это уже потом, спустя два месяца, начали у меня восстанавливаться кое-какие штрихи и краски из той картины, которую я тут нарисовал. Да и то, может быть, еще не все во мне восстановилось: как сейчас узнаешь, проверишь? А тогда, в первый момент, мне показалось, что я только-только припелся в читальню после обеденного перерыва, а Леня уже сидит на своем стуле. Правда, я удивился, почему у меня руки грязные, липкие и болят, а в животе ощущаются слабость и тошнота. Пиджак тоже сидел на мне как-то косо. Но в мозгу был полный порядок, и я подумал, помнится, что вот и старость подходит, помирать пора.

Подпыхтел к Лене и вижу, что он тоже сидит какой-то квелый, зеленый и пот со лба носовым платочком утирает. Видать, заучился совсем.

— Что ты, Леня, читаешь? — говорю.

— Да вот, — говорит Леня, — читаю «Диалектику природы» Фридриха Энгельса.

— Ну и что же, — говорю, — Фридрих Энгельс говорит в своей «Диалектике»?

— Он, — говорит Леня, тыча в Энгельса, — говорит, что все в жизни течет, все изменяется, а сознание, говорит, есть высший продукт материи.

— Это он правильно говорит, — говорю я Лене. — Это он хорошо говорит. Ты, Леня, запомни это или запиши на бумажку, что сознание есть высший продукт...

И бряк — в обморок... Очнулся, смотрю — все тот же Леня с испуганным лицом на меня изо рта прыскает. Заботлив он к людям был, наш Леня Тихомиров, уж так заботлив...¹ Он понимал...² Тыфу ты пропасть, опять этот голос из

¹ Не вижу тут никакой заботы.

² Ничего он не понимал.

подземелья!..»¹ Может, и с потолка, откуда мне знать, где вы тут скрываетесь, и вот уже второй раз...² Эй, не слышу! Громче, громче! Как вы сказали?..

— Я говорю — мы с вами знакомы, Савелий Кузьмич.

— Зна-ко-мы? Но я никого не вижу, лишь рука по бумаге выписывает какие-то каракули...

— А помните, мы беседовали на раскопках в монастыре? Помните встречу с профессором?..

— Так вы тот самый профессор?

— Да.

— Ой! профессор! здравствуйте! как поживаете? А я вас не узнал... ведь столько лет... Пойдите, вы уже тогда, в 26-м году, стариком были... Ведь вы, извините, по времени уже помереть должны... Как же так?!

— Всякое бывает, сударь...

— Господи, спаси и помилуй! Владычица!... А перо-то окайнное так и строчит, так и строчит — пальцы не расцепишь... Извините, профессор, вы, случайно, не хвостатым ли будете?..

— Ну зачем же?

— Мало ли зачем... на всякий случай... И не с рогами?..

— Нет-нет, смею уверить — вы заблуждаетесь.

— Как же вас величать-то прикажете?

— Зовите меня по-прежнему — профессором. Не стоит запутывать рукопись посторонними именами, событиями. И так мы с вами уже несколько отвлеклись³.

— Тогда знаете что, профессор, покажитесь мне на минуточку в натуральную величину. Чтоб я не сомневался, что это — вы, чтоб я вас опознал, увидел... Надо же повидаться...

— Нет, это излишне.

— А вы меня видите?

— Зачем мне вас видеть, когда я вами пишу?

— Вы мною пишете?! А что же я делаю?

— Ах, Савелий Кузьмич, какой вы, право, несносный...

Ну хорошо, хорошо, мы с вами пишем совместно, слоями.

— Слойми!

— Да, слоями. Фокусы русской истории требуют гибкости, многослойного письма. Помните — на раскопках, в монастыре, один исторический пласт обнажается за другим: подметки от 18-го века, битые горшки от 16-го? Так

¹ А может быть, с потолка?

²

³ При этих словах я почувствовал, как перо будто дернулось в моей руке, но я его удержал и продолжал гнуть свою линию.

и тут. Нельзя же все копать на одном уровне... Вот вы сами то и дело прибегаете к сноскам, к отступлениям, роете норы, погребка для сохранения фактов. Я вам помогу и часть описаний охотно возьму на себя. То есть писать-то, конечно, будете вы, но мысли через вас потекут совсем из другого бассейна. Не спорьте, мне уже приходилось поправлять и направлять вашу руку, иначе бы вы сбились и заехали Бог знает куда. Ну как вы, например, представили этого Тихомирова? Мудрецом каким-то, волшебником, в то время как ему выпала роль исполнителя, пускай талантливого, я согласен, но всего лишь исполнителя. Ведь не своею же властью он захватил город!

— Чьей же еще?

— Моей.

— Это вы бросьте! Так я вам и поверил! Может, вас-то и нет совсем. Может, у меня от всех переживаний раздвоение в голове началось, и я тут не с вами, не с профессором, а с самим собою разговариваю. Где уж вам над Леной, над русским Геркулесом, командовать!..

— Почему же непременно — командовать? Не лучше ли — одалживать? Нас всех наделяет силами кто-то постарше нас. Вот вы же сейчас пишете при моем участии, во многом индивидуально, однако, с моею помощью.

— Не нуждаюсь я в вашей помощи! Я и без вас могу! Стисну перо крепче и начну-ну-ну сам сын сон, сам-сон, Самсон Самсонович, отпустите, пусть, капуста японская, геркулябия, кулебяка, сколько стоит, без пяти двенадцать сказала королева и самолет с жутким ревом вынырнул из-за леса, из-за леса — леса темного, калинка-малинка моя, в саду ягода-малинка моя...

— Довольно, Савелий Кузьмич, вы же пожилой человек... Вот к чему приводит людская самонадеянность. Так что не будем ссориться и повторять рискованный опыт Лени Тихомирова. Это же смешно — в вашем положении, когда город Любимов почти...

— А ты кто такой, что все критикуешь?.. Ты что — ангел? Господь Бог?

— Ну зачем же?.. Вы сгоряча не понимаете, о чем говорите... Просто мне жаль этот милый город, я тоже здесь обитал, здесь прошли годы моей...

— Одно лето, профессор, одно лето!

— Не только. Мне случалось и раньше бывать в Любимове...

— Что-то не припомню.

— Вас тогда, сударь, на свете не было. Впрочем, чтобы не задавать загадок, моя фамилия — Проферансов.

— Нет, уж позвольте!.. Моя фамилия — Проферансов! Ведь говорил я, говорил — не с вами я, а с самим собой разговариваю... Нахал какой! Не отдам! Все забрали. И город уже чужой, и Леня Тихомиров, и я уже пишу не сам, а под диктовку... Но фамилия остается моей! Моей и ничьей больше. Один здесь Проферансов, один во всем городе... Стойте, прошу прощения, совсем забыл... Может быть, вы *тот самый* Проферансов?

— Да, тот самый Самсон Самсонович Проферансов.

И прежде чем перо выпало из моих пальцев, я услышал в воздухе короткий сухой смешок и написал:

— Хе-хе...

Глава третья

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Я прихожу в этот город на ранней, ранней заре. Когда солнце еще не встало над монастырской стеной и все покрыто серым воздушным слоем, пеленой, туманом, — правильнее сказать, когда любой предмет источает последнее ночное тепло и мерцание, окутывающее его грубый темный костяк наподобие мохнатого кокона.

Мохнатые дома и заборы кажутся выросшими в полтора раза, мохнатые потоки воздуха стелются по земле, и все становится большим и добрым, как в сказке, и все шевелится, и ползет, и расплзается перед глазами, точно нет уже у вещей опоры и власти.

В этот час у людей сон крепок, потому что во сне вещи твердеют по мере того, как снаружи в них убывает сила. С вытянутыми босыми ногами, на спине и на брюхе, люди неподвижны, словно покойники. Но это они лишь с виду такие тихие, а что с ними делается там, внутри, под прикрытием надбровий, куда они удалились спозаранку, вереницами, затаив дыхание?.. Там теперь праздник, беготня, толкотня, кипят страсти, звенят бокалы и какой-нибудь малокровный бедняк верхом на губернаторской дочке совершает в короткий раз мировую революцию.

Вот он вздрогнул, пожевал губами приснившееся пирожное и задышал часто-часто, с надрывом. При взгляде на его бледное трепещущее лицо, на воспаленные жилы, прорезавшие испитой чахоточный лоб, чудится, что сию секунду он

вскинется с отсыревшего ложа и, не размыкая век, шагнет на улицу. Нет, не шагнет. Они не сдвинутся со своих мест, эти босые мертвецы, присосавшиеся к снам. Посмотрите, как бледны, как бескровны их тела. Кровь отлила туда, где сейчас праздны, где справляются свадьбы, поминки, гремят залпы салюта и губернаторская дочка, только шепни ей на ушко заветную просьбу, сама при всех гостях поспешит подставить под тебя фарфоровую вазу.

Спешите, спешите спать! У вас мало времени. Уже крыши на бывшей Дворянской возымели грозный металлический отблеск, уже прогремел вдали первый залп Авроры и красные лихие знамена взмыли над монастырской стеной. Не пройдет и часа, как вы проснетесь нищими, обворованными, в одном белье и, протерев глаза, удивитесь, куда девались все сказки, все твои сладкие грезы и состояния, город Любимов, никогда, даже в свои лучшие времена, не подымавшийся до губернского чина. Заштатный город, уездный город, районного значения город, потерявшийся в оврагах, в болотах, в низкорослых лесах, да и значишься ли ты еще на географической карте или тебя давно вымарали и перекроили на новый лад, по имени какого-нибудь безвестного горюна, выскочившего из болота и пустившегося наутек, в лаптях, через всю Россию, чтобы никогда в жизни не возвращаться назад, в раскулаченную деревню, и, заслужив честным трудом звание генерал-майора, сложить боевые кости где-то под Будапештом?..

Да нет, никто отсюда еще не высказывал, и, может быть, потому так завистливы и затейливы их предрассветные сны. Вы думаете, Любимов иссяк, замер до окончания света, вы думаете, если вы изобрели часы, пулемет и прорубили окно в Европу, то ему уже больше ничего не надо и он не мечтает сам выкинуть фортель и удивить мир небывалой утопией?.. Его бы подкормить, ему бы дать волю, да подать сигнал, да подговорить и поставить на видное место надежного человека, и вы узнаете, что тогда будет... А в самом деле — что тогда будет? Чем удивит, чем порадует этот город, если ему сказать:

— Вставай, довольно спать! День твоей славы настал! Вот тебе сила, которой достаточно, чтобы сны твои сделались явью. На, утоли свою тоску о добром и могучем царе. Я дам тебе полководца, наделенного нечувствительной властью, о которой ты грезишь вот уже триста лет...

Никто не встал при этом возгласе, который почти невольно вырвался у меня, когда я увидел скопище полуодетых, простоволосых домишек — в низине, под ногами, в летар-

гическом напряжении — и похолодел от внезапности моего замысла. Горожане спали, не ведая о переменах, однако дыхание в легких заметно стусилось, поздоровело, на висках проступила испарина, на щеках зацвел маслянистый румянец. Из отверстых ртов воздух хлестал с ревом, с шипением, с присвистом. Казалось, повсюду расставлены большие насосы, перекачивающие запас крови из просторных ночных убежищ на мутную зеркальную поверхность дня. Но отражение было крепче подлинника, и краски, пропадавшие там, зажигались тут с удесятеренной силой. Сны ослабевали, как девушка в объятиях незнакомца. Они теряли достоинство, не понимая, что происходит, и таяли от смущения перед дерзостью соблазнителя. А попутно, вровень с расцветающими затылками, щеками, пятками, выпячивались затвердевшие бугры подушек, уступы сундуков, и вдруг весь город выпростался из тряпья и полез на сторону, кичась объемами самоваров, благородной кожей фикусов, драчливым переигрыванием дерева и бульжника.

Юноша с испытанным лбом выглянул в оконце, улыбнулся своим несуразным мыслям и сказал чуть слышным ломким голосом человека, не вполне уверенного, что он не спит:

— С добрым утром, мой голубь, мой город Любимов!

.....

На вторые сутки после переворота, совершенного Леной Тихомировым, весть о катастрофе достигла города N-ска¹. Принес ее одорукий беглец, поднявший чуть свет заспанного, продрогшего до мозга костей дежурного лейтенанта, который немедля, на собственный страх и риск, позвонил на квартиру подполковнику Алмазову и внятным шепотом, как принято, доложил обстановку:

— Говорит дежурный лейтенант «Б-восемь-дробь-четыре». В Любимове началось токование медведей!

— Что началось? Какое токование? — переспросил подполковник, не улавливая спросонок телефонного шифра, который он сам выдумал и ввел в служебное пользование, для соблюдения условий максимальной секретности².

— Медведь чирикает по-калмыцки. Пора резать горло. Прибыл утопленник на санях, требуется впрыскивание... — рапортовал дежурный с трагическим бесстрашием, и Алмазов понял.

¹ Областной центр. Находится в ста километрах от Любимова на скрещении Энской железной дороги с Энским шоссе

² А на весеннюю тягу он давно собирался съездить, да вот опять не привелось!

— Задержите уопленника. Сейчас приеду и разберусь лично,— крикнул он в трубку.— Софи, где мой водолазный костюм? Ragdon! Я хотел сказать: где мой револьвер?..

...В тесном кругу, в четырех стенах, облицованных дубовой панелью, состоялось строго секретное, коллегиальное совещание: товарищ О., товарищ У. и подполковник Алмазов. Запыленный Марьямов, однорукий беглец, унесший ноги из города, зараженного безумием, молот чужь. Из его сообщения следовало, что в Любимове разразилось восстание, которое, однако, избрало законный и мирный путь. Сам городской секретарь, железный Тищенко, передал власть проходимцу. Автономия в районном масштабе уподобила Любимов старорусскому удельному княжеству типа «Люксембург». Отложившаяся провинция ничего не желала кроме как подать пример скорейшего достижения будущего, ради которого вся страна выбивалась из сил.

— Ну а политические выступления были: что-нибудь насчет крупы, колбасы? — выпрашивал подполковник незадачливого очевидца.

Марьямов развел рукой.

— Насчет колбасы ничего не замечено. Тихомиров все больше хлопочет о поднятии мирового прогресса...

Тогда товарищ О. (вышитая рубашка, лысина во всю голову, улыбочивые голубые глаза, его побаивался сам подполковник Алмазов) проникновенно сказал:

— Елки-палки, тебя послушать, любимовские подонки заслужили фотографию на доске почета. А главаря следует наградить орденом, елки-палки. Но вот передо мною воззвание, отправленное по телеграфу вражеской агентурой и доставленное мне с опозданием на 24 часа, потому что нашему подполковнику было недосуг заниматься расследованием, да и праздники подоспели, охота на перепелок, спиннинг, елки-палки, мы тоже понять можем, хотя иностранному языку с детства не обучались¹.

Товарищ О. развернул телеграмму, завалывшуюся на почтамте, и прочитал:

¹ Diab!e! — воскликнул мысленно подполковник при этом намеке на его дворянских предков и близкое знакомство с французским языком.— Опять осечка! Опять эта лысая черепаха обскакала меня на два дуплета. А я-то думал его подсечь известием о попустительстве Тищенко. Его ведь ставленник, черепаший питомец, провалившийся секретарь. Снял с себя полномочия и выдал ключи от города. Тихомиров — Тищенко — товарищ О.— о! какая цепь заговора! какая охота началась бы в старое доброе время с подсадными утками, hélas!

— «*Всем. Всем. Всем*».

Кожа по его голове перекатывалась волнами. Морщины одна за другой убежали от переносицы к темени и там собирались в тяжелые толстогубые складки.

— Что значит «*всем*»? Если они обращаются ко «*всем*», то значит — им лобы-дороги *все* помещики и капиталисты, *все* недобитые князья-бароны и поджигатели холодной войны, включая римского папу, который только ждет удобного момента, чтобы упиться кровью трудящихся масс... Читаем далее: «*Свобода граждан охраняется законом*». Как это понимать — «*свобода*»? Кому «*свобода*»? Куда, зачем, какая требуется «*свобода*» в свободном государстве?! Значит, им нужна *свобода* продавать родину, торговать людьми оптом и в розницу, как при рабовладельческом строе, *свобода* закрывать школы, больницы и открывать церкви по указке Ватикана и жечь на кострах инквизиции представителей науки, как они уже сожгли однажды Джордано Бруно... Не выйдете! Не позволим! Слышите, гражданин Марьямов, не позволим!! Слишком много захотели, елки-палки!..¹

По мере того, как товарищ О. проникал в тайные замыслы любимовских изуверов, его волнение возрастало. С ним случалось такое: начнет говорить вяло, через пень-колоду, с усилием припоминая слова из последней брошюры на международную тему, но стоит этим словам прозвучать, — товарищ О. под их впечатлением возбуждался, вскипал и порой до того договаривался, что принимался стучать кулаком, визжать и топтать ногами, сам не понимая по какому поводу.

— Ужасно я подверженный красноречию человек, — сетовал он, бывало, по прошествии кризиса. — Скажу несколько слов о происках Ватикана или о борьбе за мир во всем мире, и меня от этих слов как бы ярость охватывает. Всех бы, кажется, растерзал...

Так и теперь: не успел оратор дойти до намерений инквизиции открыть в Любимове церкви, как слушатели подняли плечи и опустили головы. Даже товарищ У., утвердительно кивавший после каждой фразы, кивал, не глядя ему в лицо. Следить за этой мимикой ни у кого не хватало духу. Нет, оно не было свирепым, это лицо, сохранявшее черты природного добросердечия и того безобидного детского самодовольства, какое свойственно простолюдину,

¹ Придется Марьямову вклеить строгий выговор за проявленное ротозейство, — подумал подполковник Алмазов. — Сам виноват, прошляпил заговор, à la querre comme à la querre.

располневшему на кабинетной работе. Но лицевая сторона у товарища О., покуда он говорил, постепенно переезжала на лысину и, не найдя места среди кишащих складок, поползла дальше по черепу, захватив бровями верхнюю часть затылка. Порвись какая-нибудь последняя связка, удерживающая на голове оболочку, и свежий комок морщинистой ткани шмякнулся бы к ногам подчиненных. Они ждали и страшились этого мига, чувствуя, что судьба их висит на ниточке и стоит выступающему дернуться посильнее, — все полетит прахом...

Однако и на сей раз состояние напряженности не привело к роковому исходу. Разрядил обстановку однорукый Марьямов, сумрачно сидевший в углу, пока товарищ О. разбирал по складам телеграмму и его, Марьямова, шальные сведения о вожде мятежного города. Грязный, оборванный, заросший щетиной (полдня он провел в болоте, хоронясь от погони, а после без передышки пробежал сто километров и был возле N-ска подобран попутным самосвалом), этот злополучный свидетель районного переворота неожиданно подал голос:

— Не откроет он церковей,— пробормотал Марьямов, пользуясь ораторской паузой.— Насчет капитализма или свободы — это как вам желательно, а вот христианскую религию, будьте спокойны, Леня возобновить не захочет. Уж это я твердо знаю — не захочет...

— Что ты мелешь? почему не захочет? — удивился товарищ О. дерзости низового работника, посмеявшего перебить его выступление грубой репликой с места.

Но в душе он был доволен помехой, потому что успел вернуть лицу нормальное расположение и, ощущывая себя, сожалел, что поддался припадку речи, которая вредно отражалась на его сосудистой деятельности.

— Не будет Леня церковей открывать,— повторил Марьямов, тупо глядя в пол.

— Ну-ну, говори, не бойся! Что ж, по-твоему, этот Леня Бога не признает?

Обычное, насмешливое, миролюбивое выражение промелькнуло в глазах областного руководителя. Товарищ У. и Алмазов с облегчением расправили спины.

— Да говори же ты, не бойся,— подтвердил товарищ У. и тоже пошутил: — Почему ваш Тихомиров в Бога не верует?

— А потому...

Марьямов встал, сделал шаг, споткнулся, выпрямился, и они увидели, как он стар, измучен и однорук.

— А потому, что Леня Тихомиров — колдун! Антихрист! Ему бесы помогают...

И воздев свою единственную руку, Марьямов широко, истоиво перекрестился.

...Когда его увели, подполковник сказал дежурному:

— Поместить в изолятор. Никого к нему не пускать до особых распоряжений. Старик немного свихнулся, но это пройдет...

И чтобы как-то смягчить бестактность своего подчиненного, он добавил, обращаясь к высоким гостям:

— По моим данным, Марьямов потерял левую руку в юности, на антирелигиозной работе. Возможно, эта травма произвела теперь обратную психическую реакцию. Что поделать! Нервы, нервы! Таков бич нашей опасной профессии...

Алмазов двумя пальцами погладил седую прядь, искусно оттенявшую глубокий бархатный тон его прически и маленьких мушкетерских усов. По счастью, товарищ О. не обратил на это внимания. Но товарищ У., у которого были все условия для шевелюры и который мог бы иметь еще более тесный контакт с женским населением N-ска, если бы не брился наголо из сочувствия к товарищу О., вздохнул и отвернулся.

— Елки-палки!

Голосу О. окончательно вернулись спокойная деловитость и демократическая простота.

— Вражеская пропаганда заразила ваших сотрудников. Вам надлежит, подполковник, лично понюхать эту задницу. Поедете в Любимов с отрядом. Десяток-другой молодежи можно призначать у милиции. Снаружи никаких менструаций. Культурненько. Шляпы, галстуки, как в ресторане. Прогулки по свежему воздуху. Деткам захотелось на травку. Пукать из пистолета нэ трэба, пока не подопрет. Пару пулеметов все ж таки прихватите, могут пригодиться. Тихомирова и других крикунов без шума вывезти. Восстановить тюрьму. Восстановить телефонную связь с N-ском. Однако — без репрессий. Не наломайте дров. Дисциплинка. Законность. Девок за сиськи трогать разрешаю, но больше ни-ни. Чтoб никаких последствий культа личности. Даю на всю дезинфекцию 24 часа и желаю успеха. Товарищ У. — ваше мнение?

— Я, товарищ О., совершенно с вами согласен. Могу от себя добавить по вопросу, как вы остроумно выразились — хи-хи, — менструаций. Не взять ли им в дорогу рюкзаки, удочки, щипковые инструменты, баян?.. Ведь мероприятие сугубо гражданское, по сектору спортивных, культурно-массовых развлечений. Вылазка на природу. Пикничок. Песни и пляски. И чтoб никаких последствий культа личности!

...В полдень к автобусной станции протопала рота парней — в черных, застегнутых наглухо, несмотря на погоду,

пальто и в черных же, низко надвинутых, покоробленных шляпах. Из-под шляп оттопыривались здоровенные крестьянские уши. Каждый сжимал в одной руке чемодан, в другой — балалайку или рыболовную снасть. Сбоку, по тротуару маршировал Алмазов — в гетрах, с рюкзаком, в пробковом охотничьем шлеме.

— За-певай!

Красноухий тенор из первой шеренги запел:

Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши жены?..

— Наши жены — ружья заряжены! — подхватил, было, хор и осекся.

— Ты что, Соловьев, забыл команду?! — процедил сквозь зубы Алмазов. — Запевай лирическую!..

Соловьев неуверенно запел:

Не шей ты мне, ма-а-а-тушка,
Красный сарафа-а-ан...

Сбиваясь с ноги, рота подошла к станции. В сторонке же ожидали три городских автобуса.

— Стой! Смирно! Справа по одному — за-гружайсь!

Стука чемоданами, роняя шляпы, певцы полезли в машины и, как боги, разместились на мягких пассажирских подушках.

За углом свора старух обменивалась новостями:

— ...А в чемоданах — у них, девушка, ружья заряжённые, пистолеты... Два пулемета, два пулемета — мне точно известно!.. Баб ниже пояса касаться не велено... В Любимове чудотворная явилась... Епископ Леонид... Не епископ он, а блаженный, юродивый — Ленья... Церкви открывает! церкви открывает! церкви открывает!.. Помогите ему, Господи! Даруйте ему, Господи, победу над войском сатанинским, над войском антихристовым!..

.....

В Любимове тем часом не прекращалось гулянье в честь Леонида Ивановича и его молодой супруги. С утра они расписались, и эта свадьба упала, как манна небесная, на вольный город, лишь ожидавший сигнала продолжать праздник и закрепить победу веселым пиром. По правде сказать, и 1-го и 2-го мая тоже не сидели без дела и начали-таки закреплять, как смогли, красную дату и новую эру. Да за всеми переворотами не успели распробовать, и потом — кто считает? Уж раз Леонидом Ивановичем установлена

свобода в Любимове, то как же ее не отметить наилучшим образом, и зачем нужна свобода русскому человеку, если нет ему воли погулять да повеселиться всласть, на погибель души, на страх врагам, так, чтобы перед смертью, которая никого не минует, было что вспомнить?

Не любят русские люди мелочничать по углам, в одиночку, кустарным способом, в час по чайной ложке. Пускай так пьют алкоголь: американцы в Америке, французы во Франции. Они пьют, чтобы напиться — для затуманивания мозгов. Напьются, как свиньи, и — спать. А мы употребляем вино для усиления жизни и душевного разогрева, мы только жить начинаем, когда выпьем, и рвемся душою ввысь и возвышаемся над неподвижной материей, и нам для этих движений улица необходима, корявая провинциальная улица, загибающаяся черным горбом к белому небу.

И потому Леонид Иванович с Серафимой Петровной, выйдя из загса на улицу, ее не узнали. По проспекту Володарского, насколько хватал глаз, тянулись столы, убранные скатертями и заставленные чем Бог послал, не очень уж богато. Все же кое-чего поднасобирали: и пироги, и капуста, и студень, и злодейка с наклейкой там имелась, потому что хозяева ради такого случая пустили на угощение все, что было за пазухой, следуя старинному правилу, про которое сказано в одной поговорке: «раз пошла такая пьянка — режь последний огурец».

Однако никто не пил, не ел, а все сидели наготове под открытым небом, на чистом воздухе, ожидая, когда молодые соизволят зарегистрироваться. Едва они появились на пороге загса, их встретила депутация городской общности, поднесшая в знак изобилия каравай на салфетке и две граненые рюмки для затравки. Поздравили, пожелали успеха в совместном жизнеустройстве. И никаких выкриков с мест или пошлых намеков на их супружеские естественные потребности, или глупых прибауток языческого происхождения — было не слышать. Все носило, как предписано, вполне культурную форму: скромно, просто, но с достоинством.

Да и виновники торжества держались так просто, как если бы они были обыкновенными людьми. Леонид Иванович ограничился перчатками мышинового цвета и бумажной хризантемой в петлице. А Серафима Петровна даже не потрудилась осуществить к свадьбе подвенечное платье, обозначающее целомудрие, и воспользовалась светленькой шерстистой кофточкой, да захватила для приличия расписной зонтик, который придавал ей сходство с королевой на прогулке. Она, как принцесса, выступала под руку со своим

принцем и поминутно оборачивала к нему влюбленный профиль.

— Леонид, смотри: каравай! И на подносе две рюмки. Bravo! Bravo! Это так по-русски! Ты должен со мною публично чокнуться и поцеловаться на брудершафт...

В предвкушении поцелуя она страстно расхохоталась. Но Леонид Иванович рукою в перчатке поднял рюмку, понюхал, критически поморщился и поставил обратно.

— Дикари! — сказал он грозно. — Что вы туда нацедили? и почему я не вижу вокруг плодов изобилия? Водка и огурцы! Позор! Что скажет Европа? Позвать ко мне завмага, завсклада и завресторана!..

Те уже стояли, подобрав животы, и тотчас подали рапорт о случившейся недостатке. Недоставало хмельного. Не было крупы, колбасы, кондитерских и консервных изделий, масла и мяса. Рыбы тоже не было. Комбижир подходил к концу. В балансе пищеграста образовался дебет.

Хотя, пронзенный взглядом Леонида Ивановича, заведующий магазином тут же повинулся в слезах, что утаил от народа ящик туалетного мыла и два ведра тянучек «Пограничник в дозоре», эта капля росы все равно бы всех не спасла: на складе сохранились нетронутыми лишь запасы минеральной воды харьковского посола да третий год лежал без движения импортный перец в банках, такой на вид краснокожий, что взять его голым ртом ни у кого не хватало смелости. А еще оставались спички, зубная паста, деготь и полезный от малокровия витамин «Це»...

— Все раздать населению! бесплатно! за мой счет! — приказал Леонид Иванович оробевшим снабженцам. — Ну, что стоите? Народ праздновать хочет. У народа проявилась потребность выпить за Серафиму Петровну, которая нынче сделалась моей законной женой. Прошу любить и жаловать... Сегодня — я угощаю! Я накормлю город...

По его лицу пробежала мысль, похожая на судорогу.

— Подать бутылку харьковского напитка, застрявшего на складе без внимания публики. Доктор Линде, снимите пробу, чтобы все убедились в ее химическом вкусе!

Доктор Линде отделился от свиты, сопровождавшей Леонида Ивановича, и накапал столовую ложку харьковской минеральной воды, которая, как всем известно, размягчает стенки желудка, но не дает утоления уму и сердцу. Сотни глаз внимательно следили за тем, как доктор, вытянув шею и растопырив усы, глотает пробу. Он глотнул, поперхнулся, облизнул ложку, подумал и воскликнул изменившимся голосом, не допускающим фальсификации:

— Это — не вода для желудка... Не минеральный напиток... Это — самый чистый медицинский спирт!..

Да! случилось чудо: вода превратилась в спирт. То есть на самом деле, где-то в глубине существа, она как была водою харьковского производства, так и осталась ею по своему фабричному качеству. Но изменились ее роль и место в жизни общества, ее воздействие на чувство выпивающего человека. Под воздействием Леонида Ивановича каждый выпивающий испытывал в душе полноценное ощущение жгучести и сотрясение в организме и, потрясенный, продранный до нижнего позвонка, говорил, выдувая воздух: — Ф-ф-ф-у! Вот так штука капитана Кука. Жгется, словно огонь, а во рту такое чувство, что расцвели розы. Такую красоту просто жаль заедать гнилым огурцом. Ей подобает семга, балык, поросятина. А еще было бы слаще, еще впечатлительней пустить ей вдогонку ломтик мелкокалиберной краковской колбасы довоенного образца, от которой — при одном воспоминании — слюна слипается, как сметана, и внутри все скользит, язык съешь!..

И вот не успели стихнуть пожелания трудящихся, как столы покрылись роскошью сказочной сервировки. Неизвестно откуда ниспосланная перемена блюд произошла так внезапно, что человек с огурцом в зубах вдруг чувствовал всеми фибрами непреодолимый колбасный привкус и, не веря себе, выплевывал огуречный огрызок на скатерть и вопил, как зарезанный:

— Батюшки — колбаса! Родимые — колбаса!

Люди ели и плакали, и гудели набитыми ртами похвалу доброте и щедрости Леонида Ивановича. Рубленая капуста походила на буженину, картофель в мундире не уступал бархатистому персику. Но особенную аппетитность имел краснокожий перец в банках, превосходящий цветом и сочностью жареную говядину. Эта мясная новинка появилась в таком избытке, что иные кутилы на радостях ее уже и собакам под стол метали, да только зря пыжились и переводили продукт. При виде красных обрезков городские псы отворачивались и поджимали хвосты — волчья порода...

— Ешьте, друзья, пейте и ничего не бойтесь, — приговаривал Леонид Иванович, делая рукою в перчатке широкий жест. — У меня провианта на десять лет заготовлено. Каждому по потребности...

В паре с Серафимой Петровной, в окружении доверенных лиц, он двигался вдоль трапезы церемонной походкой и всюду вносил бодрое, жизнерадостное настроение. Там подбросит в тарелку порцию баклажанной икры, здесь

создаст условия к танцам под звуки вальса, этого приструнит, того подтянет,— и все это едва заметным кивком головы, движением бровей, не прикасаясь руками.

Ему для управления городом не было необходимости самому следить за порядком и разрываться на части. Службу связи несли дети, наученные патрулировать стаями и врассыпную по улицам, что сообщало делу контроля дух игры, пробуждавшей детскую ловкость и любознательность. Два десятка юных разведчиков, рассаженных по чердакам, вели наблюдение за городскими окрестностями. Другие в роли гонцов доставляли факты, вызванные трением общественного колеса.

— Дядя Леня, дядя Леня, на Гурьевом огороде тетю Дашу Голикову чужой мужик лапает! — доносил с разбегу резвоногий связист.

И тотчас получал в награду конфету «Пограничник в дозоре», либо питательный шарик витамина «Це». А в направлении дальнего Гурьева огорода летел укоризненный взгляд Леонида Ивановича, и одного молниеносного взгляда, посланного туда, было довольно, чтобы остановить безобразие. Чужой мужик, спяну напавший на незащитную Дашу, выпускал из лап ее слабое тело и говорил, отступя:

— Извините, мадам, мое некрасивое поведение. Больше это никогда не повторится, клянусь вам своею честью!..

А вырванная из пасти у льва девушка, вместо того чтобы устраивать базар, отвечала со скромностью:

— Ничего, ничего, пожалуйста... Я даже не успела заметить... Вот, если хотите, мой адрес и фотокарточка.

И могущий получить скандал кончался ничем.

— ...Леня, прикажи для старушки подать астраханскую воблу, давно я не ела воблы! — прокричала одна старушка, выпрыгнув на середину гульбища.

Она была нетрезва, эта боевая старушка, в подоткнутом сарафане и громоздких, искривленных, как вспаханная земля, сапогах, которые удерживали ее за ноги, не позволяя взлететь, и она в сапогах раскачивалась, как деревцо на ветру, и, хныча, просила воблу, без которой и жизнь ей была немила и смерть не манила.

— Ладно, Матрена, будет тебе вобла, — пообещал Леонид Иванович и хотел было ткнуть взамен какую-нибудь хлебную корку.

Но вобла в наших местах такая редкая птица, что требует заменителя, который бы выделялся на общем фоне, словно купчиха на паперти. Он достал из кармана тюбик зубной пасты.

— Где ж у ней голова, пузырь? — изумилась старуха.

— Дура, это — паста! Говоря простым языком, вобловое тесто. Без костей, без пузыря, одна мякоть. Видишь, написано: «Зубная паста». Для беззубых. Для таких, как ты!

Он сам отвинтил тюбик и выдавил густую спираль, сам размазал: на, старая, жри, соси, наслаждайся и помни Леонида Ивановича!

В его глазницах пролегли палевые тени усталости. Чело, увитое струйками пота, жестко поблескивало. И чем разгульнее становилось вокруг и ширилось людское довольство, тем крепче сдвигались брови у властелина города и, как ножницы, вперялись в толпу серые косые глаза¹. Он один посреди пира был угрюм не ко времени, все посматривал на часы и все поддавал жару, точно спешил сыграть свадьбу до наступления сумерек.

— Объявляю: в течение тридцати минут по реке Любимовке потечет шампанское. Высшей марки. «Советское шампанское». Кто никогда не пробовал — про вкусноту и аромат расспроси у соседа. Не пугайтесь, это — новое достижение техники. Я перекрою русло, и вино польется рекой. Запомните: удовольствие — ровно 30 минут. Засаекаю время. Идите и пейте! Стойте! Не все скопом! Вы передавите друг друга, скоты! Детей поить запрещаю. Инвалидам — вне очереди. Черпать стаканами. С ногами в речку не лазить, а то потонете. А ты куда, Савелий Кузьмич? Назад! Воротись немедленно! Твое место здесь, подле меня, рядом с доктором Линде.

— Да я, Леонид Иванович, думал хлебнуть разочек, испытать, какое счастье в нашей тухлой речонке, и бежать обратно к вам, как вы велели, — отвечал Савелий Кузьмич, подавшийся, было, вслед за темной массой, забыв о долге и титуле главного историографа.

— Что ж, я хуже других? — продолжал он, кивая на берег, откуда уже доносились веселый плеск и гогот и летели под облака оранжевые брызги шампанского. — Разрешите отлучиться на две минуты. Товарищ Тихомиров! Государыня, Серафима Петровна!.. Все пьют, все пьяные. А разве ж я — не человек?²

— Человек, человек... — пробормотал Леонид Иванович и прикрыл веки.

¹ Еще бы! за нашим народом нужен глаз да глаз.

² Враки! Не было этого! Я сам не захотел. И потом — почему обо мне, на моем же месте говорится неуважительно — «он»? Разве я не человек?

На мгновение ему показалось, что все перед ним крутится, словно на карусели. Должно быть, подумал он, торопливое опьянение этих слабых, наивных и невежественных людей заразило меня. Или я один попал под свой гипноз, а все они здоровые, трезвые, и только мне, захмелевшему от безумной мечты, представляются вереницы столов по городу, и возгласы на реке, и эта свадебная прогулка, и легкая победа над сердцем женщины, еще недавно такой равнодушной к моим искренним уверениям...

— На тебе лица нет! — ужаснулась Серафима Петровна, не сводившая нежного взгляда с молодого мужа. — Выпей что-нибудь. Мы подкрепимся вместе. Я сама приготовлю пастеризованные бутерброды...

И она взяла с лавки трубочку зубной пасты, недоеденную старой Матреной.

— Не смей! — закричал Тихомиров и — пришел в себя. — Мы поедим дома, — добавил он спокойнее, окидывая косым глазом поредевшую свиту. — А теперь, товарищи, пройдемся к монастырским руинам и посмотрим на панораму сверху вниз. Тут слишком пахнет. Шампанское выделяет пары... Но нас, руководящих и доверенных лиц, нас не тянет, нам не хочется, не должно хотеться, понятно?!. Тем более тебе, Проферансов, не пристало бегать, как маленькому, за вином и за водкой. Пора отвыкать¹. Твоя задача писателя, городского историографа — неустанно изучать действительность в ее неуклонном развитии и давать каждому факту правдивое отражение. Будь нашим зеркалом, нашим Львом Толстым, которого ведь недаром прозвали в народе «зеркалом революции». Взгляни вокруг себя, проникнись окружающей жизнью и потом отрази ее выпукло в исторических мемуарах...

Город лежал перед ними, как лоскутное одеяло, перебуторенное и брошенное в вакхическом беспорядке. Красные флаги и скатерти, малиновые сарафаны, подбитые ветерком, спорили с озимой зеленью сельского хлебопашца, которая с вышины небес вклинивалась в ложбину, рассекая надвое железную голизну кустарника. А если еще учесть излучины и рукава реки бутылочного цвета, облепленные там и сям рядами горожан, да прибавить к ним искривление улочек, тупиков, задворков и съехавшую набок церквушку с провалившимся куполом и ворохом воронья, полинялое кладбище в мелких крестиках и желтый гроб больницы по соседству с кряжистой темно-бурой тюрмой, пустырь в мусоре и безлюдный проезжий тракт, блистающий на раздолье серебрис-

¹ С тех пор я пью только пиво.

тыми змейками непросохшей грязи, плюс каланча на выгоне, заборы, возня собак, плюс гармоника с придурью, кудлатый дым из трубы и над дымом — мчащиеся, будто кони, круглогривые облака, — если, повторю, все это сложить вместе и как следует стасовать, то мы получим картину, открывшуюся взорам нашей изумленной публики.

— Картина, достойная кисти живописца! — объявил Проферансов и перевел дух. — Сбылась, исполнилась вековая мечта народа. Вот они — молочные реки и кисельные берега! Вот оно — Царство Небесное, которое по-научному правильнее называть скачком в светлое будущее. Никогда еще в истории человечества не было такой заботы о живом человеке. Никогда еще...

— Благодарю, достаточно, — прервал его Тихомиров и потрепал по плечу. — У тебя, старина, неплохой слог. Запиши на бумажку, потом покажешь.

Он сделал знак приближенным удалиться на сорок шагов и оставить его вдвоем с прекрасной Серафимой Петровной.

— Видишь ли, дорогая, было бы нежелательно, чтобы Савелий выбалтывал запросто мои мысли. Но то, что он говорил тут по внушению свыше, недалеко от истины. Помнишь, я тебе обещал подарить, — ни много ни мало — город Любимов? Нет-нет, ты не можешь отказываться от свадебного подарка... Вот он лежит покорный у наших ног. Покорный и одновременно — представ! — свободный, вольный город и в придачу — счастливый город, потому что я, я! регулирую все его помыслы и желания. Эти люди бесплатно пользуются редкой пищей и вином, которое к тому же безвредно для их здоровья, и не испытывают чувства зависимости, угнетения, а полны доверия к нам и детской любви. Я мог бы их заставить таскать на спине кули и рыть каналы орошения, но — не хочу. Я снисходителен даже к слабостям моих сограждан. Отныне у нас в городе не должно быть голодных, больных, печальных. И первым долгом ты скажи мне — ты довольна, ты счастлива?

— Да! — прошептала она, склонив личико, миловидно порозовевшее, к нему на грудь, которая высоко вздымалась.

— Я так счастлива и благодарна, что мы наконец соединились, дружочек, и ты назвал меня своею перед целым городом¹. Но к чему мне город и весь мир, если тебя нет? И как могла я — не понимаю — быть когда-то такой

¹ А ведь мог бы, кажись, не делать этого шага и получить от нее даром какие угодно услуги!

жесточкой и так долго недооценивать твою гениальность, ум, доброту и внешнюю привлекательность?! Ах, Леонид, ах, я просто вся таю...

И она хотела обвить его шею своими гибкими ручками.

— Подожди! — Леонид Иванович порывисто отстранился. — Смотри: бегут связные... Сразу двое... Что-то случилось!.. Ну, что там у вас опять стряслось — говорите скорее!

— Дядя Леня, дядя Леня, на Дятловом поле, тут недалеко, чужой человек помер...

Тихомиров нахмурился:

— То есть как — помер? Это что за новости? Кто позволил? Или... может быть... ваш человек болел чем-нибудь неизлечимым... Стар был?..

— Нет, не старый, — докладывал разгоряченный подросток. — Мужики говорят — с перепою. Наглotalся спирту. Даже, говорят, не размешивал, прямо так пил...

Кольцо любопытных разжалось, пропуская начальство. Доктор Линде, стоя на одном колене, спрятал дудочку в карман и развел руками.

— Финис, — сказал он, — финис. Медицина бессильна. От парня разит, как из бугылки, которую я дегустировал, и могу подтвердить: довольно двух литров этой замечательной жидкости, и вы получите самый чистый, моментальный финис. Клапаны не выдерживают.

— Брось трепаться, — хотел возразить Леня. — Мне-то известно, сколько градусов в харьковской минеральной водичке. Спирта в городе не сыщешь даже по рецепту...

Однако не возразил, лишь осведомился:

— Чей это человек? Кто его знал прежде?

Никто не знал.

Человек лежал на земле, расставив ладонки, будто Иисус Христос. Видать, его пытались откачивать, да так и бросили, перевернув для опознания на спину, кверху носом, и черты его, не успевшие помутнеть, а в особенности голубая, неугасимая майка-футболка и брючки в елочку (одна брючина вздернулась, и были видны тесемки нехитрых пролетарских кальсон) — вызвали чувство обидного нищенского равноправия перед хозяйственной расторопностью скорой на руку смерти. Но вмешаться и проверить, правда ли от покойника, как заявил доктор, пахнет спиртом, Леня почему-то не смел и все разглядывал брючки и парусиновые ботинки, обутые на босые грязноватые ноги.

— Ведь это, Леонид Иванович, вчерашний вор из тюрьмы, — догадался Проферансов. — Вы же ему вчера сами даровали амнистию вместе с тремя другими вредными паразита-

ми. Не наш он, не городской, и к нам в тюрьму затесался, может, по дороге в Сибирь. Зря его выпускали! стрелять таких надо, вешать!..

— Так вот ты кто? — вырвалось невольно у Лени, и арестант в голубенькой маечке ожил в памяти.

Сперва он вяло поплеывал и тянул: «Начальничек, дай закурить... Начальничек, вели выдать харчи за праздник... Причитается, начальничек...» А затем громко и внятно, словно читая статью в газете, поведал, как в Мелитополе посчастливилось ему у буфетчицы подцепить золотые часы с браслетом, о чем он сожалеет и готов исправить свой необдуманный поступок и закоренелый характер...

— Будьте людьми! Не воруйте, не убивайте, не поддельвайте документов и не совершайте других преступлений, роняющих ваше высокое человеческое достоинство,— уговаривал их Леонид Иванович у распахнутых тюремных ворот.— Помните: человек — это звучит гордо!..

— ...Что ж ты, чудак-человек? — мысленно продолжал он беседу с оплошавшим воспитанником.— Выпустили тебя из тюрьмы, подарили жизнь и свободу, пригласили за общий стол, сделали человеком, а ты вместо этого напился, как свинья, и умер, испортив всем нам хорошее настроение. Выходит — было бы лучше сидеть тебе под замком, на нарах, да играть в картишки с товарищами, да пить из-под полы покупную горькую водку, втридорога переплачивая неговорчивому тюремщику, и дни бы твои, чудак-человек, текли без труда и заботы? Так получается? Что ж ты теперь прикажешь всех посадить за решетку и следить в глазок, чтоб не откололи новый номер? Нет, погоди, не возражай... Свободы тебе захотелось? Какой же еще свободы, коли ты получил ее больше, чем вдоволь? Свободы от собственной жизни, от своего ума и губительной человеческой плоти, которая, когда выпьешь, становится легка и воздушна, так что кажется, будто ты высакиваешь из себя и витаешь вокруг тела, словно какой-нибудь дух. Ну, что — выскочил? Свободен ты теперь?..

Он присел на корточки и, поборов отвращение, наклонился низко ко рту мертвеца. Оттуда ничем не пахло.

— Да,— вымолвил Леня в некоторой задумчивости.— Да. Может быть, ты и прав. Я что-то недоучел...

— Леонид,— послышалось сзади воркование Серафимы Петровны,— я тебя прошу... Эту смерть могут принять за дурную примету. Пожалуйста, воскреси его...

Тихомиров вскочил, лягнул зубами, черный, ощерившийся:

— С ума вы все посходили! Я вам не чудотворец!

— Но для меня, для моего спокойствия, ты мог бы что-то сделать?..

Что он мог бы сделать — осталось неизвестным. Сигнал боевой тревоги возвестил, что пришла беда, вблизи которой выходка дорвавшегося до жизни пропойцы мигом была забыта. Часовые на чердаках с четырех сторон света рвали уши горожан горластыми пионерскими горнами.

— Тревога? Наконец-то! — воскликнул Леонид Иванович, взбежав на вершину холма и пожирая глазами окрестность. — О завистники-рутинеры! Я давно ждал нападения. Хорошо, что не ночью. По крайней мере сейчас противник отлично виден.

По дороге, выходящей среди полей, медленно пробирались к Любимову подозрительные автобусы. Не отнимая бинокля, Тихомиров вполголоса посылал населению отрывистые приказы:

— Прекратить гуляние! Всем протрезветь, подтянуться, оправиться, убрать с улиц столы, посуду, снять флаги. Возможно, город начнут обстреливать. У кого слабые нервы — ложитесь спать. Разведчикам вести с чердаков круговой обзор. При появлении новых машин, конницы или пехоты докладывать лично мне.

Савелий Кузьмич Проферансов, припадая к земной поверхности, короткими перебежками добрался до командира и укрылся у него за спиной.

— Эх, Леонид Иванович, — прошептал он задыхаясь, — напрасно вы давеча велели утопить револьверы в глубине реки. Из чего мы будем стрелять? Из чего дадим достойный отпор агрессору, посмевавшему сунуть свое рыло в наш огород? Говорил ведь вам: рано вы затеяли всеобщее разоружение. Вот увидите — проиграем баталию.

Автобусы один за другим скатывались в ложбину, огибая полосу темного, как мокрое железо, кустарника. От города их отделяло не более трех километров сравнительно ровного тракта. Тихомиров, прильнув к биноклю, не шевелился. Лишь подрагивала спина, да взбрыкивались в голосе истерические ноты восторга:

— Без паники, Савелий, без паники. Мы не хотим проливать кровь. Довольно трупов! Пусть внезапная смерть опьяненного тунеядца в истории нашей борьбы послужит единственной жертвой навсегда минувшей эпохи. Что ты дергаешься, как фигляр, у меня за спиной? Уйди, старик. Не нервируй. Ступай к себе на квартиру. Все ступайте. Заприте двери, заложите окна подушками и сидите. Представьте, что

вас — для вашей пользы — временно поместили в тюрьму. Скажите Серафиме Петровне: пусть приляжет и ни о чем не волнуется. Марш по домам! Слышали? Оставьте меня одного, дайте сосредоточиться. Я не нуждаюсь в помощи...

У подножья холма Савелий Кузьмич обернулся. Тихомиров стоял, прижавшись спиной к выщербленной монастырской стене. Глаза его, устремленные вдаль, за городскую черту, казалось, посылали в пространство грозные синеватые вспышки. Если бы было темно, они бы, верно, горели, как горят зрачки диких зверей во мраке ночи. Но солнце, нырявшее посреди белых облаков, еще не думало заходить и бросало на одинокую фигуру Главногокомандующего порывистые лучи.

.....

— Эй, водитель! Почему не едем, водитель? Тебе ж говорили русским языком: дуй полным ходом до райцентра, застопоришь перед почтой, возле монастыря.

— Мотор захлох, товарищ подполковник. Карбюратор барахлит.

Алмазов, чертыхнувшись, выпрыгнул из автобуса. До Любимова было рукой подать. Но задние машины тоже стали, и шоферы, закатав рукава, что-то подтягивали и колотили гаечными ключами. У второго автобуса дьявол-водитель зачем-то взялся отвинчивать переднее колесо. Алмазов повертелся, пообещал шоферам по пятнадцати суток ареста и махнул рукой.

— Вылезай, ребята! Дотопаем. Учтите: мы — отдыхающие, приехали развлечься, а кстатн познакомиться с отечественной архитектурой. Соловьев, надень шляпу, как положено, и застегни пальто. Пулеметы не позабудьте.

Дорога, петляя меж кустов, своротила в лес, низкорослый, заболоченный и по-зимнему необжитой. Прошлогодня ржавая травка, не успевшая сгнить, хрустела и хлюпала под ногами. Повсюду, точно надолбы, торчали пни да коряги. Черные деревья возникали внезапно перед самым носом, похожие на фонтаны грязи, поднятые артобстрелом.

— Стойте, черти! Где дорога? Куда вы прете? Вертай назад в поле!

Отряд пустился в обратный путь, и не прошло четверти часа, когда подполковник понял, что они заблудились. Как это могло случиться — в дрянном лесочке, почти на краю города, который только что приветливо мелькал сквозь заросли кустарника? Чудилось, сделай в сторону сотню-другую шагов, и за стволами откроются крыши, дома, заборы

и гремевший когда-то в губернии любимовский монастырь. Город прятался под боком, в оврагах и буераках, и Алмазов то явственно слышал, как перекликаются петухи на задворках и лают собаки, то улавливал ноздрями охотника дымный запах жилья и всякий раз, чертыхаясь, кидался по следу, вконец измотав команду, одетую не по сезону тепло и не по-солдатски шикарно.

— Товарищ подполковник, разрешите обратиться,— сержант Кравцов воткнул ладонь в туюлю фетровой шляпы.— Ведь это нас Леша водит, товарищ подполковник...

— Какой еще Леша?

— Леша, Леня— главный руководящий волшебник здешних болотных мест. Он-то нам глаза и отвел от своей берлоги...

— Не мели чепухи, Кравцов... Отряд! привести оружие в боевую готовность!

Но едва распаковали чемоданы с автоматами и начали собирать пулемет, как в чаще что-то ухнуло, крикнуло, поднялось с пронзительным тоскующим воплем и прокатилось мелким смехом по затрепетавшим вершинам.

— Стой! Куда? Пристрелю! Перестреляю, как цыплят!— кричал подполковник, не замечая, что и сам уже бежит сломя голову за перепуганной командой. Бросив оружие, теряя шляпы, балалайки, удочки, они неслись по дикому лесу неведомо куда.

Спроси любого из них: что заставило его удариться в бегство, рискуя провалиться в трясину или глаз просадить сучком?— и никто бы не нашелся ответить, как это вышло и почему. Разве что под старость, лет через семьдесят, одноглазый мудрец на печи растолкует внукам и правнукам таинственную историю, в которую неожиданно-негаданно попал батальон в лесу, и добавит дуракам в назидание, что не было еще человека, который бы разгадал и разведал, как действует нечистая сила. Зачем она гудит в трубе зимними вечерами, зачем скребется под полом и стонет в болоте осипшим нечеловеческим голосом, когда и без того на душе тоскливо?

— Это ветер гудит, мышшь скребется, лесная птица скучает о мертвом своем птенце,— скажут внуки и правнуки, полагающие, что каждая вещь имеет объяснение. Но неужто вы так считаете, любезные внуки и правнуки, что столетний дед на печи глупее вас? Что он, переживший и третью и четвертую мировую войну, и все-таки оставшийся цел, и потерявший за все это время только один глаз на военной службе, да и то налетев с разбега на еловый сук, это он-то не знает про ветер и про мышшь? Да он в мышшах разбирается

лучше, чем вы в логарифмах, и говорит с пониманием тонких различий, что мышь — мышью и болотная птица, если хотите знать, зовется выпью, а без нечистой силы все же не обойтись. Потому-то нас душит порою неизъяснимый страх, и это не страх, а черт нас схватил в охапку и несет по ельничку и заносит невесть куда, пока не натешится над нами и не наиграется вдосталь.

Нет, судари мои! Ваши деды и прадеды были не так наивны, как вам бы того хотелось. И если вам не привелось еще испытать лесной жути и оторопи, то просто потому, что по молодой беспечности вы ничего не успели в жизни понять и распознать. Но уже спутались за вами дорожки и затянулись тропинки, и вместо ожидаемых приятных домиков повсюду видны почернелые пни да коряги, и раскидистые деревья выбрасываются из-под земли, словно поднятые в небо каскады грязи. И скоро-скоро кто-то крикнет из темноты незнакомым голосом, и вы пуститесь бежать без оглядки, и дай вам Бог тогда не угодить в трясицу...

Подполковник Алмазов присел на поваленную ольху. Размаривало. Подремывалось. Гнилые пни пахли. Прела одевка, обувка, пропотевшая, изодранная. Накрапывал и подсыхал на припеке редкий-редкий дождичек. Подогретый, «грибной» дождик — сказали бы в июне и в августе. Но не прошла еще пора весенней тяги и ранней глухариной любви, и не странно ли, подумал Алмазов, что в этакую славную пору не слышать птичьего щебета и шумливого перепархивания? И едва он подумал об этой странности здешнего густолесья, подумал отрешенно, безвольно, сквозь туманную полудрему, как тотчас приметил на ветке головастую птицу грязновато-зеленистой окраски, похожую на большую раскормленную жабу.

— Вот так птица. Не птица, а целый крокодил, — сказал он безо всякого, впрочем, охотничьего азарта, почти машинально фиксируя сам факт ее появления вблизи себя и уже смутно догадываясь, что именно ей, этой птице, принадлежал тот сиплый крик на болоте, навсегда покрывший его карьеру несмываемым позором. Однако ни стыда, ни боязни, ни сожаления о минувшем он теперь не испытывал, погруженный в ленивое, истомное созерцание мерзкой твари, которая сидела, пришипившись, и грелась на солнышке, и смотрела на подполковника змеиным взглядом.

— Интересно, что сказали бы ученые-натуралисты, если бы я приволок им это пугало? — размышляя Алмазов, отвлеченно вместе с тем сознавая всю отвличенность подобных замыслов. Не то чтобы он сомневался в своей способности

встать и пойти на розыски пропавшей дороги, а попросту ему не хотелось прилагать усилий и возвращаться ценою стольких затрат к тягостной свободе живого существования. Не лучше ли, думал он, покорно отдаться на волю хотя бы вот этой гадины, чей ядовитый взгляд вливает в сердце апатию и лижет усталый мозг блаженной лаской успокоения? Мы славно прожили и хорошо поработали, и заслужили законный отдых. «Спи спокойно, дорогой товарищ», — как принято говорить в этих случаях.

И скорее для регистрации, по врожденной дворянской порядочности, чем по тщеславному побуждению, он принял, не торопясь, перебирать в уме свои труды и заслуги — все эти несколько мешавшиеся в его памяти банды, гнезда, центры, скиты, секты, заговоры, раскрытые и уничтоженные им за долгую кропотливую жизнь. А еще он вспоминал с благодарностью многих чудесных женщин, которые его любили и которых он любил счастливо, коротко, бурно и никогда не оскорблял безучастием к их прелестям и капризам. Почему-то все они, разве что кроме простоватых пейзажнок, милых деревенских прыскалок-хохотуш, легко перенимали галантные манеры Алмазова и называли его «mon amour» или «mon colonel», не всегда, правда, справляясь с трудным французским выговором. Теперь эти баюкающие райские голоса не волновали кровь подполковника. Без надобности и воодушевления, а только по долгу памятливой мужской чести, он вызывал на последний смотр наиболее интересные лица и тела красавиц, встречавшиеся ему в жизни, и сбивался в расчете и в построении, соединяя грудь Вавы с косами Зины и все это — с королевскими бедрами Женечки Лукашевич, особенно ему примелькавшимися за последний год.

Птица начала обнаруживать признаки нетерпения. Она пружинисто размяла перепончатые голые крылья и, вытянув тяжелую голову на рахитической шее, немного прошлась по ветке, не спуская, однако, с Алмазова неподвижного змеиного взгляда. В ее ослабленном клюве виднелся ряд рыбьих зубов.

— Разве бывают зубастые птицы? — спросил себя подполковник и не стал напрягать память. Он прекрасно понимал, что спасительный порошок, принятый час назад, уже тихо и безболезненно бродит по его охлаждающим жилам, и, возможно, эта птица, внушавшая ему все большее уважение, только ждала момента, чтобы насытиться падалью. Он мог бы снять ее с дерева одним револьверным выстрелом, но ему не хотелось возиться с висевшим на спине рюкзачком,

куда заботливая Софи уложила его браунинг вместе с душистым полотенцем и серебряной мыльницей. В конце концов, эта птица проявляла лояльность и вежливо дожидалась развязки, не впадая в ажиотаж дурного тона и даже, вероятно, испытывая к подполковнику невысказанную симпатию. Не в силах шевелить языком, он заговорил с нею мысленно по-французски и наделял ее интимными, ласкательными именами, какими щедро дарил когда-то милых прелестниц. И ему показалось, хотя он нисколько не сомневался, что это вступает в действие усыпительный порошок, что птица понимает его и кивает с ветки увесистой головой. Затем, раскрыв зубастую пасть, она сказала не без некоторой сипловатости, но на чистом парижском наречии:

— Bonne nuit, mon amour. Vous m'avez fait un grand plaisir, mon brave colonel.

Глава четвертая

ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

С того момента Любимов как сквозь землю провалился. Откуда ни наезжали начальники, сколько ни шастали по кустам, ни вымеряли циркулем карту местности, — ничего не могли найти. Одни поросшие ельником непролазные топи да размытые по весне котлованы наполняли одичавшую пустошь, где полагалось цвести городу. «Видно, расселся подземный геологический пласт, — решили, посоветовавшись, начальники, — и выступила из трещины влага — следствие ледниковой эпохи — и засосала районный центр с прилегающими угодьями и полдюжиной незначительных обезлюдивших деревень»¹.

¹ Не ведали, не подозревали начальники, что в радиусе тридцати километров опоясан город Любимов электросигнализацией. Стоило незванным гостям переступить границу, и в штабе у Леонида Ивановича зажигались лампочки и звонил звонок, и тотчас Главнокомандующий на своем посту излучал волевою энергию в назначенный квадрат, отклоняя глаза гостей от прямого курса. Город погружался в невидимое состояние. Но покуда не протянули сигнальный шнур по болоту, два лазутчика успели-таки прошмыгнуть в городскую зону. С двух сторон вкрались они в Любимов и, никем не опознанные, до времени затаились...

— Кабы нам годик этой мирной передышки,— говорил Леонид Иванович, разгуливая по кабинету,— и мы бы по всем статьям государственного бюджета перещеголяли Бельгию и обогнали Голландию. А там постепенно можно подумать о расширении территории и внедрении наших идей в головном масштабе. Не насилием и обманом, а только живым примером и воздействием на умы прогрессивного человечества завоюет Любимов симпатию и мировое признание. Запиши, Проферансов, эту мысль в протокол нашей борьбы и достижений.

И пока Савелий Кузьмич переписывал в тетрадь исторические афоризмы, Тихомиров выбежал на балкон и напугивал колонны, уходившие на рытье осушительного канала:

— Выше голову! Шире шаг! Веселее улыбки! Запомните: никто вас не принуждает работать! Вам самим хочется перевыполнить норму на двести процентов. Да-да, никак не меньше! Вы чувствуете в груди подъем, в мускулах — неутомимость. Вы жаждете поскорее вонзить заступы в глину...

Когда же землекопы почти бегом устремлялись на штурм твердыни, Леня в изнеможении падал в кресло и восклицал:

— А все-таки главное для меня — не выполнение плана, не поднятие экономики, а забота о человеке! И даже этот тяжкий труд, благодаря моему руководству, рождает в них не пришибленность, но сознание титанической мощи и творческую страсть к соревнованию с подвигами Геракла. Один, один я несу бремя заботы, беспокойства, сомнений, неудовлетворенных потребностей. К тому же... сколько можно действовать мне на психику кошачьими концертами?..

Последние слова относились к бурной игре на рояле, которую затевала Серафима Петровна, затворясь в гостиной. Хотя стены барского особняка плохо пропускали звуки, они долетали порой до резиденции Леонида Ивановича, особенно ежели женщина в мечтательном уединении тешилась ариями из оперы «Кармен».

Любовь свободна. Мир чаруя,
Законов всех она сильней...

— пела Серафима Петровна, вкладывая в голос и в клавиши всю силу молодого, необузданного темперамента.

Любовь? лю-бовь!
Любовь? лю-бовь!
Любовь! любовьлюбовьлюбовь лю-бовь!..

— разучивала она так и эдак волнующую мелодию и до-
ходила в ней до высшей точки, когда Кармен говорит не-
устойчивому возлюбленному:

Меня не любишь, но люблю я,
Так берегись любви моей!

Не прекрати Леонид Иванович эту музыку своевре-
менно — дело кончалось ругадами затяжного хохота.
В штабе слышалось, как падает крышка и гудит расстро-
енный инструмент, и беспричинно в пустом доме смеет-
ся женщина... Старик Проферансов вздыхал и погляды-
вал на Леню, который, поморщившись, отрывался от
руководства и посылал жене через стенку мысленное по-
звонение войти и поздороваться. Она появлялась, блед-
ная, подтянутая, убранная с утра в дорогой туалет, и спра-
шивала, устремив на своего повелителя преданный, сияющий
взгляд:

— Ты звал меня, Леонид?.. Прости, пожалуйста. Я, ка-
жется, опять помешала тебе работать, музицируя эту
гамму из оперы Бизе... Не сердись, не сердись: я очень
счастлива, но немного по тебе соскучилась. Ты опять но-
чевал здесь, в кабинете, не попрощавшись со мной... Из-
вини, я не к тому, а просто — позволь мне тебя слегка
поцеловать...

Он обнимал ее успокоительно и, выражая нежность,
брал сухими губами маленькое, детское ухо и, подержав
недолго во рту, выпускал. Куда мне такая роскошь? — думал
он с тоской, мягко сдерживая ее настойчивость. У меня на
руках город, забота о человеке, денежная реформа, посевная
кампания... Что ни ночь — вскакивай по звонку, налаживай
кольцо обороны. Там, быть может, лесной сыч или крот
задел проволоку, а я тут не сплю, потею. Ни минуты покоя.
Да еще прохладжайся с этой куклой, трать на нее часы,
энергию. Могла бы подождать. Влюбилась на мою голову —
теперь цацкайся...

Но унять в Серафиме Петровне жгучие чувства, которые
он сам напряжением воли вызвал к жизни, было ему жаль,
и он говорил, отстраняя бережно ее фигуру, как если бы она
состояла из хрустала:

— Пошла бы ты, Симочка, развлеклась каким-ни-
будь женским делом. Например, вопросы культуры, мо-
рали, семьи, брака находятся на твоём попечении. И не
вздумай грустить. Мы встретимся за обедом. А теперь
ступай, ступай. Видишь — меня ждет аудиенция посетите-
лей...

И она весело исчезала¹.

Посетители с утра выстраивались на заднем дворе в очередь, так что Леонид Иванович подумывал: не отменить ли эту древнюю русскую привычку тащиться за всякой дрянью к самому царю? Но при некотором размышлении сохранял традицию, памятуя, что сподручнее управлять королевством, когда народные нужды и чаяния находятся на виду. Впрочем, о нуждах не могло быть и речи, потому что Леня лучше самих просителей знал, чего им не хватает для полноты счастья. Приплетется вдовица просить соломы на поправку хлевушка, а он усадит ее в кресло, будто графиню, и делает перед нею удивленные глаза:

— Соломы? Для хлевушка? Кто же в XX веке кроет хлевушки соломой? А не желаете — толь, не хотите — шифер, или еще лучше — оцинкованное железо? Пожалуйста, не стесняйтесь. Но так ли я вас понял, уважаемая гражданка? Все ли разобрал? Может быть, у вас имеются какие-нибудь другие претензии? Требуйте, предъявляйте! Может быть, вам опостылело содержать вашу телку и двух рослых овец, прожорливых, точно крысы, и вы мечтаете покончить с мелким хозяйством, передав весь инвентарь на общественное питание? А время, освободившееся от сушки сена и чистки навоза, вам хотелось бы посвятить изучению техники внутреннего сгорания, которая вскоре забегает по нашим равнинам, направляемая рукой раскрепощенной женщины? Правильно я угадал ваши желания, гражданка? — говорите!

— Уж куда как правильно, в самую точку попал, всю мою внутреннюю механику выразил, — пела вдовица, помолодевшая лет на пятнадцать и растерянная от множества открывшихся перспектив, — поросенка-то у меня тоже забе-

¹ Городские дамы сгорали от любопытства, силясь разузнать, насколько это чувствительно — жить с гением.

— Ах, сладчайшая, на вашем месте я бы не выдержала, я бы умерла от страха в первую же секунду, — признавалась жена директора любимовской средней школы, где когда-то Серафима Петровна числилась заурядной учительницей. — Гениальный мужчина требует к себе внимания, какое не всякая женщина способна оказать. Страсть и капризы гения — воображаю! — это почти как в сказке, как в клетке с тигром! Уж на что мое твердое замужнее положение, пятеро детей, возраст, опыт, но — откровенно скажу — при виде Леонида Ивановича мне кажется, у меня в груди сердце лопается. Представляю! С его запросами, с его ищущей душой, вам нужно быть балериной на сцене Большого театра... Ни о чем не хочу расспрашивать, но мой вам совет: не подпускайте к нему молоденьких девушек. Великие люди падки на красоту. Да и какая девушка сможет в чем-нибудь отказать нашему герою?

В ответ Серафима Петровна лишь загадочно улыбалась.

рите и курочек четыре штучки. Ну их к бесу. Замучилась я с ними. Лишают меня условий культурного развития. Эх, пойду я в комбайнерши, надену штаны, сяду за руль! где мой трактор?

— Не увлекайтесь, гражданочка,— регулировал Леня пробудившиеся в отсталой женщине новые интересы.— Всеу свое время. И курочек ваших временно при себе оставьте. Чем сирот-то кормить будете, пока мы придумаем для каждого человека трехразовый рацион? А поросенка, Савелий Кузьмич, занеси в графу добровольного комплектования. Как звать-то его? Борька? Вот и отлично. Распишитесь за вашего Борьку рядом с телкой. У нас каждый винтик должен быть на учете, тем более в обстановке международного окружения!¹...

— Кто следующий? Войдите! — крикнул Леонид Иванович и присел от неожиданности. В дверях стоял подбоченясь типичный иностранный турист, каких мы никогда не видали в нашем захолустье, но зато много слышали про их методы и замашки. В кожаной подпруге на молниях, с фотографическим аппаратом на брюхе и в желтых обвислых трусиках, из которых бесстыже торчали врозь непокрытые ноги в штиблетах на каучуковом ходу, он глядел на Леню и скалился искусственной американской улыбкой.

— Имею честь познакомиться, хер Тихомиров,— произнес он, безбожно коверкая чудесный русский язык.— Их бин Гарри Джексон, по кличке «Старый Гангстер», корреспондент буржуазной газеты «Пердит интриган врот ох Америка». Моя заокеанский хозяев хошет иметь от вас маленький интер-фью.

С присущей этой породе бесцеремонностью он развалился в кресле, ровно жеребец в конюшне, запалил толстую, черную, как высухшее дерьмо, сигару и начал задавать провокационные вопросы. Перво-наперво ему не терпелось выяснить, когда в Любимове утвердится прогнивший строй магнатов капитализма.

— Когда рак на горе свистнет! — отвечал Леонид Иванович коротко, но ясно.

¹ Не знал тогда Тихомиров, что два неучтенных винтика, или, вернее сказать, две залетные птички расхаживают по городу и ко всему принохиваются. На десятую ночь после разгрома Алмазовской экспедиции втерлись они в Любимов с двух сторон и растворились во мраке. Один из них был знаменитый сыщик-универсал Виталий Кочетов, спущенный к нам из Москвы распоряжением свыше. Второй оказался персоной другого ранга... Однако не вернее ли будет, если он сам вынырнет на поверхность и появится в дверях штаба?..

Репортер заикнулся было насчет разногласий, которые, по слухам, привели отпавшую провинцию к военному столкновению с центром.

— Собака лает — ветер носит! — подсек Тихомиров под корень эту попытку вмешаться в наши семейные дела.

А на вопрос, не намерен ли вольный город Любимов вступить в Атлантический пакт и завязать с Вашингтоном шуры-муры, Леня со спокойным достоинством показал иностранцу фигу. У того моментально вся дипломатия из головы выветрилась, и он повел речь напрямки, без дураков, позабыв о скверной манере портить русский язык нецензурным произношением¹.

— Леня, ради Христа, продай нам свое открытие, — взмолился американец, позабыв о заграничном кривлянии. — Даем два миллиона! Честное американское слово — за такие большие деньги ты сможешь себе построить дворец из мрамора с золотой инкрустацией, а все подъездные пути в радиусе тридцати километров покрыть каучуковыми прокладками в метр толщиной, чтобы никакая подземная грязь

¹ Тем временем столичный сыщик-универсал Виталий Кочетов, в дореволюционных лаптях и в онучах, какие нынче носят у нас лишь оторванные от жизни тунядцы, шел по соседней улице, то и дело припадая на правую ступню. Гиперболическая фуражка, затенявшая лицо разведчика, служила ему антенной, а прихрамывал он для того, чтобы по ходу пьесы посылать пяткой в эфир секретные донесения. Мы не станем оглашать позывные его передатчика и всю вибрацию изобразим обыкновенными буквами:

«Передаст Виталий Кочетов. По моим данным диктатор Тихомиров располагает сильнейшим оружием психического образца. Седьмые сутки я нахожусь на подпольном положении и почти не ем, не сплю и стараюсь, как мне советовали, поменьше думать о сексе, чтобы не поддаться окружающей идейной деградации. Мать твою за ногу! Снова выбоина посреди дороги! Эти ревизионисты успели заминировать пути сообщения. Бей пархатых, спасай Россию! Виноват. Я опять остушился на правый лапоть. Когда мое донесение пойдет на визу к начальству, прошу исправить мелкие стилевые шероховатости, извинительные в полевых условиях. Дополнительно сообщая: город имеет свойство периодически исчезать из глаз внешнего мира. Способ маскировки пока не ясен. Точное расположение может быть обнаружено с помощью авиации. Целесообразен вылет тяжелых бомбардировщиков дальнего действия. Операцию отложите до моего прибытия. Запеленгуйте меня. Спеленайте меня и лечите, если я вернусь отсюда немного не таким. Вижу пацана. Иду на сближение. Передачу кончаю. Шлю фронтовой привет любимой жене Кате и товарищу по работе Анатолию Софронову».

Затем Виталий Кочетов выключил рацию и гнусавым голосом затянул:

— Подайте копеечку убогому страннику...

снизу не просочилась. А то у вас в России такие дороги, что пока я до Любимова добирался окольными путями, меня два раза чуть-чуть полностью не засосало и я вынужден сейчас разговаривать на государственные предметы, сидя непочтительно в одних трусах. Хорошо, по крайней мере, что прихватил я с собой из Нью-Йорка мыло «Белый клык» и вакцину «Жижина дяди Тома», благодаря которым сумел кое-как отчиститься и прийти к тебе на прием как джентльмен к джентльмену. Нам же без твоего оборудования, чью сказочную силу я наблюдаю вот уже неделю,—хоть помирай. Сам понимаешь, Ленчик, кризис не тетка, и растущая безработица тоже поджимает. Атомным ядром всех не перещелкаешь, и надежнее будет взять человека за жабры — изнутри, за самый стержень души схватить обездоленного человека, да и поворотить его вспять исторического прогресса. Так что бери с меня три миллиона и ставь на стол магарыч за мои же деньги!..

Хотел ему Леня съездить по гладкой роже за такие резкие слова против прогресса, да подумал, как бы

Мальчуган школьного возраста, тацивший на веревке разбитного поросенка, отозвался не сразу:

— Тише, Борька! Ничего не слышать. Вот сдам тебя на мясо — тогда ори. Что вам, гражданин? У меня нет копейки. Или вы не знаете — всю валюту отменили. Леня Тихомиров сказал: «Деньги — это обуза, и чем быстрее мы вырвем их из нашего сознания, тем нам будет легче развивать промышленность».

— Ничего-то я не знаю, сынок. Из деревни я. Из самой дальней, сермяжной. О-хо-хо, блохи заели, спасу нет. А скажи-ка, сынок, — что это у вас в городе все копают, ломают? Эвон — у монастыря-то полстены разворотили. Уж не завод ли какой строить собрались, стратегического значения? Не зенитную ли какую воздушную батарею?

— Там стадион будет.

— Чего это?

— Футбольный стадион. Леня Тихомиров сказал: «Каждый человек имеет право развивать свои мышцы».

— Да где он прячется, Тихомиров-то ваш? Разъясни. Темный я, деревенский. Фу, как противно поросенок твой верещит!..

— Товарищ Тихомиров не прячется. Товарищ Тихомиров работает днем и ночью вон в том светлом здании. Верхние окна слева как раз генеральный штаб. Сходите к нему, папаша, просветитесь. «Каждый гражданин имеет право получать моральную помощь или разумный совет».

Когда мальчуган с поросенком удалились восвояси, Виталий Кочетов, крадучись, перебежал пустовавшую улицу и, стараясь не греметь лаптями, полез по водосточной трубе генерального штаба. Ни Леня Тихомиров, ни зарубежный репортер, ни тем более хилый старичок Проферансов, прикорнувший в уголке, не заметили, как взметнулась темная драпировка у открытого окна.

в результате личной вспышки не получился внешний конфликт и мировое потрясение. И потому он личность Гарри Джексона сохранил в неприкосновенности, но что он сделал с буржуазной психологией этого заядлого туриста! Он в ней живого места не оставил. Он схватил ее за жабры, за стержень души и повернул так, чтобы она сама себя опровергла по всем пунктам и доказала бы свою неспособность тягаться с русским человеком в критике чистого разума.

— Молча, будто это не от него исходит, смотрел Леонид Иванович на преобразованного американца, который, как попка, повторял все, что ему негласно диктовалось. Некоторые тезисы этого доклада Савелий Кузьмич Проферансов успел тогда же записать, и теперь они могут служить пособием для изучающих законы исторического развития.

§ 1. О роли дорог в истории России

Некоторые горе-критики охаивают наши дороги и пытаются утверждать, что в России весной и осенью даже грузовые машины тонут, как черви, в потоках жидкой магмы. Но если мы полистаем страницы истории, то мы увидим, что кислая грязь на дорогах не однажды спасала Россию от нашествия французов, немцев, поляков и других иноземных полчищ, застрявших со своим Бонапартом в русской почве. И надо думать, со временем кто-то еще застрянет.

§ 2. О значении денег в мировой экономике

Некоторые псевдоученые ошибочно полагают, что деньги служат приманкой в развитии экономики, и планомерно согласовывают алчные потребности со способностью человека гнуть спину. Но если мы сами научимся управлять потребностями, то зачем человеку деньги? — Только лишний соблазн. У человека, например, появилась потребность быть героем труда, а завалившаяся в кармане десятка шепчет ему: «Не спеши! зайдем-ка сперва дерябнем 150 с прицепом!» Когда же мы отменим денежную обузу, тогда, во-первых, не останется повода к обжорству, пьянству, воровству и другим пережиткам прошлого; во-вторых, наступит всеобщее мировое блаженство, ибо у каждого гражданина внутренние потребности будут возникать и развиваться не как-нибудь, не стихийно, а в согласованном порядке, по мере нашей способности их немедленно отоварить...

— В-третьих! — уже вслух подсказывал Леонид Иванович, горя нетерпением выразить свою идею.

— В-третьих, — подхватил американец заплетавшимся языком, — никто не сможет, в-третьих, продать родину и купить свободу ни за какие миллионы...

— А в-четвертых,— выпалил Леня, поднявшись во весь рост,— мы вот что сделаем, в-четвертых, с накопленными деньгами!..

И он повел небрежно кистью царской руки, предлагая Гарри Джексону оглядеться вокруг себя.

— ...накопленными деньгами! — договорил тот, повертел очумелой башкой и слабо ахнул...¹

Все помещение штаба было оклеено денежными купюра-ми сторублевой величины. Издали получались веселенькие обои, выдержанные в приятном пятнистом колорите. Но присмотревшись, вы начинали постигать, что каждое пятнышко в этой коллекции стоит ровно сотню одной бумажкой. Лишь в области печки, за нехваткой казначейских билетов одинакового достоинства, цена снижалась и глянцево-е, словно только что выигранные четвертные перемежались потертыми трешниками и залапанными пятерками. Общая сумма оклейки была громадна, и прибыль непрерывно росла, потому что процесс постепенного перехода на безвалютные рельсы еще не завершился.

— Не вздумайте отковыривать, приклеено капитально,— предостерег Леонид Иванович заморского гостя, который при виде сокровищ норовил на стенку полезть.

Затем посрамленному Гарри Джексону вежливо дали понять, что визит окончен и он без помех и проволочек может чапать в свою Америку, навсегда зарекшись выведывать чужие тайны.

— Передайте от меня привет миролюбивым народам Западного полушария и скажите, что в случае чего мы их поддержим! — добавил на прощанье Леня Тихомиров и велел Савелию Кузьмичу, выпроводив иностранца, крикнуть на заднем дворе, что прием очередных посетителей переносится на четверг.

После дискуссии ему хотелось побыть в тишине со своими мыслями, которые, как муравьи в растревоженном муравейнике, роились в его мозгу и поспешно возводили многоярусные постройки. То ему представлялось, как правительства крупнейших держав складывают оружие, открывают границы и благодарные народы, сами, без принуждения, падают в его объятия. То Леня мечтал и мучился, какое новое имя подарить Любимову, когда тот будет объявлен столицей Земного Шара, и колебался в выборе между «Городом Солнца» и «Тихомиргородом». Но тут же ему вспомнилось, что

¹ Ахнул за драпировкой и сыщик Виталий Кочетов, созерцавший эту сцену в потайное отверстие...

волевая энергия пока что по дальности действия не превышает тридцати километров, и проблема универсального электромагнитного усилителя вновь и вновь вставала перед его пытливым умом.

Как бы добиться такой энергичной мощности волевого попадания,— размышлял Леонид Иванович, кусая губы,— чтобы прямо отсюда, сидя за пультом, сдвинуть все человечество с мертвой точки, а потом постепенно заняться покорением Антарктиды, промышленной обработкой иных планет?!. Человечество ему рисовалось в виде гиганта, с цветущим торсом борца, на котором изваяна гордая, впол-оборота, голова мыслителя,— не его ли, Тихомирова, министерская голова?— и он был раздосадован, когда, поворотив подбородок, нашел подле себя немощную старуху со знакомой бородавкой на сплюсненном первобытном личике.

— Ленюшка!— вздохнула она. И заморгала, зашамкала в радостном испуге:— Ленюшка, я творожку со сметанкой принесла. Изголодался небось... Вот ты какой прозрачный, худущий... почернел весь...

У нее не хватало духу его обнять, и она только бегала по нему умильным, притклым взором, как будто торопливо ощупывала эту суровую худобу.

— Сама прорвалась, по задней лестнице...— ворчал Савелий Кузьмич виноватым тоном.— У меня, говорит, передача для родного сына. Передача! Что здесь, каземат, что ли— передачу носить. Ох, уж эти матери!..

Ох, уж эти матери, вечно у них на уме одна идея: как бы покормить да попотчевать родимое детище! А детище, может быть, за это время министром сделалось, властелином вселенной?! Что ей до того? Приползет в рваных калошах в царские-то хоромы и подаст узелок с нищенским гостинцем, точно ты не царь, не великий мыслитель, а всеми затравленный, бесприютный звереныш...

— Располагайтесь, мамаша. Какая у вас имеется нужда-потребность?

Леня подвинул старухе роскошное барское кресло, куда обычно усаживал оторопевших просителей. Но толку добиться не смог, сколько ни выпытывал. Все у нее пустяки на языке вертелись, домашние подробности: творожок со сметанкой поешь, рукомойник в сенях опять отлетел, а приколотить некому. Неужто она не слыхала от добрых людей, какую роль он играет в современной политике? Значит, кое-что слышала и разумела по-своему, раз невзначай обмолвилась на сыновние расспросы:

— А монастырь ты, Ленюшка, куда нарушаешь? Не тобою ставлено — не тебе бы ломать...

Он даже засмеялся:

— Ваш единственный сын, мамаша, скоро начнет светилками управлять, а вы про Бога вспомнили. Мне в вашем лице сталкиваться с этими баснями — смешно и обидно. Вы же для меня все-таки не посторонний человек, а родная мать, и должны помнить об этом, уважать мое высокое служебное положение и тоже понемногу расти и тянуться к свету.

Ее глаза-паучата мигом попрыгали в темное сплетение морщинок и бородавок. Жалкая сидела, дряхлая, и, не зная, что возразить, вздыхала, покуда Леня объяснял ей популярно устройство небесных тел, говорил про гром и про молнию, которую дикие предки приписали Илье-пророку, тогда как на самом деле это гремит в тучах обыкновенное электричество¹.

— Пойми: Бога — нет! — прошептал он мысленно, стараясь, однако, смягчить остроту удара плавной, неслышной подачей магнетического внушения. Не приказ он ей диктовал, не грозный декрет вдалбливал в засоренное сознание, а лишь незаметно повеял легким, как летний воздух, вянтым любому ребенку пониманием истины...

Старуха взмокла. Она скинула платок с головы и утерла испарину.

— Нет-нет, не вздумай плакать! Не терзай свое слабое сердце! — обдувал ее Леня беззвучным, обезболивающим шепотом. — Тебе хорошо. Ты испытываешь сладкую, незнакомую легкость. Ты свободна от темных страхов, которыми тебя оплетали с детства, бедная мамочка. Не бойся, ничего не бойся: Бога — нет! И ты сама, сама, своими старческими устами вымолвишь сейчас эту благодатную, освобождающую весть: Бога — нет!

— Бога нет, — проговорила она, выкатив глаза и сопровождая речь вянтыми, как икота, глотательными паузами. — Нет Бога. Пророка Илью застрелили. Электричество. Гром гремит из электричества. Ленюшка, поешь

¹ Что ты делаешь? — сверкнул у него в уме трепетный, точно зарница, и такой же отдаленный вопрос. Сверкнул и погас. Леонид Иванович прошелся по вечеряющему кабинету, собираясь с мыслями. — Нет! — подумал он так решительно, как если бы с кем-то спорил. — Прочь сомнения! Я не могу, не имею права, спасая человечество, исправляя его искривленную психику, оставить без внимания мою одинокую мать, попавшую в тиски суеверий. Нелегко нам, конечно. Трудно, товарищ. Но уж крушить — так крушить! спасать — так спасать!

творожок со сметанкой. Худущий ты, прозрачный... Бога нет. И ангелов небесных тоже нетути. Херувимов. Покушай, сыночек, подкрепи свои силушки. Похудел ты, Леня, почернел... Бога нет. Творожок-то, творожок со сметанкой...

Была в ее просьбе покушать такая навязчивость, такая жалость к его изглоданной худобе, что ему вдруг показалось — убивай он мамашу медленной и мучительной казнью, она и тогда не забудет сказать перед смертью: «Творожок-то, творожок, Ленюшка, пожалуйста, поешь...» А когда на земле погаснет последняя вера в Бога и мы всем кагалом попадем во власть Сатаны, только вот это противоестественное, материнское заклинание останется нам на память о горькой утрате. Постой! — спохватился он, — где утрата? откуда утрата? что за нелепые мысли мне лезут в голову! Причем тут «всем кагалом», какой еще «Сатана», какой-такой творожок со сметанкой?..

— Бога нет, — квакала старуха мертвенными губами, монотонно, тягостно, точно молилась. — Бога нет. Бога нет...

Уже Леонид Иванович оставил ее в покое, занятый неожиданным казусом в собственных мыслях, которые, как ему почудилось, наткнулись на препятствие и выскочили из орбиты, а она все вертела, как заводная, свою пластинку.

— Странно, очень странно, — бормотал Леонид Иванович и встряхивал головой. — Чрезвычайно странно...

— Товарищ Тихомиров, — промямлил Савелий Кузьмич, появляясь из полумрака, — позвольте я выйду покурю, откуда вы с мамашей по идеологическим вопросам беседуете. Сил моих нет: десятый час, курить охота...

В самом деле, в комнате порядочно потемнело. Тихомиров нагнулся к матери и помог ей прийти в себя. Старуха сморкалась, охала, поминала святых угодников и шаркала калошами, возвращаясь в свое нормальное, первобытное состояние. Всю науку с нее как рукой скинуло. А Леня, будто ушибленный, в смутном расположении, торопливой скороговоркой инструктировал Проферансова: проводить мамашу до дому, приколотить умывальник в сенях, попутно — не в службу, а в дружбу — организовать для старушки два ведерка воды из колодца и тут же лететь на всех парусах обратно в штаб, потому что Леонид Иванович желал эту ночь работать. При этом он упирал на досрочное выполнение плана и торопил, собирал, провозжал, путал слова, рассейничал и, видать, был не в себе.

— Может, к вам на полчаса супруга прикрепить? — осведомился Проферансов, медля покидать командира в таком сумбуре.

Однако от женского общества Тихомиров наотрез отказался. Велел, чтоб даже обедать Серафима Петровна его нынче не беспокоила: нам не до обеда!..

Смеркалось, летний день уходил, не спеша, вразвалку, и поминутно спохватывался. Возвращался и начинал сызнова собирать пожитки, сослепу спотыкаясь о мебель, роняя свертки. Клубки ниток, обрывки тканей разбазаренным вихрем летают в доме, наводя на подозрение, что воздух, в дневные часы неуловимый, в потемках заселяется смутной фауной. Вот что-то свесилось, вильнуло хвостиком и, медленно разрастаясь в крупную инфузорию, дефилирует с угла на угол...

У людей с тонкими нервами сии флюиды вызывают длительный звон в ушах, похожий на струны лютни, а пальцы испытывают покалывание и слабо мерцают, соприкасаясь с прозрачной мимолетной материей. Но допустимо ли ее свечение принимать за игру живых созданий или, утеряв равновесие вообразить в клубящемся сумраке бледные копии астральных организмов, известные у профанов под именем привидений? Нет, подобный вздор противен опыту зрелого наблюдателя. Перед нами не призраки, а лишь вечерние отсветы обыкновенных мыслей, коими все вещи обмениваются между собою, наполняя комнату меланхолическим трепетом.

О, эти медитации и вопли вещей в пространстве! Сколь многими утешениями обязаны мы вашей мелодии. Сколь часто посреди житейских бурь и волнений вы приводили нас неприметно в надежную гавань. Потоки протяжных мыслей, источаемые каждым предметом в неповторимой музыкальной тональности, ему одному приличной, позволяют нам без труда, по волшебному наитию, постигать его назначение и место в природе.

Почему бы в противном случае мы догадывались о смысле обступивших наше сознание бесчисленных феноменов? Да мы бы сбились и спутались, не успев ступить за порог. Мы бы смешали кресло, раскоряченное посреди помещения, с грудой камней и щебня, с останками башен и пагод, что обозначились в разрезе окна фиолетовым силуэтом и манят наше внимание в иную сторону.

Но кресло, обтянутое стареньким драдедамом, в глубине души исполнено деликатной чувствительности. Оно всем существом, от спинки до изогнутых ножек, бормочет — «я — кресло» и мурлыкает, чтобы мы прилепились у него на мягких коленях и вкусили покой, забыв о катаклизмах истории. И вот мы, как бабочка на цветок, летим и садимся в кресло...

А монастырская руина, напротив, воспламеняется жестокой фантазией и способна с угрюмой твердостью сносить увечья. Она еще издали машет и голосит: «Путник, помысли подле меня над загадками мироздания!» И вот мы из кресла перелетаем к руине...

Как же после этого дерзает слепой человек нарушать необдуманным шумом гармонию бытия? Как он смеет менять русла великих потоков и крушить вековые деревья, взлелеянные для высших надобностей? Да меняйте вы на здоровье ваше собственное сознание, превращайтесь всем кагалом в винтики и колесики. Но деревья! но камни! но старух — матерей ваших убогих — слышите? матерей! не смейте трогать...

— Кто здесь? — спросил Тихомиров, опасливо озираясь¹. — Кто здесь? — повторил он раздельно и четко, стремясь придать тембру подгулявших связок спокойную деловитую строгость.

В штабе стояла гробовая тишина, говорящая о присутствии авторитетного посетителя, даже если он лишен очертаний и не намерен показываться в телесном виде.

— Кто тут ходит? Кто мне морочит голову? Приказываю, прошу отозваться!..

Тогда, не желая испытывать ярость его истерии, я произнес вполголоса:

— Извините, сударь, мое вторжение. Но я уже давненько слежу за вашей карьерой и должен сказать: вы злоупотребляете властью, которую в любой час могут у вас отнять так же внезапно, как вы ее получили. Не в моих правилах препятствовать человеку в его одержимости добрыми и дурными идеями, однако за ваши проделки, милостивый государь, я нахожусь в ответе, ибо так называемой магнитной силой вы располагаете с моего временного одолжения. Меня зовут Проферансов, Самсон Проферансов, и вы кое-что знаете обо мне от моего однофамильца, который почему-то считает меня своим дальним родственником, хотя для этого нет решительно никаких оснований. Он вам наплетет обо мне лабиринт небылиц, и в этих рассказах важна не фактическая канва, которую наш историограф заимствует из анекдотов, а лишь окутывающая атмосфера моей привязанности к земле, где все мы родились и куда нас погребают.

¹ При этом возгласе Виталий Кочетов, сидевший в разведке, стремительно зажал рот фуражкой, чтобы нечаянным ответом не выдать свое убежище. Спустя минуту, однако, выглянув из-за шторы, он с удивлением обнаружил, что Тихомиров, будто фантом, маячит в отдалении и тщательно, как слепой, перебирает воздух, где плавала обыкновенная вечерняя мгла...

Прошу не путать меня с вампирами, упырями, кликунами и другими отпрысками нечистой совести. Я...

— Руки вверх! — скомандовал он резким свистящим шепотом и послал прямой наводкой, по моему голосу, весь волсовой заряд, на какой был способен.— Руки вверх! Сложить оружие! Прекратить сопротивление! Признавайся: ты — шпион? Ты — сыщик, проникший сюда в специальном скафандре по указанию центра?.. Снять скафандр, немедленно снять взглядоотталкивающую покрывку!..

Его военная бдительность меня насмешила. Он крутился передо мною, тощий, косоглазый соплик, метящий в императоры, и, пытаясь рассмотреть впотьмах нечто, не поддающееся оптическому измерению, отчаянно храбрился. У меня было искушение дернуть его за нос или потехи ради приложить спиной к потолку, но я уже давно оставил эти, по правде сказать, довольно плоские шутки. Я только ему посоветовал хорониться шпионов и сыщиков, которые пробираются в душу и оглашают ее безмолвие разнuzданным улюлюканьем. А те, что откровенно слоняются следом за вами или, притаясь за пустяковой занавеской, подслушивают вашу беседу с поздним гостем,—эти скромные статисты мирового спектакля могут несколько сдобрить пикантность положения, в которое попал человек, но бессильны заполнить пропасть постигших его превратностей. С этими словами я легонько встряхнул занавеску у отворенного окна, давая понять нашему присмирившему соглядатаю, что его роль в истории тоже не прошла незамеченной¹.

— Сгинь! Сгинь! Пропади! — вымолвил Леонид Иванович в иступлении духа, и едва кто-то с треском выкатился из окна, он с бьющимся сердцем бухнулся в кресло.

¹ Сыщик Виталий Кочетов с перепугу не мог разобрать, кто ведет перебранку в глубине резиденции, и сперва ему представлялось, что это Тихомиров с самим собой разговаривает на разные голоса. Казалось, он ворожил на смесях темного воздуха, последних закатных отблесков и ранней лунной изморози, которая там и сям выпала по кабинету, усугубляя невнятицу этой сумрачной обстановки. Денежная пестрядь, облепившая стены, весело завозилась. Китайские богдыханы, наострив шустрые мордочки, проказливо перемигивались и одобрительно шелестели замусоленными бородачками — должно быть, в знак солидарности с косоглазым владельцем, который все пуще кружился и бесновался, подбадривая себя крепкими окриками. Вообразим ужас разведчика, когда, напрягая уши, он уловил речь, касавшуюся его заточения посреди разгневанной сволочи, и взвихренная занавеска с налету вцепилась ему в космы...

— Сгинь! Сгинь! Пропади! — раздался приглушенный, точно с того света, возглас Тихомирова, и, безотчетно повинувшись ему, сыщик Виталий Кочетов кубарем скатился по водосточной трубе...

Сорванная штора седым трофеем свисала на пол. Распахнутая луна озаряла сцену пустынным светом. И, по мере ее водворения в знакомой домашней раме, переполох становился простительным результатом бессонницы, размагниченных нервов, усталости и захожего ветерка, который хлопает ставнями и вскидывает занавески. Но Лению сосало сознание, что справиться с замешательством помогла ему детская суеверная поговорка, слетевшая с языка помимо воли. Нашел чему печалиться. Не лучше ли улыбнуться этой родимой путанице, царящей в твоей голове и позволившей тебе отклониться от слишком опасной близости к тому, чье пришествие ты напрасно торопишь...

Неужто город Любимов послужит колыбелью Дракону? Неужели русскому мозгу, закрученному, как пружина, суждено в назначенный час сдернуться со шпенька и пустить к чертям свинячим наш золоченый шарик? Или нам поможет колдовское белое зелье, на девять десятых развевшее душу нации? Или упасет нас придурковатая поговорка, произнесенная впопыхах, в нарушение вражьих планов? Или я, твой добрый гений, брошу это гиблое место и уйду от греха подальше, без огласки, как меркнет день, оставив тебя в уверенности, что ничего не потеряно и завтра, со свежими силами, ты сможешь все наверстать?

— Трус в карты не играет,— пробормотал ни к селу ни к городу Леонид Иванович и, слегка пошатываясь, выбрался на балкон.

Кругом, насколько хватало сил, было светло и пусто. На горизонте рассеивалась розовая дымка заката. Ее забивало чистейшее, лишенное примесей, блистание ночной стражницы, вступившей в пору искристого максимального излучения. Ломило глаза. Равномерно сифонил ветер. Белесая, космогоническая пыль облаков свистала мимо луны, сообщая ей сходство с пустотелой камерой, пушенной по орбите с предустановленной скоростью.

Вот так же несется в будущее наш золоченый шарик,— прокатилось у Лени в памяти запоздалое эхо, и тотчас в унисон заговорили неподалеку мягкие аккорды рояля. Это жена-красавица, изнемогая от блеска, развивала перед сном прощальную увертюру. И на сей раз никто ей не препятствовал тренироваться: Савелий Кузьмич, воротясь, нашел Главнокомандующего в состоянии просветленной про-страции.

— Зажечь, что ли, молнию с остатками керосина? А не то — включу-ка я для подъема энтузиазма лампочку Ильича...

Тихомиров промолчал, и без его указаний старик не посмел расходовать аккумулятор, питавший сеть пограничной службы, пока не наладили в городе захирелый движок¹.

— Интересно узнать, Леонид Иванович, правда ли где-нибудь, на другом конце созвездия Гончих Псов, уже достигнуто будущее, к которому все еще приближается наша боевая планета?..

Начальник не реагировал. Расслабленно привалясь к косяку балконной двери, он следил как прикованный за полетом венценосного диска. Если б не биение синих сосудов на худосочном виске, можно было подумать, что у Леонида Ивановича отлетела душа.

Проферансов осторожно потянул его за рукав:

— Товарищ начальник! не будет ли вашей команды мне спать ложиться?..

Леня как ни в чем не бывало повернулся к секретарю:

— А, это ты, Савелий? Я все хочу, все забываю спросить тебя — знаешь о ком? — О моем однофамильце. Помнится, в дальних родственниках ты числил ученого барина... Извини, я слишком рассеян, чтобы сейчас работать. И голова немного звенит. Стели постель живенько, тащи перину, подушки. Переночуем вместе. И расскажи мне, пожалуйста, друг Савелий, все, что о нем знаешь. Быть может, твои анекдоты скрасят мою бессонницу.

На восковом лице Тихомирова запечатлелась улыбка. Никогда он так бледно, так кисло не улыбался. Да и улыбался ли он когда-нибудь раньше? Этого Савелий Кузьмич не мог припомнить.

— Почему же анекдоты? Мне биография Самсон Самсоновича доподлинно известна. Я, если понадобится, могу про них жизнеописание составить. Из точных фактов. Только ведь вы, Леонид Иванович, все равно не поверите...

Старик от усталости с ног валился. Но ему уже не терпелось выступить этой ночью в роли историографа, отесненной в другое время заботами секретаря, денщика, адъютанта и рассыльного на побегушках. На сияющем паркете они расстелили перину, и Тихомиров, не раздеваясь, улегся, одним глазом в окошко, где лунное пламя светило почище лампочки, вторым — на возбужденного Савелия Кузьмича. Тот как визирь в нижнем белье восседал на подушке и, приготовляясь рассказывать, затягивался папироской².

¹ А добывать керосин из подсолнечного масла мы тогда еще не научились.

² Обычно Леонид Иванович не разрешал мне при нем курить.

Мелодичные звуки рояля, струясь в ночной тишине, аккомпанировали настроению.

— Только уж вы не перебивайте,— предупредил Савелий Кузьмич и хорошо прокашлялся.

— Не пророно ни слова,— отозвался Леонид Иванович с непонятной уступчивостью.— Ври, что хочешь: я должен знать правду.

Глава пятая

ЗЕМНАЯ И ЗАГРОБНАЯ ЖИЗНЬ

С. С. ПРОФЕРАНСОВА

Давным-давно, в девятнадцатом веке, жил в родовом поместье один знатный барин — Самсон Самсонович Профферансов. Был он большой филантроп, теософ, диоген и отчасти библиоман. Производил научные опыты по отысканию камня, посредством которого дураки хотят раздобыть золото, а мудрые — докопаться, в чем же все-таки скрыт смысл жизни. В часы досуга Самсон Самсонович, сидя в драдемамовом кресле, почитывал романы Тургенева и Гончарова в подлинниках, сочинял едкий трактат «О судьбе двуногих», писал дневник и вел интимную переписку с химиком Лавуазье, который тоже был ужасный филантроп и большой оригинал, хотя поменьше нашего — по причине старческой слабости к цыганкам и ресторанам.

Наш ученый барин ненавидел шумиху и жил, затворясь в деревне, с немкой-экономкой и милой русской няней Ариной Родионовной. Уже в зрелом возрасте Самсон Самсонович сватался к дочери губернатора и поначалу был обнаден светской кралею, которая, раздражив сердце поклонника, укатила из-под венца с красивым гусаром. С тех пор он беспрепятственно погрузился в науку, и, бывало, съедутся к нему в имение любопытствующие дворянчики — Профферансов и вылезает на свет, как медведь из берлоги, небритый, в раскисших валенках, в растерзанном казакине, и тотчас каждому гостю руку сует здороваться, испачканную по локоть свежеполученным веществом. Те жмутся, мнутя, но отказаться не смеют, и, глядишь, от их манишек одна мишура болтается. А приезжих барышек за бока хватает — теми же крючковатыми пальцами, которыми только что, может быть, человеческую глисту изучал. Они визжат, бегают от

него по всему замку, а он как наступит валенком на шлейф, так и оборвет к черту. Эдак он постепенно гостей от себя отвадил...

Или, как Лев Толстой, с которым он тоже поддерживал дружескую переписку, брал Проферансов в дом обыкновенную дворовую девку, обучал ее между делом кое-какой пунктуации, а после, под видом племянницы, сплавлял в Петербург замуж, формируя тем самым кадры тогдашних интеллигентов. Но все эти вольнодумства ему с рук сходили, потому что Самсон Самсонович пользовался почетом у самого Государя. Царь Николай Павлович не раз его агитировал перебраться на постоянное жительство в нашу Северную Пальмиру, суля денежный пост придворного звездочета. Таким шахматным шагом душитель декабризма рассчитывал замедлить растущее в стране возмездие, на что неподкупный ученый категорически ему возражал:

— Нет, Ваше Величество, эта карта бита. Завтра с попутным ветром я улываю в мои Пенаты. Мне на роду написано помереть в провинции, вблизи забытого Богом города Любимова, который — вот увидите — себя еще проявит. Вы же, Ваше Величество, и вы, господа-комиссары, сенаторы и губернаторы со своими завлекательными дочками — вы все плохо кончите.

При этом Самсон Самсонович звонко щелкал пальцами, издавая треск спущенного курка. Они думали — он шутит, и натянуто улыбались, и дивились ребусам знаменитого филантропа. То-то старик, небось, пощекотал амбицию, когда в один чудный день 1917 года прочитал в газете, что вся эта гоп-компания угодила под трибунал...

— Что ты! помилуй, братец!.. Как так — прочитал в газете? Какие могут быть газеты, когда твоего барина о ту пору наверняка и в живых-то не было?!

— Ах, товарищ Тихомиров, а еще обещали!.. Неужели ж я не вижу, не учитываю некоторой необычности в биографии Самсона Самсоновича? Да я... да он... Ну вот, я и сбился, и забыл о чем речь...

— Ладно, Савелий, — молчу. Плети дальше. Ты говорил, каким большевиком показал себя Проферансов в споре с царем Николаем...

— Ничего он не показал. Это вы сами показали. Самсон Самсонович вел невинный образ жизни, как Робинзон Крузо на своем заброшенном острове. Баррикады не строил, в барбаны не бил и лишь барабанил пальцами по стеклу, поглядывая с интересом на занесенные снегом кусты и сучья. Окна у них в усадьбе прямо в сад глядели и были заказаны

в Долмации из бемского стекла. Вот он и созерцал в переплете вымыслы мироздания, покуда немка-экономка не скажет ему, повздыхав за дубовой дверью:

— Барин, кушать подано. Пожалуйте к столу.

А он — совсем как вы давеча подкрепиться по-человечески не нашли свободной секунды — с горечью отвечает:

— Эх, — отвечает, — Глаша, нам не до обеда! Как вернуть на землю потерянную любовь? Я над этой тайной голову ломаю, а ты ко мне с вермишелью суешься. Куда бежать?

Отобедает и опять за мучительные раздумья, и долго ли, скоро ли барабанил он, музыканил по бемскому-то стеклу, но только вдруг говорит своей немке:

— Слушай, Фрося...

— Она же — Глаша!..

— Стало быть, за тот срок успел сменить экономок. Чего придираетесь? Итак: — Слушай, Фрося. Собери мне к завтраму саквоаж с теплым бельем. С попутным ветром я уплываю в Индию.

Сказано — сделано. Раскидав по морям, по волнам свои доходы, Самсон Самсонович Проферансов на русском фрегате «Витязь» отбыл в Индию.

...Индия! Где взять слова и краски, чтобы нарисовать твою гравюру, манящую мечты путешественника? Возьмем ли мы нашу робкую весну в бутонах, или выберем пышный полдень в разгаре лета, обратимся ли к россыпям осени, соперничающей с палитрой Тициана и Левитана, — нам все равно не достанет дерзости вообразить великолепие Индии. Истинное представление о чудесах той страны способна составить лишь русская зима — с морозами свирепыми, как тропический зной, с лианами по стеклу, с козерогами по льду и волшебной кристаллографией каждой Божьей снежинки, порхающей, словно птичка, миниатюрная птичка-колибри. Под пальмами, на студеном безветрии, гнездятся слоны в сугробах, сверкают бизоны, тапиры и возвышенные жирафы тянут из ветвей заиндевелые шеи. Приедете в лес по зиме на лыжах, разинете рот и не знаете, где вы находитесь — в Индии или в России. Господи, значит все-таки — Ты любишь нашу нищую землю, если одел-нарядил ее в этакую красоту?..

Через четыре года Самсон Самсонович подрулил к родному берегу.

— Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет! — обратился он ласково к няне Арине Родионовне, сидевшей у ворот, пригорюнившись, с фельдшером в зажатых руках.

— Проснись, Михеич. Никак барин причалил,— сказала няня и, воткнув с размаху в сугроб захмелевшего усача, пошла светить дорогу жестяным фонарем на палке.

Целый месяц Проферансов не показывался из мрака: переписывал манускрипт, полученный в Индии у тамошних атаманов. Потом слег в малярии и уж больше не вставал, лишь одно повторял обветренными губами:

— Передайте Лавуазье, сообщите Льву Толстому, мы крупно просчитались в своих расчетах. Смысл бытия состоит не в том, чтобы... а в том, что...

Тут он умолк, не сумев досказать самого главного.

Всегда так бывает. Живет человек, делеет планы, подмигивает себе изнутри со шпионским видом: держись, Володя, еще чуть-чуть осталось! А как дойдет до выяснения, в чем главный секрет, кожу со спины обдирает о вылезавшие прутья матраса, а выразить слов нету. Заколачивай!

Ну, прекрасно, заколотили, погребли по всем правилам,— стал являться. То ли его душа неустанного следопыта так соскучилась по отчизне, что не смогла одолеть притяжения, то ли ему приспичило довести до закругления найденную идею,— уж я сам не знаю, чем объяснить такой непонятный казус. Но едва наступает вечер и все садятся ужинать, Самсон Самсонович тут как тут и ворчит, и слоняется по галерее в бестелесном составе, а потом что-то пишет в запертом кабинете. Вся родня к его появлениям уже настолько привыкла, что даже пугались, ежели барин почему-то запаздывал, почитая его за доброго вестника и хранителя семейных традиций, в наш сволочный век невозвратно утраченных.

Вы спросите, конечно,— откуда взялась родня? Предвижу недоуменный вопрос и спешу рассеять. Во-первых, существует предание, что обольстительная дочь губернатора подкинула-таки жениху анонимного недоноска и Проферансов по-благородному покрыл женский грех. Во-вторых, у меня родилась дополнительная гипотеза, по которой Самсон Самсонович перед кончиной успел-таки жениться на родной кухарке и старой подруге детства — Арине Родионовне. Получается по этой гипотезе, как я уже толковал, что мы с вами, Леонид Иванович, имеем большие шансы принадлежать к древнему корню Российского Любомудрия. Но вернемся в наши Пенаты.

Прошло сколько-то лет, и вот однажды папа с мамой вечеряют в старинном доме, а дедушка и носы не кажет. Они, коротая часы, тревожно переговариваются, вспоминают былые дни, когда дочка Танюша гостила на каникулах и все боялась, глупышка, что призрак ее слопают.

— Что ты, Танюша,— забыла? Ведь это же наш дедушка, наше доброе привидение, и было б дурным знаком, если б оно рассердилось и перестало охранять наследственное гнездо...

Беседуют они час-два, грустят о прошлом и все прислушиваются — не заскрипят ли дощечки на галерее, по которым кроме дедушки никто уж не смел ступать. Или, сойдя с антресолей, приглядываются в надежде, не зажглась ли в пустом кабинете несгораемая свеча. Но нет, всюду темно. Тихо. Лишь могучие дубы в парке тревожно шумят.

Один вечер миновал, второй, третий... безрезультатно! Не выдержало сердце родительское: верно, с Танюшей несчастье! Сорвались в Москву, к дочке, которая уже успела кончить консерваторию и, сделав хорошую партию, имела детей. Что за притча! В Москве тоже все спокойно, дети здоровы, Танюша весела, потолстела, и между нею и затем все как будто течет нормально. Зять скалит зубы:

— Просто дедушка решил навеститься в Индию...

А спустя еще сутки прискакал на поезде управляющий, весь в копоти, и сообщил, что в первый же вечер, как папа с мамой уехали, вспыхнуло родовое поместье, точно факел, и когда бы кто почевал в опустевшем доме, не уйти бы тому из пламени, вас чудо спасло.

Начиналась революция. От богатейшей в уезде фактории вился по ветру дым.

— Вот видите! — сказала мама, складывая чемоданы во Францию. — Я так и думала. Вы не верили в дедушку, а он потому три вечера подряд не являлся, что чуял беду и сигнализировал нам по-семейному, что в усадьбе неладно и пахнет керосином. Спасибо старому другу за последнее предупреждение. Что ж, спалили пристань, выкурили хозяина, прощай, изгнанный призрак, прощак навек!

Однако эмигранты ошиблись. Имение их дотла сгорело, это правильно, но Самсон Самсонович остался с нами и даже расширил поле своих вылазок.

Рассказывал мне, по пьянке, один пожилой чекист. Зашел он в начале нэпа с группой красноармейцев в чайную погреться, а кстате составить бумагу об изъятии змеесвика. Вдруг у чекиста в ухе пискнуло, затарахтело, забарабанило в перепонку, как если б ему дунули в трубку, сказав:

— Але, але, позвоните Лавуазье, спросите Троцкого — кто воротит сердцу потерянную любовь? Кто охватит глазом выдумки мироздания?..

Смотрят — поодаль, возле тигана, старик с интеллигентным лицом, не говоря ни звука, прихлебывает чай и читает

газету. Пока сообразили потребовать документы — встал, застегнулся на все пуговицы, приладил поплотнее картуз и, выпустив струю сивого пара, исчез в чаду и гудении клокочущих кипятильников. Кинулись к месту взлета — медный пятак тускнеет перевернутым двуглавым орлом, да мокнет газета «Известия», свежий номер, вечерний выпуск. А поверху, по потолку, сырые следы валенок удаляются в направлении тархтящего вентилятора, и чудный голос влетается в грохот змеевиков: «Мы опять просчитались в своих расчетах. Но город Любимов себя проявит!»

За дверь — ни души, тишина, снег от луны искрится, поскрипывают полозья на другом конце России: «чекист-проспись-приспись...» Ну и мороз!

Этот чекист, между прочим, одну зиму нес караульную вахту на даче Валина в Норках, а рядом, за бревенчатой стенкой, Иван Петрович лечился и сочинял по ночам первый план патилетки. Попишет Иван Сергеевич, на счетах пощелкает и во втором часу на цыпочках выскальзывает проветриться — в простом пиджаке, без шапки, ручки в брючки. На дворе, на скрипучем снегу переминается, озирается, нет ли кого поблизости, и, закинув лысоватую голову, — начинает...

Выл на луну Галин вдумчиво и методично, выл Николай перед смертью. Всякую ночь, как была луна. Повоет, немного послушает — все ли тихо, и снова залется и до тех пор кукует, пока вконец не изсябнет, и тогда бежит, зеленоглазый, со всех ног — на счетах щелкать и дальше писать, как нам двигаться по намеченному пути. И долго-долго не тухнет в светелке таллиннская лампада...

Вы спросите — какая внутренняя связь между этими фактами? Абсолютно никакой внутренней связи. Но коли даже у Лялина, у Петра Кузьмича — хотел бы я подчеркнуть, — бывали свои настроения, то почему бы их не иметь хорошему русскому барину, который и вреда никому не сделал, и в запредельные высоты проник более надежным путем. Просто феноменально, как это люди, верящие любой чепухе, не хотят понять серьезных вещей. Вот вы, Леонид Иванович... А ведь и в вашей биографии не все гладко. Нынче-то вечером вас так на луну потянуло, что я уж думал — как Нелин начнет¹. Вы — святой человек, выдающийся полководец, каких не знала... Да вы никак уснули под мою песню? Вот те раз! А я еще до середины не дошел... Дрыхнет проклятый. Умаялся на генеральском посту. Ишь, бельма-то закатил, косой черт, прости, Господи!..

¹ Редакция 28 июня 1989 г.

Эх, Леня, Леня, дурная твоя башка! Думаешь, заполучил по наследству проферансовский манускрипт, выучил барскую азбуку — и все в ажуре? Шалишь, брат. Ослабло твое влияние. По себе чувствую. Еще неизвестно, куда повернет колесо фортуны. Ну, что вздыхаешь? Спи, укрепляй здоровье. Вот спутешествует моя матушка к попу Игнату, и, Бог даст, поправишься, испарится твое безумие. Потому что все это одна чара и более ничего. Потому что уже ходят слухи о твоём чернокнижии. И скоро заговорят, все заговорят: «Что с ним связываться, с Косоглазым? Еще отвечать за него придется перед военным судом!»

Да подвинься ты, кобель. Уж и во сне толкаешься. Ладно. Лягу в ногах. Можешь не волноваться. Не продам. Я тебе и сторож, и советчик, и нянька. Арина Родионовна. «Руслан и Людмила». Индия. Мне твою биографию еще хочется сочинить. А все некогда. Кипятильники. Змеевики. Самсон Самсонович. Владимир Ильич. Россия. Спи.

Глава шестая

ПО ЛЕЗВИЮ НОЖА

Голубь набрал высоту, описал круг и, недолго думая, взял курс на Москву. Ему было без надобности вычерчивать план полета. Он шел наобум, по прямой, повинувшись голосу крови. Родимая голубятня влекла его — как финал неоконченной повести, восстав перед взором Автора, вытягивает в струну склизкий моток сюжета. Пусть неистовствуют герои и мечутся по жизненной сцене в бесплодных попытках продлить бремя существования. Развязка уже известна вдохновенному Мастеру, и он потирает руки, предвкушая конец работы, и мчитя к цели, как голубь, выпущенный из корзины.

Зачем же в груди летуна заговорил рассудок? Зачем через крутое плечо он глянул с тревогой назад и заболтался в воздухе, будто наново выбирал скорость и направление? Не выбирай! Не обдумывай предначертанного маршрута. Доверься вечности. Не подсчитывай километры. Выключи будильник и закрой календарь. Лети напрямик, по вдохновению. Куда ты? Опомнись! Ты же — не человек, ты — голубь! О, как часто мы гибнем, не рассчитав своего мастерства...

Секунда сомнения, миг борьбы — птица, забыв о долге, уже повернула вспять, с удвоенным рвением ворочая тяже-

левшими крыльями. Но измена врожденным принципам у птиц не проходит даром. Опозоренное создание, казалось, потеряло устойчивость и, снизившись, петляло, словно заяц, среди улиц чуждого города. Колокольню с грехом пополам голубю удалось миновать. Двойным прыжком он проскочил сеть проводов над крышей, и стеклянная дверь балкона ослепила предателя. Не заметив ладоней, протянутых к нему в ожидании, прыгун с налету врезался в стену и скатился окровавленным комом под ноги Леонида Ивановича.

— Что, голубчик, уйти захотел? — в другой раз не захочешь! — сказал Тихомиров, склоняясь над трупом репатрианта. — Раскусил я твою повадку, и вправду — почтовый голубь. Посмотрим, какие вести посылают через кордон внутренние враги...

Аккуратно, чтоб не испачкаться, Леня отделил от птичьей лапки латунную гильзу и вытянул тугую бумажку, перевязанную ниткой. На одной стороне квадратными буквами был обозначен адрес: МОСКВА. ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК Ном. 100001. АНАТОЛИЮ СОФРОНОВУ. Почему-то составитель послания отказался от конспираций, и Тихомиров без труда разобрал ясный убористый почерк.

Здравствуй, Толя!

Пишет тебе из Любимова твой закадычный друг и бывший сослуживец Виталий Кочетов. Помнишь, Толя, как мы гуляли по притихшей Москве и, рассуждая о прочитанных книгах, обменивались новостями по технике безопасности? Что мы тогда понимали, желторотые топтуны? Я считаю, все это был один чудный сон. Однако, Толя, мы живем в такое время, когда сны сбываются. Тогда мы, как дети, мечтали об аппарате мозгового обслуживания, который бы фотографировал мысли в голове человека. Теперь могу тебя порадовать, такой аппарат существует, и даже более техничный по сравнению с нашей утопией. Чем записывать чужие мысли на пленку, лучше их сразу направлять по хорошей дороге. Верно, Толя? Мне в результате розыска стало известно, что Тихомирова оболгали завистники и догматики-рутинеры, и надо еще разобраться, не происки ли это какой-нибудь иностранной разведки? Я своими глазами видел, как он расправляется с американскими шпионами, с приведенными в скафандрах и другими пережитками прошлого, и решил здесь задержаться. Но у меня, Толя, сломалась рация, когда я в заблуждении выпрыгивал из генеральского штаба, еще не полностью овладев своими новыми мыслями. Теперь я все осознал и прошу доложить начальнику существо дела.

Посылаю с этой депешей служебного голубка. Уверен в его успехе. Ему случалось переваливать и через горные хребты. А самолеты на город Любимов, скажи начальнику, посылате не надо. С вызовом авиации я допустил ошибку. Не воевать с Тихомировым, а приветствовать его новаторский почин и повсюду внедрять его методы воспитания — вот задача нынешнего политического момента. Толя! Ты меня знаешь и сможешь объяснить в верхах, что я свой парень, а не какой-нибудь абстракционист. Передай моей жене Кате, что я ее скоро выпишу. А с евреями, Толя, мы тогда проявили недооценку. Евреи — тоже люди. Как ты считаешь? До свидания, Толя. Когда все наладится, я считаю, ты тоже переедешь в Любимов и мы еще чокнемся с тобою красивыми рюмками за мир во всем мире.

Твой Витя.

Прочитав правдивую исповедь, Тихомиров пожалел о судьбе загубленного почтальона. Долети он до столичных высот — и, быть может, слова прозревшего очевидца возымели бы действие и ускорили бы наше признание в прогрессивных кругах. Но, с другой стороны, этот минус имел тот плюс, что Леня теперь знал о появлении в городе настоящего, верного друга, которого в последнее время ему так не хватало. Едва попав в нашу здоровую атмосферу, чуткий разведчик понял, на чьей стороне правда.

— Где ты бродишь, где пропадаешь, мой неизвестный брат? Не скрывайся! Услышь этот голос, тоскующий в одиночестве, и приходи ко мне!.. Витя, приходи...

И словно в ответ на зов, посланный в городские пределы, с неба донеслось отдаленное механическое жужжание. Вскоре оно перешло в мерзкий стальной скрежет, от которого стонала земля, звенело дерево и, как припадочные, тряслись кривобокие домишки, рассыпанные по косогору. В двух шагах от базарной площади, немного не добежав, Тихомиров упал, оглушенный, на спину, на бульжную мостовую...

Самолет с жутким ревом вынырнул из-за леса. Прямо скажем, то не было чудо искусства новейшей ракетной формации, а всего лишь — самый нормальный, средней руки бомбардировщик, дошедший до наших дней еще со времен Сталинграда. Распластавшись, как кошка с нацеленной мордой и прижатыми ушами, он мчался по воздуху, виляя телом, весь обтекаемый, капризный, полный неудержимых намерений. Такого красавца с добрым грузом на нашу дощатую ветхость хватило бы за глаза, а тут позади, за флагманом,

гудела на подхвате целая эскадрилья. Видать, пришла резолюция оставить от Любимова одно мокрое место.

Леня лежал, глядя, как падает, метя ему в лицо, неприятельский самолет. Что было делать? Его лицо, растянутое по бульжнику, во всю ширину базарной площади, служило отличной мишенью, и летчик знал, что прикончить лежащего на спине человека так же просто, как взрыть фугасом лесную пустошь. Вот именно, знал и видел, что впалые щеки Леонида Ивановича поддаются ожогу не хуже, чем склоны оврагов, заросшие сухим молочаем. Что его губы, усеянные бугорками болотистой сыпи, бессильны отвести занесенный над ними удар. Что глаза... Подождите! Какое сравнение нам следует срочно придумать для человеческих глаз, не имеющих иного оружия, чем это отчаяние, устремленное ввысь, в стальную, с каждым мгновением, нет, с каждой тысячной долей мгновения падающую громадину?

Вы, может быть, скажете: до сравнений ли тут, и к чему нести околесицу, когда дело ясное, и стоит ли прикрывать нескладной, старомодной метафорой поверженного героя? Не вернее ли все представить, как Фейхтвангер с Хемингуэем, в спокойном, цивилизованном тоне: «Авиатор нажал рычаг. Точка. Потекли мозги. Застегиваясь, он слушал, как в унитазах шумит вода...»

Не согласны?! Когда б у нас была хотя б одна батарея, хоть какой-никакой плохонький карабин, мы бы не стали потрясать небосвод грубыми воплями. Но где справедливость?! У них — аэропланы, газеты, журналы, радио, сумасшедшие дома, телефон, а у нас — ничего, ну понимаете, ничего нет под руками. Оголенное воображение. Так неужто же мы, придавленные к земле и ждущие смертного часа, не кинемся навстречу и не ткнем в урчащую морду первой пришедшей на ум чудовищной кровоточащей гиперболой?!

Итак, начнем сначала и попробуем восстановить сцену битвы в ее натуральном виде, учитывая, однако, что ведь и у нашего Лени была голова на плечах с кое-какой начинкой.

Представьте сперва — высоко-высоко в небе — пикирующий бомбардировщик...¹

Бомбардировщик, представьте, пикирует с ужасающей скоростью...²
...с убийцы.

¹ ...а здесь, внизу, — поверженного, лежащего на спине человека.

² ...вниз, прямо в лицо, не спускающее напряженного взгляда...

Тот, все еще пикируя, с удивлением замечает...¹
...в морду зверю, готовому впиться когтями...²
...и воткнулись в небо копытами остроконечных вершин.
Как будто...³
...рычащему аэроплану...⁴

...вверх:

— Уйди, блядь, уйди, сука, а то напорешься!..

Когда машина ушла в зенит и послушными виражами отвалила за городские пределы, увлекая своим примером остальную джаз-банду, Тихомирову показалось, что у него на лбу лопнула ветвистая жила. Ему стоило напряжения приподняться на локте и послать врагам вдогонку внушительное напутствие. Те не оборачивались. Километрах в семи от города они всласть отбомбились в болото, сочтя, должно быть, что гнилые кочки подозрительны по камуфляжу и тут расположен главный любимовский арсенал. А горы лежало хвороста померещились им с высоты бастионами монастыря...

С каким удовольствием Леня подорвал бы окаянную стаю на ее собственных бомбах. Но дальний расчет стратега возобладал в нем над жаждой мщения, и он, едва в лесах утихло эхо, утвердил в сознании летчиков приятную уверенность, что город Любимов, как сами видите, смешан с грязью и зарево пожаров, застилая картину, танцует над обугленными телами ревизионистов. В сложившейся обстановке нам было выгоднее на время притвориться погибшими и накапливать силы для сокрушительного удара.

— Товарищ Главнокомандующий, разрешите перейти в ваше распоряжение,— прозвучал над Леонидом Ивановичем негромкий тенор.

Преодолевая лому в спине, Главнокомандующий повернулся на другой бок. Первое, что он увидел, были ноги в лаптях и в онучах, заправленных, однако, ловкими тугим винтом, на манер солдатских обмоток. Лапти тоже были расставлены по-военному: пятки вместе, носки врозь.

— Я отставной сыщик-универсал Виталий Кочетов. Арестуйте меня. По вине моей портативной радиостанции

¹ ...что под ним располагаются не городские строения с искаженным от страха лицом, а глухие лесные уголья, кое-где пропотевшие болотцами и овражками. Это в предсмертном отчаянии Леня напружинил зрачки и метнул их...

² ...ему в очи, которые, как стволы гигантских лиственниц, поднялись...

³ ...сама земля, усаженная дреколлем, всколыхнулась и враскорячку, в изуверстве, пошла напролом, навстречу...

⁴ ...крича ему снизу...

противник получил наши координаты. За этот налет я несую политическую ответственность...

Молодой оборванец стоял навытяжку. Большепалые, тяжелые руки говорили о застарелой любви к слесарному инструменту. Курносая физиономия смотрела на командира прямым, честным взглядом. Именно таким Леонид Иванович рисовал себе недавно этот загадочный образ.

— Здравствуй, Витя. Я рад с тобой познакомиться,— сказал он, поднимаясь с земли.— Пока не попер народ изо всех щелей, давай поговорим. Хочу поручить тебе одно задание: ты должен мне помочь построить волновик-усилитель, который бы на больших расстояниях...

— Извините, начальник,— перебил парень вежливым тенорком.— Сперва, я считаю, меня следует наказать. Я должен нести ответственность за допущенные ошибки.

— Да!— воскликнул Леня, все более радуясь редкой находке.— Ты будешь нести ответственность. Отныне, Витя, ты станешь моим другом и первым заместителем!

И подойдя к неопиту, он поцеловал его в тугие, по-мальчишески надутые губы...

.....

Вторую неделю горели болотистые леса, подпорченные зажигалками. Пожар на болоте потушить не так просто. Загасишь в одном месте, пройдет день-другой, и вот уж новый участок начинает дымить, хотя, кажется, и дымить-то нечему: одна вода с гнилью, и вот эта гниль дымит. Бог его ведаст, какими путями распространяется по лесу огонь-змееносец. Под землею он что ли просачивается от участка к участку, потому что настоящего пламени сроду не увидишь, а вся земля в куreve, ну, и деревья тоже постоят-постоят в дыму и незаметно превратятся в готовые головешки.

Большого вреда для человека от этих пожаров нету. Уж очень они медлительные, затяжные. Бывалые люди говорят: «Пушай глеть, к жиме шамо погашнечь». Однако воздух в городе приправлен дымком, и от этого, как потянешь ноздрями, на душе становится беспокойно и сладко: все как будто чего-то ждешь. А чего нам ждать?..

Проводка сигнальной службы тоже частенько портилась и давала осечку. Леонид Иванович каждое утро гнал трудовые дружины в дальние лесные районы— где тушить, где починять, а где досматривать, не истлел ли за ночь какой-нибудь новый кабель. И был один случай, когда два старика не вернулись с боевого задания: ушли за границу к сродникам и там остались...

С июня дожди зарядили и гари поубавилось. Но хотя поубавилось гари, подпочвенный враг продолжал тихой сапой поджигательскую работу. Чуть ветерок подует, и, смотришь, опять донесло до Любимова прогорклый, шальной запах, а то и хлопья сажи. Вдобавок в этом году от переизбытка влаги обещали не уродиться хлеба.

Частые бури и грозы мешали подъему земледелия и скотоводства. В колдобинском колхозе молнией убило быка. Гигантские стрелы, чиркая над сырыми полями, пугали промокших баб. У одной девки под влиянием грома получился выкидыш: сам величиною с котенка, но, между прочим, с хорошо развитым членом, а личность при бороде и усах. Ладно — дохлый! закопали. Из деревень потянулись в город конопатые ходоки.

— Что вам надо? Хотите — подыдем у вас в деревне металлический громоотвод? — предлагал Тихомиров крестьянам достижение техники. Но хитрые мужички, сгрудясь на заднем дворе, шумели, что эту дуру они и сами подымут, а ты вот лучше дождик заворижи, чтобы, значит, того-сего, вызывать осадки по точному расписанию. Когда же Леня указывал, что передовая наука на ворожбе и чудесах давно поставила крест, ходоки, как сговорившись, вспоминали попа Игната. Дескать, по дошедшим сведениям, проживает этот исключительный поп за Мокрой Горой, отсюда верстах в семидесяти, и уж коли отслужит молебен, устанавливает в той глухомани — хошь ведро, хошь ненастье, прямо по заказу. А как-то раз делегаты намекнули, почесываясь, что ежели Тихомиров чудесами заниматься уже более не способен, то на кой он ляд тогда нужен со своим чернокнижием. И кто-то засмеялся...

Безыдейные выступления Леня глушил на месте, но, вправляя мозги, замечал: в государстве появилась утечка, и почему она появилась — решить трудно. Может, в борьбе с неприятелем надорвал он свою кишку, а может, еще раньше пошла на убыль его волевая сила.

Кто скажет: где коренится падение великих династий? Когда начался закат Европы, упадок Рима? Возможно, в самый полдень, в самый что ни на есть запал славы, некий предусмотрительный гений уже отчаливает незримо от наскучивших берегов. Возможно, какая-нибудь историческая держава только-только показалась на свет и не успела еще развить свою промышленность и воздвигнуть себе на земле памятник архитектуры, а в таинственной книге уже написано заключение, что через зное число часов ее сметет иная историческая держава, которая, в свой черед, кончит тем же

смятением. Вот мы с вами сидим, лясы точим и ноги чешем, а там, за окном, быть может, по неизвестным причинам Древний Рим закатывается или, того хуже,—всему свету наступает конец и пора нам, как говорил Сергей Есенин, собирать манатки...

Леонид Иванович целыми днями пропадал на хозяйственном фронте. Либо сам следил за тишиной в городе и в сумрачном одиночестве делал обходы по улицам, истощенный, с провалившимся взглядом, с опухшими сосудами, оплетавшими его чело синим жгутом молнии. У него завелась привычка появляться в публичных местах, окутав свою персону покровом неузнаваемости. Под видом простого учетчика или колхозного бригадира, не внушавшего опасений, он заглядывал в пивные, где околачивался народ и выдавали по талонам дневную порцию водки. После печального эпизода с упившимся арестантом—ввели строгий лимит: 150 грамм на брата. Полностью упразднить эту моду—на такую затею даже Тихомиров не рещался: попробуй отмени вино в России,—революция вспыхнет...

— Скажи-ка, братец, что ты думаешь о нашей внешней политике?—подсел Леонид Иванович к безногому инвалиду войны, который уже осушил свой законный стаканчик и прицеливался ко второму, добытому, видать, нелегально, по краденому талону.

— Чего о ней думать, добрый человек? Политика у нас прямая, справедливая. Миролюбивая, можно сказать, у нас политика... Будь здоров!

И, спровадив другой стаканчик, скроил вкусную рожу.

— Только винцо-то у нас, сам знаешь,—поддельное...

— Это почему же поддельное?!—изумился Леня столь откровенной наглости. Приняв двойную порцию, мерзавец раскраснелся, распарился, глаза у него тоже достаточно посоловели, язык заплетался—чего еще? Но, заплетаясь, настаивал, что винцо все равно поддельное, получаемое из обыкновенной воды—путем гипноза...

— Да откуда все это известно? Ведь ты же сейчас—пьян, ведь пьян ты, а? Ты же чувствуешь внутри физическое наслаждение?..

— Сейчас-то я чувствую,—отвечал инвалид, облизываясь,—но сам посуди: пьешь-пьешь эту фашистку, а голова с похмелья все равно не болит. Разве ж это винцо?

Калека всхлипнул. Непритворные, пьяные слезы градом покатались по промасленной гимнастерке. Напрасно Леонид Иванович пытался его ободрить:

— Ну чего ты, братец, плачешь? чего расстраиваешься?

— Да как же нам, брат, не плакать? — простонал герой войны и перешел на шепот: — Ведь царь-то у нас колдун... А царица — жидовка...

В тот же вечер между супругами произошло объяснение. Забежав перед сном поцеловать у жены ручку, Леня мимоходом затронул национальный вопрос:

— Ах, Симочка, повремени со своими нежностями. Право же, в тебе есть что-то испанское...

— По матери и по паспорту я — русская, — пояснила Серафима Петровна со всегдашней готовностью. — А папа — наполовину грек, наполовину еврей.

— *Еврей?* Не может быть! Ведь ты же — *Козлова!*

— Моя девичья фамилия — Фишер. Козловой я стала недавно, после первого брака...

— Здрасьте! Ты была замужем? Отчего же я раньше не знал? Может быть, у тебя и дети были?

— Почему — были? У меня и теперь в Ленинграде, у родителей мужа, с которым я давно состою в разводе, воспитывается ребенок. Девочка... О, Леонид, не смотри так ужасно! Там сам никогда ни о чем не спрашивал. Я не утаивала, поверь...

Но Леня уже не верил. Иллюзии разлетелись, как шпильки, сорванные с туалетного столика заодно с салфеткой. Хрустнул флакон. Спальня наполнилась парами пролитых духов. И тогда, собирая хозяйство, женщина огрызнулась:

— Ты сам виноват... Супруг — называется... Много я от тебя видала за медовый месяц!

Из фарфоровой оболочки вдруг высунулась на мигуту прежняя Серафима Петровна и, смерив Леонида Ивановича бойким, уничижительным взглядом, ретировалась. Ресницы поднялись и упали. Запылавшие ланиты погасли. Уста, готовые усмехнуться, свернулись бантиком.

— Прости, милый, прости. Я тебя безумно люблю. Я перед тобой безумно, трагически виновата, — проговорила она протяжным, немного сонным голосом. — Мои чувства к тебе нельзя передать словами...

Хлопнув дверью, Леня оставил эту куклу одну разбираться в чувствах. У себя, на штабной половине, он сменил костюм и поспешно ополоснулся. Его преследовал вездливый запах нечистых женских духов.

С тех пор Серафима Петровна не могла пожаловаться, что муж не уделяет ей времени. Он часами расхаживал перед

ее тахтою, как волк в клетке, а она, поджав ножки и наморщив лобик, старательно припоминала:

— Еще на моем горизонте вращался директор клуба. Твой тезка. Леонид Григорьевич. Очень оригинальный и образованный человек. С большим чувством юмора. Мы с ним увлекались Генделем. На прощанье он подарил мне книгу японской лирики с надписью «Ты не Серафима, а Хиросима—я все в тебе имел, я все в тебе потерял». Вот видишь: потерял. Потом за мною полгода ухаживал Тевосян. Армянин. Ревнивец. Ревнивец тебя. Моряк душой и телом. Встретив меня случайно под руку с Изей, он чуть не зарубил Изю тесаком. Изя—это не в счет. Почти подросток. Ярko выраженный семит. Хилое растение. Бледно-голубой цветок Новалиса. Но если б ты мог представить, до чего живучи эти хилые стебельки. Я даже не знаю, рассказывать ли о нем. Вдруг это опять как-то тебя заденет, хотя...

— Рассказывай! Все рассказывай! Всю подноготную!— бурчал Леонид Иванович и грозно притоптывал, пробегая мимо тахты, на которой Серафима Петровна без утайки, с аккуратностью автомата, воспроизводила историю своих сердечных приключений.

— Однажды мы трое суток провели в Озерках на даче и ни разу даже не встали, чтобы полюбоваться природой. Бисквиты и крепкий бульон Изя собственноручно сервировал подле нашей худенькой раскладушки. Такую деликатность я встречала в мужчине еще только раз, у подполковника Алмазова. С ним мы познакомились по дороге сюда, в поезде, в отдельном купе. Старик, но еще очень живой. Я называла его «топ colonel», хотя между нами почти ничего не было. Это был почти платонический роман, еще более мимолетный, чем с доктором Линде. Представь, мой милый Леонид, пока судьба не свела меня с тобою, я от скуки немного вскружила голову нашему доктору. Но только дважды имела глупость...

— Замолчи! Забудь!— гаркнул Леня, не выдерживая этой пытки.— Всех забудь! Слышишь? Я один был у тебя в мужьях. Со мною ты должна похоронить навеки свое мещанское прошлое...

А назавтра, когда Серафима Петровна все позабывала и была чиста от дурного прошлого, как шестилетняя девочка, он требовал сызнова кое-что вспомнить, дополнить и уточнить.

— С кем ты путалась до встречи с Чингис-Ханом?

— Каким Чингис-Ханом?

— Ну, этот армянин, который чуть не зарезал... И еще конкретизируй: спала ты с Генделем или не спала? Опять ты хочешь скрыть?.. Отвечай: спала или не спала? Чего смеешься? Смех — смехом, а кверху мехом. Я тебе — поспеюсь!

Нет, не такой уж распушенной была Серафима Петровна, как это ему казалось. С чистыми помыслами, угождая его желанию, она обыскивала себя и собирала с миру по нитке все, что имела в жизни и что могло бы засвидетельствовать ее полную откровенность. А что греха таить — какая женщина, тем более живущая в самой гуще прогресса, образованная, интересная, окидывая мысленным оком свое прошлое, не сумеет склотить приличную группировку? Мы все хотим, имея с ними дело, чтобы они оставались невинными, непорочными, ну а у них это не всегда получается...

Но он-то ведь знал, что играет с огнем, что, распалая мужскую ревность, он изнуряет себя как общественный деятель, как глава государства. И тем не менее с упорством геолога продолжал исследовать сердце несчастной Серафимы Петровны. Ибо нету пределов дерзости, проникающей и в тайну белка, и в загадку атома, и в глубокие рудники любвеобильной женской души. Так уж устроен человек, что не может он остановиться на путях познания и удержать своей ревнивый разум, которому сколько ни подкладывай дров — все мало...

Леня до того увлекся научной работой, что даже пробовал снимать психическую блокаду и наблюдал за развитием женщины в естественной обстановке. Затаив дыхание, с ужасом и восхищением смотрел он, как оживает в фарфоровом теле куклы образ прежней, недоступной ему Серафимы Петровны. Ее движения приобретали внезапную угловатость. Она переставала следить за собою и слонялась неприбранная, разбрасывая по комнатам детали своего туалета. Она швыряла вещи, как солдат на постое, и грубила, и покрикивала, будто не он, не Леонид Иванович, а она здесь хозяйничает:

— Поддай мне чулки! Вон висят на рояле. На рояле — тебе говорят! Ты что — оглох?

И лезла в политику.

Когда-то он сам, желая избавиться от ее докучливых ласк, рекомендовал Серафиме Петровне возглавить министерство культуры. Теперь она схватилась за народное просвещение. Она немедленно потребовала расширить школьные планы, утвердив для старших классов два романа Фейхтван-

гера и один Хемингуэя: «Фиеста», «Еврей Зюсс» и «Безобразная герцогиня»¹.

Леня без волевого нажима, а только с помощью логики и простых примеров из жизни пытался ей втолковать, почему мы не можем ввести в учебные курсы ни Фейхтвангера с Хемингуэем, ни Хемингуэя с Фейхтвангером. Получится мирное сосуществование двух разных идеологий. Что скажет Мао Цзедун, о чем подумает Пальмиро Тольятти, когда их известят, что в Любимове, в средней школе, Фейхтвангер сосуществует рядом с Хемингуэем и они между собою не борются и не вытесняют друг друга?..

— Много ты понимаешь в западной культуре! — парировала Серафима Петровна разумные доводы мужа. — И потом — подарил ты мне на свадьбу город Любимов или не подарил? Чьи тут владения? Кто здесь царица?..

Как он любил ее в эти роковые минуты! Как жаждал ответной любви, участия и одобрения этой надменной красавицы, именно *этой*, а не той, что в другом состоянии допекала его покорным, по-собачьи преданным взглядом. Но чтобы ее взвинтить и вывести из себя и все-таки добиться слияния *той* и *этой*, Леня напоминал, какая она царица, ежели стоит ему пошевелить бровями, и она поползет по паркету, как последняя сволочь. И он прищпоривал еще и еще молодую скакунью, дразня ее и подхлестывая, пока в бешенстве она не взлетала на дыбы и, разъяренная, прекрасная, не бросалась к нему с оскорбительными угрозами. Вот тогда, выждав, он включал передачу, и женщина, застигнутая врасплох, вертелась волчком посреди гостиной, и валилась на пол, и стенала от внезапных унижительных приступов страсти, и, как животное, ползла, извиваясь по полу, и молила о поцелуях, а он сидел неподвижно, как истукан, и до себя не допускал.

Но порою бывали сюрпризы, и чем далее шло изыскание, тем они повторялись чаще. Повалившись на пол, Серафима Петровна вместо заданной программы начинала биться и причитать, изливая душу в бессмысленном бабьем кликушестве:

— Ай-ай косою черт приласкай косою черт пожалей заморыш горит сладко родить щенят с клыками фейхтвангера не могу раздавить портки танки идут выну кисту танки идут откусить хочу хохлатый бежим в Ленинград!..

¹ Своевременно изъяты, эти книги по недосмотру завалились под шкафом в публичной библиотеке.

И сколько бы Леонид Иванович ни включал и ни выключал передачу, он уже ничего не мог изменить в самочувствии Серафимы Петровны. Знать, кто-то другой включался на это время в работу и бесчинствовал на полу, завладев ее разболтанной нервной системой. И тогда, чтобы женщина окончательно не лишилась рассудка, Леня погружал ее в сон, и такое средство пока что действовало безотказно. А спустя пару дней в доме опять воцарялся этот, вошедший в привычку, тихий, семейный ад... Одно было прибежище у Леонида Ивановича — верный друг и помощник Витя Кочетов. Для Вити в подвале штаба нашлась келья не келья, чуланчик не чуланчик, а подсобную мастерскую он сам разгрузил от хлама и технически оснастил. Спустишься в подвал — сердце радуется: кругом в образцовом порядке лежат на верстаках, стоят на шикарных полках, висят на гвоздиках — ободья, сверла, буравы, молотки разных фасонов, пластикаты, банки с соляркой, ванночки с гальваникой, паяльная аппаратура. С краю примостились тисочки небольших габаритов и компактная наковальня. Плянешь на те тисочки — подмывает пройтись по воздуху рашпилем и надфилем. Посмотришь на ту наковальню — так бы сейчас, кажись, и фуганул кувалдой.

А посреди инструментария, когда ни зайди проведать, горбится при свете копилки фигура друга. В разговоры не вступает, вопросов не задает, лишь насвистывает изредка вальсик из кинофильма «Юность Максима». А скажешь ему:

— Витя, — болтик!

— Есть болтик! — откликается Витя и мгновенно плоскогубцами успокаивает анархиста, не желающего смиренно сидеть в своем гнезде.

— Витя, — шпандырь!

— Есть шпандырь!

Схватил, подкинул, деряб-деряб-ердык, и будь спок: пришпандорит и захендюпит по самую фитяску.

— Витя, — втулка!

Берет дрель и дрищет во втулку, куда не просквозит из отверстия ответный ветер... Так незаметно, играючи, в порядке разминки, приятели отгрохали фартовый велосипед.

В передаточных механизмах, в сцеплении шестеренок Леня, тряхнув стариною, показал класс. У Вити были иные навыки: он понимал в электричестве и разбирался в теплотехнике. По его инициативе в городе починили движок. Ему же принадлежало смелое начинание по части жидкого топлива, заменяющего бензин. Движок, сколько ни жилься, без

горючего не запустишь. Что же делать?— научились делать горючее из растительных масел.

Но в строительстве магнетического волновика-усилителя темпы по-прежнему отставали от жизни. Ведь строить-то выпало на пустом месте, безо всяких там арифмометров и конденсаторов. С одним сопротивлением натерпелись: козни врагов, измена друзей...

Однажды, едва на крепком велосипеде Леонид Иванович замесил по проселку налаживать урожай, в мастерскую сошла хозяйка.

— Спасибо, я— уже,— отказался вежливо Витя от приглашения завтракать. С озабоченным лицом он вмонтировал поскорее в тисочки необработанный брусок и зашваркал напильником. Дескать, прошу извинить, но неотложное производство отвлекает меня от вашего приятного аппетита. Смотреть на Серафиму Петровну у него не поднимались глаза. Она ослепляла улыбкой, говорящей всегда одно и то же: «Будь ты хоть сам Гарибальди, а от меня, голубчик, тебе никуда не деться».

— Правда, Витюша, — Серафима Петровна поправила прическу безукоризненно точным жестом, от которого у мужчины внутри все холодеет,— правда, Витюша, вам довелось участвовать в разоружении банды Берия? Расскажите... Ах! не рассказывайте! я совсем забыла, какую высокую меру применяют к разведчикам за их несдержанность... Знаете, я тоже когда-то мечтала стать разведчицей. Это так интересно! Опасные связи... Тайные встречи... Трагедия женщины, вынужденной, рискуя жизнью, пить шампанское с каким-нибудь дипломатом, хотя как человек он ей не импонирует, но надо — значит надо, и вот она, хохоча, кладет молодое тело ему на эшафот...

— Неясно мне, хозяйка, на кого вы намекаете,— отвечал Витя сконфуженно.— Вам же известно: я оставил эту треклятую работенку...

Не отходя от станка, он покосился на колесную чашечку, выступавшую из-под пеньюара вполне благопристойно, но слишком уж как-то выпукло, мочи нету смотреть.

— Витюша, бросьте рубанок! хватит маскироваться! Я вас не выдам. Поймите наконец,— я тоже пленница, а не жена этому деспоту. Какой он муж? Я даже не жила с ним ни разу... Бежим вместе! Я помогу вам похитить бумаги у него из сейфа. Военные чертежи. Без них тиран потеряет всякую власть над нами. Он уже потерял. Я вся в вашей власти... Витюша, вы слышите? Я вся в вашей власти!..

Ручейки пота, сплетаясь на животе, опоясывали атлета. Железо жгло кожу. Раскаленный напильник, как скрипка, пел и плакал в руках. Но заглушить речь соблазнительницы — насечка была мелковата.

— ...В Ленинграде по чертежам мы сами построим двигатель. Возьмем новос знамя. Вы станете принцем-консортом. Вице-королем. Фаворитом. Уверю вас, Мао Цзедун протянут нам руку дружбы. В крайнем случае временно пожертвуем Средней Азией. Отдадим Кавказ. Перекинем пожар в Европу. Не шутите со мной, Витюша! Я не какой-то районный центр имею в виду. Я обещаю вам...

Каких только цукатов не наобещает взбалмошная, потевшая управление женщина? Но чего хорошенького для нашей родины она сможет предложить? Анархию. Одну анархию. И сплошную междоусобицу. Засады на дорогах, поезда под откосами. С черными знаменами. В розовом пенюаре. *Поезда, оголив колени, падают под откос. Чашечка. Шестеренка. У нее, у заразы, небось буфера под платфом. Сперва кружева, опосля буфера. Поезда, гремя буферами, падают под откос. Тисочки б не свихнуть. До чего раскалились. Пожар. Взметнув штанами. Не отдам Кавказа. Фаворитом бы, да по Европам. Встань ко мне Европой, милка, я к тебе передом. Пожертвовать? Россией пожертвовать? Опять анархия. В кружевах, в поездах, падающих...* Куда, анафема?

С напильником наперевес Витя расправил плечи и преградил дорогу твердыми, непреклонными, как плоскогубцы, губами:

— Не подходи, хозяйка, я ведь и пришибить могу. За Россию, за город Любимов, за сердечного друга Леню я жизни не пожалею...

Долго после этого насвистывал Витя вальсик и думал, насвистывая, говорить или нет начальнику, что у него жена скурвилась. И решил покуда не говорить, не расстраивать Леонида Ивановича, которому и без того расстройств хватало.

Что верно — то верно. Не по дням, а по часам таяла у нашего Лени молодецкая сила, и он уж редко-редко когда прибегал к магнетизму, а больше донимал чистым энтузиазмом. Вот и я по стариковству принес ему заявление об уходе с государственной службы, а он даже спорить не стал и лишь спросил с укором:

— Что, Савелий Кузьмич, и ты бежишь, как крыса с тонущего корабля? Все смотрят по сторонам, и ты туда же?

— Нет, не туда же,—говорю и подхожу к пульту, за которым он сидел, изучая карту местности,—а пора мне в спокойной домашней обстановке приниматься за мемуары про твои, Ляня, подвиги, потому что при штабе да при лампочках сигнализации много не сочинишь. К тому же самое время за грядками присмотреть, морковка прополку любит, и народ что-то сделался очень уж вороватым, вчера гусенка уперли, которого ты сам разрешил мне иметь в единоличном пользовании. Так что приступаю вплотную к написанию нашей хроники, о чем по твоему же приказу давно хожу и раздумываю...

— Да ты, я смотрю, зафасонил,—оглядел он меня придиричиво.— В рубашенцию нарядился, галстук завел, запонки, просто стилиага. Уж не хочешь ли за границу смотаться? Опоздал: нынешней ночью уже ушла из города партия перебежчиков...

— Говорю вам — писать собрался. Куда мне бежать от художественного объекта? Вы мне, Леонид Иванович, еще обязаны пашк определить по высшей категории, поскольку я теперь творческий работник и деятель искусств...

Пригорюнился он, вспомнив, должно быть, о пайках, трудоднях и трудностях с урожаем, и поинтересовался рассеянно, какими словами намерен я описать нашу прекрасную жизнь. Вот тут-то я и вытянул из-за спины букет, приготовленный к этому случаю для торжественного прощания с Леонидом Ивановичем. И, водрузив на видное место, поправил галстук, подкрутил запонки и, жонглируя тетрадкой с конспектом, произнес такой монолог:

— Как он красив! Как он свеж! Как он дышит всеми красками и запахами природы, этот роскошный букет полевых цветов, растущих в избытке на нашей влажной почве! Приглядитесь — сколько тут хитрости, изящества и приятной пестроты. Сухопарая кашка рельефно оттеняет мясистую сочность мальвы, и шаловливый лютик целует головку застенчивой маргаритки. Пусть и в нашей повести слова, как цветы в букете, мельтешат и лепечут на все лады. Пусть одно слово будет смеющимся васильком, а другое — гордо бордовым, чванным помпоном клевера, а третье — изысканно-бледным и мечтательно-ароматным, наподобие гирлянды распустившегося жасмина. Пускай слова растут и выгибаются на тоненьких ножках, мечутся в глаза, пыхтят и рвутся в дружеском хороводе, соперничая в устройстве, красоте и отделке лепестков, бубенчиков, фестончиков и гребешочков. Ибо такая пестрота и пышность слога отвечает нашим

природным потребностям и знаменует расцвет города Любимова с его красочной биографией и ярким руководством...

— Хорошо-хорошо,— говорит Леня и даже сморкается в носовой платок под впечатлением этой речи.— Пишешь ты цветисто. Но нету в тебе, Проферансов, настоящей идейной ясности и задушевной простоты. И слова у тебя, обрати внимание на этот художественный недостаток, все с какими-то ужимками, с каверзами какими-то, и весь ты какой-то вертлявый и ненадежный футурист. Скомороха ты, что ли, из себя изображаешь? Юродивым прикидываешься? Ехидство в тебе, что ли, неизжитое сидит?

Такую навел критику на мое искусство, что не захотел я с ним толковать, где да почему скрыты во мне гнильца и злорадство над человеком. Но что во мне кроме того стыд и совесть имеются, это я показал ему весьма прозрачно.

— А я, как скромная девушка, которая не желает целомудрие потерять!— объявил я и зачем-то выставил одну ногу. И стоя в этой позиции, нарисовал в деталях, как спасались наши девушки от фашистских поработителей. Чтобы отбить у немца охоту к своему белому телу, мазались они дегтем и коровьим пометом, разводили на себе насекомых, пускали слюни при каждом слове и в грязнухах да в дурах отсиживались, поджидая, когда вернутся с победой красноезвездные женихи. Мало ли примеров... В России умные люди издавна дураками слыгут, а честные — жуликами, и это не от чего иного, как от совести нашей русской, подсказывающей, что непотребно человеку открывать стыдливую душу, не замарав ее предварительно какой-нибудь пакостью. Иной раз и выругаешься, и совершь, и даже украдешь немножко или, бывало, на сеновале к соседской жене сделаешь безответственный шаг, и все с единственной целью — сохранить под панцирем невредимую душу, которая, как драгоценность в шкатулке, нуждается в надежном замке...

— А скажи, Савелий Кузьмич,— перебил меня Тихомиров, занятый своими печальми,— тебе не попадалась книга из нашего сейфа? та самая... старинная, в толстой коже...

Выясняется: хранил он ее запечатанную в кабинете, в железном ящике, и как выучил наизусть, больше туда не заглядывал, а ключ носил на шнурке, вместо креста нательного, будучи за все спокоен и в себе уверен. На днях загорелось ему освежить в памяти один параграф об излучении психической силы — хватать, в ящике пусто, хотя замки целы и печати не тронуты. Тут уж меня осенило, что, кроме Самсона Сам-

соновича, эту реквизицию произвести некому. Покойный барин подкинул нам письменное пособие, и он же, по истечение сроков, забрал свое добро.

— Опять ты с этими сказками! — отмахнулся он устало и, немного помедлив, спросил, не припомню ли поточнее, в каком именно омуте нашей мелководной реки утопили мы по весне милицейскую амуницию. Я так и обмер: ну, братцы, догавкались — кранты мозговому делу. Но вслух сказал командиру в последнее утешение:

— Ничего, не робей, начальничек. Не все потоплено. По избам поискать — еще десяток-другой берданок насобираешь... Гляди-ка — небеса посветлели. Даст Бог, разведрится, урожай съемем. Поправимся, поднатужимся, до осени дотянем. Тогда уж никакой супостат в наши леса не пролезет. Нам бы только, Ленья, до осени дотянуть...

А внутри, под панцирем, душа у меня скулила: недотянем, недотянем...

Расставшись с Леонидом Ивановичем, Проферансов в глубокой задумчивости не заметил, как пересек заставу, плетни, огороды и очутился у крайней халупы, приютившейся в ивнячке, на расквашенном берегу неширокой реки Любимовки. Солнышко нежарко покачивалось в темной, тяжелой воде, склоняясь часам к шести. Попискивали комарики. Из лесу слабо несло кислым дымком. У рябоватой молодки, полоскавшей в речке белье, Савелий Кузьмич разузнал об ее сожителе. Тот вдали от шума, в увольнении от государственных тягот, отдыхал, словно дачник, посвятив себя рыболовству. Заслонясь мыльной ладонью, молодка визгливо кликнула на варварском диалекте:

— Сямен! Семка! куда-й тый, пес, ухлюпал? тутось ын-тылехент тебе шукаить.

— Э-ге-гей, мы здесь, — послышалось неподалеку, из прибрежного тростника.

— Доброго здоровьица, Семен Гаврилович, — поклонился Проферансов удильщику и присел рядышком, на опрокинутое ведерко.

— Здорово, — отозвался не глядя Семен Гаврилович Тищенко, всецело погруженный в созерцание поплавка.

Помолчали. Потом закурили. Угощая самосадам, Савелий Кузьмич посочувствовал:

— В экую даль, товарищ Тищенко, вас уклонисты сослали!

— Никто не ссылал, сам переехал, — возразил бывший правитель и городской секретарь. — Отсюда на рыбалку хо-

дить способнее и воздух для здоровья чище. С чем пожаловал?

— А что? Чай первый... Учтите, Семен Гаврилович, самый первый в городе,— подпрыгнул старик на ведерке,— прибыл я заявить мою верность генеральной линии и сказать, что мы не потерпим...

— Ну, положим, не первый... Намедни доктор Линде тоже подкатывался как потерпевший от царизма. И что его угораздило?..

Савелий Кузьмич засмеялся и рассказал новость, в которую влипла наша придворная медицина. Как вскрылись прошлогодние шашни доктора с Серафимой Петровной,— его из главных врачей разжаловали в фельдшера. А хранил он свою интригу в таком строжайшем забвении, что уж на что Проферансов в друзьях у Линде числится и всегда находится в курсе его амурных занятий, так и тот об этом событии только сейчас узнал. И еще разнохал, что ночью на квартиру к доктору Линде являлась недавно сама царица и уговаривала бежать... Он ее даже на порог не пустил. Выставил в форточку усатую морду и шепчет:

— Идите, идите, гражданочка. Вы — невменяемая. Какой я вам к черту любовник? У меня с вами и не было ничего...

Тищенко сокрушенно вздохнул и сплюнул в воду.

— А ведь удалая была бабенка...

— Что вы, Семен Гаврилович,— кожа да кости, смотреть противно. Мне лично жирненькие больше по душе... Так вы уж не забудьте: я тоже пострадавший, меня за мои убеждения Тихомиров со службы уволил. Когда вы вернетесь из своего изгнания и встанете у кормила...

По флегматичной физиономии опального вождя скользнула тень недовольства:

— Какое еще кормило? Мне и тут пречудесно. Вот выйду на пенсию, усядусь на бережочке... Знаешь, приятель,— сейчас клев начнется. Бери запасную удочку. Или не мешай.

Проферансов повиновался. Он взял второе удилице и расположился в сторонке. Рыба помаленьку клевала. Река небыстро катила тинистые волны. Покусывали комары. Солнышко пригревало, ветерок обдувал. В Любимове устанавливалась нормальная погода...

.....

С кем ушла из города Серафима Петровна — так и не дознались. В тот день ушло больше двадцати человек, среди

них директор школы, бежавший на школьной лошади с казенным тарантасом. В штабе Леонид Иванович также обнаружил потери: денежные обои попорчены утюгом, бритвой, шпильками. В общей сложности беглянка сумела накопить оклейки тысконок на пять. Куда только, вопрос, удастся ей сбегать свои лохмотья?

Тихомиров никого не преследовал. С равнодушием погорельца обходил он родные кварталы, всюду читая знаки несбывшихся начинаний. Вот здесь начинали строить спортивный стадион: успели вырыть канаву и разломать полстены монастырского кирпича. А вон там предполагался Дворец Брака с фонтаном Любви, основанным в честь нынешней изменницы и казнокрадки. Далее, в тумане грядущего, проектировались Дворцы: Науки, Труда, Пионеров, Реалистического Искусства и совсем небольшой Дворец Монтажа и Ремонта Велосипедных Механизмов...

Посреди недостроенных памятников, нерассаженных цветников, в щебне, в известковой пыли дети играли в салочки. Мужик с угрюмым спокойствием, откровенно, у всех на виду, мочился в котлован с незаполненным бетоном фундаментом. И никто не подумал его одернуть, да и сам Главнокомандующий лишь брезгливо поморщился и прошел стороной, не сделав замечания.

Местами, вдоль перекопанного расхристанного проспекта, лежали пьяные. Увы, не путем гипноза, а под влиянием подпольной сивухи, которую начали гнать из гнилого картофеля, довели они себя до этого разложения. И никто не поднимал и не убирал их с дороги Леонида Ивановича. Народ праздными группами скапливался на улицах, гадел, смеялся, любезничал, дулся в очко, в орлянку, резался в подкидного и рассасывался по дворам при появлении Главнокомандующего. Его побаивались. У поваленного забора Леня слышал, как ведьма урезонирует сорванца:

— Будешь фулиганить — сдадим тебя Косоглазому на мясозаготовку...

Что он им сделал? Чем не угодил? Ради них пожертвовал жизнью, надорвал здоровье, а стоило иссякнуть энергии, и сиволапые дикари спешат надругаться над обессиленным командиром. По доброму согласию и для собственной пользы приучались они к дисциплине, освобождались от недостатков, закалялись в труде, участвовали в заготовках, которые проводились с такой заботой, что у жителей, помимо государственных перспектив, сохранялась в резерве кое-

какая скотинка. Ведь эта же чертовка, что сейчас внушает своему бесенку недоверие к руководству, умоляла Леонида Ивановича забрать у нее курят. Ведь она была счастлива культурно расти, технически развиваться и, как молоденькая, рвалась в комбайнерши, хотя этакой ведьме не за рулем агрегата ездить, а верхом на метле...

Паническое кудахтанье заставило его обернуться. По проспекту Володарского улелетывала курица. За нею с подоткнутой юбкой, верхом на метле гналась та самая, немолодых уже лет гражданка. Громоздкий снаряд не мешал вдове так работать ногами, что казалось — еще мгновение, и она взлетит. Неужели взлетит? — подумал Тихомиров с тревогой, и тотчас наездница, поровнявшись с начальником, оттолкнулась метлой от земли и взвилась метров на шесть. Мелькнули босые пятки, разнузданные ягодицы и с высоты рекорда баба шлепнулась на соломенную крышу сарайчика, перевела дух и разразилась в адрес курицы потоками отвратительной ругани.

— Что она, спятила? на такой скандал того и гляди народ сбегится! — произнес мысленно Леня, и едва он себе представил эту возможность, как со всех сторон побежали зеваки. — Форменное безобразие! — возмутился он при виде взбудораженной толпы, все еще не догадываясь, что начавшаяся эпидемия всецело зависит от его скачущих мыслей.

Да, на исходе власти, на закате славы — былая сила внушения вернулась к нему сторицей. Никогда еще Тихомиров не обладал такими способностями распоряжаться массами и заряжать их неслыханными запасами энергии. Лишь на свои помыслы не нашлось у него управы, и малейшая мыслишка, незаметный мозговой завиток, глупость какая-нибудь, взбрендившая в голову, принимались окружающими к немедленному исполнению.

Разве дан человеку контроль над своей душой? Может ли он учесть все прихоти фантазии, кипящей в его уме? Он приказывает населению: «Товарищи, без паники!» — а сам в это время смекает, поглядев на громадного парня: «Экий бык!» И вот уже верзила роет землю подковками пудовых башмаков, и, насупясь, мычит, как бык, и бодает прохожих, которые спокойно переносят его удары (ведь сказано — «без паники!»), что еще более запутывает и осложняет положение...

По-деловому, бригадами, или кто во что горазд, они честно выполняли задания Леонида Ивановича, в том числе и такие, о наличии которых он даже не подозревал. Одни, по преимуществу женщины, неумеренно обнажа-

лись. Другие, в основном мужчины, сойдясь в небольшие кучки, затевали драки, похожие на дружную коллективную работу: без криков, без лишних стонов. Третьи, главным образом несмышленные ребятишки, уподоблялись домашним животным, которые и в собственном облике, не отставая от человека, влились в собрание и приняли участие в этом альянсе верховной власти и народной свободы.

Куры пели петухами, козы пытались лаять. Корова, мякнув, перемахнула через плетень. Гигант, возомнивший себя быком, воспрянул духом и устремился к подруге...

— Чтоб ты сдох, проклятый! — хотел осадить Леонид Иванович потерявшего стыд сластолюбца и немного переборщил: парень шумно взревел, опалил своего губителя ненавидящими глазами и рухнул на оба локтя с разрывом сердца.

Слишком буйных и самых последовательных Леня старался свалить с ног легким обмороком. Но все чаще помимо воли у него вместо «усни» вырывалось — «умри! умри!» И тогда усмиренные уже больше не просыпались.

На какой-то момент, собравшись с мыслями, ему удалось заставить толпу оцепенеть и не двигаться. Все замерли в позах борьбы, распутства и одичания. Перед этим лесом вздетых и перекрученных сочленений у самого режиссера не выдержали нервы. Какой-то голос шепнул ему: «А вон тот старичок, изображающий собачку, сейчас все равно твякнет...» И от этой невольной мысли старичок, действительно, твякнул, и Леня смешался, и тишина взорвалась новым приступом бешенства...

Бойтесь рассеянных мыслей... Не доведут они до добра... Учитесь думать внимательно, по прямой, идущей оттуда, где покоится желанный финал, по внезапной, чистой и ровной, как стрела, — прямой. Не разбрасывайтесь на мелочи. Не загрязняйте воздух вздорными помыслами. Они опасны. Вы сами не знаете, к каким последствиям они способны привести...

Тихомиров, оттесненный к сарайчику, боялся пошевелиться. Скажи он лишнее слово, сделай непреднамеренный жест, и, казалось, город Любимов сорвется с места и пустится вприсядку по лесам и болотам. Однако события уже развивались без участия Леонида Ивановича. Уже пролетела по воздуху вестница на метле, открывшая этот митинг и успевшая поднаторгеть в своей гимнастике. Она парила над крышами, строила фигуры и крутилась мельницей, бессвязно ораторствуя:

— Ай ай косой черт приласкай косой черт пожалей заморыш горит сладко родить щенят с клыками фейхтвангера не могу раздавить портки танки идут вышу кисту танки идут откусить хочу хохлатый бежим в ленинград!..

С последним восклицанием она исчезла. И мигом обстановка разрядилась, волнение стихло. Бабы торопливо расхватывали немудрящее барахлишко и, кое-как прикрывшись, убегали на огороды. Оттуда, не появляясь, окликали детей по домам. Мужики утирали кровь, загоняли скот, уволакивали мертвых. Все тяжело дышали и были понуры, точно с похмелья. Друг на друга никто не смотрел. Но понимали они или нет, что с ними было и что теперь происходит? Тихомиров не понимал.

— Эй, что случилось? куда вы все уходите?

Никто не отзывался. Затворяли ставни, надевали засовы, захлопывали ворота. Вскоре на дороге осталась одна курица, ковырявшая мусор. «Цып-цып-цып»,— поманил ее Леня и повторил громче:

— Цып-цып-цып!

Та не обратила внимания на призыв Леонида Ивановича и невозмутимо продолжала заниматься своим мусорным промыслом. Нет, она не боялась и никуда не убегала, но повиноваться ему она тоже отказывалась. И, поглядывая на курицу, Главнокомандующий увидел, что земля вздрагивает. Опустился на дорогу, приложил ухо и понял: где-то далеко-далеко, еле-еле слышно погромыхивало и подпрыгивало...

До самого генерального штаба ему не встретилось ни души. Город вымер. И хотя недавнее буйство, как показывал беглый осмотр, коснулось лишь нескольких улиц, все прочие горожане тоже сидели по норам и не высовывали носа. Верно, их распугал этот дальний грохот, теперь хорошо различимый.

За два дома он услышал, как трезвонят звонки в кабинете, и припустил рысью. Двери—настежь. Ветер гуляет. Обои—рваными ранами. Но техника связи не подвела и работала нормально. По всему пульту вспыхивали и гасли лампочки сигнализации, окружая город тревожными огоньками. Кольцо сжималось. Леня попробовал перочинным ножом отодрать сторублевку. Лезвие соскользнуло. Звонки умолк. Лампочки не загорались. Значит—уже порвали провод на ближних подступах.

— Витя! Витя! — прокричал Тихомиров, выводя велосипед. Витя не откликнулся.

Мастерская была пуста. На дворе под подошвами почва уже ходуном ходила.

— Витя! — позвал он еще раз и нажал на педали...

...А грохот надвигался. Танки-амфибии с трех сторон шли на Любимов. Они переваливали через овраги, проплывали болота, сминали низенький ельник, слабенький березняк и вылезали, оплетенные сучьями, грязью, тиной, кувшинками, — ископаемые бронтозавры, притом самой новой, сверхпроходимой конструкции. Тяжеловесные увальни, они топтали посевы, валили заборы, хибары, когда на них наталкивались, и в этом не было ни злого умысла, ни тактического расчета. Управляемые по радио, на большом расстоянии, они, несмотря на всевозможные фото- и звукоулавливатели, не могли разобрать в точности, где тут домик, а где деревцо, и шли бронированными стадами, напролом, без людей, пустотельные, не стреляя, только вытаптывая и вырубая проходы для будущего.

Из палисадника навстречу амфибии выскочил человек с берданкой и приложился пару раз крупной охотничьей дробью. Это был Витя Кочетов, не пожелавший, чтобы город сдался без единого выстрела. Чудовище, по которому он палил, остановилось, словно не зная, что ему делать с таким противником. Оно напрягло все свои звуко- и фотоулавливатели и ничего не уловило. Помолчало, подумало, постояло, а потом, на всякий случай, хлестнуло вдоль улицы короткой очередью. Бывший сыщик и последний защитник города Любимова упал, перерезанный пополам, даже не вскрикнув.

Глава седьмая и последняя

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ АККОРДЫ

В конце лета к попу Игнату приплелась убогая странница — из дальних, из городских, из самого, говорит, города Любимова, откуда по непроезжим дорогам будет, почитай, ни много ни мало, семьдесят семь верст, и как она прошла по тем лесным дорогам — уму непостижимо. Принесла творожок в тряпиче и три рубля деньгами: отслужить молебен о здравии раба Божия Леонида да панихиду по усопшему рабу Божию Самсону.

— Новопреставленный? — уточнил поп Игнат, любивший все делать с толком, по чину, и добавил уважительно — насчет Самсона: Древнее имя!..

— Древний, батюшка, древний, древнее некуда,— обрadowалась старушка.— Какой там новопреставленный!...

— А что, матушка,— полубобытствовал отец Игнат,— взаправду сказывают, будто в Любимове стряслись великие мятежи, кричание, стрельяние, злосмрадное пребеззаконие и были приняты муки за веру Христову и святую церковь?

— Было, батюшка, было, все было,— отвечала старушка как-то неопределенно, а потолковее рассказать, что же у них стряслось, так и не сумела.

Приход у отца Игната—самый захудалый. На краю света, можно сказать, висит и держится ветхая церковка, но, может, потому и висит и держится, что—на краю света и мало к себе гостей привлекает, и одних глупых старух, которым помирать пора, пытается обнадежить. Но служил поп истово, неторопливо и управлялся один, без помощников, и на всякую службу, глядишь, три-четыре старушки обязательно набежит, а по праздникам и много более того. Вот и нынче сошлись и расплзлись по храму, ровно грибы лесные, большие, трухлявые грибы, распростерлись, распластались на полу—замаливать грехи отцов и сыновей, живущих и усопших.

Отслужил поп—сперва за здравие, а после за упокой, за Леонида и за Самсона, и читал, и кадил, и пел, и возжигал свечи—все сам. И хотя всего-ничего сунула ему дальняя бабка—творожок в тряпице, да три рубля деньгами,—захотелось попу в укрепление, а может, и в нарушение чина спеть еще один зауспокойный акафист, принесенный в русскую землю не откуда-нибудь, а со святой горы, с самого Афона. Уж очень любил отец Игнат тот зауспокойный акафист и знал, что не повредит крепкая святая молитва ни рабу Божию Самсону, ни тому богоспасаемому граду Любимову, где нынешним летом, сказывают, стряслось, ох! и стряслось!..

«Отче наш, возвесели души ранес удрученных до конца бурями житейскими. Отче наш, да забудут они все скорби и воздыхания земные. Отче наш, утеши их в лоне Твоем, яко же мать утешает чады своя».

Земля отпускала медленно, тяжело, неохотно, но все-таки отпускала. Душа возносилась, забывая все скорби и воздыхания земные, все быстрее и быстрее, смеясь и трепеща от этой скорости и света, пронзающего ее легкий, невесомый состав, и ничего уже не ведая, ни о чем не помня, кроме этого долгожданного отпуска...

«...Спаси, Господи, скончавшихся в тяжких мучениях, убиенных, погребенных живыми, поглощенных землею, вол-

нами, огнем, растерзанных зверями, умерших от голода, мразя, с высоты падением, и за скорби кончины их даруй им вечную радость Твою... Отче наш, даруй вождельный покой умершим под бременем тяжких трудов. Отче наш, уголи скорби родителей об утрате чад. Отче наш, упокой всех одиноких, сирых, нищих, неимущих ближнего, молящегося за них...»

Поп Игнат пел, возглашал и трубил толстым голосом. Там, в Любимове, сказывают, содеяно большое смятение, беснование и гонение, много крови и много греха. И он старался перекрыть панихидой все, что там накопилось, и умолило Господа спасти грешных рабов Своих, какой бы смертью и каким бы грузом ни привелось им закончить свой скоротечный век. Он был не шибко учен, этот сельский поп, и мало смыслил в тонкостях богословия, но вызубрил, что, оставаясь на всей земле одна его церквушка, он отсюда, с краю света, продолжал бы, как обычно, вызволять из беды нечестивое человечество, умершее и живущее, денно и пощно, как вол, как царь, как батрак, как Сам Господь Бог, Чьи милости неисчерпаемы, а труды непомерны. И эта полезная работа и почетная должность сделали попа важным и великодушным.

«...Отче наш,— возопил он с грозной торжественностью,— скорбим об ожесточении беззаконных хулителей Твоего Имени и Святыни. Отче наш, да будет над ними спасительная воля Твоя. Отче наш, умилосердися над уязвленными гибельным неверием. Отче наш, тяжки их грехи, но сильнее милость Твоя. Отче наш, прости скончавшихся без покаяния. Отче наш, спаси погубивших себя в помрачении ума. Отче наш, очисти их ради верных, вопиющих Тебе день и ночь. Отче наш, ради незлобивых младенцев прости их родителей. Отче наш, слезами матерей искупи грехи их чад...»

Матери были тут же, под рукою. Они ползали по полу, похожие на грибы, сыроежки, сморчки, синюшки, трухлявые, червивые, горбуны и развалюхи. Как они живут еще? Чем дышат? Откуда черпают силы сползаться сюда? Зачем они и кому они еще нужны?..

В карманах — пусто, за душой — ни черта, позади — петля, впереди — неизвестность. Что ему посоветовать в этом сложном положении? Лишь одно: сунуть руки в карманы и вечерком, попозже, прошвырнуть по поселку на незнакомую станцию и в стороне от вокзала, чтобы ночью не встретился нежелательный милиционер, дожидаться, не

пройдет ли товарный состав, а покедова погулять, засунув руки в карманы.

Эх! кармашки, интимные уголки, последнее, что осталось одинокому человеку! Кажется, что в них проку, в пустых-то карманах, а вот засунешь руку в штанину, и на сердце становится покойнее и теплее. Какой-никакой, а домик построен, конура найдена и, пожалуйста, располагайся тут со всеми удобствами. Сквозь протертую реденькую ткань подкладки доходит до тебя встречная нежность твоей ноги. Засунуть бы туда же голову, забраться бы в карман целиком и сидеть, подремывая, понюхивая коверкот, смешанный с наивным, всегда удивительным запахом собственной кожи и воздушной сухостью хлебных крошек.

Поджав к животу останное тепло, ты ходишь, озираясь, возле железного полотна и прячешься от облавы в нателные гнезда, ведущие потаенное, незримое существование. Куда скроешься глубже? Где лучше выплачешься? С кем поговоришь задушевнее, как не со своими карманами? Эх, кармашки, приютите, братишки, окажите гостеприимство обездоленному человеку!

Вышить бы. Пройтись по перрону. Кум королю. Заложив руки в карманы. Кому до нас дело? А наше дело сторона. Но вот, если остановят — «руки вверх» — вывернут карманы, лягнут затвором — «руки вверх!» — и с вывернутыми карманами... нет, с вывернутыми карманами человеку лучше не гулять по земле.

...Товарный поезд у станции, по счастью, затормозил, подхватил его и укрыл в своих могучих сцеплениях. Прикорнув на платформе, среди высоких ящиков, Леня подремывал, поплеывал и ни о чем не думал. Никогда в жизни ему не было так свободно и уютно. Бремя власти, муки любви, заботы о будущем, память о прошлом, — все отваливалось, отпадало и оставалось на шпалах. Леня знал, что ему предстоит добывать себе деньги и документы, и какую-то одежду, и какую-то работенку, подалее, в Донбассе, в Челябинске, в Караганде... Но его судьба — он был уверен — сложится и образуется сама собою, без усилий, и подарит ему чужой паспорт, новый угол и велосипедную мастерскую. Оттуда, из мастерской, он вызовет Витю, и тот придет, и все опять образуется, как нельзя лучше, без усилий, по шпалам — в Донбассе, отскакивало — в Челябинске, отдавало — в Караганде. Поезд присвистнул тоненько, усыпительно, как умеет насвистывать только Витя, орудую зубилом и напильником, и унес Леню в своих объятиях.

.....

Профессор! Что ж вы помалкиваете, профессор, и не появляетесь больше направлять и подзуживать мое перо, подошедшее к финалу? Куда вы исчезли? Почему я не вижу никаких ваших отпечатков и дворянских гербов на моей серой бумаге? Может быть, вы полагаете, что я тоже умер, что город Любимов полностью уничтожен и больше нет здесь ничего достойного внимания? Напрасно, напрасно. Ситуация не такая уж мрачная, хотя скоро год, как мы перестали числиться самостоятельным королевством и возвратились к своему районному значению. Кое-кого, естественно, похватали, кое-кто пропал без вести. Что ж поделаешь? Лес рубят — щепки летят. Но многие дома и даже целые улицы сохранились нетронутыми, а многие — уже восстановлены и заселены пришлым народом. И монастырь все еще стоит. И я, как видите, жив-здоров, цел-невредим, чего и вам желаю. Ну, конечно, потаскали, помытарили немного. Как же без этого? Да вот Семен Гаврилович Тищенко, спаси его Христос, подтвердил на следствии мою непричастность. Хоть его понизили на вторые роли — это из первых-то секретарей, — все же к мнению такой выдающейся личности у нас прислушиваются. Так что можете не опасаться и по-прежнему заглядывайте к старику на огонек. И потом учитите, когда я сажусь писать, дверь всегда на запоре, никто посторонний не войдет, не помешает... Что ж вы таитесь, профессор? Ну дайте какой-нибудь условный знак, впишите одну только букву между строк, и я все пойму и во все поверю... Эх, вы! А я-то вам ничего не жалел. Жизнеописание составил. Матушке Леонида Ивановича строго-настрого наказал для вас панихидку справить и три рубля пожертвовал на ваши удовольствия. А вы не можете товарищу помочь, когда он просит. Самсон Самсонович, не о себе я прошу и не для этой повести, которая все равно закончена и без ваших консультаций. О городе Любимове, о родной земле пекусь, о вашей земле, господин Проферансов, которой вы предательски изменили. Не сердитесь: я пошутил. Давайте совместными усилиями, как когда-то бывало, подналяжем и попробуем еще разок крутануть колесо истории. Вы только верните нам Леню Тихомирова, царя, волю, как ее? — энергию эту самую дайте, и мы вам снова в два счета построим коммунизм...

Говоря строго между нами, только уж ты, профессор, об этом никому ни гу-гу, — я соврал тебе давеча про наше хорошее положение. Положение у нас хуже некуда. Следствие продолжается. Вот-вот снова в городе начнутся аресты. Я сижу и трясусь, что обыщут и обнаружат под половицей

эту рукопись, и тогда уж по ней нас всех до одного выловят. Слушай, профессор. Ты же мой соавтор. Припрячь временно где-нибудь там у себя нашу повестушку. Пускай полежит пока в каком-нибудь твоём недоступном сейфе. Взял же ты манускрипт у Лени. Есть же у тебя укромное место. Тайничок какой-нибудь. Приюти до срока. Разве это не твое добро?

1962—1963

Рассказы

В ЦИРКЕ

...Снова грохнула музыка, зажегся ослепительный свет, и две сестры-акробатки, сильные, как медведи, изобразили трюк под названием «акробатический танец». Они ездили друг на друге в стоячем и в перевернутом виде, вдавливая красные каблуки в свои мясистые плечи, и руками, толщиной в ногу, и ногами, толщиной в туловище, выделявали всевозможные редкостные упражнения. От их чудовищно распахнутых тел шел пар.

Потом на арену выпрыгнуло целое семейство жонглеров в составе мужа с женою и четырех детенышей. Они устроили в воздухе жуткую циркуляцию, а папаша, их воспитавший, самый главный жонглер, скосил глаза к переносью и воткнул в рот палку с никелированным диском, а на нее поставил бутылку с этикеткой от жигулевского пива, а на бутылку — стакан и сверху того: зонтик — во-первых, блюдо — во-вторых, а на блюде — два графина с настоящей водою — в-третьих. Наверное, с полминуты держал он все это в зубах и ничего не уронил.

Но всех превзошел артист, именуемый Манипулятор, интеллигентный такой господинчик заграничной наружности. Был он жгучий брюнет и обладал столь гладким пробормом, точно выгравировали ему плешь по линейке электрической бритвой. А пониже — усы и все что полагается: галстучек, лаковые полуботинки.

Подходит с невинным видом к одной даме и вытаскивает у нее из-под шляпки настоящую белую мышь. Потом — вторую, третью и так — девять штук. Дама — в обморок. Говорит: «Ах, ах, я больше не в силах!» и требует для успокоения — воды.

Тогда он подбегает к ее кавалеру справа и хватает его за нос — осторожно, двумя пальчиками, как парикмахер. А незанятой левой рукою достает из кармана рюмку и поднимает кверху, на свет, чтобы все могли убедиться в неподдельной ее пустоте. Потом резким жестом сжимает нос кавалеру, и оттуда льется в рюмку золотистый напиток — газированный, с сиропом. И ничего не разбрызгав, подносит учтиво даме, которая пьет с наслаждением и говорит «мерси», и все вокруг смеются и хлопают от восторга в ладоши.

Как только публика стихла, Манипулятор, воротясь на арену, спросил грубым голосом у того самого, кому выпустил воду:

— Отвечайте, гражданин, побыстрее, который час на ваших часах?

Тот хватя себя за жилетку, а там ничего нет, а Манипулятор слегка поднапрягся и выплюнул ему на арену его золотые часики. А потом тем же порядком вернул разным гражданам — кому бумажник, кому портсигар, а кому, так себе, мелочь какую-нибудь: перочинный ножик, расческу — все что сумел вынуть из них за время представления. У одного старика он даже похитил сберкнижку и деликатный дамский предмет — из внутреннего потайного кармана. И все вернул по назначению под общие аплодисменты: такой был артист!

Когда все кончилось и публика начала расходиться, Косте стало обидно, что он ничего не умеет: ни ходить колесом по орбите, ни кататься на велосипеде раком — руки чтоб на педалях, а ногами чтоб держаться за руль и управлять в разные стороны. Он даже не смог бы, наверное, без предварительной практики так подбросить кепку, чтобы она сделала сальто и сама села на череп. Единственное, что Костя умел, — это сунуть в рот папироску задом наперед и не обжечься, но спокойно выпускать дым из отверстия, как паровоз или же пароход из трубы.

Но эту нетрудную штуку знал теперь любой школьник, а Косте шел двадцать шестой год и ему все надоело: целыми днями лазай по стенам, как сумасшедший, да вывинчивай перегоревшие пробки, не имея в жизни других удовольствий кроме кинофильмов и девочек.

Он встал и двинулся к выходу той решительной, упругой походкой, какую ходят во всем мире лишь фокусники и акробаты.

Случай представился сразу, и это был мужчина что надо: в шубе на меху, расстегнутой по всему фасаду. Запрудив центральную дверь широченной своей фигурой, он говорил кому-то — неизвестно кому:

— Настоящую акробатку полагается видеть раздетой. И не в цирке, а на квартире, на скатерти, посреди ананасов...

Его глаза, устремленные вдаль, голубые, с зелеными искрами, не обращали на Костю ни малейшего внимания. А тот вдруг возьми да застрянь в самом ответственном месте — в дверях, на многолюдном потоке, как раз напротив. Они толкали друг друга и в результате так перепутались, что трудно было бы отличить, где тут Костин клиент, а где Костя. А шуба еще энергичнее распахнула свою пушистую внутренность, и грудастый, двубортный пиджак сам собою раскрылся, и все это произошло — как фокус, без человеческого вмешательства...

Дыханье мое замирает, а пульс переселяется в пальцы. Они тихонечко тикают в такт с огибаемым сердцем, которое ходит в чужой груди, возле внутреннего кармана, и методично вспрыгивает ко мне на ладонь, не подозревая подмены, не догадываясь о моем волнующем, потустороннем присутствии. И вот одним взмахом руки я делаю чудо: толстая пачка денег перелетает, как птица, по воздуху и располагается у меня под рубахой. «Деньги ваши — стали наши», — как поется в песне, и в этом сказочном превращении — весь фокус.

Они согреты твоим теплом, дорогой товарищ, и пахнут нежно и духовито, как девичья шея. А ты, ничего не имея, все еще ими гордишься, и топыришь пустую грудь, рассказывая про акробатку, и смеешься, предвкушая, но ты смеешься и предвкушаешь напрасно. Потому что я вместо тебя поеду на такси «Победа» в ресторан «Киев», и скушаю твои сардинки, и выпью все коньяки, и буду целовать вместо тебя твоих женщин — на твой собственный счет, но в полное мое удовольствие. Я не стану скупиться и, коли встретимся мы в ресторане, я напою тебя допьяна и накормлю до отвала — той самой пищей, которую ты не сумел вовремя и самостоятельно съесть. И ты еще будешь мне благодарен за это, смею тебя уверить. Ты подумаешь, что я писатель какой-нибудь, артист, заслуженный мастер спорта. А я есть не кто иной, как фокусник-манипулятор. Будем знакомы. Привет!

На улице, в темноте, Константин поднял воротник и только тогда привел в движение лицевую мускулатуру. Она с трудом подчинялась ему и была будто резиновая: ударь кулаком — отскочнет. Но Константин манипулировал ртом по направлению к ушам и обратно, пока не вернул всему лицу первоначальную мягкость. Тогда он закурил папироску, сунул ее горящим концом в рот и пошел, пуская дым из трубы, к ближайшей автомобильной стоянке.

С тех пор у Константина Петровича началась новая жизнь. Заходит он между делом в ресторан «Киев», и едва переступает порог, уже бегут — из глубины — напомаженные официанты, восклицая отрывистыми голосами, наподобие ружейных выстрелов:

— Жалст! Жалст! Жалст!

У каждого над головою поднос, который непрерывно вращается, а там разные вина — красное и белое, или есть еще такое: «Розовый мускат». Одним словом — вся гамма к вашим, Константин Петрович, услугам.

— Нет,—говорит Константин Петрович усталым голо-
сом и отстраняет их вежливо ручкой,—я решительно воз-
держиваюсь... Плохо себя чувствую и ничего мне в жизни не
надо. А давайте мне водки—белая головка—275 грамм
и микроскопический бутербродик из атлантической сельди.
Только хлеба черного в бутербродик тот не кладите, а клади-
те батон с изюмом, да чтобы изюм пожирнее.

И сейчас же официанты—в количестве трех человек—
откупоривают цветные бутылки и щелкают салфетками
в воздухе, полируя бокалы и рюмки до полного зеркального
блеска и обмахивая попутно пылинки с узконосых своих
штиблет.

А как выпьешь для порядка 275 грамм, все чувства
в твоей душе обостряются до крайности. Ты явственно раз-
личаешь и склизлый скрежет ножей, от которого ноют зубы
и передергивается спинномозговая спираль, и колокольный
звон стекла, пригубленного на разных уровнях, и монотон-
ный мужской припев: «Будем здоровы! С приездом! За встре-
чу! С приездом!»—и вопросительное хохотание женщин,
которые чего-то ждут, беспрестанно вертя головами, и охо-
рашиваются нервозно, как перед свадьбой.

В мимике официантов проглядывает обезьянья сноров-
ка. Они прыгают между кадками с пальмами, растущими
повсюду, как в Африке, и перекидываются жестяными суд-
ками с дымящимися борщами, или, изогнувшись над столи-
ком, точно над бильярдом, разливают все что хотите в ста-
каны—падающим, коротким движением.

Когда вся картина подгулявшего ресторана открывалась
внезапно и выпукло взору Константина Петровича, он ощу-
щал в глубине души—где-то в сердцевине хребта—сладкий,
пронзительный, шевелящий волосы трепет. Будто идет он по
проволке на высоте четыреста метров и, хотя стены качают-
ся, грозя обвалом, он идет упругим и легким, соразмерен-
ным шагом, ровно-ровно по прямой. А публика смотрит во
все глаза, затаив дыхание, и надеется на тебя как на Бога:—
Костя, не выдай! Константин Петрович, не подкачай, покажи
им, где раки зимуют!

И ты должен, непременно должен что-то им показать:
сальто-мортале какое-нибудь, или удивительный фокус, или
просто найти и высказать какое-то слово—единственное
в жизни,—после которого весь мир встанет вверх дном
и перейдет во мгновение ока в сверхъестественное состояние.
Сердце колотится в груди, как птичка в клетке, душа раз-
рывается на части от любви и жалости, а ты подливаешь
и подливаешь ей вина, чтобы продлить терзание, пока,

наконец, не поднимешься в полный рост с запакощенного паркета и не гаркнешь на всю Европу:

— Ах, ты! Мать твою так — распротак — так!

После чего Константин Петрович имели привычку стихать, а стихнув, приглашали за столик всякого, кто пожелает, — для бесплатного угощения и задушевной беседы. Чаще других к нему присаживался один печальный мужчина, молодой и скромно одетый, между прочим еврейской нации, хотя алкоголик, сохранявший на исхудалой груди в знак высшего образования благородную бабочку синего цвета. Звали его Соломон, а помещался он в темном углу, под пальмой, терпеливо поджидая вакансии, ибо деньгами не располагал и пускали его посидеть в ресторане главным образом за культурную внешность.

— Так вот, Соломон Моисеевич, как вы человек образованный, а я четвертого класса полностью не закончил, отвечайте без промедлений: в чем вся суть? И чтобы в едином слове эту самую суть — заключить...

Соломон морщил брови, припоминая все науки, которым он обучался в различных учебных заведениях.

— Суть явления... явления... представлении... — говорил он с запинкой и не мог больше вспомнить ни шиша.

Тогда Константин Петрович, чтобы разохотить к беседе, подносил ему бокальчик, но не более как 150 грамм, а то потеряет Соломон Моисеевич свой человеческий облик и не сможет составить компании для сердечного разговора.

— Ну, ладно, ладно — выпил и потерпи! Поговори со мною как человек с человеком. Отвечай: почему я жулик и пьяница, а не стыдно мне в жизни нисколько? Нет, ты скажи, зачем русский человек всегда украсть норовит? Украсть или выпить? Откуда такая потребность души у русского человека?..

На это Соломон Моисеевич знал научный ответ и, застенчиво кусая огурчик, заходил в изыскании первопричин аж до татарского ига, откуда повелись на русской земле и кабаки и тюрьма: все благодаря культурной отсталости.

— Вот в Англии вы, Константин Петрович, были бы изобретателем... Или депутатом парламента... министром без портфеля...

Его кадык, непропорционально развитый, сновал по отощавшему горлу, а глаза бросали на потолок тоскливые, чужестранные взгляды. Но проникнуть в самый корень жизни он все равно не умел. Да разве может Соломон Моисеевич понять русскую душу?! И хотя был он алкоголиком по собственным национальным причинам, какую Англию или

Бельгию мог предложить он взамен и какую такую свободу печати? — тоже неизвестно...

— А я возьму и оборую твоё британское казначейство! И все пропылю, проиграю до нитки! Душа-то, душа для чего мне дана?! Я тебя про душу пытаю, иудина твоя порода, а ты мне взамен души хер собачачий подносишь!..

Но никогда не бил его Константин Петрович, а наоборот — угощал дополнительно, во второй раз и в третий, и все за то, что обладал Соломон способностями к разговору. Другой налижется на твои деньги, да тебе же норовит свою биографию рассказать по порядку. Ты и словечка не вставишь. А этот, когда надо, и поспорит, и в раздумье кинется, а когда — сидит и сочувственно помалкивает.

Бывало, расстроится Константин Петрович и — в слезы, и так уж плачет, так рыдает, никак унять не хочет. И все говорит про свою несчастную жизнь, вспоминает про свою старую маму, которая — в трех шагах отсюда — на железной кровати лежит и с голоду помирает, а он, подлец, вместо того, чтобы к ней бежать и средства на излечение немедля маме принести, торчит здесь и все денежки, до последней копейки, с последней шпаной пропивает.

Слушает, слушает его Соломон Моисеевич, да только молча вздохнет. И хотя знал он достоверно, что нет никакой мамы у Константина Петровича и все это одна игра ума, изобретенная для усугубления грусти, никогда не разубеждал он его, потому что тоже, значит, был человеком и понимал, что всякому человеку тоже хочется себя подлецом обозвать. А когда принимался Константин Петрович от грустных переживаний икать и биться головкой об стол, и об стул, и обо что попало, брал он тогда его нежно за плечико и говорил:

— Не кручиньтесь, Костя. Давайте-ка лучше выпьем. И давайте поскорей перейдем к менее печальным предметам. Например, мы давно не говорили о Боге. Как вы считаете — Бог есть?

От этой Соломоновой шутки переставал Костя плакать и начинал постепенно смеяться, понимая тонкий намек, что нет на свете ни богов, ни чертей, хотя было бы очень весело, если бы они были.

Ему случалось заглядывать в церковь. Любил он всякие чудеса, нарисованные на потолке и на стенах в акробатических видах. Особенно ему нравилось, когда один фокусник нарядился покойником, а потом выскочил из гроба и всех удивил. А другой — между прочим, той же нации, что Соломон Моисеевич, — предательски донес на него, но фокусника

не поймали, а поймали того самого иуду-предателя и живьем прибили гвоздями к церковному кресту...

Слушая эти истории, Соломон Моисеевич радовался и все повторял с восхищением, что церковь происходит от цирка и что русскому народу всего главное — фокусы и чудеса.

Но больше церкви любил Константин Петрович ходить в Сандуновские бани, в семейные номера. Туда одних женатых пускают и в доказательство требуют паспорт, а у него по счастливой случайности там приятель имелся из обслуживающего персонала — инвалид Отечественной войны, Лешкой звать, — и так все Лешка устраивал, что мойся хоть с генеральшей, только чтобы без драки.

Благодаря такому знакомству мылся Константин Петрович по холостяцкому делу с Тамарой, и такие они номера в этих номерах вытворяли, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Кому ни рассказывай — никто не верит. Хотя всякий завидует.

— Поиграем, что ли? — спрашивал он Тамару, запирая дверь на защелку.

— Поиграем, — говорила Тамара обыкновенным голосом, а спинкой так и вильнет.

И скинув одежду — до самых последних кальсон включительно — начинали они показывать разные редкие штуки. Константин Петрович вешал себе интересным способом шайку промежду ног и барабанил в нее, как в барабан, а Тамара плясала народные танцы. Малиновая, запыхавшаяся, покрытая серебряной пеной, она скакала по бане, в которой было жарко, как в Африке, а он, гремя железом, гонялся за нею, и были они похожи на чертей в адской парильне, а также на краснокожих индейцев, которые действительно существуют и ходят нагишом, никого не стесняясь.

Когда же Тамаре наскучивало попусту красоваться, Константин Петрович изобретал другие развлечения. То холодной водицей окатит. То взамен поцелуя накормит Тамару мылом, а с другого конца для потехи употребит указательный палец или химический карандаш в виде сюрприза.

Все позволяла ему любящая Тамара. Лишь одного не велела делать: это смеяться не к месту — когда играющие входили в азарт и принимались функционировать друг с другом со страшной силой.

В эти минуты Константина Петровича разбирал смех. Но Тамара, кусая губу, грозила розовыми глазами. Ее лицо, горячее, темное, казалось ожесточенным.

— Молчи! — шептала она. — Молчи! не смей смеяться!

Потом, отвалившись набок, она вновь бывала доступной и первой хохотала надо всем, что произошло. Перед тем и после того — смейся сколько влезет, а во время этого — не моги.

— Это — грех, большой грех! — твердила убежденно Тамара. Объяснить же свои капризы не могла.

— Да! да! Это — так! — кричал Соломон Моисеевич, систематически хмелевший по ходу рассказа. К концу любовных затей Константина Петровича он бывал порядочно пьян.

— Грех! Не переступи! — кричал он, воодушевляясь. — В игре нет преград! Не убий! Не убий! Бог! Дьявол! «Смейся, папц, над разбитой любовью...»

Точно сорвавшись с цепи, он говорил бессмысленно и много о загадочном русском характере — теребя исполинский кадык, о загадочной женской натуре — ужасно волнуясь. Всем было известно, что три года назад от Соломона убежала жена — блудливая русская баба, предварительно обокрав его, а потом опозорив с парикмахером Геннадием шестнадцати лет. Он знал и боялся женщины, имея на то основания. Но что он мог понимать в русском национальном характере, этот Соломон Моисеевич?!

У Лешки, инвалида войны, была ценная поговорка: «Минер ошибается только раз». Сам он, Лешка, испытал на опыте ее народную меткость: фашистская мина под Берлином оторвала ему правую руку.

Но допущенная ошибка и невозвратимая эта утрата не научили его ничему хорошему, и вот однажды безрукый Лешка говорит Косте:

— Знаешь ли ты, Костя, или нет, что есть у меня персональная квартирка из трех комнат с балконом и со всеми удобствами? Хозяин третьего дня отбыл в командировку в город Таллин, а хозяйка проживает на даче со своим сыном Вовочкой, который от рождения страдает рахитом и потому должен регулярно дышать свежим воздухом. А няня Вовочкина, приспособленная для охраны имущества, как осталась одна, до рассвета гуляет с ребятами из трамвайного парка, и почему бы ей не пойти к трамваям в ночную смену сегодня, как ты считаешь?

— Я прекрасно понимаю вашу внешнюю политику, — говорит Костя, — но только вы меня трактуете очень уж вульгарно. Я имею дело с живыми существами, а залезать в закрытые окна неизвестно на каком этаже — не в моих

правилах. И вообще, стоящее ли это занятие — твоя квартир-ка с балконом? Принес бы ты мне лучше жигулевского пива в номер.

— Перестань ломаться, Костя, и не строй из себя артиста, — говорит ему Лешка раздраженным тоном. — И не лапай при мне Тамару сразу двумя руками. Это становится даже неприличным. Надевай штаны и давай думать. Минер ошибается только один раз.

Так они говорили до позднего вечера, а когда закрылись Сандуновские бани, взяли они Соломона Моисеевича, чтобы стоял на шухере, и заграничный браунинг на всякий пожарный случай, унесенный Лешкой с поля сражения во время Великой Отечественной войны, и пошли, не мешкая, к тому месту, где была припасена для них квартирка со всеми удобствами.

Она стоит на втором этаже, трехкомнатная квартирка, набитая до верху дорогим бархатом — габардином да трикотажем, и двумя костюмчиками иностранной работы, и одним кожаным пальто шоколадного цвета по имени «реглан», — стоит и смеется. Все двери, окошки и даже форточки в ней заперты на двойные запоры, и никакой дырки или хотя бы щелки в наличии не имеется. Возникает естественный вопрос: как туда проникнуть?

Вы, конечно, удивляетесь безвыходной этой картине, и рвете на себе волосы, и готовы сдуру банальным путем действовать через окно с невероятным шумом и треском? Вот и нет, не угадали, и вам в жизни не разрешить эту задачу.

Но есть на свете, говоря по секрету, один инструмент, по-русски — «отмычка». С нею вам не страшна любая дверь. А для висячих замков — коллекция ключей на все уровни жизни.

А тишина такая, братцы, кругом, что плакать хочется.

— Задерни шторы, а то снаружи видать, — приказал Константин однорукому Лешке и поиграл револьвером.

— Регланчик достанется мне и тросточка тоже мне!

Ему понравился набалдашник у трости, разделенный на две половинки — по образцу филейных частей, но в меньшем масштабе. Ходишь с тросточкой по панели и непрерывно набалдашник ощупываешь, и можно девушкам показывать — для смеху и смущения — при первом знакомстве. Такую вещь обязательно надо иметь при себе — и в доме, и на прогулке.

Вдруг чувствует Костя: в соседней комнате кто-то неожиданно спит. Он — туда и видит в постели — кого бы вы

думали? хозяйку? — нет! хозяина? — тоже нет! спящую няньку в одной сорочке? — это было бы хорошо, но все равно — нет! и еще раз нет! и вы опять просчитались! — он видит небезызвестного вам господинчика с приятными усиками, но без галстука и без пробора. Впрочем, пробор в состоянии тряпки висел отдельно на спинке стула, а рядом покоились в полном порядке лаковые полуботинки, а больше здесь не было ни единой души.

Самый настоящий Манипулятор из настоящего цирка храпел во все горло на хозяйской кровати или делал вид, что храпит, а сам приготавлился к прыжку.

Как впоследствии оказалось, Манипулятор — на свою лысую голову — сбежал накануне к другу детства, чтобы отдохнуть от семьи, но вместо этого угодил под ночную манипуляцию Кости — к их взаимному неудовольствию и трагическому концу.

Но ничего этого Костя не знал в тот кульминационный момент и был очень разочарован внезапным появлением гостя, о чьей магической ловкости он имел представление, посещая государственный цирк каждый воскресный день. Этот чертов фокусник мог бы голыми руками кого хотите обездолить и что хотите украсть, и Костя наставил огнестрельное оружие на своего наставника, чтобы тот не вздумал, если проснется, выкинуть какой-нибудь трюк.

— Шуруй потише в комод, — приказал он шепотом Лешке. — Да помни: тросточку с изображением задницы я забираю себе.

И от этих ли слов или от чего другого Манипулятор открыл глаза и сделал их вот такими, и не успел Костя предупредить его — «Спокойно! а то застрелю!», как он закричал в полный голос, звучавший очень противно:

— Караул! Убивают!

Мужчины в большинстве случаев под наведенным на них револьвером поднимают руки кверху и с зачарованным видом молчат. А женщины — вопреки рассудку — визжат и барахтаются и, бывает, кусаются, но им тоже можно по-свойски втолковать ситуацию, и они ради продолжения жизни будут плакать в подушку.

Но на сей раз Косте встретился сущий злодей, не обращавший никакого внимания на дуло заграничного браунинга. С глазами на обе щеки, он сполз на пол с кровати и, как был, в сплошном опупении, в неприглядном своем естестве, сиганул к двери балкона. Стекло разлетелось вдребезги, и на всю улицу, над умиротворенными крышами, прокатилось многократное эхо:

— Караул! Караул! Убивают!

И чтобы прекратить безобразный и действующий на нервы скандал, Костя, почти плача, выстрелил ему в спину между малокровными лопатками, и в том была его — Кости — роковая ошибка, а минер, как известно, товарищи, ошибается только раз. Потому что, если по существу разобраться, нужно было бы не стрелять, не испускать опасные звуки, а дать Манипулятору в голое темя каким-нибудь веским предметом, например, рукояткой и, оглушив крикуна, без лишнего шума продолжить осмотр помещения.

А Костя, вместо того чтобы решительно действовать, надавил слегка пальчиком спусковую пружину, и немецкая злая пружина сама собою сработала — только и всего. Только и всего, но сразу Манипулятор заметно притих. Он больше не кричал, он булькал губами и дудел, и клокотал в горловину, изображая с большой тщательностью протяжные хриплые трели — сложное искусство полоскания рта на высоких и низких регистрах.

Спервоначально казалось, что, покривлявшись для форсу, он сядет на полу и отхаркается, и заявит во всеуслышание, что обманул их ради испуга. Но, видно, этот артист давал гастроли навывнос и, вдохновленный выстрелом Кости, разыгрывал коронную роль, превращаясь чудесным образом в мертвого человека, сознающего свое превосходство над оставшимися в живых. Его лицо удалялось с плавностью парусной лодки, приобретая природную гордость камня и отвердевшей воды. Он умер незаметно, даже не подмигнув на прощание и оставляя Костю в растерянности перед содеянным фокусом, который в равной мере принадлежал им обоим.

Это зрелище было испорчено появлением Соломона Моисеевича. Он честно стоял на шухере в темном сыром подъезде, а теперь прибежал в квартиру, задыхаясь от гипертонии, чтобы сообщить товарищам о грозящей опасности со стороны разбуженных дворников и недремлющих милиционеров.

— Зачем вы устроили шум, Константин Петрович? — сказал он в глубокой тоске, ничего не видя вокруг. — Я же предупреждал: надо быть осторожным. Пистолет может выстрелить безо всякого нажатия курка — от обычного колебания воздуха...

Костя не стал спорить... В дверях два дюжих дворника крутили за спину Лешке единственную левую руку. Лешка отбивался ногами и говорил:

— Пустите, гады!

Понимая, что сопротивляться беспечно, Костя поднял руки, но все же не мог отказаться от маленького удовольствия: все заряды, сидевшие в браунинге, он пулянул в потолок и тем оставил по себе веселую, добрую память. Милиционеры попадали на пол, а потом кинулись к Косте и скорее его разоружили. Так была загублена в расцвете красоты и здоровья молодая жизнь Константина Петровича.

Правда, перед грустным финалом он имел хороший парад при большом стечении публики, на суде. Прокурору ему попался строгий, как полагается, и требовал для Константина Петровича высшей меры наказания через настоящий расстрел. А защитник, тоже не льком шитый, всячески упирал на смягчающее слабоумие подсудимого. Все взгляды мужчин и женщин были прикованы к Константину Петровичу, и, стоя в центре арены, он испытал много чудных мгновений, щекодавших его ревнивое артистическое самолюбие.

Суд приговорил Константина Петровича к двадцати годам заключения с конфискацией имущества, движимого и недвижимого. Но регланчик и заветную тросточку он утратил значительно раньше и теперь, увильнув от расстрела, не слишком тужил по поводу предстоящего срока.

А Лешка и Соломон Моисеевич получили по десятке на каждого.

В строю таких же, как он, обиженных судьбою людей, Костя шел не спеша на работу в одно прекрасное утро. Они держали руки сложенными за спиной в знак потерянной воли и вынужденной покорности. Вокруг порхали птички, свободные обитатели края, одуряюще пахли цветы, травы, кусты. Всюду летали прозрачные и легкие одуванчики. По бокам, спотыкаясь от скуки и собственной никчемности, брел небольшой конвой, курия большие сигарки.

Вдруг на фоне этого мирного пейзажа произошло смятение. Старик-охранник, бросив недокуренный тубик, завопил испуганным голосом:

— Стой! Стой! Застрелю!

Но Костя уже летел над бугорками и кочками, отталкиваясь от мягкой земли жилистыми ногами. Ветер преспокойно играл у него на оживленном лице. Вдалеке лиловел лес — вечное прибежище соловьев-разбойников.

Косте виднелось пространство, залитое электрическим светом с километрами растянутой проволоки под куполом всемирного цирка. И чем дальше он улетал от первоначальной точки разбега, тем радостнее и тревожнее делалось

у него на душе. Им овладело чувство близкое вдохновению, когда каждая жилка играет и резвится и, резвясь, поджидает прилива той посторонней и великодушной сверхъестественной силы, которая кинет тебя на воздух в могущественном прыжке, самом высоком и самом легком в твоей легковесной жизни.

Все ближе, ближе... Вот сейчас кинет... сейчас он им покажет...

Костя прыгнул, перевернулся и, сделав долгожданное сальто, упал на землю лицом, простреленной головою вперед.

1955

ТЫ И Я

И остался Иаков один. И боролся
некто с ним, до появления зари...

Бытие, XXXII, 24

1

С самого начала эта история имела странный оттенок. Под предлогом серебряной свадьбы Граубе, Генрих Иванович, пригласил к себе на квартиру четырех сослуживцев и тебя в том числе, причем тебя в тот вечер он звал так действительно, как будто твое присутствие было главной заботой собрания.

— Если вы не придете, я смертельно обижусь! — сказал он с ударением и навел на тебя глаза, подобные выпуклым линзам.

Там гипнотически вздрагивали ледянистые икринки зрачков.

Понимая, что нельзя преждевременно выказывать свои подозрения, иначе он догадается и примет меры, тобою не учтенные и наверняка еще более хитростные, ты вежливо согласился. Ты даже поздравил Граубе с фиктивным его юбилеем. Для каких целей он тебя зазывал, было неизвестно, но сердце твое сжалось от дурного предчувствия:

Действительно: едва ты вошел — гости повскакали со стульев, на которых они притаились в ожидании твоего появления. Два твоих сослуживца — Лобзиков и Полянский — обрадованно перемигнулись.

— Вот и он!

— Пора начинать!!

Тем самым они обнаружили свои коварные умыслы, и хозяин, Генрих Иванович, чтобы запутать следы, был вынужден дать сигнал всем садиться за стол. Но ты и вида не показал, что придаешь значение угрожающей фразе — «Пора начинать!!» Как будто в ней, в этой фразе, оброненной подручными Граубе, не заключалось ничего подозрительного, а всего лишь невинный свадебный план: выпивать и закусывать.

— Поднимем наши рюмки! — воскликнул ты очень громко и по возможности весело. — Пусть за серебряной свадьбой воспоследует золотая! Ура!!

Все подняли рюмки и чокнулись, а ты, учтя обстановку, выплеснул водку под стол — в тот багоприятный момент, когда они, закатив глаза, тянули жидкость в честь Генриха Ивановича Граубе и его мнимой супруги.

Да! в этой компании жена и хозяйка дома была ни тем и ни другим, а подставной фигурой. Скорее всего это был переодетый мужчина. Его тщательно вымыли, напудрили, припомадили и теперь выпускали за даму с двадцатипятилетним стажем. Именно этим фактом объяснялась брезгливая мина, с какою Генрих Иванович в знак семейного счастья поцеловал публично ее, то бишь — его — в протянутые мускулистые губы. На какие жертвы не шли эти люди, чтобы завлечь тебя в сети и погубить!

Тут было одних бутылок — рублей на 280, не считая жареных уток, грибов, осетрины. Да еще, вероятно, к чаю были куплены ореховый торт, печенье разных жанров, конфеты — на худой конец — фруктовые, по двадцать два рубля, дешевле не обошлось. А масло? сахарок? хлебные изделия?..

Итого восемь сотен по меньшей мере уплачено. Или — десять тысяч, если принять во внимание, что мужчинам, исполняющим дамские функции (у Лобзикова и Полянского жены тоже наверняка подложные), потребовались туалеты и всякие душистые специи, хотя белье на них — свое, казенное, а может — опять покупное, колоритное, в кружевах: для полного правдоподобия — если придется кокетничать...

И вся эта крупная сумма в размере пятнадцати тысяч была вынута из банков ради тебя одного. Ты отчасти гордился, подсчитывая расходы, но помнил ежеминутно, что дело твое плохо, раз уж смета утверждена и финансы отмыслены.

Гости стремительно ели, стуча ножами и вилками, и при помощи этих звуков поддерживали тайную связь на шифрованном коде, вроде азбуки Морзе. «Пора начинать! Пора

начинать!» — выстукивал нетерпеливый Полянский, который с давней поры тебя невзлюбил, потому что начальство по указанию свыше повысило тебе ставку, а ему — нет, и правильно сделало.

А Лобзиков — приятель Полянского по пословице «два сапога пара и рука руку моет» — захватил в обе руки большую порцию утки и выкусил ей бок, намекая своим поступком, что аналогичный конец в иносказательном смысле постигнет и тебя. При этом известии гости, чмокнув салными ртами, дружно ударили ножами в тарелки: «Постигнет! Постигнет!» Но Генрих Иванович Граубе, сидевший во главе заговорщиков, покачал слегка головою и пригубил задумчиво рюмку, в которой еще светилась недопитая жидкость. Тем самым давалось понять, что надо с полчаса выждать, пока ты захмелеешь как следует и перестанешь все замечать.

Тогда Вера Ивановна Граубе, вернее сказать — мужчина, загримированный под Веру Ивановну, обратился к тебе со словами, звучавшими очень прозрачно:

— Почему наш скромный друг вовсе ничего не кушает и совсем ничего не пьет?

Произнес он эту фразу тончайшим девичьим голосом, как если бы в самом деле был какой-нибудь женщиной. Virtuозная писклявость стоила ему трудов и противоречила конфигурации — боксера в тяжелом весе.

— Ах! — сказал он с чувством и едва не порвал связки. — Вы знаете, этих уток я приобрела на Ваганьковском рынке. Разве теперь в магазине найдешь порядочный стол?

При этом провокационном вопросе гости перестали жевать и уставились на тебя в нетерпении, как ты ответишь. Одно слово сочувствия — и все было бы кончено. Ушные раковины Граубе, растопыренные будто наушники с обеих сторон головы, повисли над столом. Взгляд Генриха Ивановича, снайперский, микроскопический, рыскал по твоему лицу. В дополнение ко всему тебе внезапно почудилось, что кто-то невидимый и всевидящий глянул в это мгновение (в окно ли, со стены или сквозь стену?) — на тебя и на всех сидящих выпрямленно перед тарелками, словно их собирались фотографировать для группового портрета.

Сознавая, что нельзя промолчать, иначе твое молчание может быть сочтено за согласие с твоей стороны, за нелегальное соучастие в имевшей место диверсии, ты посмотрел, не мигая, в скульптурную переносицу Граубе и вымолвил отдельно и четко, как только мог:

— Нет! — сказал ты. — Напрасно! Напрасно Вера Ивановна недооценивает нашу городскую и сельскую торговую

сеть. Утка, курица и даже гусь, и даже редчайшая в мире птица — индейка — продается в нужном количестве во всех магазинах, сколько захочешь!

Вздых разочарования и какого-то при том облегчения пронесся по комнате. Граубе покраснел и сказал в полном расстройстве нервного аппарата:

— Судьба — индейка, жизнь — копейка...

Он пытался что-то прибавить, безусловно столь же двусмысленное. Но Лобзиков уже цыкал продырявленным зубом, и это был у них такой знак к отступлению. Гости опустили глаза — кто в блюдце, кто прямо на скатерть. А тот всевидящий глаз, который наблюдал за всеми, иронически прищурился над незадачливыми своими разведчиками и растекался желтым пятном под цвет желтых обоев, будто его и не было.

2

Шел снег и падал мне на ресницы, и на шапку, становившуюся от этого еще пушистее, и на крыши. Стоило прищурить веки, и между ними появлялись игрушечные снежные домики. Сквозь них лучи фонарей просвечивали совсем лучезарно, создавая какое угодно северное сияние. Оно наполняло небо, потом съезжало вниз и там понемногу оттаивало. Внезапно поле зрения расплзлось слепой распутицей, и желтая слеза, пополам с искристым снегом, вытекала из моего глаза — на нос, на фонари и на крыши, покрытые тем же снегом наподобие хижин.

Всякий раз, когда, спохватившись, я утирал варежкой очередную слезу, природа вновь удостоверяла меня, что снег еще падает и будет падать еще долго, быть может, целую вечность. Было то блаженное состояние суток, при котором никому не ясно, который теперь час, потому что небо, опадающее снегом на землю, могло спокойно сойти за день благодаря своей светлоте, а также — за ночь по обратной причине. Скорее всего было раннее зимнее утро, затянувшееся до вечера. Хотелось лечь спать, зарывшись с головой в сугроб, и проснуться, и чтобы снег еще шел, преградив течение времени.

Погода меня восхищала. Если бы я был двенадцатилетним ребенком на манер мальчика Женьки, спешащего по улице Кирова с коньками системы «гаги» под мышкой, мне бы казалось, что дома меня поджидает елка, обтянутая золотой канителью, и книжка с картинками «Дети капитана Гранта». Такое же предвкушение тайны вызывала одна

брюнетка у Николая Васильевича, бегущего под хмельком по морозцу в твердой уверенности, что она его примет в горячо натопленной комнате, как принимала дважды к обоюдному удовольствию, и почему бы — думал он — в третий раз ему вдруг сплеховать, если коньяк уже действует, а в брюнетке еще много специфической этой таинственности.

Так постепенно, сквозь сугробы и стены, в том числе сквозь спину Николая Васильевича, пронизанную электрическим светом и удалявшуюся по наклонной к брюнетке, мне представилась панорама.

Шел снег. Толстая женщина чистила зубы. Другая, тоже толстая, чистила рыбу. Третья кушала мясо. Два инженера в четыре руки играли на рояле Шопена. В родильных домах четверста женщин одновременно рожали детей.

Умирала старуха.

Закатился гривенник под кровать. Отец, смеясь, говорил: «Ах, Коля, Коля». Николай Васильевич бежал рысцей по морозцу. Брюнетка ополаскивалась в тазу перед встречей. Шатенка надевала штаны. В пяти километрах отсюда — ее любовник, тоже почему-то Николай Васильевич, крался с чемоданом в руке по залитой кровью квартире.

Умирала старуха — не эта, иная.

Ай-я-яй, что они делали, чем занимались! Варили манную кашу. Выстрелил из ружья, не попал. Отвинчивал гайку и плакал. Женька грел щеки, зажав «гаги» под мышкой. Витрина вдребезги. Шатенка надевала штаны. Дворник сплюнул с омерзением и сказал: «Вот те на! Приехали!»

В тазу перед встречей бежал рысцей с чемоданом. Отвинчивал щеки из ружья, смеясь рожал старуху: «Вот те на! Приехали!» Умирала брюнетка. Умирал Николай Васильевич. Умирал и рождался Женька. Шатенка играла Шопена. Но другая шатенка — семнадцатая по счету — все-таки надевала штаны.

Весь смысл заключался в синхронности этих действий, каждое из которых не имело никакого смысла. Они не ведали своих соучастников. Более того, они не знали, что служат деталями в картине, которую я создавал, глядя на них. Им было невдомек, что каждый шаг их фиксируется и подлежит в любую минуту тщательному изучению.

Правда, кое-кто испытывал угрызения совести. Но чувствовать непрестанно, что я на них смотрю — в упор, не сводя глаз, проникновенно и бдительно, — этого они не умели. В своем заблуждении они поступали, может быть, очень естественно, но в высшей степени неадекватно...

Внезапно мой глаз наткнулся на препятствие и дрогнул, как от толчка. Это был человек, которого нельзя не заме-

тить. На пустой, заснеженной улице он привлекал внимание тем, что то и дело оглядывался. Даже зайдя в помещение, окруженный вином и закуской, обласканный гостеприимным хозяином, он держал себя словно преступник, которого вот-вот схватят и уличат.

Ничто не угрожало ему, и я рассудил здраво, что в нем дает знать предчувствие моего присутствия. Должно быть, он уловил на себе мой острый взгляд и корчился под ним, не понимая, в чем тут загвоздка, приписывая окружающим людям силу, не принадлежащую им. Ему казалось, что за ним кто-то персонально следит, и это был — я, а он думал — они, и это меня рассмешило. Я сосредоточился на нем, я взял его крупным планом в световое пятно зрачка. Он был как бактерия под микроскопом, и я его рассматривал во всех жалких подробностях.

Был он рыжеволос и лицо имел очень белое, нежное, не поддающееся никакому загару, лишь кое-где окрашенное выпцветшими веснушками, которые, однако, сотнями усеивали его руки, переходя на фалангах в густую темную сыпь. Одет же — шеголевато, выглажен в свежую складку, в новом галстуке и в чистых носках, что при его возрасте и холостом положении служило признаком затаенной гордости, если не женолюбия.

Впрочем, последнее предположение скоро отпало. На женщин за столом он не реагировал, принимая их за мужчин. Исключение представляла разве что библиотекарша Лида, сидевшая от него справа. Он знал ее по министерству, пользуясь в тамошней библиотеке журналами «Kunststoffe» и детективами в переводах, и мог надеяться, что она не вымышленный агент, а самая что ни на есть настоящая библиотекарша Лида.

Лида была тоже девушка с фантазиями, по молодости и доброте никому не отказывающая. Генрих Иванович Граубе имел с ней мимолетный роман двухгодичной давности и теперь, из сострадания, пригласил на семейный праздник. Она много и молча пила, безучастная к происходящему.

Это не прошло мимо моего подопечного. Выплеснув под стол вторую рюмку вина, он склонился к Лиде и произнес, так чтобы все услышали:

— Лида, я вас люблю!

3

Ты никогда не был развратником. В любви ты предпочитал не кривить душою, не давать пустых обещаний и бездоказательных клятв, а скромно платил по таксе и 25,

и 30, и, бывало, 50 рублей наличными и получал без греха, по взаимной договоренности, причитающееся тебе возмещение. Зато ни скандалов, ни судебных издержек ты по этой части не знал и, хотя Полянский говаривал, что жена ему обходится дешевле проститутки, примерно по 15-ти рублей за сеанс, ты полагал, что лучше в этом деле переплатить, чем мучиться после всю жизнь.

Если же случались денежные затруднения, ты мог существовать без ничего и месяц, и даже год, не заигрывая с чертежницами и министерскими машинистками. Пригласишь такую в кино, а после не оберешься хлопот за один паршивый щипок чуть повыше колена. С честной женщиной никогда не известно заранее, согласна она или нет, и эта необеспеченность всегда тревожит и душевно расслабляет. Лучше пусть сразу скажет «нет!» и идет своей дорогой.

Поэтому, когда, наклонясь к Лиде, ты взялся вдруг за ней ухаживать, это было вызвано крайней необходимостью. Достоинство отразив первую атаку Граубе, ты чувствовал все же, что перевес остался на его стороне. Того и гляди вновь последует нападение, и нужно их опередить во что бы то ни стало.

Бывает же так: приходит в гости человек пожилой, серьезный, даже, например, академик, а выпьет рюмку-другую, и — смотришь — он уже хозяйское серебро в карманы укладывает или стишок интимного содержания вслух декламирует и, сидя под столом, не желает выходить на поверхность... К действиям подобного рода относятся у нас снисходительно. Ну, пожурят, посмеются, — что ж ты, Вася, сукин кот, скажут, честь мундира на пол роняешь и своим пьяным рылом на родную академию тень отбрасываешь? Но при всем при том похлопают по плечу, ободрят, поддержат. Потому сразу видно — свой парень, в гимназиях не обучался и в моральном смысле чист, как Иисус Христос. Такой военную тайну не разгласит и родине в решительный момент не изменит. Такой человек в один миг оказывается вне подозрений, и ему хорошо.

Подобная участь вызывала в тебе зависть. Ты домогался ее с помощью библиотекарши Лиды, единственной женщины, способной спасти твою репутацию. Обнаружив Лиду рядом, на расстоянии менее метра, ты воскликнул в наитии: — Лида, я вас люблю!

Сыщики переглянулись растерянно, а Лида, не веря своим ушам, сидела неподвижно. Ее ключицы сиротливо торчали на декольтированной впалой груди. Острый приподнятый локоток походил на утиное крылышко, обглоданное до основания.

— Лида, я люблю вас! — повторил ты еще громче и обхватил ее вялыми пальцами чуть повыше колена.

— Не надо при всех! — сказала шепотом Лида и благодарно погладила твою руку, сжимающую ее ногу. Так началась ваша любовь — в игре со смертью, на глазах у преследователей, сбитых с толку твоим неожиданным темпераментом.

Ты немедленно организовал кипучую, шумную деятельность. Лучшие куски пиццы ты выхватывал у гостей из-под носа и с возгласом «Это для вас!» подносил демонстративно Лиде, громоздя вокруг нее съедобную баррикаду. Параллельно тобой выкрикивались нежные имена и прозвища:

— Лидочка! Лидунчик! Леденчик! Лидястая лидидилька-фургончик!

Скосив глаз, ты видел, что все это производит впечатление.

— А мы не знали, что вы повеса, — признался с деланным смехом сыщик боксерской наружности, изображавший Веру Ивановну. — Мы всегда считали — тихоня, скромник, себе на уме...

Он был сильно оконфужен в своих расчетах и подозрениях, но все еще сохранял видимость хозяйки дома, юбилейной жены Генриха Ивановича Граубе.

— Что вы, что вы, Вера Ивановна! — возразил ты ему с живостью. — Чего скрывать? От кого скрывать? Не скрывая, во всем признаюсь: я — невероятный дон-жуир, в особенности когда захмелею.

В подтверждение этих слов ты, шатаясь как пьяный, подошел к нему вплотную и, поборов врожденную робость, потрогал осторожно одной рукой в бурых и оранжевых крапинках приделанный к его груди выпуклый камуфляж. Так ты и знал: это была всего-навсего резиновая подушка, надутая пустым воздухом.

— Да вы шутник! — пропищал испуганно сыщик и откинулся назад в кресле, должно быть, не желая до конца разоблачать свою фикцию. А ты колеблющейся походкой вернулся к Лиде и, чтобы она не ревновала, укусил ее тихонько за локоть.

— Не надо при всех, — шептала Лида в смущении. — Лучше выйдемте на минуточку, если вы так настаиваете...

Генрих Иванович позеленел от тоски по поводу сорванной провокации. Теперь-то с него непременно вызвучат свадебные затраты.

— Я оскорблен как человек! — воскликнул он, обращаясь к Лобзикову и Полянскому с лицемерным возмущением в голосе.

Те беззвучно хохотали, раскачиваясь, как метрономы.

— Какой страстный мальчик! Нет, вы подумайте, какой страстный мальчик! — лепетал освидетельствованный боксер по кличке «Вера Ивановна».

Тут тебя осенила новая блестящая мысль, воспользоваться скандалом и убежать от них вместе с Лидой под видом неудержимых эмоций. Бывает же так. Порыв страсти, зов предков, борьба за женщину, Зигмунд Фрейд и Стефан Цвейг.

Как это делают пьяные, желающие впасть в амбицию, ты сказал, махая руками по всей комнате:

— Лидия, я вас похищаю. Идемте вон отсюда. Пусть эти люди без меня ведут свои разговорчики. Им будет удобнее без меня охаивать государственных уток. Что — я? Я — ничего, вполне лоялен. А вас, Генрих Иванович, вас я вижу насквозь.

И ты посмотрел ему прямо в глаза его же собственным пронизательным взглядом, будто не ты, а он сам находился у тебя на примете.

— Да! Да! Да! Я вас вижу насквозь!..

Лида покорно собирала пожитки: сумочку, губную помаду. Козью шубейку, облезлую на две трети, ты ей подал сам. Вы ушли, хлопнув дверью перед пустоглазой физиономией Граубе, который стоял с разинутым ртом, видимо, не имея полномочий задерживать тебя силой.

Падал густой снег. Он принял тебя и Лиду в свои бесшумные толпы. Казалось, тысячи, миллионы парашютистов на белых, как снег, парашютах летят с неба и захватывают притихший город сплошным воздушным десантом. Некоторые, прежде чем приземлиться, кружились вокруг да около, выбирая местечко помягче, куда бы сесть...

Снегопад мешал тебе видеть маневры противника, который до того изловчился, что преследовал тебя по пятам, замаскированный снежной завесой. Ты же — в черном пальто — был хорошим ориентиром. У тебя имелось только одно прикрытие — Лида.

Несомненно Генрих Иванович выслал за вами опытных экспертов — проверить, чем вы будете с ней заниматься, оставшись наедине. Он был достаточно догадлив, этот Генрих Иванович, чтобы не принять за чистую монету твой поспешный роман. Поэтому, идя с Лидой по улице, ты продолжал гнуть свое и спотыкался, как пьяный, а также высказывал Лиде и всем, кто мог это слышать, разные фразы и предложения, вплоть до предложения выйти за тебя замуж.

Лида прижималась доверчиво к твоему боку и говорила себе под ноги, всхлипывая от счастья:

— Почему я раньше с вами не встретилась — в семнадцать лет, когда была совсем девушкой, но вполне созревшей?..

Но тебе не было дела ни до прошлого ее, ни до будущего. Ты принимал ее как есть, нетрезвую и влюбленную, с вытертым мехом на груди, служившей тем не менее удобной защитой твоему лицу, похудевшему от пережитых волнений. И говоря ей про любовь, ты думал с вожделием о том сладком моменте, когда ты проводишь Лиду и вернешься преспокойно домой, в изолированную квартиру, и ляжешь с легкой душой в чистую пустую постель.

Время от времени ты останавливался и, повернув Лиду вокруг оси резким, нетерпеливым движением, целовал ее в рот и в блаженно прикрытые веки. И целуя, зорко всматривался поверх ее головы, предупредительно запрокинутой, в мутноватую даль за собою, где мельтешили попеременно — мрак и снег, снег и мрак.

За вами подглядывали. Но хотя ты не мог как следует уловить выражение глаз, отовсюду на тебя устремленных, тебе хотелось гордо сказать перед всем миром:

— Что ж, смотрите, я — не боюсь! Вы же видите — я занят делом, я люблю свою Лиду и с меня взятки гладки...

4

Четвертые сутки он находится в поле моего наблюдения. Я кажусь ему питоном, чей хладнокровный взгляд лишает кролика чувств. Его представления обо мне — суший вздор. Но если даже принять за основу эти нелепые фантазии, я не знаю, кто из нас кого держит на привязи: я его или он — меня? Мы оба попали в плен, не в силах оторвать друг от друга застекленевшие взгляды. И хотя он не видит меня, из-под его белесых ресниц бьет в моем направлении такой сноп страха и ненависти, что мне хочется крикнуть: «Перестань! Не то проглочу! Стоит мне захлопнуть веки — и ты пропадешь, как муха!» Это состязание начинает меня утомлять.

Глупец! Пойми — ты живешь и дышишь, пока я на тебя смотрю. Ведь ты только потому и есть ты, что это я к тебе обращаюсь. Лишь будучи увиденным Богом, ты сделался человеком... Эх, ты!..

К моим дружеским уговорам он прислушиваться не желал. На все у него имелись свои резоны. Четвертые сутки он не спал, чтобы не дать себя застигнуть врасплох, и по ночам лежал на диване в состоянии боевой готовности,

в пиджаке и в брюках, теперь уже изрядно помятых, в ботинках, туго зашнурованных, и таращился в темноту.

Перед ним от напряженного всматривания возникали круги и пятна разного колера. Они представлялись ему глазами: без носов, без ушей — только одни глаза. Буркалы, зенки, гляделки, лупетки — карие, серые, голубоглазые — летали по комнате, хлопая ресницами, и пристраивались у него на груди для отдыха. Когда он приподымался, они вспархивали и парили над его головой, изредка помаргивая широко раскрытыми крыльями.

Утро не приносило спокойствия: ему казалось, что на свету он еще заметнее. Мне же, право, было без разницы — что день, что ночь. Никакие ширмы, затемнения не могли избавить меня от него...

Особенное неудобство он испытывал в клозете. Понуждаемый своей природой, которую он недолюбливал и смущался выставлять напоказ, он прикрывался газеткой, гри-масничал, насвистывал арии или, желая меня заинтриговать, напускал на себя вдруг большую задумчивость — и все это с одной целью: переключить мое внимание в район своего лица и там на некоторое время удержать. Как будто меня интересовали эти его глупости!..

От нервных мыслей, что я все вижу, моча у него не текла и мышца прямой кишки тоже не сокращалась. Мне было совестно за него, и при виде этих мучений я мучился вместе с ним из-за его бестактности.

Ах, если бы то была мания преследования, какую страдают иногда люди, высокоодаренные сознанием своей вины и очевидной ничтожности! Нет, скорее был он одержим другим недугом, именующимся в медицине «*magia grandiosa*». Вселенная имела одну заботу: лично ему досаждать. И выбегая поутру в город за хлебом, за колбасой, он все, что попадалось ему на глаза, беззастенчиво относил на свой счет.

Москва кишела подставными фигурами. Они делали вид, что не глядят в его сторону (а сами нет-нет да посмотрят исподтишка). Одни прикидывались случайными встречными и фланировали по улице с отсутствующим выражением лиц, но были почему-то все одеты единообразно, по форме, в матерчатые темные ботики. Другие — в белых масках-халатах — имели обличье мороженщиц. Никто у них никогда ничего не покупал.

Но всего отвратительнее были дома — многооконные, глазастые твари...

— Какое приятное совпадение! Здравствуйте! Здравствуй-те! Вы — в Москве? Вы еще не уехали? А как же ваша язва?..

Ты обернулся. Это был, конечно, Генрих Иванович, уцепивший тебя за плечо возле самого гастронома. На второй день после так называемой «свадьбы» ты взял отпуск в министерстве под видом неполадок в желудке. Сослуживцам было объявлено, что тебе прописана Ялта, но отпуск ты, разумеется, проводил у себя взаперти. Какова же была радость этого вездесущего Граубе, когда вместо язвы и Ялты он поймал тебя на улице, с поличным, в момент короткой вылазки за провиантом!..

Пока ты подыскивал доводы затянувшемуся отъезду, Генрих Иванович приобнял тебя бесцеремонно за талию и потащил прочь с тротуара. Через пять шагов вы очутились во дворе — по всем признакам в ловушке, заваленной почему-то кучами пожелтевшего снега. Должно быть, у Граубе были на это санкции.

— Понимаю! Понимаю! Шерше ля фам. Ни о чем не спрашиваю. Бывали и мы рысаками.

Он прыгал вокруг тебя, будто норовил укусить, и грозил указательным пальцем, не выпуская из круглой ладошки тяжелый министерский портфель.

— А мне, родной-дорогой, с глазу бы на глаз. Ах, проказник! Жена до сих пор с удовольствием вспоминает. Здорово мы тогда! Смеху-то было, смеху! А вы и поверили старой дуре? Ей бы уток жарить, гостей угощать, только и всего... Ведь вы пошутили — я сразу понял. «Насквозь,— говорит,— насквозь вижу!» Ха-ха-ха! ах-ах! Ах, вы, проказник! Хотите на колени встану? Шучу-шучу, не сердитесь. Из одного уважения. Может, вы, родной-дорогой, обиделись на меня? Что-нибудь из-зи Лиды? Простите старого дурака. Для вас ничего не жалко. С руками, с ногами. Кушайте на здоровье. Дело прошлое. Кто старое помянет. Сами понимаете — вроде отца. Христофор Колумб, первое всех. Раньше Лобзикова и раньше Полянского. Жалко же все-таки. Ну и выиграло ретивое. Бывали и мы рысаками. А вы туда же, принципиальный вы человек: «вижу, вижу, вижу насквозь!» К чему такое? Тихо-мирно. Ну хотите — на колени встану? Только для вас, из одного уважения. Хотите?

И не успел ты понять, что это значит, как Генрих Иванович Граубе — при шляпе и с портфелем в руке, — наскоро оглядевшись, упал в снег на колени. Его массивная физиономия, пожелтевшая под цвет обстановки, была исполнена грусти и благородной просительности.

На одну секунду тебе в голову пришла дикая мысль: быть может, Генрих Иванович сам тебя опасается?..

Но ты отогнал иллюзии. Ты вовремя сообразил, какая высшая стратегия заключена в униженной позе. Снизу, из грязи, виднее, уязвимее душа человека. Снизу ты легче доступен. Упавший перед тобой на колени имеет уже те преимущества, что может в любую минуту схватить тебя за ноги и уронить на спину.

Поэтому, не дожидаясь, ты с криком отпрянул в сторону и, видя, как брови Граубе лезут от удивления вверх, ударил его по лицу, не в бровь, а в глаз... В воротах ты обернулся. Генрих Иванович сидел на снегу, толстый портфель лежал перед ним плашмя. Одной рукою Граубе закрывал половину лица. Но здоровой половиной он продолжал смотреть на тебя.

— Погодите! Не уходите! Уверю вас—вы ошибаетесь!—говорил он, шмыгая носом и тихонько повизгивая.— Какой же я соперник? Вы зря волнуетесь. Моложе меня. Поберегите здоровье. Лида сама к вам явится, только свистните. Хотите скажу ей—не поехали в Ялту? Сама прибежит. Хотите?

Но ты не поддался на приманку. Со всех ног, забыв о некупленной колбасе, ты бросился домой и там заперся.

5

В тот же вечер к нему пришла Лида. Она позвонила два раза—никто не отзывался. В дверную щелку для писем виднелся кусок прихожей, тусклой и захлавленной второстепенной домашностью. Наискось, на полу стояли ноги. Лида их узнала по ботинкам и брюкам. Все остальное находилось вне доступа.

— Это я—Лида! Откройте, Николай Васильевич!—крикнула Лида радостно в письменное отверстие.

К ее удивлению, знакомые ноги не сдвинулись с места. Они чуть заметно вздрагивали, но к ней навстречу не шли. Выждав для приличия, Лида позвонила еще раз.

Шумело отопление. Внизу, на первом этаже, играло радио.

— Николай Васильевич! Это же я—Лида. Почему вы молчите? Думаете—я вас не вижу? Вон, вон—в углу стоите, и брючки на вас такие же самые, чехословацкие, полушерсть. Пустите на минуточку.

В прихожей щелкнул выключатель. Светлая полоска погасла. Лида в нерешительности сделала круг перед дверью.

— Или вам обидно, что жениться на мне обещались? Так вы не думайте, я не для того. Мне расписываться не

обязательно. Честное слово. Зачем вы свет потушили, Николай Васильевич? Все равно все слышно. Стойте там и вздыхайте. Как не стыдно! Вам, наверно, про меня чего-нибудь рассказали? Не слушайте никого. С Лобзиковым я уже четыре месяца ничего не имею. И с Полянским тоже. Как вы в отпуск ушли — только про вас думаю. Ни с кем ни разу даже не целовалась. Честное слово. Я, Николай Васильевич, если хотите, на всю жизнь вам верной останусь. Вечно вас буду любить. Как мужа. Обед для вас буду варить, если захотите.

Она прижималась к двери то глазами, то губами. В квартире Николая Васильевича господствовала тишина. Но оттуда — сквозь узкую щель — тянуло теплым, немного захламым воздухом.

— Что же ты, милый, что же ты розочку не сорвал? — шепнула Лида, зардевшись. Потом понюхала в последний раз прорезь и пошла восвояси.

Лишь с ее уходом ты рискнул пошевелиться, размять затекшие члены. Ты был в жару и в поту. Какое мальчишество — выскакивать на звонок, под яркий электрический свет! Эта оплошность едва не стоила тебе головы. Хорошо по крайней мере, что ты вовремя спохватился и застыл на месте, как мертвый, будто это и не ты вовсе и тебя нет.

А что оставалось делать? Впустить ее внутрь? Демонстрировать у всех на глазах свою личную жизнь? Да с кем? — с той самой женщиной, которая — теперь ты осознал это вполне — была приставлена к тебе по указке Граубе? Еще тогда, при гостях, она провоцировала тебя на любовь, и ты чуть было не... Бежать! Бежать пока не поздно! Пока она не вернулась, не ворвалась к тебе насильно под маркой бывшей невесты, которая считает своим долгом следовать за тобою повсюду — только потому, что ты имел несчастье однажды ее ушипнуть на какие-нибудь три сантиметра выше общего уровня...

Ты выглянул в окошко, таясь за косяком и не зажигая огня. Путь был отрезан. Внизу дежурила Лида. Она не собиралась тебя покидать и расхаживала перед домом, как часовой.

Твои ноги в нагретых ботинках распухли и болели. Ныла рука, поврежденная мерзавцем Граубе при помощи надбровной дуги. Но хуже всего было не оставлявшее тебя ощущение — едкое, щекотливое чувство собственной кожи. Ты не престанно морщился, мотал головою и растирал ожесточенно ладонями лоб и щеки.

...Это тяжелое зрелище мозолило мне глаза. Они тоже изрядно болели. Казалось, у меня между век вставлены

спички-распорки и оба глазных яблока расцарапаны до крови.

Чтобы дать себе роздых, а также по возможности облегчить его страдания, вызванные моей наблюдательностью, я старался глядеть в другую сторону и честно избирал для прогулок самые отдаленные улицы — Марьяну рошу, Большую Оленью, что в районе Сокольников. Но это не помогало. Куда бы я ни двигался — пешком или на троллейбусе, — передо мной маячили злые глаза и веснушчатые рыжеволосые пальцы...

Я хорошо понимал, что все это может плохо кончиться. Когда стало невозможно, я взял такси и выехал на место событий.

Мой расчет состоял в том, чтобы увлечь Лиду с ее поста и тем самым разрядить обстановку. Я думал уменьшить число глаз, которые силой воображения он на себе сконцентрировал. Но был и второй момент: мне хотелось рассеяться. Я нуждался в третьем лице для забвения и защиты от моего преследователя.

Лида самоотверженно мерзла под его темными окнами. Хотя мы были знакомы, так сказать, заочно, ее слабые струны для меня не составляли секрета. Делом пяти минут было завязать разговор и пригласить ее погреться неподалеку в кафе. Я назвал себя первым попашимся именем, кажется, — Ипполитом. Она согласилась. Ей все равно идти было некуда.

Пока мы ждали сациви и шашлыки по-карски, я высказал ей в утешение несколько комплиментов.

— Зачем вы бороду носите? — спросила она кокетливо. — Для солидности? Но это вас старит. И вообще — рыжим борода не к лицу.

— Что вы говорите?! Какой же я рыжий?! — ужаснулся я ее способности перекрашивать вещи по своему вкусу.

— Нет, вы рыжий! — упрямылась Лида. — С рыжеватым оттенком. Вы немного похожи на одного моего знакомого...

Я не считал нужным муссировать эту тему, опасную для всех нас, но сказал напрямик, что терпеть не могу рыжих. Рыжие вечно думают, что все на них смотрят, и потому они ужасно много мнят о себе и никому не верят. А на самом деле никто на рыжих не смотрит и смотреть не желает, и нет никому до них — до рыжих — никакого дела.

— Зато они — ревнивые, — хвасталась Лида. — И все тонко чувствуют и тонко понимают.

О, я прекрасно видел, куда летят ее мысли. Но все это было впустую. К тому времени, как нам подали ужинать, ее рыжеволосый красавец успел далеко зайти в разрушитель-

ном изобретательстве. Лежа во мраке и уткнув лицо в подушку, он силился, что есть мочи, ни о чем не думать.

— Ди-ди-ди, ля-ля-ля. Ди-ди-ди, ля-ля-ля,— бормотал он сосредоточенно.

Ему казалось, что, выключив мозг с помощью очевидной бессмыслицы, он избежит от соглядатаев, подсматривающих за ним изнутри. Мало ему было восстанавливать против себя целый свет. В самом себе он заприметил следы моего тайного розыска и решил сразиться со мной на путях своего сознания. «Ди-ди-ди, ля-ля-ля» — попробуй пробейся сквозь эту стену. И не зацепишься. Что значит это тупое, бесталанное дидиликанье?..

Я сказал Лиде, разливая коньяк:

— Пейте, Лидочка. Пейте, Лидидилия. Не будем думать ни о каких рыжих, ни о каких рыжих. Не обращайтесь на рыжих внимания. Вам сразу станет легче. Кушайте сациви и шашлык. Шашлык! Шашлык! Сациви!

— Ди-ди-ди, ля-ля-ля! дядя! дядя! дядя! Ди-ди-ди, лидиди-ди...

— Сациви! Сациви! Кушайте, Лидочка, шашлык. Жирный, жирный, рыжий шашлык. Шаш? — или шиш? -лык! лык! лык! Сациви!

Но мы не могли, сколько ни бились, отвлечься друг от друга, побороть притяжение, влекущее нас к катастрофе. К тому же и мне и ему мешала Лида. Она сказала, разогревшись после третьей рюмки:

— Вы мне нравитесь, Ипполит. Вы очень, очень похожи на одного моего знакомого. Он тоже меня угощал у одних моих знакомых. Только я вас прошу — сбрейте бороду. Ну, пожалуйста, милый, для меня. Возьмите бритву и сбрейте!

У меня дух захватило от ее предложения.

— Молчите! — крикнул я ей. — Ни слова больше! Ни одного упоминания ни о каких острых предметах! Слышите?!

И в то же мгновение я увидел, что он поднимает голову.

Ты поднял голову, как бы прислушиваясь к нашему разговору, и улыбнулся. Ты сказал себе мысленно: «Надо побриться» и повторил вслух: — Надо побриться! Ля-ля-ля! Надо побриться!

И опять улыбнулся — второй раз за все это время.

Меня била дрожь. Я схватил Лиду за руку, и мы, не допив коньяк, выбежали на улицу. Там — без предисловий — я объявил, что люблю ее, люблю безумно, страстно, и ни на кого не хочу смотреть кроме нее, и ни о ком не желаю думать, и потому она обязана мне сегодня принадлежать — немедленно, тут же, вот сейчас!

Ты встал и включил электричество. Твои глаза сощурились.

Лида сказала:

— Но здесь же холодно и ходят люди. Если вы так настаиваете, поедemте к вам домой, если вы не женаты.

Я ташил ее по улице, пока ты согрeвал воду и отыскивал свой помазок и эту самую свою бритву. У меня оставались считанные минуты. Не оставалось ничего другого, как зайти в чей-то подъезд. На самой верхней площадке было не так уж холодно, и было маловероятным, чтобы нас увидели.

А если б и увидели? Какое мне дело! Меня одолевали свои заботы. Это я, я сам не должен никого замечать! Я хотел, пока не поздно, выскочить из игры, которая могла плохо кончиться, а других средств спасения, кроме Лиды, не было под руками.

Я встал перед ней на колени. Мне хорошо запомнилось одно правило: «снизу человек доступнее, и стоящий перед ним на коленях может в любую минуту схватить его за ноги и опрокинуть на спину».

Так оно и вышло. Лида дружелюбно трепала мою склоненную голову, а я обхватил ее руками за тонкие ноги и прислонил к стене. Класть Лиду на кафедру мне не хотелось: еще простудится.

Я не стыдился своих намерений, достаточно откровенных. В конце концов, не для своего удовольствия я старался. У меня не было иного выхода.

Конечно, было бы лучше, если бы ты оказался на моем месте. Чего тебе не хватало в жизни — так именно откровенности. Все-таки в объятиях женщины всякий мужчина, даже самый скрытный, заносчивый, вынужден волей-неволей держаться непринужденно. Быть может, и тебе, не отвергни ты Лиду, это бы пригодилось, и — как знать? — будь ты немного доверчивей, может быть, и меня ты сумел бы лучше понять...

Но ты предпочел иной путь и теперь, зажав бритву в цепких веснушчатых лапах, водил ею вдоль щек, будто на самом деле собирался привести их в порядок. Зная твое притворство, я спешил. Скорее, скорее уйти, зарыться в свои занятия, чтобы ты тоже, наконец, перестал обращать на меня внимание, перестал бы бояться, таиться и лелеять в душе мстительные расчеты.

Лида шумно вздохнула и, закрыв глаза, гладила мои волосы:

— Коля! Коленька! Николай Васильевич! Рыженький ты мой! Ненаглядный! — твердила она на все лады.

Я не испытывал ревности. Но меня угнетали эти бесконечные напоминания, эта неуместная близость к тебе в ту минуту, когда я надеялся скрыться от тебя достаточно далеко. Я приближался к тебе с опасной быстротой и уже видел рядом с собою твои глаза, расширенные от бешенства. Назад! Назад! Поздно. Я вошел в твой мозг, в твоё воспаленное сознание, и все твои последние тайны, которые я и знать не хотел, открылись передо мной.

Ты вскочил со стула. Все свидетели твоего злодеяния были в сборе. Ага! Попались! Ты замахнулся на меня, на Лиду, на весь мир своей заготовленной бритвой.

— Стой! Не смей! Что ты делаешь?

Я зажмурился. И миг давно не испытанное спокойствие вернулось ко мне. Стало темно и тихо. Я перестал тебя видеть. Тебя больше не было.

6

Когда я открыл глаза, Лида помадила губы. Она встряхнулась, поправляя шубу и платье. От нее отскочила пуговица и покатилась вниз, со ступеньки на ступеньку. Лида сошла по лестнице и подобрала пуговицу. Потом спустилась еще на один этаж.

— Куда же вы, Лида? — сказал я скорее из вежливости, чем по искреннему побуждению. Ответа не было: Лида спешила на свой пост, оставленный час назад. Взглянув в том направлении, я убедился, что она зря торопится. Сторожить ей было некого. Наш общий знакомый валялся под столом с намыленной щекой и перерезанной глоткой. Падая, он ухитрился разбить настольную лампу. Свет в его комнате не горел.

Я присел на ступеньку в ожидании, когда Лида исчезнет. Но окончательно скрыться из моих глаз ей никак не удавалось. Тогда я встал и, покинув гостеприимный подъезд, направился по городу — в свой обычный обход.

Все было по-старому. Шел снег, и было такое же самое состояние суток. Два инженера — его бывшие сослуживцы, Лобзиков и Полянский — играли на рояле Шопена. Четыреста женщин по-прежнему рожали четыреста младенцев в минуту. Вера Ивановна прикладывала примочку к посиневшему глазу Генриха Ивановича. Шатенка надевала штаны. Брюнетка, склоняясь над тазом, готовилась к встрече с Николаем Васильевичем, который, как бывало, бежал под хмельком по морозцу. Труп Николая Васильевича лежал в запертой комнате. Лида, как часовой, ходила под его окнами.

Я видел это и неотвязно думал о нем. Мне было немного грустно.

Ты ушел, а я остался. Я не жалею о твоей смерти. Мне жаль, что я не могу тебя забыть.

1959

КВАРТИРАНТЫ

1

Эх, Сергей Сергеевич, Сергей Сергеевич! Да разве вы сравняетесь с Николаем Николаевичем? Смешно даже. У вас и виду нет никакого, и бицепсы на вас обвисли все равно что, простите за сравнение, сосцы на какой-нибудь исхудалой собачке. И коньяк вы хлещете начиная с утра — откуда только деньги берутся? А Коля, Николай Николаевич, был человек моложавый, инженер — конструктор электрических двигателей, двадцать девять лет — самый сок. И тот не осилил. Вызывает меня как-то на кухню. «Что ж это, — говорит, — что ж это, — говорит, — Никодим Петрович, происходит?» А сам белый-белый. Как потолок.

Куда вам до него! Певун был! Физкультурник! Бывало, проснется рано утром, всю гимнастику под звуки радио сделает, зубы щеткой почистит и начинает:

Все выше, и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц,
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ.

Приятно слушать. Хотя он и тенор, а я больше басы люблю. Поверьте старику — уезжайте прочь отсюда. Покуда целы. Чемоданчик в руки — и с Богом. Хотите для вас — по знакомству — записочку сочиню? В горжилотдел, к самому Шестопалову. Неужто не слышали? Шестопалов. Квартирные вопросы решает. Я под его началом тринадцать лет прослужил. Студенческим общежитием и двумя домами заведовал. Комендант, управдом — как хотите зовите. До самой пенсии. На Ордынке. В пять этажей и в шесть. Он в пять минут любую жилплощадь разыщет. Ну что вы, что вы!.. По моему-то ходатайству!..

Обживетесь на новом месте. Библиотеку вашу временно здесь оставим. Я постерегу. Почитаю с вашего разрешения.

У вас нет ли случайно: «Юный бур из Трансвааля»? Еще до войны читывал. Автора вот не запомнил. Иностранец какой-то, француз.

Жаль-жаль. Ночи-то длинные, а ноги-то ноют. Суставной ревматизмус. Застарелая, коренная болезнь. Что? Наливайте, наливайте: не повредит.

За ваше здоровье!

Н-да... Коньячок у вас, действительно, самый отборный, по рецепту. В пищеводе ощущение ласки. Сопьюсь я с вами. Нет-нет, не беспокойтесь, закусывать я не люблю. Весь привкус теряется. В самом деле, Сергей Сергеевич, переезжайте на другую квартиру. Здесь, говоря по секрету... Вззоете, когда узнаете, да поздно будет. Ну, что вы заладили: не поеду да не поеду. Лениость это одна с вашей стороны и ничего больше. А там, глядишь, и я за вами следом. Вместе поселимся. Не хотите с Шестопаловым связываться — обменять можно. Давайте дадим объявление. Моя комната плюс ваша — тридцать один метр. Вот вам и пожалуйста — изолированная квартира. А?

Я вам, как писателю, условия жизни создам. Тишина чтобы, порядок. Мне тоже нужен покой. Может, вы еще жениться сумете, внучат разведем, котят. Я при них бы сидел. Вместо дедушки. Про коньяки и думать забудем. Разве что по большим праздникам: Новый год, Первое мая. Хозяйство наладим. Дер тыш, дас шранк, валенки мне новые купим. Эх, и жизнь пойдет! Давайте выпьем, что ли! За ваше здоровье, Сергей Сергеевич.

Я ведь, говоря откровенно, почему с ним подружился — с Колей то есть? Хороший он человек, хозяйственный, домовитый. Как придет с работы — за дело. Этажерку лобзиком вышил, радиоприемник из чепухи собрал. Своими руками. И Ниночка его тоже мне сначала понравилась. Хлопотливая такая, как птичка. Все в дом, в дом тянет. Полгода не прошло — верите ли? — они уже гардероб новый купили. С зеркалом во всю дверцу. Занавеси из тюля повесили. А все по четвертной, по тридцать рублей в получку, по копеечке, можно сказать, домашний очаг созидали. И все прахом пошло. Эх, Коля! Коля! Где вы теперь, кто вам целует пальцы?.. Да-а-а! В доме душевнобольных. Выражаясь по-старинному — в желтом доме-с. А разве это дом? Так, одна видимость. И дома никакого нет — общежитие для безумцев и ничего более.

Что? С чего началось? С пустяка все началось. Кушает он однажды вечером гороховый суп и вдруг вылавливает из тарелки — представляете — женский волос. Обыкновенный

женский пучок и больше ничего. Говоря по-деревенски — очески. Он, конечно, оборачивается к своей Ниночке и спрашивает ее довольно спокойно, как это понять. Та вспыхнула вся и говорит, тоже довольно спокойно:

— Это,—говорит,—Николаша, Кроваткина свои лохмы к нам в кастрюлю вместо мяса подкладывает.

А волосы, между прочим, седые. Седые...

Тс-с-с! Вот я и спрашиваю: Сергей Сергеевич, нет ли у вас такой интересной книги — Фенимор Купер «Последний из могикан»? Да! «Последний из могикан!» Про индейцев Южной Америки! Так, так, так! Значит, нет! Значит, нет! Погода какая дождливая! Погода — говорю — дождливая!..

Ушла... Это она и есть, она самая — Кроваткина. Сушая ведьма. Ухо к дверям приложит и контролирует, о чем мы с вами беседуем. Уж я ее чувствую, знаю. Раз говорю — значит, знаю! У меня на это дело свое осязание есть. Сами с усами. Спиною их шашни угадываю. За десять метров.

Что вы! Какие тут фокусы! Не верите — могу доказать. Вот сейчас к вам спиной повернусь и ничего видеть не буду, а все буду угадывать. Любое телодвижение.

О-хо-хо! ноги-то, как чужие. Ну! Начинайте.

Тэкс-тэкс. В этот самый моментик вы в носу ковыряете. Мизинцем. Теперь — перестали. За левое ухо схватились. Нижнюю губу оттопыриваете. Что, угадал? Хе-хе. А вы затейник! Какую пантомиму позади меня разыграл! Думает — не узнаю. Язык высунул, лоб сморщил... А глазки-то у вас, Сергей Сергеевич, совсем косые. Захмелели вы. Сразило вас это зелье.

Ну, на сегодня хватит. Я и не так еще умею. А теперь — по последней — и спать. Поздно уже. Что соседи подумают?

Нет, нет. И не просите. В другой раз доскажу. Перебила меня эта Кроваткина. Все настроение испортилось. Давайте я лучше на прощание что-нибудь совершу. Вот сейчас — хотите? — не сходя с места, исчезну. Возьму и улечусь. Раз, два, три! Вот я был и вот! — меня! — нетт!

Покойной ночи, Сергей Сергеевич!

2

...Таким образом в скором времени одни русалки остались. Да и те... Сами знаете: индустриализация природных богатств. Дорогу технике! Ручьи, реки, озера химическими веществами пропахли. Метилгидрат, толуол. Рыба — та попросту дохнет и вверх брюхом плывет. А эти, бывало, вынырнут, отфыркаются кое-как, а из глаз — не поверите! — слезы

от горя и разочарования. Сам видел. По всему роскошному бюсту — стригущий лишай, экзема и даже, простите за нескромность, венерические рецидивы.

Куда спрячешься?

Недолго думая — туда же, вслед за лешаками, за ведьмами — в город, в столицу. По каналу Москва — Волга, через эти самые шлюзы — в сеть водоснабжения, где почище да посытнее. Прощай, родимый край, первобытная обстановка!

Сколько их тут погибло! Видимо-невидимо. Конечно, не насовсем. Бессмертные создания все-таки. Ничего не попишешь. Но некоторые из них помястее — в водопроводных трубах застряли. Да вы сами, вероятно, слышали. На кухне кран отвернете — оттуда вдруг рыдания несутся, бултыханья разные, чертыханья. Думаете — чьи это штучки? — Их голоса — русалок. Застрянет в умывальнике и ну капризничать, ну чихать!

Между прочим, в нашей квартире одна бывшая русалка проживает вполне легко и свободно. По паспорту — Софья Францевна Винтер. Знаете ее, конечно. В бумазейном халатике бегаёт и водные процедуры принимает с утра до вечера. То в ванной комнате плещется по три часа кряду (другим жильцам руки помыть негде), то в тазик частично усядется и стихи про Лорелею поет. На немецком языке:

Их вайс нихт вас золь эс бедойтен
Дас их зо траурих бин...

Генрих Гейне сочинил. Говорю ей вчера: — Софа! Ты бы хоть нового жильца постеснялась. Писатель как-никак. А ты в одном халатике по коридору бегаешь, без пуговиц, без тесемок, и при каждом своем движении на полметра распахиваешься.

А она — бесстыжая девка — только зубы скалит. «Ваш писатель, — говорит, — мне “Белую сирень” подарил. Духи такие. У меня с ним, дедушка, понимание с первого взгляда».

Берегитесь, Сергей Сергеевич. Упаси вас Бог за нею ухаживать. Защекочет до смерти. А насчет чего по существу — я так скажу: рыба кровь у нее и все прочее — рыбе. Одна только наружность дамская, для соблазна...

Вот вы опять смеетесь и ничему не верите. А хотя вы писатель — наблюдательности у вас никакой. Ну, что вы можете сказать, например, про Анчуткера? Ваш сосед. Анчуткер. Вот за этой стенкой. Ничего особенного. Гражданин как гражданин. Разве что еврей. Моисей Иехелевич. Подумайте! Карл Маркс тоже, небось, из евреев произошел.

А если присмотреться, да повнимательней?.. Шевелюру он какую носит? Вы встречали когда-нибудь в жизни подобную шерсть на мужчине? А цвет лица? Где вы у человека

найдете до такой степени синюю кожу? И взгляд у него невеселый, и штiblеты 47-го размера, к тому же всегда перепутаны: правая принадлежность на левой, а левая — на правой. Так и ходит, медведь неучливый, и дома и в министерстве.

Опять же, обратите внимание, какую он литературу почитывает. «Лес шумит» Короленко. Новый роман Леонида Леонова «Русский лес». Я не спорю — роман замечательный. Но зачем же, спрошу я вас, непременно на эту тему? И почему он, проклятый Анчуткер, по лесному ведомству служит? Березы да елки логарифмической линейной считает, на кубометры перекладывает... И не Анчуткер он вовсе, а по-правильному, по-научному — Анчутка. Теперь смекает! То-то!

Нет, Сергей Сергеевич, не найти вам среди наших квартирантов ни одного живого лица. Хоть и родня они мне. Так сказать, из одной деревни. Да что толку! Мне моя репутация дороже стоит. Это невежды говорят, малограмотные, некультурные бабы — домовой, дескать, заодно с лешим. Ошибаетесь! Совсем другая профессия. Нельзя в этом вопросе не видеть принципиальных различий. Домовой — он к дому привык, к человеческому запаху, к теплоте. Испокон века. Ему с чертями да с ведьмами не по пути. Может, вы думаете — общая природа? Не скажите! Мало ли что природа! Человек, например, тоже от обезьяны произошел. Однако впоследствии выделился в самостоятельную разновидность. С обезьянами дело имеет лишь в Африке да в зоопарке. Каково же мне — мне! — пожилому, можно сказать, человеку в коммунальных условиях жить?!

Как въехали они в нашу квартиру — Николай Николаевич с Ниночкой, я им сразу сказал: — Коля! — говорю, — Ниночка! держите ухо востро. Не поддавайтесь на провокацию. Живите, как в отдалении. А я возле вас погреюсь на старости лет.

— Нет! — отвечает Ниночка. — С волками жить — по-волчьи выть. Не забуду я этой Кроваткиной истории с гороховым супом. Она у нас мясо ворует, а я ее волосы жуй? К тому же — грязные и седые. От них заразиться можно.

И велит своему Николаше приладить ко всем кастрюлям висячие стальные замки. Чтобы пищу, значит, на ключ запирать, пока варится без надзора на плите общего пользования. Бывало, прокрадется на цыпочках, отомкнет поскорее кастрюлю, соли-масла добавит и опять на запор.

Только это не помогло. Превратности продолжаютя. Курицу, скажем, на огонь поставит и замочки повесит. От-

пирает — дохлая кошка сварена в курином бульоне. Даже не ободранная, прямо в шкуре, с хвостом.

Ниночка — в амбицию. Ее тем временем другая соседка — Авдотья Васюткина — на свою сторону переманила. Образовался альянс. У Авдотьи с Кроваткиной личные счета: Анчуткера никак не поделают. От Анчуткера у обеих детишки. Лешанята, значит. Вот и сражаются, врагини, за свою ведьмячью любовь.

Представляете картину? Кухня. Дым коромыслом. В дыму эти ведьмы раскачиваются, ухватив друг друга за космы. В лицо друг другу плюют на близком расстоянии. Нехорошие слова произносят очень отчетливо:

— Ведьма! Потаскуха!

— Сама ты ведьма! Куда сегодня ночью верхом на унитазе каталась?

Под ногами у них ребятишки синепузые вертятся. Норовят укусить за икры противоположную сторону. Маленькие еще, а зубастенькие, с коготками.

И тут же, представляете, Ниночка. Волосики разматались. Глазки горят, как лампочки от карманного фонаря. В руках — скалка, и сквозь разорванную рубашку ребрышки ее цыплячьи так ходуном и ходят, так и ходят.

Увидел я эту картину и впервые заплакал. Мне, старику, совладать ли с тремя рассвирепевшими бабами? Бегаю вокруг, умоляю. — Брысь, — кричу, — по своим углам! А то я милицию вызову. — Они и слушать не желают. Стон стоит по всей жилплощади, топот, гром сковородный. Да еще в ванной комнате русалка Софа заливается истерическим смехом...

Вечером говорю Николаю: — Так и так. Уйми ты свою Ниночку. Добром это не кончится. Вот увидишь. Сними ты с нее по-домашнему трикотажные панталоны да всыпь легонько венником, чтобы не совалась в чужую баталию.

Как можно! Обиделся даже. «Я, — говорит, — до Верховного Совета дойду, а дела этого так не оставлю. Кроваткину судить надо. Она — фашистка. Она мою жену оскорбляет и словом и действием. А Ниночка за всю свою молодую жизнь пальцем никого не тронула...»

Любил ее Коля, простая душа, любил без памяти. Вот и пошли у них...

Сергей Сергеевич, сидите тихо. Не шевелитесь. Видите, под кроватью крыса бегаёт? Совлеките незаметно ботинок и бейте. Не промахнитесь только. А то уйдет. Ну! Вот сейчас снова высунется. Ты и кидай. В голову. Наповал. Р-раз!..

Эх, промазал! Бей, Сережа! Хватай! Бутылкой ее! Бутылкой!..

Что ж ты, неловкий ты человек... Говорил тебе — бутылкой. Ух! Даже ноги дрожат. Нервы вконец расшатались...

А знаете, Сергей Сергеевич, — кто это был? Это ведь Ниночка к нам приходила... Скучает она по своему Николаше. Вот и ходит на старое место — наша Ниночка...

3

Не пугайтесь — я без стука. Дело срочное. Беда, Сергей Сергеевич! Беда! Эта Кроваткина все пронюхала и Анчутке рассказала. Что теперь будет с нами?! Что будет?!

Послушайте, в вашей комнате мне находиться нельзя. Тем более — в естественном виде. Квартиранты могут заметить. Я и так уже — через щель явился. Под дверью пролез. В моем-то возрасте...

Одну минуточку! Сейчас я немного замаскируюсь, тогда поговорим.

Что у вас тут имеется из подходящих предметов?.. Ага! Давайте-ка я буду — стаканом. А вы садитесь за столик — будто бы выпиваете. Если кто заглянет — разговаривайте сами с собой. Пускай они думают, что вы — пьяный. Так безопаснее.

Ну, идите сюда: я уже на столе. Видите — у вас было три стакана, а стало чегыре. Да нет же, не этот! Какой вы ненаблюдательный, право. Вот я, вот! Подле тарелки.

Ой! Не касайтесь меня руками! Еще уроните на пол и разобьете. У меня и без этого кости ноют.

Сергей Сергеевич, соберите внимание и выслушайте меня со всей серьезностью. Положение наше — хуже некуда. Мы — обнаружены. Ведется следствие. Анчуткер со вчерашнего дня здороваться со мной перестал. Я знаю — меня судить хотят. За разглашение ихних секретов. Завтра в двенадцать ночи на кухне соберется Совет. Все бы ничего, да Шестопапов мной недоволен. Отдал распоряжение: «Мы, говорит, ему доверяли, а у него с чуждыми элементами периодические знакомства. Инцидент с молодоженами мы, говорит, ему простили, так он теперь снова дружбу налаживает с кем не положено. А друг его новый, писатель — все с его слов на бумагу записывает. Могут выйти неприятности. Наказать болтуна, чтобы другим неповадно было. Писателем же займемся особо. Благо он алкоголик и ему настоящие черты скоро начнут мерещиться».

Понимаете, Сергей Сергеевич, что это означает?! Разлучат они нас. Последнего человека отымут. Дома-кровя меня лишат. Под пол отправят. В сырость, в холод, к мик-

роорганизмам. Или по канализационной системе вниз головою спустят. И буду я вынужден там циркулировать до скончания света. Наподобие Вечного Жида по имени Агасфер. Вы одноименный роман Эжена Сю читали? Вот-вот. Тем же способом. Из клозета — в клозет.

И вам несдобровать. Окружат вас мерзкими харями, кикиморами, упырями. Страшно станет. Запьете пуще прежнего. И чем больше пить будете, тем страшнее будет. Пока не свихнетесь с ума, как бедный Николай Николаевич!

Бежать нам надо. Все предусмотрено. Завтра в половине двенадцатого я за вами явлюсь. Перед самым началом праздника, переб Большим Кухонным Советом. Будьте наготове. Они гостей ждать станут, в туалеты наряжаться. Закуску готовить примутся. Из падали, из тухлых яиц. Глядишь, в суматохе контроль ослабнет. В этот момент вы меня сажаете в карман (уж я сам постараюсь как-нибудь там уместиться), надеваете сверху пальто, чтобы ветром меня не продуло, и быстрым шагом выходите на улицу. Будто выпили немного и решили прогуляться, подышать свежим воздухом.

Первое время в гостинице перебьемся. А после — дом, квартиру сладим. Без жильцов, без соседей. Сами себе хозяева. «Ни бог, ни царь и ни герой!»

На всякий случай, для профилактики, икону можно повесить. Пусть это вас не смущает: я привык, в деревне воспитывался. Предрассудки эти в народной среде очень распространены.

Не хотите икону, убеждения не позволяют? — обойдемся простой репродукцией. Рафаэля какого-нибудь с младенцем из «Всеобщей истории» вырежем и на видное место приклеим. От нечистой силы, от дурного глаза тоже хорошо помогает. И вполне прилично, прогрессивно. Искусство все-таки. Не придерешься.

Главное, Сергей Сергеевич, вместе надо держаться. Мне без вашей, без человеческой помощи вовеки отсюда не выбраться. По внутреннему помещению расхаживаю сколько угодно. Хочу — по стенам, хочу — по потолку. Но за порог ни ногой. Физиология не позволяет.

Да и вы — не буду скромничать — без меня пропадете. А со мною — Бог даст — всемирную известность получите. Чарльз Диккенс. Майн Рид. Ведь я знаю — все знаю, хитрец вы этакий. Я — в дверь, вы — за перо. Даже когда не совсем в себе и языком плохо владеете...

Так это что, беседы наши! Мизерная частица. У меня этих басен целый декамерон. И все на личном опыте. В пяти

томах можно издать. С иллюстрациями. Мы с вами, Сергей Сергеевич, братьев Гримм за пояс заткнем.

Ой-ой-ой! Что же вы делаете? Зачем вы коньяк в меня наливаете? Я захлебнусь, захлебнусь! Ополосните немедленно...

И напугали же вы меня, Сергей Сергеевич. Учтите — завтра чтобы ни-ни! Ни одной капельки! Будьте бдительны, осторожны. И в поступках и в выражениях. От резких фраз с упоминаниями, пожалуйста, воздержитесь. А то знаете, как бывает. Видали вчера Ниночку? Ну да, Ниночку в крысиной форме. Теперь уж так и останется... Не возвратить.

Терпел-терпел Коля, да и скажи однажды: — Ну тебя, Ниночка, к лешему. Надосли мне эти скандалы.

И как только он произнес эти роковые слова, входит к ним в комнату Анчуткер. Вроде бы по делу, за папироской. И смотрит пристально на Ниночку, а Ниночка смотрит на Анчуткера, и очень они друг другу в ту минуту понравились.

Ниночка к тому времени была уже не такой. Волосики поредели, глазки впали, а животик — наоборот — выпучился. От внутренней злобы. И зад у нее тоже, знаете, заметно заматерел. Словом, по вкусу пришлась, и начались промежду ними свидания, щипки, цап-царапки нежные и все такое. Совсем ведьмой сделалась. С Кроваткиной помирились. Даже стала учиться по ночам на унитазах летать. Как ракетный двигатель. С помощью кишечного газа.

А когда Николая Николаевича в сумасшедший приют забрали, бросил ее сожигатель. В беременном положении бросил. И чтоб не платить алименты и Авдотью ревность унять, в бессловесную тварь ее обратили соответствующего содержания. Она потом в норе крысятами разродилась. Семь штук принесла.

Может, и жалко ее. Но я лично вижу в этом факте настоящую аллегория. Подтачивала устои морали — туда и дорога! — и даже очень жалко, что вы ей не попали ботинком по голове. Была бы прямая польза и справедливое возмездие. За Николашу. Как в «Анне Карениной». Хороший был человек.

Заболтался я с вами. Правильно, видать, Шестопалов болтуном меня обозвал. Да ведь легко сказать! От людского жилья отрезан. Слово вымолвить не с кем. Молчишь, молчишь целыми днями. И целыми ночами. Валенками по паркету шаркаешь.

Ладно уж. Только бы уйти отсюда. Я про самого Шестопалова такие истории знаю. Со смеху умрете.

Значит — решено! До завтра, значит. Слово даете? Ну-ну.

Я сейчас удалюсь, как пришел незаметно. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Никто нас не видал, никто не слышал. Шито-крыто

4

Эй!

Сергей Сергеевич!

Пора.

Самое время!

Где вы? Куда подевались?

Ушел? Без меня ушел! Старика на растерзание бросил. Бездомного старика...

Что это? Что это? На полу валяется? Неужто помер? Сергей Сергеевич, родненький... Сердце бьется. Глазки моргают. Проснитесь! Бежимте отсюда. Сроки приспели. Сейчас звонили по телефону: Шестопалова ожидают на праздник. С минуты на минуту. Им теперь не до нас. Суетня, подготовка.

Что ж это вы, Сергей Сергеевич?.. А я-то думал... Как вам не стыдно! Еще слово давали... Нашли время... Не утерпели...

Как же вы в таком виде по улице пойдете? Вас в милицию заберут.

Все одно — вставайте! У нас в распоряжении четыре минуты. Поднимайтесь, вам говорят!

То есть как это не в силах? Ноги отнялись? Не дурите!

Голубчик, давайте вместе попробуем. Приложите старания. Хватайтесь руками за шею. Ну! Еще раз. И тяжел же ты, братец. Стой-стой, не вались!..

Ш-ш-ш-ш! С ума ты сошел! Грохот по всей квартире. Догадаются — придут за нами. А я куда денусь? Я тебя спрашиваю или нет — мне что делать прикажешь?

Ну, чего ты бормочешь? Плевал я на твои извинения. Слышишь, слышишь?.. Кроваткина ухо к дверям прикладывает. Пропали мы. Сейчас Анчуткера позовет. Шестопалова...

Сергей Сергеевич! Сыночек! Выручай!.. Встань хотя бы на колени. Давай я тебе помогу. Вот так. Вот так. Теперь молись. Я сзади придержу. За плечи. Молись! Молись — тебе говорят, пьяная рожа!

Как это — забыл? Откуда я знаю? Это ты должен знать! Ты — человек, а не я. Тебе и карты в руки. А мне нельзя, не полагается.

Что же ты, Сергей Сергеевич, — с чертями живешь, о чертях рассказы записываешь, а молиться не научился?!

Ладно. Пускай лежа. Повернись на спину. Пойми же наконец,—это последнее средство... Стал бы я в другое время?!. Сложи пальцы. Сначала ко лбу. Теперь — сюда... Ты зачем притворяешься? Врешь! Храпи-не-храпи — я не поверю. Все ты прекрасно сознаешь, все понимаешь... Дьявол ты что ли на самом деле или кто?..

А это еще кто?! А-а! Ниночка? Здравствуй, Ниночка... Не бойся, не бойся. Не трону. Мне теперь все равно...

Вот! Полюбуйся на красавца. Твой супруг будущий. Третий по счету. В норе вместе поселитесь... Понюхай ему глаза, понюхай. Лизни. Он позволяет... Ему сейчас не до тебя. Мутит его, комната кружится. И чертики уже в глазах прыгают. И крысы.

Ну, вот и дождались. Идут всей гурьбой. Топочут по коридору. Сейчас ворвутся. Это они за мной пришли. И за вами тоже, Сергей Сергеевич. И за вами тоже. И за вами тоже.

1959

ГРАФОМАНЫ

(Из рассказов о моей жизни)

...По дороге в издательство я встретил поэта Галкина. Мы сдержанно раскланялись. И я думал пройти мимо, как вдруг он, догнав меня, предложил съесть мороженое и выпить бутылку клюквенной за его счет.

Было жарко и душно. Пушкинский бульвар иссыхал. В воздухе чувствовалось дыхание приближающейся грозы. Мне это понравилось. Нужно запомнить, использовать: «В воздухе чувствовалось дыхание приближающейся грозы». Этой фразой я завершу роман «В поисках радости». Непременно вставлю, хоть прямо в гранки. Приближающаяся гроза оживляет пейзаж и звучит в унисон событиям: легкий намек на революцию, на любовь моего Вадима к Татьяне Кречет...

Я знал за Галкиным слабость: свои сочинения он готов читать кому угодно — даже контролеру в автобусе. Так и получилось. Пока я прохлаждался пломбиром и пил кислую воду, он успел на меня обрушить полтора десятка стихов. В них были «волосатые ноги», «пилястры» и «хризантемы». Больше ничего не запомнилось: обычная галиматья.

Стихи я не люблю. Они скверно действуют на мой ум, направляя его в ненужную сторону. Начинаешь думать в рифму, говорить в рифму, а это ужасно вредит — особенно в создании прозы. Я старался по мере сил не слушать Галкина и, чтобы отвлечь себя от поэзии, начал к нему присматриваться: наблюдения над человеческой внешностью могут всегда пригодиться.

Предо мною качался на стуле типичный образец неудачника. Из почерневшего воротника торчала небритая шея. Толстые губы и сплюснутый нос сообщали ему нечто овечье. Читал он неестественно, растягивая слова как в песне и закатывая от восторга белки. Он впал в состояние транса: его лицо перестало потеть, оно осунулось, приобрело серебристый, металлический отблеск.

Я боялся, что в кафетерии на нас обратят внимание, и предупреждающе кашлянул. Ничего не замечая, Галкин продолжал декламацию. Внезапно он споткнулся посередине строки и весь подался вперед, шлепая пустыми губами, хватая слово, вылетевшее из памяти, как хватают воздух утопающие перед тем, как пойти на дно. Вместо продолжения из него вырвался стон, полный боли и страсти: — М-м-м-ы-ы! — Он не смог застопорить голос и сокрушительно промычал: — М-м-м-ы-ы!

На этом все кончилось... Спустя мгновение Галкин уже говорил с нарочитой небрежностью:

— Как тебе нравится, старик? Как тебе нравится моя графомания?

Он скептически улыбался. Но я-то видел, я-то заметил: грудная клетка у него ходуном ходила и виски сильно пульсировали. На них уже проступили свежие капли пота — следы изнурения.

Я засмеялся и, спокойно посмеявшись сколько было нужно, — сказал:

— Очень странно, Семен, — сказал я. — Очень, очень странно. Ты что же, свои труды, — я нарочно сказал «труды», — считаешь за графоманию?

— Да! Считаю. Считаю, черт побери!

— И ты согласен, чтобы все, все без исключения, называли тебя графоманом? Прямо в глаза: графоман Галкин! здравствуйте, графоман Семен Галкин! Ни за что не поверю.

— И напрасно! — возопил он, чему-то радуясь. От радости он снялся с места и возбужденно приплясывал.

— И напрасно! И напрасно! Потому что нет никакой разницы. Да, да! Не спорь, я лучше знаю. Графомания! Болезнь — говорят психиатры. Неизлечимое, злое влечение

производить стихи, пьесы, романы — наперекор всему свету. Какой талант, какой гений, скажи на милость, какой гений не страдал этим благородным недугом? И любой графоман — заметь! — самый паршивый, самый маленький графоманчик в глубине слабого сердца верит в свою гениальность. И кто знает, кто заранее может сказать? Ведь Шекспир или Пушкин какой-нибудь тоже были — графоманами, гениальными графоманами... Просто им повезло. А если бы не повезло, если б не напечатали, что тогда?..

С безотчетным волнением следил я за выкрутасами Галкина. Что-то в них привлекало меня и отталкивало, попеременно. Я не знал — балагурит он, как всегда, или рассуждает всерьез.

Но Галкин уже скис. Галкин водворился за столик и взял мороженое. Оно растаяло к тому времени, перешло в сметану. Он выскребывал, он вылизывал свой картонный, свой промокший насквозь стаканчик и приговаривал между делом:

— Мимикрия, Павел Иванович. Средство самозащиты. Я не лезу в гении. Но мне надоело. Понимаешь — надоело. Повсюду только и слышишь: графомания, графомания. Другим словом — бездарно. А я говорю им — не вслух, конечно, а про себя, в своей сокровенной душе говорю: — Подите вы все к чертовой матери! Есть же, например, пьяницы, есть развратники, садисты, морфинисты... А я, я — графоман! Как Пушкин, как Лев Толстой!.. И оставьте меня в покое!.. Хочешь, стрик, я тебе почитаю что-нибудь романтическое? Из второй книги стихов. Ты знаешь мою вторую книгу?

Я прекрасно знал, что за всю жизнь Галкин не выпустил ни одной книги — ни первой, ни второй. Переводы, правда, кое-какие бывали и стишок один в провинциальной газете по случаю годовщины, а более — ничего. И знал я галкинскую привычку — воображать себя настоящим писателем, с путем развития, с хронологией. Вторая книга, пятая книга — по периодам. Тщеславное вранье графомана.

Мне не хотелось в ту минуту ставить его на место. Он выглядел таким несчастным. Я был готов из сострадания терпеть его вирши дальше. Но я спешил в издательство и мягко ему ответил:

— Давай лучше, Сема, в другой раз почитаешь. А то мне скоро уходить. Меня ждут в издательстве.

И я рассказал вкратце, не афишируя, как обстоят у меня дела, в ту пору весьма обнадеживающие.

На Галкина моя новость не произвела впечатления. Или, быть может, из зависти он сделал вид, что не произвела.

— Эх! — сказал он, зевая и неприлично потягиваясь.— Они тебя обещаниями двадцать лет кормят. Двадцать лет сулят напечатать, а ни одной книги не выпустили.

И снова влез на своего конька:

— В замечательной стране мы живем. Все едят, пьют, и школьницы, и пенсионеры. С одним тут парнем познакомился. Рожа — во! Кулаки — во! Говорю ему: «Вы бы, дорогой товарищ, лучше боксом занялись. Большие деньги получите. Слава опять же, поклонницы». А он свое: «Нет,— говорит,— у меня,— говорит,— другое призвание. Я рожден для поэзии». Понимаешь — рожден! Все рождены! Общепонимая склонность к изящной словесности. А знаешь — чему мы обязаны? — Цензуре! Она, матушка, она, родимая, всех нас приголубила. За границей проше, беспощаднее. Опубликует какой-нибудь лорд книжку верлибра, и сразу видно — дерьмо. Никто не читает, никто не покупает, и займется лорд полезным трудом — энергетикой, стоматологией... А мы живем всю жизнь в приятном неведении, льстимся надеждами... И это прекрасно! Само государство, черт побери, дает тебе право — бесценное право! — считать себя непризнанным гением. И ты можешь всю жизнь, всю жизнь...

Я поднялся.

— погоди! Пойжди! Одну секунду! Вот мы с тобой здесь разговаривали, друг на друга смотрели, а про себя об одном и том же, все об одном и том же непрерывно думали. Каждый думал: ты — графоман, я — гений. Я — гений, ты — графоман.

— Меня, пожалуйста, графоманом не называй,— ответил я резко.— Себя можешь считать кем угодно, а меня не касайся!..

— Ну еще бы, еще бы...

Его плечи тряслись в бесшумном истерическом смехе.

Мы расстались сухо, без рукопожатий, так же, как встретились.

Молоденькая секретарша подняла точеную бровь.

— Страустин? Павел Иванович? — переспросила она, будто впервые слышала мое имя, и углубилась в ящик стола.

Дверь в кабинет редактора, обитая дерматином, была чуть приотворена. Кастрированный редакторский тенор, мне хорошо знакомый, доносился оттуда под унылую трескотню машинисток.

— ...С точки зрения композиции. Еще сильнее хромаете с точки зрения языка. Солнце потело в тучах! Разве так

бывает? Разве может солнце потеть? Да еще в тучах. Изучайте Чехова. С точки зрения сюжета — почему ваша Настя выходит замуж за Птицына? И почему был убит лейтенант, этот самый, как его звали?..

Второй голос ворчал, неуверенно сопротивляясь:

— Младший лейтенант Гребень. Под Вязьмой. Так оно и было на самом деле. Полная правда. Погиб ударом в живот. Фамилию немного исправил. Шпилькин звали. И Настя тоже была. Была такая Настя. Зинкой звали. Собрал жизненный опыт. Шестьдесят восемь лет. Полковник в отставке. Три войны, четыре ранения, две контузии в голову. Большой материал. Не пропадать же. На досуге приносить пользу. Композицию можно исправить. Язык переделать. Это вы правильно заметили. Солнце согласен вычеркнуть.

Как свой человек в издательском деле, я подмигнул секретарше:

— Кто это, Зиночка? Очередной графоман? Бедный Севастьян Севастьяныч! Литературу атакуют полковники, отставные кавалеристы...

Но та и бровью не повела, не пожелала войти в положение и даже не улыбнулась ни капельку моей дружелюбной шутливости. Зиночка прихлопнула дверь, обтянутую дерматином, и, укладывая канцелярию в стол, официальным тоном ответила, что роман «В поисках радости» у них больше не числится. Якобы, неделю назад, отвергнутый издательством, он был переправлен ко мне домой вместе с критическим отзывом. Под этим фактом стояла подпись в книге курьера, в графе доставок.

— Вот посмотрите. Руку узнали? Ваша фамилия?

Руку я узнал и узнал горечь обмана и черную змею предательства, вписанную зелеными чернилами в графу доставок. «З. Страустина». Зинаида! Моя жена!.. Но сейчас мне было не до нее. Сейчас было важнее дать почувствовать этой вот Зиночке — смазливенькой секретарше — ее место в жизни и мое внутреннее достоинство.

Девчонка, доступная любому корректору, а в дневные часы — редактору, который имел обычай шлепать ее по спине, смеет меня учить! Шлепать по спине... Как человек, до конца отдавшийся высокому делу искусства, я был вполне свободен от этих низменных интересов. Но если бы мне посчастливилось напечатать «В поисках радости», я мог бы шлепать ее сколько угодно и она бы не возразила, а была бы еще польщена. Но я бы так не поступил, я бы придумал другое: я бы пригласил ее поначалу в Художественный театр, потом — в прекрасном светло-сером костюме, под реверансы

лакеев расслабил бы ее до потери сознания сухим грузинским вином. Потом, расслабленную, веду ее под руку в гостиницу, где для крупного писателя в любой день и час есть номер «люкс», и там, под балдахином, проделываю над нею все унижительные процедуры, какие только можно представить. Не потому, что очень надо, а для одной справедливости. Тогда она поймет, с кем имеет дело. Тогда она не будет оскорблять человека, который гигантски выше ее, но не имеет пока возможностей доказать свое превосходство...

Дверь, обделанная дерматином, неожиданно распахнулась. Оттуда вылетел полковник в отставке — с белым ежиком на бронзовом черепе и непомерно развитой грудью. На нем были прицеплены различные ордена: орден Боевого Красного Знамени, орден Славы и еще другие. Встретишь такого на улице и ни за что не подумаешь, что он в свободное время приучает себя к романистике. Но теперь он был в поту и отдувался, как бронепоезд, а с тыла его преследовал выхолощенный редакторский тенор:

— Чехова изучайте! Тургенева! Толстого Льва Николаевича!..

Наступил удачный момент.

Я вылез из кресел и, наскоро пригладив затылок, крадучись двинулся к щели, образованной бежавшим полковником. Каких-нибудь пять шагов, немного холодной решительности, и редактор, сидящий в укрытии, был бы у меня в руках. Первая фраза в юмористическом стиле была уже заготовлена. Главное в этих случаях не выказывать робости, держаться непринужденно, с достоинством, на короткой ноге...

Но, видно, тот день проходил под печальной звездой. Цербер, следивший за мной, бросился наперерез. Дерматинный заслон очутился в распоряжении Зиночки раньше, чем я подоспел. Статное тело молодой секретарши, годное для позора, преградило мне путь.

— Пустите, пустите! — вскричал я с надеждой, что нас услышит редактор. — Роман «В поисках радости» никем не мог быть отвергнут. Рукопись мне никто не возвращал. Это недоразумение, смешное недоразумение...

Я бы, наверное, в конце концов победил глупую девку. Но надо же было так случиться, чтобы в эту минуту в издательство собственной персоной ввалился писатель Б.

Мы начинали вместе, в одном литературном кружке. Над его лепетом тогда все хохотали. Он писал хуже всех, хуже, чем Галкин. И вот вам пожалуйста: через двадцать лет графоман Б. — знаменитость, хотя за этот срок он исписался

вконец и у меня не было сравнений, чтобы выразить крайнюю степень его бездарности.

Он был в прекрасном светло-сером костюме, с тростью из слоновой кости, его большая сытая морда, большелобая, толстошекая, излучала спокойствие и прохладу в разогретую атмосферу. Но я-то знал, что это за птица, и не мог сносить равнодушно его присутствие, вытеснявшее меня из комнаты, как солнечный свет вытесняет звезды с утреннего небосвода... Небосклона... Я чувствовал, что я исчезаю вместе с моими смятыми брюками, растворяюсь в пропотевших носках, таю в бледной улыбке, которая трусливо вылезала на мои соленые губы вопреки сознательному намерению.

Еще немного, и Б., чего доброго, снисходительно заговорил бы со мною о жене, о детях и предложил бы взаймы 50 рублей в память о нашем знакомстве. Чтобы совсем не исчезнуть в его глазах, выжидающих терпеливо, когда я первый повернусь к нему поздороваться, мне пришлось ретироваться. Я сказал дипломатично, будто что-то припоминая:

— Вот какое дело,— сказал я.— Передайте, Зиночка, вашему начальнику — у меня нет времени. Нет времени с ним сегодня беседовать.

Но она уже тянулась всем телом в направлении писателя Б. Она кивала ему навстречу всеми своими завивками. Я не стал смотреть в ту сторону, куда она устремлялась, и не поворачивал головы...

На лестнице моих ушей коснулся подозрительный смех. Зиночка взвизгивала так весело, точно ее щекотали. Ей вторило львиное рыканье преуспевающего графомана. Вскоре к их голосам присоединился третий. Должно быть, это редактор выбрался из засады и, шлепая Зиночку по спине, изогнутой в смешливом припадке, сам понемногу стал издавать слабые звуки...

Я надкусил себе левую кисть, мстя за унижение, которое они мне причиняли. Яркий отпечаток зубов проступил на синей коже в виде белого ожерелья. В двух или трех углублениях показалась кровь.

От этой глубокой боли мне сразу сделалось легче. Я вздохнул и подумал, что когда-нибудь я напишу книгу, где выведу это трио в сатирических красках. Тогда они поймут, с кем имели дело, но будет поздно.

Хорошо было классикам XIX столетия. Они жили в тихих усадьбах, имели постоянный доход и, посиживая на стеклянной веранде, промеж балов и дуэлей, писали свои

романы, которые немедленно публиковались во всех уголках земного шара. Они от самого рождения знали иностранный язык, обучались в лицеях различным литературным приемам и стилям, путешествовали за границу, где пополняли свои мозги свежим материалом, а детей, детей они сдавали на попечение гувернантки и жен отсылали на танцы или к портнихе или запирали в деревне.

А тут попробуй — возбуди вдохновение, когда организм просит есть и голова забита мыслью, как попасть в необходимую точку, как пробиться сквозь преграды, возведенные на твоём пути проходимцами-графоманами, которые вошли в литературу темным путем и замуровали за собою все входы и выходы. Где взять трехразовое питание? А еще — за газ, за электричество, и прохудились подметки, и рассчитаться с машинисткой за двести страниц машинописного текста, по рублю за страницу...

О, мизерность существования!..

Гляжу на себя и удивляюсь. Неужели этот гениальный мозг, это пылкое, неукротимое сердце воспитались на тухлых котлетках? Я не преувеличиваю: тухлые котлетки и ничего больше за целую жизнь. И нет никакой стеклянной веранды, нет элементарного письменного стола для написания хотя бы вот этой фразы, и пока пишу ее, над моим склоненным затылком с верхнего этажа дудит на трубе трубач, репетирующий одну и ту же пустую мелодию по пяти часов кряду, без перерыва.

Когда писался роман «В поисках радости», я затыкал уши ватой и обматывался вокруг полотенцем, я прикрывал глаза ладонью и работал вслепую, чтобы не видеть удручающие следы на стене — следы клопов и маслянистые пятна, и, напрягая силу воли, абстрагировался от кухонного запаха и от трубных звуков, проникавших в мое сознание сквозь вату и сквозь полотенце. Сравните после этого меня с Львом Толстым, сравните с Иваном Тургеневым! Я не знаю, кто из них, из классиков, согласился бы на мое предложение: путь меня напечатают, а потом пусть я заболею и сразу умру, так и не изведав как следует всей посмертной славы. Издайте одну только книгу (лучше всего, если это будет роман «В поисках радости»), а потом убейте или сделайте со мной что хотите — я приму любой ультиматум, а кто из вас принял бы, кто из вас пошел бы на такие условия?

...Жены не было дома, она еще не вернулась с работы, а дома сидел один Павлик, он сидел на кровати, свесив ножки, и рисовал в своем альбомчике. Я предложил Павлику

выбрать для рисования другое место и лег на кровать, чтобы передохнуть от жары и привести нервы в порядок. С минуты на минуту могла прийти Зинаида, и я мог хорошо представить, как выскажу ей все что имею, а также меня волновала одна проблема, куда она спрятала пакет, адресованный лично мне и утаенный ею в мое отсутствие вот уже неделю, не говоря ни слова. Тем более, что точной копии я не имел, и это был, можно сказать, единственный экземпляр наиболее полного варианта, и каково было бы его вдруг утратить?

Из состояния задумчивости меня вывел Павлик. Он подлетел к изголовью и молча выложил мне на грудь рисовальный альбомчик, в котором на этот раз было что-то написано.

В прошлом месяце заботами Зинаиды он едва-едва научился писать, и я не думал, что найду в альбомчике готовое сочинение — первый, с позволения выразиться, рассказ моего сына, выполненный карандашом, печатными буквами, по линейке. Во избежание недомолвок я приведу текст целиком, не изменив ни слова и лишь устранив грубые орфографические ошибки.

Рассказ

В один солнечный день. Около лесного болота, где трава росла очень густо, мелькали маленькие пятна. Это были карлики величиной с палец. Они хотели делать около болота свой город. Первым делом они резали и пилили траву. Карлики были завернуты в листья. Карлики были разделены на бригады. Вторым делом они собирали траву в кучи. Третьим делом они плели из травы. Четвертым делом они утрамбовывали землю. Одним словом, у них было много дела.

— Это ты сам сочинил? — спросил я строго.

Павлик стоял, словно привинченный к железной ножке кровати, с виноватой улыбкой на губах и безмолвствовал. Бледные щечки горели огнем незрелого честолюбия. Мне было нелегко вонзаться в юную душу холодный скальпель хирурга, но я хорошо понимал мой долг — произвести операцию тут же, пока не поздно и он еще ребенок и не почувствует.

— Похвально, что ты умеешь писать, — сказал я, осмотрев критически его каракули. — Переписывай, если хочешь, крупный шрифт из газет, заглавия книг, имена птиц и животных. Это не повредит. Но зачем ты записываешь всю чепуху, какая лезет в голову? Дай мне слово, Павлик, никогда боль-

ше так не делать, не сочинять никаких сказок ни про каких лилипутов. Это глупо и стыдно, и над тобой все станут смеяться и будут тебя дразнить, если узнают...

Я вырвал из альбомчика листок с рассказом и, демонстративно скомкав, сунул в карман брюк. Личико Павлика искажилось, он молча глотал слезу и норовил зареветь.

— Когда ты вырастешь, Павлик, и прочитаешь толстые книги, которые сочинил твой отец, ты поймешь, что это не простое дело и тут нужен талант, а может быть, даже гений. Подумай— что получится, если все начнут писать? Кто же тогда работать будет, кто будет читать, когда кругом одни писатели? Нет, давай поделим поровну: я буду писателем, а ты — инженером или музыкантом. Папа — писатель, а Павлик — летчик, Павлик — великий полководец, моряк, знаешь, как это весело — «по морям — по волнам, нынче здесь — завтра там»...

Я встал, прогулялся по комнате и снова возлег на кровать. Как объяснить шестилетнему ребенку, еще дошкольнику, всю сложность создавшейся ситуации? не вводить же его в курс теории вероятности, в курс теории наследственности?

Не скрою: мне было отраднo в первый момент. Все-таки — моя природа, моя литературная кровь. Значит, я что-то стою, если даже семья мое, брошенное на произвол судьбы, прорастает кривыми буквами по детской рисовальной бумаге...

Но я хорошо знал, что писатель не рождает писателя и у гениев не бывает потомства. Дети Льва Толстого не имели права писать. Дюма — не в счет: оба никуда не годятся, особенно Дюма-сын. А Зинаида имела глупость назвать сына Павлом. Она меня никогда не любила. Павел Страустин — на корешках, на обложках, у всех на устах. Через двести-триста лет поди разберись — кто тут я, а кто тут — он — графоман?

К тому же, если вдуматься: люблю его, в конце концов, или нет? Во имя любви к сыну я был просто обязан. Порочные наклонности в детстве. «На первой ступени — рюмочка вина, на последней — разбитая жизнь». Предотвратить! Да, да! Только поэтому. Для него же самого будет лучше...

— Ты слышишь, Павел? Я запрещаю! Если ты еще когда-нибудь

Потом, в утешение я рассказал, что подарю ему скоро настоящую пишущую машинку. Как только издадут мою книгу и мы ужасно разбогатеем, мы купим такую машинку. Нажмешь кнопку — вылетит буква и сама отпечатается на

бумаге. Все буквы подряд и знаки препинания. Почти как в книге. Павлик научится печатать, пройдет грамматику и сможет аккуратно копировать папины рукописи. Полный сундук, что стоит в коридоре, и новые, прямо из-под пера. На машинистку нужны деньги, много денег. А Павлик ее заменит, и у нас в доме появится свой фамильный машинист.

— Ну, поцелуй папу. Развеселись, пожалуйста, и поцелуй папу!

На этом поцелуе пришла Зинаида. Она с порога стала мне выговаривать, что лежу в пыльных ботинках на чистой постели, а дома нет ни хлеба, ни чая, ни сахара, ни чего-то еще. Тогда, не вставая, я спросил ее прямо в лоб, где издательский экземпляр романа «В поисках радости» и почему она об этом ничего не сказала раньше.

Началась перебранка.

Когда я вижу Зинаиду, мне в голову приходит вопрос: неужели эта чужая, немолодая, некрасивая женщина, истощенная женскими болезнями, одетая кое-как и вечно спешащая куда-то,— моя жена и как это могло получиться? А ведь десять лет назад она меня любила и верила в мою звезду, восхищалась каждым словом, созданным мною, и говорила, что редакторы, меня не печатающие, ничего не понимают в искусстве. Ведь это ее образ, исполненный порыва и страсти, с развевающимися волосами цвета спелой ржи, запечатлел я по памяти в образе Татьяны Кречет, переделав только имя, чтобы читатели не догадались, и поместив ее в иную историческую среду. А теперь она готова изорвать роман на клочки, и совсем не интересуется больше моими дальнейшими планами, и говорит, сидя на стуле — нарочно в усталой позе, мотая тощей ногой в обвисшем дырявом чулке:

— Лучше бы ты был алкоголиком. Морфинисты — лучше. По крайней мере — просветы. Любят своих жен, ласкают своих детей. Никакого внимания. Ты занят одними художествами. Сливочного масла. Четыре месяца без работы. Тащить на себе дом. Не видеть мяса. Если бы жена тебе изменяла, ты бы даже ничего не заметил. Безжалостный кирпич. Сахар кончился. У Павлика малокровие. Поди сюда, Павлик. Папа нас не любит. Поди ко мне.

Павлик, шмыгая носом, оставил мою кровать и направился к стулу, на котором она сидела, а я подумал, что это был бы выход, если бы Зинаида мне с кем-нибудь вдруг изменила и кто-нибудь другой взял бы ее замуж. Но кто ее возьмет — некрасивую, в продранных чулках, с шестилетним ребенком? Она будет висеть у меня на шее до самой смерти. Если бы она умерла, в комнате стало бы тихо, просторно

и можно было бы по вечерам спокойно писать. А Павлик пускай живет, он — тихий вежливый мальчик и мешать мне не будет. Когда он вырастет, ему поручат весь мой архив или даже музей, как это делают обычно с детьми знаменитых писателей.

— Павлик, поди сюда. Зачем ты меня покинул? Разве ты папу не любишь?

Он спрыгнул с колен Зинаиды и послушно прибежал на кровать. Лаская его трепещущие остроконечные лопатки, я сказал жене, что Стендаля в свое время тоже травили, что книги мои будут иметь резонанс, может быть, через триста лет, и путь она сейчас же возвратит рукопись, которую все равно когда-нибудь прочтут и оценят, но будет поздно. Зинаида бесновалась на стуле, всхлипывая и причитая:

— Павел, не смей слушать этого человека! Неужели этот человек тебе дороже матери? Беги скорее ко мне! А ты, Павел, маньяк. Тебя надо лечить. У тебя одно на уме — войти в историю. У тебя нет мужества быть простым смертным. Но ты бездарность, вот ты кто! О, я несчастная!..

Она театрально ударилась головой о штукатурку и, вызвав искусственный кровоподтек, заскулила еще звонче. Понятно, что шестилетний малютка не сумел разглядеть симуляцию. Он выскользнул из моих объятий и очутился у нее в руках. Я тоже разволновался, и мы начали кричать друг другу все, что имели, ведя борьбу за сердце сына, переходившего из лагеря в лагерь, из рук в руки.

— Павлик, не смей! Павлик, вернись! Это же я, твоя мама. А я твой отец, я твой отец. Поди сюда, Павел. Нет, иди ко мне. Не ходи к ней. Не ходи к нему! Павлик! Павел!

А он бегал от кровати к стулу и обратно, сгорбленный, молчаливый, невзрачный, и он мелькал по всей комнате так быстро, что казалось — их много, деловито суетящихся карликов, и у них было много дела, как было написано в рассказе, который сочинил Павлик. Наконец Зинаида схватила его в охапку и больше не выпустила. Он порывался уйти из плена, слыша мои призывы, но с ним началась икота, он громко и часто икал и никак не мог остановиться.

— Вот видишь — до чего ты его довел! — прошипела Зинаида, как будто в этом была не ее вина, и ушла, цепко держа Павлика, чтобы он не сбежал. Но хотя она насильно захватила у меня ребенка, все же победа частично осталась за мной, потому что, уходя, Зинаида нагнулась и вытащила из-под шкафа драгоценную рукопись, которую я уже считал погибшей.

— На! Подавись! — воскликнула она и, размахнувшись, метнула ее одной рукой прямо в меня. Роман «В поисках радости» угодил в спинку кровати и рассыпался на листы. Я кинулся их подбирать.

Вот она и возвратилась к своему создателю, эта книга, испытывавшая столько бедствий на пути к славе. Она была облеплена пылью, с перепутанными листами, и некоторых страниц, как я сразу заметил, не доставало, а многие были смяты, разорваны или изуродованы снизу доверху синими редакторскими пометками. Я взял наугад 167-ю страницу и прочитал: «У края обрыва стояла Татьяна Кречет, ее золотистые волосы цвета спелой ржи развевались по ветру». На полях против этой фразы синим карандашом был выведен вопросительный знак.

Я сел на пол и вдруг заплакал и, плача, говорю, обращаясь к Павлику, который, как мне чудилось, все еще здесь присутствует:

— Теперь ты понимаешь, почему я запретил тебе сочинять рассказы? Теперь ты понимаешь?

А еще, тоже плача, я говорил Зинаиде:

— Допустим — я графоман. Но кому до этого дело? Кому это мешает?

Но Зинаида давно ушла, я был один, и никто, по счастью, не мог наблюдать мою минутную слабость.

Когда я пришел к нему в первом часу ночи, пришел в чем был, при одном портфеле, Галкин еще не ложился.

— Давно пора! Либо — семья, либо — искусство. Приходится выбирать, — горячо поддержал он мою идею расстаться навсегда с Зинаидой.

Комната его, к удивлению, оказалась просторной и сравнительно чистой, но вещи в ней имели непривычное расположение: чайник стоял на полу, настольная лампа — тоже, а стол был занят прессом и всяким хламом. На электрической плитке в бритвенном тазике грелся столярный клей.

— Вот, Павел Иванович, переплетную мастерскую налаживаем. В качестве отдыха и развлечения. Книжки житья не дают...

Книг у Галкина было до потолка, полки прогибались дугой. Я вытянул машинально одну: Константин Федин «Первые радости» и «Необыкновенное лето».

— Не читал! — сказал сердито Галкин. — И тебе не советую. Я вообще, откровенно тебе скажу, — книг почти не читаю. Я их пишу. Зачем нам читать, когда мы сами писа-

тели, сами можем в любой момент сочинить все что угодно...
Вот посмотри...

Он подвел меня к полке, где одна, лишь одна секция была покрыта стеклом, и вынул из-под стекла книгу в пестрой обложке без заглавия, совсем новенькую по виду. Взглянув на титульный лист, я обмер:

Семен Галкин
ВО ЧРЕВЕ КИТОВОМ
Девятнадцатая книга стихов
Москва — 1959

Мне хотелось взамен поздравления сказать ему колкость. Наверное, дал взятку, подкупил редактора, чтобы протиснуть незаконно в печать свой сивый бред. Но Галкин меня опередил. С нескрываемым торжеством он произнес:

— Посмотри выходные данные. Каков тираж!

На обороте последней страницы мелким шрифтом было набрано: Редактор С. Галкин. Художник-оформитель С. Галкин. Технический редактор С. Галкин. Наборщик С. Галкин. Тираж 1 экземпляр.

Я медленно рассмеялся. Сначала — неуверенно, потом, постигая истину, — громко, дружелюбно, от всей души. Подделка была блестящей. И хотя у меня пальцы прыгали от пережитого чувства, перелистал ее от корки до корки и даже понюхал бумагу. Я выразил, не таясь, свое восхищение автору. Особенно мне понравились запятые — такие крохотные, аккуратные, ну совсем, совсем настоящие запятые.

— Тебе бы фальшивые деньги печатать! Талант зря пропадает, — сказал я ему шутливо и ткнул под ребро. — Да что у тебя, Сема, своя типография, что ли? Чем это сделано?

— Китайская тушь разбавленная и акварель, — ответил хмуро Семен и с непонятной поспешностью отобрал у меня книгу — единственный экземпляр. — Ну, хватит, старик! Пойдем спать...

...Я пробыл у Галкина три дня. Он кормил меня бутербродами с колбасой и поил досыта сладким чаем. Но его манера жить мешала мне думать и отвлекала от сложной работы по ремонту рукописи. Плановмерно, фраза за фразой, я припоминал и восстанавливал текст, изъятый из моего романа стараниями залопыхателей, а Семен, шутя и болтая, пек свои переводы.

— Довольно чесать языком! Еще писатель называется! — не раз возмущался я его способностью вечно плести всякую чушь.

Но у Галкина на этот счет имелись дурацкие доводы. Титанический труд писателя состоял, по его понятиям, в том,

чтобы разговориться. Писатель болтает с друзьями, мелет в черновиках, повторяет избитые фразы, спотыкается, несет окопесицу. И вдруг — ляпает! Ляпает то, что взбрело в голову, подвернулось на язык. И это самое главное: проболтаться нечаянным словом, в котором весь мир увидит отныне, как любил высокопарно говорить Галкин, свой самый верный, самый точный синоним.

По временам он смолкал и, развесив пухлые губы, сидел неподвижно минут пятнадцать с идиотическим видом — форменная копия овцы или, правильнее сказать, барана. Меня зло брало в таких случаях за испорченное вдохновение, за то, что — разговорами ли своими, внезапным ли столбняком — он приковывает мое внимание, не давая сосредоточиться. Тогда я ронял на пол какую-нибудь вещицу — карандаш, или ножницы, или один раз, для опыта, тяжеловесную рукопись — роман «В поисках радости». Галкин не реагировал. С оттопыренной нижней губы ему на воротник свисала паутинка слюны.

Особенно жалким он бывал ночью, когда, проснувшись и разбудив меня громким бормотаньем, он без штанов кидался к столу и, почесывая невымытые ноги, строчил за страницей страницу, а потом рвал на мелкие части и, покачнувшись, как пьяный, валился спать. Днем он тоже порядочно изводил бумаги...

— Ты знаешь, старик, — говаривал Галкин, глупо и широко улыбаясь, — чем больше я работаю, тем лучше понимаю: все самое лучшее, что я сочинил, принадлежит не мне и написано, черт побери, вроде бы не мною. А так, пришло в голову со стороны, залетело из воздуха... Вот говорят: «запечатлеть себя», «выразить свою личность». А по-моему, всякий писатель занят одним: са-мо-ус-тра-не-ни-ем! Для того и трудимся в поте лица, вагоны бумаги исписываем — с надеждой: устранить, пересилить себя, дать доступ мыслям из воздуха. Они возникают сами собой, помимо нас. Мы только работаем, только работаем, только идем, идем по дороге и дорогу им время от времени, перебарывая себя, уступаем. И вдруг! — ведь это всегда бывает сразу и вдруг! — становится ясно: вот это ты сам сочинил и потому никуда не годится, а это вот — не твое, и ты уже не смеешь, не имеешь права ничего с этим поделать — ни изменить, ни улучшить. Не твоя собственность! И ты отстраняешься с недоумением. Оторопь берет. Не перед какой-то там красотой совершенного. А просто испуг перед своей непричастностью к тому, что произошло...

Я внимательно слушал откровенные признания Галкина. Они показались мне очень даже интересными. Вот так так!

Не считает своей собственностью? Это надо учесть... Кто же тогда сочинитель?.. У кого он все это заимствует?.. События подтвердили мои наихудшие опасения.

В гостях у Галкина часто терлись личности темного вида. Они являлись запросто, усаживались без приглашений, и по всему было заметно, что этот дом служит им штаб-квартирой или перевалочным пунктом на извилистых литературных путях. В первое же утро пришла особа лет сорока восьми — сорока девяти, стриженная под мальчика и говорящая о себе в мужском роде. Вместо: «я пришла» она говорила «я пришел», «я хотел».

— Я принес новую пьесу. В пяти актах, — процедила она и подала Галкину левую руку в облупившемся маникюре. Нога на ногу, обхватив переплетенными пальцами вздернутое к подбородку колено, она курила непрерывно, шурясь от слезоточивого дыма, и, кривясь, перекатывала вдоль рта зажеванную папиросу дешевой марки «Прибой».

По ее уходе Галкин дал аттестацию:

— Корректор. Служила в толстом журнале. Уволена за политический ляпсус. Пишет пьесы криминального направления. Очень остро критикует министров, высшую бюрократию. Не печатается исключительно по цензурным условиям. Была первой женой известного скрипача-педераста.

Затем был визит учителя ботаники, лысого, анемичного, при малахитовых запонках, с доброй придурковатой улыбкой всеобщего любимца девочек в пятых и шестых классах средней школы. Он провел у нас четыре часа с лишним: они клеили из картона странную фигуру наподобие морского ежа. Как потом объяснил Галкин, это была книга, тоже книга! но раскрывающаяся по типу гармошки и покрытая изнутри стихами абстрактного содержания. Другие книги — в форме куба, пирамиды и яйца — были выполнены месяцем раньше при содействии того же Галкина, видевшего в этих изделиях новый синтез поэзии, живописи и скульптуры.

Мне хотелось избавиться от незваных гостей и помочь в этом хозяину. Куда ему роль мецената всех графоманов, всех бездарей и неудачников? Сам — графоман, сам — неудачник!

— Ты ничего не понимаешь! — кипятился Галкин. — Ты пишешь длиннющие романы о революции, о гражданской войне... Сколько тебе было в девятнадцатом году?.. А здесь у тебя под носом бушуют страсти, достойные кисти Шекспира... Шейлоки, ягуары! Ах, если бы я был драматургом!

Он гарцевал по комнате, лохматый, похожий на овцу, воздвигнутую на задние ноги, и спотыкался о чайники

и стаканы, расставленные на паркете будто на скатерти. С верхних полок от его топанья падали на пол книги, испуская клубы пыли, а он попирал книги ногами и угрожающе восклицал в потолок:

— Подожди, Страустин! Ты увидишь! Мы соберемся вместе... В полном составе... Боже! Какие люди живут в нашей России! И они живут напрасно и бесполезно умирают...

Вскоре я получил возможность наблюдать это зрелище, достойное кисти Шекспира. Народу набилось человек двадцать — двадцать пять — тридцать. Стульев не хватало. Сидели на подоконниках, на энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона...

Здесь были представители всех сект, поколений и направлений: старухи в чеховских пенсне, пишущие о свинофермах, и мальчики-неофиты в пушкинских кудрях, работающие под Есенина. Тут же вертелся мой старый знакомый — полковник в отставке, при всех орденах. У него был контакт с парнем в рваной тельняшке. От парня пахло спиртом, тюрьмой и самоубийством. Он застенчиво косился на чистую публику, полковник его ободрял:

— Брось, Гриша!.. Со мною не пропадешь...

Руководил собранием Галкин. Он чувствовал себя именинником и, едва все расселись, попросил слова для небольшого, как он выразился, приветствия.

— Просим! Просим! — крикнула сочинительница криминальных пьес.

— Просим! — промямлил по ее примеру учитель ботаники, конфузливо зажавший в коленях синтетическое произведение — муляж морского ежа.

— Дорогие коллеги! Товарищи графоманы! — начал громоподобно оратор. По комнате пронесся дружный ропот негодования.

— А сам ты кто? — рявкнул полковник в отставке.

Но Галкину только того и надо было. Он провел аналогию между графоманом и гением и тем успокоил присутствующих. Он назвал графоманию основой основ и началом начал и назвал ее болотистой почвой, откуда берут истоки чистейшие родники поэзии. Эта почва, говорил Галкин, переполнена влагой. У нее нет выхода, говорил Галкин. Придет время, говорил Галкин, и она хлынет из недр и затопит мир. Кто был ничем, говорил Галкин, тот станет всем, и пусть не хватит на всех бумаги, мы покроем стены домов и голые панели улиц текстами в стихах и в прозе, говорил Галкин.

Собрание отвечало сочувственным шумом. Но я видел: среди графоманов обнаруживается нетерпение. Уединялись

в углы. Составлялись союзы по два, по три лица, и пока один автор читал вслух какое-нибудь свое сочинение, другие, переминаясь, ждали. Каждому хотелось. Галкина уже никто не слушал...

— ...Над нами небо с улыбкой женщины и фиолетовое как чернослив лейтенанта по имени Гребень покоилось на зеленой траве. Генерал Птицын, не утирая скупых солдатских слез, градом катящихся по его щекам, скомандовал: — Я вас люблю, милая Тоня,— и губы их слились в огненном поцелуе. И он почувствовал в душе такую ватрушку с творогом, да пироги с грибами, да полдюжины крепких, студеных как сосульки огурчиков, пахнувших свежим укропом и засоленных ранней весной, когда хочется плакать от счастья вместе с природой и восклицать: — О, Русь! Куда несешься ты? — благословляя первый, пушистый, нежный, розовый снег на черную, грязную, скользкую, проезжую дорогу. Румяной зарею покрылся восток, и ты, Вячеслав, полагаешь, что министр не знает об этом? Министр покрывает преступников, по зачем же, Вячеслав, ты крепко ручку мою жмешь, глазами серыми ласкаешь, а на сближение не идешь?

Всякий теперь выкликал свое. Собрание распалось на группы, группы — на единицы, единицы — на части. Красные, вспотевшие лбы. Хаотические прически. Руки, втыкающие восклицательный знак и выковыривающие из пустоты запятыю. Бешеная жестикуляция ртов, слюнявых, пенных, наполняющих воздух грубыми звуками.

— Комбайн, комбайн, Настя. Липы цвели, золотящихся не честь в петухах. Пограничник из хрустала, горцы на бескозырке. Игорь, свирепея, молчал. Замминистр березовой рощи. И хоч икотца наждаком фиалки. Ибо поле пашут тракторами. Вызвали секретаря. Секретарь райкома Лыков пухежилился на рассвете Днепра. Ветчина в грунте, заря впереди. Горит, горит! Недаром! На груди шептунчик. Юбость, юбость, ской ты пикасна! Липы цвели. Тюлень жасминовый до горизонта. Линуясь произнесла: Ура! Ребята! Не Москва ль за нами? Рём же по капитану!

Вдруг посреди сумбура сверкнула фраза, заставившая меня вздрогнуть и обернуться. Кто-то сказал:

— В воздухе чувствовалось дыхание приближающейся грозы...

Она сверкнула, как молния, и потонула во мраке слов, клубящихся надо мною, и, стремительно обернувшись, я не мог понять, который из этих лопочущих ртов только что произнес цитату из моего романа «В поисках радости». Но ошибиться я тоже не мог, потому что лишь вчера вписал

в текст фразу о приближающейся грозе — именно в том варианте, в каком ее здесь повторили.

И вот опять, в подтверждение ужасной догадки, другой голос в другом конце комнаты негромко, но внятно сказал:

— Возду... чуста... хани... жаю... зы...

Сомнений быть не могло: меня обокрали, у меня похитили мою жемчужинку.

Я немедленно протолкался к Семену. Тот в позе Наполеона взирал на вакханалию. Вдавленными своими ноздрями, толстогубыми губами, вытянутыми дудочкой, он жадно впитывал все слова и звуки, летавшие суматошно по воздуху. Он так был поглощен этим делом, что даже не заметил меня. А я в ту минуту, я — прозрел и с ясностью художника, постигшего внезапно всю подлость жизни, я прочитал интуитивно все то, что было написано на жадном лице Галкина.

Именно он, Галкин, и никто другой, был главным виновником моей потери. Недаром он вчера разводил философию, что, дескать, все мы ничего хорошего сами не сочиняем, а лучшие мысли приходят на ум из воздуха. Недаром он и сейчас прислушивался ко всему: завтра использует и скажет: «не моя собственность», «случайно пришло в голову, подвернулось на язык». С такую же легкостью он отдал своим друзьям-графоманам мою золотую жемчужину. Наверное, подсмотрел в рукописи, пока я спал или ходил в уборную... И вот она ходит по рукам, как разменная монета, среди шулеров и мошенников...

Я подергал Галкина за рукав и с ехидством спросил:

— А тебе, Семен, не хочется записать? Чтобы не забыть и завтра использовать...

— Хочется! — сказал он, даже не покраснев. — Хочется! Но ведь я не драматург и, к сожалению, не прозаик. У меня не получится... Вот на твоём бы месте, Страустин, я бы сочинил что-нибудь подобное... Рассказ, или еще лучше — повесть, роман, эпопею! Я бы назвал ее «Графомань!» Эпопею про неудачных писателей. Материал, материал-то какой пропадает!..

Видя, что он уклоняется, я спросил — тоже достаточно иронически:

— А как тебе покажется, Семен, такая фраза?.. Мне сейчас довелось услышать...

И я процитировал финальный аккорд из моего романа: «В воздухе чувствовалось дыхание приближающейся грозы».

Но Галкин опять не покраснел.

— Плохая фраза, — сказал он хладнокровно. — Избитая, старая, как двугривенный... Но разве в этом суть? Дело не в том, как они пишут, а как они жаждут!..

Толковать с ним было бессмысленно. Он прикинулся, что не улавливает моих намеков, и вновь начал ораторствовать:

— Неудачники? Все — неудачники! Всякий человек — раздавленный гений! Но только мы, мы неудачники, постигшие всю глубину наших гениальных возможностей, только мы знаем... И только в нас, в нас самосознание человечества...

Галкин обращался ко всем. Но графоманы были в азарте. Они вели игру, передергивая слова, перехватывая друг у друга карты, и ничего не замечали. Мое сердце наполнялось презрением. Они украли у меня драгоценность, и назвали ее двугривенным, и пустили ее в оборот, чтобы повысить шансы. Это им не помогло. Они все проигрывали, отчаянно проигрывали, они буквально разорались у меня на глазах...

В ту ночь мне не спалось. Я положил под голову мою ограбленную рукопись, чтобы Галкин не произвел новых опустошений. Теперь я мог в течение ночи безотрывно контролировать затылком ее нетвердую жесткость. Мне было ясно, что у Галкина оставаться дальше нельзя.

Хозяин преспокойно храпел на письменном столе, сорудив ложе из книг, пальто и единственной в доме подушки. На тахте, где спал обычно Галкин, растянулся учитель ботаники. Ему нужно было в школу к первому уроку, и он не поехал к себе в Фили и остался здесь ночевать. Его присутствие тоже меня не радовало. Я подвинул к дивану лампу и, раз уже мне все равно предстояла бессонница, взял Константина Федина — «Первые радости» и «Необыкновенное лето».

Слог показался мне вялым, а сюжет скучным. Как большинство современных авторов, превративших литературу в неприступную крепость, Федин не обладал ни умом, ни талантом, ни знанием предмета, о котором пишет. Он рассказывал о революции и гражданской войне, ничего в этом не смысла. Но некоторые слова и выражения, если к ним приглядеться внимательнее, выделялись в лучшую сторону и были вроде бы мне хорошо знакомы. Приглядевшись внимательно, я в них обнаружил близкое сходство со мною — с моими книгами разных периодов, все еще не опубликованными.

Например, Федин писал: «Дорога привела на обширную садовую и огородную плантацию». В моей же повести 1935 года «Солнце встает над степью» была — я отлично это помнил — такая фраза: «Дорога привела на обширное поле,

засаженное яблонями». Только у меня эти яблони, помнится, цвели и блистали на солнце розовыми лепестками. А Федин, чтобы скрыть плагиат, ликвидировал всю красоту на моих цветущих деревьях и тем неизмеримо ухудшил эту сцену. Но все же мои крупицы, даже в искаженном виде, помогли ему быстро сделать блистательную карьеру, и теперь без зазрения совести он потреблял плоды славы, которые по праву принадлежали мне одному.

Как проклинал я мою доверчивость! Мои рукописи пребывали без движения в издательствах, чтобы через месяц и более вернуться ко мне назад — с выщипанными страницами и неизменным отказом. А пока я страдал в ожиданиях, ловкие руки разных Галкиных, Фединых умело их обрабатывали и пускали в ход под чужими, под фальшивыми именами...

Я встал с постели и, обшарив полки, набрал кучу книг, выпущенных в последние годы. И в какую бы книгу я ни смотрел — открыв на середине — Леонова, Паустовского, Фадеева, Шолохова, — всюду я наткнулся на мои следы, погруженные в массу глупого, ни на что не похожего текста. Даже у Франсуа Мориака — при самой беглой проверке — я нашел четыре детали, заимствованные из одного моего юношеского рассказа под названием «Человек», и я долго ломал голову, как же это произошло, пока не догадался, что похитители могли ведь и через границу переправлять копии с моих произведений...

Я был столь обескровлен всеми этими впечатлениями, что под утро невзначай задремал и мне приснился кошмар. Мне снилось, что я сплю, а в мою черепную коробку, сквозь затылок и мозжечок будто бы врезается бумажный лист, испещренный машинописными знаками. Я смотрю в этот лист перевернутыми к затылку глазами и напрягаюсь прочесть, что там напечатано, и от этого будто бы в моей личной судьбе все зависит. А слепые абзацы то выступают передо мной на мгновение, то померкнут, то выступят, то опять померкнут, и ничего не получается. Я долго мучился, так и не разобрав, что там было написано, и, когда пробудился, голова у меня затекла и шея ныла, и на часах было уже четыре часа дня.

Учителя ботаники и след простыл, а Галкин сидел одетый за столом и что-то быстро писал — все то, что успел запомнить из вчерашнего кавардака. Он был неразговорчив и желтолиц, и любоваться на него было противно.

Я знал, что нужно поскорее уходить отсюда, пока графоманы меня полностью не обобрали, но почему-то медлил, вольничил, слонялся из угла в угол, бесцельно лежал на дива-

не, потягивался, и все мне как будто чего-то недоставало, чтобы взять и уйти. Нашупав в кармане двугривенный, я подошел к застекленной секции, где Галкин хранил свои книги, сделанные ручным способом, и тихонечко постучал в предохранительное стекло моим двугривенным. Галкин сперва терпел, потом просил пощадить, потом поднял голову и огрызнулся:

— Перестань! Что тебе надо?

На пять минут я оставил его в покое, затем снова включился в игру, и я потешался над ним методично до тех пор, пока он не выскочил из-за стола и не начал ругаться. Тогда я сказал ему — спокойно, как только мог:

— Галкин, Галкин, а ведь ты — графоман. Ты самый настоящий, заурядный графоман...

Нервы во мне зудели и кровь рывками прилиwała к сердцу, но я говорил ровным и почти ласковым голосом, чтобы тем самым сильнее его раздражить, и опечалить, и доказать ему с фактической очевидностью, что он обыкновенный графоман, графоман, графоман, графоман — повторял я надоedливо и стучал по стеклу.

— Что же ты сердисься, Семен? Ты сам называл графоманию почетным титулом... Почему же ты непоследователен, графоман Галкин?..

Когда же он, дойдя до высшей точки, заорал во все горло, чтобы я убирался прочь, меня охватило чувство, близкое удовлетворению. Собрав не спеша портфель, я произнес с полным правом это произнести:

— Ну, вот — ты меня выгоняешь... Сначала ограбил, а теперь выгоняешь...

Но я не стал ему объяснять, в чем была его вина передо мною, потому что он все равно ничего бы не понял. Я только попрекнул его на прощание еще раз графоманом и поскорее прикрыл дверь, чтобы он не зашиб меня кинутой вдогонку книгой.

...Я пришел к нему ночью, и ушел поздним вечером, и, так как идти мне теперь было абсолютно некуда, я бродил с портфелем под мышкой по затихающим улицам, не имея перед собой никакой определенной задачи. Мой организм просил есть и переставал просить, головная боль то проходила, то возобновлялась с удвоенной силой, денег у меня, если не вспоминать о двугривенном, не было ни копейки, и делать мне тоже было нечего. От нечего делать я засматривал в освещенные окна на первых этажах и в подвалах, и, когда они не были тщательно задернуты занавесками, мне везде открывалась одна и та же картина.

Был поздний вечер — излюбленный час графоманов, и в каждой доступной мне дыре кто-нибудь что-нибудь писал. Создавалось впечатление, что город кишит писателями и все они от мала до велика водили по бумаге автоматическими ручками.

Сколько их, куда и зачем они пишут? Всюду имелись библиотеки, читальни в миллион томов. Да и в частных квартирах шкафы, этажерки, столы были буквально переполнены, книжные запасы скапливались на подоконниках, свешивались с потолка. И всякий день и час выпускались новые, никому не нужные, никем не читаемые фолианты. А эта армия одержимых продолжала работать...

Я не принадлежал к их числу. Моя судьба была горше, но достойнее. Посреди этого пишущего человечества, быть может, я один был настоящим писателем, чьи произведения хотя и не получили признания, но легли в основу литературы и составили в ней наиболее ценные страницы. Слова из моих книг, расхищенные и распроданные удачливыми современниками, украшают отныне лучшие образцы знаменитейших в мире авторов. Им подражают, их переписывают. Не сами пишут, а меня переписывают, ничего не ведая о скромном творце, который бродит у них под окнами. Да! Я не вошел победителем в лавровом венке в парадную дверь, но я проник в их тела и души через пищу и через воздух, как яд проникает в кровь, и теперь им от меня никогда не избавиться...

Ряды освещенных окон заметно редели. Пишущие отходили ко сну. Вскоре в домах остались только одинокие лампочки, две-три на целый квартал. Это самые злые, законренелье графоманы упорствовали в своем безумии.

Меня пошатывало и поташнивало от истощения и усталости. Но я шел и шел, не задерживаясь, по улице Чехова, по улице Горького, через площадь Пушкина... И были еще улицы в честь Льва Толстого, Достоевского, Маяковского и не то Лермонтова, не то Некрасова... Я не шел по ним, но я помнил, что они есть.

Классики — вот кого я ненавижу пуще всех! Еще до моего рождения они захватили вакансии, и мне предстояло конкурировать с ними, не располагая и сотой долей их дутого авторитета. — Читайте Чехова, читайте Чехова, — твердили мне всю жизнь, бестактно намекая, что Чехов писал лучше меня... А как с ними бороться, когда в Ясной Поляне даже ногти Льва Толстого, постриженные тысячу лет назад и собранные дальновидным графом в специальный мешочек, хранятся как святыня?! А в Ялте, говорят, в специальных

пакетиках сберегаются засохшие плевки Чехова, да-да! длинные плевки Антона Павловича Чехова, который, говорят, много страдал кровохарканием и даже умер от чахотки, что, конечно, преувеличено.

Но если быть честными: так ли уж хорошо писали и Толстой и Чехов? То-то же! Взять бы этого Чехова за туберкулезную бороденку да ткнуть носом в его чахоточные плевки, которые, к сожалению, уже засохли: — Не пиши, графоман! Не пиши! Не порть бумагу!

Как можно?! Заступники найдутся... Почитатели, библиографы, мемуаристы... А кто обо мне мемуары напишет? Кто меня, я вас спрашиваю, вспомнит и увековечит?..

От усталости и расстройства я выписывал вензеля ногами, спотыкался, покачивался. Мой тяжкий путь по мостовой был причудлив и зигзагообразен. Вдруг мне показалось, что я не сам иду по улице, а чьи-то пальцы водят мною, как водят карандашом по бумаге. Я шел мелким неровным почерком, я торопился изо всех сил за движением руки, которая сочиняла и записывала на асфальт и эти безлюдные улицы, и эти дома с непогашенными кое-где окошками, и меня самого, всю мою длинную-длинную неудачную жизнь.

Тогда я вырвался, круто затормозил, остановясь на полном разгоне, и чуть не упал, и посмотрел исподлобья в темное небо, низко нависшее над моим лбом. Я сказал не громко, но достаточно основательно, обращаясь прямо туда:

— Эй, ты, графоман! Бросай работу! Все, что ты пишешь,—никуда не годится. Как ты все бездарно сочинил. Тебя невозможно читать...

Было семь утра, но Зинаида уже поднялась и кормила Павлика манной кашей. При виде меня она дико обрадовалась и, защемив мою голову обеими руками, пригнула ее к себе и крепко поцеловала. Покачнувшись, я сел.

— Я знала, что ты вернешься... Я знала... Я знала...— твердила она, задыхаясь, и притискивала мое лицо к своему боку.— Ты — добрый, ты — умный, ты — великодушный... Ты понял, понял, наконец... Ах, Павел, Павел!..

Я осторожно высвободил голову из объятий и, чтобы сделать Зинаиде приятное, чмокнул ее в шершавую руку. Она всхлипнула.

— Ты ведь совсем вернулся?.. Ты больше не уйдешь?.. Мы больше не будем ссориться?.. Да? Да?!

У меня не было ни сил, ни желания отвечать отказом, и я ответил: да!

— Да! — сказал я не очень весело, но вполне откровенно. — Я принял решение. Пора оставить. Писателем мне не быть. Ничего. Проживу и так. Поступлю на службу, буду воспитывать Павлика... Ничего.

Она хлопотала вокруг меня, как будто я был знаменитостью. Она подала чистое полотенце, и стакан молока, предназначавшийся обычно ребенку, был торжественно передан мне — на поправку здоровья.

— Ты плохо выглядишь, — сокрушалась Зинаида. — И глаза у тебя какие-то мутные... Но ничего, ничего, теперь все позади.

Она обещала мне новую жизнь с этого дня и говорила, что теперь дом наш будет полон света и радости, и мы будем ходить в театры, в кино, а чтобы у меня остались какие-то мужские причуды, она разрешает мне купить охотничье ружье или еще лучше — если я увлекусь рыбной ловлей. На худой конец она допускала, что я начну выпивать иногда, как это случалось со мною в дни молодости.

— Ладно, ладно. Ты опоздаешь на работу, — напомнил я ей и добродушно хлопнул по заду. Некрасивое лицо Зинаиды сморщилось в улыбке. Мне даже показалось, что Зинаида похорошела.

Когда она ушла на работу, мы с Павликом ополоснули посуду и смели крошки с клеенки.

— Ну, рассказывай, Павел, как живешь, что сочиняешь? — спросил я его в упор, но бодрым тоном.

Павел, потупясь, молчал.

— Не бойся. Я передумал. Пиши теперь, сколько хочешь. Я не отберу. Все, что я тогда говорил, было шуткой. Вот возьми...

Я нашел в кармане бумажный комок и, расправив, подал сыну. Карандаш полинял, но разобрать буквы было еще возможно.

— Перепишешь начисто. Садись сюда и пиши.

Павел живо слезил под кровать за рисовальным альбомчиком. Пробило девять. С верхнего этажа послышались звуки трубы. Это верхний жилец, едва проснувшись, начинал первую трель.

Я тоже достал из портфеля стопку чистой бумаги. Я расположился напротив Павлика, постелив газету поверх клеенки, чтобы страницы не прилипали.

— Смотри, маме не говори!..

Мне не хотелось ее обманывать и нарушать данное слово. Я честно обещал покончить с писательской страстью, от которой мы все так долго страдали. И непременно покон-

чу, как только напишу последнюю вещь — свою лебединую песнь. Многие годы этого ждал, к этому приближался. Лебединая песнь о самом себе. Нет, нет, не для печати. Пускай сын хотя бы прочтет. И на этом брошу...

Павел уже копировал стершиеся каракули.

— Пиши, Павел! Пиши! Не бойся. Пусть над тобою смеются, называют графоманом. Сами — графоманы. Кругом — графоманы. Нас много, много, больше, чем надо. И мы напрасно живем и бесполезно умираем. Но кто-нибудь из нас дойдет. Или ты, или я, или кто-нибудь еще. Дойдет, донесет. Пиши, Павел, сочиняй свои сказки про своих смешных карликов. А я буду про своих... Мы с тобою придумаем столько сказок... Не сосчитать. Только ты смотри — маме ничего не говори.

Трубач над моей головой дудел в полную громкость, точно хотел воспрепятствовать. Но мозг мой был проворен, как после долгого сна, и душа полна вдохновения. Я взял чистый лист и большими буквами написал сверху название:

ГРАФОМАНЫ.

Потом подумал и приписал в скобках: (Из рассказов о моей жизни).

1960

ГОЛОЛЕДИЦА

От автора

Я пишу эту повесть, как потерпевший кораблекрушение сообщает о своей беде. Сидя на уединенном обломке или на безжизненном острове, он кидает в бурное море бутылку с письмом — в надежде, что волны и ветер донесут ее до людей и они прочтут и узнают печальную правду, в то время как бедного автора давно уже нет на свете.

Доплывет ли бутылка? — вот вопрос. Вытащит ли ее за горлышко цепкая рука моряка, и прольет ли моряк на палубу слезы сочувствия и сожаления? Или морская соль постепенно пропитает сургуч и разьет бумагу, и безвестная бутылка, наполненная терпкой влагой или разбившаяся о рифы, останется лежать без движения на дне пучины?

Моя задача еще сложнее. Не обладая ни научной, ни литературной опытностью, я хочу, чтобы труд мой был напечатан и получил бы признание. Лишь таким окольным

путем могу я рассчитывать дойти до тебя, Василий. О Василий! Поверь, мне не нужны деньги и почести, мне нужно только твое участие. Я не ищу других читателей кроме тебя, хотя через многие руки, быть может, проплывет моя повесть, прежде чем случайно попадетя тебе на глаза.

Что же делать! Житейское море огромно, а бутылка такая ничтожная, и ей надо покрыть тысячи миль, чтобы найти адресата.

Прости, Василий! У меня нет твоего адреса. Я не знаю даже твоей фамилии, не успел узнать, а когда спохватился — было поздно. Но я знаю: ты живешь, затерянный — подобно мне — в волнах времени и пространства, и я надеюсь — вдруг ты зайдешь когда-нибудь в букинистический магазин и вдруг увидишь на прилавке мою ветхую книгу.

Вспомнишь ли ты меня? Дрогнет ли твое сердце, и оживут ли в нем гуманные образы прошлого? Протянешь ли ты мне руку дружбы и помощи?

Ах, Василий, я прошу тебя об одном: разыщи Наташу. Понимаешь — она должна жить где-то рядом с тобой. Не удивляйся, ее тоже зовут Наташа, хотя это совсем не та, а другая Наташа, не похожая на ту. Но мне кажется — имена совпадают. Представь себе, она — тоже Наташа, Наташа! И если ты не узнаешь ее по моим описаниям, я все-таки надеюсь — сердце тебе подскажет кого надо...

Так вот, я прошу тебе, Василий, найди Наташу и женись на ней поскорее, пока ты жив, пока не поздно, непременно женись, хотя, быть может, — она старше тебя и у нее дети, а ты, кажется, тоже человек семейный... Все равно, брось жену и живи с Наташей, как я тебе говорю. Понимаешь, это единственный случай встретиться с нею, и если мы его упустим — мы опять потеряем друг друга из виду...

Не хмурься, Василий. Я сейчас все объясню. Я изложу по порядку, как было дело, и постараюсь выполнить это хорошо и художественно. Пусть меня напечатают большим тиражом: так мне будет легче на тебя наткнуться. Ничего, не беспокойся. Я читал много повестей и романов и представляю, как это делается. А главное — у меня есть время. В конце концов, за оставшуюся долгую жизнь почему бы мне не стать известным писателем?

А ты, Василий, следя за ходом рассказа, прислушивайся к себе повнимательней. Быть может, что-то в тебе все-таки шевельнется и ты окажешь помощь страдальцу, потерпевшему крушение... И сидя со своей Наташей в какой-нибудь красивой беседке, ты обнимешь ее меланхолично за талию и скажешь словами поэта:

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.

Увы! напоминают мне
Твои жестокие напевы
И степь, и ночь, и при луне
Черты далекой, бедной девы.

Я призрак, милый, роковой,
Тебя увидев, забываю;
Но ты посешь — и предо мной
Его я вновь воображаю...

Кстати, это сочинил тот самый Пушкин, которого ты хорошо знаешь. Но ты ошибся, когда сказал, что Пушкина расстреляли. Его убили на дуэли, из пистолета. Уж это я твердо знаю, поверь мне.

И еще: стоит ли давать Наташе мою грустную повесть? Читай ей лучше Пушкина и люби ее, как я любил. И будьте счастливы.

Это все, о чем я вас прошу.

1

Мы сидели с Наташей на Цветном бульваре. Мы были одни, была гололедица, и прохожие в этот вечер не решались выходить на бульвар. Мы с Наташей составляли исключение, потому что любили друг друга и не боялись в тот вечер упасть и ушибиться.

— Безобразие, — сказал я. — С ума можно сойти. Если погода не переменится и к завтраму не выпадет снег, я отказываюсь в этом году встречать Новый год. Ты встречала что-нибудь подобное в конце декабря? И я тоже не помню. Это все атомные испытания, гонка вооружений. Летом — холод, зимой — дождь. Достукались.

И я хотел развить мысль насчет радиации воздуха, по вине которой того и гляди начнется ледниковый период. Мы отпустим косматую шерсть и займемся разведением мамонтов. Наташа перебила меня. Она вдруг стала уверять, что в раннем детстве однажды видела снегопад в разгаре июня. Птицы устроили дикий шум, насекомые скрылись, а бабушка всем говорила, что это дурная примета. Это было, уверяла Наташа, под Саратовом, летом, на даче, в 1928 году.

Ее рассказ показался мне в высшей степени фантастическим. Ничего этого не могло быть по той простой причине,

что Наташе тогда было два года и запомнить свой снегопад она бы не сумела. Я по себе хорошо знал, что такого не бывает. Объем нашей памяти имеет границы. А тут еще насекомые, бабочки, бабушка...

— Не морочь мне голову,— сказал я сердито.— Или ты раньше меня обманывала и скрывала свой возраст. Ты, наверное, родилась не в 26-м, а в 23-м году.

Это я сказал, конечно, чтобы ее подразнить. Мне было чуть-чуть обидно, потому что я думал, что знаю ее насквозь. Мы были достаточно знакомы и к тому времени успели рассказать друг другу все, что помнили о себе. Не исключая таких моментов, про которые обычно избегаешь вспоминать и рассказывать. Хотя мы не были женаты и жили пока порознь, прошел целый год, как я заставил ее окончательно уйти от Бориса и встречался с нею каждый день или через день. И вдруг выясняется, что Наташина жизнь полнее событиями, чем я полагал. Например, Наташа, еще не умея ходить, играла спичками и подожгла себе волосы, и они горели желтым пламенем, и обо всем этом она хорошо помнит.

Я был старше ее, умнее, начитанней, и я не привык уступать. Поэтому я тогда же вступил с ней в спор по части смутных воспоминаний и делал это тем настойчивее, чем меньше у меня было шансов на выигрыш.

— А я вот помню...— не унималась Наташа.

— А я вот тоже помню...— отвечал я.

И я ворошил свои младенческие впечатления в надежде там отыскать что-то давно забытое. Наверное, это и послужило психологической предпосылкой физиологических изменений, которые произошли со мною в тот вечер и изменили в короткий срок всю нашу жизнь.

Сейчас, по прошествии многих лет, я затрудняюсь сказать в точности, как было дело. Может быть, я заранее был к этому подготовлен всем ходом своего развития и мне, как говорится, на роду было написано испытать все то, что я впоследствии испытал. Не знаю, не знаю... Во всяком случае в ту минуту я ни о чем таком не думал, а просто колотился в барьеры памяти, пытаюсь раздвинуть их и вспомнить, что было раньше. И вот какая-то роковая преграда неожиданно рухнула, и я провалился в пустоту, почти физически пережив неприятное чувство падения. Я падал, и падал, и падал, ничего не понимая, и когда пришел в себя, вся окружающая обстановка была не такой и сам я был не совсем таким.

Я находился в длинном ущелье, стиснутом рядами голых гор и гладких холмов. Дно его покрывала корка льда.

По краю льда, перед отвесными скалами, росли деревья, тоже голые. Их было мало, но близость лесного массива давала о себе знать глухим ветренным шумом. Пахло падалью. Во множестве светились гнилушки. Впрочем, то были не гнилушки, а скорее всего это были клочья Луны, растерзанной волками и ожидающей срока, когда ее кости, хрящи, мослы опять обрастут белым светящимся мясом и она поднимется в небо под завистливый вой волков...

Но понять и обдумать все это я не успел: на меня бежал с раскинутой пастью зверь. Он быстро-быстро перебирал невидимыми ногами, и я мог догадаться, что ног у него не четыре и даже не пять, а по крайней мере столько же, сколько у меня пальцев на ногах и на руках, вместе взятых. Вот сколько. Он был пониже мамонта, но зато упитаннее и здоровее самого большого медведя, и, когда он приблизился вплотную, я заметил, что брюхо он имеет прозрачное, как светлый рыбий пузырь, и там ужасно бултыхаются проглоченные живьем человечки. Должно быть, он был так прожорлив, что глотал их не жуя, и жертвы, попавшие к нему в желудок, все еще вертелись и подсказывали.

Конечно, те ощущения я передаю приблизительно, своими словами. Тогда у меня в голове и слов никаких не было, а были, можно сказать, одни условные рефлексы и разные, как их теперь называют, религиозные пережитки, и я, терзаясь страхом, бормотал заклинания, характер которых я сейчас не решусь воспроизвести на бумаге. Но в то мгновение, помнится, эти бессмысленные заклинания возымели определенное действие, и смягчившееся чудовище удалилось вдоль скал, не тронув меня, только выбросило угрожающе вверх сноп электрических искр. И наверно потому, что эти искры в моем затемненном мозгу все-таки отозвались «электрическими», я понял тотчас, что это мимо меня проехал безвредный троллейбус, и утраченное состояние настоящей минуты вновь вернулось ко мне.

Оказалось, что я продолжаю мирно сидеть на бульварной лавочке, а рядом преспокойно сидит Наташа, которая даже ничего не заметила, а большой вечерний неутихающий город гудел и стонал вокруг нас, точно лес в непогоду.

— Если погода не переменится — сказал я в безотчетной тоске, — и завтра не выпадет снег, я отказываюсь в этом году встречать Новый год.

Но копаться в своем мозгу я больше не рисковал. Этот случай с провалом памяти на меня ужасно подействовал. Стараясь не волноваться и понапрасну не ломать голову, я молча вдыхал родную вонючую мглу,

пропитанную парами бензина и гнилым морозящим светом уличных фонарей, который весьма отдаленно напоминал свет луны и безусловно имел вполне реальное, электрическое происхождение. С некоторой опаской поглядывал я на дома, на фонари и деревья, и на троллейбусы, то и дело шнырявшие вдоль домов и вдоль деревьев, и все это было таким настоящим, таким похожим на себя и не похожим ни на что больше. И еще я заметил, что по ледяной выгнутой корке Цветного бульвара, покачиваясь как балерина, идет полная женщина.

Она проходила от нас на почтительном расстоянии, и разглядеть ее возраст и черты лица не было никакой возможности. Но ее грузная фигура, весело покачиваясь, почему-то внушала мысль, что старуха и в самом деле когда-то плясала в балете и даже пользовалась в роли Одетты успехом у адмирала Курбатова. Откуда поступила ко мне эта информация, я не мог понять, потому что впервые в жизни видел эту даму и воспринимал ее биографию как результат чистой гипотезы. Проверять свои домыслы я не имел охоты. Но меня не покидало чувство, что стоит моей балерине поровняться с фонарным столбом, вон с тем, с третьим по счету, к которому она приближалась, как с ней случится несчастье. А именно: мне казалось, что старуха должна поскользнуться на том самом месте, которое я предугадывал, и я даже подумал, не дать ли ей об этом сигнал, но из любопытства сдержался и, затаив дыхание, следил за ее движением. И когда она, добредя до предугаданной точки, свалилась как по приказу, взмахнув короткими ручками, я почувствовал в глубине души что-то вроде угрызений совести, как если бы сам подтолкнул ее на скользком месте.

Мы с Наташей кинулись тянуть ее с двух сторон. Перепуганная старуха никак не хотела вставать и все садилась промокшим задом на ледяную поверхность, и говорила, что не может ступить правой ногой, потому что там у нее сломалась главная кость. Она уверяла страшным шепотом, будто, падая, слышала какой-то треск и хруст. Из ее беззубого рта пахло хорошим портвейном.

Пока мы возились и мучились с этой пыхтящей кучей, вся ситуация в моем уме окончательно прояснилась. Старуха явно преувеличивала свое печальное положение. Ни о какой правой ноге не могло быть и речи, потому что эту ногу она утратила в катастрофе, лет тридцать тому назад, и взамен ее, по секрету, пользовалась прекрасным протезом, который и был предметом ее истинного беспокойства. Но я мог бы

поклестя, что замечательный аппарат, выполненный из алюминия, в Берлине, на средства адмирала Курбатова, ничуть не пострадал при падении и нисколько не поцарапался.

— Вставайте, Сусанна Ивановна, вы получите радикулит,— уговаривал я строго мнительную женщину и даже прикрикнул на нее под конец, чтоб как-то воздействовать...

Зато потом ее восторги превзошли все ожидания. Убедившись в завидной прочности немецкого алюминия, она благодарила меня с чисто французской горячностью. Ей не казалось странным, что я, не будучи с нею знаком, называю ее Сусанной Ивановной. Она воспринимала все как должное и твердила, что счастлива встретить такого любезного молодого человека, который несомненно помнит ее в незабываемой роли Одетты на сцене Санкт-Петербургского Мариинского театра.

— Ах, если б ко мне возвратились мои девятнадцать лет! — вскричала Сусанна Ивановна и, приложив к беззубому рту кончики рваных перчаток, послала мне поцелуй. С большим трудом мы с ней распрощались, пожелав как можно внимательнее передвигать скользкие ноги...

Наташа много смеялась и, конечно, выпытывала — откуда я знаю эту Сусанну Ивановну. Мне пришлось выдумывать туманную версию о каком-то журнале, где будто бы была напечатана старая фотография молодой балерины, поразившая меня однажды в юношеский период моего увлечения историей русского театра. Наташа сказала, что ужасно меня ревнует, и с милой грацией разыграла ревность на своем лице. Потом она дурачилась и ласкалась ко мне, очень сильно ласкалась в тот вечер. Я, как мог, отвечал ей взаимностью...

Но образ Сусанны Ивановны не выходил из моей головы. Мне продолжало казаться, что старуху подстерегает несчастье. Нет, нет, с ногами у нее все будет в порядке — в этом я был уверен. Но мне вдруг открылись иные возможности ее скорой смерти. Я почему-то представил, что через два месяца она умрет от рака матки. И еще другие предчувствия копошились во мне...

Когда мы замерзли, Наташа спросила, как мы двинемся — пешком или на троллейбусе? Я долго не мог выбрать, какой вариант лучше. Насчет самого себя у меня не было опасений. Но мою Наташу я не вел, а почти нес на весу, как несут из магазина пакет с яйцами. О том, как яйца бьются, я старался не вспоминать.

Мы ехали на троллейбусе: уж очень было скользко.

Все-таки на другой день пошел мелкий снег и покрыл тонким слоем тротуары и мостовые. К ночи появилась иллюзия какой-никакой зимы, чистоты и порядочности, и я, поборов отвращение, дал Наташе согласие встречать Новый год вместе с ней и Борисом в одной незнакомой компании. Мне было ясно, что Борис на правах бывшего мужа давно выпрашивает у нее эту льготу. Наташа вторую неделю лезла ко мне с уговорами:

— Понимаешь, ему плохо. Нам с тобой хорошо, а ему плохо. У него, может, в жизни одна только радость — иногда видеть меня. Только видеть и ничего больше. Он даже предлагал, чтобы мы приходили вдвоем. И совсем в чужом доме, на нейтральной почве. Никто никого не знает...

Я не мог понять эту готовность Бориса сносить мое присутствие. Я бы на его месте такого себе не позволил. Но мне в конце концов было наплевать на его личные переживания, а Наташе я не хотел ни в чем отказывать, будто чувствовал уже тогда, что все это скоро кончится.

— Ладно! Черт с вами, с твоим Борисом и с твоей филантропией! — сказал я Наташе за час до полуночи. И мы поехали в чужой дом, к незнакомым людям, захватив для приличия пару бутылок вина.

Как всегда это бывает в случайных компаниях, где народ сходится первый попавшийся, с бору по сосенке, время здесь тянулось медленно и тоскливо. Прокричав первые тосты и погалдев немного во славу наступившего года, все как-то внезапно ослабли, растерялись и присмирели. Каждый из нас, вероятно, с нетерпением ждал этой минуты и предвкушал ее за неделю, а то и за месяц, а вот собрались мы вместе за праздничным столом и вдруг выясняется, что делать нам абсолютно нечего и лучше бы мы пораньше легли спать. Но поскольку на эту ночь возлагались надежды, никто не уходил, а все сидели и выжидали, и таращили друг на друга заспанные глаза, точно думали, что кто-то из нас вот сейчас встанет, и что-то такое сделает, и сразу осуществит все наши надежды.

Жизнерадостный красавец кавказского происхождения, с лихими усами над жгучим ртом, в течение получаса пытался внести веселье в нашу скучную обстановку, рассказывая анекдоты из быта сумасшедших. Когда же ему довелось с опозданием убедиться, что ни его сюжеты, всем давно опостылевшие, ни его преувеличенный восточный акцент ни у кого не вызывают даже простой улыбки, он тоже

перестал дико скалиться и хохотать и затих в мечтательности, надув малиновые, безвольные, по-женски сладкие губы.

Летчик-испытатель с неестественно деловитым лицом беседовал со своей женой о домашних закупках, как будто у них не было случая поговорить на эту тему в другом месте. Холостяки, не имея иного выхода, бешено курили. Незамужние девицы, одна другой безобразнее, бегали попеременно в уборную, понуждая меня и Наташу всякий раз приподыматься и освобождать им дорогу между столом и диваном.

Пожалуй, один Борис не терял времени даром. Забывшись в дальний угол, он не сводил с Наташи влюбленных жалобных глаз, и смотреть на него было тошно. Наташа, опустив ресницы, похожая на покойницу, позировала ему, сидя подле меня. Не вдаваясь в глубину всех этих отношений, я пил рюмку за рюмкой, пил и не закусывал.

Мой пьяный взгляд невольно тянулся к елке, на которой, наконец, зажгли свечи, и я потребовал, чтобы все другое в комнате погасили, предоставив одним свечам свободу действия. Они весело мигали и славно потрескивали, и создавали вокруг себя праздничную атмосферу, недостающую нам, и постепенно все мы, за исключением, может быть, одного Бориса, подпали под их влияние и как-то сгрудились и приютились подле нашего домашнего елочного иконостаса. На несколько минут в доме воцарилась торжественность, наверное, та самая, которую мы искали, придя сюда, и ради которой стоит иногда потерпеть в обществе чужих и противных тебе людей.

Но мало-помалу свечи подходили к концу, и меня вновь охватило недавнее чувство тревоги, рассеянное было спиртными парами и почти полностью исчезнувшее при виде елки. Я с беспокойством наблюдал, как ее огоньки, вспыхнувшие бойко и дружно, теперь выгорают с разной продолжительностью и с различным, я бы сказал, мимическим сопровождением. Должно быть, это объяснялось величиной фитилей и прочей технологией свечного дела, но меня по понятным причинам занимала и волновала совсем иная сторона этого предприятия.

Я не считаю себя пессимистом, но должен сказать со всей ответственностью, что если вдуматься повнимательней в существо жизни, то станет ясно, что все кончается смертью. В этом нет ничего особенного, и было бы даже недомоكرатично, если б кто-нибудь из нас вдруг уцелел и сохранился. Конечно, всякому жить хочется, но как подумаешь, что Леонардо да Винчи тоже вот умер, так просто руки опускаются.

И все было бы ничего, когда бы в этом вопросе соблюдались полное равенство, братство и железная закономерность. Если бы мы, например, уходили с лица земли в организованном порядке, большими коллективами, серийно, по возрастным, например, или по национальным признакам. Отжила одна нация положенный срок и кончено, давай следующую. Тогда бы все, конечно, было проще, и неизбежность этой разлуки не имела бы такой волнующей и нервующей остроты. Но в том-то и состоит главная сложность и вместе с тем пикантная прелесть существования, что ты никогда не знаешь в точности, когда ты перестанешь существовать, и у тебя всегда остается в запасе возможность превзойти соседа и пережить его хотя бы на лишний месяц. Все это сообщает нашей жизни большой интерес, риск, страх, ажиотаж и большое разнообразие.

И вот, взирая на свечные огарки, которые в моем нетрезвом уме как-то сместились и заместили всех нас, собравшихся здесь бездельников, я следил с интересом и душевным содроганием за их неравномерной кончиной.

Одни догорали так же беспечно, как жили, и даже усиливали к финалу расточительную яркость пламени. Другие, с середины пути, пускались в экономию, словно понимали, в чем дело, и рассчитывали оттянуть развязку как можно дальше. Но это им не всегда помогало, и случалось так, что какой-нибудь бережливый фитиль неожиданно потухал от переизбытка собственного парафина, не дотянув до дна подсвечника целых два сантиметра.

Третьи лишь в конце постигали весь ужас своего положения, и тогда они принимались метаться из стороны в сторону на жестяном ложе, бросая на стены и потолок преувеличенные рефлексы, и выпускать до отказа все соки и газы, и, захлебываясь, тонуть в своем заживо разложившемся теле, являя взору все признаки самой непристойной агонии.

Теперь-то мне понятно, что я допустил оплошность, увлекшись этой игрой разгоряченного ума. Но вторая моя ошибка, еще более жестокая и сыгравшая в моей судьбе такую же неотвратимую роль, как вечер на Цветном бульваре, заключалась в том, что я, поддавшись соблазну, выбрал из тех свечей самую, как мне казалось, подходящую и загадал на ней сроки моей жизни и смерти.

И что же получилось? Пока все свечи вокруг меня постепенно редели, я жил себе и жил в виде скромного огонечка, и уже в комнате сделалось совсем темно, а я в одиночестве не переставал коптеть, пережив, к моему удивлению, всех присутствующих по крайней мере лет на десять.

Кто-то встал, чтобы повернуть выключатель. Но я сказал — пусть будет темно и пусть сначала полностью сгорит последний огарок. И не спуская с него глаз, я мысленно вел счет, чтобы полностью измерить годы, причитавшиеся мне по закону: раз, два, три, четыре, пять, шесть...

В общей сумме, считая с достигнутым возрастом, я считал моей жизни восемьдесят девять лет, и, когда я дошел до восьмидесяти девяти, в комнату, едва освещенную, вошла медсестра или, может быть, простая больничная нянечка и, приблизившись к моему изголовью, склонилась над ним.

Искра жизни все еще тлела во мне: я умирал при полном сознании, медленно и спокойно, и никак не мог умереть. Вокруг меня храпели и слабо бредили во сне соседи по палате; пахло карболкой, нечистотами; больничная нянечка, присев на казенную табуретку, с нетерпением поджидала, когда я отпущу ее спать. Ей очень хотелось спать, и она громко зевала, крестилась и почесывалась, и укоризненно поглядывала на меня, проверяя время от времени, умер я или нет, а я, хорошо сознавая правоту ее понуканий и свою бестактность, не имел физических сил сказать словами или дать ей понять каким-нибудь знаком, чтобы она ушла. Я только смотрел на нее с извиняющимся выражением, и только стыд перед этой доброй женщиной, которая одна в целом мире еще имела ко мне слабое отношение, — стыд, что я все еще живой, владел мною и доводил до отчаяния. Мне было так стыдно и скверно, что я поднялся и, торопливо задув огарок, включил в комнате свет...

...Освелые глаза собутыльников и собутыльниц вопреки уперлись в меня, точно я перед ними тоже был виноват и на мне лежала обязанность рассеять их пребывание в моем обществе. Кто-то, позевывая, предложил во что-нибудь поиграть — в шарады, например, или в фанты. И опять все понукающе посмотрели на меня, как будто я здесь был распорядителем и от меня все зависело. Тогда я воскликнул, стряхивая смешными ужимками паутину стыда и страха с облепленного лица:

— Внимание! Внимание! — воскликнул я и щелкнул пальцами, как выключателем. — Сейчас перед вами выступит знаменитый чтец-хиромант! Прорицатель прошлого и грядущего! Желающих прошу испытать!..

Сперва, конечно, никто не поверил в мой талант, да и мне самому плохо в это верилось. Но когда я начал с математической быстротой перечислять факты, и даты, и разные редкие детали из жизни летчика-испытателя, а он подтверждал всякий раз, что я опять угадал, все пришли

в восхищение и в удивление и принялись наперебой меня просить и теребить...

Я мельком проглядывал диаграмму какого-нибудь лица и сразу называл год рождения, цифру зарплаты, номер паспорта, число аборт... Я предпочитал цифры, цифры, потому что они в наше время убедительнее всего говорят о реальной жизни.

— А будущее вы тоже предсказываете? — спросила одна студентка Института легкой промышленности.

— Кое-что предсказываю, — ответил я уклончиво. — Например, через неделю, на ближайшем экзамене вы получите «пятерку» по марксизму-ленинизму. Можете не готовиться, я назову билет, который вам достанется: 5-й съезд партии и 4-й закон диалектики.

Она захлопала в ладоши и радостно объявила, что ничего не будет учить, кроме этих вопросов.

— Как вы можете это знать? — допытывался красавец-грузин. — Кто вам поверит?

— Потерпите одну неделю и проверяйте, — возразил я, слегка задетый.

Но они не хотели терпеть, они желали тут же, немедленно удостовериться в моей способности предупреждать события, и тогда меня осенила одна идея:

— Хорошо, — сказал я. — Подождем одну минуту. Через минуту, я обещаю, на стене появится клоп. Вон там — видите литографию? Кажется — Джорджоне. Он опишет полный круг и уползет направо, под соседнюю окантовку...

И вскоре, как я предсказал, на стене появился клоп. Он вылез из-под спящей Венеры и, сделав обещанный круг, перекочевал на другую девушку — с разбитым кувшином. Женщины завизжали. Кто-то высказал мнение, что клопа никакого нет, а это с моей стороны чистый гипноз. Другие перешептывались, что клоп у меня дрессированный и я его сам подпустил незаметно из рукава. А скептически настроенный красавец-грузин сказал:

— Подумаешь — клоп. Клопа предсказать нетрудно. Мелкая вещь. Пускай он лучше предскажет, когда на всей земле наступит коммунизм...

Я пропустил эту фразу мимо ушей: грузин был провокатором.

Приглядываясь к нему краешком глаза, я заметил далее, что у него между животом и ключицами вырастают с большой быстротой настоящие женские груди. Вскоре его молодой, девический, но вполне оформленный бюст сделался совершенно доступен моему зрению. Усы, однако,

и остальные черты мужчины он удержал за собою, и все это в сочетании с девичьей грудью сообщало ему вид истинного гермафродита.

Я не знал в первый момент, как это понять, и подумал, что, может быть, на меня действует мое нетрезвое состояние, и обрадовался такой возможности объяснения, позволяющей надеяться, что прочие странности и намеки последних дней также имеют в своей основе что-то хорошее и простое. Увы! эта надежда недолго меня обольщала: не вино и не водка, выпитые в изрядном объеме, а иные силы владели мною и заставляли видеть окружающий мир в превратном свете.

Вслед за грузином все прочие гости тоже начали как-то меняться. Контурсы тел, росчерки лиц пришли в дрожание, напоминающее вибрацию сигнализационных приборов. Каждая линия перестраивалась и расплывалась, порождая десятки дышащих очертаний. У многих женщин выросли бороды, блондины темнели и переходили в брюнетов, а затем лысели до основания и вновь покрывались свежим волосом, и покрывались морщинами, и молодели, до того молодели, что становились похожими на детей, кривоногих, большеголовых, мутноглазых, которые в свой черед принимались расти, закаляться, толстеть и худеть.

При всем том каждый сохранял какое-то подобие первоначального облика, так что я имел возможность с некоторым трудом распознавать их и беседовать с ними, хотя теперь я ни в чем бы не посмел поручиться в их судьбе и жизненном поприще.

Еще недавно я твердо знал, кто из них вор, а кто двоеженец, и кто тут тайная дочь беглого белогвардейца, а сейчас все смешалось и находилось в развитии, и я не мог понять, где кончается один человек и начинается следующий. Когда один молодой инженер по фамилии Бельчиков обратился ко мне учтиво и предложил угадать, в каком году он родился, у меня моментально чуть не вылетела изо рта дикая цифра, нарушающая все законы, установленные природой: 237-й год до нашей эры!

Этот ответ пришел мне на ум помимо воли, автоматически, под воздействием, видимо, тех изменений, какие произошли в Бельчикове. На инженере эфемерно светилась старинная пожарная каска, а под его широким шерстяным костюмом свешивались белые простыни, в которые он весьма неловко завернул рослое тело, оставив небурными голые ноги в брюках. Но, разумеется, не эти брюки, а пожарная каска и какие-то другие неуловимые элементы

вдохновили меня на мысль, что инженер Бельчиков родился в 237-м году. И не просто в 237-м году, а до нашей эры.

К счастью, я не высказал это вслух: каска рассеялась в воздухе, а простыни заволновались и оттуда появилась фигура не слишком юной, но вполне еще дееспособной красавицы — безо всяких простыней. Я, не колеблясь, узнал в ней проститутку, тоже, должно быть, довольно древнего происхождения. Всем своим телом она делала веселые знаки, но мой глаз не успел насладиться ею, как легкомысленное создание исчезло, оставив вместо себя не то попа, не то просто скопца мужского пола. Этот в свою очередь, подрожав две секунды, превратился опять в проститутку, но — другую, показавшуюся мне менее привлекательной, чем та, которая была вначале. И так они менялись и соревновались друг с другом, монахи и проститутки, проститутки и монахи, выступая всякий раз в новом качестве и в разной цене, покуда не достигли опять положения инженера Бельчикова. Он стоял предо мною, учтиво повторяя вопрос:

— Когда я родился, определите, пожалуйста...

Пока он был инженером и не успел стать никем другим, я сказал торопливо, что он родился 1 марта 1922 года в городе Семипалатинске, а чтобы он больше не смел приставать ко мне с глупыми вопросами, я добавил во всеулышание, что родители у него до революции держали в Семипалатинске мясную лавку с приказчиком, а не были крестьянами-батраками, как он любил писать в своих анкетах. При этих словах инженер Бельчиков покраснел и испугался, и, испугавшись, он сызнова начал мелко дрожать и срочно перестраиваться.

Но раньше мне казалось, что все это совершается в прошлом, в древние века, во всяком случае никак не позднее 1922 года нашей эры. Теперь же его куртизанки развивали деятельность, а суровые аскеты ее погашали и замаливали — на ином, высшем этапе исторического процесса, знаменую, должно быть, междоусобной борьбой дальнейшую эволюцию инженера Бельчикова. Прикинув возможные границы их мимолетных существований, я убедился, что мы мало-помалу добрались уже до середины двадцать четвертого века. Но они все мельтешили передо мною, намекая своим поведением, что даже в прекрасном будущем мы не освободимся до конца ни от поповского дурмана, ни от женской слабохарактерности, хотя все это, конечно, примет новые социальные формы и будет выглядеть совсем иначе...

Спешу оговориться: я не собираюсь из этого делать никакой теории и не хочу ни подо что подкапываться. Мне

хорошо известно, что всякий человек, будь то хотя бы сам Леонардо да Винчи, есть производный продукт экономических сил, которые все на свете производят и экономят. Я желал бы добавить к этому только одно замечание, что человеческий, так сказать, индивидуум, характер, личность и даже — если угодно — душа — тоже не играют в жизни никакой роли, а есть лишь опечатка нашего зрения, вроде пятен в глазу, возникающих в тех, например, случаях, когда мы тычем в него пальцем или долго, не мигая, смотрим на яркое солнце.

Мы привыкли, что люди ходят в воздухе, который кажется нам пустым и прозрачным, тогда как людские фигуры, овеваемые ветерком, имеют видимость твердости и большой густоты. Вот эту равномерную плотность и законченность силуэта, выступающего особенно хорошо на светлом воздушном фоне, мы ошибочно переносим на внутренний мир человека и называем это «характером» или «душой». На самом же деле души — нет, а есть лишь отверстие в воздухе, и сквозь это отверстие проносится нервный вихрь разобщенных психических состояний, меняющихся от случая к случаю, от эпохи к эпохе.

Когда я выше упомянул, что в судьбе инженера Бельчикова видное место занимали распутницы и попы, я не хотел ничем задеть этого славного человека, а попросту констатировал общее положение дел. Не сам инженер Бельчиков, а тот, кто в настоящий момент жил под его псевдонимом, точнее сказать — та невыразимая дырка, которая в данный отрезок времени была заполнена его инженерским, Бельчиковским состоянием, в другие времена служила пристанищем совсем иным состояниям, регулярно обновлявшимся, — уж я не знаю зачем, может быть, в целях какого-нибудь исторического баланса.

Любой из нас, если будет к себе внимательным, обнаружит без труда самые неожиданные рецидивы прошедших и будущих состояний, вроде, например, желания украсть, убить или продаться за хорошие деньги. Я про себя честно скажу, что иногда сильно испытывал в этой самой, с позволения выразиться, душе и не такие еще позывы, и вы тоже все это у себя найдете в большом количестве, если не станете хитрить и бесстыдно увильвать. Главное — не лицемерьте, и вы поймете, что нет у вас никакого права говорить — «он — вор», а «я — инженер», потому что никакого «я» и «он», в сущности, не существует, а все мы — воры, и проститутки, и, может быть, еще хуже. Если вы думаете, что вы не такие, значит, вам временно повезло, а в прошлом,

хотя бы тысячу лет назад, мы все были такими или в будущем непременно достигнем этого уровня, о чем нам без умолку твердят наши сладостные воспоминания и горькие предчувствия...

Впоследствии я кое-как овладел опасным искусством видеть дальше, чем это установлено нашей природой. Я научился контролировать себя, и регулировать, и иметь дело с людьми, как если бы они взаправду находились в постоянных границах своей личности и биографии. Но в ту минуту мне казалось, что меня окружают не два десятка, а по крайней мере две сотни движущихся физиономий. Я скользил глазами по их поверхности, боясь угодить в полынью — глубиной, быть может, в пятьсот, в тысячу и в десять тысяч лет. Ужас Цветного бульвара, переселивший меня в эпоху ископаемых троллейбусов, стыд и позор моей недавней смерти призывали к осторожности, а я не мог остановить разъезжающиеся глаза, которым ни один предмет не казался достаточно прочным и достоверным.

И тогда, ища поддержки, я обернулся к Наташе, хотя знал заранее, что этого нельзя допускать. Ведь понимал же я, что Наташа тоже была человеком и у нее, следовательно, могли появиться какие-нибудь усы на лице, не говоря уже о признаках более радикальных. Мне не было вполне ясно, какие события на нас надвигаются, но я на всякий случай избегал на нее смотреть слишком пристально, потому что мог, значит, догадываться, что с такими вещами шутить не следует...

И все-таки, ловя глазами опору, я посмотрел на нее и в первый момент был обнадежен, не найдя там ни усов, ни бороды, ни других безобразий, способных в один миг испортить всю красоту. Но вместе с тем голова Наташи тоже слегка отсутствовала. Я угадывал ее скорее по привычке и, чем больше приглядывался, тем явственнее различал угрожающее отсутствие черепа, доходившее почти до шеи и до краешка подбородка. При этом тело Наташи не падало и не сползало вниз, а выпрямленно покоилось в кресле, и пальцы ее поправляли невидимую прическу, выделявая в пустом пространстве беспочвенные пируэты.

Мне стоило труда, лавируя глазами, восстановить истину в Наташиной внешности, собрав по порядку ее лицо в голову, как поступают реставраторы с разбитыми вазами. Но я не хотел думать, как трескаются и разлетаются в прах эти бьющиеся сосуды, если уронить их на тротуар, или ударить ледышкой, или, предположим, с какой-нибудь высоты сбросить на них нечаянно какую-нибудь твердую тяжесть. Я вообще старался поменьше размышлять о случившемся,

потому что Наташа была слишком хрупка для этого и могла опять не выдержать внезапного столкновения с моим шатким сознанием.

— Пойдем домой, Наташа,—сказал я негромко, ощущая в сердце усталость и какое-то безразличие. Чувство непоправимой утраты было так велико, что меня почти не коснулось высказывание Бориса, который вдруг сказал из своего угла:

— Скажи мне, кудесник, любимец богов,—проговорил он с кривой улыбкой.—Угадай попробуй, чем я занимался в прошлое воскресенье с десяти до одиннадцати?!

Это были единственные слова, которые он произнес, и вся зависть, накипевшая в нем, и ревность, и срамота сосредоточились в этом вопросе, выпущенном из угла. Он даже не пощадил Наташу, а так прямо в ее присутствии назвал день и час—«в прошлое воскресенье, с десяти до одиннадцати», чтобы тем сильнее позлорадствовать надо мной изнутри и заодно испытать на практике тонкость моей проницательности.

При других обстоятельствах я избил бы его на месте и натворил бы, наверное, массу других безумств. Быть может, в порыве гнева я отказался бы от Наташи, вернув ее Борису с брезгливым определением. Но тут я знал о ней больше, чем он мог представить. Посреди всех несчастий, свалившихся на меня и готовых свалиться в самое ближайшее время, мне казалось не столь существенным, что Наташа мне изменяла с десяти до половины одиннадцатого в прошлое воскресенье. Не до одиннадцати, а до половины одиннадцатого, если уж быть пунктуальным...

Не глядя на нее и не отвечая Борису, я сказал мягко и медленно, как если бы ничего не случилось:

— Пойдем, Наташа, домой. Пойдем, пожалуйста.

Она сразу встала и прошлась со мною по комнате, обхватив меня под руку своей теплой рукой. Я был ей признателен за этот знак постоянства. Что ж из того, что Наташа понемногу мне изменяла, уступая мольбам и воздействиям своего бывшего мужа? Она делала это из жалости и по старой привычке. А любила она только меня, любила систематически, как могла и пока могла... Это надо ценить в наше смутное время.

В прихожей меня поймал летчик-испытатель и, притиснув к вешалке, захотел посоветоваться. Он выпытывал шепотом, по секрету от жены, когда ориентировочно ему предписан конец. Его волновало, заводить ли ему ребенка и стоит ли покупать холодильник.

В ту ночь я дал зарок никому не говорить о смертных исходах, дабы не расхолаживать в людях романтическое настроение и сохранять в них бодрость духа и здоровую предприимчивость. Но здесь мне пришлось сделать уступку. Смерть в его профессии летчика-испытателя была регулярным занятием и возбуждала в нем спокойное отношение, а не являлась предметом праздного любопытства. Поэтому я сказал, как мужчина мужчине, что жить ему остается пять с половиной лет, после чего, набирая рекордную скорость, он превратится в пар в районе Тихого океана, не успев понять технической причины столь нечувствительного исчезновения.

При этом известии он страшно развеселился. Пять с половиной лет показались ему немалым сроком. На это он никак не рассчитывал, ожидая, что все произойдет значительно быстрее. Теперь он мог себе позволить покупку холодильника и наслаждение с женою, не омраченное противозачаточными средствами, и радовался, как дитя.

— А признайся, браток,— прохрипел он, трясясь от хохота и колотя меня по плечу.— Признайся— клоп у тебя ученый, дрессированный, вроде собаки? Ловко ты нас разыграл с этим своим клопом. Расскажи, открой военную тайну, я никому не скажу...

Этот летчик легко поверил, когда я предсказал ему смерть в ракете через пять с половиной лет. Но понять, как можно предвидеть переползание клопа по стене,— было свыше его сил.

3

Плухарь замертво скатился с березы, словно его дернули за веревку. Я спустил курок и, прицелившись, вижу, что он сидит на суку, здоровенный черный петух, и глядит на Диану. Мы слезли с коней и поскакали. «Ни пера, ни пуха»,— Катенька в розовом капоте машет ручкой с веранды. Прыгнув в седло, я сбегаю с крыльца и натягиваю сапоги. «Пора, барин, вставать, скоро светает»,— кричит мне в ухо Никифор. Мои руки обняли его тугие икры: «Не покидай нас, ради Бога, ради сына твоего умоляю...» Он смотрит в сторону, бледный от злости: «Сударыня, нас могут заметить». Я взял скальп в зубы и поплыл. На середине реки мне сделалось дурно. Не разжимая рта, я погружаюсь...

— Скажи, Василий, кто такой Пушкин?— спрашивает меня жена за обедом.

— А это, милочка, один такой древнерусский писатель. Пятьсот лет тому назад его расстреляли.

— А кто такой Болдырев?

— Это, милочка, тоже один великий писатель. Автор пьесы «Впотьмах» и многих стихотворений. Двести лет назад его расстреляли.

— И все-то ты знаешь, Василий,— говорит жена и вздыхает.

Я стреляю из пушки, я стреляю из арбалета, я стреляю из катапульты. Они бегут. Мы бежим, бежим и вбегаем в город.

— Пойдем в подвал,— говорит Бернардо.— Есть одна девушка. К сожалению, уже умерла, но еще не зачоченела.

Мы спускаемся. Девушка лежит на камнях — животом вверх. Ее лицо прикрыто задранной юбкой.

— Не годится,— говорю я.— Что скажет Дева Мария?

— Ей теперь все равно,— возражает Бернардо.

Он берет доску и подкладывает ей под крестец. Перекрестившись, я ложусь первым. Бернардо жмет ногой на рычаг. Девушка покачивается подо мной, точно живая.

— Поторапливайся,— говорит Бернардо.

— Молчи, не мешай мне,— отвечаю я и зажмуриваюсь...

— Я люблю тебя, Сильвия!

— Я люблю тебя, Грета!

— Я люблю тебя, Христофор!

— Я люблю тебя, Степан Алексеевич!

— Я люблю тебя, Василий!

— Я люблю тебя, мой котенок, моя пуговка, моя устрица, мой бутербродик!..

— говорят он они мне и целуют в губы.

Тьфу!

Слепень бьется в стекло. Снег сверкает на солнце. В графине стынет молоко. Митя чихает.

Раз чихнул — обвал в Гималаях, обломки неба погребают нас вместе с носилками.

Два чихнул — молния ударяет в храм Пресвятой Троицы, гремит гром, горит крыша сарая, горят стога с сеном.

Три чихнул — наводнение, пастор Зиновий Шварц верхом на корове переправляет стулья в чехлах.

— Митя! — говорит мне дядя Савелий, откладывая «Московские ведомости». — Если ты не перестанешь чихать, я тебя высеку...

Несколько дней я провел дома, предаваясь этим видениям. Они были отрывочны, бессистемны, и мне никак не удавалось отделить одну мою жизнь от другой и расположить их в должном порядке, по восходящей линии. С другой стороны, отсутствие промежуточных звеньев, соединяющих

смерть с рождением, также интриговало меня с научной точки зрения. Но, видно, подземные перегоны мне не дано было постичь, и потому логика всех этих превращений от меня ускользала и я не понимал, кому понадобилось делать из меня посмешище. То индеец, то, видите ли, итальянец, а то попросту невинный ребенок Митя Дятлов, скончавшийся неизвестно зачем восьми лет от роду где-то на рубеже 30-х годов 19-го столетия.

Лишь один раз предо мной приоткрылась завеса, опускающаяся в антрактах, и я увидел себя лежащим на столе, в чепчике, в кисейном платье, в позе трупа, вполне сформировавшегося и приуроченного к захоронению. Подле стола, не стесняясь, плакал навзрыд мой муж, а мои дети приподымались на цыпочки, с ужасом и любопытством взглядывая в лицо, уже начинавшее видоизменяться. Но сам я, живой человек, смотрел на эту сцену откуда-то сбоку и свысока, и я тоже плакал и кричал во весь голос, чтобы они подождали со мною прощаться, потому что, может быть, я соберусь еще с силами и встану. А также я просил, чтобы они убрали цветы, потому что меня мутило от этого запаха кондитерской. Но они не обращали на меня никакого внимания и скопом вынесли мое тело в дверь, как заведено, ногами вперед, и я бежал за ними по нашей мраморной лестнице, крича, чтобы меня подождали, и потерял сознание...

Иногда в этом потоке нахлынувших воспоминаний я утрачивал ясность мысли, кто я такой и где нахожусь. Мне начинало казаться, что меня нет, а есть лишь бесконечный ряд разрозненных эпизодов, случившихся с другими людьми — до меня и после меня. Чтобы как-то восстановить и засвидетельствовать мою подлинность, я крался к зеркалу и сосредоточенно туда смотрелся. Но это мне помогало очень ненадолго.

Человек уж так устроен, что его наружность всегда кажется ему недостаточно убедительной. Глядя в зеркало, мы не перестаем удивляться: неужели вон то мерзкое отражение принадлежит лично мне? не может быть! В этой невозможности отделить себя от себя есть что-то фатальное в нашей жизни, и мне, наблюдавшему однажды свои похороны и только что описавшему это явление, позволительно будет заметить, что чувство, которое я испытал тогда, лишь повторило в удесятеренных размерах наши общие переживания перед зеркалом. Это — чувство несогласия с тем, что тебя выносят куда-то вовне, в то время как ты находишься вот здесь, внутри. Кто-то, я полагаю, сидит в нас и всякий раз горячо протестует, когда его хотят уверить, будто он и есть

та самая личность, которую он видит перед собой. Поднесите ему к носу сколько угодно зеркал самой лучшей конструкции, он, сидящий в нас безвыходно и безвыездно,— глянет и замашет руками:

— Что вы, с ума сошли?! Разве это я?

— А кто же тогда?

— Нет-нет, это не я, не я! — запищит он вопреки очевидности.

Лишь хорошенькие женщины способны часами бесстрашно на себя любоваться. Но это объясняется тем, что они мало думают и смотрят на себя не своими глазами, а посторонним взглядом своих оценщиков и потребителей. Все же прочие, нормальные и умные люди, не выдерживают испытания зеркалом. Потому что зеркало, как смерть, противоположно нашей природе и вызывает в нас тот же страх, недоверие и любопытство.

Сомнительно, чтобы кусок стекла, обмазанный какой-то пакостью, был способен правильно передать всю глубину человека. И мы начинаем храбриться, кривляться и гримасничать, точно хотим этим выразить свое сомнение в призраке, который с независимым видом маячит перед нами. Дескать — ну тебя! пошел прочь! сгинь! рассыпья!

Ужасает, однако, то, что вопреки здравому смыслу он также начинает кривляться вслед за тобою, и дует на тебя, и бормочет прямо в глаза: «Рассыпья, дурак, рассыпья!»

Вот и не знаешь, кому верить — ему или себе? — и мучаешься над мировыми загадками, и сомневаешься, и строишь глупые рожи, пока не плюнешь на него в сердцах и не пойдешь прочь, довольный уже тем, что он тоже очищает позицию и вопрос о твоём бессмертии остается пока открытым.

Попробуйте часок-другой провести перед зеркалом, и вы поймете меня.

Но мои сомнения были еще мучительнее. Через несколько минут задумчивого противостояния передо мной возникали портреты тех самых существ, которые когда-то здесь обитали и глядели на себя в различные зеркала. Своей непривлекательной внешностью они оттесняли на задний план мое собственное исконное изображение — какое я всегда знал за собой и мог бы подтвердить это десятками фотокарточек. Теперь оно подергивалось ухмылками и прищурками, оно закатывало глаза, и финтило носом, и намывливалось для бритья, и слезилось, и пузырило щеки, и выдавливалось из себя угри и прыщи, хотя сам я при этом ничего такого не делал, но сохранял изо всех сил спокойствие

и серьезность. Мне приходилось сдерживаться из боязни, что мое лицо по старому обычаю захочет прийти в соответствие со своим отражением. Тогда бы, передразнивая чужие гримасы, я бы окончательно свихнулся как самостоятельная единица. Поэтому, подходя к зеркалу, я всякий раз принимал каменное выражение.

Не знаю, чем бы кончились эти опыты, если бы одна встреча не показала мне тогда всю рискованность этой игры с призраками памяти, грозившими прогнать меня с насиженного места.

Это был коричневый человек, маленький, пожилой, угловатый, похожий на летучую мышь со свернутыми перепонками. В качестве отражателя он пользовался какой-то стекляшкой, многогранно дробившей его фигурку, и без того достаточно ломаную. Но вот крупным планом показалась его голова, лысая, костистая, туго обтянутая темной, пропеченной кожей, и злобное изможденное личико глянуло на меня с такой пронзительностью, что я понял — он здесь, он видит меня. Да, я видел его, а он видел меня, и мы замерли друг перед другом в испуганном изумлении, потому что он тоже вдруг заметил, что я смотрю на него, и был не меньше меня поражен и перепуган. «Боже мой, неужто я был когда-то таким?!» — мелькнуло у меня в голове, и далекое жгучее воспоминание коснулось моего мокрого, моего похолодевшего лба...

Пустыня. Кварц. Солнце. У меня в пальцах кристалл. Что-то будет со мною через семьдесят пять обновлений? Спрошу?.. Нельзя спрашивать! Спрошу! Никто не узнает. ...Вижу себя. Мудрая, красивая, кожаная голова... Кто — это? Кто — это? Белое, скользкое, в поту. Похож на улитку. До чего отвратителен! Какое-то мясо в тряпье. Веревка на шее. Удушенник. Выродок. Меня заметил. Глядит! Оттуда глядит!! Неужто видит? Видит, видит... Губы трясутся. И это — я, я! — таким буду?!

И почти одновременно с ним, на его темно-коричневом фоне, я увидел в зеркале себя — таким, каким он меня увидел тогда в своем кристалле, — и память о моем тогдашнем впечатлении от моего теперешнего состояния мигом нарисовала мне его: в неммыслимом пиджачке, в галстучке, обвязанном вокруг его белой, ублодочной головенки... Я, кожаный, задохнулся от ненависти к тому, пиджачному и студенистому. И я бросился прочь от кристалла (от зеркала?) — по пустыне (по комнате?) и, упав на кровать (на песок?), закрыл лицо руками. Мне показалось, что он сделал то же самое со своим — я не знаю уже с каким — кожаным или студенистым? — лицом...

Так они встретились и разошлись —

— вспомнивший о том,
КТО увидал,
как он вспоминает,
и увидавший того,
КТО вспомнил,
как он увидал.

Между ними лежал промежуток в 5000 лет. Их было двое. А меня среди них не было...

Из этого отсутствующего состояния меня вывела Наташа. Она спросила удивленно:

— Ты спишь? Среди дня? Ты чем-нибудь заболел?

Это нежное «ты», сказанное Наташей, относилось лично ко мне, потому что в комнате никого не было, кроме нее и меня.

— Да,— ответил я, радостно вставая с кровати.— Я спал. Я здоров. Я отлично себя чувствую. Я рад твоему приходу. Я так рад. Я так, я так тебя люблю.

И мы крепко расцеловались...

Визиты Наташи в эти дни были для меня просветлением. Она вносила в мой дом недостающую дозу реальности. Рядом с нею я чувствовал себя крепче и уверенней в жизни, не казавшейся мне такой уж непостоянной, если здесь была Наташа, про которую я твердо знал, что любил ее и люблю. Мне нравилось слушать ее рассказы о профессорах, экзаменах и дипломных работах (она писала диплом о Тургеневе и собиралась кончать в этом году). И то, как она в пять минут приготавливала яичницу из трех яиц и создавала на салфетке иллюзию чистоты и уюта, и то, как она устраивала из какого-нибудь полотенца изящный фартучек на груди и сразу принимала вид молодой хозяйки, или то, как она перекусывала нитку возле самой иглы,— все это также нравилось мне и укрепляло в сознании, что все в этом мире стоит на своих местах.

Однако смотреть на нее слишком пристально я по-прежнему избегал. Не то чтобы я боялся сигналов об опасности, которая все равно не смогла бы от этого исчезнуть. А просто мне не хотелось лишний раз производить разрушения на ее лице, регулярно случавшиеся при слишком сильном всматривании. Поэтому я предпочитал целовать ее на ощупь, не глядя, а в разговорах с нею по преимуществу смотрел на пол или в окно.

Она, конечно, заметила эту мою перемену и думала, что я догадываюсь о ее связи с Борисом, но мы теперь не касались никаких скользких тем, на что у каждого из нас

были свои причины. Новогодний успех в роли предсказателя я ей коротко объяснил давним знакомством с популярной системой научных опытов и развлечений Тома Тита. Наташа не стала меня расспрашивать. Она только допытывалась чаще обычного, не разлюбил ли я ее из-за каких-нибудь пустяков, и на этот вопрос я говорил, что ничего в отношении к ней у меня не изменилось, и обнимал ее в доказательство, поглядывая на пол или в окно.

На дворе, несмотря на январь, стояла слякоть, и на соседних крышах висели сосульки, и, хотя дворники их скалывали почти ежедневно, они вновь вырастали, как грибы. И поглядев из окна на эту картину, удручавшую меня своей неизбежностью, я принимался торопить Наташу с отъездом.

Разумеется, я не обмолвился ни о 19 января, которое приближалось, ни об угрозе, нависшей над нами из Пнездниковского переулка, с высоты большого, десятиэтажного дома, вполне достаточного, чтобы убить слабую женщину. Но я обдумал все, и все взвесил, и объявил Наташе про свое намерение провести вместе с нею отпуск вдали от города, на лоне природы. За пять суток, 14 января, я сказал, что нельзя медлить и сегодня мы уезжаем — поезд отходит ночью, билеты куплены. Однако никаких билетов у меня не было и денег тоже не было, и когда Наташа ушла складывать чемоданы, я решил прибегнуть к Борису за неимением лучшего выхода. Мне представлялось, что он не посмеет отказать в одолжении, если явиться к нему внезапно и без объяснений попросить займа, под расписку, полторы тысячи.

В самом деле, Борис сперва отнекивался и приbedнялся, но вскоре пошел на попятный, стоило намекнуть, в каком потайном отделении письменного стола хранятся у него деньги и в каких купюрах.

— Ты что же — насквозь видишь? Тебе бы сыщиком быть, — заявил он, некрасиво кривясь в заочневшей улыбке. — Кстати, могу поздравить. Студентка — помнишь — на вечер? Получила «пяť» по марксизму. Все в точности, как ты предсказал. 5-й съезд партии и 4-й закон диалектики. А Бельчикова исключили из партии. Я проверял. Лавка в Семипалатинске полностью подтвердилась...

Мне было жаль Бельчикова. Я не хотел ему наносить жизненного ущерба, я просто тогда не подумал о возможных последствиях. Но с Борисом следовало держаться настороже. Борис был способен причинить крупные гадости. Вот и сейчас вокруг него витало хмурое облачко зеленовато-бурой окраски — верный признак злобы в сочетании с душе-

вной подавленностью. Оно обволакивало его впалые щеки и завихрялось над теменем. Это было похоже на табачный дым, но Борис не курил.

— Послушай,— сказал он вкрадчиво и перестал улыбаться.— Бери полторы тысячи. Пожалуйста. Но зачем тебе Наташа? Куда тебе с ней? На твоём месте, с твоими феноменальными данными — женщины, автомобили. Дипломат высшего ранга, следователь в международном разряде. Ни один преступник не денется. А Наташа тебе помеха. Вся карьера насмарку. Она будет спать с кем придется. Я ее знаю. Направо-налево. Она со мною живет. Хотя ты ясновидящий, а у себя под носом не видишь. Она ко мне бегаёт каждое воскресенье. Можешь себе представить. На этой самой тахте...

И он пустился со мною в такую глубину откровенности, что я попросил его замолчать. В противном случае я пригрозил рассказать ему всю подноготную обо всех болезнях, от которых он содохнет, если не перестанет.

Это не привело его в разум. Он захлебывался от страсти. Он силился опозорить Наташу, чтобы вернуть ее в жены. Притом он ужасно хвастал и безбожно преувеличивал, расписывая в ярких цветах, что было и чего не бывало.

Честно скажу, в этот раз мне было не до отгадок. Я нимало не заботился о правдивости моего предсказания, а городил все, что попало, и врал без зазрения совести — лишь бы его заглушить. Мне хотелось побольнее задеть это хилое тело, посмевшее у меня на глазах любить Наташу с такой мстительностью и бесстыдством. Наши речи скрестились наподобие шпаг или, образно говоря, пистолетных выстрелов, которыми мы обменивались с большой скоростью на малой дистанции:

— Вот на этой тахте. Двенадцать способов. Во-первых, мы ложимся...

— ...Откроется туберкулез. За четыре месяца — пятнадцать килограмм чистого веса. Ты будешь трястись от кашля и надеяться, что это бронхит.

— В-третьих, она лежит, а я ложусь сбоку и — на боку...

— Резекция ребер. Правое легкое сгнило. В левом — каверна. Не считая язвы желудка. Ни сесть, ни встать...

— Я встаю, она тоже встает, и мы приступаем...

— Кашель в сочетании с рвотой...

— Поцелуи переходят в укусы...

— Испарина!

— Бедро!

— Желудок!!

- Грудь!
- Скелет!!
- Задницей!
- Задница!!
- Вот на этой тахте...
- На этой самой тахте...
- Под себя!
- Под себя...
- Но больше всего мне нравится, когда...
- Кожа да кости!..
- Когда в шестом способе мы ложимся...
- Пролежни!..
- Шестой способ...
- Пролежни! пролежни!

На шестом способе я его доконал. Позабыв о мужской силе, которой он только что козырял, Борис заткнул уши пальцами и завизжал, как женщина:

— И-и-и-и-и-и-и-и! И-и-и-и-и-и-и-и!

Я поговорил еще немного об отеках, но он вел себя по-свински — кричал и топал ногами, не желая слушать мои продолжения про обещанные ему неприятности. Тогда, без лишних слов, я выдвинул из его стола потайной ящичек, отсчитал себе взаймы полторы тысячи и написал расписку.

Борис утих. Не вынимая пальцы из раковин, он с ужасом следил за моими губами. Ему казалось, что я снова буду высказываться. Вид у него был совсем больной.

Я поднес расписку к самому его носу. В ней было сказано, что полторы тысячи я верну через месяц. Он молча кивнул головой в знак согласия. Разговаривать и спорить со мною он больше не решался. Я сказал ему «до свидания» и поспешил уйти: мне тоже было мерзко и тяжело...

В перепалке с Борисом меня контузило. Конечно, я был подготовлен к его сообщению и мог учитывать, где тут правда, а где голый обман. И все же мне было больно еще и еще узнавать, что он проделывает с Наташей по воскресеньям то же самое, что мы с нею проделывали наедине в будние дни. У меня даже мелькнула идея, не уехать ли мне одному, предоставив событиям развиваться, как им захочется. Но сознание, что жизнь Наташи висит на волоске, меня удерживало и охлаждало.

Дав крюку, я завернул в Гнездиновский. Место опасности было оцеплено. С крыши дома № 10 скидывали подтаивший снег. Ледяные снаряды врезались в асфальт, взметая кучи воды и грязи. Мостовая стонала под ударами, по

воздуху разносилась пальба. Ротозей, рискуя забрызгаться, восхищались героизмом дворников...

Однако меры предосторожности ничем не увенчались. Сосулька была вне досягаемости. Она находилась в зачаточной форме — величиной с пуговицу, и, угнездившись за карнизом, накапливала убойные силы. Ее никто не замечал. Она созревала.

Единственный способ — уехать подальше от этой адской машины. Я поехал на вокзал и взял два билета.

Понимал ли я тогда всю безвыходность положения? Что наши усилия не ушли далеко от хлопот обыкновенного дворника? Что мы расчищаем путь событиям и помогаем им соблюдать аккуратность?..

Нет, я гнал от себя эти мысли. Должно быть, инстинкт самосохранения понуждал меня к бесплодной борьбе, потому что только так мы еще можем жить.

Я говорил себе, что бояться смешно и глупо. Не война, не эпидемия, а пустяковая сосулька, миллионная доля случайности в совпадении попадания. Сделай два шага, перейди на другую сторону — и дело в шляпе. А ведь мы уедем отсюда за тысячу километров, отсидимся за Уральским хребтом и вернемся домой через месяц, когда сосулька растает или обрушится на случайно подоспевшего проходимца. Только бы, думал я, не спохватился Борис, только бы меня по его навету не сцапали на вокзале и силой не помешали нашему бегству из города, от этой не ко времени затянувшейся гололедицы.

Казалось, мы с места никак не съедем. Лишь когда поезд тронулся, а вагон дернулся и поплыл, у меня отлегло от сердца. Я спросил две постели, и, пока Наташа раскладывалась, я покуривал, примостившись в сторонке, и поглядывал на нее.

Вагон мотало и подбрасывало, а Наташа легко и проворно, будто всегда этим занималась, вправляла подушки в наволочки с линияльными штемпелями. В ее приготовлениях сквозило такое спокойствие, что я сказал, нагибаясь к ее склоненной фигуре:

— Наташа, — сказал я, — Наташа, давай поженимся.

Она хозяйственно подоткнула уголки покрывала и уселась напротив меня, поджав одну ножку.

— Ты же знаешь, — сказала она, — Борис не дает развода.

— Все равно, — настаивал я, — все равно с этой минуты мы поселимся вместе. Мы начнем крепкую, здоровую семейную жизнь. Давай считать нашу поездку свадебным путешествием. Согласна?..

Наташа ничего не ответила, но, рассеивая подозрения, провела по моим глазам своей легкой рукой.

4

Эх, поезд, птица-поезд! кто тебя выдумал? знать у бойкого народа мог ты только родиться! И хоть выдумал тебя не тульский и не ярославский расторопный мужик, а изобрел, говорят, для пользы дела мудрец-англичанин Стефенсон, уж больно пришлось тебе впору по нашей русской равнине и несешься вскачь по кочкам, по пригоркам, по телеграфным столбам, и замедляешь, и убыстряешь движение, пока не зарядит тебе в очи. А приглядеться — печь на колесах, деревянный самовар с прицепом. Сердитый на взгляд, но добрый, великодушный, кудрявый. Пыхтит себе, отдувается и прет на рожон, куда ни попросишь, только ухнет для острастки, да как свистнет в два пальца, заломив шапку на затылок, таким фертом, таким чертом, таким черт-те каким, сам не знает, гоголем: дескать, помни наших, не то раздавлю! чем мы хуже других?!

Вот и станция. Ошалелые бабы, увешанные детишками и сундуками, лезут под колеса. Пужливые торговки, дуча в кулаки, продают картофель, укутанный в тряпки, вкусный, еще тепленький, огурцы, курятину и стреляют глазами, опасаясь гонений, властей, облавы, поборов. Безногий калека, отталкиваясь руками, в морской тельняшке, с кепкой в зубах, скачкообразно передвигается по вагону. Кипяток. Буфет с пряниками. Надпись «1-е Мая», сохраненная с прошлогодней весны, выцветшая за сезон. Осталась одна минута. Начальник станции в багряном околыше расхаживает по платформе, такой всегда строгий, зоркий, поджарый, высушенный на транспорте, в угаре, в передрягах с товарняком.

Не успели заметить, как поехали. Замелькали бабы, детишки, лозунги, сундуки, последний домишко с последним тряпьем, прохлаждающимся на заборе, и вот мы вновь мчимся одни по ледяной пустыне, в грохоте, в треске, в пороховом дыму, огибая окрестность, обскакивая на полном ходу другие народы и государства.

Я проснулся от холода, за Ярославлем. Вагон мелко дрожал доброй хорошей рысью. Наташа еще спала, свернувшись калачиком, а я протер стекло и, удобно подперев подбородок, уставился с верхней полки на проезжий пейзаж.

Мы ехали белым лесом, без единого пятнышка, и если вчера в Москве нас одолевала распутица, то здесь царила крепкая правильная зима и было чисто, как в церкви накануне

не большого праздника. Деревья, покрытые инеем и облепленные снегом, были прекрасны. Они имели видимость фиговых и кокосовых пальм и бананов, какие растут, наверное, только в Индии или в Бразилии и уж никак не подходят к нашей скудоумной природе. И то, что она, природа, вдруг расщедрилась на эти богатства, неизвестно откуда взявшиеся, заставило меня вспомнить о каменноугольном периоде, когда и у нас в России, как доказывает наука, имела своя — не хуже бразильской — тропическая растительность, которую мы теперь под видом антрацита сжигаем и пускаем в трубу.

Но раздумье об этой утрате древовидных папоротников и хвощей не ввергало меня в уныние и безысходный пессимизм. Трубчатые стволы, и перистые опахала, и веера, и звезды, и вензеля, и перстни, сгорая дотла в паровозе, возвращались к нам обратно — выполненные из снега — по обеим сторонам железнодорожного полотна. Они возникали, не успев исчезнуть, и хотя они были немного не такими, было в их основе что-то такое, такое хрустальное и божественно-твердое, что сообщало всем этим жиденьким березкам да елкам неизгладимый папоротниковый отпечаток.

Значит, рассуждая логически, ничто не гибнет в природе, но все укореняется одно в другом, отпечатывается, затвердевает. Значит, и мы, люди, сохраняем в подвижном лице, в разных привычках, капризах и в капризных улыбках — затвердевшие признаки всех тех, кто жил когда-то в наших трубчатых душах, как в катакомбах, как в норах, и оставил нам на память останки своих заселений.

Эта мысль еще недавно бросала меня в дрожь. Мое миниатюрное «я» эгоистически сопротивлялось пришельцам, которые, подобно вшам, неожиданно-негаданно завелись у меня в голове и грозили полным расстройством всей моей центральной системы. Но сейчас — перед лицом природы, обнаруживающей порядок и стройность, — это присутствие посторонних существ только тешило и забавляло меня и приводило к сознанию моей глубины, силы и внутренней полноценности. Все, что ни лезло в голову, я обдумывал на ходу, лежа на верхней полке животом вниз, и прикидывал так и эдак мои наблюдения над жизнью, и подкладывал под них прочный философский фундамент.

Удивительно, как это так наука до сих пор не открыла и не доказала вполне научно и логично — переселение душ. А примеры — на каждом шагу. Возьмем, чтобы далеко не идти, шестипалых младенцев. Родится ребенок, а у него взамен пятерни — шестерня. Спрашивается: откуда взялся

лишний мизинец? Медицина — бессильна. А если вдуматься, пораскинуть мозгами? Ведь ясно же — это тот, посторонний, запятанный, кто давно уже умер, решил заявить о себе и, воспользовавшись удачным моментом, просунул в чужую ладонь дополнительный палец. Дескать, здесь я, здесь! сижу и скучаю, и хочется мне хотя бы одним пальчиком на Божьем свете вильнуть.

Опять же — сумасшедшие. Какая дальновидность прозрений! Ходит — надменный — и всем говорит: «Я Юлий Цезарь». И никто ему не верит. Никто не верит, а я — верю. Верю, потому что знаю: был он Юлием Цезарем. Ну, может, не самим Цезарем, но каким-нибудь другим, тоже выдающимся полководцем бывать ему приходилось. Просто немного запямятовал — кем, когда, какого рода войск...

Но к чему непременно брать сумасшедшие крайности? Разве любой из нас — самый смиренный, застенчивый, напуганный жизнью товарищ — не чувствовал иногда прилив храбрости, вдохновения, государственного ума? То-то и оно! Быть может, это Хлодвиг или Байрон пробудился в нас на секунду. А мы живем и не знаем...

А может, это был сам Леонардо да Винчи?!

Я не настаиваю на Леонардо. Я делаю допущение. Мне принцип важен, а не Леонардо да Винчи. И совсем не о себе я пекусь. Мне лично — хватает: Грета, Степан Алексеевич — тот самый, что подстрелил глухаря... Или невинный ребенок Митя Дятлов, умерший восьми лет от роду на рубеже 30-х годов... Всех не перечесать... А все ж таки было б недурственно в дополнение к Мите и Грете заполучить какого-нибудь, ну, на худой конец, Байрона, что ли... Приятно это — черт побери! — пройтись по Цветному бульвару этаким чертом, этаким лордом Байроном, раскидывая по сторонам этаким, не совсем обычный, байронический взгляд!

Затем, вслед за историей, мне припомнились другие предметы, какие мы изучали в школе: география, зоология... Человеческий эмбрион, говорят, претерпевает — стадии. Сперва — рыба, потом, кажется, земноводное, потом постепенно дорастает до обезьяньего сходства... Так вон оно что! И рыбам и даже лягушкам дана в моем теле некоторая возможность попрыгать, побегать, себя показать, людей посмотреть. Только — видать по всему — не досказал до конца наш старенький школьный учитель, что не какие-то отвлеченные стадии проходил мой организм в бытность глупым зародышем, по частям формируясь в родной материнской утробе. А совершенно конкретный, живой, неповторимый карась был моим близнецом и, так сказать, совместителем в эти

золотые часы — тот самый, верно, карась, что плавал в реке Амазонке 18 миллионов лет тому назад. Остальные же рыбки — каждая в отдельности — разместились в других моих современниках. Вот оно как все получилось и образовалось.

Так по ходу поезда выростала моя теория, единственно, быть может, способная насытить образованный ум. Подперев себя изнутри каркасом железных выводов, я лежал на верхней полке и грезил о бесконечности, о бессмертии и равноправии. Потому что теперь я твердо знал: никто из нас не исчезнет и, как сказано в одной песне, — «никогда и нигде не пропадет». Просто мы переедем в другую, возможно, еще более комфортабельную квартиру. Всем скопом переедем. Вместе с Митей Дятловым, и Гретой, и Степаном Алексеевичем, и рыбкой. Байрона бы только не забыть!

Мы разместимся внутри какого-нибудь просторного будущего гражданина. И, мне думается, гражданин не останется к нам безразличным. Он будет чутким, вежливым, передовым человеком, да и наука в те прогрессивные времена обо всем ему подробно расскажет. И вот, сидя у окна, в тихий летний вечер, он почувствует вдруг в душе беспокойное копошение. Какие-то внезапные настроения прольются из его сердца, и фантастические идеи осенят его усталую голову. Сначала он удивится, смутится, а потом вспомнит о переселенцах и скажет:

— А, это ты, дружище?! Узнаю тебя. Как поживаешь? Передавай привет Хлодвигу и Леонардо да Винчи!

О вы, человек будущего! обратите на меня внимание! Не забудьте вспомнить обо мне в тот тихий летний вечер. Смотрите — я улыбаюсь вам, я улыбаюсь в вас, я улыбаюсь вами. Разве умер я, а не дышу еще в каждом трепете вашей руки?!

Вот он я! Вы думаете — меня нет? Вы думаете — я исчез навеки? Остановитесь! Умершие люди поют в вашем теле, умершие души гудят в ваших нервах. Прислушайтесь! Так жужжат пчелы в улье, так звучат телеграфные провода, разнося вести по свету. Мы тоже были людьми, тоже плакали и смеялись. Так оглянись же на нас!

Не по злобе, не из зависти, а только из чувства дружбы и солидарности мне хочется предупредить вас: вы тоже умрете. И вы придете к нам, как равный к равным, и мы полетим дальше, дальше, в неведомые времена и пространства!.. Я обещаю вам это.

...За такими рассуждениями я совсем позабыл о Наташе. То есть не то чтобы позабыл, а я перестал о ней много думать и беспокоиться и только бессознательно помнил, что

она едет рядом, оставаясь неизменно той, какой она всегда была для меня,— моей прекрасной Наташей и никем больше. И хотя я мог допустить чисто умозрительно, что у нее внутри тоже кто-нибудь есть, мне почему-то не хотелось ничего знать об этом и я не допускал мысли о такой вероятности. Моя разнузданная фантазия сохраняла ее нетронутой, вечной, единственной и неделимой Наташей, суеверно обходя стороною это деликатное место. Даже строя планы нашей счастливой жизни, я не слишком их уточнял и детализировал и старался не забегать дальше той минуты, когда Наташа проснется и позовет меня завтракать.

До чего же это приятно — ты завтракаешь, а тебя везут! И что бы ты ни делал — ты едешь! Строишь в окно — и едешь, отвернешься — все равно едешь. Читаешь, куришь,ковыряешь в зубах — и тем не менее продолжаешь ехать все дальше, дальше, и ни одна минута твоей жизни не пропадает.

А эти милые паровозные чудеса в решетке! Плевательницы, привинченные к полу; загнутые ручки у двери (нажмешь — она открывается!); зябкий, немного волнующий ветерок из уборной; слабенький, но уваристый, слегка прогорклый чаек!..

Чтобы согреться и приподнять еще выше свое счастливое настроение, я выпил стакан вина и закусил. Наташа не могла надвинуться моему аппетиту. Я кушал за семерых.

Нет, я не был так уж голоден, но испытывал — впервые в жизни — странную потребность — глотать. Не столько есть, сколько — глотать, проглатывать. Будто вместе со мною кормилась группа детей разного возраста. И я мысленно приговаривал, опуская в горло куски: «Это — тебе, это — мне, это — тебе. А вот это — мне...»

Мне хотелось быть со всеми одинаково справедливым. Даже тому темнокожему, сморщенному старикашке, который за что-то невзлюбил меня с первого взгляда, я бросил сухой колбасный огрызок, говоря: «Ешь да помалкивай!»

Но особенное расположение, если не сказать — любовь, я чувствовал к Мите Дятлову. Еще бы — совсем дитя, сирота, шустренький такой, игривый. Все просил у меня винца попробовать. Я, конечно, отказывал: еще маленький. Тогда он что, безобразник, выкинул! Разложила Наташа конфетки к чаю, а он подсмотрел, да как закричит:

— Дай мне! дай мне! мне! мне! — закричал я не своим, каким-то детским, писклявым голосом и схватил со столика сразу три штуки.

Наташа неуверенно засмеялась. Но я взял себя в руки и все обратил в шутку. А Митька за свое безобразие был

наказан. Конфетки я отдал другому, уж не скажу точно какому выкормышу — быть может, моему первенцу, тихому первобытному увальню, что перед самым Новым годом перетрусил встречи с троллейбусом. Он высосал их с благодарностью, урча как медвежонок...

— Наташа, — сказал я, немного подумав. — Ты во мне не замечаешь ничего особенного?

— Что ты имеешь в виду? — спросила Наташа и посмотрела так, как если бы это я что-нибудь в ней обнаружил.

— Нет, ничего... Но тебе не кажется, что я какой-то более толстый?.. Толще, чем всегда...

И я обвел руками воображаемую фигуру, стремясь лучше выразить мою внутреннюю полноту...

— Ты все всегда придумываешь, когда выпьешь, — сказала Наташа обеспокоенным тоном, и я понял, что сейчас она спросит о моем отношении...

— А ты меня не разлюбил? — спросила Наташа.

— Нет-нет! В отношениях к тебе у меня ничего не изменилось.

— Как ты сказал?

— Я говорю — в отношениях к тебе у меня все в порядке, — повторил я раздраженно и пожалел, что затеял с нею этот разговор.

Ведь стоит заговорить или подумать о чем-нибудь, как сразу все начинается. Я давно это заметил. Быть может, мои предсказания только потому сбываются, что когда все известно — деваться некуда, и если бы мы не знали заранее, что должно с нами случиться, ничего бы не случилось...

— Наташа! — воскликнул я умоляющим голосом. — Я люблю тебя, Наташа! Я люблю тебя больше, чем прежде! Я никогда, никогда тебя не покину!

И я намеревался обнять ее и прервать весь разговор долгими поцелуями, потому что в нашем купе мы ехали одни и могли целоваться сколько угодно, ни о чем не волнуясь.

— Погоди! — сказала Наташа и вытерла губы. — Ах, если б ты знал!.. Я должна тебе рассказать одну вещь...

— Ничего не надо рассказывать... Я сам все знаю. Посмотри лучше туда — какой домик мы проезжаем. Дивный домик. С крышей, с трубой, а из трубы — дым. Вот бы нам с тобой жить в таком домике. Ходить на лыжах — за хлебом, за керосином. Пока дети не подрастут. Сын или дочь — кого захочется. Лично я, например, вполне созрел для отцовства. Во мне пробудилось то самое, что бывает, наверное, у беременной женщины...

Но она не поняла меня и даже не посмотрела на домик, который мы уже проехали. Ей не терпелось облегчить душу

и рассказать по совести все то, что мне без ее признаний было отлично известно и о чем нам следовало молчать, чтобы не накликать беды. Уж если сам я ни разу не попрекнул ее ничем и сдержал ревнивые чувства и даже, в какой-то мере, ограничил свои способности — лишь бы сохранить в целости ее жизнь и здоровье, — то она-то могла бы тоже сколько-нибудь подождать с этим делом и не говорить мне ничего о своей связи с Борисом.

Да и что нового могла она мне сообщить? Она сказала только, приуменьшая размеры, что однажды, под влиянием настроения, зашла с Борисом немного дальше, чем он того заслуживал, и теперь жестоко раскаивается в этом поступке. Но сказанных ею, робких, со слезами в голосе, слов было достаточно, чтобы раздражить мои мысли и направить их внимание в эту сторону. Едва лишь было произнесено имя Бориса, как я подумал, что он, конечно, не оставил нас без последствий и в любую минуту надо ждать погони. Со вчерашнего вечера он успел развить скорость и заявить на меня в какое-нибудь государственное учреждение, которое не преминет вмешаться и все испортить. И как только я подумал об этом, мне стало ясно, что беды не миновать и она уже где-то здесь, по соседству, приготовила нам сюрприз, и что сам я об этом давно знаю, но храбрюсь и делаю вид, что все в порядке.

— Пожалуйста, ничего не думай, — говорила Наташа, трясясь у меня на груди. — Я люблю тебя и ненавижу Бориса. Но кажется — я беременна, не знаю от кого. Поступай, как знаешь...

Господи! Этого еще не хватало! Ну какое мне дело до ее пачкотни с Борисом! Не все ли равно — от меня, от него ли? Да разве не собирался я сам намекнуть ей в облегчение, что готов взять на себя любую беременность? — только бы она ничего не говорила мне о Борисе и не привлекала внимание тех четырех военных, что ходят из вагона в вагон и просматривают документы.

Видать, они сели в поезд уже за Ярославлем и, обследуя проезжую публику, медленно двигались к нам. Теперь нас отделяло всего три вагона, и хотя на таком расстоянии я ничего не мог разобрать, мне было понятно и так, кого они разыскивают и какого рода инструкция лежит в нагрудном кармане самого главного из них — по фамилии почему-то Сысов.

А с другого конца, по ходу поезда — я только что это заметил — двигалась вторая четверка, навстречу первой, прочесывая пассажиров. Мы были в центре. Они приближались к нам с двух концов.

— Ах, Наташа! Да перестань ты плакать! Все это сущие пустяки. Скажи лучше — зачем ты позвонила Борису перед самым нашим отъездом? Ты сказала ему номер вагона? Нет? Ну, и то хорошо.

Объясняться с нею не было времени. Я был как-то растерян, рассеян. Все мои противоречивые чувства — все дармоеды, ехавшие со мною по одному билету, — вдруг всполошились и потащили в разные стороны. Одни — вероятно, бывшие женщины — убеждали расстаться с Наташей, да поскорее, чего путаться с этой дрянью, сам спасайся, пока не поздно. Другие больше всего жалели зря потраченных денег, которые надо вернуть через месяц. А кто-то посоветовал оказать вооруженное сопротивление.

Кто это был — я так и не понял. Степан Алексеевич со своими дворянскими замашками? индеец, ушедший под воду, не выпустив скальп изо рта? или какой-нибудь еще неопознанный неизвестный солдат, похороненный во мне рядом с трусостью и крохоборством? Милый, милый, наивный неизвестный солдат!..

Но заручившись его моральной и физической помощью, я мигом усмирил вшивую толпу подстрекателей. «Цыц, сволочи! всех перевешаю!» — пробормотал я сквозь зубы. И когда они смолкли и пришипилась, — стало слышно, как стучат колеса и скрипят деревянные перегородки, заглушая скрип сапог и отдаленный говор тех, кто искал меня по всему поезду.

Тогда я сказал Наташе, что пора вылезать, и она не спросила, как мы вылезем — ведь мы мчались по снежной равнине, а только спросила — а как чемоданы? И я схватил ее за руку и потянул по вагону. В тамбуре, на наше счастье, не было ни души, и дверь на волю, как я предвидел, не была заперта, хотя обычно ее запирают, чтобы никто не выпрыгнул и не расшибся. Холодный ветер, сдобренный снегом, ударил нам в глаза.

— Прыгай, прыгай! — кричал я Наташе, перекрикивая грохот колес. — Сугробы — не разобьешься. Я ручаюсь. Прыгай, тебе говорят!..

Но она боялась прыгать с такой высоты и на такой сильной скорости, потому что не знала, что бояться ей нечего и тут она застрахована и может прыгать сколько угодно — все равно ничего не будет. Я бы соскочил первым, чтобы подать ей пример, но опасался, что соскочу, а она уедет и я уж ничем не смогу ей помочь.

Четверо военных шарили в нашем вагоне и приближались к тамбуре. Я начал выталкивать Наташу и бить ее по

рукам, говоря, чтобы она прыгала, не задерживаясь, а Наташа не верила, и цеплялась руками, и зачем-то твердила, чтобы я не вытираивал ее на ходу и что у нее с Борисом нет ничего общего.

Может быть, мне удалось бы вытолкнуть ее и самому спрыгнуть в последний момент, но те, что ловили меня по доносу Бориса, уже ворвались к нам и окружили нас в одну секунду. Посыпались приказы, вопросы: кто такие, что здесь делаем и почему отворена дверь? Я отвечал, что мы вышли подышать воздухом, потому что моей жене сделалось нехорошо.

Наташа вся дрожала. Она никак не могла отделаться от странного впечатления, что я собирался — будто бы — столкнуть ее под колеса. Но все же она подтвердила, что мы дышали воздухом, и я оценил еще раз ее благородство... Впрочем, сейчас все это не имело значения. Меня опознали.

— Вы задержаны, прошу вас проследовать за мной, — сказал тот, кого звали Сысоевым. Он сунул мой паспорт в свой нагрудный карман и протянул бумагу, которую я не стал читать. Мне чудилось, что все это уже бывало со мною, и даже бурки Сысоева, отличные офицерские бурки, мне где-то раньше попадались. Никогда не видал я ни Сысоева, ни его беленьких бурок, а просто мог бы про все сказать: так я и знал! так оно все и представлялось мне с самого начала!

Самое грустное было то, что Наташу не арестовали. Ее отпускали без меня на все четыре стороны, и она, намереваясь вернуться в Москву, плакала третьими или четвертыми за сегодняшнее утро слезами.

— Ты не думай, — говорила Наташа, — я не вернусь к Борису. Я буду ждать тебя. Тебя скоро выпустят. Это ошибка. Я уверена, ты не думай...

Потом нас высадили на первой же станции. Утро было сухим и морозным. Полпоезда сбежалось смотреть, кого поймали. Баба в тулупе крестилась на меня, будто на мертвеца. Восемь военных гордо и почтительно меня сопровождали, словно знатного иностранца. Из них по крайней мере четверо сжимали незаметно в карманах рубчатые рукоятки наганов.

— Можете попрощаться с вашей подругой, — сказал Сысоев. — А вам, гражданочка, рекомендую отдохнуть на вокзале. Обратный поезд пойдет только вечером.

Я обнял Наташу и произнес внятно и тихо — последнее, что мог произнести в эту решительную минуту:

— Наташа! — сказал я. — Ты можешь думать про меня все, что хочешь. Считай меня, если хочешь, безумцем, но помни одно: когда вернешься домой — не вздумай ходить

в Гнездниковский. Такой переулочек, возле площади Пушкина, улицы Горького. Не заглядывай туда ни под каким видом. Особенно воздержись — в воскресенье, девятнадцатого января. Запомни: девятнадцатого! через четыре дня. В десять утра. Сиди дома. В крайнем случае, если пойдешь к Борису... Не качай головой, я знаю. Девятнадцатого — воскресенье, и тебе может случайно захотеться пойти к Борису. Что ж тут такого! Ничего особенного. Я не возражаю. Но только не ходи по Гнездниковскому переулку. Совсем не по пути. К тому же ты опоздаешь, если пойдешь в Гнездниковский. Вы же привыкли — с десяти. До половины одиннадцатого. Вот и хорошо. Найдется занятие. Не заметите, как время пройдет. Хоть до двенадцати. Сейчас — неважно. Главное — запомни: Гнездниковский... девятнадцатого... в десять утра...

И как только я высказал эту мысль, точившую меня непрерывно все это время, я понял, что не должен был ее говорить. Не скажи я Наташе — ей бы, может, никогда и в голову не пришло туда ходить, а теперь я первый все подготовил и обозначил, и уже ничего нельзя отменить и переделать.

— Какой Гнездниковский? — сказала Наташа. — Чего ты от меня хочешь? Не бывала я ни в каком Гнездниковском...

Я только махнул рукой и, сощурившись от злости и боли, крикнул своей охране:

— Пошли!

Пройдя шагов пятьдесят, я обернулся. Наташа стояла на том же месте, но выражение ее лица я не сумел разглядеть. Ее голова была от меня отрезана железнодорожным мостом... Зато вся остальная, нижняя часть Наташи, начиная от груди, была на виду. Ее талия сохраняла былую стройность и ничуть не потолстела. Лишь в самой сердцевине, крепкой и чистой, как хрусталь, виднелось темное пятнышко.

«Что бы это могло означать? — размышлял я про себя. — Почему гнилое пятнышко, занесенное Борисом, не растет и не развивается по законам природы? Ведь я согласен усыновить будущее дитя, я на все согласен... Почему же оно не покажется хотя бы в образе рыбки и не помашет мне на прощанье своей будущей ручкой?..»

Но сколько я ни старался — пятно не выросло в размере и не принимало желанного образа. Оно оставалось таким же темным, пока у меня от усилия не помутилось в глазах.

— Где же ваш вертолет? — сказал я Сысоеву, почтительно переживавшему мое горе. — Вечно вы запаздываете, капитан Сысоев...

— Через полчаса прибедет! — отвечал Сысоев и вдруг, щелкнув бурками, сделал под козырек.

5

Я попал в руки полковнику Тарасову. Знакомство с этим чудесным и простым человеком началось с того, что он повертел в воздухе запертым портсигаром с «Тремя богатырями» на крышке и весело гаркнул:

— А ну! Быстро! Считать умеешь? Сколько штук?

Полагая, что его занимают русские богатыри Васнецова, я рассеянно отвечал, что здесь выдавлено ровным счетом три человека, сидящих на трех лошадях.

— Сколько сигарет — я спрашиваю! — взревел полковник Тарасов, и тогда я догадался, какие проблемы его волнуют, и назвал — теперь уже точно не помню — число сигарет, наполняющих его богатырский давленный портсигар.

Проверив мое умение ориентироваться в пространстве и видеть предметы сквозь покрытие толщиной в 5 миллиметров, полковник перешел к измерениям во времени. Он прицелился мне в лицо из хорошего браунинга и спросил, через сколько секунд я ожидаю выстрела.

Эта шутка рассмешила меня, и, раскачиваясь на стуле, я смеялся до тех пор, пока его рука, утяжеленная браунингом, не затекла, а глаз полковника не подернулся кровеносной пленкой — от непрерывных стараний удержать на прицеле мое качающееся лицо. Затем я сказал:

— Во-первых, дорогой полковник, браунинг у вас не заряжен. Во-вторых, за мою персону вы отвечаете головой и не захотите ею пожертвовать ради чистого опыта. А в-третьих, — добавил я, — вы немедленно спрячете ваше оружие в стол и будете со мной разговаривать другим языком. Иначе я отказываюсь поддерживать деловое сотрудничество, которое, насколько мне известно, вы имеете предложить...

Полковник обиженно хмыкнул, убрал револьвер в стол и перешел со мною на «вы». Так мы стали друзьями.

У меня не было причин скрывать от полковника мою психическую организацию, превышающую лимиты среднего человека. К тому же имелась полная опись всех отгадок и предсказаний, произведенных мною публично в новогоднюю ночь и собранных воедино Борисом в пространное донесение. Этот документ, проверенный путем опроса свидетелей и послуживший основанием к задержанию моей личности — «годной приносить пользу в обороне государст-

ва»,—поступил по инстанциям к полковнику Тарасову для дальнейшего с его стороны разбирательства и применения.

Я не хотел заниматься рекламой и строить из себя какого-то чудотворца, но помочь полковнику в его стратегии считал своим гражданским долгом. И могу отметить без ложной скромности, что за краткое время моей работы я кое-что сделал для пользы народа и всего миролюбивого человечества. Так, например, мною были расшифрованы несколько таинственных телеграмм, посланных заезжим корреспондентом в одну официозную газетенку. А также я за сутки до срока предсказал падение одного кабинета в одной незначительной иностранной державе, чем помог нашей дипломатии произвести заблаговременные авансы... Касаться подробнее моих изысканий я не нахожу возможным по причине их полной и совершенной секретности. Скажу только: да! были дела! и мой труд не потрачен даром! и моя есль доля в нашем общем деле!..

В первое время мой шеф был очень доволен таким успехом и, чувствуя ко мне душевное расположение, говаривал:

— Вы далеко пойдете. Через недельку-другую — глядишь — мы с вами откроем какой-нибудь крупный заговор. Что-то давно не бывало заговоров... И следствие — при вашем участии — не затянется... Сразу всех выудим!..

Меня эти планы мало прельщали — не потому, что я сочувствовал заговорщикам, а просто по интеллигентской привычке считал не вполне для себя удобным вылавливать людей и проводить дознание с помощью телепатии и ясновидения. Мне всегда казалось, что в поимке преступника должен присутствовать элемент романтики и спортивного, я бы сказал, состязания. В противном случае разведка и розыск превратятся в заготовительное предприятие и потеряют весь блеск и притягательность для нашего юношества. Кроме того, мне было памятно, как меня самого недавно ловили, и я не спешил обнадеживать шефа в его дальних замыслах.

— Подождите, полковник. Моя осведомленность тоже имеет предел. Боюсь, шпионы не подойдут... Уж очень раскиданы, трудно учесть... Их, шпионов, среди населения, небось, один на целую сотню. И того хуже, и того меньше. Совсем слабый процент.

— А ты напрягись! Все силы! Ведь родина-мать смотрит. Требует! С надеждой. Одевает, кормит... Бесплатное обучение. Детские сады, ясли. Изба-читальня. Для родной матери, не для кого-нибудь. Если прикажет родина-мать, мать твою родину! Всех вас! Ведь, эх! себя не пожалее!..

Глаза полковника увлажнились. Он рвал крюки на груди и скрежетал зубами. А я, слушая эти речи, чувствовал себя пристыженным.

В самом деле, мне были созданы все условия, о каких только можно мечтать в тюремной практике. Мягкая мебель. Абажур с кистями. Персональная ванна. Четыре молодых человека — в чине лейтенанта, не меньше, — стерегли мой покой и выполняли попутно обязанности горничной, секретаря, судомойки и парикмахера. Курьеры, дежурившие круглосуточно, были готовы по первому знаку устремиться в архивы, библиотеки, фототеки и доставить любой раритет, имеющий для меня хоть какое-то небольшое вспомогательное значение.

А кормили меня, как в ресторане. Обед всегда из трех блюд. Кофе с ликером. Правда, в коньяке была ограниченность: не больше бутылки на день. Но когда полковник Тарасов захаживал ко мне поболтать — не допрашивать или выпытывать, а просто так, после трудов, посидеть вдвоем, по-домашнему, — порцию увеличивали. Полковник справедливо считал, что коньяк повышает чувствительность и способствует моему развитию в сильную сторону.

Помню, в первый же вечер мы засиделись с ним допоздна за «Араратом». В полночь он приказал подать географический атлас и просил меня погадать на картах. И хотя я говорил, что это не моя компетенция, полковник настаивал на своем и сам попытался внести ясность в международную обстановку.

Он с легкостью форсировал реки, переваливал через хребты и размечал ногтем по карте пути всемирной истории — на много десятилетий вперед. Сначала все шло хорошо. Европу мы обезвредили. Но его почему-то тянуло к югу, в горы, за Арарат и Гибралтар. Я едва поспевал за ним и, запутавшись в дислокациях, перестал понимать, кто с кем воюет... На миг мне удалось, подтолкнув полковничий локоть, выровнять положение: стремительным марш-броском мы вышли к морю.

Это было уже за экватором, пятьдесят лет спустя, и полковник, полагаясь на негритянские подкрепления, намеревался высадить десант — прямо в Австралию.

— Да вы с ума сошли! Во-первых, мы не здесь, а вот здесь. Уберите палец. Потом, полковник, вы забываете Мадагаскар. Там японцы. Куда вы тычете? Сюда нельзя. Проиграем кампанию! Нельзя, вам говорят. В конце концов, мне лучше знать, как это будет...

Он кинул на меня слезящийся взгляд и прохрипел:

— А как же Австралия?..
— Причем тут Австралия?!
— Что ж мы Австралию — псу под хвост?
— Ну, знаете, не все сразу. Когда-нибудь при другой вакансии дойдет черед Австралии. На более высоком этапе исторического развития...

Полковник на локтях пополз ко мне через стол:

— Голубчик, нельзя ли ускорить? Хоть немного...

— Что ускорить?

— Ну, развитие это самое... Чего с ним долго возиться! Напрягись! Ну, для меня, не в службу, а в дружбу. Прошу тебя по-товарищески — будь ты человеком, посодействуй Австралии...

Он, кажется, путал меня с Господом Богом. Но если был я в малой мере всезнающим, то уж всемогущества мне за это нисколько не полагалось. Да и что я могу? Все знаю и ничего не могу. И чем больше знаю, тем хуже, тем меньше у меня законных оснований что-то делать и на кого-то надеяться...

Конечно, попадись мне вместо полковника какой-нибудь либеральный доцентик (бывают такие доцентики, дотошные, из евреев), уж он бы жилы из меня повытягивал: где тут свобода воли и какую особую роль играет личность в истории? Но я говорил давеча и еще раз подчеркну: никакой особой роли ваша личность не играет. И какая может быть самостоятельность у человека, когда все учтено? Встать! — встаю. Ляг! — ложусь. Не хочется ложиться, а ложусь. Потому закон, историческая неизбежность. Как ни вертись, все равно в конечном счете лечь придется. И даже если взамен предназначенного мне лежания я попытаюсь потихоньку от всех приподняться и встать, значит — на это тоже было получено разъяснение и я поступил, как велит мне всемогущая воля.

Не властен я над собой, безволен и равнодушен, как камень. И в светлые минуты жизни прошу об одном: «Господи! поддержи! не оставь! Господи! Я — камень в Твоей руке... Напрягись, соберись с силами и кинь этот камень со всей силой в кого захочешь!..»

— Ладно,— сказал полковник, когда я открылся в полной невозможности управлять ходом событий.— Не хочешь Австралию,— давай Новую Зеландию. Небольшие два островка. Раз плюнуть.

Я повторил, сославшись на диалектику, что историю мы не вправе ни улучшать, ни ухудшать: а то выйдет беспорядок и субъективный идеализм.

— Да ведь мы совсем немножко улучшим,— хныкал полковник.— Никто не заметит. Ну чего тебе стоит?.. По-

дружески... Новую-то Зеландию... Голландию освободили, а Зеландию — псу под хвост?

Он не был силен в диалектике, мой полковник Тарасов, но в нем обитала великая, алчущая душа. Быть может, душа Тамерлана, Петра Первого, Фридриха Ницше,— перебирала я тогда в уме различные варианты...

Но при ближайшем рассмотрении все вышло немного иначе. Полицейские разных званий, стражники, надзиратели выстроились в затылок за спиной моего шефа, когда я заглянул повнимательней в глубину его большого, отяжелевшего тела.

Они уходили объемами во мглу древнейших культур и вылуплялись из мрака в такой строгой последовательности, что вначале мне показались все на одно лицо. Но потом я заметил разницу: каждый позднейший был рангом крупнее своего предшественника. Точно они рождались специально для того, чтобы подняться в течение жизни еще на одну ступень. Последний по времени сослуживец замер в подполковниках при Александре-Освободителе. Ближе его по чину никто не стоял. Вершиной всей эволюции был полковник Тарасов.

Но и самому Тарасову и каждому, кто его подготавливал, приходилось, вступая в историю, начинать сначала и выслуживаться из простейшего дворника, повторяя в своем генезисе все предыдущие стадии многовского иерархического развития. И не загадывая наперед, можно было предположить, что звание полковника тоже не было венцом их поступательных усилий, а служило лишь передышкой на пути к новым подъемам...

Перед этой неодолимой потребностью в самосовершенствовании, перед этой слитностью всех действий в один едиனுдушный прогресс не устоит — почувствовал я — никакая, в конечном счете, Австралия, никакая Новая Зеландия, не говоря уже о более мелких задачах. И когда полковник Тарасов, прощаясь со мной перед сном, во второй раз и в третий попросил о поддержке в грядущей новозеландской борьбе, моя неуступчивость поколебалась.

Я обещал подумать и поискать какой-нибудь выход, позволяющий — не в обиду материалистической диалектике — ускорить созревание и приобщение к жизни этих оторванных от действительности островов.

— Однако, — сказал я, — мне тоже нужна поддержка в одном тонком деле, касающемся моей незаконной жены, с которой, впрочем, в любую минуту я готов оформить законные отношения.

— Хоть десять жен бери и живи! — закричал Тарасов с таким неподдельным жаром, что мне стало как-то неловко за мою небольшую хитрость. Но дело с Наташей я отложил, чтобы дать полковнику время выспаться и оценить положение более трезво. Сам я тоже порядочно страдал головою от его могучего «Аралата», и, пока не заснул, меня качало, как в колыбели...

...В эту ночь мне приснился сон — из тех, наверное, снов, что имеют для нашей жизни какой-нибудь смысл. Мне привиделось, что я иду по дороге и натываюсь в темноте на военный патруль. Должно быть, мною руководили предосудительные моменты (возможно, я от кого скрывался или сбежал откуда), потому что меня пронзила одна мысль: ну вот, Пушкина расстреляли, и Болдырева расстреляли, и меня, видимо, ждет такая же судьба. Но я не дал себя задерживать и проверить документы, а пустился в темноте наутек, хотя они кричали, чтобы я не двигался с места, и даже, кажется, стреляли наугад в моем направлении, лентяш, однако, меня далеко преследовать по плохой дороге.

Пару раз я споткнулся и крепко приложился о землю, но ничего — встал и пошел себе дальше, радуясь, что так удачно избежал объяснений с военным трибуналом. Мое тело легко и плавно перемещалось вдоль изгородей, которые намекали, что скоро я вернусь домой и увижусь со всеми, кого давно не видал. Но я не пошел домой, а решил заглянуть сначала к одной своей знакомой и быстро очутился у ее окна, взобравшись на балкончик без шума, даже не потревожив спящей внизу собаки.

Наташа была одна и при свете настольной лампы читала книгу, и — помню — во сне я подумал, что мои опасения, значит, были напрасны, раз она приснилась мне в таком чудном виде. А также мне сделалось вдруг интересно, какую книгу она читает, потому что в свое время, еще до войны, я направлял ее вкусы и дарил — к неудовольствию моей жены — стихи Пушкина и Болдырева. Но теперь у нее на коленях лежал мой собственный — сильно потрепанный — экземпляр одной старинной повести — «Распутица» или, кажется, «Сумятица», приобретенный мною еще до войны для полноты собрания и принадлежащий перу какого-то древнего автора — пушкинских примерно времен. Надо бы перечитать, плохо помню... может быть, что-то полезное или занятное... но неужто Наташа все еще пользуется моей домашней библиотекой? — подумал я и еле слышно торкнулся в раму.

Окно было затворено — для того, вероятно, чтобы бабочки, жуки и разные мошки не набивались в комнату из

темного сада. Но они в небольшом числе все же проникли, и вертелись у лампы, и ударялись в стеклянный колпак, оставляя на нем слабое белесое опыление. По временам Наташа, отрываясь от книги, стряхивала страницы и смотрела в окно, ничего, конечно, не различая в такой темноте. Ее взгляд выражал ожидание и пустоту неустроенной женщины, а меня тоже томило чувство невыполненных по отношению к ней обязательств, которым, наконец, пришел срок исполниться. Но барабания по стеклу, я видел, что Наташа не трогалась с места, принимая, должно быть, мои призывы за надоедливую суету насекомых. Тогда, бессильный побороть трескотню их потрепанных крыльев, я решил, что, наверное, это потому, что все происходит во сне и мой лепет и сонное царапанье по стеклу не достигают Наташи. И отложив наше свиданье, я спустился с балкона и пошел к себе домой — прямо через сад, по траве, кишашей кузнечиками, на другой край поселка...

Собака, которую мы с женой обычно держали в конуре, опять не залаяла при моем приближении, и я подумал, уж не сдохла ли без меня собака, да и цел ли мой дом и здоровы ли дети. Но вроде все было по-старому и в нижнем этаже, на кухне, служившей одновременно столовой, горел свет. За длинным пустым столом сидели мама, папа, дядя Гриша и тетя Соня и другие родственники и знакомые, которых я никак не думал встретить в своем доме. Все они точно ждали моего появления и сидели в молчании, выпростав на обеденный стол пустые тяжелые руки, и, едва я вошел, подняли головы и кто-то, кажется, дядя Гриша, сказал:

— А вот и Василий...

Причем здесь Василий? за кого меня принимают? — пронеслось в моем уме и тут же улеглось; ну, конечно, правильно, Василий! как же иначе?

Но что-то недоброе чуялось мне в этом семейном совете, и я спросил, почему не видно моих детей и жены.

— Только ты, пожалуйста, не волнуйся, — сказала мама.

— Умерли, заболели? Их увезли?

— Нет, нет, все живы, на свободе и хорошо себя чувствуют... А Женечка стала совсем большая, совсем большая...

Она спешила унять мое волнение, которое только возрастало в результате маминой спешки.

— Куда они делись? почему не с вами? Отвечайте же наконец!..

— Они здесь... Неподалеку... Поехали в город... скоро вернуться...

— Перестань, Лизавета! — сказал отец и встал из-за стола. — Василий не маленький. Нечего с ним нянчиться. Ему надо знать!

— Нет-нет, погоди, пускай немного привыкнет, — суеги-лась мама.

Но отец грубо отстранил ее и, не глядя на меня, буркнул:

— Пойми, Василий, ты же — умер...

Все потупились. Тут только я заметил, что стою и говорю с одними умершими, и вспомнил — ах, да! ведь и папы, и мамы, и дяди Гриши давно уже нет на свете, и хотел уйти, пока не поздно, — попрощаться с Наташей и объяснить ей... Но отец больно стиснул меня за локоть и отвел в сторону.

— Кури! — приказал он, сунув мне под нос истерзанную папиросную пачку.

И тихо, чтобы никто не слышал, добавил:

— Пожалей маму и успокойся. Разве ты не знаешь, что тебя застрелили? Ну да, только что застрелили. Возле поселка. На дороге... Что уставился? Не надо было бегать сломя голову. Сам виноват.

— Но как же Наташа, когда же я встречаюсь с Наташей?! — воскликнул я и проснулся от огорчения.

...До сих пор я не знаю, что означал этот сон, и нужно ли его понимать в каком-нибудь возвышенном, аллегорическом смысле или мне в самом деле еще предстоит пережить под именем Василия и этот ночной побег, и эту безрезультатную встречу с недоступной Наташей, которая так и не услышит моего запоздалого стука, потому что меня к тому времени успеют застрелить... И причем тут Пушкин? И кто такой Болдырев? И что за старинную книгу позаимствует Наташа из моей библиотеки, и впрямь ли эта книга называется «Сумятица» или «Распутица», и уж не та ли это самая повесть, которую я пишу сейчас под немного другим заглавием — в надежде, что все мы когда-нибудь все ж таки еще повстречаемся?..

Но с другой стороны, в этом сне было много такого, что вполне объяснимо тогдашним состоянием моего духа и впечатлениями от жизни в темнице. Очень может быть, что просто я — спящий — попытался вырваться на свободу, но мое желание приняло запутанное направление. А может быть — и то и другое, и будущее смешалось с прошедшим, и надо до всего этого сначала дожить, чтобы проверить на практике мои сонные грезы.

Но тогда, под свежим воздействием, я об этом не рассуждал. Мысль, что Наташа опять и опять ускользает из моих протянутых рук, меня подхлестывала. Наутро

я возобновил переговоры с полковником, умоляя его изъять Наташу — хотя бы на сутки — и поместить для безопасности под арест, всего лучше — в мою же камеру, на семейном, так сказать, положении. Понятно, что мне пришлось также ему разъяснить все, что касалось места и времени подготавливаемого на мою жену покушения, предотвратить каковое — прямой долг и заслуга государственной власти.

Однако, словно стесняясь наших действий за «Араратом», полковник был настроен не в меру рассудительно.

— На каком основании, — сказал он, — вы придаете значение маловажной сосульке? Почему она — второстепенная, случайная в жизни ледяшка — непременно должна поразить вашу Наташу в голову? И непременно послезавтра, да еще в 10 часов... Так не бывает. Я не вижу в этом никакой логики, никакой закономерности. К тому же вы сами говорите — успели предупредить. Зачем вашей Наташе ходить в Пнездиновский? Да еще непременно в тот момент, когда эта сосулька станет на нее падать...

— Ах, полковник, вы не знаете женщин. Ведь пойдет, как пить дать — пойдет. Из одного упрямства. Знает, что нельзя — и пойдет. А потом, какая разница: сосулька или бомба? Бактерия, например, еще меньше по виду. Любая случайность — поймите — неизбежна, неотвратима, чуть стоит ее предсказать. Ведь это же все равно, что вынесение приговора. Сами знаете — трибунал — отмене не подлежит. Одних расстреляют бактериями, других — сосульками. Третьих — при попытке к бегству. Каждому — свое. Между нами говоря, мы все — приговоренные. Только не знаем ни дня, ни часа, ни подробностей исполнения. А я вот — знаю, знаю и беспокоюсь. Ах, если бы не знать!..

Целый час мы с ним спорили и торговались, покуда я уломал его подать рапорт. Полковник никак не хотел без ведома высшей инстанции наложить арест на мою жену и ждал указаний. Зато последние два дня он не расставался со мною и даже распорядился поставить в моей камере свою походную раскладушку.

Я, со своей стороны, тоже принял меры: решетчатое окно запечатали дополнительной изоляцией. Все часы по моему настоянию тоже удалили. Мне казалось, что так будет лучше.

Мы пили и работали при одном электричестве и, спугав дневной распорядок, завтракали не то в восемь, не то в одиннадцать вечера. К сожалению, полностью избавиться от ощущения времени я все-таки не сумел и чувствовал, как оно увеличивается от завтрака до обеда, съедая по частям от-

пущенный мне срок. Также любая сосиска, поданная на закуску, напоминала своим звучанием — сосульку. Я не видел ее отсюда, но живо представлял, какого веса достигли ледяные полипы, образующие эту улитку с вытянутым книзу клювом.

Всего отвратительнее было то, что она имела несерьезный размер и форму, внушающую беспечность. Будь она хоть немного потолще, да поклыкастее, ее бы давно распознали и уничтожили. Полковник дважды по моей просьбе высылал в Гнездниковский команду бойцов противовоздушной защиты. Они облазили весь переулочек, но ничего не нашли. А сосулька тем временем продолжала незаметно висеть и давить на мою психику, а Наташа вдали от меня разгуливала на свободе, а рапорт полковника Тарасова тащился по инстанциям безо всякой видимой пользы. Короче говоря, во всем царила наша обычная неразбериха...

Впоследствии я часто задавался вопросом, что было бы, если бы полковник, в нарушение субординации, быстрым единоличным решением приказал поместить Наташу под надежную кровлю? Куда бы в таком случае девалась сосулька? В конце концов, все это выглядело чистой нелепицей. Стечение анекдотических обстоятельств, каждое из которых в принципе легко устранимо. Да и моя способность все на свете предвидеть и предугадывать, послужившая первопричиной всех наших несчастий, не была ли она тоже какой-то ошибкой? Если бы я тогда, на Цветном бульваре, не повздорил с Наташей из-за снега, если бы просто в тот вечер была иная погода, — ведь ничего бы не было. А между тем все выходило именно так, а не иначе, и, сидя взаперти, я ждал конца почти с нетерпением: скорей бы уж что ли! ну, падай же, падай! и отпусти...

Меня терзала мысль, что безжалостная природа в довершение казни покажет мне на прощание эту сцену, которую я сам напророчил и подстроил своими увертками. Дескать, на! — удостоверься, насколько точна и хороша твоя догадливость, и вдруг, расположившись в камере, как в теплом кинематографе, я увижу Наташу, вбитую в снег мелькнувшей стекловидной стрелой, и вот уже дворничиха посыпает песком мокрое место, и толпа неохотно расходится, поглядывая с уважением вверх...

Но все произошло по-другому. Однажды мы сидели и напряженно трудились, когда полковник Тарасов, будто бы в шутку, спросил

Как вы полагаете меня произведут в генералы? Или так и помру в старом звании?

Впервые за все это время полковник показал интерес к своей индивидуальной судьбе, и я, конечно, ответил в ободряющем тоне, что с годами он безусловно достигнет генеральского уровня, а, может быть, чего-то послаще и покрупнее. Но отвечая машинально, лишь бы отделаться, я всерьез задумался над этой проблемой и сам не заметил, как перед моим умственным взором встала туманная панорама...

Верно, меня занесло уж очень далеко вперед и, минуя ряд промежуточных ступеней, я увидел землю, которую и землей-то не назовешь, настолько она была заполнена ледяными наслоениями. Впрочем, понятие «льда» мною употребляется с оговоркой и скорее иносказательно, ибо еще неизвестно, из чего состояли эти сталактиты и сталагмиты, торчащие отовсюду наподобие гигантских сосулек. Быть может, они возникли из какого-нибудь окаменевшего газа или духа, спрессованного под высоким давлением, и, сидя перед этой картиной, я даже не был уверен, что нахожусь на нашей планете, а не где-нибудь еще в мировом пространстве.

Но каким-то неуловимым чутьем мне было дано постичь со всей определенностью, что это отнюдь не мертвая и не бесформенная природа, а вполне живые, разумные, искусственные существа высочайшей организации. Больше того, ближняя ко мне и как бы руководящая всем ландшафтом сосулька и была не чем иным, как полковником Тарасовым, с той, конечно, разницей, что теперь он имел другой чин и, наверное, другую фамилию и мало чем походил на свою прошлую внешность. Однако в самой структуре и в образе жизни этого ледяного полипа, который то покрывался влагой, словно пропотевая, то вновь застывал в скользкие полимерованные спирали, а главное — непрерывно рос и развивался, и, развиваясь, налезал могучими зубьями на соседние образования, — во всем этом, говорю я, чувствовались былое упорство и государственный интеллект полковника Тарасова и какая-то даже внутренняя прямота и задушевность.

Прошу не понять меня превратно и не превратить эти слова в какой-нибудь намек с моей стороны, или обман, или, если хотите, фальсификацию исторического процесса, имеющую задней целью бросить косую тень на наше светлое будущее. «Но позвольте! — воскликнет иной недоверчивый читатель. — Слышанное ли дело, чтобы здоровый человек, да еще в некотором роде государственный деятель выступал на высшей ступени под видом какой-то сосульки? И как же тогда все это следует понимать, и не есть ли это умаление и очернительство?» Нет, не есть, — отвечу я решительно, — и понимать тут ничего не требуется, потому что мне самому

пока не вполне понятно, каким образом энергия, управлявшая Тарасовым в его полковничьей жизни, приняла затем такую странную и самобытную форму.

В крайнем случае, во избежание кривотолков, я готов свои слова взять обратно и рассматривать это диковинное явление как следствие моей личной душевной травмы. Но с другой стороны — с того времени истек достаточный срок, чтобы подойти к вопросу более спокойно и объективно, и я не вижу ничего плохого в том сталактитовом создании, которое, по моему глубокому убеждению, продолжало на новом этапе великую миссию моего шефа и покровителя. И хотя полковник Тарасов давно уволен в запас, так и не получив повышения, обещанный мною титул не был пустозвонством, поскольку я имел в виду более длительную перспективу, превышающую рамки одной человеческой жизни.

Явленная мне тогда титаническая сосулька обладала, я уверен, не менее прогрессивным значением, чем генерал, и даже маршал, и даже если бы у нас был император, она бы, вероятно, и императора превзошла своим умом и развитием, несмотря на отсутствие ярко выраженных знаков воинского достоинства, по которым мы привыкли узнавать наших начальников. Но ведь нужно принять в расчет, что она росла и воспитывалась в совершенно иных, как было сказано, исторических условиях, на другом, можно думать, планетном шаре, и то, что нам кажется отсюда маловажной сосулькой, там, быть может, и есть самый настоящий венец творения. Во всяком случае, будущее полковника Тарасова мне представлялось тогда в высшей степени светлым и перспективным, и я не мог отвести взгляда от его гладкой льдистой поверхности, покрываемой ежесекундно новыми напластованиями...

— Ты чего глаза вылупил? — сказал полковник со своим всегдашним народным юмором.

И как только он произнес эту фразу, сосулька исчезла, будто растаяла или провалилась под стол, и на ее месте, за чернильным прибором, отчетливо выступила грузная мужская фигура, сидящая напротив меня в своем обычном виде. Нет, не в обычном! В том-то и дело, что полковник как-то сразу вышел, осунулся, словно он, выказав в сосулке все свои силовые возможности, внезапно иссяк и постарел на несколько лет. Я бы даже сказал, что он сделался неузнаваем: пожилой измученный человек в засаленном кителе с вытертыми обшлагами, кое-где оборванными и подсправленными неумелой иглой.

Да ведь у него, наверное, где-нибудь есть жена и дети, — подумал я с изумлением, потому что раньше мне никогда

в голову не приходило подумать о семейной жизни полковника Тарасова, целиком, казалось, поглощенного общественными заботами. Но мое изумление еще более выросло, когда, попытавшись решить этот простой вопрос, я не смог представить единственно ни жены, ни детей Тарасова, ставшего для меня в один миг какой-то неразрешимой загадкой, хотя она так и лезла наружу всеми своими морщинками, обдряблостями, обшлагами.

— Чего ты на меня все смотришь и смотришь? — сказал полковник недовольным голосом, поживаясь, как от озноба.

— Скажите, полковник, у вас были когда-нибудь — жена, дети? — спросил я его, чтобы что-нибудь спросить.

Он не успел ответить. Влетевший лейтенант доложил, что полковника срочно просят подойти к телефону. Они быстро ушли, оба чем-то взволнованные, даже позабыв запретить за собою стальную дверь.

При других обстоятельствах я бы мысленно устремился за ними и раньше них был бы в курсе всех секретов. Но сейчас моя голова работала вяло и была как-то пуста, просторна, и мне решительно ничего не хотелось делать. Перегруженный информацией, которая непрерывно поступала ко мне с разных сторон, я слишком много думал все это время и думал достаточно густо и напряженно, чтобы теперь хоть чуточку посидеть в тишине.

И я сидел и оглядывал служебное помещение, наполненное, еще недавно казалось, таким дорогим убранством, а теперь тоже заметно потускневшее и поскучевшее. Всюду вылезли дырки, соринки, следы сапог, реквизиций, утлая тумбочка из фанеры, диванчик на курьих ножках, под красное дерево, драный, просаленный, с отпечатками пальцев на спинке, с отломанным наполовину, латунным изображением какой-то барышни со стершимся носом — вся та микроскопическая грязнота и мерзость людского быта, которая говорит лишь о долговременном человеческом запустении...

И сейчас все эти выступившие детали ничего мне особенного не говорили, а, глядя на какую-нибудь соринку, из которой прежде извлеклось бы столько страшных историй, я попросту думал: «А вот и соринка, ну и Бог с ней, лети себе дальше, соринка...»

Когда полковник вернулся и, путаясь в выражениях, объявил о смерти Наташи, я спросил только, давно ли это случилось.

— Четверть часа назад, — сказал полковник и передал вкратце все, что сумел узнать по телефону от своего дежур-

ного контролера. Он, контролер этот, говоря попросту,—сыщик, сопровождал Наташу на некоторой дистанции и зарегистрировал по хронометру прямое попадание, равно в 10 утра, минута в минуту.

Полковник был явно чем-то обескуражен и, словно желая загладить свою вину, громко бранил высокие инстанции, которые были предупреждены, но почему-то не сработали вовремя, как это им надлежало сделать. Я плохо его слушал. Мне хотелось вернуться назад, к сосульке, не к той, что убила Наташу, а к другой, которая обещала вырасти, может быть, через миллион лет после нас. Не знаю, что мною руководило — скорее всего запоздалое желание выяснить скрытую природу этого человека, такого жалкого, несчастного и загадочного в своем несчастье. Я помнил еще, что он умеет быть грозным и твердым, как та сосулька, но не мог представить себе, как это бывает, и что вообще бывало и будет в жизни этого престарелого мешковатого военного с морщинистым лицом и вытертыми обшлагами. Он весь не вытанцовывался у меня, он рассыпался на мелочи — какие-то пуговицы, морщинки...

— Что вы на меня смотрите?! — заорал Тарасов и хватил кулаком по столу.— Вы думаете — я вру?.. Вы же сами лучше меня знаете — я не мог, не мог ничего сделать... Можете сами убедиться. Я не виноват. Завтра мы займемся...

— Нет, полковник, завтра мы ничем не займемся,— сказал я, отводя глаза от его неуловимых морщинок.— К сожалению, я больше не смогу быть вам полезен. Примерно четверть часа назад все мои ясновидческие качества куда-то провалились. Я даже не знаю, была ли у вас когда-нибудь жена, полковник. Я ничего не знаю теперь. Все кончилось...

Заключение

Вот и кончена моя повесть, и мне остается в конце лишь прибавить некоторые разъяснения, не уместившиеся в начале и в середине, но полезные, быть может, моим читателям, которые бы захотели все правильно осознать и хорошо почувствовать. Однако — кто такие мои читатели? и к кому я, собственно говоря, обращаюсь и на кого уповаю в своем художественном изыскании? Мне кажется: главным образом — это я сам. Во-первых, когда пишешь, то ведь невольно читаешь и перечитываешь написанное, и вот, слава Богу, один читатель уже нашелся.

— Но помилуйте, возразят мне другие,— не для себя же вы так стараетесь, и сидите по ночам, и не спите, и тратите последние силы?

— Для себя,— скажу я им честно и откровенно.— Но только — не для такого, какой я есть в настоящий момент, а для такого, каким я буду когда-нибудь. Значит, и все прочее, временные читатели, если пожелают, могут ко мне с легкостью присоединиться. Ибо никому неизвестно — кто из нас кем был и будет. Может, вот вы, именно вы и есть — я? Поэтому пока приходится иметь дело со всеми, а там посмотрим.

Ведь что же происходит? Живет человек, живет и вдруг — бац! — и нет его больше, а вместо него по тому же месту ходят другие люди и в свою очередь предаются бессмысленному уничтожению. Только и слышно кругом: бац! бац! бац!

Что делать? Как с этим бороться? Вот тут и приходит на помощь — всемирная литература. Я уверен: большая часть книг — это письма, брошенные в будущее с напоминанием о случившемся. Письма до востребования, за неимением точного адреса. Попытки задним числом восстановить отношения с самим собой и со своими бывшими родственниками и друзьями, которые живут и не помнят, что они — пропавшие без вести.

Пропал человек, ищи-свищи. Распался на составные части, потерялся в толчее и не видно его нисколько. Собрать всех надо, созвать. Ау! Василий! Ау! ау! Наташа! Где вы — Грета? Степан Алексеевич? — куда вы все подевались? Эй! Хлодвиг! Леонардо да Винчи! — отзовитесь!

Никто не отзывается... Пусто вокруг, словно все вымерло, словно и не было никогда тех удивительных трех недель, вместивших больше, чем смог выдержать мой слабый мозг.

...Выпустили меня из тюрьмы через год и четыре месяца. Полковник Тарасов долго бился, пытаясь возвратить мою утраченную чувствительность. Он даже стрелял в меня холостыми патронами, предполагая саботаж. Но это не помогало.

Тогда меня свезли в пансион закрытого типа и восемь месяцев лечили. Я начал ходить.

Причина моей болезни коренилась в неуверенности. Я боялся передвигать ноги: вдруг поскользнусь. Мне, приученному все знать заранее, было нелегко вернуться к нормальной жизни, полной неожиданностей. Подойдет, бывало, доктор в колпаке, а у меня пульс подскакивает при одном приближении. Ведь ничего же неизвестно: вдруг этот доктор вместо пульса даст по морде? Кто знает, что у него на уме?

Затем — снова полковник. Но драться он перестал и был мрачен. Ему за меня влетело: слишком долго возился с явным шарлатаном и поддался антинаучной гипотезе. Коньяки, выпитые со мною за казенный счет, ему тоже припомнили. Всюду есть свои завистники. Да и времена изменились.

Шел 1953-й год: всеобщее ослабление. На его служебной карьере стоял крест.

Однако расстались мы друзьями. Полковник просил известить в случае возобновления моей провидческой силы. Также мне было предложено дать письменное обязательство не заниматься частным образом магией и волшебством. Я охотно согласился на все условия.

В столице мне жить возбранялось. Устроился в провинции, за Ярославлем, анахоретом, в должности гидротехника. В два года сколотил нужную сумму — полторы тысячи — и отослал Борису.

Перевод пришел обратно. Навел справки. Оказалось, за это время Борис успел заболеть и в феврале 54-го года умер с туберкулезным диагнозом. Кто бы мог подумать! При нашей последней беседе я не подозревал, что выступаю оракулом. Но даже это вранье из моих уст — сбилось...

Теперь я оплакивал издали его раннюю смерть. Все-таки старый знакомый. Могли бы когда-нибудь встретиться, поговорить о Наташе... Конечно, он был причастен и косвенно повинен... Если бы он не донес тогда, все вышло бы по-другому. Но кто из нас не причастен и не повинен?..

Пару раз я побывал в Москве: искал Андрюшу. Безуспешно. Должно быть, с тех пор он сильно вырос. Сейчас, наверное, я бы в Андрюше не узнал родного отца. Не того отца, который появится позднее, во сне, в связи с Василием, а настоящего, здешнего, моего основного папу. Он умер, когда мне было пять лет. Его тоже звали Андреем... Ах да, я забыл сказать, как это получилось. Это было еще тогда, при Наташе, когда мы жили в Москве. Я шел к Борису за деньгами, и по дороге мне попался двухгодовалый мальчик под охраной няньки. Что-то в нем меня задержало, и, присев на корточки, я спросил, как его звать.

— Андрюша! — ответил он с детской непосредственностью.

Но его голубые глаза говорили о большем. Та же самая голубая насмешливая глубина, что склонялась надо мной во дни младенчества. Мудрый взгляд старшего друга, знающего цену вещам. Мне даже показалось, что он подмигивает.

— Папочка! — зашептал я, чтобы нянька не слышала. — Милый папочка! Как ты поживаешь? Хорошо ли тебе в твоих новых условиях?..

Андрюша не успел ответить: нянька темная баба — схватила его на руки и поспешно унесла от меня свое сокровище. Все же по костюмчику и здоровой упитанности я мог догадаться, что ему живется неплохо. Безусловно — он

попал к состоятельным, культурным родителям. Но больше мы с ним так и не видались.

А еще, совсем недавно, в Ярославле, в привокзальном буфете, мне встретился тот самый летчик, с которым я познакомился за Новым годом.

— Сволочь ты, а не предсказатель! Шпион! Жулик! — говорил он, обливаясь пьяными слезами. — Какое ты право имел в чужую жизнь залезать? Ограбил ты меня. Всю молодость искалечил. Не знал бы я ничего — и делу конец. А теперь что? Шестьдесят два денечка мне гулять осталось... Правильно я сосчитал? А?! Правильно?..

Я холодно ответил, что тогда, в новогодие, соврал ему о ракете, которая должна взорваться через пять с половиной лет в районе Тихого океана. На самом деле никому ничего не известно: может, она завтра взорвется, а может, — никогда.

— А ты сейчас не врешь? Честное слово? — спрашивал он меня с надеждою в голосе. — Или успокоить хочешь? Так ты лучше меня не успокаивай. Ты мне всю правду скажи!..

Он был непоследователен, этот летчик-испытатель, но мне понятны его душевные колебания. Я сам в том далеком, достопамятном январе три недели подряд увиливал от правды, пока она меня не настигла и не доконала. А теперь, избавленный от нее, я мучился неизвестностью и хотел бы узнать всю правду, какой не успел доискаться, и молил Бога о возвращении прекрасного дара, которым я в свое время так плохо рапорядился.

Мне бы радоваться тогда своему счастью и узнать поточнее, кем я был и буду в следующие разы, встретимся ли мы с Наташей и поженится ли мы с нею когда-нибудь и как связать воедино разбросанную по кусочкам жизнь? Но я вместо этого глупо бегал от смерти и боялся ее, как ребенок, и вот она пришла и разделила нас. Нет Наташи, нет Сусанны Ивановны, и Боря тоже умер, и летчику-испытателю осталось совсем немного...

Не помню, чей афоризм: «Мертвые — воскреснут!» Что ж, я не спорю. Воскреснуть-то они воскреснут. Уже сейчас каждый день в родильных домах воскресает масса народу. Но помнят ли они о себе, о нас — когда воскресают? — вот вопрос! Узнаем ли мы в них, в наших беспечных детях, тех, что в прошлые времена приходились нам женами и отцами? А ведь если никто никого не вспомнит и не узнает, значит, — все остается по-прежнему, и смерть разделяет нас перегородками забвения, и допустима ли такая с нашей стороны забывчивость?

Нет! Вы как хотите, а я — покуда все не улучшится и не изменится — я остаюсь с мертвыми. Нельзя бросать человека

в этойкой нищете, в этаком последнем и окончательном унижении. А что может быть униженнее мертвого человека?..

Я теперь все больше живу воспоминаниями. Цветной бульвар. Наташа. Мои разногласия с Борей. Чудак-человек. Ну чего он со мной не поладил? Полковник Тарасов. Славный, простой человек — полковник Тарасов. Как мы с ним хорошо выпивали. После Наташи я в рот не беру спиртного...

Но чаще другого мне приходят на память два эпизода. Оба они — из будущего. Первый — в больнице, ночью, все спят, и сиделка на табурете, подремывая, поджидает, когда же, в конце концов, я отпущу ее спать. Мне еще долго ждать, и меня мучают угрызения, что я все еще живой, тогда как другие умерли. Бессовестно жить — когда другие умерли. Нечестно, несправедливо. Но у меня не получается.

А потом — наоборот — я стою — я стою на балконе и колочусь вместе с бабочками в освещенное окно. Но снова мне никак не удается проникнуть туда, за прозрачную перегородку, в светлую комнату. Живая Наташа сидит и читает книгу — ту самую, быть может, которую я написал. И я пишу отсюда, пишу, колотясь туда, и не знаю — услышу ли когда-нибудь это тягостное постукивание...

А ты, Наташа, услышишь? Дочитаешь ли ты до конца или бросишь мою повесть где-то на средние, так и не догадавшись, что я был поблизости? Если бы знать! Не знаю, не помню. Надо бы все объяснить. Уточнить. С самого начала. Нет, не сумею. Того и гляди захлопнет. Говорю тебе, Наташа, перед тем, как наступит конец. Подожди одну секунду. Повесть еще не кончена. Я хочу тебе что-то сказать. Последнее, что еще в силах... Наташа, я люблю тебя. Я люблю тебя, Наташа. Я так, я так тебя люблю...

1961

ПХЕНЦ

1

Сегодня снова встретил его в прачечной. Он сделал вид, что не замечает меня, всецело занятый своим грязным бельем.

Сперва шли простыни, которыми здесь пользуются по соображениям гигиены. На одной стороне такой простыни крохотными буквами вышивают слово «ноги». Это

придуманно для того, чтобы предостеречь: человек не должен касаться губами зараженного места, о котором еще вчера терлись его ступни.

Удар ногою тоже почитается более оскорбительным действием, чем удар рукою, и не только потому, что нога бьет сильнее. Вероятно, в этом неравенстве дает себя знать неизжитое христианство. Нога должна быть греховнее всего остального тела по той простой причине, что она дальше от неба. Лишь к половым частям наблюдается худшее отношение, и тут что-то скрыто.

Потом шли наволочки с темными пролежнями в середине. Потом полотенца, которые в отличие от наволочек быстрее пачкаются по краям, и, наконец, разноцветные комья натального белья.

В эту минуту он принялся метать свои вещи с такой скоростью, что я не успел их как следует разглядеть. Быть может, он желал соблудности какой-то секрет, а может, как все люди, стыдился демонстрировать предметы, непосредственно прилегающие к ногам.

Но мне показалось подозрительным то обстоятельство, что он сдает в стирку заношенное белье. Обыкновенные горбуны чистоplotны. Они опасаются своей одеждой вызвать дополнительное отвращение. А этот, вопреки ожиданию, был неряшлив, как будто он — не горбун.

Даже приемщица белья, ко всему привыкшая баба, для которой не в диковинку следы самых редкостных соков, не выдержала и сказала ему довольно-таки громко:

— Что это вы, гражданин, мне в морду тычете? Не умеете спать аккуратно — сами стирайте!

Он молча расплатился и убежал. Я не последовал за ним, чтобы не привлекать чужое внимание.

Дома было обычно. Едва я вошел к себе, появилась Вероника. Она, потупив глаза, предложила вместе поужинать. Мне было не с руки отказывать этой девушке. Она единственная из всей квартиры относится ко мне сносно. Жаль, что ее сочувствие зиждется на сексуальной основе. Сегодня я окончательно мог в том убедиться.

— Как поживает Кострицкая? — спросил я Веронику, стараясь направить беседу в сторону общих врагов.

— Ах, Андрей Казимирович, она опять угрожала.

— В чем дело?

— Да все то же. Свет в ванной комнате и забрызган пол. Кострицкая заявила, что пожалуется управляющему.

Это известие вывело меня из себя. Я меньше других пользуюсь канализацией. В кухню почти не вхожу. Могу я компенсировать кухню за счет ванной комнаты?

— Ну и пусть,— ответил я резко.— Она сама жжет свет киловаттами. А ее дети разбили мою бутылку. Пусть придет управдом.

Но я понимал, что призыв к вмешательству власти был бы с моей стороны чистой воды авантюрой. К чему лишний раз обращать на себя внимание?

— Успокойтесь, Андрей Казимирович,— сказала Вероника.— Все нелады с соседями я беру на себя. Успокойтесь, прошу вас.

Она протянула руку, чтобы потрогать мне лоб. Я успел отшатнуться.

— Нет-нет, здоров и никакой температуры. Давайте ужинать.

На столе дымилась и скверно пахла еда. Меня всегда поражал садизм кулинарии. Будущих цыплят поедают в жидком виде. Свиные внутренности набиваются собственным мясом. Кишка, проглотившая себя и облитая куриными выкидышами,— вот что такое на самом деле яичница с колбасой.

Еще безжалостней поступают с пшеницей: режут, бьют, растирают в пыль. Не потому ли мука и мука рязнятся лишь ударением?

— Да вы кушайте, Андрей Казимирович,— уговаривает Вероника.— Не расстраивайтесь, пожалуйста. Всю вину я беру на себя.

А что если человека приготовить тем же порядком? Взять какого-нибудь инженера или писателя, нашпиговать его его же мозгом, а в поджаренную ноздрю вставить фиалку — и подать сослуживцам к обеду? Нет, муки Христа, Яна Гуса и Стеньки Разина — сущая безделица рядом с терзаньями рыбы, выдернутой на крючке из воды. Те по крайней мере ведали — за что.

— Скажите, Андрей Казимирович, вы очень одиноки? — спросила Вероника, внося в комнату чайник.

Пока она ходила за чайником, я вывалил свое блюдо в газетку.

У вас были друзья,—

она положила сахар,

— дети,—

еще ложка сахара,

— любимая женщина?..—

и ну размешивать, размешивать.

По всему было заметно, что Вероника волнуется.

— Друзей мне заменяете вы,— начал я осторожно.— А что касается женщин, то вы же видите: я стар и горбат. Стар и горбат,— повторил я с неумолимой настойчивостью.

Я честно желал предотвратить признание: зачем оно мне, когда и без этого трудно? Стоит ли портить наш военный союз против злых соседей, возбуждать к себе повышенный интерес не нашей девицы?

Чтобы избежать беды, я был готов прикинуться алкоголиком. Или преступником. А, может, лучше умалишенным, педерастом наконец? Но я боялся: каждое из этих качеств могло придать моей особе опасный, интригующий блеск.

Мне оставалось акцентировать мой горб, возраст и мизерную зарплату, мою тихую профессию счетовода, отнимающую массу времени, и что такому, как я, горбу под стать соответствующая горбуныя, а нормальной красивой женщине нужен симметричный мужчина.

— Нет, вы — слишком благородны,— решила Вероника.— Вы считаете себя калекой и боитесь быть в тягость. Не подумайте, что это жалость с моей стороны. Просто мне нравятся кактусы, а вы похожи на кактус. Вон их сколько расплодилось на вашем подоконнике!

К моей руке притронулись ее горячие пальцы. Я дернулся, как от ожога.

— Вы замерзли, вы больны? — участливо спросила Вероника, озадаченная температурой моего тела.

Это было слишком. Я сослался на мигрень и просил ее покинуть меня.

— До завтра,— сказала Вероника и помахала ручкой, как маленькая.— А завтра вы мне подарите кактус. Непременно.

Эта смиренная девушка говорила со мной тоном главного бухгалтера. Она призналась в любви и требовала воздаяния.

Где это я читал, что влюбленные люди уподобляются покорным рабам? Ничего подобного. Стоит человеку полюбить, и он уже чувствует себя господином, имеющим право распоряжаться теми, кто его недостаточно любит. Как бы мне хотелось, чтобы меня никто не любил!

Оставшись один, взялся поливать кактусы. Я кормил их понемногу из эмалированной кружки — моих горбатеньких деток — и отдыхал.

Было два часа ночи, когда, изнемогая от голода, я прокрался на цыпочках по темному коридору в ванную комнату. Уж там я поужинал на славу!

Очень это трудно кушать один раз в сутки.

После того вечера прошло две недели. Вероника мне объявила, что за нею ухаживают: один лейтенант и один артист из театра Станиславского. Этой ей не мешало оказывать мне предпочтение. Она грозила постричься наголо, с тем чтобы я не смел говорить больше о ее красоте, которой глупо жертвовать ради старика и уроды. Наконец, ей вздумалось шпионить за мной, подстерегая по пути в ванную.

— Опрятность украшает горбунов,— таков был мой стереотипный ответ на ее расспросы, почему я часто купаюсь.

На всякий случай я стал закладывать фанеркой матовое стекло между ванной и уборной. Прежде чем раздеться, я всегда проверял запоры. Мне было не по себе при мысли, что меня наблюдают.

Вчера утром я постучался к ней в комнату, чтобы набрать чернил в самописку и продолжить мой нерегулярный дневник. Вероника еще не вставала и, лежа в постели, читала «Четырех мушкетеров».

— Вы опоздаете на лекцию,— сказал я, вежливо поздоровавшись.

Она закрыла книгу и сказала:

— А вы знаете, вся квартира считает меня вашей любовницей.

Я же ничего не сказал, и тогда случилось ужасное. Вероника сверкнула глазами и, откинув одеяло, гневно уставилась на меня всем своим неприкрытым телом:

— Пляньте, Андрей Казимирович,— от чего вы отказались!

Лет пятнадцать назад мне довелось познакомиться с учебником по анатомии. Желая быть в курсе дел, я внимательно изучил все картинки и диаграммы. Затем в Парке культуры и отдыха имени Горького я имел возможность наблюдать купающихся в реке мальчишек. Но видеть живьем раздетую женщину, да еще на близком расстоянии, мне раньше не приходилось.

Повторяю, это — ужасно. Она вся оказалась такого же неестественно-белого цвета, как ее шея, лицо и руки. Спереди болталась пара белых грудей. Я принял их вначале за вторичные руки, ампутированные выше локтя. Но каждая заканчивалась круглой присоской, похожей на кнопку звонка.

А дальше — до самых ног — все свободное место занимал шаровидный живот. Здесь собирается в одну кучу проглоченная за день еда. Нижняя его половина, будто голова, поросла кудрявыми волосами.

Меня издавна волновала проблема пола, играющая первостепенную роль в их умственной и нравственной жизни. Должно быть, в целях безопасности она окутана с древних времен покровом непроницаемой тайны. Даже в учебнике по анатомии об этом предмете ничего не говорится или сказано туманно и вскользь, так, чтобы не догадались.

И теперь, поборов оторопь, я решил воспользоваться моментом и заглянул туда, где — как написано в учебнике — помещается детородный аппарат, выстреливающий наподобие катапульты уже готовых младенцев.

Там я мельком увидел что-то похожее на лицо человека. Только это, как мне показалось, было не женское, а мужское лицо, пожилое, небритое, с оскаленными зубами.

Голодный злой мужчина обитал у нее между ног. Вероятно, он храпел по ночам и сквернословил от скуки. Должно быть, отсюда происходит двуличие женской натуры, про которое метко сказал поэт Лермонтов: «прекрасна, как ангел небесный, как демон, коварна и зла».

Я не успел разобраться в этом предмете, потому что Вероника вдруг встрепенулась и сказала:

— Ну!

Она закрывала глаза и открывала рот, напоминая рыбу, вытянутую из воды. Она билась на постели — большая белая рыба — беспомощно и безрезультатно, а ее тело тем временем покрывалось голубыми пупырышками.

— Простите, Вероника Григорьевна, — сказал я, робея. — Простите, — сказал я. — Но мне пора на службу.

И стараясь не топтать и не оглядываться, я удалился.

На улице шел дождь, а я не спешил: в нашем учреждении был санитарный день. А я, освобожденный от Вероники, под видом государственной службы (сметы, никотин, главный бухгалтер Зыков, обезумевшие машинистки — за все 650 рублей в месяц), я мог позволить себе такую роскошь, как прогулка по свежему воздуху в сырую погоду.

Я выбрал дырявый водосток и подставил себя под струю. Она текла прямо за воротник — прохладная и вкусная, — и через какие-нибудь три минуты я был достаточно мокр.

Но прохожие, спешащие мимо, сплошь в зонтиках и в микропористых подметках, искоса поглядывали на меня, заинтересованные этим поступком. Мне пришлось изменить позицию и прогуливаться по лужам. Мои ботинки хорошо промокали. Хотя бы снизу я имел удовольствие.

— Ах, Вероника, Вероника, — повторял я, негодуя. — Зачем вы были так жестоки, что полюбили меня? Зачем вы

чуточку не постыдились своего внешнего вида и вели себя столь откровенно, столь беспардонно?

Ведь стыд у человека основное достоинство. Это смутная догадка о собственной неисправимой наружности, инстинктивный страх перед тем, что скрыто у него под сукном. Только стыд и еще раз стыд может их несколько облагородить и сделать если не прекраснее, то скромнее.

Конечно, попав сюда, я следовал общей моде. Блюда законы той страны, в которой вынужден жить. К тому же постоянная опасность быть пойманным и уличенным заставляла меня натягивать поверх тела все эти маскарадные тряпки.

Но будь я на их месте, я не только бы из костюма, я бы из шубы не вылезал ни днем, ни ночью. Я бы сделал себе пластическую операцию, чтобы ноги покороче и хоть горб на спине. Горбуны здесь все-таки приличнее остальных, хотя тоже уроды.

В грустном настроении пошел я на улицу Герцена. Против консерватории снимал комнату в полуподвале тот самый горбун. Уже полтора месяца он был у меня на примете — грациозный, изогнутый, непохожий на человека и чем-то напоминающий мне мою невозвратимую юность.

Три раза подряд я видел его в прачечной и один раз в цветочном магазине, когда покупал кактус. По бельевой квитанции, которую он предъявлял, мне посчастливилось узнать его домашний адрес.

Наступило время поставить точку над і.

Я говорил себе, что этого быть не может, что все погибли и лишь я один уцелел наподобие Робинзона Крузо. Я же сам, своими руками ликвидировал все, что осталось после аварии, и других кроме меня здесь нет.

А вдруг он послан за мной? И под видом горбуна, скрываясь... Проявили заботу! Спихватились, пустились на розыски!

Откуда им знать? Через тридцать два года? Даром что по местному времени. Живой и здоровый. Не фунт изюма.

Но почему же сюда? Вот именно. Никто не собирался. Совсем с другой стороны. Так не бывает. Сбились с пути. Куды Макар не гонял. Семь с половиной. Вот и влопались.

Ну, а если случайно? Такой же в точности ляпсус. Уклоняясь от курса и зимнего расписания. Первое что попало. Бывают же совпадения? Тютелька в тютельку. Нога не ступала. Ну, мало ли? Под видом горбуна. Одинаковый. Хотя бы один — одинаковый.

Дверь отворила дама, похожая на Кострицкую. Но его Кострицкая была крупнее и старше. От нее исходил удешаженный запах сирени. Это были духи.

— Леопольд скоро вернется. Проходите, пожалуйста.

Из глубины коридора лаяла невидимая собака. Но броситься на меня не решалась. Но я уже имел неприятности с эти видом животных.

— Что вы! Она не кусается. Никса — тубо, сияне!

Пока мы вежливо препирались, а животное все свирепело, из боковых дверей возникло три головы. Они разглядели меня с интересом и поносили собаку. Получился ужасный шум.

В комнате, куда я с большим риском проник, имелся один малолетний ребенок, вооруженный саблей. При виде нас он потребовал клюкву в сахаре и громко зеревел, гримасничая и вертя поясницей.

— Сластина. Весь в меня, — пояснила Кострицкая. — Будешь канючить — дядя тебя съест.

Чтобы сделать хозяйке приятное, я сказал шутливо, что пью вместо супа подогретую детскую кровь. Ребенок моментально стих, бросил саблю и забился в дальний угол, не сводя с меня глаз, полных звериного страха.

— Похож на Леопольда? — спросила Кострицкая как бы невзначай, но с хриплой нежностью в голосе.

Я сделал вид, что верю ее намекам.

Меня качало от спертого воздуха, приправленного парами сирени. Кожа, раздраженная запахом, в нескольких местах воспалилась. Была опасность, что у меня на лице проступят зеленые пятна.

А в коридоре злобная Никса гремела по паркету когтями и приняла к моим следам, звонко шелкая носом. Возбужденные жилички преговаривались между собой полупшепотом, не подозревая о моей повышенной акустической восприимчивости.

— Видать, брат Леопольду Сергеичу...

— Нет, вы напрасно, наш горбунчик рядом с этим просто вылитый Пушкин.

— Не приведи Господи, приснится такое ночью...

— На него даже смотреть неудобно...

Все это было прервано появлением Леопольда. Помню, мне понравилось, как он — с места в карьер — повел свою роль, классическую роль горбуна, встретившего в присутствии посторонних лиц себе подобного монстра.

— А! Коллега по несчастью! С кем имею честь? Чему обязан?..

То была имитация тончайшей психологической паутины — гордости, защищенной глумлением, и стыда, прикрытого балаганом. Он садился на стулья, как всадник, обхватив донце ногами, вскакивал, снова садился — задом наперед, и положив голову на спинку стула, корчил дикие рожи и непрерывно двигал плечами, будто щупал свой горб, возвышавшийся над ним, как рюкзак.

— Так-так, Андрей Казимирович, значит. А меня, как это ни смешно, зовут Леопольдом Сергеичем. И я, как видите, тоже слегка горбоват.

Меня восхищала его игра в утрированного человека, это искусство, тем более похожее на правду, чем оно было нелепее, и я с тихой грустью сознавал его жизненное превосходство и свое неумение войти, подобно ему, в единственно возможную для нас на земле форму — форму горбатых уродов и уязвленных самолюбцев.

Но дело делом, и я дал понять, что желаю беседовать кон-фи-ден-ци-аль-но.

— Мне нетрудно уйти, — обиженно сказала Кострица и вышла, обдав меня на прощанье жгучим своим ароматом.

Я же подумал ей в отместку, что она пропитана этим запахом до самого позвоночника. Даже экскременты у нее пахнут духами, а не вареным картофелем и домашним уютом, как это обыкновенно бывает. А мочится она чистейшим одеколоном, и в такой обстановке бедный Леопольд скоро завянет.

— Вы давно оттуда? — спросил я напрямик, когда мы остались одни и только оцепенелый ребенок сидел в дальнем углу с тупым загадочным взором, изображающим ужас.

— Откуда — оттуда? — уклонился он от ответа.

Вместе с уходом хозяйки его наигранную веселость как рукой сняло. Исчезла вся эта шутовская амбиция, присущая большинству горбунов, которые достаточно умны, чтобы прятать свою спину, и достаточно горды, чтобы от нее не страдать. Но мне казалось, что он еще не пришел в себя и по инерции, с усталым видом продолжает притворяться не тем, кем он был на самом деле.

— Бросьте! — сказал я тихо. — Я узнал вас с первого взгляда. Мы же с вами из одних мест. Так сказать, родственники. ПХЕНЦ! ПХЕНЦ! — напомнил я шепотом священное для нас обоих имя.

— Как вы сказали?.. Знаете, вы мне тоже показались немного знакомы. Где же я мог вас видеть?

Он тер лоб, морщился, кривил губы. Его лицо имело почти человеческую подвижность, и я вновь позавидовал

этой поразительной тренировочной технике, хотя осторожные повадки его начинали меня раздражать.

— Ба! — вскричал он, продолжая валять дурака, — вы в системе Главбумсбыга не служили? Там директором — в сорок четвертом — Яков Соломонович Зак. Симпатичный такой еврейчик...

— Никакого Зака я не знаю, — ответил я сухо. — Но я хорошо знаю, что вы, Леопольд Сергеевич, вовсе не Леопольд Сергеевич, и никакой вы не горбун, хоть тычете всюду свой горб. И вообще, довольно кривляний. В конце концов я ничуть не меньше рискую, чем рискуете вы.

Он буквально осатанел:

— Как вы смеете, — говорит, — мне указывать, кто я такой? Испортить мои отношения с хозяйкой, да еще грубить! Да вы найдите, — говорит, — сначала такую роскошную женщину, а потом рассуждайте о моем физическом недостатке. Вы — горбатее меня. Слышите? Вы — еще гнуснее. Урод! Горбун! Калека несчастный!

Вдруг он рассмеялся и хлопнул себя по макушке:

— Вспомнил! Я вас видал в прачечной. Мы с вами только тем и похожи, что сдаем белье в одну общую стирку.

На этот раз я поверил в его искренность. Нет, он действительно мнил себя Леопольдом Сергеевичем. Он слишком вошел в роль, одичал, очеловечился, чересчур уподобился окружающей обстановке и поддался чужому влиянию. Он забыл свое прежнее имя, предал далекую родину, и, если ему не помочь, он в два счета погибнет.

Я схватил его за плечи и осторожно потряс. Я тряс его и уговаривал дружески, по-хорошему — вспомнить, понатужиться и вспомнить, вернуться к себе самому. И зачем ему эта источающая ядовитый запах Кострицкая? Даже среди людей скотоложество не пользуется авторитетом. Тем более — измена родине, хоть не по злему умыслу, а по обыкновенной забывчивости.

— ПХЕНЦ! ПХЕНЦ — твердил я ему и повторял другие слова, какие сам еще помнил.

Вдруг сквозь его бостоновый пиджак до меня донеслась — неизвестно откуда взявшаяся — теплота. Все жарче и жарче делались его плечи, такие же горячие, как рука Вероники, как тысячи других горячих рук, с которыми я предпочитал не здороваться за руку.

— Простите, — сказал я и разжал пальцы. — Мне кажется, вышла ошибка. Досадное недоразумение. Я, видите ли, — как бы вам это объяснить? — подвержен нервным припадкам...

Тут я услышал страшный грохот и обернулся. Позади, на почтительном расстоянии, скакал ребенок, угрожая сабллей.

— Пусти Леопольда! — кричал он. — Эй ты! Пусти Леопольда! Его моя мама любит. Он — мой папа, мой, а не твой Леопольд!

Сомнений быть не могло. Я обознался. Это был человек, самый нормальный человек, хоть и горбатый.

3

С каждым днем мне становится хуже. Наступила зима — холоднейшее время года в этой части света. Не вылезая из дома.

Все-таки грех жаловаться. После ноябрьских праздников я вышел на пенсию. Маловато, но так спокойнее. А то — что бы я делал во время последней болезни? Бегать на службу у меня не хватило бы сил, а доставать бюллетень — хлопотно и опасно. Не подвергаться же на старости лет медицинскому освидетельствованию? Это бы меня погубило.

Иногда задаю себе один коварный вопрос: почему бы мне в конце концов не легализовать свое положение? Зачем тридцать лет, как преступник, я выдавал себя за другого? Андрей Казимирович Сушинский. Полуполяк, полурусский. 61 год. Инвалид. Беспартийный. Холост. Родственников и детей не имеет. За границей никогда не бывал. Родился в Иркутске. Отец — мелкий служащий. Мать — домохозяйка. Умерли от холеры в 1901 году. Все!

А что если пойти в милицию, извиниться, рассказать попросту и по порядку, объяснить?

Так, мол, и так. Сами видите — существо из другого мира. Не из Африки, не из Индии и даже не с Марса или какой-нибудь вашей Венеры, а еще дальше, еще недоступнее. У вас даже названий таких нет, да и я сам — разложите передо мною все имеющиеся в наличии звездные карты и планы — не найду, честное слово, не найду, куда же задевалась та великолепная точка, из которой я родом.

Во-первых, не специалист я в астрономическом деле. Ехал — пока везли. Во-вторых, совсем иная картина, и не узнать мне родимого неба по вашим книгам-бумагам. Я и сейчас — выйду ночью на улицу, подыму голову и вижу: опять не то! И в каком направлении мне надо грустить, тоже неизвестно. Может, отсюда не видать не только моей земли, но и моего солнца. Может, оно по ту сторону Галактики числится. Не разобрать!

Не подумайте, пожалуйста, что я прибыл сюда с какой-нибудь задней целью. Переселение народов, борьба миров, пятое-десятое. Я вообще не военный, не ученый, не путешественник, и профессия моя — счетовод, здешняя, разумеется, о старой лучше не поминать — все равно ничего не пойдем.

И лететь мы ни в какие пространства не собирались, а просто ехали, выражаясь примитивно, на курорт. А по дороге — происшествие, ну, скажем, метеорит, чтобы было доступнее, ну, падаем, лишенные поддержки, неизвестно куда, падаем семь с половиной месяцев — только не ваших месяцев, а наших — и в силу чистой случайности попадаем сюда.

Очнулся, гляжу — попутчики мои погибли. Похоронил их, как положено, и начал приспосабливаться.

А вокруг — экзотика, невнятица. В небе луна горит, большущая, желтая, но зато в единственном числе. Воздух — не тот, свет — не тот, тяготение всякое, давление тоже не очень соответствуют. Да что говорить! Какая-нибудь элементарная елка в моем нездешнем восприятии — все равно что для вас — дикообраз.

Куда деваться? Пить-есть надо. Конечно — не человек, не зверь, и, пожалуй, склонен скорее всего — из того, что у вас имеется, — к растительному царству, но тоже обладаю своими первичными потребностями. Мне, в первую очередь, вода нужна, за неимением лучшей влаги, и желательно — определенной температуры, да чтоб к воде — время от времени — недостающие соли. К тому же чувствую в окружающей атмосфере возрастающее похолодание. А вы сами знаете, какие в Сибири морозы.

Делать нечего, пришлось мне леса покинуть. Я уже к людям из кустиков несколько дней присматривался. Сразу понял, что разумные твари, но боялся в первый момент, что съедят. Задрапировался кое-какими тряпками (тогда и состоялась моя первая кража, извинительная в создавшейся ситуации) и выхожу из кустиков с приветливым видом.

Якуты — народ гостеприимный, доверчивый. У них я и освоил простейшие человеческие навыки, а потом перебрался в более цивилизованные края. Изучил язык, постиг науки, преподавал арифметику в средней школе города Иркутска. Одно время в Крыму обитал, но вскоре уехал оттуда по климатическим причинам: летом припекает излишне, а зимой — недостаточно, и все равно нужна квартира с паровым отоплением. А эти удобства в 20-е годы были там в редкость и стоили большие деньги — не по карману. Вот и поселился в Москве... Вот и живу...

Кому угодно рассказывай эту печальную повесть, в самой что ни на есть популярной форме — ведь не поверят, ни за что не поверят. Если б я хоть плакать мог по мере своего рассказа, а то смеяться кое-как научился, а плакать — не умею. Сочтут безумцем, фантазером, да еще к судебной ответственности могут привлечь: фальшивый паспорт, подделка подписей и печатей и прочие незаконные действия.

А если даже — вопреки рассудку — поверят, — будет еще хуже.

Съедутся со всех концов академики всех академий — астрономы, агрономы, физики, экономисты, геологи, филологи, психологи, биологи, микробиологи, химики и биохимики, изучат до последнего пятнышка, ничего не забудут. И все только спрашивают, выпытывают, рассматривают, извлекают.

В миллионных тиражах разойдутся обо мне диссертации, кинофильмы и поэмы. Дамы станут красить губы зеленой помадой и заказывать шляпки в виде кактуса или по крайней мере фикуса. И все горбуны — несколько лет — будут пользоваться у женщин колоссальным успехом.

Названием моей родины назовут автомобильные марки, а моим именем — сотни новорожденных младенцев, не говоря уже об улицах и собаках. Я стану известен как Лев Толстой, как Гулливер и Геркулес. И Галилео Галилей.

Но при всем этом общенародном внимании к моей скромной особе никто ничего не поймет. Как же понять меня им, если сам я на их языке никак не могу выразить свою бесчеловечную сущность. Все верчусь вокруг да около и метафорами пробавляюсь, а как дойдет дело до главного — смолкаю. И только вижу плотное, низкое — ГОГРЫ, слышу быстрое — ВЗГЛЯГУ и неопишуемо прекрасное ПХЕНЦ осеняет мой ствол. Все меньше и меньше этих слов остается в увядающей памяти. Звуками человеческой речи лишь приблизительно можно передать их конструкцию. И если обступят лингвисты и спросят, что это такое, я скажу только: ГОГРЫ ТУЖЕРОСКИП и разведу руками.

Нет, уж лучше буду влачить одинокое инкогнито. Раз появился такой специфический, так и существуй незаметно. И незаметно умри.

А то, когда я умру, — а я скоро умру, — они заспиртуют меня в большую стеклянную банку и выставят на обозрение в зоологическом музее. И проходя вереницами, начнут смеяться от страха и, чтоб подбодрить себя, станут смеяться нахально, оттопыривать брезгливые губы: «Ах, какой ненормальный, какой некрасивый ублюдок!»

А я не ублюдок! Если просто другой, так уж сразу ругаться? Нечего своими уродствами измерять мою красоту. Я красивее вас и нормальнее. И всякий раз как гляжу на себя, наглядно в том убеждаюсь.

Перед тем, как мне заболеть, сломалась ванна. Я узнал о несчастье поздно вечером и понял, что это Кострицкая, чтобы мне досадить. От бедной Вероники помощи не ожидалось. Вероника обиделась на меня после того инцидента, когда она предложила самое лучшее, с человеческой точки зрения, что у нее в запасе имелось, а я вместо этого пошел гулять.

Теперь — сквозь стенку — до меня иногда долетали ее воздушные поцелуи с одним актером из театра Станиславского, с которым они поженились. Я был искренне рад за нее и даже послал к свадьбе анонимный торт за 16 рублей с ее инициалами и вензелями, выполненными шоколадом.

Но есть мне хотелось невероятно, а ванну повредила Кострицкая, чтобы меня погубить, и дырку, из которой струится вода, — в ожидании починки — забили деревянной пробкой, и вода не текла. Поэтому, когда все улеглись, и с этажа, что надо мной, и с этажа, что подо мной, а также с боков донесся умеренный храп, я снял с гвоздя Вероникино корыто, которое висит в нашей уборной среди других соседских корыт. Оно гремело, как гром, пока я волок его по коридору, и в нижнем этаже, под полом, кто-то перестал храпеть. Но я довел свой труд до конца, вскипятил чайник на кухне, набрал ведро холодной воды и все это снес к себе в комнату, и заперся на задвижку. А в замочную скважину сунул ключ.

Как приятно скинуть одежды, снять парик, оторвать ушные раковины из настоящей гуттаперчи и отстегнуть ремни, стягивающие спину и грудь. Мое тело раскрылось, точно пальма, принесенная в свернутом виде из магазина. Все члены, затекшие за день, ожили и заиграли.

Я установился в корыте, одной рукою схватил губку, чтобы размазывать воду по всем сухим местам, другой — чайник. А в третью руку взял кружку с холодной водой и, добавив туда кипятку, попробовал оставшейся четвертой рукой, не слишком ли горячо получилось. До чего удобно!

Кожа хорошо всасывала драгоценную жидкость, льющуюся на меня с высоты из эмалированной кружки, и, утолив первый голод, я решил осмотреть себя повнимательнее, чтобы смыть нездоровую слизь, выступившую из пор и застывшую кое-где сухими лиловыми сгустками. Правда, мои глаза на руках и ногах, на темени и на затылке начали

заметно слабеть, скрытые в дневное время жесткой одеждой и накладной шевелюрой. Один глаз ослеп еще в 34 году, натертый правым ботинком. Было трудно с должной тщательностью произвести осмотр.

Но я вертел головой, не ограничиваясь полукругом — жалкой ставосьмидесятиградусной нормой, отпущенной человеческой шее, я заморгал всеми глазами, какие были в сохранности, разгоня усталость и мрак, и мне удалось увидеть себя со всех сторон — сразу в нескольких ракурсах. Какое это увлекательное зрелище, к сожалению, теперь доступное мне лишь в редкие ночные часы. Стоит вздеть руку, и видишь себя с потолка, так сказать, возвышаясь и свешиваясь над собою. И в то же самое время — остальными глазами — не упускать из виду низ, тыл и перед — все свое ветвистое и раскидистое тело.

Может быть, не живи я на чужбине тридцать два года, мне бы и в голову не пришло любоваться своею внешностью. Но здесь я единственный образчик той утраченной гармонической красоты, что зовется моею родиной. Что же мне делать еще на земле, если не восхищаться собой?

Пусть моя задняя рука скрючилась от постоянной необходимости изображать человеческий горб! Пусть на моей передней руке, искалеченной ремнями, уже отсохло два пальца, а мое старое тело потеряло прежнюю гибкость! Все равно, я красив! пропорционален! изящен! вопреки утверждениям всех завистников и критиканов.

Так рассуждал я, поливая себя из кружки, — в ту ночь, когда Кострицка задумала меня убить посредством сломанной ванны. А наутро я заболел, должно быть, простудившись в корыте, и началось самое трудное время в моей жизни.

Я лежал полторы недели на своем жестком диване и чувствовал, как высыхаю. У меня не было сил сходить за водой на кухню. Мое тело, туго спеленутое в человекоподобный кулек, онемело и затекло. Засохшая кожа потрескалась. А я не мог приподняться и ослабить путы, острые, будто из проволоки.

Так прошло полторы недели, и никто ко мне не входил.

Я представлял себе, как после моей смерти обрадованные соседи позвонят в поликлинику. Приедет участковый врач констатировать летальный исход, наклонится над диваном, разрежет хирургическими ножницами одежды, бинты и ремни и отпрянет в ужасе от дивана, и велит поскорее доставить мой труп в самый лучший, в самый большой анатомический театр.

Вот она — банка со спиртом, жгучим, как духи Костричкой! В ядовитую ванну, в стеклянный склеп, в историю, в назидание потомкам — на вечные времена — погружают меня — урода, наиглавнейшего урода Земли.

Тогда я застонал, сначала тихо, потом громче, ненавистным и неизбежным человеческим языком. «Мама, мама, мама», — стонал я, подражая интонации плачущего ребенка — в расчете пробудить жалость в том, кто бы меня услышал. И призывая на помощь в течение двух часов, я поклялся, если только выживу, сохранить до конца свою тайну и не дать в руки врагам на растерзание и глумление последний клочок моей родины — мое прекрасное тело.

Вошла Вероника. Она заметно похудела, и взгляд ее, очищенный от любви и обиды, был ясен и равнодушен.

— Воды! — прохрипел я.

— Если вы больны, — сказала Вероника, — вам надо раздеться и смерить температуру. Я вызову врача. Вам поставят банки.

Врач! Банка! Раздеться! Не хватало еще, чтобы она трогала мой лоб, прохладный, как комнатный воздух, и щупала раскаленными пальцами несуществующий пульс! Но, поправляя подушку, Вероника брезгливо отдернула руку, прикоснувшуюся ко моему парику. Должно быть, мое тело возбуждало в ней, как в прочих людях, лишь одно отвращение.

— Воды! Христа-ради воды!

— Вам сырой или кипяченой?

Наконец она ушла и вернулась с графином. И протирая запыленный стакан с той задумчивой медлительностью, которую я принял бы за месть с ее стороны, если бы не знал, что она ничего не знает, Вероника сказала:

— Я ведь на самом деле любила вас, Андрей Казимирович. Мне понятно: это была любовь — как бы вам объяснить? — любовь из жалости... Жалость к одинокому искалеченному человеку, простите за откровенность. Но я пожалела вас настолько... не замечать... физические изъяны... Вы мне казались, Андрей Казимирович, самым красивым человеком на земле... самого... человека. И когда вы так жестоко посмеялись... Покончить с собой... Любила... не скрывая, скажу... достойный человек... Опять полюбила... А теперь даже благодарна... Полюбила... Человека... Человеческим... Человечность... как человек человеку...

Вероника наполнила стакан и вдруг поднесла его к моему моему рту. Мои вставные зубы стучали о стекло, но я не решался принять эту жидкость внутрь: меня поливать требуется, как цветок или яблоню — сверху, а не через рот.

— Пейте же, пейте! — настаивала Вероника. — Вы же просили воды...

Отбросил, рванулся и, чувствуя, что пропадаю, сел. Вода текла изо рта на диван. Мне удалось поймать несколько капель в подставленную сухую ладонь.

— Дайте графин и уходите, — приказал я со всей твердостью, на какую был способен. — Оставьте меня в покое! Я сам напьюсь.

Из глаз Вероники ползли длинные слезы.

— За что вы меня ненавидите? — спросила она. — Что я вам сделала? Вы сами не приняли моей любви, отказались от жалости... Вы просто злой, нехороший, вы очень плохой человек, Андрей Казимирович.

— Вероника! Если еще осталось у вас хоть несколько капель жалости, уходите, прошу вас, умоляю, уходите, оставьте меня одного.

Она вышла, согнувшись. Тогда я расстегнул рубашку и сунул графин за пазуху — горлышком вниз.

4

Бегодня и суматоха в природе. Все в нервозе. Торопливо лезут листья. Отрывисто поют воробьи. Дети спешат на экзамены в школы и в техникумы. Голоса няnek на дворе визгливы, истеричны. И воздух — с душком. Повсюду — в небольшой дозировке — растворен запах Кострицкой. Даже кактусы на подоконнике по утрам пахнут лимоном. Не забыть — перед отъездом кактусы подарить Веронике.

Боюсь, последняя болезнь меня доконала. Она не только сломила тело, но искалечила душу. Странные желания порой посещают меня. То тянет в кино. То хочется сыграть в шашки с мужем Вероники Григорьевны. Говорят, он отлично играет в шашки и шахматы.

Перечел свои записки и остался недоволен. Здесь в каждой фразе — влияние чужеродной среды. Кому нужна эта болтовня на местном диалекте? Не забыть и сжечь перед отъездом. Ведь людям я не собираюсь показывать. А наши все равно не прочтут и ничего обо мне не узнают. Наши и не залетят никогда в такую несусветную даль, в такую дичь.

Мне все труднее становится припоминать прошлое. От родного языка уцелело только несколько слов. Я даже думать разучился по-своему, а не только писать и говорить. Что-то прекрасное — помню, а что именно — сам не знаю.

Иногда мне кажется, что у меня на родине остались дети. Этакie пышные кактусята. Не забыть отдать Веронике. Теперь они, должно быть, большенькие. Вася ходит в школу. Почему в школу? Он — уже взрослый, солидный. Стал инженером. А Маша вышла замуж.

Господи! Господи! Я, кажется, становлюсь человеком!

Нет! Не для того я мучился тридцать два года, не для того страдал зимою без воды на жестком диване. Зачем было выздоравливать, если не с единственной целью: как станет тепло — укрыться в тихое место и умереть без скандала? Только так и можно сберечь, что еще осталось.

Все готово к отъезду: плацкартный билет до Иркутска, бидон для воды, изрядная сумма денег. Почти вся зимняя пенсия на сберкнижке хранится. Не тратился ни на шубу, ни на трамвай-троллейбусы. За все это время в кино не был ни разу.

А за квартиру бросил платить уже третий месяц. Всего — 1657 рублей.

Послезавтра, когда улягутся, уйду незаметно из дому — в такси — и на вокзал. А там ту-ту! и поминай, как звали. Леса, леса, зеленые, как тело матери, примут и укроют меня.

Уж как-нибудь доберусь. Частично лодку нанять. Примерно 350 километров. А все по реке. Вода под боком. Хоть три раза в день обливайся.

Яма была. Разыщу. Мы яму пробрили, когда упали. Обложить дровами. Можжевельник — что порох. Усядусь в яму, развяжусь, распояшусь и стану ждать. И чтоб ни одной человеческой мысли, ни одного слова на чужом наречии.

А как начнутся заморозки и пойму, что время пришло, — одной спички хватит. Ничего не останется.

Но до этого будет долго. Будет много теплых, много добрых ночей. И в летнем небе — много звезд. Какая из них? — неизвестно. Буду на все смотреть — вместе и поочередно — смотреть во все глаза. Какая-нибудь да моя.

— О Родина! ПХЕНЦ! ГОГРЫ ТУЖЕРОСКИП! Я иду к тебе. ГОГРЫ! ГОГРЫ! ГОГРЫ! ТУЖЕРОСКИП! ТУЖЕРОСКИП! БОНЖУР! ГУТЕНАБЕНД! ТУЖЕРОСКИП!
БУ-БУ-БУ!

МЯУ-МЯУ!

ПХЕНЦ!

1957

Пролог

Когда не хватало сил, я влезал на подоконник, высовывал голову в узкую форточку. Внизу шлепали калоши, детскими голосами кричали кошки. Несколько минут я висел над городом, глотая сырой воздух. Потом спрыгивал на пол и закуривал новую папиросу. Так создавалась эта повесть.

Стука я не расслышал. Двое в штатском стояли на пороге. Скромные и задумчивые, они были похожи друг на друга, как близнецы.

Один осмотрел мои карманы. Листочки, разбросанные по столу, он собрал аккуратно в стопку и, посплюнявив пальцы, насчитал семь бумажек. Должно быть, для цензуры он провел ладонью по первой странице, сгребая буквы и знаки препинания. Взмах руки — и на голой бумаге сиротливо копошилась лиловая кучка. Молодой человек ссыпал ее в карман пиджака.

Одна буква — кажется, «з», — шевеля хвостиком, быстро поползла прочь. Но ловкий молодой человек поймал ее, оторвал лапки и придавил ногтем.

Второй тем временем заносил в протокол все детали и даже носки выворачивал наизнанку. Мне было стыдно, как на медицинском осмотре.

— Вы меня арестуете?

Двое в штатском застенчиво потупились и не отвечали. Я не чувствовал за собою вины, но понимал, что сверху виднее, и покорно ждал своей участи.

Когда все было кончено, один из них взглянул на часы:

— Вам оказано доверие.

Стена моей комнаты стала светлеть и светлеть. Вот она сделалась совсем прозрачной. Как стекло. И я увидел Город.

Подобно коралловым рифам возвышались здания Храмов и Министерств. На шпилях многоэтажных строений росли орден и бляхи, гербы и позументы. Лепные, литые, резные украшения, сплошь из настоящего золота, покрывали каменные громады. Это был гранит, одетый в кружево, железобетон, разрисованный букетами и вензелями, нержавеющей сталь, обмазанная для красоты кремом. Все говорило о богатстве людей, населяющих Великий Город.

А над домами, среди разодранных облаков, в красных лучах восходящего солнца, я увидел воздетую руку. В этом застывшем над землей кулаке, в этих толстых, налитых

кровью пальцах была такая могучая, несокрушимая сила, что меня охватил сладкий трепет восторга. Зажмурив глаза, я упал на колени и услышал голос Хозяина. Он шел прямо с небес и звучал то как гневные раскаты артиллерийских орудий, то как нежное мурлыканье аэропланов. Двое в штатском замерли, вынятув руки по швам.

— Встань, смертный. Не отвращай взора от Божьей десницы. Куда бы ты ни скрылся, куда бы ни запрятался, всюду настигнет она тебя, милосердная и карающая. Смотри!

От парящей в небе руки упала громадная тень. В том направлении, где она пролегла, дома и улицы раздвинулись. Город открылся, как пирог, разрезанный надвое. Виднелась его начинка: комфортабельные квартиры с людьми, спящими попарно и в одиночку. По-младенчески чмокали губами большие волосатые мужчины. Загадочно улыбались во сне их упитанные жены. Равномерное дыхание подымалось к розовеющему небу.

Только один человек не спал в этот утренний час. Он стоял у окна и смотрел на Город.

— Ты узнал его, сочинитель? Это он — твой герой, возлюбленный сын мой и верный слуга — Владимир.

Божественный баритон гудел у моего уха.

— Следуй за ним по пятам, не отходи ни на шаг. В минуту опасности телом своим защити! И возвеличь!

Будь пророком моим! Да воссияет свет, и содрогнутся враги от слова, сказанного тобой!

Голос умолк. Но стена моей комнаты оставалась прозрачной, как стекло. И кулак, застывший в небе, висел надо мною. Еще исступленней был его взмах, толстые пальцы побелели от напряжения. А человек стоял у окна, глядя на спящий Город. Вот он застегнул мундир и поднял руку. Она казалась маленькой и слабой рядом с Божьей десницей. Но жест ее был столь же грозен и столь же прекрасен.

Глава I

Гражданин Рабинович С. Я., врач-гинеколог, произвел незаконный аборт. Перелистывая следственные материалы, Владимир Петрович Глобов брезгливо морщился. Работа была закончена, давно рассвело, и вдруг, напоследок, вылезает этот неприличный субъект — в потрепанной папке без номера, с фамилией из анекдота. Для должности городского прокурора — дело незаслуженно мелкое.

Ему уже приходилось как-то обвинять одного Рабиновича, а может быть — двух или трех. Разве их упомнишь? Что

по своей мелкобуржуазной природе они враждебны социализму,— понимал теперь каждый школьник. Разумеется, бывали исключения. Илья Эренбург, например. Но зато с другой стороны — Троцкий, Радек, Зиновьев, Каменев, критики-космополиты... Какая-то врожденная склонность к предательству.

В сердце покалывало. Владимир Петрович расстегнул мундир и, скосив глаз, посмотрел на грудь — под левый сосок. Там, рядом с рубцом от кулацкой пули, виднелось синее сердце, пронзенное стрелой. Он погладил давнюю, с юных лет, татуировку. Сердце, проколотое стрелой, истекало бледно-голубой кровью. А другое — приятно ныло от усталости и забот.

Прежде чем отойти ко сну, прокурор постоял у окна, озирая город. Улицы были еще пусты. Но милиционер на перекрестке, как это заведено, точным взмахом руки управлял всем движением. По знаку дирижерской палочки невидимые толпы то застывали, как вкопанные, то стремительно бросались вперед.

Прокурор застегнулся на все пуговицы и поднял руку. Он чувствовал: «С нами Бог!» И думал: «Победа будет за нами».

Дождь тек по лицу. Носки прилипали. Жду не больше пяти минут,— решил Карлинский и, не выдержав, пошел прочь.

— Куда же вы, Юрий Михайлович?

Посреди мокрого сквера Марина была неправдоподобно суха.

— Вот они каковы — современные рыцари,— говорила Марина, властно и ласково улыбаясь.— Идите же скорее сюда!

И очертила рядом, под зонтиком, уютное сухое местечко.

— Добрый день, Марина Павловна. Я думал — вы не придете. Уже милиционер стал беспокоиться: не собираюсь ли я взорвать памятник Пушкину, пользуясь ненастной погодой.

Марина смеялась:

— Во-первых, мне надо позвонить по телефону.

Дождь бил в асфальт и отскакивал. Площади пузырилась и текла. Они бросились через нее, пересекая воду и ветер. Телефонная будка была островом в океане. Юрий незаметно вытер руки о талию своей спутницы.

— От вас пахнет мокрой тряпкой,— возразила Марина. Он не успел обидеться — она уже набрала номер и произнесла: — Хэлло!

— Хэлло,— решительно повторила она певучее заграничное слово. На верхней ноте ее голос капризно затрепетал.

— Володя, это ты? Я плохо тебя слышу.

Чтобы лучше слышать, она придвинулась к Юрию. Он чувствовал душистую теплоту ее щеки.

— Говори громче! Что, что? Обедайте без меня. Я вернусь нескоро, поем у подруги.

Трубка беспомощно булькала. Это муж на том конце провода пытался протестовать. Тогда Юрий взял руку Марины и поцеловал. Он прощал ей все обиды — и размякшие от воды штилеты, и то, что недотрога. Ее голос извивался, как змея.

— Вечером изволь идти на концерт. Без меня. Очень тебя прошу... Объясню после... Что ты говоришь? А-а-а... Я тебя — тоже.

Она предавала его — глупого наивного мужа. Эй ты, прокурор! — издевался Карлинский. — Слышишь? Она говорит «тоже», чтобы не сказать «целую». Это потому, что я! я! стою рядом и трогаю ее ладонь.

— Чему вы так радуетесь? — удивилась Марина, повесив трубку.

А Карлинский, казалось, и в самом деле собирался оправдать ее прогнозы:

— Марина Павловна, давно хотел задать вам один нескромный вопрос...

— Да, пожалуйста, хоть два,— разрешила она заранее усталым голосом.

Ты — дьявол, но я тебя перехитрю,— успел подумать Юрий. И вкрадчивым тоном спросил:

— Марина Павловна, вы верите в коммунизм?.. И еще второй, с вашего разрешения: вы любите мужа?

— Черт, уже прервали! — Владимир Петрович подышал немного в искусственную телефонную тишину. Марина не отзывалась. За стеной Сережа спрягал немецкие глаголы.

— Сергей, поди сюда.

— Ты меня звал, отец?

— Прежде всего, здравствуй.

— Здравствуй, отец.

— Учишься? А я уже наработался. Всю ночь, до утра, как проклятый, сидел... Слушай, составь мне компанию.

Выходной день как-никак. Поболтаем, потом на машине прокатимся. Вечером — на концерт махнем. Согласен?

— А Марина Павловна?

— Мать — у подруги. По рукам, что ли?

Сереза не возражал.

— Хочу я спросить, Сергей... В среду, на родительском собрании, много про тебя говорили. Хвалили, как полагаются. Ну, а после учитель истории — как его? — Валериан...

— Валериан Валерианович.

— Вот-вот, он самый. Отозвал меня в сторонку и шепчет: «Обратите внимание, уважаемый Владимир Петрович. Ваш сын, знаете ли, задает разные неуместные вопросы и вообще — проявляет нездоровый интерес».

Прокурор помолчал и, не дождавшись ответа, как бы между прочим — сказал:

— Ты это, Сергей, насчет баб, что ли, интересуешься?

Нестерпимый розовый свет ослепил Серезу. Будто девушка, — залюбовался Владимир Петрович. Он знал, что Сереза повинен в иного рода грехах, но в воспитательных целях — пусть сам признается — продолжал пытку:

— Да! О женщинах подумать иногда невредно. Я в твои годы был хоть куда. Можно сказать — первый парень на деревне... Только зачем с преподавателем на такие темы дискутировать? Ты бы меня спросил...

— Да я не об этом вовсе, — взмолился Сереза. — Я совсем про другое спрашивал.

— Про другое?

— Ну, конечно же. По истории — вопросы. По философии тоже. Например, о войнах справедливых и несправедливых.

— О войнах? — удивился Владимир Петрович, все еще делая вид, что ничего не понимает. — Разве ты в будущем году на военную службу собираешься? А институт?

Сереза заторопился. О разных стыдных вещах он и не думал никогда. Учение про войны справедливые и несправедливые создано еще Марксом. Потом его развивал Ленин применительно к новой исторической обстановке. Подтверждая это, Сереза сбегал к себе и принес какие-то тетрадки, исписанные мелким почерком.

— Валериан Валерианович говорит — Ермак вел справедливое покорение Сибири. И восстание Шамиля тоже правильно подавили...

— Да, — размышлял Владимир Петрович. — Без Сибири нам нельзя. И без Кавказа — нельзя. Нефть. Марганец. Народ-то что поет? «На тихом берегу Иртыша сидел Ермак, объятый думой». Слышал?

— Когда англичане Индию, они тоже...

— Ты эти сравнения брось,— заволновался Владимир Петрович.— Англичане нам не указ. Где мы живем? В Англии, что ли?

Он задумался на секунду: Англия, действительно, была ни к чему. Какая Англия?

— Но исторически...

— Исторически, исторически! Ты историю изучай, да о сегодняшнем дне помни. Мы что строим и уже построили? То-то. Значит, в конечном счете, понимаешь — в конечном! — правильно делали наши предки. Справедливо.

Отец был прав. Но и Шамиля жалко. Ведь он не знал, что в России революция произойдет. Хотел свой народ освободить, а после выяснилось — зря старался и даже для социализма вредно.

— А вот Юрий Михайлович по-другому мне объяснял. Все дело, говорит, в том, на чью точку зрения стать. Для одних — справедливо, для других — наоборот. Где же тогда настоящая справедливость?

Опять этот Карлинский! — хотел выругаться Владимир Петрович, но сдержался.

— Ты Сергей, поменьше этой софистикой увлекайся. Конечно, Юрий Михайлович — человек эрудированный и с Мариной Павловной хорошо знаком... Но все же он тебе не товарищ... Давай-ка выкладывай по порядку — какими еще вопросами ты учителей донимаешь?

— Все дело в том, дорогая Марина Павловна, на чью точку зрения стать. Попробуем стать на вашу.

Покуривая вкусную сигаретку, Карлинский смотрел, как Марина кушает. Маленькая бесстыдная родинка, похожая на мушку, придавала ее лицу ослепительную белизну. Но вот уже обвисли складки щек, набрякла промежность у шеи и подбородка. Марина кусает пирожное, обнажив десны, так чтобы не запачкать на губах ярко накрашенную кожу

— Марина Павловна!

Она медленно поворачивает голое лицо, показывая его со всех сторон.

— Мы же друзья, не правда ли? Потому я и позволяю себе говорить начистоту. Ведь не по любви...— Карлинский понизил голос, за соседним столиком двое молодых людей сосредоточенно лакали коньяк...— то есть не из любви к родине и коммунизму вы пошли замуж? Вы, такая умная и такая красивая... Ведь вы красивая?

— Красивая,—слегка посмеиваясь, подтвердила Марина.

— И умная.

— И умная.

— Люблю беседовать с вами. Как будто ешь перец в томате. И кафе располагает к откровенности. Колорит!..

Юрий повел подбородком, приглашая оглядеться по сторонам. Молодой человек за соседним столиком упрямо твердил:

— Обожаю звон бокалов.

А его товарищ перекрестился куском ветчины, воздетым на вилку, проглотил и внушительным тоном добавил:

— Тело женщины — это амфора, наполненная вином.

— Не пора ли наполнить и наши амфоры? — спохватился Карлинский. — Только за что же нам выпить? За идеалы, о которых вы так старательно умалчиваете?

Марина пожалала плечами:

— Не умею разговаривать на отвлеченные темы, Юрий Михайлович.

— А на интимные?

— Тем более.

— Да-а-а. Вы склонны к загадкам. Каждая красивая женщина, между прочим, хочет казаться таинственной. Однако с вами, Марина Павловна, опасно откровенничать. Вы все слушаете...

— Слушаю.

— Смотрите, запоминаете, а потом...

— Нет, я не все запоминаю, но понимаю я все.

— А я вот многого не понимаю.

— Например?

— Взять хотя бы вашу красоту. Как вы можете...

— Как я могу, умная и красивая, жить с моим мужем?

Вы это хотели сказать?

Карлинский замер. Мягко ступая, оскалив мордочку, зверь шел прямо на него. Черно-бурая лиса, песец, куница, о мой долгожданный серебристый соболь! Молодые люди за соседним столиком уже объяснялись в любви:

— А я, Витя, честно тебе признаюсь — за всю свою жизнь лягушки не обидел.

— Спасибо, Толя, что я встретил в тебе человека.

— Так ты, Сергей, по юридической части собираешься? Дельно задумал. На смену отцу, значит? Молодец! А вопросы и сомнения твои, по правде сказать, гроша ломаного не

стоят. Праздные, незрелые разговоры ведешь со своим Валерьянычем. Каша у тебя в голове. Зелен ты еще в большой политике разбираться

Ты, к примеру, за бывших пленных вступаешься. А мне лучше тебя известно: трусы они и предатели. Или насчет зарплаты. Что же ты министра к уборщице приравливаешь? Триста рублей в зубы — и шагай вертеть государством?

Ты думаешь, глупее нас с тобою наверху сидят? Пока ты немецкие глаголы спрягаешь да философии конспектируешь, там уже все известно, вычислено, рассчитано. И зачем глаголы твои нужны, и куда конспекты потребуются.

Ты одно пойми: главное — великая цель наша. Ею все и мерь — от Шамиля до Кореи. Этой целью любые средства освящены, все жертвы оправданы. Миллионы, подумай, миллионы ради нее погибли, последняя война чего стоит. А ты со всякими поправками лезешь — это несправедливо, то неправильно.

Я вот случай тебе расскажу, на всю жизнь его запомнил. Пришел приказ одному капитану: взять такую-то высоту и точка. Бойцы устали, разболтались, в смерть соваться никому неохота. А тут как раз дезертира приводят. Так, мол, и так, хотел улизнуть с поля боя. Капитан, не говоря худого слова, на глазах у всех, хлопнул его из пистолета, послал рапорт по начальству и — в атаку.

Получили мы рапорт, выясняем: как и что? Оказалось — вовсе и не дезертир это был, а просто другой офицер направил его куда-то по делу, а капитан не знал или запомнил в горячке.

Подать сюда капитана! Самоуправство? Расстрел без суда и следствия? За такое — не поздоровится. Штрафная рота, как часы.

Докладывают: капитана больше нет, пал смертью храбрых.

Что же, перед солдатами мертвого командира позорить? Офицерские погоны сомнению подвергать? Может, не пристрели он этого дезертира, не поднял бы в атаку бойцов и приказа бы не выполнил?

Высоту-то, высоту взяли все-таки!

Я, признаться, тогда на случившееся с высоты той самой посмотрел. А теперь ты попробуй посмотри. Ну, будущий прокурор, выноси свое справедливое решение.

— Я не хочу быть прокурором.

— В защитники метишь, по стопам Карлинского, в блистательную адвокатуру?

— Нет, я буду судьей.

— Сдаюсь, сдаюсь без боя, Марина Павловна. Я полностью согласен с вами — цель оправдывает средства. И это тем более правильно, чем выше желанная цель.

Как это вы замечательно выразились? — «мало родиться красивой, красоту нужно завоевывать». Bravo! Я не подозревал, что за такой ренуаровской внешностью скрывается опытный полководец.

Знаете что, возьмите меня в свой арсенал. Красота требует поклонения, цель нуждается в средствах. Так пусть я буду недостойным средством вашей всеоправдывающей красоты. Вы не пожалеете.

А теперь выпьем — за цель, за ваше прекрасное лицо, за необходимый союз целей и средств!

Карлинский и Марина чокнулись.

— Вы воспользуетесь моим предложением?

— Не знаю. Может быть. Хватит об этом.

Марина была рассеянна. А Юрию все вспоминалось далекое, детское. Мудрый змий-искуситель вручал яблоко светловолосой Еве, нерасторопный Адам дремал под райским кустом. И для полноты картины он подвинул ей вазу.

— Попробуйте персик, Марина Павловна. Сладкое вино обычно закусывают фруктами.

Толстый человек по-ребячьи подпрыгивал, суетился, даже прихрамывал из вежливости. Он был гораздо старше и толще отца, но когда тот сбросил на пол калоши, человек вдруг нагнулся, прижал их к золотым галунам и забегал вокруг, приговаривая уменьшительными именами: «Калошки... номерочек... шляпочку-то пожалуйста...»

Сереза и Владимир Петрович прошли в зал.

Ноты и смычки зашевелились. На сцену выплыл конференсье — неудавшийся вундеркинд, облысевший от музыкальных занятий. Он почти пропел, старательно выводя каждое слово, длинный титул знаменитого дирижера, и концерт начался.

Сереза увидел, как надул щеки рыжий, похожий на боксера трубач. Скрипачи остервенело замахали руками.

Музыка потекла.

Она была с цветными разводами — как вода на улице, когда прольют керосин. Она шумела и рвалась со сцены — в зал. Сереза вспомнил, что снаружи тоже хлещет ливень, и пожегся от удовольствия. Именно такой представлялась ему революция.

Буржуи тонули самым естественным образом. Пожилая дама в вечернем туалете, барахтаясь, ползла на колонну.

Смыло. Ее муж-генерал плавал саженками, но тоже вскоре утонул. Уже самим музыкантам было по шейку. Вытаращив глаза и сплевывая набегавшую волну, они судорожно пилили под водой, наугад.

Еще напор. Одиноко, верхом на стуле, промелькнул капельдинер. Волны бились о стены, лизали портреты великих композиторов. На поверхности плавали дамские сумочки и билеты. Время от времени из звонко-зеленой глубины, не спеша, как белый, незрелый арбуз, всплывала чья-то лысина и пропадала.

— Это тебе не Прокофьев с Хачатуряном. Классика. Какая музыка! — воскликнул Владимир Петрович.

Его тоже весьма занимало происшедшее наводнение. Но видел и понимал он больше, чем Сережа: музыка не текла сама по себе — ею управлял дирижер.

Он возводил дамбы, прочерчивал каналы и акведуки, укладывал взбалмошную стихию в геометрически точные русла. Дирижер руководил: по взмаху его руки одни потоки останавливались и замерзали, другие устремлялись вперед и крутили турбины.

Владимир Петрович незаметно перешел в первый ряд. Никогда раньше не сидел он так близко от дирижера и никогда не думал, что эта работа требует стольких усилий. Еще бы! Уследить и за флейтой и за барабаном и заставить всех играть одно и то же!

Пот бежал с него ручьями, щеки тряслись. И спина хрипло вздрагивала при всякой паузе. Издали он казался легким танцором, который пляшет не ногами, а руками. Но здесь, вблизи, это был мясник, что рубит туши и колет лед, выхаркивая с каждым ударом отрывистое густое дыханье.

А музыка становилась все шумнее и шумнее. Уже не водопады и реки — они давно замерзли — ледяные глыбы пришли в движение, словно в ледниковый период. Один выступ с грохотом наезжал на другой. Перемещались миры и пространства. Новый век из гранита и льда наступил.

— Антракт! — объявил звонким голосом молодежавый конферансье.

Глава II

Раздетая донага, Марина делала гимнастику. В трюме бесшумно прыгали розовые овалы. Ей было занятно следить за их веселой игрой.

Марина придвинулась. Ее отражение росло в размерах, оглядывая себя по частям. В целом — оно напоминало про-

пеллер. От узкой талии вверх и вниз разбегались упругие лопасти. Бедра и плечи уравнивали друг друга. А сбоку — от груди к ягодицам — изгибалась буква S: синусоида торса.

Взыскательно, по-деловому, Марина выверяла пропорции. Не отвисает ли зад, нет ли морщин на шее? Она бесцеремонно мяла груди, вертела голову, массировала живот. Зеркало служило ей верстаком, чертежной доской, мольбертом — рабочее место женщины, возмечтавшей о красоте. Она не прихорашивалась, не кокетничала. Она трудилась решительно и вдохновенно.

Сегодня, восемнадцатого сентября, Марине Павловне исполняется тридцать лет. Другие в столь бальзаковском возрасте кончают свою карьеру. Свадебная красотка, невзначай угодившая на обложку иллюстрированного журнала, к тридцати годам расплывается, как подогретый пломбир.

Женщины, похожие на кастрированных мужчин, гуляют по улицам и бульварам. Коротконогие, словно беременная такса, или голенастые, как страус, они прячут под платьем опухоли и кровоподтеки, затягиваются в корсет, подшивают вату взамен грудей.

Марине к маскарадным костюмам прибегать незачем. Она сумеет быть изящной в любом положении — хоть на четвереньках, с высунутым языком. А вы попробуйте в таком виде сохранить достоинство и обаяние!

Она замерла перед зеркалом. Непристойная поза еще лучше подчеркивала изгибы ее спины. Стоять на четвереньках, с открытым ртом было как-то неловко. Но Марина удостоверилась: красоту ее тела и лица ничто не может нарушить.

У прочих женщин красота служит подсобным средством. Красивым легче выйти замуж, найти любовника. Одни хотят метать икру, оправдываясь материнскими чувствами. (Как вовремя ей удалось вернуться от этой безвкусной развязки!) Другие находят непонятное удовольствие в ночной слюнявой возне. (Бедный Володечка, мне его просто жаль!) И никто не знает, что прекрасная женщина сама достойна быть целью. А все остальное — мужчины, деньги, наряды, квартиры, автомашины — это лишь средства, любые средства, служащие красоте.

Марина делает шаг в сторону — ее отражение ползет по стеклу и пропадает. На месте живота просвечивает ваза с цветами, а выше — груда коробок и гипсовый бюст. Марина догадывается, что это муж, покуда она спала, прокрался к ней в комнату и воздвиг дворец из разных сюрпризов. Это

уж его правило, он всегда покупает много и беспорядочно. Вон даже бюст Хозяина, не считая конфет духов и прочих средств, нужных ее красоте.

— Зачем вы здесь, уважаемый? — спрашивает Марина, не оборачиваясь. — Великим людям не полагается подсматривать за голыми дамами.

Она хочет закрепиться на скользкой зеркальной поверхности. Вопреки законам физики — навечно. Чтоб даже в ее отсутствие прекрасное отражение так и осталось нетронутым. Добиться этого ей нелегко.

А в коридоре уже давно скрипят половицы. Это супруг вздыхает под дверь, подглядывая в замочную скважину, как мальчишка, за утренним туалетом жены.

Марина Павловна стоит перед зеркалом, нагая, надменная. Не стыдясь и не радуясь, она поворачивается в разные стороны, чтобы мужу за дверь было удобней смотреть. Она не возражает — пусть полюбуется ради праздника. Но ребенка от нее пусть лучше не ждет.

Потом неторопливо надевает халат и говорит:

— Кто там? Войдите.

— Поздравляю тебя, Мариночка, с днем рождения.

Она целует его в щеку.

— Спасибо за подарки, Володя. Они все мне очень нравятся. Только вот эту вещь давай поставим в твоем кабинете. К моей комнате она чуточку не подходит: не тот стиль.

После первого тоста за здоровье дорогой новорожденной все накинулись на еду, и Карлинский смог наконец вплотную заняться Мариной. Примостившись подле нее слева (по правую руку, как полагается, сидел Владимир Петрович), он бросал колкие замечания в адрес гостей, чем весьма забавлял прекрасную хозяйку, вызывая зависть остальных мужчин.

— Политическая лояльность нашего собрания обеспечена, — кивнул Юрий в сторону следователя Скромных, давнего друга семьи Глюбовых.

Марина была в ударе. Она смеялась островам Карлинского, угощала ближайших соседей, подкладывая себе в тарелку наиболее лакомые куски, изучала туалеты дам, не пренебрегала и Владимиром Петровичем, время от времени касаясь коленом его ноги под стулом, и легким движением ресниц управляла домработницей, следя за непрерывным конвейером вин, салатов и соусов. Потому все неослабно

чувствовали праздничное присутствие Марины, кушали, пили, говорила ради нее одной. И это было всем приятно, а ей — тоже.

— Обратите внимание, — нагнулся к ней Юрий, — с каким пылом этот хранитель госбезопасности расхваливает своего отпрыска. Все профессиональные тюремщики, по моим наблюдениям, нежно любят детей. Добро и зло уравновешены в природе...

Марина Павловна сочла нужным ответить:

— Вероятно, поэтому, Юрий Михайлович, адвокаты в домашнем кругу так жестоки и злы?

— Камешек в мой огород? Но какого гуманиста не выведет из себя это родительское сюсюканье? Можно подумать, здесь одни садисты и заплечных дел мастера.

Разговор, действительно, шел о детях.

— А где Сережа? — спросила жена следователя. И не успела Марина ответить, что ее пасынок вместе со школой уехал на уборку картофеля, как супруг Скромных уже затянул свою обычную арию: «А вот мой Боренька...» Все восхищались умом десятилетнего мальчика.

— Я пью за день рождения вашей будущей дочери, Марина Павловна. За невесту моему Борису! — неожиданно заключил следователь.

Неужели она беременна? — подумал Юрий, но, взглянув на бесстрастное лицо Марины, успокоился: этот следователь готов спаривать еще незачатых младенцев.

Владимир Петрович тоже был изумлен: ну и нюх у Аркадия Скромных — уже все знает! И чтобы не выдавать приятной тайны раньше срока, прокурор, позвонив ложечкой о бокал, взял слово:

— Хотя ты и старый следователь, Аркадий Гаврилыч, однако улик у тебя нет и дело временно прекратим за отсутствием состава преступления. Выпьем лучше за всех наших детей, за прочную семейную жизнь!

Гости повиновались.

— Что такое человек семейный? Это — серьезный человек, и в дружбе, и в работе, и в государственном смысле — надежный. Кто детьми обзаводится, тот хороший гражданин. Он о семье думает, о будущем, о потомках, на земле укорениться желает. Он весь на виду.

Глобов раскрыл ладонь, широкую, как тарелка, и, сжав ее в кулак, продолжал:

— Я лично сторонник многодетной семьи. Сам из такой вышел. Нас, Глобовых, по всему миру — как в лесу грибов. И стреляли нас, и резали, а вот не перевелось,

не изничтожилось глобовское племя. Младший брат — на Дальнем Востоке полковник, другой — на Каспии рыбным комбинатом орудует сестра в Ленинграде в прошлом году диссертацию защитила.

Пальцы прокурора разгибались, начиная с мизинца. Вот и указательный. Это, по всей вероятности, был сам прокурор — прямой, крепкий, с отполированным ногтем на конце.

— И есть же люди — за бездетность агитируют! Вчера читали в газете? Неомальтузианство. Целый подвал. Очень оно распространено на Западе — это нео. И у нас кое-что в этом роде можно еще встретить. Мне в руки одно дело попало...

Перегибаясь через бутылки, Глобов зацептал следователю. Гости отвели глаза к еде, догадываясь — аборт.

Карлинский подавил внезапный приступ тошноты. Чтобы рассеяться, стал думать о Мальтусе. В каждой теории есть своя правда. Нельзя же размножаться до бесконечности? Заселим Сахару, Антарктику, а дальше куда? Вот тут и следует изобрести нечто универсальное.

Известно же — человеческий зародыш на какой-то ранней стадии уподобляется рыбе. Зачем же попусту гибнуть рыбным богатствам страны? В прекрасном будущем этих милых рыбок утилизируют. Осторожно изымут из материнского чрева и станут разводить в особых прудах, приучая к самостоятельности. Пускай себе обрастают чешуйками и плавниками под государственной охраной какого-нибудь глобовского собрата. Тут же, при абортарии — рыбозавод, консервы в огромном количестве. Кого в шпроты, кого в килечки — по национальному признаку. И все произойдет в согласии с марксизмом. Мы снова вернемся к людоедской закуске. Но не вспять, не к первобытному пожиранию себе подобных товарищей, а, так сказать, на более высокой и деликатной основе. Развиваясь по спирали...

Юрия уже не тошнило. Он был в восторге: не познакомиться ли Марину Павловну с этой оригинальной идеей? Но куда он сомневался — все-таки дама, — Марина сказала:

— Володя, что за секреты в обществе? Это нетактично. Кушай свою рыбу.

Зашипела пластинка. Простуженный тенор повел старинное, двадцатых годов, танго.

Был день осенний, с деревьев листья опали,
В хрустальных астрах печаль усталая цвела.

Русский эмигрант из парижского бардака пел о неразделенной любви. И хотя хрустальных астр не бывает, всем

стало не по себе, когда тенор с горестным изумлением воскликнул:

Ах, эти черные глаза!

— Ах, эти черные глаза,— подхватил на низкой ноте невидимый хор.

Меня пленили

— сокрушался белоэмигрант, и хор глухо роптал:

— Меня пленили.

Их позабыть не в силах я,

Они горят передо мной.

Владимир Петрович бережно передвигал Марину меж танцующих пар. Автоматически, под гипнозом, она выбивала такт. Блаженное безволие колыхало ее. Озноб, словно минеральная вода, испускал пузырьки. Они взбегали вдоль позвоночника — к шее — по изъязвленной коже затылка — до кончиков наэлектризованных волос.

Ах, эти черные глаза!

Кто вас полюбит,

Тот потеряет навсегда и счастье и покой.

— Ах, эти черные глаза,— простонала Марина.

Не глядя по сторонам, она знала, что все смотрят на нее и ею одной любят. Каждый мужчина здесь мечтал танцевать только с Мариной. И ей хотелось идти и идти без конца под эту песню о неразделенной любви, идти по всей земле, меняя страны, времена, партнеров, и, никого не любя, изнемогать от счастья, что все тебя любят и что тебе лучше всех.

— Сегодня я выбираю музыку и кавалеров! — объявила Марина, пуская пластинку еще раз. Она отплыла с Карлинским, лишь зацвели астры, каких не бывает на свете.

Их позабыть не в силах я,

Они горят передо мной

— подпевал Юрий в теплое ухо Марины.

Он сам не ждал, что его искушенную душу так растрогает бульварный романс. Но сколько ни зубоскалил Юрий над этой мещанской экзотикой, он не мог развеять ее утонченно-пошлого очарования.

В ананасовых рощах цветут хрустальные астры. У фешенебельных отелей, на фоне сплошных пейзажей планируют взад и вперед прилично одетые мужчины при тросточках и золотых зубах. Симпатичные дамы в будуарах и — как это? — кулуарах строят куры. А вокруг саксофоны, чичисбеи, неглиже. Гондолы и гондоны. Гривуазно ныряя. В рюмке от сервиза пламенеет ликер. Петя + Тося = Любовь. Лю-эс.

А Марина прильнула к нему, покорная и доверчивая. Будто она поняла наконец, кто ее избранник. Будто не нужно

ей никого-никого, кроме Юрия. И возможна в жизни — если не любовь, то хоть обыкновенная нежность.

Вот тут, посередине, Марина сменила партнера. По ее знаку подскочил следователь Скромных, заранее выхляя за дом. Он увлек Марину в новый круговорот.

Владимир Петрович проводил насмешливым взглядом одинокую фигуру Карлинского и опять, делая вид, что курит, повернулся к танцующим.

На выгнутой шее — лицо. Оно застыло. А тело пульсирует в такт музыке, перебирает ногами. И спящее лицо покачивается. Будто лунатик, Марина идет по комнате. Вот она придвинулась к своему кавалеру, отступила, снова придвинулась. Лицо покачивается. Белое, строгое, как от другого туловища, оно не принимает участия в окружающей суете. Переплетаются ноги, пытит очередной счастливец, нетерпеливо ждут своей минуты следующие мужчины. Но лицо Марины спокойно, точно она отсутствует, точно ей все равно, кому и когда достаться.

И эта мертвая неподвижность ее лица и эта длинная очередь к жертве, впавшей в беспамятство, вызывают уже не ревность, а ужас — перед насилием, что совершается в его доме, у всех на глазах, под музыку. Чтобы как-то остановить их — потерявших стыд и совесть людей, — прокурор подходит к извергавшемуся вконец патефону и будто бы ненароком, споткнувшись, опрокидывает его на пол.

Юрий не мог заснуть. Последнее время, по ночам, с ним бывало такое: вдруг он вспоминал, что должен умереть, и начинал бояться. Особенно часто это случалось, когда он лежал на спине.

Жизни его не угрожала опасность, и можно было надеяться, что он проживет еще лет двадцать пять, а то и все тридцать пять, если будет беречь свое здоровье и бросит курить. Но самая мысль о том, что через двадцать пять или даже через сорок лет ему предстоит умереть, была нестерпима. Это очень страшно, когда тебя нет, а другие еще существуют.

Гроб и могила его не пугали. Главное — что ничего не будет после смерти, ничего и никогда, на веки вечные. Если бы спровадили в ад, и то — лучше: пусть поджаривают на сковородке — все-таки какое-то самосознание остается.

Ему вспомнилось, как в детстве он завидовал слонам, которые живут сто пятьдесят лет. А шуки, говорят, — двести. А когда умер отец, Юрий бился в истерике и все думал, что

ему жаль бедного папу, а он себя жалел, догадываясь о своей смерти, и потом долго расспрашивал всех про загробную жизнь в надежде, что она есть.

Зачем они отняли веру? Личное бессмертие заменили коммунизмом! Разве может быть какая-то цель у мыслящего человека, кроме себя самого?

Чувствуя, что он умирает и вот-вот совсем исчезнет, Юрий сел на кровати и зажег лампу. Он кашлянул и подумал, что *тогда* и кашлять уж не придется. Потом увлажненными пальцами потрогал стул, который останется (и ножки стула останутся!), в то время как Юрия уже не будет.

Рассказать об этой беде — некому. Всякий станет смеяться над тобой, а про себя думать: «Я ведь тоже умру». Сочувствия не дождешься.

Был только один выход — самообман. К нему прибегают люди, отвлекая себя чем угодно от этой — сводящей с ума — пустоты. Кто занят политикой, как медведь Глобов, кто, вроде Марины... Марина! Вот где нужно искать спасение! В этой женщине, самой красивой из всех женщин, каких он знал.

Юрий привстал, вынул сигареты и закурил, чтобы лучше схватить скользящее из головы решение. И выпуская дым изо рта, чувствовал, что он жив, и курит, как полагается, и затягивается по-настоящему, и выпускает дым изо рта, как мертвые не могут. И радуясь этому, выпускал изо рта дым, и курил, и опять радовался.

Марина и впрямь была достойным занятием. Он сам, задолго до этой ночи, интуитивно, как лошадь в буран, выбрал верный путь. Он объявил себя средством, всего лишь средством, ее красоты. Он восхищался и потакал, желал и раболепствовал. И не раз был унижен и брошен, как сегодня — во время танцев. Но только теперь Юрий мог, положить руку на сердце, сказать, что сделал открытие, может быть, позначительней Архимеда.

Пусть точкой опоры послужит ему Марина! Эта недотрога, возмнившая себя целью мироздания, станет средством от бессонницы. А целью, целью будет он сам и его победа над нею. Он паразит Марину тем же оружием, применит любые средства, чтоб доказать свое превосходство.

— Боже, как унизительно будет ваше паденье! Я уж позабочусь, поверьте моему скромному опыту!

Юрий свернулся калачиком и, предчувствуя, что сладко заснет, улыбнулся себе широко и умиротворенно, как давно никому не улыбался. Ему казалось, что он будет жить долго-

долго, что он всех переживет и, может быть, даже никогда не умрет. Но лампу он все же не выключал.

Пластинка была разбита, и вечер испорчен. Муж перешел границы ее терпения. Как только откланялись последние гости, Марина объявила войну.

Владимир Петрович довольно успешно парировал пер- вые удары, отметив, что порядочная женщина, танцуя танго, не позволит Карлинскому гладить себя по спине. Тогда она припомнила ему гипсовый бюст, и вульгарную речь за столом, и следователя, с которым он шушукался чуть ли не весь вечер, и, не дожидаясь ответа, с ходу, повела развернутое наступление.

Ее лицо светилось от гнева. Раскаленное добела, оно было острием, готовым вонзиться, а тело, обтекаемое, как торпеда, — целясь наверняка — нетерпеливо подрагивало.

Крутые меры не пугали Марину. Она понимала, что на войне сострадание так же опасно, как измена. Ей казалось бестактным — пули дум-дум и ядовитые газы считать негуманным оружием. Марина была достаточно умна, чтобы догадываться о том, как больно умирать обожженному обыкновенным термитом.

— Ах так? — сказала она, услышав какую-то резкость. — Знай же — ребенка у нас не будет: я сделала аборт.

Это было подобно взрыву атомной бомбы. Число жертв и разрушений в первый момент установить невозможно. Все стерто с лица земли, и сражаться больше не с кем. Но где-то, на окраине, хоть один человек, да уцелеет.

Он встает, и встряхивается, и крутит в пальцах чайную ложечку, залетевшую к нему в рукав с витрины какого-нибудь (тоже взорванного) ювелирного магазина. И видит, что кроме этой ложечки ничего у него нет — ни дома, ни семьи. Потом вспоминает дальше и видит, что долгожданная дочка погибла при катастрофе, и сворачивая ложечку в задумчивый узелок, замечает еще, что вдвойне опозорен — как муж и как прокурор. И не понимает, что же делать ему с исковерканной ложечкой, а также — причем здесь гражданин Рабинович, когда его собственная жена... И говорит:

— Что ты наделала! Что ты наделала!

И чтобы не убить, дает пощечину.

Чтобы он ее не убил, Марина скрылась у себя в комнате. Она не плакала. Сидя перед зеркалом, она гладила пуховкой оскорбленную щеку и подбирала перекошенный от боли рот, казавшийся слишком большим для ее лица.

Глава III

«Спартак» наступал. Центр нападения — заслуженный мастер спорта Скарлыгин — пробивался к воротам противника. Счет был 0:0. У всех занялся дух.

Тысячи зрителей, в том числе прокурор Глобов, вписавшись глазами в тело прославленного спортсмена, объединенным усилием толкали его вперед. Но тысячи других воль, что боролись на стороне «Динамо», воздвигали на пути Скарлыгина бесчисленные преграды, желали ему споткнуться, упасть, сломать шею. И потому мяч, ринутый могучею ногою, не летел по прямой, как можно было от него ожидать, а метался растерянно, путаясь в бутсах и приводя в замешательство игроков.

Владимир Петрович изо всех сил старался помочь «Спартаку». Напрягая мускулы, он видел, что оборона противника начинает слабеть. Удвоил натиск — она поддалась. И тогда, очертя голову, он ударил, и еще раз ударил, и еще, и еще...

Футбольный матч — в острейшие секунды игры — все равно что обладание женщиной. Ничего не замечаешь вокруг. Одна лишь цель, яростно влекущая: туда! Любой ценой. Пусть смерть, пускай что угодно. Только б прорваться, достичь. Только б заслать в ворота самой судьбою предназначенный гол. Ближе, ближе, скорее... И уже нельзя ждать, нельзя отложить до другого раза... — Ну, я прошу тебя, Марина, понимаешь, прошу!..

Центр нападения, Скарлыгин, подобрался к воротам «Динамо». Вратарь Пономаренко, по-мальчишески юркий, пританцовывал от нетерпения, готовясь к прыжку. А сзади уже наседали запыхавшиеся защитники. — Бей, Саша! Бей! — стонал стадион.

Пономаренко покатился кубарем, прижимая мяч к животу. Скарлыгин тоже упал, но сейчас же вскочил на ноги, подброшенный ревом толпы. Он уже не мог остановиться, потому что цель, ради которой ему пришлось столько выстрадать, была рядом, и тысячи людей требовали победы, и до конца игры оставалось полминуты. Скарлыгин нанес удар. И еще раз ударил, и еще...

...Когда объявили ничью, Владимир Петрович обиделся:

— Пнать надо судью. Непорядок — забитый гол отменить.

— А твоего Скарлыгина — судить за грубое нарушение правил, — подсмеивался следователь Скромных, известный своими симпатиями к «Динамо». — Разве это допустимо?

Живот у человека — самое деликатное место. Простым кулаком убить можно.

— Но мяч все-таки в воротах?! Так или не так?

Обе команды уже уходили с поля — в пыли, тяжело дыша, под звуки спортивного марша. Плелся маленький Пономаренко, согнувшись в три погибели. Хромал исполин Скарлыгин. Ему свистели, улюлюкали со всех трибун стадиона. И он еще жалобнее волочил здоровую ногу, чтобы чем-нибудь оправдать свою проигранную победу.

— А я понимаю Скарлыгина, — рассуждал Владимир Петрович, дожидаясь, пока схлынет народ. — В горячке не разбираешь. Бьешь — и все тут. Когда ворота рядом — миндальничать не приходится. Все способы допустимы...

И он принялся проводить какие-то аналогии, затронув политику и еще что-то. Аркадий Гаврилович плохо его слушал.

— Антисемитизм во имя интернационализма или интернационализм во имя антисемитизма? — переспросил он, явно не улавливая, о чем идет речь.

Глобов начал объяснять, но тот перебил с полуслова. Видать, ни за что не желал уступить первенство «Спартаку»:

— Все это верно... Однако футбол — не политика. И вообще, знаешь, не люблю я в высокие материи забираться. Это уж твое прокурорское дело теории подводить. А я — практик. Растолкуй мне лучше историю с твоим Рабиновичем.

Сережа с вокзала проехал прямо к бабушке:

— Ты вырос и загорел.

Не вставая, она протянула руку.

— Ну, куда целоваться лезешь? Погоди — допечатаю страницу.

И застучала в машинку.

— Как дела с картошкой? Дождей испугались? Тоже мне — детки! Мы в твои-то годы по тюрьмам сидели. Есть хочешь? Возьми за окном, разогрей. Да рассказывай ты, рассказывай побыстрее. После успеешь поесть.

Бабушка удивительная. Если б все такими были, коммунизм давно наступил бы. Ее бы — в колхоз. Она — им покажет!

Но выслушав Сережу, Екатерина Петровна молчала. Потом еще свирепее забила в клавиши. Пишущая машинка трещала, как пулемет. Бабушка, попрыгнувшись на стуле, расстреливала в упор, не целясь.

— Так и знала — опечатка. Придется переписать. Это все ты виноват: под руку разговариваешь.

Она вложила новую обложку. Сережа терся щекой о спинку стула, заглядывал через плечо.

— Целую страницу? Заново? Из-за одной опечатки? Все равно книга твоего писателя никому не нужна.

— То есть как это, не нужна? — изумилась Екатерина Петровна. — Ты сам говоришь — в отдельных колхозах еще есть недостатки. А здесь, — она ткнула в рукопись, — дан образец. Электродоилки, электрошлуги. Пусть берут пример. Язык, правда, плох и любви слишком много.

— Я читал, — отмахнулся Сережа. — Все это одно сплошное образцово-показательное вранье.

— Тише! Опомнись!

Но Сережа будто катился с горы: — Я знаю... Я сам видел...

Тогда она поднялась. Если б не морщины, — девочка, ну просто, — девочка. Стриженная, стройная, в белом воротничке.

— Это, это... Ты отдаешь себе отчет, что ты говоришь?

— Знаю... видел... — не унимался Сережа.

— Ничего ты не знаешь. Это враги говорят. Те, кто против... Как ты можешь? Нет, как ты можешь?

Бабушка задыхалась. Сухие, как сено, космы лезли в разные стороны.

— Вообще я не против... Я и жизнь, и что хотите. Ты, бабушка, вроде отца. С вами и поговорить невозможно. Вот если бы мама была жива...

Он всхлинул и сразу стал маленьким. Милый, глупый ребенок, сиротинушка ты моя. Ей хотелось поплакать вместе с Сережей. Но она понимала — нельзя — надо пресечь — надо быть строгой.

— Не реви. Ты же взрослый. Мы в твои годы по тюрьмам сидели. Революцию делали.

А он уже ревел, уткнувшись в ее колени. Светлый пушок вился на затылке.

— Сегодня же пойдешь в парикмахерскую. Успокойся, врагом народа никто тебя не считает. А вот самоуверенность у тебя отцовская. Ну что ты в жизни видел? Не реви.

Сережа слушал, как вздрагивают его лопатки, и, удивляясь этому, плакал еще сильнее.

— И с отцом меня, пожалуйста, не сравнивай. Мы с ним — разные люди.

— А мы с тобой? — спросил Сережа, не подымая лица.

Он знал, что об этом спрашивать стыдно, но раз уж он плачет, как маленький, — все равно.

— Домой тебе лучше пока не ходить. У них там семейные дразги. Поживешь у меня.

— А мы уживемся, бабушка? Я своими принципами не поступлюсь!

— Какие у тебя принципы! Ты думаешь, я старая, ничего не вижу, не замечаю. Я, может быть, побольше тебя плохого знаю. Но, Сережа, ведь ты сам понимаешь — надо верить, обязательно надо верить. Ведь этому вся жизнь отдана, это — цель наша...

Сережа лег на спину и открыл глаза.

— Знаешь что, бабушка,— сказал он счастливым, сырым голосом,— я пришел к выводу: нам только одно теперь может помочь — мировая революция. Ты как считаешь — мировая революция будет?

— Ну разве можно в этом сомневаться? Конечно, будет! Давай-ка я тебе поесть разогрею,— сказала бабушка.

Не зная, куда деваться, они забрели в планетарий. По крайней мере здесь дешевле и темнее, чем в ресторане,— смекнул Юрий. А домой к нему Марина идти пока что упрямилась: должно быть, не подошло еще время.

Над ними — по всему куполу — разожгли мироздание. Оно повисло миллиардами звезд и тихонько крутилось, поскрипывая на поворотах, будто настоящее небо. Оно раскрывало мохнатые недра и, вывалив содержимое, позволяло удостовериться, что Бога — нет.

Вселенная была пуста. И эта пустота была до того огромна, что невозможно представить, и до того бесцельна в своей бесконечности, что Юрию снова, как тогда, в постели, стало не по себе.

К счастью, на этот раз рядом сидела Марина. В темноте от нее духами пахло сильнее, чем на свету. Ее присутствие убеждало, что ты тоже существуешь. Больше того, оно вносило какой-то смысл в эту звездную бессмыслицу, распахнувшуюся над головой. Оно напоминало про цель, за которую надо бороться. И Юрий, как было намечено, принялся объясняться в любви.

Он говорил все те милые глупости, какие употребляют влюбленные, дескать, не в силах жить без нее, и мучается, и не спит. Марина не отвечала, но ее дыхание стало настроженным, и он решил полностью провести задуманный план.

Суть его состояла в том, чтобы притвориться несчастным. Нет, на ее жалость Юрий и не рассчитывал, он делал ставку на лесть — это гораздо вернее. Всякой женщине лес-

тно, что из-за нее страдают, а если она честная женщина, она захочет отблагодарить. И Юрий рассказывал ей на ухо, какой он слабый и маленький, и унижая себя, потакал ее самолюбию, ибо она должна была думать, что ничтожен он по ее вине.

А в небе тем временем стало светлее, потому что взошло солнце. Оно было большое, как дыня, и заставляло бегать за собой мизерные планеты. Всем этим устройством управлял астроном-профессор, притаившийся в углу. Он твердил, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, как утверждают невежды и мракобесы.

Это рассмешило Юрия: Земля, вероятно, думает, что она — Солнце. Пусть — думает. Но ему-то хорошо известно, кто из них цель, кто средство и где настоящее Солнце. Оно вращается только вокруг себя, единственного, любимого. У Солнца других целей, кроме себя,— нет.

А сам говорил:

— Марина Павловна, будьте моим Солнцем. Ведь ваше лицо — это центр орбиты, по которой я верчусь. Все мои лучшие качества — лишь отраженный свет вашего великолепия...

И так далсе, и тому подобное — все про то, как жалок и мал по сравнению с ней — он, он! — бесценный и первый.

— Сейчас наступит затмение,— объявил профессор загробным голосом.

И затмение началось — да какое! Таких затмений — сам профессор признался — в жизни не встретишь, а если и бывает когда, то — раз в сто лет. Солнце скрылось, точно его проглотили. Под юбкой у вселенной стало совсем темно. Темнее, чем ночью, потому что ночью светит Луна, а здесь Луна только и делала, что затмевала Солнце. Лишь электрические звезды чуть заметно мерцали. Тогда он понял — пора!

Марина целовала, не разжимая зубов. И вдруг, на одно мгновение, острый язык высунулся, дважды ужалил и отскочил. И снова сжатые зубы. И уже оттолкнула. Но сомнения быть не могло: здесь, в небесной пустыне, под угасшим солнцем, Марина платила за лесть.

...Когда зажгли свет, ее лицо сохраняло надменное спокойствие и ехать к нему на квартиру она опять отказалась.

— Чем вы заняты? Куда торопитесь? — допрашивал Юрий.

— Важное дело,— улыбнулась Марина с таинственным видом.— А вы, Юрий Михайлович, превышаете свои права. Уже забыли, что Земля вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли?

Купол при полном освещении оказался низким и грязным. Было непонятно, как туда вмещается столько неба. Народ толпился у выхода. Там какой-то ничему не верящий старичок под общий смех доказывал, что Бог все-таки есть. А малыш лет шести приставал к отцу:

— Папа, Земля — круглая?

— Круглая.

— Совсем круглая?

— Да, как глобус.

— А она вертится?

— Вертится, Миша, вертится, тебе ж сейчас показывали.

— А Солнце больше Земли?

— Во много раз больше.

— Значит, все — неправда! — сказал мальчик и горько заплакал.

Над головою там и сям порхали ножницы. Перелетая от уха к уху, они щебетали. Сережа сидел в кресле, стараясь не шелохнуться, чтобы тому, за спиною, было удобнее стричь.

Это очень неловко, когда взрослый мужчина копается в твоих волосах. Ему бы полезное дело делать, а он все свои способности тратит на парикмахерскую. А ты сидишь перед ним, как буржуй, и боишься дохнуть.

Никелированная машина шипала шеею. Было больно. В угол между глазом и носом вылезла слеза. А утереться нельзя: еще что подумает.

Великие революционеры тоже приучались заранее. Рахметов спал на гвоздях...

— Голову ниже, — скомандовал парикмахер.

Сережа согнулся, как только мог. Ему хотелось, чтобы еще больнее. Сдирайте кожу — он не уступит. Надо воспитывать волю: вдруг его когда-нибудь будут пытаться. В руках палача сверкнула бритва. Навалившись грудью на Сережу, он подчищал виски. Потом встрепенулся и сорвал салфетку.

— Прикажете освежить?

— Не стоит, благодарю вас, — попросил Сережа, краснея.

— Всего шестьдесят копеек, — настаивал мучитель, всем своим гордым видом выражая презрение к Сережиной бедности.

— Я не поэтому. А просто я не люблю, если пахнет одеколоном.

И чтобы откупиться, он сунул ему пятерку — отец всегда давал чаевые швейцарам и шоферам...

Холодея свежим затылком, Сережа двинулся к выходу — сквозь строй одетых в белое мастеров. Каждый сжимал в руке никелированный инструмент, методично и сухо терзал своего клиента.

Чик-чик-чик,
Чик-чик-чик...

А в зеркалах подбородки, лысые и кудрявые головы. Склоненные, задранные, перекошенные, с мыльной пеной у рта.

Чик-чик-чик,
Чик-чик-чик...

Все было спокойно, гигиенично, никто не кричал и не плакал. Но даже лампочки в люстре нестерпимо благоухали.

...В передней небритые люди напряженно ждали своего часа. Заглядевшись на них, Сережа открыл не ту дверь и обомлел.

Здесь был дамский зал. Здесь красили и завивали. Над запахом неживого душистого мяса плавал чад паленых волос.

Впереди, связанная простыней, покоилась женщина. Ее лицо было густо обмазано бледно-фиолетовой кашей. Оно растекалось, когда массажистка погружала в него свои холеные руки. А потом лицо закопошилось и разлепило веки.

— Как ты сюда попал, Сережа? Не бойся. Ты не узнал меня? Это же я — Марина.

Поздно вечером Глобов приехал в суд. Вахтер отпер без колебаний: он уважал причуды прокурора и был ему предан.

— Иди, старина, спать, — сказал Владимир Петрович и обласкал папиросой. А сам прошел по коридору, всюду включая свет.

Зал был пуст, и стол был пуст, и пусты судейские кресла с государственными гербами на спинках. Но вся эта деловая, знакомая до мелочей обстановка казалась еще торжественней, чем в дневные часы.

Прокурор любил приезжать сюда в нерабочее время и готовить обвинительные речи прямо на месте. Как будто не репетиция, а самая настоящая процедура шла обычным порядком — при полном составе суда, в строгой ночной тишине.

...Напрасно подсудимый пытался все запутать, отрицал свою виновность и просил прощения.

— Нет, гражданин Рабинович, не вам взывать к милосердию! Вспомните лучше о матерях, которых вы калечили.

Подумайте о несчастных отцах — они так и не дождались ребенка! О детях, наших детях, уничтоженных вами.

И молчал уличенный преступник, и молчал судья, и молчал вертлявый адвокат, похожий на Карлинского. Все соглашались с тем, что говорил прокурор.

Он обвинял Рабиновича, но помнил обо всех врагах, которые нас окружают. И потому слова его попадали прямо в цель. От незаконного аборта — один шаг до убийства, а отсюда — недалеко и до более серьезных диверсий.

И враги забеспокоились. В тишине, глубокой ночью, они строили козни. Они искали место, куда бы побольнее кольнуть. И вот встает адвокат, похожий на Карлинского, и публично объявляет: жена самого прокурора сделала недавно аборт.

Марину выводят под руки на общее обозрение. Ее лицо — и в позоре — прекрасно, как всегда. Она смотрит сквозь тебя, так что хочется обернуться, смотрит — словно за твоей спиной — большое зеркало и она не с тобой разговаривает, а глядится в себя.

А глаза обещают, манят. Но попробуй — придвинься — опустятся пушистые веки, и с каким-то страстным презрением, всегда одной и той же, заранее заготовленной гримасой, она скривит обжигающий рот: — Ах, оставь!

— Что же, судите ее, граждане судьи! Судите, если это потребуется. Но помните, помните о врагах, которые нас окружают!

И молчит зал, и молчит судья, и такая гробовая тишина кругом, будто нет здесь ни единой души.

И снова встает адвокат, науськанный врагами, заявляя, что у прокурорского сына вредный образ мыслей. А Сережа сам подходит к столу и во всеулышанье подтверждает:

— Для прекрасной цели, — говорит, — нужны прекрасные средства.

— Глупый мальчишка! — кричит ему Владимир Петрович. — Я же объяснял тебе, куда эта доброта приводит. С твоими прекрасными средствами можно только погибнуть, а мы должны победить, победить во что бы то ни стало. Судите его, граждане судьи, если считаете необходимым! Судите и меня вместе с ним за проявленную мягкотелость! Пусть лучше пострадают десятки и даже сотни невинных, чем спасется один враг...

Когда прокурор Глобов представил себе эту картину и на суде собственной совести взвесил все аргументы, обвинительная речь была уже готова. Не написанная на бумаге и даже не произнесенная вслух, она звучала в ушах исполненным приговором и просилась наружу — в слово. Тогда Вла-

дими́р Петро́вич выпрями́лся и, пристально́ глядя́ в кругло-головой́ греб, украша́ющий судейскую́ спинку, громко, так чтобы́ слышно́ было́ во всех конца́х зала, отчеканил:

— Мы не позво́лим ника́ким Рабиновича́м подрыва́ть наше́ общество́ в самой́ его́ основе! Мы не да́дим врага́м уничто́жить нас, мы сами́ их уничто́жим!

Потом он обошел пустое здание, медленно, по всем коридорам. Каждый закоулок осматривал — нет ли кого? Взобрался на второй этаж и тщательно, по-хозяйски проверил все двери, все запоры. В этом доме он — хозяин, потому что обвиняет здесь — он.

И слышит Владимир Петрович, как внизу, в оставленном зале, продолжается церемония, пущенная им в ход.

— Суд идет!

— Суд идет!

— разносится повсюду: по его обвинениям ведут дела, выносятся решения, кого-то привозят и кого-то увозят.

А кто обнаружил Рабиновича, открыл эту цепь процессов? — Прокурор Глобов. Кто в трудную минуту заменил и судью и присяжных? — Опять же — он и никто другой. Первый, когда другие молчали, он встал и обвинил. Все думали: Рабинович — пустяк, анекдот, жалкий смешной человек, а он обвинял, не слушая ни свидетелей, ни адвокатов. Еще ничего, ничего не было. А он уже обвинил. С этого все и началось.

Когда Владимир Петрович обходил второй этаж, он заглянул между прочим в дамскую комнату, какая бывает в любом учреждении — есть она и в горсуде. Зашел он туда не из любопытства, а для проверки — нет ли кого? Там было пусто, и только надписи на стенах задержали его внимание. Он прочел, усмехнулся, подумал, что надо сказать вахтеру, чтоб завтра же стерли, и забыл про них. Но я эти надписи помню.

В общей уборной, запершись в маленькой тихой кабинке, ты, наконец, остаешься один на один с самим собой. Здесь ты можешь делать, что хочешь. Никто не увидит, не помешает. Мужчины обычно в таких случаях пишут одни непристойности. Женщины оказались лучше нас, они пишут слова любви и негодования.

Коля, береги себя.

Твоя мама.

Петр! Ненавижу тебя!

Твоей не буду.

Милый Федя, я Вас люблю.

Вспомни, где будешь.

И десятки других фраз, все про любовь и разлуку. Тот, к кому обращены эти слова, никогда о них не узнает. Да и написано все это не для читателя. А просто брошено в пространство, на ветер, в самые дальние дали. Только Бог или случайный чужак-любитель может подобрать эти молитвы и заклинания.

Я хотел бы так же верить в слово, как верят эти женщины. И сидя в своей комнате, похожей на туалетную кабинку, глубокой ночью, когда все спят, писать слова, короткие и прямые, без задних мыслей и адресов.

Вначале было слово. Если это правда, то первое слово было таким же прекрасным, как надписи в женской уборной городского суда. Когда оно произнеслось, мир начал жить наподобие прейскуранта. Всюду висели дощечки с названиями — «елка», «гора», «инфузория». И каждая вещь была вызвана своим словом, и слово было делом.

— Судебным делом, — поправляет меня Хозяин. — Ты слышишь, сочинитель! Уж если слово — так обвинительное слово. Уж если дело — судебное дело. Слово и дело!

Я слышу.

Суд идет, суд идет по всему миру. И уже не Рабиновича, уличенного городским прокурором, а всех нас, сколько есть вместе взятых, ежедневно, еженощно ведут на суд и допрос. И это зовется историей.

Звенит колокольчик. — Ваша фамилия? Имя? Год рождения?

Вот тогда и начинаешь писать.

Глава IV

На собрание у зоопарка явилась одна Катя.

— А где остальные? — спросил Сережа. — Неужели струсили? Ведь мы еще в колхозе обо всем договорились.

— Пармонов не придет, у него сегодня в институте семинар по марксизму.

Катя спрятала в рукава озябшие пальчики.

— Квалифицирую это как заурядную трусость. Вот вы, Катя, вы же пришли. У вас в школе тоже, небось, утреннее расписание. А вы не испугались.

— И вы, Сережа, вы.

Она задохнулась от этого «вы», интимного и почтительно-го. Ей все говорили «ты» — учителя, подруги, кондуктора троллейбусов и трамваев. И вдруг, точно они влюбленные, — «Вы, Катя», «Вы, Сережа». А Сережа все нажимал: вы, вы. Дело предстояло опасное, от детских привычек нора отвыкнуть.

— Вы посмотрите, Катя,— он показал в сторону зоопарка.— Это похоже на планету Марс. Там, говорят, вся растительность красная, а не зеленая.

Осень была в самом разгаре. Деревья в парке переменяли расцветку. Они покачивали фантастической, не по-земному красной листвой. И хотя Катя ничего не знала о других планетах, она радостно закивала своими большими очками.

— Да, вы правы, совсем как на Марсе.

В кассе зоопарка они купили билеты по два рубля — для взрослых — и вошли.

Все бежали смотреть зверей, а здесь, в начале марсианской аллеи, у пруда, где уже перевелись слишком южные пеликаны, почти никого не было. Только пара молодых людей в одинаковых демисезонных пальто и одинаковых шляпах. Один из них совал прутик сквозь решетку, стараясь привлечь внимание диких уток, дремавших на берегу. Время от времени он даже кричал по-утиному. Но, видно, его криканье было недостаточно натуральным, потому что умные птицы не откликались.

— Присаживайтесь,— сказал Сережа.— Здесь вполне безопасно. Предлагаю обсудить программу нашего общества.

— А как будет называться это общество?— спросила Катя и тут же предложила: — Давайте ему придумаем красивое, звучное имя, вроде «Молодой гвардии». Например, «Свободная Россия».

— Видите ли, Катя, из достоверных источников нам известно: за границей уже есть такая шпионская радиостанция — «Свободная Европа». Могут решить — мы с ними заодно. Необходимо отделить себя от всех врагов. А то империалисты воспользуются.

Сережа воодушевился. Он снял кепку, не боясь простудиться, и размахивал ею в такт словам. Перед Катей открылся мир, коммунистический и лучезарный.

Самую большую зарплату получали уборщицы. Министры же для пущего бескорыстия находились на скудном пайке. Денежную систему, пытки, воровство — отменили. Наступила полная свобода, и уж так хорошо получалось, что никто никого не сажал, а каждый имел по потребностям. На улицах были расклеены плакаты Маяковского. И еще другие, сочиненные Сережей: «Остерегайся! Ты можешь оскорбить человека!» Это на всякий случай, чтоб не забывались. А кто забудет — расстрел.

Впрочем, в Сережином изложении все выходило куда более стройно и Кате оставалась неясной только одна

деталь, сейчас же силой оружия свергнуть правительство или, может, повременить, пока другие страны не покончат с капитализмом? Сережа советовал подождать мировой революции, но признавал, что потом, как это ни печально, придется все-таки свергнуть.

Катя попросила внести в программу еще один пункт о совместном обучении юношей и девушек в старших классах средней школы. И, тронув Сережину кепку, робко добавила:

— Раз уж мы все равно в зоопарке, давайте посмотрим тигра.

Сережа недовольно нахмурился.

— Это для пользы дела, для конспирации,— пояснила Катя.

— Ну что ж,— разрешил он, подумав.— Для конспирации — можно.

— Старики-фламандцы писали нагое тело, как груды всяческой снеди. Вы посмотрите, в этих фламандских дамах есть и сливочное масло, и свежие булки, и свой дамский изюм.

Карлинский скосил глаз на Марину. Та слушала его с независимым видом. Будто все, что он говорил, было ей хорошо известно. Она делала одолжение, позволяя водить себя по музею.

Вокруг висели женщины и натюрморты. На пышных задах морщинилась чуть заметная рябь. Так бывает с чаем на блюде, если легонько подуть, чтобы он простыл побыстрее. Или — когда потрогаешь слишком спелое яблоко. Сквозь бледно-желтую кожуру проступят теплые пятна — следы прикосновений.

Среди этой разнузданной плоти Марина была самой одетой. Карлинский начал издалека.

— Почему мы так говорим: «познать женщину»? Что общего между познанием и любовью? По какой такой причине первородный грех случался не где-нибудь в кустах малины, а под яблоней познания?

Марина лизнула кожу над верхней губой. Кожа была нежна и сладковата на вкус. От этой заграничной мастики лицо становится гладким, как паркет.

— Всякое познание состоит из двух, я бы сказал, элементов: связь и различие. Не правда ли, познавая любую вещь, мы, во-первых, связываем ее с другими, во-вторых, отличаем от других вещей, как нечто оригинальное. В половом акте,— извините меня за вульгарное выражение,— и за-

ключены первоэлементы познания Адам и Ева слились в любовных объятиях и тут же поняли разницу где мужчина, а где женщина. Связавшись, они различились, а различившись, связались. И таким образом, познав себя, принялись познавать остальное.

Марина уселась перед «Вакханалией» Рубенса, открыла сумочку и еще раз, на всякий случай, осмотрела себя. Ее лицо не умещалось в круглом зеркальце. Нужно долго крутить головой, чтобы проверить все.

— Продолжайте, Юрий Михайлович. Итак, мы остановились на первородном грехе. Дальше что?

— С первородного греха и началось познание мира. Мужчина и женщина, свет и тьма, добро и зло, пока Гегель не назвал все это единством противоречий. Но в основе человеческой мысли, дорогая Марина Павловна, в самой последней основе, — сокрыт половой акт, два сопряженных органа, столь не похожих друг на друга. Головной мозг — всего лишь познающий придаток наших сексуальных частей.

— Это — остроумно, — заметила Марина, не улыбаясь. Она отдавала должное изобретательности Юрия, но понимала, что красивая женщина обязана не удивляться, хотя бы перед ней демонстрировал свои теории сам Гегель.

— А как же звери, Юрий Михайлович? Они ведь тоже, так сказать, размножаются. Однако философское мышление почему-то им не под силу.

У Карлинского звери были уже учтены: звери не имеют стыда, в стыде же вся суть и любви, и познания.

— Пройдемся в Древний Египет и там доберемся до сути, — сказал он, вытирая пот со лба.

Их разговор приобретал почти научный характер.

* * *

В зимних помещениях было тепло и мокро, как в оранжерее: зверей подогревали. Но лишь одни змеи, уютно свернувшись под стеклом, чувствовали себя дома. Остальные жили здесь будто на вокзале. Слонялись из угла в угол, беспричинно почесывались, ждали.

— Они ждут свободы, — определила Катя. — Они мечтают вырваться из этой вонючей тюрьмы.

В тесных простенках, скудно посыпанных сеном, подскакивают на своих костылях австралийские кенгуру. Обезьяны торопливо разучивают жесты интеллигентного неврастеника. Как пишущие машинки, стрекочут попугайчики, собранные в общей камере. Непоправимо одинок слон.

На осеннем холодке мало кто остался: волки, неотличимые от собак, рыси, похожие на увеличенных кошек. Всеобщее любопытство возбуждала овца. Должно быть, ее посадили в клетку за недостатком настоящих зверей или для полной научности. Раз уж сидит за решеткой, значит — не зря.

Катя от всего сердца жалела и волков и медведей. Она склонялась к тому, что зоопарки вместе с тюрьмами следует упразднить. Сережа резонно ей возражал: наука требует жертв. Во имя мирового прогресса. Но в будущем обществе зверинцы сплошь перестроят. Вместо этих конур — просторные, светлые клетки. Колочая проволока в виде древесных ветвей, чтобы не так заметно. Звери будут чувствовать себя почти на свободе.

Слушая его речи, Катя всплакнула.

— А вдруг они не поверят, что это для ихней же пользы? Сережа, милый, я не могу, не хочу, если тебя арестуют. Куда же я денусь?

Сняв закапанные очки, она стала беспомощной, как все женщины. Ее утешать было досадно и сладко. Ну вот, связался с девчонкой! А еще собиралась тигра смотреть для конспирации. Если бы не борьба впереди, он бы ее полюбил. Рахметов тоже подавлял в себе всякие личные чувства. И Павел Корчагин.

Ему было жалко себя — такого хорошего, такого честного, готового погибнуть за всех.

В хищном отделе им снова встретилась пара демисезонных пальто. Одно из них говорило, обращаясь к леопарду:

— Что ты можешь, зебра, по сравнению с человеком? Гляди-ка, Толя, хвостом вильнула, облизывается. А шкура вся в родинках. Такую бы зебру дома над кроватью повесить!

Леопард смотрел на него круглыми, детскими от изумления глазами. Он удивлялся этой живой пище, завернутой в пальто и в брюки, точно конфетка — в бумажку. Леопард, вероятно, был из вновь прибывших и еще плохо разбирался — что к чему.

Тигр спал на правом боку, прислонившись к решетке. Его спина была совсем полосатой. Казалось — на ней отпечатаны прутья, к которым он привалился.

Когда отворяли дверь на улицу, звери воинственно озирались и вскакивали. Они суетились, словно пассажиры на провинциальной станции перед приходом поезда. Близилось время обеда.

Только тигр не шевелился. Он спал как убитый.

Прокурор повернулся на левый бок. Он любил спать днем, после ночной работы. Тело отдыхает, но ум бодрствует, когда вокруг светло. И спится как-то спокойнее.

Засыпая, мы словно садимся за телевизор, который забыли настроить. Вещи расплываются, дали гаснут, люди ватными ногами вышагивают по ватной земле. Ты не различаешь черты приснившихся родных и знакомых. Все видишь не в фокусе. Но всему заранее веришь, как малолетний ребенок. Вот это — Марина, а это — Карлинский, и он ей говорит:

— У богов и животных нет стыда. Стыд — наша монополия. Когда Адам и Ева превратились из обезьян в человека, они устыдились. Грехопаденье — познание — стыд. Не разорвать!

Лицо Марины струилось в разные стороны. Карлинский тоже имел довольно прозрачный вид. Его ладони плавали в темном воздухе, как две медузы — поднимаясь и опускаясь. Он таял в улыбках и недомолвках.

— Стыд — это табу, которое мы нарушаем. Потому и нарушаем, что стыдно. Совершать недозволенное — что может быть человеку приятнее? Тут — все наше отличие от богов и животных тварей...

— Это ты — тварь, — хотел ответить Глобов и онемел. Телевизионный экран вырос, будто в него вставили линзу. На переднем плане вспухло звероподобное существо с кошачьими лапами и женской мордой.

— Предпочитаю сфинксов, — объявила Марина. — Они гораздо красивее ваших стыдящихся обезьян.

— Сами вы египетский сфинкс! — возопил Карлинский, радостно ужасаясь. — Вас бы сюда в музей, в качестве экспоната!

Его тощая фигура расплывалась в туман. Владимир Петрович стоял в Египте имени А. С. Пушкина. Музейные залы походили на зоопарк. Разные древние народы до того были забиты и суеверны, что поклонялись даже львам и баранам. Но рисовать они умели еще очень плохо: к человеческим ногам прилаживали звериные головы, или наоборот.

Разглядеть все эти подробности не хватило времени. Перед ним, на мраморном пьедестале, вытянув передние лапы, гордо возлежала Марина.

— Кис-кис-кис, — поманил ее Глобов.

Она подползла ближе. Жаль, что я сплю, и хорошо, что испарился Карлинский, — успел он вспомнить, когда Марина, мякнув, положила ему на плечи свои когтистые лапы. Ее

лицо дымилось, как чашка черного кофе. И он пригубил душистый напиток, засыпая все глубже и глубже.

Карлинский долго стоял над базальтовым зверем. С трудом выдавил очередной афоризм:

— Скотоложество наказуемо по уголовному кодексу, дабы не было столь привлекательно для человека.

— Это вы про кого? — очнулась Марина.

Они смотрели еще французов, но Юрий не реагировал даже на Ренуара. С этой проклятой Изидой хоть беседуй об акушерстве: ни стыда, ни любопытства. Точно животное. Или в самом деле — богиня...

— Меня, Марина Павловна, тоже прельщают сфинксы. Тому, кто познает вашу хвостатую даму, быть может, откроются тайники мироздания!

— Может быть, — ответила Марина, придавая лицу загадочное выражение, как это и подобает сфинксу.

Не успел Глобов открыть глаза, как откуда ни возьмись появился гражданин Рабинович. Он отбывал наказание при Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, работая в должности экскурсовода. Что за преступное ротозейство — определить его сюда!

Наглый и навязчивый, как все евреи, он дал понять: ему де свыше поручено сопровождать прокурора. После сфинксовых ласк (подгляддел, сволочь!) тот, мол, обязан *volens polens* познакомиться с кое-каким секретным материалом.

— Только смотри — чтоб мистики ни-ни!

— Ладно, — обещал Рабинович.

Над пневматической дверью светилась цитата из сочинений Хозяина:

ВЕЛИКАЯ ЦЕЛЬ РОЖДАЕТ ВЕЛИКУЮ ЭНЕРГИЮ.

За цитатой — пространство, стеклянная банка — в центре, а в банке — заспиртованный мозг, извилистый, как земная кора. Его полушария медленно колыхались. Вокруг, по тонким трубкам, сквозь реторты и колбы, через перегонные кубы, бежал зеленоватый раствор.

Рабинович хихикнул:

— Всякий раз, попадая сюда, я немножко пугаюсь.

Дрогнувшим пальцем он ткнул студенистый комок. Тот продолжал пульсировать как ни в чем не бывало.

— Не слышит. Все думает и думает, идеи изобретает. Может, у него на родине была любимая девушка. А чтоб на

свиданье сходить — ног нету На его извилинах разве далеко уползешь?

Я волнуюсь, гражданин прокурор, как бы от этих непрерывных раздумий он с ума не спятил. Ведь вся мировая цивилизация насмарку пойдет! Мы какой-то дурацкий атом расщепили и уже беспокоимся. А тут, в этой банке, представляете, — цепная реакция мозга. Взрывы идей, самумы рассеянных мыслей. Чуть недоглядел — куда там водородная бомба! Не только наша скромная планета, галактика на куски разлетится. Я, по правде сказать, опасаясь за Бога...

— Не развалится твоя галактика, не допустим, — ободрил его Глобов. — А про Бога ты забудь, Бога идеалисты придумали... Признайся-ка, Рабинович, что это за идеи производятся тут? Уж не реакционный ли какой вздор лезет из мозговой реакции?

— Что вы, гражданин прокурор! — обиделся Рабинович. — Одни только высокие цели, великие идеалы. От них — все остальное, по закону диалектики. Культуры там разные, ренессансы. У нас без обмана. Желаете лично убедиться?

— Ну, давай, действуй! Да побыстрее. А то некогда мне: просыпаться пора.

— Заявляю вам откровенно, как на страшном суде. Не мне, старому иудею, защищать дело Христа. Но ради объективности должен отметить: у Него имелась, гражданин прокурор, тоже благородная цель.

Бывший врач-гинеколог вперил глаза в потолок. На его иссохших щеках заиграл лиловый румянец.

— Сына Человеческого посадить на Божий престол, ближнего возлюбить больше, чем себя самого, — очень все это прогрессивно, говоря между нами, для того исторического этапа, конечно. Ну, а что получилось? Нет, вы только послушайте, что из этого получилось!

С верхнего этажа доносился стук молотков. Это отбивали ручки у какой-то Милосской Венеры. Запахло пережаренным мясом — горели еретики.

— Сейчас гугенотов будут резать! — радовался Рабинович. А прокурор недовольно ворчал:

— Экое варварство! Я еще понимаю — идолопоклонники, мусульмане, крупные идейные разногласия. А здесь и разницы почти никакой — единоверцы.

— Для вас никакой разницы. А по их непросвещенному мнению, гугеноты, может, дьяволу продались! Ведь нельзя допустить, чтобы два христианства сразу! Это такой же нонсенс, как два социализма. Взять хотя бы нашего Тито...

— Тито — фашист, шпион, американский прислужник!

— Ну да, я и говорю: дьяволу продались.

Их спор был прерван праздничным ликованием. Над осатанелой толпой, лихо раскинув кровоточащие руки, кокетливо изогнувшись на золотом кресте, отплясывал победный танец Иисус Христос.

А вокруг уже шептались средневековые паникеры и нытики. Дескать, за что боролись? Измена! Перерождение! Дескать, от великой цели остались одни средства, она их оправдала, они же ее скомпрометировали.

— А я про что говорю? — суетился Рабинович. — Каждая порядочная цель сама себя поедает. Из кожи вылезает, чтоб до нее добраться, а чуть добрался — глядь — все наоборот.

— Просчитались твои иезуиты, допустили ошибку.

— Ни малейшей ошибочки. Законно. Что цель оправдывает средства — это всякий культурный человек понимает. Открыто ли, тайком, но без этого с места не сдвинешься. Если враг не сдается, его уничтожают. Скажете — нет?

А раз хороши все средства, значит, действуй решительно. Во имя Господа Бога самого Бога не пожалей. Тут ей конец, следующая цель выплзает на авансцену истории. Смотрите, глядите, гражданин прокурор, — новенькая, как из магазина.

Опять, словно книжка с картинками, распахнулись стены музея. Нарисованные ангелы забили нарисованными крыльями.

— Снова ты мне поповские агитки подсовываешь, — нахмурился Глюбов.

— Как можно, гражданин прокурор. Сплошной Леонардо да Винчи. Индивидуализм. Просвещение. Свободная мыслящая личность. Та самая личность, что взамен Христа утвердилась и постепенно буржуазные порядки кругом себя развела. Но пока — взгляните — разве такая цель не достойна любых средств? Грация, эрудиция, марципан!

— Я не желаю больше смотреть, — отвернулся Глюбов, предчувствуя какой-то подвох.

Но Рабинович будто не слышал:

— Во имя этой свободы одна личность другой личности начинает кишки выжимать. Видите, как конкурируют? Теперь и до новой цели недалеко. Во имя коммунизма...

— Замолчи! Останови эту машину!

Но было уже поздно.

«Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем...»

Пли!

Глава V

Владимир Петрович достал Сереже гостевой билет, и во-
енным парадом они любовались вместе.

Площадь в танках и в пехоте была видна хорошо. Но
главная трибуна осталась далеко сбоку, и что творилось там,
Сережа не мог разглядеть.

— Улыбается! — заметил отец, ухитрившийся каким-то
чудом быть в курсе всего. Сережа приподнялся на цыпочки
и опять ничего не увидел, кроме голубых пятен с золотой
каймою. Ему казалось, что отец выдумывает, но сзади кто-
то солидный констатировал откормленным басом:

— Да, улыбается и сделал вот так.

— Не так, а вот эдак, — поправила костистая дама, во-
оруженная театральным биноклем. И тут же заскулила:

— На небо смотрит, сокол ясноглазый! На своих соколят!

Бомбовозы шли сомкнутым строем. В их прямом, тяже-
лом полете заключалось столько достоинства, что хотелось
по-щенячьи опрокинуться на спину в знак покорности и вос-
хищения. Но, прижимая тебя к земле, они были слишком
серьезны, слишком заняты своим возвышенным, всепогло-
щающим делом, чтобы размениваться на мелочи и злорад-
ствовать над тобой. Они, тараня воздух, двигались дальше,
к цели, расположенной Бог знает где и по сравнению с кото-
рой Сережа — как он сразу понял это — был попросту нуну-
жен. Даже вся эта площадь служила им в лучшем случае
временным ориентиром.

Отец уже тормозил его за плечо:

— Куда ты глядишь, Сергей? Левее, левее! Видишь?
рукою машет, приветствует демонстрантов.

— Родной! Любимый! — стонала костистая дама, изви-
ваясь в левую сторону. Казалось, у нее с губ вот-вот забрыз-
жет пена, и Сереже стало неловко за свое равнодушие. К соб-
ственному стыду, он до сих пор не сумел отыскать в пятни-
стой кучке, шевелящейся на трибуне, того, чье гордое имя
возбуждало всех, как вино.

Про него шушукались в публике. О нем чревовещали
репродукторы. Его портреты разных размеров, очень похо-
жие друг на друга, проплывали через площадь, словно парус-
ные корабли. Демонстранты, проходя мимо, не смотрели
себе под ноги, а кривились всем телом назад, чтобы еще раз
обернуться к нему.

Но сам он, как это представлялось Сереже, странным
образом отсутствовал. Все говорило, что он здесь, а его
вроде и не было.

— Увидел, наконец? — допытывался Владимир Петрович. — Что ты — слепой, близорукий?

Сережа из последних сил вгляделся и к одному голубому пятну, стоявшему чуть в сторонке, добавил мысленно недостающее лицо.

— Теперь вижу.

И, набравшись храбрости, спросил:

— Он кивает, и улыбается, и машет рукой?

— Да, это — он, это Хозяин, — подтвердил отец.

На демонстрацию Юрий не пошел. Он сказался больным и все утро ловил джазы. Приемник — немецкий. Слушай хоть Би-Би-Си. Было весело прыгать вверх-вниз по всемирной шкале.

Парижскую рекламу сменяло нытье арабов. А вот сцепились хвостами две передачи. Какая-то скандинавская кирха транслировала молитвы. Тут же, невпопад, украинское контральто, промытое борным раствором, рассказывало про успехи знатного токаря Наливайки, который выполнил к празднику годовой план.

Пальцы вибрировали. В них тоже бился эфир. Радиоволны — петля за петлей — обвивали шю. В ответ, из живота, из пустой впалой груди, гудело и вздрагивало черное магнитное небо, кое-где прошитое трассирующим писком морзянки.

Юрий был антенной. А хотелось быть передатчиком. Излучать могучие волны какой угодно длины. «Внимание! Внимание! Карлинский у микрофона. Слушайте только меня, меня одного!»

Станции наперебой голосили, каждая про свои интересы. Они обступили его, как торговки на рынке. Юрий крутился, теребя ручку приемника, едава успевая настраиваться то на одну, то на другую.

Его губы напевали псалмы, штиблеты под столом выстукивали бразильскую самбу. А что он мог предложить миру от своего имени? Какое еще попури из Фрейда и гавайской гитары? Кто я и где я, оригинальный, единственный, если всем сразу пришел срок говорить?

Наконец Юрий нащупал волну «Свободной Европы». Диктор конфиденциальным тоном (должно, сам побаивался) вещал что-то пикантное — в честь октябрьской годовщины, специально. Слово предоставили бывшему подполковнику авиации, поседевшему от многих обид на тяжелой советской службе. Но только потусторонний голос бывшего подпол-

ковника произнес «Дорогие братья и сес...»,— как послышалось гневное заградительное рокотанье. Это вступили в бой наши глушителы.

От ружейного и пулеметного треска ныли барабанные перепонки. По «Свободной Европе», по американским джазам и французской рекламе шпарил ураганный огонь. На бескрайних электронных полях началось сражение.

Юрий проскочил мертвую зону и перевел дух. Выстрелы затихли вдали. А навстречу неслись браваурные марши и клики «ура». Первые демонстранты проходили перед трибуной.

Этого перенести Юрий уже не мог. Резко, обрывая трансляцию, он вертанул выключатель. Так сворачивают головку пойманной птицы. Ему даже показалось, что хрустнули шейные позвонки.

Екатерину Петровну по привычке прокурор звал мамашей. А какая она мамаша?— уже и не теща. После второй женитьбы Любова они почти не встречались. Но по праздникам — 7 Ноября и 1 Мая — он ее навещал.

Мамаша смеялась:

— Что, прокурор, дела другого нет? Вспомнил о революции? — И поила густым, как красное вино, чаем...

На стене — карта Кореи, утыканная флажками. Когда Сережа только родился, на том же месте висела страна Испания. Красные тряпочки, приколотые булавками, бежали по линии фронта. Старуха была консервативна в своих вкусах. Аккуратно, каждое утро, она переставляла флажки.

Он зевнул, скрипя стулом, выгибая тугую грудь, обвешанную орденами.

— Ну и пузо у тебя отросло — скоро произведут в министры. Куда только новая твоя супруга смотрит? Да ты не обижайся, я шучу. Как живешь, выкладывай. Все с женой воюешь?

Обманывать ее было нельзя.

— Дома — плохо.

Под толстым слоем лица проступили скулы, желваки, челюсть — злая мужицкая худоба.

— Сами знаете, мамаша, родился и вырос я в морально и физически здоровой среде. А тут разные фигли-мигли, интеллигентские штучки. По неделям в молчанки играем, даже обедаем порознь. Точно я — не муж, а вспомогательное средство какое-то ... Я — человек простой, снизу поднялся, большого положения достиг...

— Ты только не хвастай, хвастаться тебе нечем.

— Вот этими вот руками и землю пахал, и смертные приговоры подписывал...

Его кулаки, как два танка, выползли на середину стола. Не доезжая сахарницы, они стали и, царапая скатерть, гремя посудой, опрокинулись навзничь, мясистым брюхом наружу. Владимир Петрович пожаловался на слабое сердце.

При таком высоком давлении необходим полный покой. А как тут не волноваться, когда дома — бардак, на службе — сплошные нервы, на международной арене — тоже не Кисловодск.

Под большим секретом он рассказал, что в ...гарии и ...вакии раскрыты диверсионные центры. В Н-ском обкоме группа злоумышленников готовила переворот. Враги, окончательно обнаглев, пытаются посеять панику, и самые невероятные слухи, один сногшибательнее другого, носятся по городу. То в спичках найдены бактерии рака, засланные иностранной разведкой (поковыряешь этойкой спичкой в зубах — и концы!). То женщины под влиянием космических лучей вместо младенцев мужского пола рожают одних только девочек (в ущерб нашей армии!).

Уши прокурора полнились кровью, темной и маслянистой, как нефть. Распухшая шея свисла за воротник. Нужно, ох как нужно, доброе кровопускание, громкий публичный процесс, очищающий атмосферу!

Старуха зябко куталась в шаль, объединенную молью, вспоминала каких-то знакомых из допотопных времен:

— Да, бывает... Плужников Константин — кто бы мог подумать? — японский шпион. Мне уже потом пришло в голову: ведь этот Плужников еще в Женеве якшался с меньшевиками... Но случается и понапрасну, невиновных...

— Вам известно, мамаша, как танки идут в атаку? — хрипло спросил Глобов и встал. — Они давят вас на пути. Случается — своих же бойцов, раненых. Танку объезжать нельзя. Если он будет сворачивать перед каждым раненым, его расстреляют в упор из противотанковых пушек. Он должен давить и давить!

Больное лицо прокурора было скорбно и торжественно. Екатерина Петровна невольно встала вслед за ним.

— Что ты мне, Володя, азбуку объясняешь? Наша цель многих жертв стоит. Но только ради нее, понимаешь, ради нее одной.

И едва дотянувшись, по-старушечьи, чмокнула его в черневшую, надутую кровью щеку. Словно и впрямь была мамой, той позабытой, неграмотной, настоящей, что перекрестила его в путь-дорогу, когда уходил из деревни...

Уже в калошах, прокурор подошел к карте. Красные тряпочки обвисли на булавках, покрылись чистой комнатной пылью. Видать, их давно никто не трогал: на корейском фронте было без перемен.

Троцкизм, чистейшей воды троцкизм! — восхитился Юрий Михайлович. Открытие превзошло самые лучшие ожидания. Да у них уже целое общество, у этих ребятешек. Мальчики и девочки занялись мировой революцией!

Катя, пока он читал программу, озиралась по сторонам. Ее подавляло это изобилие мебели, втиснутой в одну комнату вперемешку с книгами и картинками, густо облепившими стены. Здесь даже настоящая икона имелась. Не в переднем углу, а по-культурному — над радиоприемником, рядом с японской гравюрой.

— Я рад возможности ближе познакомиться с вами, Екатерина... Извините — не знаю по батюшке.

Катя с трудом вспомнила свое отчество, стеснительное, как новое платье, на которое все обращают внимание.

— Поговорим откровенно, Екатерина Григорьевна. Наш друг выбрал скользкий путь. Так и передайте ему вместе с этим трактатом.

— Сережа? Сергей Владимирович?

О, эти очкастые барышни-подростки с непомерно большими кистями в цыпках и недоразвитой грудью! И эта первая тайная любовь на идейной основе! Самый подходящий материал для психологического эксперимента. Что-нибудь в духе старинной драмы — столкновение чувства и долга.

Он залюбовался фарфоровой группой, приютившейся на этажерке. Козлоногий сатир простер объятая ускользящей нимфе. Та, прикрыв руками фасад, оставила без внимания свой не менее соблазнительный тыл. Карлинский погладил сигареткой ее голубоватую спинку.

— Революция, партмаксимум, демократическая косоворотка покроя двадцатых годов, — он помахал тетрадь, что принесла ему Катя. Примерно в том же духе рассуждали троцкисты..

Катя была шокирована причем тут эти враги народа, диверсанты, вредители? Таких надо уничтожать беспощадно, как делает Берия. А Сережина организация, покамест безымянная, борется за свободу, за настоящую советскую власть. Она гадливо вздрогнула, вспомнив карикатуру в газете, где Троцкий, или Тито, или еще какой продажный

убийца в виде хвостатой крысы восседал со своими прихвостнями на горе из человеческих костей.

Но Юрий не стал уточнять, кто такие троцкисты. Гораздо забавнее было амплуа ортодокса. Ему, всю жизнь защищавшему мошенников да спекулянтов, выступить вдруг адвокатом первого в мире государства!

Бодро вскочив с дивана, он принял меланхоличную позу, какую обычно употреблял на защите трудных клиентов. Отцеубийцы, казнокрады, растлители малолетних нуждаются в патетике, в риторической жестикуляции. Другое дело — мелкое воровство или пьяный дебош. Там невредно и пошутить, и подпустить перцу. Но крупное преступление требует сочувствия. Адвокат — это совесть преступников, оскорбленная правосудием.

— Если б я лично не знал дорогого Сергея Владимировича, не был другом его отца, наконец, не познакомился с вами, Екатерина Григорьевна, я бы, я бы...

Длинная тень Карлинского прыгала среди японских гравюр. Всплескивая руками, карабкалась на потолок. Опровергала.

— Нельзя допустить, чтобы... Всему миру известно. Либо — либо. Пусть. Марксизм, нигилизм, наплевиизм. Фракция, акция. Левацкий загиб, правый уклон. Сугубо. Требует жертв. Великой цели. Во имя. Цель, цель, цель.

— Для хорошей цели и средства нужны хорошие, — слабо сопротивлялась Катя.

Карлинский ожесточился: эта тихоня толком не знает, откуда дети рождаются, а туда же, рассуждает, мнит себя Софьей Перовской.

— Средства хорошие? Мокрого места не останется ни от вас, ни от ваших средств... Да вы сами, дай вам власть... Если я, например, захочу быть императором... Или, по крайней мере, взорву памятник Пушкину у Тверского бульвара... По головке погладите? Так не все ли мне равно, в какой кутузке сидеть? Реформаторы! Хорошего социализма желаете, свободного рабства?..

Вовремя спохватившись, он снова перешел на общедоступный язык:

— Объективно. Логика борьбы. Колесо истории. Агенты империализма. Вспять. Кто не с нами. Окружение. В одной стране. Поистине. Объективно.

Она подавленно молчала.

— Рьянцы, контр, ксизм-сизм-сизм.

— Мация-кация-зация-нация.

Нцип-нцип.

Бектив.

Гуманюция, Pferd!

Катя была сражена. Еще Сережа предупреждал: «а то империалисты воспользуются». И вот они воспользовались — акулы капитала. Акулы и агенты, гангстеры и самураи. Изогнутые словно драконы, раздутые будто лягушки, со всех карикатур и плакатов, с японских злых картинок протянули руки, заманили в сети, окружили кольцом — враги. Кто их привел? Карлинский, все доказавший, как дважды два четыре (нация-мация, логия-могия), Сережа ли Владимирович, что заслал ее к этому типу со своей мелкобуржуазной программой? Или, может, она сама — объективно, не хотела, но, понимаете, объективно, предоставила платформу, проявила и допустила?

— Тетрадочку-то советую ликвидировать, — крикнул ей вдогонку Юрий Михайлович. — А еще поразмыслите на досуге, что вам дороже... Во имя... Требуется жертв... Эй! Екатерина Григорьевна!..

Он вышел на площадку и слушал, как стучат ее каблочки в гулком мраке подъезда. Девушка — с норовом. Но по крайней мере прокурорский сыночек станет теперь осторожнее. Пускай не впутывает в азартные игры тех, кто сохраняет свободу. Свободу оригинального мышления.

Он свесился через перила и плюнул в пролет лестницы, похожей на колодезь. Ответа не было долго. У него закружилась голова от этой чернеющей под ногами каменной глубины. Зато потом влажный отзвук донесся так отчетливо, что Юрий плюнул еще раз.

От спиртного Глобов наотрез отказался — болело сердце. Ему, как почетному гостю, можно было не пить. Среди всей этой развеселой, сугубо мужской компании он один сохранял ясность взгляда, похлебывая для приличия шипучую минеральную воду.

Следователь Аркадий Гаврилыч увлек его в уголок. Под звяканье ножей и рюмок разговорец вышел интимный, любопытным ушам, если б таковые имелись, недоступный.

Рабинович-то твой у нас теперь обитает Переселили. Ну и глаз у тебя, прокурор!.. Снайпер! Робин Гуд! Тиль Уленшпигель!

Воровато оглянувшись, он почти уткнулся губами в прокурорскую шею

Помнишь намекал ты еще в сентябре? Я сразу догадался. Копнули мы поглубже и говоря между нами, дельце получилось — пальчики оближешь

— Неужели политика?

— Шутник ты, Владимир Петрович. Будто сам не знаешь... По твоим же зарубкам все начинали... Да если б он один!.. Тут, брат, масштаб государственный... Медицина!.. Чуешь? Все из этих... носатых... которые космополиты... Сплошняком!..

Он отскочил к столу, причитая по-бабьи:

— Насыщайтесь, ребятки, не стесняйтесь! На то и мальчишник, чтоб самим угощаться!

Владимир Петрович решил досидеть до конца. Ему нравились эти ребята, сослуживцы Аркадия Гаврилыча,— с открытыми, как ладонь, лицами, с чистыми, как стеклышко, биографиями, с незапятнанной совестью. Добродушные мужчины, наводящие ужас, может быть, на полмира.

Среди них имелись таланты: рекордсмен по прыжкам в воду, другой поет, как в опере, третий художественно свистит. Все были в штатском (только Глобов в мундире), а он хорошо знал—здесь есть капитаны, майоры, даже два подполковника. Невидимая грозная армия сидела за праздничной трапезой.

Говорили о детях, о футболе. О летнем отпуске тоже. Кто хвалил Кисловодск, кто решительно предпочитал крымское побережье. Один из двух подполковников (тот, что художественно свистит) объявил о покупке «победы»:

— Послезавтра деньги вносить, а я все цвет выбираю: бежевая или серая.

Разгорелся спор. «Бежевая машина—элегантнее»,— настаивал Аркадий Гаврилыч. Ему возражали, что бежевая «победа»—это слишком банально.

Владимира Петровича радовала непринужденность, царящая на вечеринке. Обычные сослуживцы говорят в основном о работе, выставляют друг перед другом свой идейно-политический уровень. А эти, наоборот, снаружи—самые домашние люди, политика же скрыта внутри, в глубине души, втайне—там, где у прочих смертных одни пороки и недостатки.

Как заблуждаются писаки из продажной западной прессы, представляющие этих людей в виде каких-то мрачных злодеев! Да это же милейший народ—остроумные собеседники, отличные семьянины. Многие из них, как рассказывал Скромных, любят в нерабочее время тихо удить рыбу, варят сами обед, мастерят детям игрушки. Один старший следователь по особо важным делам в часы отдыха вяжет перчатки, вышивает подушки, скатерки, утверждая, что рукоделие развивает нервную сеть. Но если потребуется!..

За окном ахнул салют. Будто вылетела пробка из очень большой бутылки. Пришлось и Владимиру Петровичу отведать шампанского. Он позволил себе всего один бокал.

— Я предлагаю тост! Чей вдохновляющий гений! Неуклонно вперед! На борьбу! От победы к победе!

Стол был похож на поле битвы. Вина кровоточили. Паштеты — изъезжены вдрызг, подобно военным дорогам в мокрую осеннюю пору. Сломанные скелеты селедок, окурки. Махровые и рыжие пятна.

Галдеж утихал по мере того, как пили. Другие во хмелю начинают кричать, буянить, а эти — от рюмки к рюмке, от бутылки к бутылке — смолкали и цепенели. Глобову даже казалось, что с каждым глотком они постепенно трезвеют. Осовелым, сосредоточенным взглядом озирают свои ряды, прислушиваются.

Какой-то юнец, должно быть, простой лейтенантик, не выдержал: «А я вчера в "Метрополе" смотрел "Падение Берлина"...»

К нему, как к магниту, со всех концов потянулись шеи и уши. Выжидательно замерли.

— Очень понравилось! — взвизгнул оратор, напуганный общим вниманием. — Всем советую. Очень, очень...

И торопливо заткнул рот первой попавшейся семгой.

Наступила тишина. Даже чокаться перестали. Молча пили, молча закусывали. Так же молча они умрут, если будет нужно.

Следователь Аркадий Гаврилыч едва держался на стуле.

— Ты о ком спрашиваешь, прокурор? Какой такой Рабинович? Знать не знаю, ведать не ведаю никаких Рабиновичей. Что? Сам рассказывал? Тебе приснилось.

В глазах, иссеченных красными жилками, застыло искреннее недоумение.

— Молодцы, ребята! Бдительно пьете, — подмигнул ему Глобов.

Он ждал, что при этих словах вся команда встанет навытяжку и звонким шепотом рявкнет: «Рады стараться!» Но все был пьяны, все были немые, как рыба, которую они ели среди других закусок.

Чтобы запутать следы, Катя шла пешком. Тетрадку несла в рукаве Рвала листок за листочком. Бумажные крошки перетирала в ладонях и незаметно, по частям ссыпала на мостовую.

За нею следили Кто именно установить она не могла, сколько ни оглядывалась. Уж очень людно было вокруг

Народ валил, не разбирая дороги, на вечернее гулянье, на праздничную иллюминацию.

Город сегодня походил на препарат кровеносной системы. В школе, на уроке анатомии, показывали, как это устроено. Человек, перепиленный пополам, облупленный до последнего капилляра, состоит и множества ветвистых сосудов различной толщины и окраски.

Еще больше их было здесь освежавано для вечерней потехи. По стекленеющим жилам домов, во все концы, пунктиром, струилась охлажденная кровь. Она горела преувеличенным, сверхэлектрическим светом.

Перед домом Сережи Катя остановилась. Перешла на другую сторону. Его окна темнели, как две могилы. Катя сложила пальцы крест-накрест, чтобы сдуру не накликать беды.

Но было поздно. Беда уже приключилась. Снял Юрий Михайлович трубку, позвонил куда надо, пока она бежала по лестнице, и в окнах стало темно. А, может, еще не звонил и Сережа спокойно спит, позабыв про несчастную Катю. Или гуляет с другими, обсуждая троцкистские планы. Все равно — ничем не поможешь. И она сама виновата: разбросала бумажки. По ним, как по следу, найдут его дом и квартиру.

Далеко, сзади уже началась погоня. Уже шарили по мостовой, искали под калошами, в лужах. Нагибались.

К завтраму все клочки будут собраны вместе, разглажены утюгом, склеены синдетиконом. И все двадцать четыре листка, неистребимых, как гидра, у которой головы отрастают, в синей обертке, разграфленные в косую линейку, и вся расписанная мелким почерком мелкобуржуазная программа Сережи. На виду. На суде. На справедливом, страшном суде.

Земля подпрыгнула. В небо, откинутае назад, взмыли чутунные трубы. Это прорвалась аорта, где-то за универмагом. Нужен жгут. Но перевязать не успели: лопнули другие сосуды. И разноцветная кровь брызнула фонтаном в зенит.

Под гром салюта Катя возвращалась домой. Она не задирала голову вверх, не считала залпы орудий. Каждый новый удар ей казался последним. Вот сейчас иссякнут артерии, вытекут дырявые вены и огромное рваное сердце задохнется в сердечном припадке. А оно все стучало и стучало, содрогая асфальт под ногами, озаряя лица прохожих то розовым, то зеленым сияньем.

Катя загадала: если стукнет пять раз, она пойдет к директору школы, или в райком, или куда-нибудь дальше. Завтра же. Тайком от Сережи спасет его, распутает шпионские сети.

объяснит, что вышла ошибка, что Юрий Михайлович все врёт и общая польза главнее.

На четвертом ударе Катя еще надеялась — недотянет. Но сердце остановилось только на пятом. И сразу стало так тихо, что захотелось лечь в постель и заплакаться вволю. В конце концов, она имела на это право. Уж это-то право у нее никто не отнимет.

Глубокой ночью, когда погаснут огни и люди, утомленные праздником, заснут непробудно и сладко, на опустелые улицы города выходят двое в штатском. Прогуливаясь по участку, им отведенному свыше, они мечтают о чем-то или ведут вполголоса задушевный разговор. Одного зовут Витя, другого — Толя. Большого знать — нам не дано.

Толя говорит Вите:

— Послушай, Витя. Пора бы и канализацию приспособить к настоящему делу. Ведь столько тайного материала бесконтрольно уплывает по трубам! Проекты, конспекты, любовные письма, черновики художественных произведений и даже беловики.

Рассказывают, писатель Гоголь, живший в девятнадцатом веке, сунул в печку свою поэму под названием «Мертвые души». До сих пор никому не известно, про что он там сочинял.

А теперь жечь — негде: центральное отопление. Теперь всякий норовит свои секреты разорвать на мелкие части и спустить в унитаз, чтоб полное инкогнито соблюсти. Это надо учесть.

Поставить, к примеру, под каждым домом особую драгу или сито и дворникам строго-настрою — изымать испсанную бумагу. Ну, а неподдельные нечистоты, пипифакс, газеты пускай уж плывут, куда им хочется, на свободу. «Плыви, мой челн, по воле волн...» Как ты считаешь, Витя, подойдет?

Витя задумчиво молчал, оглядывая пустую окрестность. Потом сказал мягко:

— Это не научный подход во всяком дерьме копать. Меня, откровенно говоря, Гоголь не занимает. А вот есть такой писатель по фамили Герберт Уэллс. Ты «Борьбу миров» и «Человека-невидимку» читал?

— Нет, не читал, — грустно признался Толя.

— А я его «Машину времени» почти наизусть выучил. Однако в данный момент лично меня другое изобретенье волнует. Тоже научно-фантастическое. Аппарат-мыслескоп. Вроде твоей драги, только еще доскональнее. Мысли и разные переживания угадывать. Чтобы даже тех, которые устно

молчат и письменно не высказываются, контролировать автоматически. В любой час и на любом расстоянии. Здорово?

— Как ты его называешь, Витя?

— Аппарат-мыслескоп.

— Да, мыслескоп — это вещь.

Оба смолкли и погрузились в мечты. Но мечтали они согласованно, об одном. Вот о чем.

В наш век — век телевидения и радиолокации, в эпоху атомной энергии, направляемой к мирной цели, — хорошо бы в каждом районе завести свой мыслескоп. Сижу, например, я, вредоносный элемент, в своей малонаселенной квартире и заранее знаю, что все мои безыдейные мысли и преступные планы в районном мыслескопическом пункте будут видны, как в кино. И стараюсь я не думать ничего такого. Все о невинных вещах размышляю, насчет баб, да чтобы выпить или даже про то, как честно трудиться на благо народа. А самого так и подмывает о чем-нибудь недоступном подумать. Корчусь в своем кресле, арифметические задачи решаю, чтобы отвлечься.

Не тут-то было. Просочилась в голову гнилая идея: как бы мне, думаю, научиться думать невидимо? Я ее — геометрией, дифференциалами, спряжением глагольных форм из церковнославянского языка. Стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» четыре раза подряд декламировал. А она, гадюка, так и лезет, развивается: как бы, думаю, еще одну революцию сделать? На этом самом месте меня цап-царап:

— Здравствуйте, гражданин. Вы это о чем четыре минуты семнадцать секунд тому назад рассуждали? Нам все известно. Если не верите, можем пленочку предъявить.

— Не отрекаюсь — виноват. Я — презренный наймит одной иностранной державы. С детских лет озабочен реставрацией капитализма и подпиливанием железнодорожных мостов...

Тишина! Двое в шатском ходят по городу. Двое в штатском. Медленно, степенно шествуют они по заснувшим улицам, заглядывают в помертвевшие окна, подворотни, подъезды. Ни души.

Одного зовут Витя, а другого Толя. И мне боязно.

Глава VI

Несмотря на морозы, Екатерина Петровна каждый день — в подшитых валенках и в шапке-ушанке — навещала в прокуратуру. Ее частые визиты были неуместны. Но

прямо сказать об этом Глобов не решался. После ареста Сережи старуха совсем очумела. Придиралась пуце прежнего. И секретарь, почтительно посмеиваясь, всякий раз докладывал:

— К вам, Владимир Петрович, опять эта пожилая особа — в валенках. Прикажете пропустить?

Бывшая теща, расхаживая по кабинету, бубнила:

— Не может быть. Не верю. Ни в шпионаж, ни в диверсию.

А Глобов — в который раз — допытывался:

— При обыске в его вещах нашли что-нибудь криминальное?

— Ничего, ничего...

От валенок по паркету расплзались грязные лужи. После ее ухода Владимир Петрович, заперев дверь на ключ, собственноручно вытирал пол тряпкой, принесенной из дому и спрятанной под шкафом. А потом набирал номер и спрашивал:

— Это ты, Аркадий Гаврилыч? Говорит Глобов. Что-нибудь новое есть?

Тот сухо отвечал:

— Пока ничего.

И вешал трубку. И теперь так бывало каждый день.

Каждый день, возвращаясь с работы, Юрий умывался и радовался. Видеть мыльную грязь было почему-то приятно. Это всегда так: чем грязнее вода стекает с тебя в умывальник, тем оно и приятнее. Вероятно, подобное чувство испытывают в минуту исповеди.

Если Марина придет, он сможет чистыми пальцами трогать ее лицо. Около самых губ. Надо еще намылить: вдруг сегодня придет.

Последние месяцы он все делал с расчетом. Отдаленная цель, приближаясь, поглощала его без остатка. Он жил, чтобы овладеть Мариной. Даже спал и ел с умыслом — подкрепиться для встречи. Чистил зубы, будто готовился к поцелуям. И день проходил за днем, чтобы дать ей время соскучиться и, помедлив для приличия, капитулировать.

Постучали. Он выждал, пока уймется дрожь в коленках, и распахнул дверь.

То была не Марина. Соседка, стараясь поглубже втиснуться в комнату, протягивала конверт и сладострастно шептала:

— Это вам девушка оставила. Молоденькая, словно бутончик.

А Марине будет лестно прослыть молоденькой девушкой, это надо ей передать, — соображал он, вскрывая письмо.

«Тов. Карлинский! Вы предательски донесли на Сергея Владимировича, а он все равно не троцкист, а честный революционер, а Вы — трус и подлец».

Юрий повертел письмецо, заглянул в конверт еще раз и, ничего не найдя больше, отложил для коллекции. При случае он расскажет Марине об этом эксперименте. Она будет очень смеяться.

Потом, как Понтий Пилат, Юрий вымыл руки. О Сереже, о Кате вспоминать ему не хотелось. Понтий, наверное, мало думал про Иисуса Христа, когда ходил умываться. У Понтия, может быть, тоже имелась своя цель, неизвестная евангелистам.

Насухо обтерев полотенцем каждый палец в отдельности, он повернулся к двери и топнул ногой:

— Где же вы, Марина Павловна? Я жду вас. Я — готов.

Следователь вышивал по канве. Узор для скатерки был выбран самый изысканный: по черному полю прихотливо извивались тюльпаны.

Когда приводили Сережу, он сворачивал шитье, подбирал разбросанное по всему столу мулине и, заперев рукоделие в сейф, начинал дружескую беседу. Все пока шло начистоту.

— Да, это вы тонко заметили. Ничего не скажешь. Такими мнениями наверху очень интересуются... А вот колхозы, с ними как быть? Здесь ведь тоже... Сами знаете...

Слушая про колхозы, он сокрушенно вздыхал. Иногда спорил, иногда соглашался, и они двигались дальше.

— Печать тоже, знаете, откровенно говоря...

Сережа и в область печати вносил свои предложения, удивляясь тому, что его до сих пор не выпускают.

— Ну-с, молодой человек, — сказал наконец следователь, — взгляды ваши мы обсудили подробно. Хотелось бы еще уточнить — как вам удалось войти в контакт с иностранной разведкой.

Всем сочувственным видом он словно поощрял: не стесняйтесь. Чего уж скрывать? Все там будем. Экая важность!

— Оставьте глупые шутки, — побледнел Сережа. — Я еще не осужденный, я — подсудимый.

Следователь усмехнулся и раздвинул шторы. Дневной свет был так чист и прозрачен, что хотелось вдохнуть его всей грудью.

— Подойди сюда. Слышишь? Тебе говорю.

Сейчас ударит, — подумал Сережа, деревеняя лицом.

— Глянь в окно!

Сережа увидел площадь, на которой бывал раньше, увидел вход в метро с нырявшими туда человечками, маленькие троллейбусы и автомобили, в которых тоже ехали люди, и каждый ехал, куда хотел. А сверху падал снег, живой настоящий снег.

— Вон они где — подсудимые. Видал — сколько?

Следователь показал на спующую под ними толпу. Потом погладил Сережу по стриженной голове и ласково пояснил:

— А ты, брат, уже не подсудимый. Ты — осужденный.

Хлопоты были бесполезны. Ему уже намекнули в одной высокой инстанции:

— Лучше не суйся. Тебе доверяют — можешь быть спокоен. А вступаться за него не советуем. Только себя запачкаешь. Забудь и рожай другого, пока способен. А этот — этот тебе не сын.

Но бабушка не унималась:

— Хлопочи! Добивайся! Или ты — не отец?

Отец! У других дети — как дети. Институты кончают. Аспирантуру. Даже у Скромных мальчишка — попался, так, по крайней мере, на краже. Отец его выпорол для остротки — и концы в воду. А это — надо же? Из десятилетки — в тюрьму — отцовское имя позорить. Да еще в такое время!

— Нет, мамаша, — ответил Глобов, глядя на ее мокрые валенки. — Идут большие аресты. Не могу.

— Что вы сказали? Боюсь? Не то слово. Разве я когда боялся? Меня все боялись... Я же — прокурор, поймите. Мне совесть не позволяет. Я — людей, может быть, менее виновных ежедневно...

— Чье это будущее? Мое? Обойдусь как-нибудь без будущего. Предатель — мне не сын.

— Оставьте. Причем здесь честное слово революционерки? Старомодно звучит, Екатерина Петровна. А мне достоверно известно...

— Э, нет. Это вы напрасно. Сына терять нелегко...

— Довольно попреков! Вы сами... А брата, брата забыли? Удрал за границу, так вы, небось...

— Я и раньше догадывался. Но если бы я знал, до какой степени...

— Да ты рехнулась, старуха! Не выдавал я его. Слышишь? Не выдавал.

— Отойди. Не хватайся руками. Руки, руки убери!

— Рассказывал я тебе — кто донес. Девочка из его же компании. Мне учитель шепнул. Историк. Пришла к директору... Вроде для совета... Тот хотел замять, но...

— Девочка, говорят тебе русским языком.

— Ну, знаешь. Это слишком. Ни девочек, ни мальчиков я еще не душил. А вот врагов...

— Замолчи, старая ведьма, пока тебя не посадили! После таких слов я не желаю больше...

— Вот и прекрасно. Двадцать пять лет опекала. Хватит с меня твоего контроля.

— И не надо. Не приходи.

Когда старуха ушла, Владимир Петрович передохнул несколько минут и вызвал секретаря. Небрежным тоном, каким обычно говорят о посторонних лицах, он распорядился:

— Пришлите уборщицу. Пусть оботрет паркет после этой гражданки. Наследила, как в конюшне, своими валенками.

Звонил телефон. Марина оставила карты, раскиданные в замысловатом пасьянсе, но трубку не сняла. Склонившись над аппаратом, она с любопытством слушала протяжные звонки.

Ей вдруг почудилось, что трубка легонько подпрыгивает. Вот-вот она сама собою соскочит с кривых рогулек, и раздраженный голос Карлинского загнусавит на столике: «Прячетесь? Подойти не желаете? Считаете наши отношения порванными?»

Возможность разоблачения была так близко, что Марина перешла в соседнюю комнату и оттуда, невидимая, в полной безопасности, внимала телефонным звонкам.

— Как он мучается, бедный, как он хочет меня! — думала она, торжествуя и вздрагивая при каждом новом трезвоне.

Уже третий месяц Юрий грозил уйти. Или она уступит — или они расстанутся. «Не желаю ни того, ни другого», — отнекивалась Марина. Тогда он дал ей две недели «на женские капризы» и удалился, донимая любовью, пугая одиночеством. Срок подходил к концу.

Телефон, прозвонив ее до мигрени, обиженно смолк, и Марина вернулась на кушетку — к своим картам и сомнениям. Они — совпадали. Были слезы, были письма, были дальние дороги и казенные дома, пара неизвестных валетов

обещала приятные хлопоты, но короли от нее уходили один за другим.

Марина не верила в карты, но была вынуждена признать, что с мужем в последнее время — и впрямь — все разладилось. Он перестал ей докучать своими беседами о крепкой семье и взаимопонимании между супругами. Цельными вечерами пропадал где-то и, казалось, забыл, что они — хоть и в ссоре — живут под одной крышей.

Тут еще Сережу посадили нехстати, и всех знакомых мужчин точно ветром сдуло. Даже Скромных носа не кажет.

Только пиковый король еще оставался при ней. Отпустить его так просто она не могла. Кто, если не он, щедро, по-королевски оценит ее красоту, и какая это красота без признаний и домогательств?

— Вы моя цель, мой бог, — любил повторять Юрий, доказывая, с присущей ему эрудицией, что высокая цель нуждается в средствах, хотя бы ее не достойных, и что Бог, которого, к сожалению, нет, очень страдал бы от одиночества, если б не придумал человека для поклонения себе и прочих услуг.

Да, это — верно. Разве женщина не самое одинокое существо в мире, разве есть что-нибудь горше ее одиночества?

Хлопнула парадная дверь, шаги мужа загромыхали в передней.

— Ты — дома? — удивился он через стенку, когда Марина откликнулась. — А мне деньги были нужны, хотел уж курьера послать. Так секретарь минут десять — подряд — сюда колотился. Никто не подошел к телефону.

— Я спала, — солгала она машинально и не слишком удачно, потому что муж хорошо знал, как чутко ее сон. Гораздо правдоподобнее было бы вернуться недавно с прогулки или из магазина. Но Владимир Петрович не возразил и не остановился у входа в ее комнату, как это бывало раньше, а промаршировал мимо. Щелкнул замок в кабинете — муж заперся.

Только тут она поняла, что Карлинский ей не позвонит ни сегодня, ни завтра. Быть может, он уж не ждет ее больше. И даже не требует от нее никаких мерзких уступок.

Подойдя к зеркалу и увидав свое огорченное, стареющее с каждым днем лицо, она хотела было заплакать, но вовремя вспомнила, что этого делать нельзя: от слез морщинится кожа.

В ту ночь Глобов запил. Впрочем, после коньяка и водки он даже не опьянел нисколько, а лишь почувствовал в сердце такую нежность, что принялся шагать из угла в угол, борючая колыбельную песенку:

Баю-баюшки-баю,

А я песенку спою.

Вот и все слова. Он мог себе это позволить. Его никто не видел, никто не слышал. Он был один.

Руки, сплетенные на груди, сами обняли его и понесли. Владимир Петрович любил и баюкал свое большое, несуразное туловище. Ему было уютно рядом с ним, таким родным и давно не мытым. Оно прижималось, благодарно сопело, уткнувшись в сорочку, покачиваясь в такт колыбельной.

Баю-баюшки-баю,

А я песенку спою.

А я песенку спою,

Баю-баюшки-баю.

Долго-долго, до бесконечности.

А на руках — будто девочка. Маленькая, неродившаяся дочка.

— Спи, милая, спи, моя умница, — уговаривал он, хлопая по тепленькой спинке. — Все спят. Играть тебе не с кем, Сережки нет дома, Сережка обманул нас, покинул. Он чужой, нам, Сережка. Он — бяка.

Чтобы она быстрее заснула, Глобов на мотив колыбельной начал перекладывать песни, какие знал. Все они были почему-то про войну, и он часто сбивался с напева, баюкая слишком размашисто, по-боевому.

Его прервали. Визгливый голос Марины доносился из коридора и мешал петь. Тогда он уложил девочку на диван, прикрыл кителем и, спрятав бутылки под стол, отпер кабинет.

По его виду Марина все поняла. Но оставаться одной в спальне казалось еще страшнее.

— Пусти, Володя. Я не могу заснуть. Мне страшно без тебя, — говорила она, дрожа от холода и унижения. А он стоял перед нею, лохматый, в нижнем белье, и загораживал проход своим огромным, разросшимся телом.

Марина его называла пусиком и киской (а какая он — киска? он — не киска, а прокурор), просилась к нему на диван (ишь ты! уже пронюхала) и обещала не сердиться за шум, поднятый по всей квартире. Она брала его руки, тяжелые, как весла, и, распахнув халат, клала себе на грудь, прижимала к бедрам. Поборов отвращение, Марина гладила себя его руками, но они безучастно падали, как только их отпускали. А когда она попробовала столкнуть его с порога и силой войти в кабинет, Владимир Петрович просто шагнул в то место, где она суежилась и, отодвинув назад, запер дверь.

...Бутылки были целы. Но девочки под кителем не оказались. Должно быть, он, убаюкивая слишком нежно, стиснул животик и раздавил ненароком. Или, что вероятней, ее похитили, пока он возился с Мариной.

Ну, конечно! Как он сразу не догадался? Это Марина все и подстроила. Она уже один раз убила его дочку и теперь снова к тому же вела, шлюха. Недаром ластилась, на диван просилась. Диван ей, видите ли, понадобился!

А когда он разгадал ее уловки, Марина подослала врачей-убийц во главе с самим Рабиновичем. Своими красотами она отвлекла внимание, а убийцы в белых халатах, растоптав священное знамя науки, тем временем, за его спиной, свершали черное дело.

В гардеробе кто-то сидел и не шевелился. Тогда Владимир Петрович снял со стены шашку — именное оружие настоящей кавказской закалки, поднесенное в знак уважения 4-м конногвардейским полком.

Гардероб поддался с двух ударов. Только стекла звенели, да шепки летели, да сыпалась со стен штукатурка. А враги, ускользнув обманным путем, попрытались в щели, окопались по всем углам.

Напрасно Марина кричала под дверь, чтоб он прекратил безобразие, грозила, что уйдет из дому, будет изменять, покончит с собой, донесет в парторганизацию про то, что он — алкоголик. Нет, не проведешь! Теперь твои приемы всему миру известны! И в радостном остервенении он рубил, колот, кромсал все, что попадалось под руку.

Ему не было жаль ни карельской березы, ни хрусталя, ни пуховых подушек. К чему эта жалкая утварь? Когда враги проникли в твой дом, нужно все истребить вокруг и самый дом стереть с лица земли с засевшими там врагами.

Отскочив от стены, шашка крепко ударила его по голове, разбила люстру. Но и во мраке, обливаясь кровью, он продолжал наносить удары в воздух, в пустоту — всюду, где они притаились.

Закончив труд, прокурор подошел к письменному столу, изрубленному вдоль и поперек. Там, у окна, белел в темноте чудом уцелевший бюст. Прокурор вложил шашку в ножны и отрапортовал:

— Хозяин! Враги бегут! Они убили мою дочь, украли сына. Жена предала меня, и мать отсклась. Но я стою перед тобою, израненный, оставленный всеми, и говорю: «Цель достигнута! Мы победили! Ты слышишь, Хозяин, — мы победили. Ты слышишь меня?»

Глава VII

Хозяин умер.

Сразу стало пустынно. Хотелось сесть и, подняв лицо к небу, завывать, как воют бездомные псы.

Они бродят по всей земле, потерявшие хозяев собаки, и нюхают воздух: тоскуют. Никогда не лают, а только рычат. С поджатым хвостом. А если виляют, то так — словно плачут.

Завидя человека, они отбегают в сторону и долго смотрят — не он ли? — но не подходят.

Они ждут, они всегда ждут и просят кого-то протяжным взглядом: О приди! Накорми! Ударь! Бей, сколько хочешь (не слишком сильно, пожалуйста). Но только приди!

И я верю: он придет, справедливый и строгий. Он заставит визжать от боли и прыгать на цепи. И ты подползешь к нему на брюхе, заглянешь в глаза и положишь ему на колени лохматую голову. А он будет хлопать по ней ладошкой, и смеяться, и ворчать что-то успокоительное на мудреном хозяйском наречье. А когда он заснет, ты будешь стеречь его дом и брехать на всех проходящих...

Кое-где уже слышен скулеж:

— Давайте жить на свободе и резвиться, как волки.

Но я знаю, я слишком хорошо знаю, что они жрали раньше, эти продажные твари — пуделя, болонки и мопсы. И я не хочу свободы. Мне нужен Хозяин.

Ах, какая собачья тоска! Где уголю мой пронзительный, долгий, годами не кормленный голод?

Сколько их затеряно в мире, бездомных бродячих собак!

О, суки с продолговатыми глазами итальянских красавиц и тонкими кусачими мордами! О, злые, выдавшие виды, одинокие кобели!

Его обмыли, набальзамировали, положили на постамент.

Несметные толпы бежали к нему — проститься и посмотреть. Они вливались со всех улиц в сжатое домами пространство и там застревали.

Выход был один — туда, где в цветах, под караулом покоилось мертвое тело.

Но туда — не пускали: ждали распоряжений. А распоряжений все не было. Потому что тот, кто распоряжался, теперь лежал мертвый.

Площадь, утопанная ногами, стала тесна. Она не вмещала столько желающих проститься и посмотреть. А люди

все прибывали, их становилось больше и больше с каждой минутой. И когда открыли узкий проход, было уже поздно. Кто-то гаркнул, радуясь случаю продрать звонкую глотку:

— Ребята! Нас предали! Мы — в жопе!

И тут началась давка.

Окна завесили ковром и свет потушили, как требовала Марина. Зрение перешло в кончики пальцев. Юрию казалось, что они у него моргают.

Раздвояя Марину, он мог созерцать всю сложность ее устройства: арки, абсиды, купола. Луковицы православных соборов, похожие на груди, и стрелчатые ворота, как заостренный книзу живот.

Но всюду преобладала гитара: плечи — талия — таз. Недаром гитару и скрипку так любил Пикассо: это женское тело в разрезе.

А желания — не было.

Юрий напомнил себе, с каким нетерпением влекся он к этой цели, на какие средства пускался ради нее... Желания — не было.

А вдруг совсем не получится? — встревожился он, понимая, что нельзя ему нервничать, что мужчина в таких случаях должен быть спокоен, как фокусник, от которого ожидают чудес. И пугаясь все больше и больше своего волнения, он хватался руками за абсиды, купола, арки, расположенные перед ним. Если не страсть, то хоть чуточку вожделения пытался он выклянчить у своей немощной плоти, предавшей его так позорно, так глупо в самый последний момент.

Пружины кровати звенели семиструнной гитарой.

Юрий стиснул зубы и поднапрягся, будто выжимал гири по три пуда каждая. Наконец он вызвал в памяти пачку порнографических открыток, что с давних времен хранил в укромном местечке, и, перебирая мысленно самые непристойные, молился Богу: «Господи! Помоги!»

А женщина идеальной конструкции недвижно лежала рядом, предоставив ему как угодно мучиться над ней. Всей опустелой душой, всем изнывающим от бесплодной работы телом Юрий ненавидел ее — достигнутую и недоступную, — мечтая лишь о том, с каким наслаждением он выгонит ее вон, как только это будет возможно.

— Что, Юрий Михайлович, вы добились цели? — насмешливо спросила Марина. — Почему же вы медлите?

Юрий, не отвечая, зажмурился, хотя в полной темноте закрывать глаза было бесполезно.

Как это могло случиться, прокурор плохо понимал. Он стоял чинно, вместе со всеми, ожидая, когда будут пускать, и вдруг увидел, что толпа несет его, вращая по спирали — через площадку, к узкому, точно траншея, проходу.

Стоило добраться туда, и открывался прямой путь к центру города, где в цветах, на постаменте покоился усопший Хозяин. И прокурор по мере сил помогал тащить себя в этом направлении, хотя перебирать ногами в тесноте было так же затруднительно, как говорить с набитым ртом.

Но чем ближе и быстрее придвигался он к цели, тем больше его относило в сторону. А спираль, закручиваясь до предела, валила с ног.

Люди лезли друг через друга и, спотыкаясь, падали. На место одного опрокинутого вставало пятеро свежих, и борьба не затухала. Каждый стремился проникнуть в узкий, точно траншея, проход.

Прокурор был слишком солиден, чтобы принимать участие в свалке. Он не лез, не толкался, не произносил бранных слов. Но чья-то могучая рука, шириною во всю эту площадку, схватила его поперек тела, стиснула в кулаке, так что он едва не задохся, и, чуть приподняв над землей, пошла гвоздить направо и налево.

— Пусти! Мне больно! — стонал прокурор. — Здесь все свои. Они ни в чем не виноваты. Здесь много женщин, детей, есть даже инвалиды войны, что принесли тебе славу.

Но рука не выпускала его из цепких, намертво сжатых пальцев. Скорбя и ожесточаясь, она била и била им, как дубиной, воющую от боли толпу.

Спешить было некуда. Марина постояла у киоска, где продавались газеты, траурные, будто женщины с подведенными тушью ресницами. Потом, повернувшись спиной к надоедливой улице, разглядывала незажженную витрину косметического магазина.

Там, как в плохом зеркале, она увидела себя. По ней шагали люди, ехали троллейбусы, пронизанные флаконами духов и пирамидами разноцветного мыла.

— От всех этих средств красота портится, — думала она, поглядывая исподлобья на свое отражение. Но лицо ее, затуманенное стыдом и злобой, истоптанное тенями прохожих, было еще достаточно красиво.

— Завтра же испробую аргентинскую губную помаду, — решила Марина.

Ему удалось уйти. Под грузовую машину, через ограду бульвара, ободрав ноги, без шапки... Бульвар был пуст и просторен. — Девочку, девочку задавили! — донеслось сзади.

Там, в полутемном проулке, собрались успевшие выскользнуть. Они радовались, что легко отделались, поминали какую-то девочку:

— Задавили! Задавили!

— Это — не про мою. Моя — сама упала. Никто ее не давил. И стекла ей в очках раньше меня выбили, и возрастом она уж не девочка, а совершеннолетняя.

— Девочка, девочка, — упрямо твердили в толпе. — Задержать надо виновного... Под машину уполз... Чего рты разинули? Виновного, виноватого...

— Моя — сама виновата. Пускай не суется под ноги. Я сам упал. А виновных здесь нет. Без жертв не обойтись. Зато — во имя цели.

Идти дальше не было сил. Он прилег отдохнуть в теплый, как парное молоко, снег. По соседству, за сугробом, все еще искали виновного, толковали про неизвестную девочку:

— Может, это вредитель какой, диверсант, враг народа? Давку-то кто устроил? Милицию бы сюда! Следователя, прокурора! Судить таких надо! Судить!

Эпилог

Возле реки Колымы, за пригорком, мы копали канаву — Сережа, Рабинович и я.

Я прибыл в тот лагерь позже других, летом пятьдесят шестого. Повесть, для завершения которой не хватало лишь эпилога, стала известна в одной высокой инстанции. Подвела меня, как и следовало ожидать, упомянутая ранее драга, поставленная в канализационной трубе нашего дома. Черновики, что всякое утро я добросовестно пускал в унитаз, непосредственно поступали на стол к следователю Скромных. И хотя важное лицо, чей приказ я выполнил, может быть, недостаточно точно, к тому времени уже умерло и даже подвергалось переоценке со стороны широкой общественности, меня все-таки привлекли к дознанию за клевету, порнографию и разглашение государственной тайны.

Я не отпирался: улики были налицо. К тому же Владимир Петрович Плов, вызванный в качестве свидетеля, представил документы, неопровержимо доказывающие полную мою виновность. Все, что я написал, как это установило следствие, являлось плодом злого умысла, праздного вымысла и большого воображения.

Особое нарекание вызвал тот факт, что положительные герои (прокурор Глобов, адвокат Карлинский, домохозяйка Марина, двое в штатском и т. д.) не обрисованы здесь многогранно в их трудовой практике, а злопыхателиски выставлены перед читателем нетипичными сторонами. Отрицательные же персонажи (детоубийца Рабинович, диверсант Сережа и его соучастница Катя, слишком поздно осознавшая свои ошибки и за это растоптанная ногами возмущенного народа), хоть и были наказаны по заслугам в моем клеветническом произведении, но не разоблачены до конца в своей реакционной основе.

Не рассчитывая на снисхождение, я просил только о том, чтобы мне разрешили, учтя критику, хотя б в эпилоге произвести некоторые коррективы, проливающие должный свет на моих персонажей. Мне позволили это сделать, но в процессе собственного перевоспитания, без отрыва от земляных работ, предусмотренных на Колыме.

Попав сюда, я вскоре пристроился к Сереже и Рабиновичу. Добиться, чтобы нас поселили в одной землянке и стерегли совместно, было нетрудно. После амнистии лагерь опустел. Нас, крупных преступников, здесь осталось каких-нибудь тысяч десять. Начальство смягчилось и разрешило создать ударную бригаду в составе трех человек, выделив нам персонального конвоира с хорошим автоматом.

Впрочем, в нашей бригаде по-ударному трудился один Сережа, полагавший, что необходимо способствовать приближению прекрасного будущего. Мы с Рабиновичем по старости лет от него отставали.

Сережа рьяно насаждал среди нас принципы новой морали. Пайку хлеба в 400 грамм, что я получал ежедневно, складывали с аналогичными пайками моих друзей. Всем этим хлебом заведовал у нас Рабинович, и, когда наступало время обеда, мы 1 кг 200 г делили на три части.

— Какая в этом польза? — удивлялся я. — Все равно каждый съедает свои 400 грамм и даже меньше, потому что Рабинович тайком откусывает по кусочку от чужих паек.

— Ничего, ничего! — подбадривал меня Сережа. — Недорога пайка, дорог принцип равного распределения продуктов.

Однажды, выгребая лопатой мерзлую землю, я улучил момент:

— Скажите, Сережа, что пишет из столицы ваш уважаемый папа?

Тот с напускным равнодушием передернул плечами:

— Мы не переписываемся, Сочинитель (меня за былую профессию прозвали здесь сочинителем). Бабушка сообщала как-то, что его повысили в должности.

— Вот видите, Сережа! — воскликнул я, радуясь поводу поговорить на волнующую меня тему. — Видите, каких высот достиг этот государственный деятель! Можете не сомневаться в моей искренности, я люблю вашего отца давней, неразделенной любовью. Мне дороги Емельян Пугачев, обернувшийся Александром Суворовым, грохот танков по булыжнику, бешеный рев радиорепродукторов — вся изысканная аляповатость героической нашей эпохи, что гордо шествует по земле, звеня орденами и медалями.

И если я, вопреки указаниям свыше, не защитил вашего папу своим щуплым телом, то, поверьте, я искал только случая свершить этот подвиг, а случай спасти вашего папу так и не вышел. Он сам всех спасал, сам всех преследовал. О, когда б его побивали камнями! С какой радостью я умер бы за него и вместо него! Но его не побивали...

Наверное, мои излияния были неприятны Сереже, и он переменял разговор:

— Да, Сочинитель. Отец считает меня вероотступником. А вот мачеха, Марина Павловна, кто бы мог подумать! Вчера от нее получил посылку.

— Узнаю вас, русские женщины! — восхитился я, глотая слюнки. — Со времен декабристов! Княгиня Волконская, Трубецкая. Помните — у Некрасова: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». А в посылке-то что?

— Коробка шоколадных конфет с ликером.

— И все?

— Все.

Делать было нечего. Хорошо хоть с ликером. Мы подали нашему конвоиру половину посылки, а сами, не вылезая из канавы, устроили роскошный пикник.

Как всегда в минуты отдыха, нас развлекал Рабинович. С ним последнее время творилось что-то странное. Может быть, он помешался из-за врачей-убийц, которых признали невинными. По их делу его осудили, но реабилитировать почему-то забыли. А скорее всего он просто-напросто с обычной еврейской хитростью прикидывался ненормальным, памятуя, что к душевнобольным относятся у нас снисходительно и частенько выпускают в сумасшедший дом.

Во всяком случае речи его с некоторых пор стали темны и невразумительны. Он все рассуждал о Боге, об истории, о каких-то целях и средствах. Иногда получалось очень смешно.

Вот и сейчас, доев последнюю шоколадку, он вытащил из-под ватника забавную железку, покрытую ржавчиной и землей.

— Нет, гражданин Сочинитель, как вам это нравится? — обратился он ко мне, бессмысленно улыбаясь.

— Археологическая находка! — обрадовался Сережа и тут же зафантазировал: — Здесь путешествовал в каком-нибудь шестнадцатом веке или даже раньше никому не известный Ермак. Быть может, — до самой Америки! опередил Христофора Колумба! Надо — в музей, под стекло, для поддержания приоритета!

— Приоритет несомненен, однако начальству сдать придется, — сообразал я. — Все-таки холодное оружие.

Это был меч, наполовину изъеденный сыростью, с массивной рукояткой в виде распятия.

— Как вам нравится? — вопрошал Рабинович. — Бога, обратите внимание, куда присобачили. К орудию смертоубийства — держалка! Скажете — нет? Был целью, а сделался средством. Чтобы хвататься сподручнее. А меч — в обратную сторону: был средством, стал целью. Переменялись местами. Ай-я-яй! Где теперь Бог, где меч? В извечной мерзлоте и меч, и Бог.

— Оставьте в покое ваши религиозные пережитки, — сказал я и опасливо отодвинулся (видно, недаром попал сюда этот гражданин Рабинович). — Всему миру известно — никакого Бога нет. Не в Бога нужно верить, а в диалектику.

Как он тут всполошился, этот хилый еврей, обстриженный под машинку, в рваных опорках, замазанных грязью, с ржавым мечом под мышкой.

— Да я что? Разве ж я спорю? Никогда в жизни!

Схватив меч в обе руки, он поднял его, как зонтик, и затыкал прямо в небо, нависшее над нашей канавой.

— Во имя Бога! С помощью Бога! Взамен Бога! Против Бога! — приговаривал он, будто натуральный безумец. — И вот Бога нет. Осталась одна диалектика. Скорее для новой цели куйте новый меч!

Я хотел ему возразить, как вдруг солдат, что предохранял нас от побега, проснулся на своем пригорке и закричал:

— Эй, вы, в канаве! Довольно чесать языком! Работать пора!

Мы дружно взялись за лопаты.

МЫСЛИ

врасплох

* * *

Живешь дурак дураком, но иногда в голову лезут превосходные мысли.

* * *

Как вы смеете бояться смерти?! Ведь это всё равно, что струсить на поле боя. Посмотрите — кругом валяются. Вспомните о ваших покойных стариках-родителях. Подумайте о вашей кузине Верочке, которая умерла пятилетней. Такая маленькая, и пошла умирать, придушенная дифтеритом. А вы, взрослый, здоровый, образованный мужчина, боитесь... А ну — перестаньте дрожать! веселее! вперед! Марш!!

* * *

Жизнь человека похожа на служебную командировку. Она коротка и ответственна. На нее нельзя рассчитывать, как на постоянное жительство, и обзаводиться тяжелым хозяйством. Но и жить, спуская рукава, проводить время, как в отпуске, она не позволяет. Тебе поставлены сроки и отпущены суммы. И не тебе одному. Все мы на земле не гости и не хозяева, не туристы и не туземцы. Все мы — командировочные.

* * *

Если бы стать скопцом — сколько можно успеть!

* * *

Чтобы не было так обидно жить, мы заранее тешим себя смертью и — чуть что — говорим:

— Пусть я умру, плевать!

Вероятно, за эту дерзость, которая видит в смерти выход из игры, с нас крепко спросится. Природа не дает слишком легких концов наподобие ухода из гостей, когда можно взять шапку и сказать: «ну, я пошел, а вы оставайтесь и делайте что хотите». Вероятно, смерть (даже в виде просто-

го физического исчезновения), как и всё на свете, надобно заслужить. Природа не позволит нам капризничать в ее доме.

* * *

Надо так же доверять Богу, как собака — хозяину. Свистни — прибежит. И куда бы ты ни пошел, она, ни о чем не спрашивая, ни о чем не задумываясь, весело побежит за тобой хоть на край света.

* * *

Сидел в ресторане и смотрел по сторонам. Дело было днем, народу было мало, и народ поднабрался всё какой-то случайный, понаехавший из провинции или вздумавший покушать в роскошной обстановке раз в жизни. Мне — случайному здесь — было интересно разглядывать этих случайных людей.

На глаза попалась девица, простоватая, в мелкой завивке, с непомерно разинутым ртом. Она громко смеялась, выказывая крупные зубы, непривычно захмелев от сладенького винца. Я смотрел на нее и думал, до чего же она уродлива, и возмущался этим не замечающим себя, самодовольным уродством. Мне казалось, она не имеет права не то что сидеть за столом, но вообще существовать на земле, и как этой девушке не стыдно быть такой безобразной и как она может еще смеяться при своем безобразии?..

И вдруг я подумал, и эта мысль как-то поразила меня, настолько поразила, что я теперь постоянно к ней возвращаюсь, хотя пора бы забыть, — я подумал: «а какое, собственно говоря, ты имеешь право осуждать эту девушку, если сам Бог терпит ее присутствие? Если всем нам, таким некрасивым, ничтожным, Он позволил существовать. Вот мы сидим и презираем друг друга и готовы стереть друг друга с лица земли, а Он, отлично видя всю нашу некрасоту, тем не менее разрешает нам жить, хотя мог бы в два счета прекратить наше развязное, кичливое существование. Какие у тебя полномочия не допускать эту уродку, ежели Он, неизмеримо прекрасный, ее допустил?!»

Это сознание моей неправоты, столь очевидной перед Его позволением, повергло меня в неожиданно смешливое настроение. Я потешался над собою и трясся от тайного смеха, сохраняя внешнее благообразие, потому что находил-ся не один в ресторане, а в приятельской компании. Но

в глубине души я покатывался и хватался за бока, словно чувствовал на себе снисходительный ласковый взгляд. Посматривая на девицу, которая в результате всего не стала привлекательнее, я веселился так, как давно не делал. Но мое веселье в эту минуту не содержало зла и было исполнено благодарности к мысли, которая открыла всё это и тоже смеялась надо мною и надо всеми нами необидным, светлым смехом. И мне до сих пор кажется, что Господь благословил меня тогда на этот смех.

* * *

Искусство — ревниво. Отправляясь от каких-то, ничего не говорящих «данных», оно — силой распаленного воображения — рисует вторую вселенную, где события разворачиваются в повышенном темпе и в голом виде. Художник должен любить жизнь ревниво, т. е. не верить наличной картине и, отталкиваясь от нее, подозревать за людьми и природой нечто такое, в чем никто другой не догадается их заподозрить.

* * *

— Я был у нее 67-ым, она была у меня 44-ой.

* * *

У меня перегорели пробки. Я очень грустил, считал себя погибшим и просил Бога помочь. И Бог послал мне Монтера. И Монтер Починил Пробки.

* * *

Только когда заболеешь чем-нибудь венерическим, начнешь понимать, что все люди чисты.

* * *

В сексуальных отношениях есть что-то патологическое. Влекущее отталкивание, отталкивающая притягательность. Это совсем не «кусочек хлеба», который хочется съесть. Тут

хотение построено на том, что нельзя этого делать, и, чем больше «нельзя», тем сильнее хочется.

Анатомия — элементарна. Но — что за мрак, что за сверкание во мраке?! Женщина, в другое время воспринимаемая как бытовое явление, немедленно приобретает потусторонний оттенок. Из «Людочки», из «Софьи Николаевны» она становится жрицей, руководимой темными силами. В половом акте всегда присутствует нечто от черной мессы.

Само наслаждение, достаемое при этом,— глубже и страшнее обычных плотских радостей. Оно в значительной мере основано на том, что ты совершаешь кощунство. Красивые женщины, помимо прочего, потому имеют успех, что с ними возрастает кощунственность предпринимаемых действий.

Отсюда же — непостоянство, измены. Со строго физиологической точки зрения новый предмет любви мало чем отличен от старого. Но в том-то и весь фокус, что новый предмет заранее кажется «слаще», потому что с ним ты впервые переступаешь закон и, следовательно, поступаешь более святотатственно. Незнакомую Донну Анну ты превращаешь в девку, и особое удовольствие тебе доставляет то, что она «донна» и «незнакомая»: «такая чистая, такая красивая, а я с тобою вот что, вот что сделаю!» С нею ты сызнава переживаешь чувство падения, утраченное со «старым предметом» в силу привычки. Повторение там узаконило кощунственный акт, и он перестал казаться таким уж привлекательным. История Дон Жуана — это вечные поиски Той, еще нетронутой, с кем совершить недозволенное особенно приятно. В отношениях с женщиной всегда важнее снять с нее штаны, чем утолить свою природную потребность. И чем эта женщина выше, недоступнее, тем оно интереснее.

По тем же побуждениям, заручившись моральным правом, муж и жена развратничают на законной ниве гораздо изобретательнее случайных прелюбодеев. Чужим хватает того стыда, что они чужие. А любящим супругам кого стыдиться, с кем блудить? Им не остается ничего другого, как нарушать закон в его же собственных рамках и оснащать семейный союз таким бесстыдством, чтобы он имел хотя бы видимость грехопадения.

* * *

В кондитерских магазинах женщины поедают пирожные, не отходя от прилавка. Почему-то мужчины так не делают. А эти — забегут в магазин, точно в уборную, и тут же,

в толчее, у всех на виду лопают! Сладены. От маленьких до старух. Смотреть, как они едят — неудобно, что-то бесстыдное угадывается в их позах, жестах, в их кусании, жадном как любовные поцелуи. Полакомится, оботрется и пойдет дальше, своей дорогой...

* * *

Удручает податливость женщин. Есть в этом что-то от нашей общей, человеческой неполноценности.

* * *

Женщины грешнее нас, но лучше нас. Странное ощущение. Но безусловно так: и лучше, и грешнее. Блудница становится праведной, лицемерка — искренней, злодейка — доброй, почти не меняя своей женской природы. Для женщины подобные превращения так же естественны, как переход на другую сторону улицы. Остановилась, перешла через улицу и пошла себе дальше, совсем другая и всё-таки такая же самая.

* * *

Почему-то грязь и мусор сосредоточены вокруг человека. В природе этого нет. Животные не пачкают, если они не в хлеву, не в клетке, то-есть опять-таки — дела и воля людей. А если и пачкают, то не противно, и сама природа, без их стараний, очень быстро смывает. Человек же всю жизнь, с утра до вечера, должен за собой подчищать. Иногда этот процесс до того надоедает, что думаешь: поскорее бы умереть, чтобы больше не пачкать и не пачкаться. Последний сор — мертвое тело, которое тоже требует, чтобы его поскорее вынесли. Останняя куча навоза.

В добавление к этому войдем в роль уборщицы, которая за всеми подметает и не может остановиться: нарастут горы мусора. Она воспринимает людей по мусорным признакам: вон тот не вытирает ноги, а эта всегда оставляет дамский легкомысленный сор — шпильки, флакончик из-под духов, затертые, воняющие одеколоном ватки, раскиданные по всему номеру. Дело происходит в гостинице.

Убийственно уже местоположение секса — в непосредственной близости к органам выделения. Словно самой природой предусмотрена брезгливая, саркастическая гримаса. То, что находится рядом с мочой и калом, не может быть чистым, одухотворенным. Физически неприятное, вонючее окружение вопит о клейме позора на наших срамных частях. Бесстыдство совокупления, помимо стыда и страха, должно преодолевать тошноту, вызываемую нечистотами. Общее удовольствие похоже на пир в клоаке и располагает к бегству от загаженного источника.

Но вот, представьте девку, серую, безответную, которая много работает и терпеливо ждет, когда кто-нибудь с нею хоть побалуется мимоходом. И всё нету случая. Один парень облапил было ее в полутемном клубе, да спяну отвлекся, забыл и уснул на полдороге, а наутро не вспомнил. Потом какой-то мужик, кажется хромоногий, с деревяшкой вместо ноги, прикидывал жениться на девке, и она опять была согласна, но его не то задавило трактором, не то он уехал и не вернулся. И жизнь у нее проходит в однообразной работе, в тихом недоумении, почему она ни у кого не вызывает охоты, с виноватой улыбкой, что никто не польстился. Спрашивается: разве не лучше было бы ей согрешить, чем тянуть это хилое, незадачливое целомудрие?..

В нашей жизни, в быту идея грехопадения редко дана в своей метафизической оголенности. Тут столько встречается примесей, обстоятельств, мотивов, что всё выглядит куда печальнее и смешнее. Бывает, что человеку некуда приткнуться и он тыкается в бабу, которой ведь тоже нужно как-то себя пристроить. Длинная, скудная жизнь, и ничего нет под руками, кроме срамных частей, которые болтаются, как детская погремушка, и почему бы немного в нее не поиграть заскучавшему человеку? Или для женщины позабавиться с незнакомым мужчиной — всё равно что пойти на новую кинокартину. Здесь даже не всегда присутствует влечение к запретному плоду, к полу, к рискованному удовольствию, а просто — влечение «вдаль», жалость к себе и желание чем-то развлечься, уйти, переменить обстановку, и даже любовь к ближнему, приласкать которого у нас нет других способов. Вся эта тривиальность человеческой жизни не то что снимает или оправдывает грех, но рядом с нею он, взятый в отдельности, как таковой, в своей изначальной мерзости, менее пугает и кажется отдушиной. В нем — конец, преступление, дыра, ад, смерть, то есть всё

понятия предельные, максимальные, а тут, в быту, в жизни — тоскливое прозябание, по сравнению с которым сама смерть лучше.

* * *

Человек становится по-настоящему близок и дорог, когда он теряет свои официальные признаки — профессию, имя, возраст. Когда он перестает даже именоваться человеком и оказывается просто-напросто первым встречным.

* * *

Накопление денег. Накопление знаний и опыта. Накопление прочитанных книг. Коллекционеры: короли нумизматики, богачи конфетных бумажек. Накопление славы: еще одно стихотворение, еще одна роль. Списки женщин. Запасы поклонников. Зарубки на прикладе снайпера. Накопление страданий: сколько я пережил, перенес. Путешествия. Погоня за яркими впечатлениями. Открытия, завоевания, рост экономики. Кто больше накопил, тот и лучше, знатнее, культурнее, умнее, популярнее.

И посреди этого всеобщего накопительства:

— Блаженны нищие духом!

* * *

Мы обезопасили себя тем, что поняли свою обреченность.

* * *

Надо бы умирать так, чтобы крикнуть (шепнуть) перед смертью:

— Ура! мы отплываем!

* * *

Хорошо, уезжая (или умирая), оставлять после себя чистое место.

* * *

Господи, убей меня!

* * *

За недостатком жеста, за отсутствием слова, за неимением чего-то лучшего и главнейшего мы останавливаемся на женщинах и делаем им разные нехорошие предложения, чтобы что-то сделать и о чем-то сказать.

* * *

Когда всё тайное станет явным — понимаете? — всё! — то-то мы сядем в калошу.

* * *

Если нам суждено погибнуть от какой-нибудь радиации, это будет вполне логично. Мысль развивается до такого предела, что убивает себя. Но чем виноваты собаки, лягушки — те, кто не хотел развиваться?

* * *

Всё-таки самое главное в русском человеке — что нечего терять. Отсюда и бескорыстие русской интеллигенции (окромя книжной полки). И прямота народа: спьяна, за Россию, грудь настезь! стреляйте, гады! Не гостеприимство — отчаяние. Готовность — последним куском, потому что — последний и нет ничего больше, на пределе, на грани. И легкость в мыслях, в суждениях. Дым коромыслом. Ничего не накопили, ничему не научились. Кто смеет осудить? Когда осужденные.

* * *

Пьянство — наш коренной национальный порок и больше — наша идея-фикс. Не с нужды и не с горя пьет русский народ, а по извечной потребности в чудесном

и чрезвычайном, пьет, если угодно, мистически, стремясь вывести душу из земного равновесия и вернуть ее в блаженное бестелесное состояние. Водка — белая магия русского мужика; ее он решительно предпочитает черной магии — женскому полу. Дамский угодник, любовник перенимает черты иноземца, немца (чорт у Гоголя), француза, еврея. Мы же, русские, за бутылку очищенной отдадим любую красавицу (Стенька Разин).

В сочетании с вороватостью (отсутствие прочной веры в реально-предметные связи) пьянство нам сообщает босяцкую развязность и ставит среди других народов в подозрительное положение люмпена. Как только «вековые устои», сословная иерархия рухнули и сменились аморфным равенством, эта блатная природа русского человека выперла на поверхность. Мы теперь все — блатные (кто из нас не чувствует в своей душе и судьбе что-то мошенническое?). Это дает нам бесспорные преимущества по сравнению с Западом и в то же время накладывает на жизнь и устремления нации печать непостоянства, легкомысленной безответственности. Мы способны прикарманить Европу или запузырить в нее интересной ересью, но создать культуру мы просто не в состоянии. От нас, как от вора, как от пропойцы, можно ждать чего угодно. Нами легко помыкать, управлять административными мерами (пьяный — инертен, не способен к самоуправлению, тащится, куда тянут). И одновременно — как трудно управиться с этим шатким народом, как тяжело с нами приходится нашим администраторам!..

* * *

Как это приятно, когда случайный прохожий говорит «пожалуйста» или «спасибо». И говорит это «спасибо» с таким чистосердечием, точно в самом деле желает тебе спасения. На этой задушевности только и держится мир, в особенности — русский. Какое-нибудь «браток», «папаша», «будьте добреньки». Безо всякой вежливости, но с родственной интонацией.

* * *

Раньше человек в своем домашнем быту гораздо шире и прочнее, чем в нынешнее время, был связан с универсальной — исторической и космической — жизнью. Хотя у нас имеются газеты, музеи, радио, воздушное сообщение, мы

лишь принимаем к сведению этот всемирный фон и не очень-то им проникаемся, мало о нем думаем. В чешских ботинках, с мексиканской сигаретой в зубах, прочел корреспонденцию о появлении нового государства в Африке и пошел кушать бульон, сваренный из французского мяса. Всё это внешнее, кажущееся соприкосновение с миром носит характер случайной, бессвязной информации: «в огороде бузина, а в Киеве дядька». О том, что в Киеве дядька, мы узнаем по многу раз в день и не придаем этим фактам особого значения. Количество наших знаний и сведений огромно, мы перегружены ими, качественно не меняясь. Всю нашу вселенную можно объехать за несколько дней — сесть на самолет и объехать, ничего не получив для души и лишь увеличив размеры поступающей информации.

Сравним теперь эти мнимые горизонты с былым укладом крестьянина, никогда не выезжавшего далее сенокоса и всю жизнь проходившего в самодельных, патриархальных лаптях. По размерам его кругозор кажется нам узким, но как велик в действительности этот сжатый, вмещаемый в одну деревню объем. Ведь даже однообразный ритуал обеда (по сравнению с французским бульоном и ямайским ромом) был вовлечен в круг понятий универсального смысла. Соблюдая посты и праздники, человек жил по всемирно-историческому календарю, который начинался с Адама и заканчивался Страшным Судом. Поэтому, между прочим, какой-нибудь полутемный сектант мог порой философствовать ничуть не хуже Толстого и достигать уровня Плотина, не имея притом под руками никаких пособий, кроме Библии. Мужик поддерживал непрестанную связь с огромным мирозданием и помирал в глубинах вселенной, рядом с Авраамом. А мы, почитав газетку, одиноко помираем на своем узеньком, никому не нужном диване. И никакая информация нам тогда не нужна. Она для нас — брюки из заграничного материала. Форсим в этих брюках и только. Куда девается весь кругозор, вся наша осведомленность, когда мы снимаем брюки или с нас снимают? Или — когда мы подносим ложку ко рту. Мужик-то, прежде чем взять ложку, — бывало — перекрестится и одним этим рефлекторным жестом соединит себя с землей и небом, с прошлым и будущим.

* * *

Мы обязаны городскому комфорту и техническому прогрессу тем, что вера в Бога пошла на убыль. В окружении сделанных нами вещей мы почувствовали себя создателями

вселенной. Могу ли я увидеть Господа Бога в мире, где на каждом шагу мне попадается человек? Глас Божий звучал в пустыне, в тишине, а тишины и пустыни нам как раз не хватает. Мы всё заглушили и заполнили собою и после этого еще удивляемся, что Господь нам не показывается.

* * *

Любая личность противна, если ее много. Личность всегда — капитал, хотя бы он состоял из добродетелей, ума и таланта. «Раздай добро свое...» Христос возлюбил тех, кто был «ником». Да и сам Он разве не был «Никто»? Как личность Он скорее невыразителен (и потому невыразим) и уж во всяком случае несколько не оригинален. «Личность Иисуса Христа» — звучит кощунственно. Это Личность в обратном, минусовом значении. Христа не назовешь «гением». Гений переполнен собою, гений — капиталист. Вампиризм гения, почитание гениев, начавшееся с Ренессанса, и бескорыстие святости, всегда сияющей не своим, но Твоим, Господи, светом.

* * *

Довольно твердить о человеке. Пора подумать о Боге.

* * *

Теософы боятся слов — «чорт» и «Бог». Они всё опасаются, что их заподозрят в невежестве, и хотят рассуждать по-научному. Такая предосторожность не внушает к себе доверия.

* * *

Почему Христос никогда не улыбался? Не потому ли, что в тюрьме, где сидят приговоренные к казни, смех неуместен?..

* * *

Не исключена такая возможность, что на земле — ад. Тогда всё понятно. А если — нет? Господи, тогда как?..

* * *

Наверное, грешники, сгруппированные в аду по разным классам и партиям, тоже друг другу завидуют и друг перед другом важничают. Тот, кого поджаривают на вертеле, потешается над теми, кого вешают вверх ногами. Растут обиды, назревают конфликты: каждому кажется, что ему хуже других. И высокомерие немногих страдальцев (например, педерастов), составляющих особую касту с изысканным способом пытки. И внезапные моды, когда все мечтают попасть в газокамеру, предназначенную детоубийцам, и приписывают себе задним числом несовершенные преступления: все были бы рады убить младенчика, но такового не сыщешь во тьме кромешной. Вечная борьба за первенство в преисподней и споры о свободе, о равенстве и братстве.

* * *

Никак не пойму, что за «свобода выбора», о которой столько толкует либеральная философия. Разве мы выбираем, кого нам любить, во что верить, чем болеть? Любовь (как и любое сильное чувство) — монархия, деспотия, действующая изнутри и берущая в плен без остатка, без оглядки. О какой свободе мы помышляем, когда поглощены, когда ничего не помним, не видим, кроме Предмета, который нас выбрал и, выбрав, мучает или одаривает? Как только мы желаем освободиться (от греха ли, от Бога ли — всё равно), над нами уже властвует новая сила, шепчущая об освобождении лишь до тех пор, пока мы ей всецело не предались. Свобода всегда негативна и предполагает отсутствие, пустоту, жаждущую скорейшего заполнения. Свобода — голод, тоска по власти, и если сейчас о ней так много болтают, это значит, что мы находимся в состоянии междуцарствия. Придет царь и всему этому душевному парламентаризму под именем «свобода выбора» — положит конец.

* * *

Преставьте гения на том свете. Бегаёт из угла в угол — в аду — и всем доказывает: ведь я ж талантливый!

* * *

Хорошо, когда опаздываешь, немного замедлить шаг.

* * *

А всё-таки больше всего на свете я люблю снег.

* * *

Иногда (очень редко) умершие снятся во сне совсем по-другому, чем снятся обыкновенные люди. То есть они говорят и выглядят, как живые, но это не сон о прошлой их жизни с нами, а сон о нашей теперешней встрече с ними, вдруг ожившими и пришедшими к нам повидаться. Быть может, они лишь временно приняли прежний облик для того, чтобы нам было легче их узнать и понять.

При виде их мы испытываем радостное удивление и задыхаемся во сне от счастливых слез, от сознания, что все было неправдой и они живы. Мы нисколько не забываем, что перед нами умершие, но их появление происходит как бы в нарушение смерти. Мы страшно волнуемся и ликуем («не умер! не умерла!») и не хотим ничего другого, как только жить вместе с ними и никогда не расставаться, и обещаем им что-то, и просим, и договариваемся или пытаемся о чем-то с ними договориться. А они — тоже счастливые в эту минуту — почему-то очень спокойны и совсем не волнуются, а только стараются ласково нас успокоить, точно знают больше нашего, точно они сильнее и терпеливее нас. И улыбаются и кивают на наши жаркие речи.

Но вот свидание кончено, и они уходят незаметно, не желая печалить нас проводами и прощанием, уходят оставляя нас спящими в каком-то глубоком и блаженном, детском сне. Когда же мы просыпаемся, на душе у нас тихо и покойно, и сновидение это — в отличие от других, обычных снов — прочно откладывается, укореняется в памяти. От него остается воспоминание, как от действительной встречи. Словно вечность снизошла из хорошего к нам отношения и отпустила на побывку своих домочадцев. Всё, всё, вплоть до старенького, поношенного пальто! Чтобы мы не скучали, чтобы мы не забывали, чтобы нас обнадежить до следующего раза.

Нет сомнений, за время сна они нам успели что-то внушить. Поэтому, проснувшись, мы не маемся, не терзаемся, не рвемся бесполезно вслед за улетевшими образами. Одно лишь грустно: мы не помним в точности, о чем мы с ними договорились, о чем условились, да и смогли ли мы с ними обо всем договориться?..

* * *

Смерть отделяет душу от тела подобно тому, как мясник отделяет мясо от кости. Это так же мучительно. Но так и только так наступает освобождение.

* * *

Засыпая, я всякий раз надеялся, что, пока я сплю, тело мое выздоровеет и наберется сил. И видя, что оно все еще болеет, я снова засыпал до следующего раза. Всё это было так, как если бы я уходил, засыпая, и притом уходил нарочно, для того чтобы дать ему, телу, срок прийти в себя и образумиться. Точно у меня с ним были какие-то нелады и споры, и я то уходил, то возвращался, торгуясь и оставляя его в одиночестве с расчетом, что без меня оно лучше сумеет выполнить условия договора и, вернувшись, я застану его в добром со мною согласии. Но оно всё упрямилось, и ныло, и болело, так что хотелось махнуть на него рукой и больше к нему никогда не возвращаться. Пусть делает без меня, что хочет.

* * *

Что тело? Внешняя оболочка, скафандр. А я, может, сидя в своем скафандре, весь извиваюсь...

* * *

Господь предпочитает меня.

* * *

Уж если даже чтение книг — наподобие кражи, то как же не быть немножечко в романтическом духе?

* * *

Господи, Ты видишь — я пьян...

* * *

Какую нежность вдруг испытываешь к куску мыла!..

* * *

Вся моя жизнь состоит из трусости и мольбы.

* * *

Поджидая конец жизни, я много успел сделать. О, как оно медленно, приближение смерти!

* * *

Смерть хороша тем, что ставит всех нас на свое место.

* * *

Верить надо не в силу традиции, не из страха смерти, не на всякий случай, не потому, что кто-то велит и что-то пугает, не из гуманистических принципов, не для того, чтобы спастись, и не ради оригинальности. Верить надо по той простой причине, что Бог — есть.

* * *

Окружающая природа — лес, горы, небо — наиболее доступная нам, зримая форма вечности, ее вещественная имитация, подобие, олицетворение. Сама протяженность природы во времени и пространстве, ее длительность, величина по сравнению с нашим телом внушает мысли о вечном и пробуждает в человеке недоверие к своему ограниченному существованию. А это сочетание в одном каком-нибудь дереве старости и молодости, сложности и простоты, движения и покоя, мудрости и наивности? А эта неизменная смена времен года, ночи и дня, которые, повторяясь, каждый раз отворяют новое? И безразличие природы к добру и злу, безразличие от уверенности, что в конце концов все оказывается добром. Эта всеполнота бытия, предуведомля-

ющая о вечности, позволяет нам, за неимением другого выхода, бежать на природу так же, как когда-то уходили в монастыри.

* * *

Когда плывешь на пароходе, а вокруг — одно море, начинаешь постигать, что, куда бы мы ни шли, куда бы ни ехали, мы всегда стоим на одном месте по отношению к небу.

* * *

Почему-то предполагается, что завязанное здесь — должно где-то там (в будущем или в вечности) распутаться и развязаться. Что последует нам компенсация за наши страдания, усилия, грехи, добродетели. Между тем, возможно, не нам должны уплатить, а мы — плата или возмездие кому-то за что-то. Глядя на мироздание из своего угла, мы принимаем себя за начало и мысленно подбираем себе подобающий конец. Но в мировом балансе мы не исходная точка, а кривая, прочерченная между какими-то неизвестными нам величинами, и потому недостойно требовать в применении к себе справедливости.

* * *

Мы сплавляем свое дерьмо в гигиеничные унитазы и думаем, что спасены.

* * *

Почему становится страшно, когда, обернувшись, видишь на свежем снегу свои следы?..

* * *

Разговор двух старушек:

— ...Ведь пенсии тебе хватает? На одежду не тратишься. Все — на пищу идет.

— Да, хватает... Правда, я еще кошку кормлю.

* * *

— А муж у тебя есть?

— На ночь муж есть, а так — нету.

* * *

Идет он по лесу. Навстречу — трое, в лаптях. Он подошел к ним и говорит:

— А я вас, братцы, боюсь. Вас — трое, я — один.

— Давай, — говорят они, — мы сядем на травку, чтобы тебе нас не бояться. А ты стань поодаль, шагах в десяти, и будем разговаривать.

Уселись трое и спрашивают:

— Нет ли хлеба? Три дня не ели.

Он отдал им хлеб, какой был у него, и ушел. Потом их поймали и в городе расстреляли.

* * *

Отвернуться, чтобы не видеть. Радоваться, что есть еще кожа, кости — защита. Сделать из тела заслон, ходячую баррикаду и прятаться за нею. Если б одна душа — разве мы выдержали бы? Куда душе отвернуться, чем прикрыться? Душа даже не может сомкнуть веки. Всегда на виду. А нам удобно, у нас все приспособлено. Можем заткнуть уши, уйти в себя. А когда очень плохо — повернуться лицом к стене и прикрыться сзади надежной, непроходимой спиной.

* * *

Старуха вернулась из бани, разделась и отдыхает. Сын хотел было постричь у нее ногти на ногах, чудовищные, заскорузлые ногти.

— Что ты, Костя! что ты! Мне помирать пора. Как же я — без ногтей — на гору к Богу полезу? Мне высоко лезть...

Вряд ли старуха забыла, что ее тело сгниет. Но ее представления о Царствии Небесном реальны до земной осязаемости. И свою бессмертную душу она воспринимает реально — с ногтями, в нательной рубашке, в виде босоногой старухи. Подобного рода уверенности часто недостает нашим философско-теологическим построениям. Всё понима-

ется настолько спиритуально, что уже неизвестно: существует ли Господь в самом деле, или Он только символ наших гуманных наклонностей. Дикарь, представляющий Бога в виде кровожадного зверя, менее кощунствует, чем философ-идеалист, подменивший Его гносеологической аллегорией. Христос воскрес буквально, осязаемо, во плоти и предстал как очевидность, вопреки фарисейским абстракциям. Он пил и ел с нами за одним столом и апеллировал с помощью чуда, то есть вещественного доказательства.

* * *

Господи, дай о Себе знать. Подтверди, что Ты меня слышишь. Не чуда прошу — хоть какой-нибудь едва заметный сигнал. Ну, пусть, например, из куста вылетит жук. Вот сейчас вылетит. Жук — ведь вполне естественно. Никто не заподозрит. А мне достаточно, я уже догадаюсь, что Ты меня слышишь и даешь об этом понять. Скажи только: да или нет? Прав я или не прав? И если прав, пусть паровоз из-за леса прогудит четыре раза. Это так нетрудно — прогудеть четыре раза. И я уже буду знать.

* * *

Природа прекрасна под влиянием Божьего взгляда. Он молча, издалека смотрит на купы деревьев — и этого достаточно.

* * *

Законы природы — растянутое в пространстве и во времени чудо. Благодаря им снежинки, мамонты, солнечные закаты и другие шедевры творения имеют возможность более или менее длительно существовать, периодически возникать, развиваться, следуя определенной традиции (традиция сохранения энергии, традиция земного тяготения и т. д.). Нарушить традицию может новое чудо, единовременное или тоже устойчивое, закрепленное, как закон, в какой-то иной вселенной, эпохе, периоде.

Божественная космогония ныне превратилась в сюжет юмористики (Господь Бог из бумаги вырезает цветы). Но если к этому сюжету подойти всерьез? Каждый цветок

повергает в обморок, в изумление: ведь как сделано! И в каждом семячке, в ничтожной пыльце уже присутствует будущее о двенадцати лепестках.

В природе мы то и дело наталкиваемся на искусство. Горная архитектура, предварившая готику. Лужи и облака, выполненные во вкусе ташизма. В сотворении человека — принципы изобразительности (по образу Создателя и всё же совсем «не то»!). Летающие по воздуху, шмыгающие в траве певцы и музыканты. Смена стилей вместе с наступлением ледников, извержением вулканов. Живой музей, где всё обновляется и сохраняется, где всё, как в искусстве, достаточно реально и достаточно иллюзорно.

* * *

Истинно христианские чувства противоположны нашей природе, аномальны, парадоксальны. Тебя бьют, а ты радуешься. Ты счастлив в результате сыплющихся на тебя несчастий. Ты не бежишь от смерти, а влечешься к ней и заранее уподобляешься мертвым. Всякому здоровому, нормальному человеку это кажется дикостью. Природа учит бояться смерти, избегать страданий, плакать от боли. А тут всё наоборот — противоестественно (говорят гуманисты), сверхъестественно (говорят христиане). И никаких дальновидных расчетов (пусть лучше здесь потерплю, чтобы там блаженствовать — расчет ростовщика). Обратные реакции возникают непреднамеренно, помимо воли. Но стоит «простить обидчику», и на душе становится весело, точно разрублен узел, который никакими борениями не развязать. И если эту легкость и веселость души взять не следствием, а причиной, то прощение и любая другая обратная реакция на причиненную скорбь проявится неудержимо, без усилий и специальных заданий. Не преодоление естества, а его замещение какой-то иной, нам не знакомой природой, которая учит болеть, страдать, умирать и избавляет от обязанности бояться и ненавидеть.

* * *

Человек живет для того, чтобы умереть. Смерть сообщает жизни сюжетную направленность, единство, определенность. Она — логический вывод, к которому приходят путем жизненного доказательства, не обрыв, но

аккорд, подготовляемый задолго, начиная с рождения. По сравнению с умершими (в особенности сравнительно с историческими лицами и литературными персонажами) мы выглядим недотянутыми, недоразвитыми. Такое чувство, как если б у нас грудь и голова терялись в проблематичном тумане. Потому мы так неуверенны в оценке себя, в понимании своей роли, судьбы и места. Пока мы не умерли, нам всегда чего-то недостает. Конец — всему делу венец.

Мы бессознательно завидуем цельности умерших: они уже выкрутились из промежуточного положения, обрели ясно очерченные характеры, дожили, довыплотились. Отсюда такой интерес к с в о е м у концу, гадания, предсказания, поиски вслепую последней точки, решающего штриха. Нас притягивает и соблазняет самоубийство, суля выгодную сделку, позволяющую нам по собственному выбору и решению получить недостающую сумму и расписаться в получении. Но вернее этой расписки принять смертную казнь с объявленным приговором, предоставляющим жертве редкое право присутствовать при его исполнении и осознать себя в истинной готовности и законченности. Приговоренные к казни в один миг вырастают наполовину, и, если они сумеют сохранить присутствие духа, лучший способ расчета трудно представить.

Человеческая судьба в идеале уловлена в жанре трагедии, которая ведь и разыгрывается по направлению к смерти. В трагедии смерть становится целью и стимулом действия, в ходе которого личность успевает выявить себя без остатка и, достигнув завершенности, выполнить предназначение. Мы смотрим на это стремительное и роковое приближение к гибели и радуемся, что герой удостоен такого избрничества, что он, едва родившись, обеспечен и застрахован, и вся его биография обставлена, как подготовка финала. В его судьбу и характер смерть заложена, как зерно, и, когда оно на наших глазах прорастает, мы испытываем восторг перед этой верностью року, претворяющему усилия жизни в смертный подвиг.

Трагедия по идее уподобляется казни, но растягивает приговор до размеров естественного человеческого созревания, создавая видимость непринужденности и свободы в движении по кратчайшему, предустановленному пути. Гибель героя оправдана, завоевана, заработана жизнью, и это равновесие рождает чувство гармонии. Напротив, в судьбе «обывателя» смерть почти комична:хватила кондрашка, подавился костью. Жалкость подобной участи в ее случайности, привнесенности (жил-жил и вдруг ни с того, ни с сего

помер),—в отсутствии нарастающей связи между жизнью и смертью. Но всего страшнее, когда в знак наказания Провидение отворачивается от надоевшего человека и позволяет ему сгинуть позорно, бесстыдно—по собственному вкусу: напился до потери сознания и захлебнулся в своей блевотине; умер в момент соития, да так, что бедную женщину с трудом освободили от вцепившегося старика...

Будем просить у судьбы честную, достойную смерть и по мере сил двигаться ей навстречу, так чтобы подобающим образом выполнить наше последнее и главное дело, дело всей жизни— умереть.

* * *

Мысли о Боге неиссякаемы и велики, как море. Они захлестывают, в них тонешь с головой, с руками, не достигая дна. Бог в нашем сознании— понятие настолько широкое, что способно выступать как собственная противоположность даже в рамках единой религиозной доктрины. Он— непознаваем и узнаваем повсюду, недоступен и ближе близкого, жесток и добр, абсурден, иррационален и предельно логичен. Ни одно понятие не дает такого размаха в колебании смысла, не предоставляет стольких возможностей постижения и толкования (при одновременной твердой уверенности в его безусловной точности). Уже это говорит о значительности стоящего за ним Лица и Предмета наших верований, наших раздумий. В Бога можно по-разному верить, о Нем можно бесконечно думать: Он охватывает всё и везде присутствует, как Самое Главное, ни в чем не уместаясь. Это самое огромное, единственное явление в мире. Кроме Этого ничего нет.

* * *

Может быть, жизнь состоит в выращивании души, да, да, той самой, бессмертной, что тебя сменит и улетит прочь. Точнее говоря, душа не растет, не развивается, но скрытно в тебе пребывает, пока ты созреваешь до того, что вступаешь с нею в более или менее тесный контакт. Надо, чтобы душа тебя запомнила, с тобой подружилась и по знакомству сохранила частицу твоей личности. В этом смысл выражения: «пора о душе подумать». То есть пора позаботиться о том, чтобы завязать со своей душой прочные отношения, чтобы твоя душа о тебе подумала.

Вряд ли у людей бывают скверные души (разве что в человеке поселится чужая, нелюдская душа). Распоследние негодяи уверены, что «в глубине души» они всё же хорошие. А об окончательно плохом человеке говорят, что у него «души нет». На самом деле душа, возможно, еще в нем остается, но уходит так глубоко, что уже не имеет к нему никакого касательства.

«Погубить душу» нельзя, а можно погубить себя, потеряв душу. Душа от тебя не зависит, но ты от нее зависишь и находишься у нее под опекой, если успеешь это заметить.

* * *

Прелесть уединения, тишины, молчания — в том, что в эти часы разговаривает душа.

* * *

Истину не понимать надо, а — постигать. Понять, познать — это значит взломать, раззять. Познать можно женщину (насилие и усилие). Постичь (хоть ту же женщину) — впустить, воспринять. Познание всегда агрессивно и предполагает захват. В постижении — тяга, ноша, данная свыше. В постижении мы — пленные.

* * *

Церковь не может не быть консервативной, доколе она желает сохранить верность преданию. Она не имеет права говорить сегодня одно, завтра другое — в зависимости от интересов прогресса. Никакая, сколько-нибудь серьезная и глубокая, религиозная реформация не равнялась на сегодняшний день, а стремилась вспять, к исходу, к началу вероучения, хотя бы при этом и путалась в его трактовке. Но помимо желания сберечь древнюю святость, соблюсти завет, Церковь неизменно «отстает от жизни», с тем, чтоб, побыв вне времени, донести до нас аромат и вкус вечности. Своими застывшими формами архаика обряда соответствует и уподобляется небу, не склонному развиваться с исторической скоростью. Эта принципиальная замедленность реакций на современность грозит Церкви застою, омертвением. Но и тогда она — нетленная мумия, ожидающая часа, когда будет сказано: — Встань и иди!

Только бы услышала...

Нынешнее христианство грешит благовоспитанностью. Оно только и думает, как бы не испачкаться, не показаться неделикатным. Оно боится грязи, грубости, прямоты, предпочитая всему на свете аккуратную середину. До чего довели, слюнтяи,—священный елей превратили в сладкую патоку (от одного словечка «елейный» подкатывает тошнота). Сложили губки бантиком и ждут, чтобы Господь поставил им галочку за примерное поведение. Как кисейная барышня, краснеют при каждом намеке на недозволенное удовольствие: «Ах, что вы, я не такая! Вы не подумайте, я невинная». Христову Церковь спутали с институтом благородных девиц. В итоге всё живое и яркое перешло в руки порока. Добродетели осталось вздыхать и собирать слезки в карман. Она забыла пламенную ругань Библии.

А христианство обязано быть смелым и называть вещи их именами. От ангелочков в веночках пора отказаться, чтобы ангелы стали сильнее и очевиднее аэропланов. «Аэропланы» — не ради подделки под стиль современности, а для превосходства над нею.

На этом пути можно впасть в ересь. Но ересь сейчас не так опасна, как иссыхание на корню. Господи! Лучше я ошибусь в Твоем имени, чем забуду Тебя. Лучше я согрешу Тобою, чем забуду Тебя. Лучше я душу свою погублю, чем Ты исчезнешь из вида.

Рядом с другими религиями христианство выполняет роль ударного батальона, роль штрафной роты, кинутой на самый опасный и горячий участок фронта. Где-то, может быть, имеется артиллерия, авиация, но в рукопашную свалку, в пекло брошен именно этот батальон смертников, сжегший за собою мосты и ведущий сражение вплотную с блиндажами противника. Отсюда и решительность натиска, готовность идти до конца, и трудность подвига, и уость, нетерпимость учения (сравнительно хотя бы с индусами), то есть собранность и устремленность всех сил в одном ударе. Посмотрите на его, христианства, героев. Мудрецов здесь не так много, а всё больше подвижники, снискавшие славу стойкостью и смертью. Жития святых — перечень пыток и казней, вынесенных воинством, следовавшим примеру казненного Бога. Это солдаты, показывающие миру свои

рубцы и раны, как знаки доблести. А из кого набрано войско? — да изо всех наций, из любого сброда, даже из преступников, поставивших на себе крест. Каждый может быть зачислен. Каждый, самый последний, неученый, грешный — лишь бы был готов броситься в огонь. И в схватке — каждый, в единоборстве — каждый. Религия величайшей надежды, родившейся из отчаяния, религия целомудрия, утвердившегося на самом остром сознании своей греховности, религия воскресения плоти посреди смрада и тления. Нигде, как в христианстве, нет такого близкого прикосновения к смерти. Страх смерти в нем не изжит, а развит до силы, способной пробить брешь в гробнице и выскочить по другую сторону. Не созерцание вечности, а ее стяжание в битве, в бою с одним оружием — готовностью умереть.

* * *

Засыпая, мы принимаем положение зародыша. Поджимаем ноги к животу, свертываемся в калачик, вьем гнездо — уютное и безопасное материнское лоно. Мы становимся детьми, и посапываем, и чмокаем губами, отодвигая в сторону позднейшие напластования. В этом впадении в детство, всеобщем, ежедневном, есть какой-то возврат к себе, к своей изначальной позиции, которая была и будет главной в жизни, а всё прочее — пустяки. Засыпая, мы порываем с миром, сбрасываем личину профессии, возраста, культуры, национальности, возвращаемся домой и остаемся, наконец, в своем первозданном виде, смешные и незащитные. Это наш корень, наше последнее «я», которое и «я» трудно назвать, потому что мы все здесь младенчески одинаковы.

С другой стороны, сон — это репетиция смерти. Засыпая, мы умираем: ложимся, закрываем глаза, теряем самосознание и не исключено, что частично живем в каком-то другом мире. Из дневной жизни туда докатываются отголоски, но в незамутненной глубине сна мы чувствуем что-то иное, не похожее на наше обычное существование — колыбель и утробу матери, откуда мы рождаемся утром обновленными, помолодевшими. Сон, как и смерть, имеет привкус небытия, забвения, покоя и детского блаженства. Говорят, перед смертью с особенной силой вспоминается детство. Так и быть должно: умирает не «граф Толстой», не писатель и не мыслитель, умирает «Левушка»...

Пора детства проносится человеком через всю жизнь, как ее единственная, незаменимая основа. Вспоминая свой

двух-пяти-семилетний возраст, мы явственно сознаем его связь с нами, хотя, рассуждая логически, нет никакого сходства между нашей взрослой личностью и младенческим состоянием. Но память, не зависящая от доводов логики, не делает большого разрыва между тем и этим, и каждый из нас может сказать о себе: помню, меня купали в корыте и я говорил «мяу», глядя на лампочку. И это ведь я говорил «мяу», а не кто-то другой, и это «мяу» накрепко со мною связано, это я и есть. В отношении юношеского и зрелого возраста иногда просто не верится, что мы могли то-то сделать, то-то сказать (смена убеждений, интересов и т. д.). О своих поступках и чувствах в положении «личности» часто вспоминаешь, как о чем-то чужом. Только детство сохраняет до старости непреходящую достоверность.

Даже в деторождении есть элемент возврата к своему младенчеству, и за невозможностью нам самим стать детьми мы заводим ребенка. Тут имеются, конечно, претензии со стороны нашей взрослой личности, желающей продолжить себя в потомстве. И всё же хотят ребенка, а не тридцатилетнего дядю, «похожего на меня», о маленьком мечтают, о дитятке. У женщин это чувство выражено еще очевиднее: лишённые наших честолюбивых наклонностей, они просто хотят маленького без особого стремления закрепить в нем свою «неповторимую индивидуальность». Даже бабушки жаждут внучат и играют в них, как в куклы, со страстью предаваясь ребячеству и сюсюкая по-младенчески. Почему бы им сразу не уподобиться подростку? Не потому ли, что новорожденный желаннее им и ближе, что в нем они узнают и обретают себя.

Так вот, если сравнить всё это — и сон, и детство, и смерть, — то окажется, что жизнь, прожитая как «развитие сознательной личности», легко исчезает и ни на что не годна. Кем бы мы ни стали, чему бы ни научились, мы остаемся лишь с тем запасом, который имели в детстве и имеем перед сном. С ним, единственно с ним мы и уйдем отсюда, навсегда позабыв все прочие приобретения — знания, деньги, славу, труды, книги, запечатлевшие нашу личность, но не имеющие никакой цены перед лицом ребенка, сна и смерти.

* * *

Мысли кончаются и больше не приходят, как только начинаешь их собирать и обдумывать...

Прогулки

с ПУШКИНЫМ

*«Бывало, часто говорю ему: "Ну, что, брат Пушкин?" — "Да так, брат", отвечает бывало: "так как-то всё..."
Большой оригинал».*

Н. В. ГОГОЛЬ «Ревизор».

При всей любви к Пушкину, граничащей с поклонением, нам как-то затруднительно выразить, в чем его гениальность и почему именно ему, Пушкину, принадлежит пальма первенства в русской литературе. Помимо величия, располагающего к почтительным титулам, за которыми его лицо расплывается в сплошное популярное пятно с бакенбардами,— трудность заключается в том, что весь он абсолютно доступен и непроницаем, загадочен в очевидной доступности истин, им провозглашенных, не содержащих, кажется, ничего такого особенного (жест неопределенности: «да так... так как-то всё...»). Позволительно спросить, усомниться (и многие усомнились): да так ли уж велик ваш Пушкин, и чем, в самом деле, он знаменит за вычетом десятка-другого ловко скроенных пьес, про которые ничего не скажешь, кроме того, что они ловко сшиты?

*...Больше ничего
Не выжмешь из рассказа моего,*

— резюмировал сам Пушкин это отсутствие в его сочинении чего-то большего, чем изящно и со вкусом рассказанный анекдот, способный нас позабавить. И, быть может, постичь Пушкина нам проще не с парадного входа, заставленного венками и бюстами с выражением неуступчивого благородства на челе, а с помощью анекдотических шаржей, возвращенных поэту улицей словно бы в ответ и в отместку на его громкую славу.

Отбросим не идущую к Пушкину и к делу тяжеловесную сальность этих уличных созданий, восполняющих недостаток грации и ума простодушным плебейским похабством. Забудем на время и самую фривольность сюжетов, к которой уже Пушкин имеет косвенное отношение. Что останется тогда от карикатурного двойника, склонного к шуткам и шалостям и потому более-менее годного сопровождать нас в экскурсии по священным стихам поэта — с тем чтобы они сразу не настроили на возвышенный лад и не привели прямым каналом в Академию наук и художеств имени А. С. Пушкина с упомянутыми венками и бюстами на каждом абзаце? Итак, что останется от расхожих анекдотов

о Пушкине, если их немного почистить, освободив от скабрёзного хлама? Останутся всё те же неистребимые бакенбарды (от них ему уже никогда не отделаться), тросточка, шляпа, развевающиеся фалды, общительность, легкомыслие, способность попадать в переплеты и не лезть за словом в карман, парировать направо-налево с проворством фокусника — в частом, по-киношному, мелькании бакенбард, тросточки, фрака... Останутся вертлявость и какая-то всепроницаемость Пушкина, умение испаряться и возникать внезапно, застегиваясь на ходу, принимая на себя роль получателя и раздавателя пинков-экспромтов, миссию козла отпущения, всеобщего ходатая и доброхота, всюду сующего нос, неуловимого и вездесущего, универсального человека Никто, которого каждый знает, который всё стерпит, за всех расквитается.

— Кто заплатит? — Пушкин!

— Что я вам — Пушкин — за всё отвечать?

— Пушкиншулер! Пушкинзон!

Да это же наш Чарли Чаплин, современный эрзац-Петрушка, прифрантившийся и насобачившийся хлять в рифму...

— Ну что, брат Пушкин?..

Причастен ли этот лубочный, площадной образ к тому прекрасному подлиннику, который-то мы и доискиваемся и стремимся узнать покороче в общении с его разбитным и покладистым душеприказчиком? Вероятно, причастен. Вероятно, имелось в Пушкине, в том настоящем Пушкине, нечто, располагающее к позднему панибратству и выбросившее его имя на потеху толпе, превратив одинокого гения в любимца публики, завсегдатая танцулек, ресторанов, матчей.

Легкость — вот первое, что мы выносим из его произведений в виде самого общего и мгновенного чувства. Легкость в отношении к жизни была основой мирозерцания Пушкина, чертой характера и биографии. Легкость в стихе стала условием творчества с первых его шагов. Едва он появился, критика заговорила о «чрезвычайной легкости и плавности» его стихов: «кажется, что они не стоили никакой работы», «кажется, что они выливались у него сами собою» («Невский Зритель», 1820, № 7; «Сын Отечества», 1820, ч. 64, № 36).

До Пушкина почти не было легких стихов. Ну — Батюшков. Ну — Жуковский. И то спотыкаемся. И вдруг, откуда ни возьмись, ни с чем, ни с кем не сравнимые реверансы и повороты, быстрота, натиск, прыгучесть, умение гарцевать,

галопировать, брать препятствия, делать шпагат и то стягивать, то растягивать стих по требованию, по примеру курбетов, о которых он рассказывает с таким вхождением в роль, что строфа-балерина становится рекомендацией автора заодно с танцевальным искусством Истоминой:

*...Она,
Одной ногой касаясь пола,
Другую медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.*

Но прежде чем так плясать, Пушкин должен был пройти лицейскую подготовку — приучиться к развязности, развить гибкость в речах заведомо несерьезных, ни к чему не обязывающих и занимательных главным образом непринужденностью тона, с какою вьется беседа вокруг предметов ничтожных, бессодержательных. Он начал не со стихов — со стишков. Взамен поэтического мастерства, каким оно тогда рисовалось, он учится писать плохо, кое-как, заботясь не о совершенстве своих «летучих посланий», но единственно о том, чтобы писать их по воздуху — бездумно и быстро, не прилагая стараний. Установка на не о б р а б о т а н н ы й стих явилась следствием «небрежной» и «резвой» (любимые эпитеты Пушкина о ту пору) манеры речи, достигаемой путем откровенного небрежения званием и авторитетом поэта. Этот первый в русской литературе (как позднее обнаружилось) сторонник чистой поэзии в бытность свою дебютантом ставил ни в грош искусство и демонстративно отдавал предпочтение бранным дарам жизни.

*Не вызывай меня ты боле
К навек оставленным трудам,
Ни к поэтической неволе,
Ни к обработанным стихам.
Что нужды, если и с ошибкой,
И слабо иногда пою?
Пускай Нинета лишь улыбкой
Любовь беспечную мою
Воспламенит и успокоит!
А труд — и холоден, и пуст:
Поэма никогда не стоит
Улыбки сладострастных уст!*

Такое вольничанье со стихом, освобожденным от каких бы то ни было уз и обязательств, от стеснительной необходимости — даже! — именоваться поэзией, грезить о вечности, рваться к славе («Плоды веселого досуга не для бессмертья рождены», — заверял молодой автор — не столько по скромности, сколько из желания сохранить независимость от навязываемых ему со всех сторон тяжеловесных заданий), предполагало облегченные условия творчества. Излюбленным местом сочинительства сделалась постель, располагавшая не к работе, а к отдыху, к ленивой праздности и дремоте, в процессе которой поэт между прочим, шалаяй-валяй, что-то там такое пописывал, не утомляя себя излишним умственным напряжением.

Постель для Пушкина не просто милая привычка, но наиболее отвечающая его духу творческая среда, мастерская его стиля и метода. В то время как другие по ступенькам высокой традиции влезали на пьедестал и, прицеливаясь к перу, мысленно облачались в мундир или тогу, Пушкин, недолго думая, заваливался на кровать и там — «среди приятного забвенья, склоняясь в подушку головой», «немного сонною рукой» — набрасывал кое-что, не стоящее внимания и не требующее труда. Так выработывалась манера, поражающая раскованностью мысли и языка, и наступила свобода слова, неслыханная еще в нашей словесности. Лежа на боку, оказалось, ему было сподручнее становиться Пушкиным, и он радовался находке:

*В таком ленивом положении
Стихи текут и так и сяк.*

Его поэзия на той стадии тонула и растворялась в быту. Чураясь важных программ и гордых замыслов, она опускалась до уровня застольных тостов, любовных записочек и прочего вздора житейской прозы. Вместо трудоемкого высиживания «Россиады» она разменивалась на мелочи и расходилась по дешевке в дружеском кругу — в альбомы, в остроты. Впоследствии эти формы поэтического смещения в быт лэфовцы назовут «искусством в производстве». Не руководствуясь никакими теориями, Пушкин начинал с того, чем кончил Маяковский.

*Пишу своим я складом ныне
Кой-как стихи на именины!*

Ему ничего не стоило сочинить стишок, приглашающий, скажем, на чашку чая. В поводах и заказах недостатка не

было. «Я слышу: пишешь ты ко многим, ко мне ж, покамест, ничего»,— упрасивал его тоже в стихах, по тогдашней приятной моде, Я. Н. Толстой,— «Доколе ты не сдержишь слово: безделку трудно ль написать?» И получал в подарок — стансы.

Пушкин был щедр на безделки. Жанр поэтического пустика привлекал его с малолетства. Научая расхлябанности и мгновенному решению темы, он начисто исключал подозрение в серьезных намерениях, в прилежании и постоянстве. В литературе, как и в жизни, Пушкин ревниво сохранял за собою репутацию лентяя, ветреника и повесы, незнакомого с муками творчества.

*Не думай, цензор мой угрюмый,
Что я беснуюсь по ночам,
Объятый стихотворной думой,
Что ленью жертвую стихам...*

Все-таки — думают. Позднейшие биографы с вежливой улыбочкой полицейских авгуров, привыкших смотреть сквозь пальцы на проказы большого начальства, разъясняют читателям, что Пушкин, разумеется, не был таким бездельником, каким его почему-то считают. Нашлись доносители, подглядевшие в скважину, как Пушкин долугу пыхтит над черновиками.

Нас эти сплетни не интересуют. Нам дела нет до улик,— будь они правдой иль выдумкой ученого педанта — лежащих за пределами истины, как ее преподносит поэт, тем более — противоречащих версии, придерживаясь которой, он сумел одарить нас целой вселенной. Если Пушкин (допустим!) лишь делал вид, что бездельничает, значит, ему это понадобилось для развязывания языка, пригодилось как сюжетная мотивировка судьбы, и без нее он не смог бы написать ничего хорошего. Нет, не одно лишь кокетство удачливого артиста толкало его к принципиальному шалопайничеству, но рабочая необходимость и с каждым часом крепнущее понимание своего места и жребия. Он не играл, а жил, шутя и играя, и когда умер, заигравшись чересчур далеко, Баратынский, говорят, вместе с другими комиссарами разбравший бумаги покойного, среди которых, например, затесался «Медный Всадник», восклицал: «Моешь ты себе представить, что меня больше всего изумляет во всех этих поэмах? Обилие мыслей! Пушкин — мыслитель! Можно ли было это ожидать?» (цитирую по речи И. С. Тургенева на открытии памятника Пушкину в Москве).

Нынешние читатели, с детства обученные тому, что Пушкин — это мыслитель (хотя, по совести говоря, ну какой он мыслитель!), удивляются на Баратынского, не приметившего очевидных глубин. Не ломая голову над глубинами, давайте лучше вместе, согласно удивимся силе внушения, которое до гроба оказывал Пушкин в роли беспечного юноши. Современники удостоверяют чуть ли не хором: «Молодость Пушкина продолжалась во всю его жизнь, и в тридцать лет он казался хоть менее мальчиком, чем был прежде, но все-таки мальчиком, лицейским воспитанником... Ветреность была главным, основным свойством характера Пушкина» («Русская Старина», 1874, № 8).

Естественно, эта ветреность не могла обойтись без женщин. Ни у кого, вероятно, в формировании стиля, в закручивании стиха не выполнял такой работы, как у Пушкина, слабый пол. Посвященные прелестницам безделки находили в их слабости оправдание и поднимались в цене, наполнялись воздухом приятного и прибыльного циркулирования. Молодой поэт в амплуа ловеласа становился профессионалом. При даме он вроде как был при деле.

Тем временем беззаботная, небрежная речь получала апробацию: кто ж соблюдает серьезность с барышнями, один звук которых тянет смеяться и вибрировать всеми членами? Сам объект воспевания располагал к легкомыслию и сообщал поэзии бездну движений. В общении с женщинами она упражнялась в искусстве обхаживать и, скользя по поверхности, касаться запретных тем и укромных предметов с такой непринужденной грацией, как если бы ничего особенного, а наша дама вся вздрагивает, и хватается за бока, будто на нее напал щекотунчик, и, трясясь, стучает веером по перстам баловника. (См. послание «Красавице, которая нюхала табак», который, помнится, просыпался ей прямо за корсаж, где пятнадцатилетний пацан показывает столько энергии и проворства, что мы рот разеваем от зависти: ах, почему я не табак! ах, почему я не Пушкин!)

На тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин в большую поэзию и произвел переполох. Эротика была ему школой — в первую очередь школой верткости, и ей мы обязаны в итоге изгибчивостью строфы в «Онегине» и другими номерами, о которых не без бахвальства сказано:

*Порой я стих повертываю круто,
Всё ж видно, не впервой я им верчу.*

Уменьше вертеть стихом приобреталось в коллизиях, требующих маневренности необыкновенной, подобных той,

в какую, к примеру, попал некогда Дон-Жуан, взявшись ухаживать одновременно за двумя параллельными девушками. В таком положении хочешь — не хочешь, а приходится поворачиваться.

Или — Пушкин бросает фразу, решительность которой вас озадачивает: «Отечество почти я ненавидел» (?!). Не пугайтесь: следует — ап! — и честь Отечества восстановлена:

*Отечество почти я ненавидел —
Но я вчера Голицыну увидел
И примирен с отечеством моим.*

И маэстро, улыбаясь, раскланивается.

* * *

Но что это? Егозливые прыжки и ужимки, в открытую мотивированные женолюбием юности, внезапно перенимают крылья ангельского парения?.. Словно материя одной страсти налету преобразовалась в иную, непорочную и прозрачную, с тем, однако, чтобы следом воплотиться в прежнем обличье. Эротическая стихия у Пушкина вольна рассеиваться, истончаться, достигая трепетным эхом отдаленных вершин духа (не уставая попутно производить и докармливать гривуазных тварей низшей породы). Небесное создание, воскресив для певца «и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь», способно обернуться распутницей, чьи щедроты обнаружены с обычной шаловливой болтливостью, но и та пусть не теряет надежды вновь при удобном случае пройти по курсу мадонны.

Не потому ли на Пушкина никто не в обиде, а дамы охотно ему прощают нескромные намеки на их репутацию: они — лестны, они — молитвенны...

Пушкину посчастливилось вывести на поэтический стриптиз самое вещество женского пола в его щемящей и соблазнительной святости, фосфоресцирующее каким-то подземным, чтоб не сказать — надзвездным, свечением (тем — какое больше походит на невидимые токи, на спиритические лучи, источаемые вертящимся столиком, нежели на матерьяльную плоть). Не плоть — эфирное тело плоти, ея Психею, нежную ауру поймал Пушкин, пустив в оборот все эти румяные и лилейные ножки, щечки, персики, плечики, отделившиеся от владелиц и закружившиеся в независимом вальсе, «как мимолетное виденье, как гений чистой красоты».

Пушкинская влюбчивость — именно в силу широты и воспламеняемости этого чувства — принимает размеры жизни, отданной одному занятию, практикуемому круглосуточно, в виде вечного вращения посреди женских прелестей. Но многочисленность собраний и любвеобилие героя не позволяют ему вполне сосредоточиться на объекте и пойти дальше флирта, которым по существу исчерпываются его отношения с волшебницами. Готовность волочиться за каждым шлейфом сообщает поползновениям повесы черты бескорыстия, самозабвения, отрешенности от личных нужд, исправляемых между делом, на бегу, в ежеминутном отключении от цели и зевании по сторонам. Как будто Пушкин задался мыслью всех ублажить и уважить, не обойдя своими хлопотами ни одной мимолетной красотки, и у него глаза разбегаются, и рук не хватает, и нет ни времени, ни денег позаботиться о себе. В созерцании стольких ракурсов, в плену впечатлений, кружащих голову, повергающих в протрацию, он из любовников попадает в любители, в эрудиты амурной науки, лучшие блюда которой, как водится, достаются другим.

Читая Пушкина, чувствуешь, что у него с женщинами союз, что он свой человек у женщин — притом в роли специалиста, вхожего в дом в любые часы, незаменимого, как портниха, парикмахер, массажистка (она же сводня, она же удачно гадает на картах), как модный доктор-невропатолог, ювелир или болонка (такая шустрая, в кудряшках...). С такими не очень-то церемонятся и, случается, поскандалят (такой нахал! такая проныра!), но не выгонят, не выставят, таких ценят, с такими советуются по секрету от свекрови и перед такими, бывает, заискивают.

Ну и, естественно, — таким не отказывают. Еще бы: Пушкин просит!

Он так же проник в дамские спальни и пришелся там ко двору, как тот улан, переодетый в кухарку, обживал домик в Коломне, правда — с меньшим успехом, чем Пушкин, в игривом стиле здесь описавший, безусловно, собственный опыт, свои похождения в мире прекрасного. В своей писательской карьере он тоже исподтишка работал под женщину и сподобился ей угодить, снуя вокруг загадок ее прельстительности. «Она, как дух, проходит мимо», — молвил Пушкин, и мы робеем как бы в прикосновении тайны¹...

¹ «Бахчисарайский фонтан». Гарем (куда так хочется залезть). Байрон. Байронов Жуан, туда попавший в costume дeвы. Задрапированный улан, идущий по его стопам (перечитывая «Домик в Коломне», я почему-то в нем не нашел вышеозначенного улана, брив-

Задумаемся: почему женщины любят ветреников? Какой в них прок — одно расстройство, векселя, измены, пропажи, но вот, подите же вы, плачут — а любят, воем воют — а любят. Должно быть, ветреники сродни их воздушной организации, которой бессознательно хочется, чтоб и внутри и вокруг нее все летало и развевалось (не отсюда ли, кстати, берет свое происхождение юбка и другие кисейные, газовые зефиры женского туалета?). С ветреником женщине легче нащупать общий язык, попасть в тон. Короче, их сестра невольно чувствует в ветренике брата по духу.

Опять-таки полеты на венике имеют в своей научной основе ту же летучесть женской природы, воспетую Пушкиным в незабвенном «Гусаре», который, как и «Домик в Коломне», во многом автобиографичен. Вспомним, как тамошняя хозяйка, раздевшись донага, улизнула в трубу, подав пример своему сожителю:

*Кой чорт! подумал я: теперь
И мы попробуем! и духом
Всю склянку вытил; верь не верь —
Но кверху вдруг взвился я пухом.*

*Стремглав лечу, лечу, лечу,
Куда, не помню и не знаю;
Лишь встречным звездочкам кричу:
Правей!..*

Какой там гусар! — не гусар, а Пушкин взвился пухом вслед за женщинами и удостоился чести первого в русской поэзии авиатора!

Полубуйтесь: «Руслан и Людмила», явившись первым ответвлением в эпос эротической лирики Пушкина, вдоль и поперек исписаны фигурами высшего пилотажа. Еле видная поначалу, посланная издали точка-птичка («там в облаках перед народом через леса, через моря колдун несет богатыря»), приблизившись, размахивается каруселями воздушных сообщений. Как надутые шары, валандаются герои

шегося под видом кухарки, но все же, сдается, то был улан). И так, улан, в подражание Байрону прокраившийся под бочок Параше, — как Пушкин, байроновым же путем, прокрался в «Бахчисарайском фонтане» в гарем, одевшись в женоподобные строфы. «Она пленительна и своенравна, как красавица Юга», — писал о поэме А. Бестужев (Марлинский) в очередном литературном обзоре («Полярная Звезда», 1825 г.), не задумываясь, однако, над сходством пушкинского Фонтана с женщиной. Но мы задумаемся...

в пространстве и укладывают текст в живописные вензеля. В поэме уйма завитушек, занимающих внимание. Но, заметим, вся эта развесистая клюква,—нет!—елка, оплетенная золотой дребеденью (ее прообраз явлен у лукоморья, в прологе, где изображен, конечно, не дуб, а наша добрая, зимняя ель, украшенная лешими и русалками, униженная всеми бирюльками мира, и ее-то Пушкин воткнул Русланом на месте былинного дуба, где она и стоит поныне — у колыбели каждого из нас, у лукоморья новой словесности, и как это правильно и сказочно, что именно Пушкин елку в игрушках нам подарил на Новый год в первом же большом творении), так вот эта елка, эта пальма, это нарочитое дезабилье романтизма, затейливо перепутанное, завинченное штопором, турниры в турнирах, кокотки в кокошниках, боярышни в сахаре, рыцари на меду, медведи на велосипеде, охотники на привале — имеют один источник страсти, которым схвачена и воздета на воздух, на манер фейерверка, вся эта великолепная, варварская требуха поэмы.

Тот источник ослепит и высмеет в пересказе руслановой фавулы, пересаженной временно — в одной из песен — на почву непристойного фарса. В этой вставной новелле-картинке, служащей заодно и пародией, и аннотацией на «Руслана и Людмилу», действие из дворцовых палат вынесено в деревенский курятник. (Должно быть, куры — в курином, придворном, куртуазном и авантюрном значениях слова — отвечали идейным устремлениям автора и стилю, избранному в поэме,—старославянскому рококо.) Здесь-то, в радужном и гостеприимном бесстыдстве, берут начало или находят конец экивоки, двойная игра эротических образов Пушкина, уподобившего Людмилу, нежную, надышанную Жуковским Людмилу, пошлой курице, за которой по двору гоняется петух-Руслан, пока появление соперника-коршуна не прерывает эти глупости в самый интересный момент.

*...Когда за курицей трусливой
Султан курятника спесивый,
Петух мой по двору бежал
И сладострастными крылами
Уже подругу обнимал...*

Запоминающиеся впечатления детства от пребывания на даче сказались на столь откровенной трактовке отношений между полами. Как мальчишка, Пушкин показывает кукиш своим героям-любовникам. Но каким светлым аккордом, какую пропастью мечтательности разрешается эта сцена,

едва событие вместе с соперником переносится в воздух — на ветер сердечной тоски, вдохновения!

*Напрасно горестью своей
И хладным страхом пораженный,
Зовет любовницу петух...
Он видит лишь летучий пух,
Летучим ветром занесенный.*

К последним строчкам — так они чисты и возвышенны — напрашивается ассонанс: «Редает облаков летучая града...» Редает и стирается грань между эротикой и полетом, облаками и женскими формами, фривольностью и свободой, — настолько то и другое у Пушкина не то чтобы равноценные вещи, но доступные друг другу, сообщающиеся сосуды. Склонный в обществе к недозволенным жестам, он ухитряется сохранять ненаигранное целомудрие в самых рискованных порой эпизодах — не потому, что в эти минуты его что-то сдерживает или смущает; напротив, он не знает запретов и готов ради пикантности покуситься на небеса; но как раз эта готовность непосредливой эротике Пушкина притрагиваться ко всему на свете, когда застыл этот свет, а когда им ответно светлея, лишает ее четких границ и помогает вылиться в мысли, на взгляд, ни с какого бока ей не пристававшие, не свойственные — на самом же деле демонстрирующие ее силу и растяжимость.

Как тот басенный петух, что никого не догнал, но согрелся, Пушкин умеет переключать одну энергию на другую, давая выход необузданной чувственности во все сферы жизнедеятельности. «Блажен кто знает сладострастье высоких мыслей и стихов», — говорит он в минуту роздыха от неумеренных ухаживаний. Как так «сладострастье мыслей» и вдобавок еще «высоких»? Да вот так уж! У него все сладострастье: и танцы с рифмами, и скачка под выстрелами, и тихий утренний моцион. «Любовь стихов, любовь моей свободы...» Слышите? Не Нинеты любовь, не Темиры и даже не Параша, а — с в о б о д ы (к тому же м о е й!). До крайности неопределенно, беспредметно, а между тем сердце екает: любовь!

Эротика Пушкина, коли придет ей такая охота, способна удариться в путешествия, пуститься в историю, заняться политикой. Его юношеский радикализм в немалой степени ей обязан своими нежными очертаньями, воспринявшими вольнодумство как умственную разновидность ветрености. Новейшие идеи века под его расторопным пером нередко

принимали форму безотчетного волнения крови, какое испытывают только влюбленные. «Мы ждем с томленьем упования минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуту верного свиданья». Вот эквивалент, предложенный Пушкиным. Поэзия, любовь и свобода объединились в его голове в некое общее — привольное, легкокрылое состояние духа, выступавшее под оболочкой разных слов и настроений, означающих примерно одно и то же одушевление. Плавное было не в словах, а в их наклонах и пируэтах.

Понятно, в этом триумвирате первенство принадлежало поэзии. Но если хоть в сотой доле верна сомнительная теория, что художественная одаренность питается излучением эроса, то Пушкин тому прямая и кратчайшая иллюстрация. К предмету своих изображений он подсказывал нетерпеливым вздыхателем, нашептывая затронувшей его струны фигуре: «Тобой, одной тобой...» А он умел уговаривать. «*Elle me trouble comme une passion*», — писал он о Марине Мнишек. — «Она меня волнует, как страсть».

Сопутствующая амурная мимика в его растущей любви к искусству привела к тому, что пушкинская Муза давно и прочно ассоциируется с хорошенькой барышней, возбуждающей игривые мысли, если не более глубокое чувство, как это было с его Татьяной. Та, как известно, помимо незадачливой партнерши Онегина и хладнокровной жены генерала, являлась личной Музой Пушкина и исполнила эту роль лучше всех прочих женщин. Я даже думаю, что она для того и не связалась с Онегиным и соблюла верность нелюбимому мужу, чтобы у нее оставалось больше свободного времени перечитывать Пушкина и томиться по нем. Пушкин ее, так сказать, сохранял для себя.

Зияния в ее характере, не сводящем (сколько простора!) концы с концами — русские вкусы с французскими привычками, здравый смысл с туманной мечтательностью, светский блеск с провинциализмом, сбереженным в залог верности чему-то высшему и вечному, — позволяют догадываться, что в Татьяне Пушкин копировал кое-какие черты с портрета своей поэзии, вперемешку с другими милыми его сердцу достоинствами, подобно тому, как он приписал ей свою старенькую няню и свою же детскую одинокость в семье. Может быть, в Татьяне Пушкин точнее и шире, чем где-либо, воплотил себя персонально — в склонении над ним всепонимающей женской души, которая единственно может тебя постичь, тебе помочь, и что бы мы делали на свете, скажите, без этих женских склонений?..

Возможно, поэтому он, ревнивец, и не дал ходу нашей бедняжке, лишив ее всех удовольствий, заставив безвыходно любить — не столько Онегина, ее недостойного, напичканного едкой современностью (Татьяне досталась вечная часть), сколько прежнюю любовь-свободу-поэзию, в этом союзе осиявшую ее девичество. Не испытывая к пожилому супругу ничего, кроме почтительности, застраховавшей ее от соблазна поддаться Онегину, во-первых, и не дав ничего, во-вторых, Онегину, кроме горьких признаний, брошенных ему в лицо как вызов померяться с нею силами, она в этой стойкой раздвоенности находит гарантию остаться собою — не изменить ни с кем назначению, что ей приуготовил Пушкин, назвав навсегда с в о е ю.

Одинокая со младенчества, среди родных, среди подруг, одинокая среди высшего света, поверженного к ее ногам, одинокая на прогулках, у окна, с любимыми книгами, она — избранница, и в этом качестве проведена за ручку Пушкиным между Сциллой растраченных чувств (принадлежи Татьяна Онегину) и Харибдой семейной пошлости (посчастливилось ей брак с генералом). Что же мы видим? — Сцилла с Харибдой встретились и пожрали друг друга, оставив невредимой, девственной ее, избранницу, что, как монахиня, отдана ни тому, ни другому, а только третьему, только Пушкину, умудрившись себя сберечь как сосуд, в котором ни капли не пролилось, не усохло, не состарилось, не закисло, и вот эту чашу чистой женственности она, избранница, подносит с в о е м у избраннику и питомцу.

*Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан Богом,
До гроба ты хранитель мой...
Ты в сновиденьях мне являлся,
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался
Давно...*

Боже, как хлещут волны, как ходуном ходит море, и мы слизываем языком слезы со щек, слушая этот горячечный бред, этот беспомощный лепет в письме Татьяны к Онегину, Татьяны к Пушкину или Пушкина к Татьяне, к черному небу, к белому свету...

*Я вам пишу — чего же боле?
Что я могу еще сказать?*

Ничего она не может сказать, одним рывком отворяя себя в сбивчивых ламентациях, смысл которых — если подойти к ним с буквальной меркой ее пустого романа с Онегиным — сводится к двум приблизительно, довольно типичным и тривиальным идеям: 1) «теперь ты будешь меня презирать» и 2) «а души ты моей все-таки не познал». Но как они сказаны!..

Открыв письмо Татьяны, мы — проваливаемся. Проваливаемся в человека, как в реку, которая несет нас вольным, переворачивающим течением, омывая контуры души, всецело выраженной потоком речи. Но с полуслова узнавая Татьяну, настоящую, голубую Татьяну, плещущую впереди, позади и вокруг нас, мы тем не менее ничего толком не понимаем из ее слов, действующих исключительно непринужденным движением сказанного.

*Кто ей внушал и эту нежность,
И слов любезную небрежность?*

— удивляется Пушкин, сам ведь все это и внушивший по долгу службы (в соответствии с собственным вкусом и слухом к нежной небрежности речений). Но это не мешает ему испытывать от случившегося что-то похожее на смятение, на оторопь... Постой! Кто все-таки кому внушал? Тут явная путаница, подлог. По уверению Пушкина, Татьяна не могла сама сочинить такое, ибо «выражалась с трудом на языке своем родном» и писала письмо по-французски, перевести с которого с грехом пополам взялся автор.

...Вот

*Неполный, слабый перевод,
С живой картины список бледный...*

Но если бледная копия такова — то каков же прекрасный подлинник, и что может быть полнее и подлиннее приложенного здесь документа?! Читателю предоставлено право думать что угодно, заполняя догадками образовавшиеся пустоты, блуждая в несообразностях. Пушкин упрямо твердит, что его «перевод» внушен «иноплеменными словами» Татьяны, и отводит им место над своим творчеством. Остывающее перед нами письмо лишь слабый оттиск каких-то давних отношений поэта с Татьяной, оставшихся за пределами текста — там, где хранится недоступный оригинал ее письма, которое Пушкин вечно читает и не может начитаться.

Допустимо спросить: уж не Татьяна ли это ему являлась, бродя в одиночестве по лесам?

*С утра до вечера в немой тиши дубов
Прилежно я внимал урокам девы тайной;
И, радуя меня наградю случайной,
Откинув локоны от милого чела,
Сама из рук моих свирель она брала:
Тростник был оживлен божественным дыханьем
И сердце наполнял святым очарованьем.*

* * *

Подобно Татьяне, Пушкин верил в сны и приметы. На то, говорят, имел он свои причины. Не будем их ворошить. Достаточно сослаться на его произведения, в которых нечаянный случай заглянуть в будущее повторяется с настойчивостью идеи фикс. Одни только сны в руку снятся подряд Руслану¹, Алеко², Татьяне³, Самозванцу⁴, Гриневу⁵. Это не считая других знамений и предсказаний — в «Песне о вещем Олеге», «Моцарте и Сальери», «Пиковой Даме»... С неутраченным любопытством Пушкин еще и еще зондирует скользкую тему — предсказанной в нескольких звеньях и предустановленной в целом судьбы.

Чувство судьбы владело им в размерах необыкновенных. Лишь на мгновение в отрочестве мелькнула ему иллюзия скрыться от нее в лирическое затворничество. Судьба ответила в рифму, несмотря на десятилетнее поле, пролеглие между этими строчками: как будто автор отбрасывает неудавшуюся заготовку и пишет под ней чистовик.

1815 год:

*В мечтах все радости земные!
Судьбы всемогущее поэт.*

1824 год:

*И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.*

¹ «И снится вещий сон герою...»

² «Я видел страшные мечты!..»

³ «И снится чудный сон Татьяне...»

⁴ «Все тот же сон! возможно ль? в третий раз!»

⁵ «Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни».

Но и без этого он уже чувствовал, что от судьбы не отвертеться. «Не властны мы в судьбе своей», — вечный припев Пушкина. Припомним: отшельник Финн рассказывает Руслану притчу своей жизни: ради бессердечной красавицы, пренебрегая расположением промысла, бедняк пятьдесят лет угрохал на геройские подвиги, на упражнения в чародействе и получил — разбитое корыто.

*Теперь, Наина, ты моя!
Победа наша, думал я.
Но в самом деле победитель
Был рок, упорный мой гонитель.*

Между тем, выход есть. Стоит махнуть рукой, положить на волну рока, и — о чудо! — вчерашний гонитель берет вас под свое покровительство. Судьба любит послушных и втихомолку потворствует им, и так легко на душе у тех, кто об этом помнит.

*Кому судьбою непременно
Девичье сердце суждено,
Тот будет мил на зло вселенной,
Сердиться глупо и грешно.*

Доверие к судьбе — эту ходячую мудрость — Пушкин исповедует с силой засиявшей ему навстречу путеводной звезды. В ее свете доверие возгорается до символа веры. С ее высоты ординарные, по-студенчески воспетые, лень и беспечность повесы обретают полновластие нравственного закона.

*Лишь я судьбе во всем послушный,
Счастливой лени верный сын,
Всегда беспечный, равнодушный...*

Ленивый, значит — доверчивый, неназойливый. Ленивому необъяснимо везет. Ленивый у Пушкина всё равно что дурак в сказке: всех умнее, всех ловчее, самый работающий. Беспечного оберегает судьба по логике: кто же еще позаботится о таком? по методу: последнего — в первые! И вот уже Золушка — в золоте. Доверие — одаривается.

Ленивый гений Пушкина-Моцарта потому и не способен к злодейству, что оно, печать и орудие бездарного неудачника, вынашивается в потугах самовольно исправить судьбу, кровью или обманом навязав ей свой завистливый принцип. Лень же — разновидность смирения, благодарная восприм-

чивость гения к тому, что валится в рот (с одновременной опасностью выпить яд, поднесенный бесталанным злодеем).

Расчетливый у Пушкина — деспот, мятежник, Алеко. Узурпатор Борис Годунов. Карманник Германн. Расчетливый, всё рассчитав, спотыкается и падает, ничего не понимая, потому что всегда недоволен (дуется на судьбу). В десятках вариаций повествует Пушкин о том, как у супротивника рока обламываются рога, как вопреки всем уловкам и проискам судьба торжествует победу над человеком, путая ему карты или подкидывая сюрприз. В его сюжетах господствуют решительные изгибы и внезапные совпадения, являя форму закрученной и закругленной фабулы. Пушкинская «Метель», перепутавшая жениха и невесту только затем, чтобы они, вконец заплутавшись, нашли и полюбили друг друга не там, где искали, и не так, как того хотели, поражает искусством, с каким из метельного сумрака человеческих страстей и намерений судьба, разъединяя и связывая, самодержавно вырезает спирали своего собственного, прихотливо творимого бытия. Про многие вещи Пушкина трудно сказать: зачем они? и о чем? — настолько они ни о чем и ни к чему, кроме как к закругленности судьбы-интриги.

Фигура круга с ее замысловатым семейством в виде всяких там эллипсов и лемнискат наиболее отвечает духу Пушкина; в частности — его способу охотиться на героев, забрасывая линию судьбы, как лассо, успевающее по ходу рассказа свернуться в крендель, в петлю («...как черная лента, вокруг ног обвилась, и вскрикнул внезапно ужаленный князь»). Самый круглый в русской литературе писатель, Пушкин повсюду обнаруживает черту — замкнуть окружность, будь то абрис событий или острый очерк строфы, увязанной, как баранки, в рифмованные гирлянды. В пушкинских созвучиях есть что-то провиденциальное: разбежавшаяся без оглядки в разные стороны речь с удивлением вдруг замечает, что находится в кольце, под замком — по соглашению судьбы и свободы.

Идея рока, однако, действующая с мановением молнии, лишена у него строгости и чистоты религиозной доктрины. Случай — вот пункт, ставящий эту идею в позицию безликой и зыбкой неопределенности, сохранившей тем не менее право вершить суд над нами. Случай на службе рока прячет его под покров спорадических совпадений, которые, хотя и случаются с подозрительной точностью, достаточно мелки и капризны, чтобы, не прибегая к метафизике, сойти за безответственное стечение обстоятельств.

«— Случай! — сказал один из гостей.

— Сказка! — заметил Германн».

Так в «Пиковой Даме» публика реагирует на информацию Томского из области сверхъестественного: то, что для одних потеряло реальность — «сказка», другими еще допускается в скромном одеянии случая, колеблющегося на грани небывалого и вероятного. Случай и рубит судьбу под корень, и строит ей новый, нучный базис. Случай — уступка черной магии со стороны точной механики, открывшей в мельтешении атомов происхождение вещей и под носом у растерянной церкви исхитрившейся объяснить миропорядок беспорядком, из которого, как в цилиндре факира, внезапным столкновением шариков, образовалась цивилизация, не нуждавшаяся в творце.

Под впечатлением этих известий, коловращением невидимых сил, человек попал в переплет математики и хиромантии и немного затосковал.

*Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?..¹*

Бездомность, сиротство, потеря цели и назначения — при всем том слепая случайность, возведенная в закон, устраивала Пушкина. В ней просвещенный век сохранил до поры нетронутым милый сердцу поэта привкус тайны и каверзы. В ней было нечто от игры в карты, которые Пушкин любил. Случайность знаменовала свободу — рока, утратой логики обращенного в произвол, и растерзанной, как пропойца, человеческой необеспеченности. То была пустота, чреватая катастрофами, сулящая приключения, учащая жить на фуфу, рискуя и в рискe соревнуясь с бьющими как попало, в орла и в решку, разрядами, прозревая в их вспышках единственный, никем не предусмотренный шанс выйти в лодди, встретиться лицом к лицу с неизвестностью, ослепнуть, потребовать ответа, отметитья и, падая, знать, что ты не убит, а найден, взыскан перстом судьбы в вещественное поддержание случая, который уже не пустяк, но сигнал о встрече, о вечности — «бессмертья, может быть, залог».

...С воцарением свободы всё стало возможным. Даль кишела переменами, и каждый предмет норовил встать на попа, грозя в ту же минуту повернуть мировое развитие в ином, еще не изведенном человечеством направлении. Раз-

¹

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,—

— поправлял ошибки Пушкина дотошный митрополит Филарет. Пушкин сокрушенно вздыхал, мялся и оставался при своем интересе. Круги поэзии и религии к тому часу не совпадали.

мышления на тему: а что если б у Бонапарта не случился вовремя насморк? — входили в моду. Пушкин, кейфуя, раскладывал пасьянсы так называемого естественно-исторического процесса. Стоило вытянуть не ту даму, и вся картина неоправимо менялась. Его занимала эта легкая обратимость событий, дававшая пищу уму и стилю. Скача на пуантах фатума по плитам международного форума, история, казалось, была готова — для понта, на слабó — разыграть свои сцены сначала: всё по-новому, всё по-другому. У Пушкина руки чесались при виде таких вакансий в деле сюжетостроения. Всемирно-знаменитые мифы на глазах обростали свежими, просящимися на бумагу фабулами. Любая вошь лезла в Наполеоны. Еще немного, и Раскольников скажет: всё позволено! Всё шаталось. Всё балансировало на краю умопостигаемой пропасти: а что если бы?! Дух захватывало от непомерной гипотетичности бытия.

В заметках о «Графе Нулине» в 1830 г. он делится своими исследованиями:

«В конце 1825 года находился я в деревне. Перечитывая «Лукрецию», довольно слабую поэму Шекспира, я подумал: что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? быть может, это охладило б его предприимчивость, и он со стыдом принужден был отступить? Лукреция б не зарезалась, Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те.

Итак, республикою, консулами, диктаторами, Катонами, Кесарем мы обязаны соблазнительному происшествию, подобному тому, которое случилось недавно в моем соседстве, в Новоржевском уезде.

Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась, я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть».

У «Графа Нулина» в истории была и другая аналогия — выступление декабристов. Оно тоже имело шанс закончиться так или эдак. Но повесть содержала более глубокий урок, рекомендуя анекдот и пародию на пост философии, в универсальные орудия мысли и видения.

Нужно ли говорить, что Пушкин по меньшей мере наполовину пародиен? что в его произведениях свирепствует подмена, дергающая авторитетные тексты вкривь и вкось? Классическое сравнение поэта с эхом придумано Пушкиным правильно — не только в смысле их обоюдной отзывчивости. Откликаясь «на всякий звук», эхо нас передразнивает.

Пушкин не развивал и не продолжал, а дразнил традицию, то и дело оступаясь в пародию и с ее помощью

отступая в сторону от магистрального в истории литературы пути. Он шел не вперед, а вбок. Лишь впоследствии трудами школы и оперы его заворотили и вывели на столбовую дорогу. Сам-то он выбрал проселочную¹.

Неудержимая страсть к пародированию подогревалась сознанием, что доколе всё в мире случайно — то и превратно, что от великого до смешного один шаг. В доказательство Пушкин шагал из «Илиады» в «Гавриилиаду», от Жуковского с Ариосто к «Руслану и Людмиле», от «Бедной Лизы» Карамзина к «Барышне-крестьянке», со своим же «Каменным Гостем» на бал у «Гробовщика». В итоге таких перешагиваний расшатывалась иерархия жанров и происходили обвалы и оползни, подобные «Евгению Онегину», из романа в стихах обрушившемуся в антироман — под стать «Тристраму Шенди» Стерна.

Начавшемуся распаду формы стоически противостоял анекдот. Случайность в нем выступала не в своей разрушительной, но в конструктивной, формообразующей функции, в виде стройного эпизода, исполненного достоинства, интересного самого по себе, сдерживающего низвержение ценностей на секунду вокруг остроглазой изюминки. «Нечаянный случай всех нас изумил», — говаривал Пушкин, любясь умением анекдота сосредоточиться на остроумии жизни и приподнять к ней интерес — обнаружить в ее загадках и казусах здравый смысл.

Анекдот хотя легковат, но тверд и локален. Он пользуется точными жестами: вот и вдруг. В его чудачествах непароком побеждает табель о рангах и вещи ударом шпаги восстанавливают имя и чин. Анекдот опять возвещает нам, что действительность разумна. Он возвращает престиж действительности. В нем случай встает с места и произносит тронную речь:

«— Тише, молчать, — отвечал учитель чистым русским языком, — молчать, или вы пропали. Я Дубровский».

Анекдот — антипод пародии. Анекдот благороден. Он вносит соль в историю, опостылевшую после стольких пародий, и внушает нам вновь уверенность, что мир наше жилище. «В истории я люблю только анекдоты», — мог бы Пушкин повторить следом за Мериме, — «среди анекдотов же предпочитаю те, где, представляется мне, есть подлинное изображение нравов и характеров данной эпохи».

¹ Он писал о Жуковском — Вяземскому (25 мая 1825 г.): «Я не следствие, а точно ученик его, и только тем и беру, что не смею сунуться на дорогу его, а бреду проселочной».

Какое в этом все-таки чувство спокойствия и рассудительной гармонии в доме, обжитости во вселенной, где все предметы стоят по своим полкам!.. Сошлемся на анекдот, послуживший в «Пиковой Даме» эпиграфом — выдержанный в характере Пушкина, в духе Мериме:

«В эту ночь явилась мне покойница баронесса фон В***. Она была вся в белом и сказала мне: "Здравствуйте, господин советник!"

Шведенборг».

Какое все-таки чувство уюта!..

В пристрастии к анекдоту Пушкин верен вкусам восемнадцатого века. Оттуда же он перенял старомодную элегантность в изложении занимательных притч, утолявших любопытство столетия ко всему феноменальному. Прочтите «Свет зримый в лицах» Ивана Хмельницкого и вы увидите, что Крокодил и даже Ураган или Снег принадлежали тогда к разряду анекдотических ситуаций.

Анекдот мельчит существенность и не терпит абстрактных понятий. Он описывает не человека, а родинку (зато родинку мадам Помпадур), не «Историю Пугачевского бунта», а «Капитанскую дочку», где всё вертится на случае, на заячьем тулупчике. Но в анекдоте живет почтительность к избранному лицу; ему чуждо буржуазное равенство в отношении к фактам; он питает слабость к особенному, странному, чрезвычайному и преподносит мелочь как знак посвящения в раритеты. В том-то и весь фокус, что жизнь и невесту Гриневу спасает не сила, не доблесть, не хитрость, не кошелек, а заячий тулупчик. Тот незабвенный тулупчик должен быть заячьим: только з а я ч и й тулупчик спасает. C'est la vie.

В превратностях фортуны Пушкин чувствовал себя как рыба в воде. Случайность его прищпоривала, горячила, молодила и возвращала к нашим баранам. Он был ей сродни. Чуть что, он лез на рожон, навстречу бедствиям. Беснуясь, он никогда, однако, не пробовал переспорить судьбу: его подмывало испытать ее рукопожатье.

То была проверка своего жребия. Он шел на дуэль так же, как бросался под огонь вдохновения: экспромтом, по любому поводу. Он искушал судьбу в жажде убедительности, что она о нем помнит. Ему везло. «Но злобно мной играет счастье», — помечал он, втайне польщенный, в удостоверении своего первородства. Житейскими невзгодами оплачивалась участь поэта. Куш был немалый и тре-

бовал компенсации. У древних это называлось «ревностью богов», а он числился в любимчиках, и положение обязывало.

Никто так глупо не швырялся жизнью, как Пушкин. Но кто еще эдаким дуриком входил в литературу? Он сам не заметил, как стал писателем, сосватанный дядюшкой под пьяную лавочку.

*Сначала я играл,
Шутя стихи марал,
А там — переписал,
А там — и напечатал.
И что же? Рад, не рад —
Но вот уже я брат
Тому, сему, другому,
Что делать? Виноват!*

Тем не менее этот удел, носивший признаки минутной прихоти, детской забавы, был для него дороже всех прочих даров, земных и небесных, взятых вместе. Ему ничего не стоила начатая партия, но играть нужно было по-крупному, на всю катушку. «Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтобы видеть игру, столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов; все официанты собрались в гостиной. ...Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом».

Баратынский был шокирован его гибелью. «...Зачем это так, а не иначе?» — вопрошал он со слезами недоумения и обиды. — «Естественно ли, чтобы великий человек, в зрелых годах, погиб на поединке, как неосторожный мальчик?» (Письмо к П. А. Вяземскому, 5 февраля 1837 г.).

На это мы ответим: естественно. Пушкин умер в согласии с программой своей жизни и мог бы сказать: мы квиты. Случайный дар был заклан в жертву случаю. Его конец напоминал его начало: мальчишка и погиб по-мальчишески, в ореоле скандала и подвига, наподобие Дон-Кихота. Колорит анекдота был выдержан до конца, и ради пушечного остроумия, что ли, Пушкина угораздило попасть в пуговицу. У рока есть чувство юмора.

Смерть на дуэли настолько ему соответствовала, что выглядела отрывком из пушкинских сочинений. Отрывок, правда, получился немного пародийный, но это ведь тоже было в его стиле.

В легкомысленной юности, закругляя «Гавриилиаду», поэт бросал вызов архангелу и шутя предлагал сосчитаться в конце жизненного пути:

*Но дни бегут, и время сединою
Мою главу тишком посеребрит,
И важный брак с любезною женою
Пред алтарем меня соединит.
Иосифа прекрасный утешитель!
Молю тебя, колена преклоня,
О, рогачей заступник и хранитель,
Молю — тогда благослови меня,
Даруй ты мне беспечность и смиренность,
Даруй ты мне терпенье вновь и вновь,
Спокойный сон, в супруге уверенье,
В семействе мир и к ближнему любовь!*

Ближним оказался Дантес. Всё вышло почти по писанному. Предложение было, видимо, принято: за судьбой оставался последний выстрел, и она его сделала с небольшою поправкой на собственную фантазию: в довольстве и тишине Пушкину было отказано. Не этот ли заключительный фортель он предчувствовал в «Каменном Госте», в «Выстреле», в «Пиковой Даме»? Или здесь действовало старинное литературное право, по которому судьба таинственно расправляется с автором, пользуясь, как подстрочником, текстами его сочинений,— во славу и в подтверждение их удивительной прозорливости?..

«В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его...

— Старуха! — закричал он в ужасе».

* * *

Старый лагерник мне рассказывал, что, чужая свою статью, Пушкин всегда имел при себе два нагана. Рискованные натуры довольно предусмотрительны: бесшабашные в жизни, они суеверны в судьбе.

Несмотря на раздоры и меры предосторожности, у Пушкина было чувство локтя с судьбой, освобождающее от страха, страдания и суеты. «Воля» и «доля» рифмуются у него как синонимы. Чем больше мы вверяемся промыслу, тем вольготнее нам живется, и полная покорность беспечальна,

как птичка. Из множества русских пословиц ему ближе всего, пожалуй, присказка: «Спи! утро вечера мудренее».

За пушкинским подчинением року слышится вздох облегчения,—независимо, принесло это успех или ущерб. Так, по милости автора, вещая смерть Олега воспринимается нами с энтузиазмом. Ход конем оправдался: князь получил мат: рок одержал верх: дело сделано — туш!

*Бойцы поминуют минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.*

В общении с провидением достигается — присущая Пушкину — высшая точка зрения на предмет, придерживаясь которой, мы почти с удовольствием переживаем несчастья, лишь бы они содействовали судьбе. Приходит состояние свободы и покоя, нашептанное сознанием собственной беспомощности. Мы словно сбросили тяжесть: ныне отпускаешь.

*«Разведемся, пора! — сказали,—
Безвестной вверимся судьбе».
И каждый конь, не чуя стали,
По воле путь избрал себе.*

Вопреки общему мнению, что свобода горда, непокорна, Пушкин ее в «Цыганах» одел в ризы смирения. Смирение и свобода одно, когда судьба нам становится домом и доверие к ней простирается степью в летнюю ночь. Этнография счастливо совпала в данном случае со слабостью автора, как русский и как Пушкин равнодушно к цыганской стезе. К нищенским кибиткам цыган — «сих смиренных приверженцев первобытной свободы», «смиренной вольности детей» — Пушкин привязал свою кочующую душу, исполненную лени, беспечности, страстей, праздно мечтательности, широких горизонтов, блуждания, — всё это под попечением рока, не отягченного бунтом и ропотом, под сенью луны, витающей в облаках.

Луна здесь главное лицо. Конечно — романтизм, но не только. Эта поэма ему сопричастна более других. Пушкин плавает в «Цыганах», как луна в масле, и передает ей бразды правления над своей поэзией.

*Взгляни: под отдаленным сводом
Гуляет вольная луна;
На всю природу мимоходом
Равно сиянье льет она.*

*Заглянет в облако любое,
Его так пышно озарит—
И вот— уж перешла в другое;
И то недолго посетит.
Кто место в небе ей укажет,
Примолвя: там остановись!
Кто сердцу юной девы скажет:
Люби одно, не изменись?¹*

В луне, как и в судьбе, что разгуливают по вселенной, наполняя своим сиянием любые встречные вещи,— залог и природа пушкинского универсализма, пушкинской изменчивости и переимчивости. Смирение перед неисповедимостью Промысла и некое отождествление с ним открывали дорогу к широкому кругозору. Всепонимающее, всепроникающее дарование Пушкина много обязано склонности перекладывать долги на судьбу, полагая, что ей виднее. С ее позиции и впрямь далеко видать.

В «Цыганах» Пушкин взглянул на действительность с высоты бегущей луны и увидел рифмующееся с «волей» и «долей» поле, по которому, подобно луне в небе, странствует табор, кольшемый легкой любовью и легчайшей изменой в любви. Эти пересечения смыслов, заложенные в кочевом образе жизни, собственном и женском сердцу, и луне, и судьбе, и табору, и автору,— сообщают поэме исключительную органичность. Мнится, всё в ней вращается в одном световом пятне, охватывающем, однако, целое мироздание.

С цыганским табором, как символом Собрания сочинений Пушкина, в силах сравниться разве что шумный бал, занявший в его поэзии столь же почетное место. Образ легко и вольно пересекаемого пространства, наполненного пестрым смешением лиц, одежд, наречий, состояний, по которым скользит, вальсируя, снисходительный взгляд поэта, озаряющий минутным вниманием то ту, то иную картину,— вот его творчество в общих контурах.

*Друзья! не все ль одно и то же:
Забиться праздною душой
В блестящем зале, в модной ложе,
Или в кибитке кочевой?*

¹ Ср. отрывок «Зачем крутится ветр в овраге», где похожая ассоциация — ветра, девы, луны и т. д.— замыкается на певце.

Ясно — одно и то же. Светскость Пушкина родственна его страсти к кочевничеству. В Онегине он запечатлел эту идею. «Там будет бал, там детский праздник. Куда же поскочит мой проказник?» Наш пострел везде поспел, — можно смело поручиться за Пушкина. Недаром он смолоду так ударил по географии. После русского Руслана только и слышим: Кавказ, Балканы... «...И финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык», прежде чем попасть в будущие любители Пушкина, были им в «Братьях разбойниках» собраны в одну шайку. То был мандат на мировую литературу.

Подвижность Пушкина, жизнь на колесах позволяли без проволочек брать труднейшие национальные и исторические барьеры. Легкомыслие становилось средством сообщения с другими народами, путешественник принимал эстафету паркетного шаркуна. Шла война, отправляли в изгнание, посылали в командировки по кровавым следам Паскевича, Ермолова, Пугачева, Петра, а бал всё ширился и множился гостями, нарядами, разбитыми в пыль племенами и крепостями.

*Так Муза, легкий друг Мечты,
К пределам Азии летала
И для венка себе срывала
Кавказа дикие цветы.
Ее пленял наряд суровый
Племен, возросших на войне,
И часто в сей одежде новой
Волшебница являлась мне...*

Пушкин любил рядиться в чужие костюмы и на улице, и в стихах. «Вот уж смотришь, — Пушкин серб или молдаван, а одежду ему давали знакомые дамы... В другой раз смотришь — уже Пушкин турок, уже Пушкин жид, так и разговаривает, как жид». Эти девичьи воспоминания о кишиневских проделках поэта могли бы сойти за литературоведческое исследование. «Переимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим языкам», — таков русский язык в определении Пушкина, таков и сам Пушкин, умевший по-своему войти в любые мысли и речи. Компанейский, на короткой ноге с целым светом, терпимый «даже иногда с излишеством», он, по свидетельству знакомых, равно охотно болтал с дураками и умниками, с подлецами и пошляками. Общительность его не знала границ. «У всякого есть ум, — настаивал Пушкин, — мне не скучно ни с кем, начиная с будочника и до царя». «Иногда с лакеями беседовал, — добавляет уважительно старушка А. О. Смирнова-Россет.

*...И гад морских подводный ход,
И дольной лозы прозябанье.*

Все темы ему были доступны, как женщины, и, перебегая по ним, он застолбил проезды для русской словесности на столетия вперед. Куда ни суемся — всюду Пушкин, что объясняется не столько воздействием его гения на другие таланты, сколько отсутствием в мире мотивов, им ранее не затронутых. Просто Пушкин за всех успел обо всем написать.

В результате он стал российским Вергилием и в этой роли гида-учителя сопровождает нас, в какую бы сторону истории, культуры и жизни мы ни направились. Гуляя сегодня с Пушкиным, ты встретишь и себя самого.

*...Я, нос себе зажав, отворотил лицо.
Но мудрый вождь тащил меня всё даде, даде —
И, камень приподняв за медное кольцо,
Сошли мы вниз — и я узрел себя в подвале.*

Больше всего в людях Пушкин ценил благоволение. Об этом он говорил за несколько дней до смерти — вместе с близкой ему темой судьбы, об этом писал в рецензии на книгу Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека» (1836 г.).

«Сильвио Пеллико десять лет провел в разных темницах и, получа свободу, издал свои записки. Изумление было всеобщее: ждали жалоб, напитанных горечью, — прочли умиленные размышления, исполненные ясного спокойствия, любви и доброжелательства».

В «ненарушимой благосклонности во всем и ко всему» рецензент усматривал «тайну прекрасной души, тайну человека-христианина» и причислял своего автора к тем избранным душам, «которых Ангел Господний приветствовал именем человек во благоволения».

Был ли Пушкин сим избранным? Наверное, был — на иной манер.

В соприкосновении с пушкинской речью нас охватывает атмосфера благосклонности, как бы по-тихому источаемая словами и заставляющая вещи открыться и воскликнуть: «я — здесь!» Пушкин чаще всего любит то, о чем пишет, а так как он писал обо всем, не найти в мире более доброжелательного писателя. Его общительность и отзывчивость, его доверие и слияние с промыслом либо вызваны благоволением, либо выводят это чувство из глубин души на волю с той же святой простотой, с какой посылается свет на землю — равно для праведных и грешных. Поэтому он и вхож повсюду

и пользуется ответной любовью. Он приветлив к изображаемому, и оно к нему льнет.

Возьмем достаточно популярные строчки и посмотрим, в чем соль.

*Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь...*

(Какой триумф по ничтожному поводу!)

Что ты ржешь, мой конь ретивый?..

(Ну как тут коню не откликнуться и не заговорить человеческим голосом?!)

Мой дядя самых честных правил...

(Под влиянием этого дяди, отходная которому читается тоном здравницы, у вечно меланхолического Лермонтова появилось единственное бодрое стихотворение «Бородино»: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром...»)

Тиха украинская ночь...

(А звучит восклицательно — а почему? да потому, что Пушкин это ей вменяет в заслугу и награждает медалью «тиха» с таким же добрым торжеством, как восхищался достатком героя: «Богат и славен Кочубей», словно все прочие ночи плохи, а вот украинская — тиха, слышите, на весь мир объявляю: «Тиха украинская ночь!»)

*Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца...*

(Под этот припев отплясывали, позабыв об утопленнике. Вообще у Пушкина всё начинается с праздничного колокольного звона, а заканчивается под сурдинку...)

*С Богом, в дальнюю дорогу!
Путь найдешь ты, слава Богу.
Светит месяц; ночь ясна;
Чарка выита до дна.*

(Ничего себе — «Похоронная песня»! О самом печальном или ужасном он норовит сказать гост —)

Итак, — хвала тебе, Чума!..

Пушкин не жаловал официальную оду, но, сменив пластинку, какой-то частью души оставался одописцем. Только теперь он писал оды в честь чернильницы, на встрече осени, пусть шуточные, смешливые, а всё ж исполненные похвалы. «Пою приятеля младого и множество его причуд»,— валял он дурака в «Онегине», давая понять, что не такой он отсталый, а между тем воспел и приятеля, и весь его мелочный туалет. Прочнее многих современников Пушкин сохранял за собою антураж и титул певца, стоящего на страже интересов привилегированного предмета. Однако эти привилегии воспевались им не в форме высокопарного славословия, затмевающего предмет разговора пиитическим красноречием, но в виде нежной восприимчивости к личным свойствам обожаемой вещи, так что она, купаясь в славе, не теряла реальных признаков, а лишь становилась более ясной и, значит, более притягательной. Вещи выглядят у Пушкина, как золотое яблочко на серебряном блюдечке. Будто каждой из них сказано:

*Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный—
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!*

И они — являются.

«Нет истины, где нет любви»,— это правило в устах Пушкина помимо прочего означало, что истинная объективность достигается нашим сердечным и умственным расположением, что, любя, мы переносимся в дорогое существо и, проникшись им, вернее постигаем его природу. Нравственность, не подозревая о том, играет на руку художнику. Но в итоге ему подчас приходится любить негодяев.

Вслед за Пушкиным мы настолько погружаемся в муки Сальери, что готовы, подобно последнему, усомниться в достоинствах Моцарта, и лишь совершаемое на наших глазах беспримерное злодеяние восстанавливает справедливость и заставляет ужаснуться тому, кто только что своей казуистикой едва нас не вовлек в соучастники. В целях полного равновесия (не слишком беспокоясь за Моцарта, находящегося с ним в родстве) автор с широтою творца дает фору Сальери и, поставив на первое место, в открытую мирволит убийце и демонстрирует его сердце с симпатией и состраданием.

Драматический поэт — требовал Пушкин — должен быть беспристрастным, как судьба. Но это верно в пределах целого, взятого в скобки, произведения, а пока тянется действие, он пристрастен к каждому шагу и печется попеременно то об одной, то о другой стороне, так что нам не всегда известно, кого следует предпочесть: под пушкинское поддакивание мы успели подружиться с обеими враждующими сторонами. Царь и Евгений в «Медном Всаднике», отец и сын в «Скупом Рыцаре», отец и дочь в «Станционном смотрителе», граф и Сильвио в «Выстреле» — и мы путаемся и трудимся, доискиваясь, к кому же благоволит покладистый автор. А он благоволит ко всем.

*Перестрелка за холмами;
Смотрит лагерь их и наш;
На холме пред казаками
Вьется красный делибаш.*

А откуда смотрит Пушкин? Сразу с обеих сторон, из ихнего и из нашего лагеря? Или, быть может, сверху, сбоку, откуда-то с третьей точки, равно удаленной от «них» и от «нас»? Во всяком случае он подыгрывает и нашим и вашим с таким аппетитом («Эй, казак! не рвися к бою», «Делибаш! не суйся к лаве»), будто науськивает их поскорее проверить в деле равные силы. Ну и, конечно, удалцы не выдерживают и несутся навстречу друг другу.

*Мчатся, сшиблись в общем крике...
Посмотрите! каковы?
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.*

Нет, каков автор! Он словно бы для очистки совести фыркает: — я же предупреждал! и наслаждается потехой и весело потирает руки: есть условия для работы.

Как бы в этих обстоятельствах вел себя Сильвио Пеллико? Должно, молился бы за обоих — не убивайте, а если убили, так за души, обогранные кровью. Пушкин тоже молится — за то, чтоб одолели оба соперника. Осуществившись молитва Пеллико — действительность в ее нынешнем образе исчезнет, история остановится, драчуны обнимутся и всему наступит конец. Пушкинская молитва идет на потребу миру — такому, каков он есть, и состоит в желании ему долгих лет, доброго здоровья, боевых успехов и личного счастья. Пусть солдат воюет, царь царствует, женщина лю-

бит, монах постится, а Пушкин, пусть Пушкин на все это смотрит, обо всем этом пишет, радуя за всех и воодушевляя каждого.

*Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!*

*Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море
И в мрачных пропастях земли!*

Вероятно, никогда столько сочувствия людям не изливалось разом в одном — таком маленьком — стихотворении. Плакать хочется — до того Пушкин хорош. Но давайте на минуту представим в менее иносказательном виде и «мрачные пропасти земли», и «заботы царской службы». В пропастях, как всем понятно, мытарствовали тогда декабристы. Ну а в службу царю входило эти пропасти охранять. Получается, Пушкин желает тем и другим скорейшей удачи. Уzniку — милость, беглому — лес, царский слуга — лови и казни. Так, что ли?! Да (со вздохом) — так.

*«Не мы ли здесь вчера скакали,
Не мы ли яростно топтали,
Усердной местию горя,
Лихих изменников царя?»*

Это писалось на другой день после 14 декабря — попутно с ободряющим посланием в Сибирь. Живописуя молодого опричника, Пушкин мимоходом и ему посочувствовал, заодно с его печальными жертвами. Уж очень славный попался опричник — жаль было без рубля отпускать...

«Странное смешение в этом великолепном создании!» — жаловался на Пушкина друг Пуцин. Он всегда был слишком широк для своих друзей. Общаясь со всеми, всем угождая, Пушкин каждому казался попеременно родным и чужим. Его переманивали, теребили, учили жить, ловили на слове, записывали в якобинцы, в царедворцы, в масоны, а он, по примеру прекрасных испанок, ухитрялся «с любовью набожность умильно сочетать, из-под мантильи знак условный подавать» и ускользал, как колобок, от дедушки и от бабушки.

Чей бы облик не принял Пушкин? С кем бы не нашел общий язык? «Не дай мне Бог сойти с ума», — открещивался

он для того лишь, чтобы лучше представить себя в положении сумасшедшего. Он, умевший в лице Гринева и воевать и дружить с Пугачевым, сумел войти на цыпочках в годами не мытую совесть ката и удалился восвояси с добрым словом за пазухой.

«Меня притащили под виселицу. "Не бось, не бось", — повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить».

Сколько застенчивости, такта, иронии, надежды и грубого здоровья — в этом коротеньком «не бось»! Такое не придумаешь. Такое можно пережить, подслушать в роковую минуту, либо схватить, как Пушкин, — помощью вдохновения. Оно, кстати, согласно его взглядам, есть в первую очередь «расположение души к живейшему принятию впечатлений».

Расположение — к принятию. Приятельство, приятность. Расположенность к первому встречному. Ко всему, что Господь ниспошлет. Ниспошлет — расположенность — благосклонность — покой — и гостеприимство всей этой тишины — вдохновение...

Хуже всех отозвался о Пушкине директор лицея Е. А. Энгельгардт. Хуже всех — потому что его отзыв не лишен пронизательности, несмотря на обычное в подобных суждениях профессиональное недомыслие. Но если, допустим, фразы о том, что Пушкину главное в жизни «блестеть», что у него «совершенно поверхностный, французский ум», отнести за счет педагогической ограниченности, то всё же местами характеристика знаменитого выпускника поражает пронзительной грустью и какой-то боязливой растерянностью перед этой уникальной и загадочной аномалией. О Пушкине, о нашем Пушкине сказано:

«Его сердце холодно и пусто; в нем нет ни любви, ни религии; может быть, оно так пусто, как никогда еще не бывало юношеское сердце» (1816 г.).

Проще всего смеясь отмахнуться от напуганного директора: дескать, старый пень, Сальери, профукавший нового Моцарта, либерал и энгельгардт. Но, быть может, его смятение перед тем, «как никогда еще не бывало», достойно послужит прологом к огромности Пушкина, который и сам довольно охотно вздыхал над сердечной неполноценностью и пожирал пространство так, как если бы желал насытить свою пустующую утробу, требующую ни много ни мало — целый мир, не имея сил остановиться, не зная причины задерживаться на чем-то одном.

Пустота — содержимое Пушкина. Без нее он был бы не полон, его бы не было, как не бывает огня без воздуха, вдоха

без выдоха. Ею прежде всего обеспечивалась восприимчивость поэта, подчинявшаяся обаянию любого каприза и колорита поглощаемой торопливо картины, что поздравительной открыткой влетает в глянец: натурально! точь-в-точь какие видим в жизни! Вспомним Гоголя, беспокойно, кошмарно занятого собою, рисовавшего всё в превратном свете своего кривого носа. Пушкину не было о чем беспокоиться, Пушкин был достаточно пуст, чтобы видеть вещи как есть, не навязывая себя в произвольные фантазеры, но полнясь ими до краев и реагируя почти механически, «ревет ли зверь в лесу глухом, трубит ли рог, гремит ли гром, поет ли дева за холмом»,— благосклонно и равнодушно.

Любя всех, он никого не любил, и «никого» давало свободу кивать налево и направо — что ни кивок, то клятва в верности, упоительное свидание. Пружина этих обращений закручена им в Дон Гуане, вкладывающем всего себя (много ль надо, коли нечего вкладывать!) в каждую новую страсть — с готовностью перерождаться по подобию соблазнаемого лица, так что в каждый данный момент наш изменник правдив и искренен, в соответствии с происшедшей в нем разительной переменой. Он тем исправнее и правдивее поглощает чужую душу, что ему не хватает своей начинки, что для него уподобления суть образ жизни и пропитания. Вот на наших глазах развратник расцветает тюльпаном невинности — это он высосал кровь добродетельной Доны Анны, напился, пропитался ею и, вдохновившись, говорит:

...Так, разврата

*Я долго был покорный ученик,
Но с той поры, как вас увидел я,
Мне кажется, я весь переродился.
Вас полюбя, люблю я добродетель
И в первый раз смиренно перед ней
Дрожащие колена преклоняю.*

Верьте, верьте — на самом деле страсть обратила Гуана в ангела, Пушкина в пушкинское творение. Но не очень-то увлекайтесь: перед нами — вурдалак.

В столь повышенной восприимчивости таилось что-то вампирическое. Потому-то пушкинский образ так лоснится вечной молодостью, свежей кровью, крепким румянцем, потому-то с неслыханной силой явлено в нем настоящее время: вся полнота бытия вместилась в момент переливания крови встречных жертв в порожнюю тару того, кто в сущности никем не является, ничего не помнит, не любит, а лишь,

наливаясь, твердит мгновению: «ты прекрасно! (ты полно крови!) остановись!» — пока не отвалится.

На закидоны Доны Анны, сколько птичек в гуановом списке, тот с достоинством возражает: «Ни одной доньне из них я не любил», — и ничуть не лицемерит: всё исчезло в момент охоты, кроме полноты и правды переживаемого мгновенья, оно одно лишь существует, оно сосет, оно довлеет само себе, воспринимая заветный образ, оно пройдет, и некто скажет, потягиваясь, подводя итоги с пустой зевотой:

*На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслажденьем,
С neodолимым отвращеньем:
Так безрасчетный дуралей,
Вотще решаешь на злое дело,
Зарезав нищего в лесу,
Бранит ободранное тело...*

Скорее в путь, до новой встречи, до новой пищи уму и сердцу, — «мчатся тучи, вьются тучи» (невидимкою луна)...

Не странно ли, что у Пушкина столько места отводится непогребенному телу, неприметно положенному где-то среди строк? Сперва этому случаю не придаешь значения: ну умер и умер, с кем не бывало, какой автор не убивал героя? Но речь не об этом... В «Цыганах», например, к концу поэмы убили, похоронили двоих, и ничего особенного. Особенное начинается там, где мертвое тело смещается к центру произведения и переламинает сюжет своим ненатуральным вторжением, и вдруг оказывается, что, собственно, всё действие протекает в присутствии трупа, который, как в «Пиковой Даме», шастает по всей повести или лежит на протяжении всего «Бориса Годунова».

Гляжу: лежит зарезанный царевич...

И хотя его вроде бы похоронят, он будет так вот лежать по ходу пьесы («Мы видели их мертвые трупы», — скажут в апофеозе) — в виде частых упоминаний о теле убиенного отрока, бледным эхом которого откликается Лжедмитрий, тем и страшный царю Борису, что пока этот царевич растет, тот царевич лежит, и его образ двойится.

Из страхов Бориса видно, что его терзает сомнение, не уцелел ли законный наследник, давит тяжесть греха, тревожит успех самозванца, но помимо этого, рядом с этим действует главный страх, продирающий до костей в допущен-

нии, что ему, царю,— вопреки здравому смыслу радоваться такому безделью — противостоит мертвый царевич, пребывающий в затянувшемся зарезанном состоянии, которое само по себе заключает опасность подтачивающей Борисову династию язвы. Именно в эту точку бьет умный Шуйский, уверяя и ужасая царя, что Дмитрий мертв, да так мертв, что от его длительной, выставленной напоказ мертваины становится нехорошо не одному Борису.

Три дня

*Я труп его в соборе посещал,
Всем Угличем туда сопровождаемый.
Вокруг его тринадцать тел лежало,
Растерзанных народом, и по ним
Уж тление приметно проступало,
Но детский лик царевича был ясен
И свеж и тих...*

Двусмысленное определение «спит» не возвращает умершего к жизни, но тормозит и гальванизирует труп в заданной позиции, наделенной способностью двигать и управлять событиями, выворачивая с корнями пласты исторического бытия. Оно вызвано к развитию алчным, нечистым томлением духа, рыщущего вблизи притягательного кадавра и спроваживающего следом за ним громадное царство — с лица земли в кратер могилы. Мощи царевича не знают успокоения. В них признаки смерти раздражены до жуткой, сверхъестественной свежести незаживляемого годами укуса, сочащегося кровью по капле, пока она наконец не хлынет изо рта и ушей упившегося Бориса и не затопит страну разливом смуты.

От мальчика, кровоточащего в Угличе, тянется след по сочинениям Пушкина — в первую очередь к воротам Марка Якубовича, у сына которого, после кончины незнакомого гостя, появился похожий симптом:

*К Якубовичу калуер приходит,—
Посмотрел на ребенка и молвил:
«Сын твой болен опасною болезнью;
Посмотри на белую его шею:
Видишь ты кровавую ранку?
Это зуб вурдалака, поверь мне».*

*Вся деревня за старцем калуером
Отправилась тотчас на кладбище;
Там могилу прохожего разрыли,
Видят,— труп румяный и свежий,—*

*Ногти выросли, как вороньи когти,
А лицо обросло бородою,
Алой кровью вымазаны губы,—
Полна крови глубокая могила.
Бедный Марко колом замахнулся,
Но мертвец завизжал и проворно
Из могилы в лес бегом пустился...*

Теперь оглянемся: вон там валяется, и здесь, и тут... Прохожий гость подкладывает подарки то в один дом, то в другой. Но — чудное дело — появление трупа вносит энергию в пушкинский текст, точно в жаркую печь подбросили охапку березовых дров. «Постой... при мертвом!.. что нам делать с ним?» — вопрошает Лаура Гуана, что, едва приехав, закалывает у ее постели соперника и, едва заколов, припадает к несколько ошарашенной такой переменной женщине. Как — что делать?! — пусть лежит, пусть присутствует: при мертвом всё происходит куда веселее, лихорадочнее, интереснее. При мертвом Гуан ласкает Лауру, при мертвом же затевает интригу с неприступной Доной Анной, которая, не будь тут гроба, возможно осталась бы незаинтригованной. Покойник у Пушкина служит, если не всегда источником действия, то его катализатором, в соседстве с которым оно стремительно набирает силу и скорость. Так тело Ленского, сраженного другом, стимулирует процесс превращений, в ходе которого Онегин с Татьяной радикально поменялись ролями, да и вся динамика жизни на этой смерти много выигрывает.

*Зарецкий бережно кладет
На сани труп оледенелый;
Домой везет он страшный клад.
Почуя мертвого, хранят
И бьются кони, пеной белой
Стальные мочат удила,
И полетели, как стрела.*

Рассуждая гипотетически, трупы в пушкинском обиходе представляют собой первообраз неистощимого душевного вакуума, толкавшего автора по пути всё новых и новых запечатлений и занявшего при гении место творческого негатива. Поэтому, в частности, его мертвецы совсем не призрачны, не замогильны, но до мерзости телесны, являя форму оболочки того, кто в сущности отсутствует. Жесты их выглядят автоматическими, заводными, словно у роботов.

*И мужик окно захлопнул:
Гостя голого узнав,
Так и обмер: «Чтоб ты лопнул!»
Прошептал он, задрожав.*

С перепугу можно подумать, это назойливый критик Писарев (безвременно утонувший) приходил стучаться к Пушкину с предложением вместо поэзии заняться чем-нибудь полезным. Но факты говорят обратное. Голый гость, обреченный скитаться «за могилой и крестом», ближе тому, кто целый век был одержим бесцельным скольжением по раскинувшейся равнине, которую непременно следует всю объехать и описать, чем возбуждал иногда у чутких целомудренных натур необъяснимую гадливость. Писарев, заодно с Энгельгардтом ужаснувшийся вопиющей пушкинской бессодержательности, голизне, пустоутробию, мотивировал свое по-детски непосредственное ощущение с помощью притянутых за уши учебников химии, физиологии и других полезных наук. Но, сдается, основная причина дикой писаревской неприязни коренилась в иррациональном испуге, который порою внушает Пушкин, как ни один поэт колеблющийся в читательском восприятии — от гиганта первой марки до полного ничтожества.

В результате на детский вопрос, кто же все-таки периодически стучится «под окном и у ворот»? — правильное ответить: — Пушкин...

Строя по Пушкину модель мироздания (подобно тому, как ее рисовали по Птоломею или по Кеплеру), необходимо в середине земли предусмотреть этот вечный двигатель:

*... Есть высокая гора,
В ней глубокая нора;
В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальный...
И в хрустальном гробе том
Спит царевна вечным сном.*

Все они — нетленный Димитрий, разбухший утопленник, красногубый вампир, качающаяся, как грузик, царевна — несмотря на разность окраски, представляют вариации одной руководящей идеи — неиссякающего мертвеца, конденсированной смерти. Здесь проскальзывает что-то от собственной философской оглядки Пушкина, хотя она, как всегда, выливается в скромную, прописную мораль. Пушкин-

ский лозунг: «И пусть у гробового входа...» содержит не только по закону контраста всем приятное представление о жизненном круговороте, сулящем массу удовольствий, но и гибельное условие, при котором эта игра в кошки-мышки достигает величайшего артистизма. «Гробовой вход» (или «выход») принимает характер жерла, откуда (куда) с бешеной силой устремляется вихрь действительности, и чем ближе к нам, чем больше мрачный полнособытия, тем мы неистовее, полноценнее и художественнее проводим эти часы, получившие титул: «Пир во время чумы».

Чума — причина пира, и фура, доверху груженная трупами, с черным негром на облучке, проезжая подле пирующих, лишь на минуту давит оргию, с тем чтобы та, притихнув, запыхала с удвоенной страстью (сравнение с топкой, куда подбрасывают дрова, — опять напрашивается). Потому-то мертвечина в творчестве Пушкина не слишком страшна и даже обычно не привлекает наше внимание: впечатление перекрыто положительным результатом. Как поясняет Председатель, уныние необходимо,—

*Чтоб мы потом к веселью обратились
Безумнее, как тот, кто от земли
Был отлучен каким-нибудь виденьем...*

Пир во время чумы! — так вот пушкинская формулировка жизни, приготовленной в лучшем виде и увенчанной ее предсмертным цветением — поэзией. Ни одно произведение Пушкина не источает столько искусства, как эта крохотная мистерия, посвященная другому предмету, но, кажется, сотканная сплошь из флюида чистой художественности. Именно здесь, восседая на самом краю зачумленной ямы, поэт преисполнен высших потенций в полете фантазии, бросающейся от безумия к озарению. Ибо образ жизни в «Пире» экстатичен, вакханалия — вдохновенна. В преддверии уничтожения все силы инстинкта существования произвели этот подъем, озаменованный творческой акцией, близкой молитвенному излитию. Слышно, как в небе открылась брешь и между ней и землей ходят токи воздуха, чему способствует в средневековых канонах выдержанная композиция росписи, разместившая души возлюбленных на небесах — Матильду и Дженни — вознесенных над преисподней по обе стороны картины, в начале и в конце трагедии.

*О, если б от очей ее бессмертных
Скрыть это зрелище!
.
. Святое чадо света! вижу
Тебя я там, куда мой падший дух
Не достигнет уже...*

Да, падший. Да, не достигнет. Но взоры, звуки, лучи оттуда и туда — пересеклись; воздушность мысли и достигнута благодаря паденью, стыду, позору; от них уже не откупиться тому, кто осудил себя искусству.

На требовательную речь Священника оставить стезю разврата Председатель отвечает отказом. Внимание: его устами искусство говорит «прости» религии; представлен обширный перечень причин и признаков, удерживающих грешное на месте — в том самом виде и составе, в каком взрастил его, и бросил в яму с мертвецами, и исповедовал как веру (назвав искусством для искусства) иной беспутный Председатель.

*Не могу, не должен
Я за тобой идти: я здесь удержан
Отчаяньем, воспоминаньем страшным,
Сознаньем беззаконья моего,
И ужасом той мертвой пустоты,
Которую в моем доме встречаю, —
И новостью сих бешеных веселий,
И благодатным ядом этой чаши,
И ласками (прости меня, Господь)
Погибшего, но милого созданья...*

Судя по Пушкину, искусство лепится к жизни смертью, грехом, беззаконьем. Оно само кругом беззаконье, спровоцированное пустотой мертвого дома, ходячего трупа. «Погибшее, но милое созданье»...

В утешенье же артисту, осужденному и погибшему, сошлемся на Михаила Пселла, средневекового схоласта: «Блестящие речи смывают грязь с души и сообщают ей чистую и воздушную природу»¹.

¹ А Эдмонда не покинет
Дженни даже в небесах!

*К тебе собирался я давно
В немецкий град, тобой воспетый,
С тобой попить, как пьют поэты,
Тобой воспетое вино.*

*Уж зывал меня с собою
Тобой воспетый Киселев...*

Так Пушкин приветствовал в одном из писем — Языкова. Действительность измерялась списками воспетых вещей. Начинаясь колонизация стран средствами словесности, и та как с цепи сорвалась, внезапно загоревшись надеждами в изображении всего, что ни есть. Зачем это было нужно, толком никто не знал, и меньше других — Пушкин, лучше прочих почувствовавший потребность в перекладывании окружающей жизни в стихи. Он поступал так же, как дикий тунгус, не задумываясь певший про встречное дерево: «а вон стоит дерево!» или зайца: «а вон бежит заяц!» и так далее, про всякую всячину, попадавшуюся на глаза, сличая мимоидущий пейзаж с протяженностью песни. В его текстах живет первобытная радость простого названия вещи, обращаемой в поэзию одним только магическим окликом. Не потому ли многие строфы у него смахивают на каталог — по самым популярным тогда отраслям и статьям? Предполагалось, что модное слово, узнаваемое в стихе, вызовет удивление: подлинник!

*Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар...*

.....
*К Talon помчался он уверен,
Что там уж ждет его Каверин.*

.....
*Пред ним roast-beef окровавленный
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет.
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.*

Пафос количества в поименной регистрации мира сблизил сочинения Пушкина с адрес-календарем, с телефонной книгой по-нынешнему, подвигнувшей Белинского извлечь из

«Евгения Онегина» целую энциклопедию. Блестящее и поверхностное царскосельское образование, широкий круг знакомств и человеческих интересов помогли ему составить универсальный указатель, включавший всё, что Пушкин видел или читал. Тому же немало содействовали отсутствие строгой системы, ясного мировоззрения, умственной дисциплины, всеядность и безответственность автора в отношении бытовавших в то время фундаментальных доктрин. Будь Пушкин более ученым и методичным в этой жадности к исчислению всех слагаемых бытия, мы бы с ним застряли на первой же букве алфавита. По счастью, «мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь», что в сочетании с легкостью нрава сообщало его таблицам характер небрежной эскизности и мелькания по верхам. Перечень своего достоинства производился по стандарту зафиксированной из окна мчащейся кареты картины. Впечатление создается столько же беглое, сколько исчерпывающее:

*Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.*

Такими наборами признаков он любил покрывать бумагу. В нем сказывалась хозяйственная закваска Петра. Взамен описания жизни он учинял ей поголовную перепись. Прочтите его донесения о свойствах русского климата, о круговороте обычаев, знакомые любому дошкольнику. С простодушием Гумбольдта Пушкин повествует, что летом жарко, а зимою холодно, и дни в эту пору становятся короче, население сидит по домам, катается на санях и т. д. Он не стеснялся делать реестры из сведений, до него считавшихся слишком банальными, чтобы в неприбранном виде вводить их в литературу. При всей разносторонности взгляда у Пушкина была слабость к тому, что близко лежит.

Вселенский замах не мешал ему при каждом шаге отдавать предпочтение расположенной под боком букашке. Чураясь карикатур и гипербол, Пушкин карикатурно, гиперболически мелочен — как Плюшкин, просадивший имение

в трудах по собиранию мусора. Впервые у нас крохоборческое искусство деталлизации раздулось в размеры эпоса. Кто из поэтов ранее замечал на человеке жилетку, пилочку для ногтей, зубную щетку, брусничную воду? С Пушкиным появилась традиция понятие реализма связывать главным образом с низменной и мелкой материей. Он открывал Америку, изъезженную Чеховым. Под Чехова у него уже и псевдоним был подобран: Белкин.

С другой стороны, дотошность по мелочам служила гарниром пушкинским генеральным масштабам. Уж если так разноухано обеденное меню у Онегина, значит, в романе правдиво отобразилась эпоха. Между тем — совсем не значит. Энциклопедичность романа в значительной мере мнимая. Иллюзия полноты достигается мелочностью разделки лишь некоторых, несущественных подробностей обстановки. Там много столовой посуды, погоды, бальных ножек, и вследствие этого кажется, чего там только нет. На самом же деле в романе в наглуго отсутствует главное и речь почти целиком сводится к второстепенным моментам. На беспредметность «Онегина» обижался Бестужев-Марлинский, не приметивший всеми ожидаемого слона.

«Для чего же тебе из пушки стрелять в бабочку? ...Стоит ли вырезать изображения из яблочного семечка, подобно браминам индийским, когда у тебя в руке резец Праксителя?» (из письма к Пушкину, 9 марта 1825 г.).

Но Пушкин нарочито писал роман ни о чем. В «Евгении Онегине» он только и думает, как бы увильнуть от обязанностей рассказчика. Роман образован из отговорок, уводящих наше внимание на поля стихотворной страницы и препятствующих развитию избранной писателем фабулы. Действие еле-еле держится на двух письмах с двумя монологами любовного кви-про-кво, из которого ровным счетом ничего не происходит, на никчемности, возведенной в герои, и, что ни фраза, тонет в побочном, отвлекающем материале. Здесь минимум трижды справляют бал, и, пользуясь поднятой суматохой, автор теряет нить изложения, плутает, топчется, тянет резину и отсиживается в кустах, на задворках у собственной совести. Ссора Онегина с Ленским, к примеру, играющая первую скрипку в коллизии, едва не сорвалась, затертая именинными пирогами. К ней буквально продираешься вавилонами проволочек, начиная с толкучки в передней — «лай мосек, чмокание девиц, шум, хохот, давка у порога», — подстроенной для отвода глаз от центра на периферию событий, куда, как тарантас в канаву, поскользывается повествование.

*Конечно, не один Евгений
Смятенье Тани видеть мог,
Но целью взоров и суждений
В то время жирный был пирог
(К несчастью, пересоленный);
Да вот в бутылке засмоленной,
Между жарким и блан-манже,
Цимлянское несут уже;
За ним строй рюмок узких, длинных,
Подобно талии твоей,
Зизи, кристалл души моей,
Предмет стихов моих невинных,
Любви приманчивый фиал,
Ты, от кого я пьян бывал!*

Но вот гости с трудом откушали, утерлись и ждут, что что-то наконец начнется. Не тут-то было. Мысль в онегинской строфе движется не прямо, а наискось по отношению к взятому курсу, благодаря чему, читая, мы сползаем по диагонали в сторону от происходящего. Проследите, как последовательно осуществляется подмена одного направления другим, третьим, пятым, десятым, так что к концу строфы забывается, о чем говорилось в ее начале.

В итоге периодически нас относит за рамку рассказа — на простор не идущей к делу, неважной, необязательной речи, которая одна и важна поэту с его программой, ничего не сказав и блуждая вокруг да около предполагаемого сюжета, создать атмосферу произвольного, бескрайнего существования, в котором весь интерес поглощают именины да чаепития, да встречи с соседями, да девичьи сны — растительное дыхание жизни. Роман утекает у нас сквозь пальцы, и даже в решающих ситуациях, в портретах основных персонажей, где первое место отведено не человеку, а интерьеру, он неуловим, как воздух, грозя истаять в сплошной подмалевок и, расплывшись, сойти на нет — в ясную чистопись бумаги. Недаром на его страницах предусмотрено столько пустот, белых пятен, для пушей вздорности прикрытых решетом многоточий, над которыми в свое время вдосталь посмеялась публика, впервые столкнувшаяся с искусством графического абстракционизма. Можно ручаться, что за этой публикацией опущенных строф ничего не тайлось, кроме того же воздуха, которым проветривалось пространство книги, раздвинувшей свои границы в безмерность темы, до потери, о чем же, собственно, намерен поведать опалевший автор.

Тот поминутно уличает себя, что опять зарапортовался, винится в забывчивости, спохватывается: «а где, бишь, мой рассказ несвязный?», лицемерно взывает к музе: «не дай блуждать мне вкось и вкривь», чем лишь острее даст почувствовать безграничность неразберихи и превращает болтовню в осознанный стилистический принцип. Вот где пригодились ему уроками эротической лирики выработанные привычки обворожительного дендизма. Салонным пустословием Пушкин развязал себе руки, отпустил вожжи, и его понесло.

Едва приступив к «Онегину», он извещает Дельвига: «Пишу теперь новую поэму, в которой забалтываюсь донельзя» (ноябрь 1823 г.). А вскоре под эту дудку подстроилась теория: «Роман требует б о л т о в н и: высказывай всё начисто!» (А. Бестужеву, апрель, 1825 г.).

Болтовней обусловлен жанр пушкинского «романа в стихах», где стих становится средством размывания романа и находит в болтовне уважительную причину своей беспредельности и непоседливости. Бессодержательность в ней сочеталась с избытком мыслей и максимальной попаданий в минуту в предметы, разбросанные как попало и связанные по-обезьяньи цепкой и прыткой сетью жестикуляции. Позднее болтливость Пушкина сочли большим реализмом. Он ее определял по-другому.

*Язык мой враг мой: всё ему доступно,
Он обо всем болтает себе привык!..*

Болтовня предполагала при общей светскости тона заведомое снижение речи в сферу частного быта, который таким способом вытаскивается на свет со всяким домашним хламом и житейской дребеденью. Отсюда и происходил реализм. Но та же болтовня исключала сколько-нибудь серьезное и длительное знакомство с действительностью, от которой автор отделялся комплиментами и, рассылая на ходу воздушные поцелуи, мчался дальше давить мух. С пушкинского реализма не спросишь: а где тут у вас показано крепостное право? и куда вы подевали знаменитую 10-ую главу из «Евгения Онегина?» Он всегда отговорится: да я пошутил.

Ему главное покрыть не занятое стихами пространство и, покрыв, засвидетельствовать свое почтение. Поражает, как часто его гениальность пробавлялась готовыми штампами — чтобы только шире растечься, проворнее оттараторить. При желании он мог бы, наверное, без них обойтись,

но с ними получалось быстрее и стих скользил, как на коньках, не слишком задевая сознание. Строфа у Пушкина влетает в одно — вылетает в другое ухо: при всей изысканности, она достаточно ординарна и вертится бесом, не брезгуя ради темпа ни примелькавшимся плагиатом, ни падкими на сочинителей рифмами.

*А чтоб им путь открыть широкий, вольный,
Глаголы тотчас им я разрешу...*

У него было правило не отказываться от дешевых подачек и пользоваться услугами презираемых собратьев.

*...Так писывал Шихматов богомольный;
По большей части так и я пишу.*

Не думавший о последствиях, Пушкин возвел в общепринятый культ ту гладкопись в поэтической грамоте, что понуждает каждого гимназиста строчить стихи, как Пушкин.

Смеются его остроумию в избличении затертых шаблонов:

*Мечты, мечты! где ваша сладость?
Где, вечная к ней рифма, м л а д о с т ь ?*

Или:

*Та-та́ та-та́ та-та́ морозы,
Та-та́ та-та́ та-та́ поляй...
(Читатель ждет уж рифмы р о з ы ;
На, вот возьми ее скорей!)*

Смех смехом, а он между тем подсовывает читателю всё тот же заваливающий товар и под общий восторг — скорей-скорей! — сбывает с рук. Пушкинские трюизмы похожи на игру в поддавки: ждешь розы? — получай розы! любовь? — вновь! счастье? — сладострастья! — бери быстрее и поминай как звали.

Ему было куда торопиться: с Пушкиным в литературе начинался прогресс.

Впоследствии Чехов в качестве урока словесности сетовал: «— Опишите пепельницу!» — как будто у искусства нет более достойных объектов. О, эта лишенная стати, забывшая о ранжире, оголтелая описательность девятнадцатого столетия, эта смертная жажда заприходовать каждую пядь ускользающего бытия в нетях типографского знака,

вместе с железнодорожной конторой в этот век перелатавшего землю в горы протоколов с тусклыми заголовками: «Бедные люди», «Мертвые души», «Обыкновенная история», «Скучная история» (если скучная, то надо ль рассказывать?), пока не осталось в мире неопisanного угла!

Один артист не постеснялся свой роман так и назвать: «Жизнь». Другой написал: «Война и мир» (сразу вся война и весь мир!). Пушкин — не им чета — сочинил «Выстрел». У Пушкина хоть и «Нулин», а — граф, хоть и «Скупой», а — рыцарь. И хоть это от него повелся на Руси обычай *изображать действительность*, Пушкин еще стыдился козырять реализмом и во избежание мезальянса свои провинциальные повести спихивал на безответного Белкина — чтобы его самого, не дай Бог, не спутали с подлой прозой.

Открывая прогресс и даже, случалось, идя впереди прогресса (издатель «Современника» все-таки), Пушкин и в жесте и в слогe еще сохранял аристократические привычки и верил в иерархию жанров. Именно поэтому он ее нарушал. Он бы никогда не написал «Евгения Онегина», если бы не знал, что так писать нельзя. Его прозаизмы, бытопись, тривиальность, просторечие в большой степени строились как недозволенные приемы, рассчитывающие шокировать публику. Действительность появлялась, как дьявол из люка, в форме фривольной шутки, дерзкого исключения, подтверждавшего правило, что об этом в обществе говорить не принято. Там еще господствовал старинный роман, «нравоучительный и чинный», и Пушкин от него отпавлялся, на него ориентировался, пародируя литературу голосом жизни. Последняя звучала репликой *à part*, ставившей, бывало, панораму вверх дном, но не меняющей кардинально приличествующего стиху высокородного тона и самой грубостью иных изречений лишь подчеркивающей лежащую на них печать предвзятости и изящества. В результате получались та же пастораль-навыворот, «нравоучительный и чинный» роман-бурлеск.

*Наталья Павловна сначала
Его внимательно читала,
Но скоро как-то развлеклась
Перед окном возникшей дракой
Козла с дворовою собакой
И ею тихо занялась...
Три утки полоскались в луже;
Шла баба через грязный двор
Белье повесить на забор;
Погода становилась хуже...*

Потом вся эта ирония стала изображаться всерьез. Из пушкинской лужи, наплаканной Станционным зрителем, выплыл «Антон-Горемыка»...

Пушкин — золотое сечение русской литературы. Толкнув ее стремительно в будущее, сам он откатнулся назад и скорее выполняет в ней роль вечно цветущего прошлого, к которому она возвращается, с тем чтобы стать моложе. Чуть появится новый талант, он тут как тут, с подсказками и шпаргалками, а следующие поколения, спустя десятилетия, вновь обнаружат Пушкина у себя за спиной. И если мысленно перенестись в отдаленные времена, к истокам родного слова, он и там окажется сзади — раньше и накануне первых летописей и песен. На его губах играет архаическая улыбка.

Тоже и в литературном развитии XIX века Пушкин остается ребенком, который сразу и младше и старше всех. Подвижность, непостоянство в погоне за призраком жизни, в скитании по морям — по волнам, нынче здесь — завтра там, умерялись в нем тягой к порядку, покою и равновесию. Как добросовестный классик, полагал он спокойствие «необходимым условием прекрасного» и умел сочетать безрассудство с завидным благоразумием. Самые современные платья сидели на нем, словно скроенные по старомодному немного фасону, что придавало его облику, несмотря на рискованность поз, выражение прочной устойчивости и солидного консерватизма. С Пушкиным не ударишь лицом в грязь, не пропадешь, как швед под Полтавой. На него можно опереться. Он, и безумствуя, знает меру, именуемую вкусом, который воспринял им в поставленном на твердую ногу пансионе природы. «...Односторонность есть пагуба мысли». «...Любить размеренность, ответственность свойственно уму человеческому».

На все случаи у него предусмотрены оправдания, состоящие в согласии сказанного с обстоятельствами. Любая блажь в его устах обретала законную санкцию уже потому, что была уместна и своевременна. Ему всегда удавалось попасть в такт.

*Когда же юность легким дымом
Умчит веселья юных дней,
Тогда у старости отыдем
Всё, что отыметя у ней.*

В предупреждение старости вылетела крылатая фраза (в свою очередь послужившая притчей к семейным исканиям Л. Толстого): «Была бы верная супруга и добродетельная мать». И это у такого ловеласа!

*...Всему пора, всему свой миг.
Смешон и ветреный старик,
Смешон и юноша степенный.*

До чего рассудителен Пушкин! При всех изъянах и взрывах своего темперамента он кажется нам эталоном нормального человека. Тому безусловно способствует расфасовка его страстей и намерений по предустановленным полочкам возраста, местожительства, происхождения, исторической конъюнктуры и т. д. Вселенная в его понимании пропорциональна, периодична и основывается на правильном чередовании ударений. «Чредой слетает сон, чредой находит голод». Пушкин равнодушен к изображению простейших жизненных циклов: дня и ночи, обеда и ужина, зимы и лета, войны и мира, — всех тех испокон века укоренившихся «привычек бытия», в тесном кругу которых он только и чувствует себя вполне в своей тарелке. Поэтому он охотно живописал погоду. В сущности, в своих сочинениях он ничего другого не делал, кроме как пересказывал ритмичность миропорядка.

Вот тут-то опять подключилась к его картам и планам судьба. Отсчитывая удары, она вносила в нерасчлененный процесс последовательность и очередность. Судьба превращала жизнь в сбалансированную композицию. С нею быстротечность явлений становилась устойчивым способом справедливого распределения благ. Изменчивость бытия исполняла верховный закон воздаяния: всем сестрам по серьгам. Прошедшее в глазах Пушкина не тождественно исчезновению, но равносильно присужденному призу, заслуженному имуществу; было — значит, пожаловано (то графством, а то и плахой).

*Чредою всем дается радость;
Что было, то не будет вновь.*

Было — не будет — не повторится — неповторимость лица и события мы с достоинством носим, как щит и титул. В искупление нашей вины мы скажем: мы бы ли...

Нивелирующим тенденциям века Пушкин противопоставил аристократический принцип отсчета в истории и биографии, предусматривающий участие судьбы в делах человека. История, как и космос, сословна, иерархична и складывается из геральдических знаков, отчеканенных в нашей памяти во славу уходящим теням. «...Никогда не разделал я с кем бы то ни было демократической ненависти к дворянству. Оно всегда казалось мне необходимым и естественным сословием

великого образованного народа. ...Калмыки не имеют ни дворянства, ни истории. Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим» («Опровержение на критики», 1830 г.). «Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне» — все эти, столь ненавистные ему черты полупросвещения отлучали современность от Пушкина, невзирая на быстроту, с какою принимал он ее новые верования.

Дворянские замашки у Пушкина имели, помимо прочего, тот же эмоциональный источник. Пушкин был вдвойне дворянином, потому что был историчен. Но он больше других нянькался с дворянством еще и потому, что был Пушкиным милостию Божией. Эти чувства (применительно к Гёте) комментирует Томас Манн:

«Характеризуя основу своей индивидуальности, Гёте с благодарностью и смирением говорит о «милости судьбы». Но понятие «милость», «благодать» аристократичней, чем обычно принято думать; по сути оно выражает нерасторжимую связь между удачей и заслугой, синтез свободы и необходимости и означает: «врожденная заслуга»; а благодарность, смирение содержат в себе одновременно и *метафизическое сознание* того, что, при всех обстоятельствах, как бы они ни сложились, им обеспечена милость судьбы» («Гёте и Толстой. Фрагменты к проблеме гуманизма»).

У Пушкина, можно прибавить, личные счеты с историей. Вставляя двух Пушкиных — Гаврилу и Афанасия — в ситуацию Годунова, он как бы намекает: и я там был. Пушкинская ревность в своем родовому корню крепится рождением первого, с древних времен поджидаемого, единственного лица. Знатный — это давний, благословенный, обещанный. Тот самый! Верность дедовой чести, в частности, означала, что гений законное детище в национальной семье и вырос не под забором, а в наследственной колыбели — в истории. Пушкину приходилось много и безуспешно отстаивать это право предначертанного рождения — первородства, и он, надо — не надо, выкладывал ветхие метрики, как пропуск в свое имение (как впоследствии Маяковский в поэме «Во весь голос» предъявлял аналогичный билет на вход в эпоху).

Но Пушкин уже оторвался от прочной генеалогии предков. К их действительным и мнимым заслугам он относится без должной серьезности, а милости понимает до странности растяжимо. Судьба награждает сородичей

памятными тумачами, и всё это к вящему удовольствию Пушкина.

*С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им.*

Повешенный пращур ему не менее прибылен, чем пращур, приложивший руку к царствующей династии. Ему важнее, что время крестит и метит его предшественников, а чем и как — не так уж важно. Ему дороже не честь в точном значении слова, но след человека в истории и ее, истории, роковые следы на его узкой дорожке. Сословность им превозносится как основа личной свободы и признак его собственной, независимой и необычной, судьбы. Вскормленное натуральными соками исторических небылиц, пушкинское родословное древо уходит широкошумной вершиной в эфемерное небо поэзии.

...Итак, дворянство. Иерархия. Но в переводе на литературный язык это есть чувство жанра. И ритма. И композиции. Есть чувство границы. От сих до сих. Никакие сдвиги, виляния, смещения, передраги не в силах вывести Пушкина и сбить его с этой стабильности в ощущении веса и меры и места вещей под солнцем. Если Гоголь всё валит в одну кучу («Какая разнообразная куча!») — поражался он «Мертвым Душам», рухнувшим Вавилонскою Башней, недостроенной Илиадой, попытавшейся взгромоздиться до неба и возвести мелкопоместную прозу в героический эпос, в поэму о Воскресении Мертвых), то Пушкин по преимуществу мыслит отрывками. Это его стиль. Многие произведения Пушкина (притом из лучших) так и обозначены: «отрывок». Или «сцены из»: из Фауста, из рыцарских времен. Другие по существу являют черты отрывка. Очевидна фрагментарность «Онегина», оборванного на полуслове, маленьких трагедий, «Годунова»...

Его творенья напоминают собрание антиков: всё больше торсы да бюсты, этот без головы, та без носа. Но, странное дело, утраты не портят их, а, кажется, придают настоящую законченность образу и смотрятся необходимым штрихом, подсказанным природой предмета. Фрагментарность тут, можно догадываться, вызвана прежде всего пронзительным сознанием целого, не нуждающегося в полном объеме и заключенного в едином куске. Это кусок, в котором, несмотря на оборванность, всё есть и всё построено в непринужденном порядке, в балансе, где персонажи гуляют попарно или рас-

сажены визави, и жизнь сопровождается смертью, а радость печалью, и наоборот; где роковой треугольник преподает урок равновесия в устройстве чужого счастья и собственного спокойствия: «Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим» (то-то, небось, она, читая, кусала локти, вынужденная, как Буриданов осел, разрываться между двумя, равно от нее удаленными и притягательными женихами); и чудные звуки с маху кинуты на весы, где «а» соотносится с «о», как бой и пир, и чаши, качнувшись, замерли в прекрасном согласии, из которого мы выносим, что гармония и композиция суть средства восстановления забытой справедливости в мире, как это сделал Петр Первый с побежденным врагом,—

*Оттого-то в час веселый
Чаша царская полна,
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.*

Именно полнота бытия, достигаемая главным образом искусной расстановкой фигур и замкнутостью фрагмента, дающей резче почувствовать вещественную границу, отделившую этот выщербленный и, подобно метеориту, заброшенный из другого мира кусок, превращает последний в самодовлеющее произведение, в микрокосм, с особым ядром, упорядоченный по примеру вселенной и поэтому с ней конкурирующий едва ли не на равных правах. Благодаря стройному плану, проникающему весь состав ничтожного по площади острова, внушается иллюзия свободной широты и вместительности расположенного на нем суверенного государства.

Из пушкинских набросков мы видим, как в первую голову на чистом листе сколачивается композиционная клетка, системой перетяжек и связей удерживающая на месте подобие жилого пространства, по которому уже хочется бегать и которое при желании может сойти за готовый дом. Довольно двух жестов, которыми обмениваются расставленные по углам незнакомцы, чтобы из этой встречи скрестившихся глаз и движений вышла не требующая дальнейшего продолжения сцена:

*Она на миг остановилась
И в дом вошла. Недвижим он.
Глядит на дверь, куда, как сон,
Его красавица сокрылась.*

Здесь существенно, что он смотрит ей вслед так же долго, как она от него уходит, а застывает так же мгновенно, как она оглядывается. В таком шатре из ответно-встречных поворотов и взглядов уже можно жить, а что произойдет потом, какая любовь у них начнется, или кто кого погубит,— дело воображения...¹

На Пушкина большое влияние оказали царскосельские статуи. Среди них он возрос и до конца дней почитал за истинных своих воспитателей.

*Любил я светлых вод и листьев шум,
И белые в тени дерев кумиры,
И в ликах их печать недвижных дум.*

*Всё — мраморные циркули и лиры,
Мечи и свитки в мраморных руках,
На главах лавры, на плечах порфиры —*

*Все наводило сладкий некий страх
Мне на сердце; и слезы вдохновенья,
При виде их, рождались на глазах.*

*Средь отроков я молча целый день
Бродил угрюмый — все кумиры сада
На душу мне свою бросали тень.*

Эта тень лежит на его творениях. Пушкин все чаще и круче берется за изображение статуи. Но суть, очевидно, не в том, что он скульптурен в обычном понимании слова. Его

¹ Сходную планировку подчас обнаруживают строки, действующие в широком контексте и раскинутые, как палатка, с помощью противоположенных векторов:

*...Волшебник силится, кряхтит
И вдруг с Русланом улетает...
Ретивый конь вослед глядит;
Уже колдун под облаками;
На бороде герой висит...*

Натяните взгляд коня: по нему поднялся волшебник; но чтобы это, тройным оборотом запущенное в небеса колесо не скрылось из глаз, автор вешает Руслана пародийной гирей.

*Летят над мрачными лесами,
Летят над дикими горами,
Летят над бездною морской;
От напряженья костеней,
Руслан за бороду злодея
Упорной держится рукой.*

влекло к статуям, надо думать, сродство душ и совпадение в идее — желание задержать убегающее мгновение, перелив его в непреходящий, вечно длящийся жест. «Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит».

В этом печать его изобразительности. На пушкинские картины хочется подолгу смотреть. Их провожаешь глазами и невольно возвращаешься, движимый обратным или повторным течением к исходной точке. Они — как дым из трубы, который и летит, и стоит столбом. Или река, что течет, не утекая. Уместно опять-таки вспомнить аналогию Пушкина — эхо. Эхо продлевает и восстанавливает промчавшееся; эхо ставит в воздухе памятник летящему звуку.

Собственно скульптурные образы не приходят нам сразу на ум должно быть оттого, что они далеко не исчерпывают пушкинское разнообразие, а появляются здесь сравнительно эпизодически, с тем чтобы выразить постоянную и всеохватывающую тенденцию в его творчестве в ее крайнем и чистом виде — Медным Всадником, Каменным Гостем. Статуя оживает, а человек застывает в статую, которая вновь оживает, и развевается, и летит, и стоит на месте в движущейся неподвижности. Статуи — одна из форм существования пушкинского духа. Вечно простертая длань Медного Всадника не что иное, как закрепленный, продолженный взгляд Петра, брошенный в начале поэмы: «И вдаль глядел». Многократно воспроизведенный, поддержанный лапами мраморных львов, этот жест породит целую пантомиму, завершившуюся к финалу ответным движением страдальчески и смиренно прижатой к сердцу руки Евгения.

Однако и там, где у Пушкина нет никаких скульптур, проглядывает та же черта. Представление о его персонажах часто сопровождается смутным чувством, что они и по сию пору находятся словно в покоящемся, сомнамбулическом состоянии найденного для них поэтом занятия. Так, Пимен пишет. У Бориса Годунова доньяне — все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах. Кочубей, в ожидании казни, все сидит и мрачно на небо глядит. Скупой Рыцарь без конца упивается своими сокровищами.

Но, может быть, это общее свойство искусства — продолжение и удержание образа? В таком случае Пушкин возвел родовую черту в индивидуальную степень особенного пристрастия. У него Скупой Рыцарь и по смерти намерен, скандируя свой монолог, «сторожевою тенью сидеть на сундуке». Приятели Пушкина хохотали над окаменевшим

жестом Гирея, что «в сечах роковых подьемлет саблю и с размаха недвижим остается вдруг». И вправду смешно, если относиться к его персонажам, как к живым людям. Ну а если ко всему они еще немножко и статуи?

Его герои не так живут, как перебирают прожитое. Они задерживаются, задумываются. Они не просто говорят или действуют в порядке однократного акта, но как бы воспроизводят уже разыгранный, пронесенный прежде отрывок, забывшиеся, заснувшие в своей позиции. Их тянет на дно, в глубину минувшей и начинающей припоминаться картины, которая и проходит перед нашим взором — повторно, в который раз. На всем лежит ответ какой-то задней мысли: что, бишь, я делал? когда и где это было? «Председатель остается, погруженный в глубокую задумчивость». «Невольно к этим грустным берегам меня влечет неведомая сила. Все здесь напоминает мне бывшее...» «Воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток...» Поэзия Пушкина бесконечно уподобляется этому свитку, что, развиваясь, снова и снова наводит нас на следы прошедшего и по ним реконструирует жизнь в ее длящемся пребывании.

Но строк печальных не смываю.

Да он и не смог бы их смыть. Ведь в этом его назначение.

Вспоминать — вошло в манеру строить фразу, кроить сюжет. «Гляжу, как безумный, на черную шаль, и кладную душу терзает печаль». Вещи в пушкинских стихах существуют как знаки памяти («Цветок засохший, безуханный...») — талисманы и сувениры. Друзья и знакомые подчас только повод, чтоб, обратившись к ним, что-то припомнить: «Чадаев, помнишь ли бывшее?» Итоговое «...Вновь я посетил...» сплошь исполнено как ландшафт, погруженный в воспоминания, в том числе — как в давнем прошлом вспоминалось давно прошедшее, уходящие всё глубже в минувшее — «иные берега, иные волны». Здесь же свое завещание: вспомни! — Пушкин передает потомству.

В воспоминании — в узнавании мира сквозь его удаленный в былое и мелькающий в памяти образ, вдруг проснувшийся, возрожденный, — магия и магия Пушкина. Это и есть тот самый, заветный «магический кристалл». Его лучшие стихи о любви не любви в собственном смысле посвящены, а воспоминаниям по этому поводу. «Я помню чудное мгновенье». В том и тайна знаменитого текста, что он уводит в глубь души, замутненной на поверхности ропотом житей-

ких волнений, и вырывает из забвения брызжащее, потрясающее нас как откровение — «ты!» Мы испытываем вслед за поэтом радость свидания с нашим воскресшим и узнанным через века и океаны лицом. Подобно Пославленному его, он говорит «виждь» и «восстань» и творит поэтический образ как мистерию явления отошедшей, захлавленной, потерявшей во времени вещи (любви, женщины, природы — кого и чего угодно), с ног до головы восстановленной наново, начисто. Его ожившие в искусстве создания уже не существуют в действительности. Там их не встретишь: они прошли. Зато теперь одним боком они уже покоятся в вечности.

У стихотворения «К***» (1825 г.) есть свой литературный подстрочник, следуя ритму и смыслу которого, оно, по всей видимости, писалось. Возможно, этот ранний текст не столь совершенен, как его попавший в шедевры наследник, и, уж конечно, не так известен, но он позволяет немного дальше заглянуть в неопределенную область, откуда исходил поэт в своем прославленном «чудном мгновеньи», имея в виду под таковым, неверное же, не только встречу с приехавшей повторно женщиной.

Возрождение (1819 г.)

*Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.*

*Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей;
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.*

*Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных чистых дней.*

Прошлое, возрожденное в стихотворных воспоминаниях Пушкина, не покрывается событиями, которые когда-то были и сплыли, а потом снова выплыли — на сей раз в стихах. Хотя, следует заметить, сам уже обоюдный процесс появления-узнавания некогда утонувшей и вдруг, с течением времени, выплывшей из мрака реалии (непременно из мрака: «Во

тьме твои глаза сверкают предо мною», и внук поминает Пушкина («во мраке ночи», одолевая всю тьму, весь ужас небытия вдохновенной вспышкой сознания), так вот, говорю, сам этот процесс существенен и насыщен значениями, образуя сумбурную атмосферу блуждающего в припоминаниях текста, составленного как бы (как в стихотворении «К***») из нескольких, перетекающих друг в друга, потоков темного воздуха, в котором то мутнеют, то брезжат милые очертания.

Пушкина не назовешь памятливым поэтом. Скорее он забывчив, рассеян. Потому что прежде, чем кого-то вспомнить, тот должен как следует исчезнуть, растаять в памяти, и тогда она уже возьмется за дело, и перевернет все вверх дном, и вызовет из могилы желанный образ: «Явьись, возлюбленная тень...» Но приведенная в брожение, разгоряченная память, попутно с имевшими место событиями, приуроченными к встречам и датам, выбрасывает иногда — и это главное, — как морская волна с дна, еще какие-то, непонятно какие, «виденья первоначальных, чистых дней». Детского, что ли, или, быть может, более раннего — невоплощенного, дочеловеческого, замладенческого состояния.

О них нечасто упоминается. Но они-то и красят и обмывают все бывшее небесным пламенем, от которого его образ кажется ярче окружающих впечатлений и, я бы сказал, благоухает и улыбается в детской доверчивости не ведающего о добре и зле, первоначального блаженства.

Не исключается, что поминутные, навязчивые оглядки на прошлое для того и практиковались поэтом, чтобы вместе с прочим старьем вспомнить что-то более важное, зачерпнув живой водицы из далекого колодца. С чего бы, спрашивается, еще так упорно и бестолково ему ворошить злосчастные бебехи, задумываться, озираться, если не ради смутной надежды окунуться в первоисточник, откуда, он знает, текут заодно и его бессмысленно звонкие строфы?

Поэзия, в представлении Пушкина, основывается на припоминании уже слышанных некогда звуков и виденных ранее снов, что в дальнейшем, в ходе работы, освобождаются из-под спуда варварских записей, временной шелухи, открывая картину гения. Та картина существует заранее, до всякого творчества, помимо художника, дело которого ее отыскать, припомнив забытое, и очистить. Вот он и крутится, морщит лоб, стирает руки к возлюбленной: «Твои небесные черты...» — к возлюбленной ли? а не, вернее сказать, к той младенческой свечке-лампочке, что сияет перед нами в тумане, как некая недоступная даль?

*И милой жизни светлу даль
Кажите за туманом!*

Кажите, и он кажет — порою в пустяковом стишке, редко называя по имени (все равно настоящего, полного имени никому произнести не дано), а иной раз, путаясь в координатах, величает «звездой пленительного счастья», или как-нибудь еще несуразнее, но это уже не имеет значения.

*Редел на небе мрак глубокий,
Ложился день на темный дол,
Взошла заря.. Тропой далекой
Освобожденный пленник шел;
И перед ним уже в туманах
Сверкали русские штыки,
И окликались на курганах
Сторожевые казаки.*

Это она сверкает — в туманах. Только она, та «светла даль», покуда он к ней приближается, загадочным образом сверкает уже позади. Раньше и позади. Как родина. Любые песни сойдут за ее отголосок.

*Напоминают мне оне
Иную жизнь и берег дальный.*

Ну, хорошо, хорошо — спи. Отче, открой нам, что мы
Твои дети.

.....

У Пушкина было еще одно, немного холодное, торжественное слово: совершенство. Самим собою довольное, полное до краев равновесие. Поэту полагалось свои создания (ничтожный обман) возвести в перл совершенства. И он возводил.

Но чтобы появились пушкинские черты, к совершенству необходимо всегда что-то прибавить. Светлу даль. Чудное мгновенье. Еще что-нибудь.

*Твой голос, милая, выводит звуки
Родимых песен с диким совершенством...*

Сказал — и разом все, какие есть, не сдвигаемые, на века, композиции накренились и закачались. Того и гляди упадут. Это надо же — с диким совершенством! Как в бочку

с порохом. «Народ безмолвствует». А мы-то думали: фрагмент, уравновешено, спокойствие. Спокойствие над дикой пропастью. «...И не был убийцею создатель Ватикана?» Качаемся. Свирепый камень открыт ветрам. Что ж вы хотели: на то отрывок — чтоб открыть. Открыть закрытое. Впустить незавершенность в совершенство? Какая дичь. «...И не был убийцею создатель Ватикана?» На-зад! Назад нас тянет, заткнуть дыру, перечитать, проверить, был или не был, о чем безмолвствует... На край — подумать страшно. «Твой голос, милая, выводит звуки...» Границы падают. Отрывок — не царскосельский парк, не мрамор, но — море. Накренились мачты. Не бойтесь. Поздно. Мы в безмерности.

*...И паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.
Плывет. Куда ж нам плыть?.....
.....
.....*

И вместо руля на полстраницы, на весь океан — сплошные точки

* * *

С именем Пушкина, и этим он — всем на удивление — нов, свеж, современен и интересен, всегда связано чувство физического присутствия, непосредственной близости, какое он производит под маркой доброго знакомого, нашего с вами круга и сорта, всем доступного, с каждым встречавшегося, еще вчера здесь рассыпавшего свой мелкий бисер. Его появление в виде частного лица, которое ни от кого не зависит и никого не представляет, а разгуливает само по себе, заговаривая с читателями прямо на бульваре: — Здравствуйте, а я — Пушкин! — было как гром с ясного неба после всех околичностей, чинов и должностей восемнадцатого столетия. Пушкин — первый штатский в русской литературе, обративший на себя внимание. В полном смысле штатский, не дипломат, не секретарь, никто. Штафирка, шпак. Но погромче военного. Первый поэт со своей биографией, а не послужным списком.

Биографии поэтов до Пушкина почти не известны, не интересны вне государственных дел. Даже Батюшков одно время витийствовал в офицерах. Даже скромный Жуковский числился при дворе старшим преподавателем. Восхищаясь Державиным, Бестужев (в статье «О романе Н. Полевого "Клятва при гробе Господнем"», 1833 г.) уверяет, что не таланту российский Гораций был обязан своей известностью: «Все поклонялись ему, потому что он был любимец Екатерины, потому что он был тайный советник. Все подражали ему, потому что полагали с Парнаса махнуть в следующий класс, получить перстенок или приборец на нижнем конце вельможи или хоть позволение потолкаться в его прихожей...»

И вот — извольте радоваться!

*Равны мне писари, уланы,
Равны законы, кивера,
Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в ассессора.*

Это был вызов обществу — отказ от должности, от деятельности ради поэзии. Это было дезертирство, предательство. Еще Ломоносов настаивал: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!» А Пушкин, наплевав на тогдашние гражданские права и обязанности, ушел в поэты, как уходит в босяки.

Особенно непристойно это звучало по отношению к воинской доблести, еще заставлявшей дрожать голоса певцов. В ту пору, когда юнцу самое время грезить о ментике и темляке, Пушкин, здоровый лоб (поили-кормили, растили-учили, и на тебе!), изображал из себя отшельника, насвистывая в своем шалаше:

*Прелестна сердцу тишина;
Нейду, нейду за славой.*

Ему не составляло труда изобразить баталью и мысленно там фехтовать для испытания характера. Но все это — не то, не подвиги, не геройства, а психологические упражнения личности, позабывшей и думать о службе. Война его веселила, как острое ощущение, рискованная партия. «Люблю войны кровавые забавы, и смерти мысль мила душе моей». (Позднее на этих нервах много играл Лермонтов.)

Дурной пример заразителен, и спустя десять лет, когда Пушкину случилось проехаться в Арзрум, Булгарин был

вынужден с горечью констатировать: «Мы думали, что автор Руслана и Людмилы устремился за Кавказ, чтоб напитаться высокими чувствами поэзии, обогатиться новыми впечатлениями и в сладких песнях передать потомству великие подвиги русских современных героев. Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов,— и мы ошиблись. Лиры знаменитые остались безмолвными, и в пустыне нашей поэзии появился опять Онегин, бледный, слабый... сердцу больно, когда взглянешь на эту бесцветную картину» («Северная Пчела», 22 марта 1830 г., № 35).

Булгарин ошибался в одном: в «Руслане и Людмиле» нет ничего геройского; автор уже тогда всем богатырским подвигам предпочел уединение в тени ветвей.

*Душе наскучил бранной славы
Пустой и гибельный призрак.
Поверь: невинные забавы,
Любовь и мирные дубравы
Милее сердцу во сто крат...*

И вот этот, прямо сказать, тунеядец и отщепенец, всю жизнь лишь уклонявшийся от служебной карьеры, навязывается со своей биографией. Мало того, тянет за нею целую свору знакомых, приятелей, врагов и любовниц, более им прославленных, нежели Фелица Державиным. Да и чем прославленных, не тем ли единственно, что с ним дружили и ссорились, пировали и целовались и поэтому попали в учебники и хрестоматии? Скольких людей мы помним и любим только за то, что их угораздило жить неподалеку от Пушкина. И достойных, кто сами с усами — Кюхельбекера например, знаменитого главным образом тем, что Пушкин однажды, объевшись, почувствовал себя «кюхельбекерно». Теперь хоть лезь на Сенатскую площадь, хоть пиши трагедию — ничто не поможет: навсегда припечатали: кюхельбекерно.

Несправедливо? А Дельвиг? Раевские? Бенкендорф? Стоит произнести их приятные имена, как, независимо от наших желаний, рядом загорается Пушкин и гасит и согревает всех своим соседством. Не одна гениальность — личность, живая физиономия Пушкина тому виною, пришедшая в мир с неофициальным визитом и впусившая за собою в историю пол-России, вместе с царем, министрами, декабристами, балеринами, генералами — в качестве

приближенных своей, ничем не выделяющейся, кроме лица, персоны.

Начав литературный демарш преимущественно с посланий частным лицам по частному поводу, Пушкин наполнил поэзию массой — на первых порах вразумительного разве что узкой группе ближайших друзей и знакомых — личного материала. С помощью мемуаристов, биографов и текстологов мы в нем разобрались и думаем, что так и надо и нам следует все знать: когда, где, с кем и о ком. Имена, даты, намеки, пересуды и дразги, сошедшиеся на поклон одному имени — Пушкину. Все его творчество лежит перед нами в виде частного письма, ненароком попавшего в деловые бумаги отечественной литературы. (Какой контраст Гоголю — кто частную переписку с друзьями ухитрился вести и тиснуть как государственный законопроект!)

Оранжереей посланий и, шире, всей его расхожей интимности и веселой бесцеремонности явился безусловно Лицей. Это была семья, заменившая ему нелюбимый и неприветливый родительский кров, объединенная случаем и общностью сепаратных, товарищеских интересов, учившая мыслить минуя официальные каналы, варясь все в том же соку понятных лишь однокашникам, жаргонных поговорок, подначек, прозвищ, каламбуров и шуточек, вместе с Пушкиным пролившихся тучей над поэтической нивой. Он навсегда сохранил признательность к этой среде, оперившей его характер и почерк и составившей своего рода союз, тайный заговор в школьных забавах сплотившегося ребячества против чопорного и холодного общества взрослых. В огромном и сумрачном будущем Пушкин видел себя посланцем Лицея, членом вольного братства, принадлежность к которому он пронес как верность своему детству. Лицейская традиция казалась ему порукой собственной незавербованности, и он, что ни год, с восторгом справлял вечный мальчишник в знак своего, нестираемого невзгодами и годами лица. Другие становились сенаторами, профессорами, писателями; Пушкин всю жизнь прожил лицеистом. То был орден подкидышей, заброшенных игрою судьбы на роли застольных философов и бродячих стихоплетов. Лицей — в умозрительном, романтическом истолковании — служил приютом Искусств, и Пушкин, его питомец, до конца дней исполнял неписанный лицейский обряд, вовлекая молодую Россию в дружбу с Музами под сенью деревьев.

*...Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.*

Однако родная обитель, толкавшая к изоляции от целого мира враждебных поэзии установлений, в ином смысле для Пушкина разрослась и расширилась, приняв весь белый свет под зеленые своды Лицея. Привычки дружить и повесничать со школьных скамеек перепрыгнули на литературные сборища, на артистические кружки, а там, глядишь, уже Пушкин пошаливает с Людмилой и перемигивается по-свойски с Онегиным и Пугачевым. Теснота дортуаров и классов располагала к фамильярности, к товариществу на широкую ногу, в масштабах всего человечества, к добрососедским отношениям с жизнью и с вымышленными лицами, подобранными на основе приятельства и панибратства.

*Его пою — зачем же нет?
Он мой приятель и сосед.*

Форма дружеских посланий стала содержанием пушкинской поэзии в целом, впускающей нас безотказно в частную жинь певца, позирующего своею доступностью — мимикой подлинных черточек, подробностями житейского и портретного сходства. Читающая публика мало-помалу научалась ощущать себя соглядатаем авторских приключений, свиданий, пирушек, неурядиц и стычек по сугубо частному случаю — вся Россия любуйся, что отчубучит Пушкин.

Он сразу попал в положение кинозвезды и начал, слегка приплясывая, жить на виду у всех. «Сведения о каждом его шаге сообщались во все концы России, — вспоминает П. А. Вяземский. — Пушкин так умел обстановливать свои выходки, что на первых порах самые лучшие его друзья приходили в ужас и распускали вести под этим первым впечатлением. Нет сомнения, что Пушкин производил и смолоду впечатление на всю Россию не одним своим поэтическим талантом. Его выходки много содействовали его популярности, и самая загадочность его характера обращала внимание на человека, от которого всегда можно было ожидать неожиданное».

Такая, немного сомнительная, известность не могла — уже вторично — не отразиться на личности Пушкина. Он чувствовал на себе любопытные взгляды, и старался, и прихорашивался, хотя, по его словам, не слишком гордился тем, —

*Что пламенным волненьем,
И бурями души моей,
И жаждой воли, и гоненьем
Я стал известен меж людей...*

А все ж таки был рад и желал соответствовать. Его подстерегала опасность растущей моды на Пушкина, взявшегося за отращивание экстравагантных бакенбард и ногтей. «В самой наружности его,— примечали соотечественники,— было много особенного: он то отпускал кудри до плеч, то держал в беспорядке свою курчавую голову; носил бакенбарды большие и всклокоченные; одевался небрежно; ходил скоро, повертывал тросточкой или хлыстиком, насвистывая или напевая песню. В свое время многие подражали ему, и эти люди назывались à la Пушкин...» («Русская Старина», 1874, № 8).

У него были шансы прослыть демонической личностью и, подыгрывая себе в триумфальном скандале, покатиться по пути инсценированной легенды о собственной, ни на кого не похожей, загадочной и ужасной судьбе. Прецеденты подобного рода уже бывали в истории, и Пушкин знал, кому подражать. Две великолепные звезды сияли на горизонте: Наполеон и Байрон. Когда обе, вскоре друг за другом, померкли, Пушкин вздохнул: «Мир опустел... Теперь куда же меня б ты вынес, океан?» Так ему, значит, пришлось по душе зрелище гордого гения, что с его концом человечеству грозила пустыня, Пушкину — нависавшая над ним и падавшая под ноги, из него и вместо него проступавшая, тень Лермонтова.

На семнадцатом году жизни Лермонтов отрезал: «Я рожден, чтоб целый мир был зритель торжества иль гибели моей». Эта фраза едва не сорвалась с уст Пушкина. Тогда бы из него вышел Лермонтов и пошел дальше, нещадно хлеща свою, в бореньях и молниях, раздувавшуюся биографию. Но Пушкин, вовремя спохватившись, прикусил язык и вернулся к более ему свойственным домашним занятиям, снисходительной объективности и благочестивому содружеству в мировой семье, а Лермонтов продолжил сюжет одинокой и незаконной кометы, погруженный в мрачное зрелище ее торжества и падения. В заострение сюжета, претворяя биографию в миф о гонимом поэте Лермонтове, он принялся возводить на себя напраслину в романтическом духе, — дескать, он и злодей, и гений, и Байрон, и Демон и сам Наполеон Бонапарт...

Сейчас, из нашего далека, уже трудно вообразить, что значила для новой Европы фигура Наполеона. Ею — сверхчеловеческой личностью, возникшей из пустоты и себе лишь обязанной восхождением к мировому престолу, — бредил век. Гёте называл Бонапарта не иначе, как полубогом. Бальзак, под статуэткой титана, кипятился пожрать Париж.

Наполеон в глазах зевак превосходил Юлия Цезаря и Александра Македонского — две крупнейшие монеты древнего мира: те действовали давно и законно, а этот был выскочкой, что увеличивало бонапартовы чары и будило мечты.

В статье «О трагедии г. Олина "Корсар"» (1827 г.) Пушкин демаскирует в Байроне Бонапарта (что проливает дополнительный свет на близость этих лиц в его стихотворении «К морю»): «"Корсар" неимоверным своим успехом был обязан характеру главного лица, таинственно напоминающего нам человека, коего роковая воля правила тогда одной частью Европы, угрожая другой. ...Поэт никогда не изъяснил своего намерения: сближение себя с Наполеоном правилось его самолюбью».

Отвесив Наполеону поклон, Пушкин ретировался, возможно из опасения уподобиться своему искусителю Байрону, чья односторонняя мощь побуждала его основательнее настраиваться на собственный лад. Сумел он, в общем, избавиться и от более тонких соблазнов: в демонстрации живого лица пользоваться привилегией гения и приписывать себе-человеку импозантные повадки Поэта. Так поступают романтики, типа Байрона-Лермонтова. В их сценическом реквизите имеются всегда наготове ампула и маска Поэта, сросшиеся с человеком настолько, что, выходя на подмостки и с успехом играя себя, тот на равных подменяет Корсара, Наполеона и Демона. Ему достаточно в любой ситуации придерживаться позы, полученной им вместе с жизнью, естественной и одновременно эффектной — влиятельной осанки Певца. Поэзия ведь по природе своей экстраординарна и предназначена к тому, чтобы на нее удивлялись и ахали. Поэзия сама по себе есть уже необыкновенное зрелище.

Но Пушкин поступил по-иному — еще интереснее. Единогочеловека-поэта он рассек пополам, на Поэта и человека, и, отдав преимущества первому, оставил человека ни с чем, без тени даже его элегантнои профессии, зато во всей его мелкой и непритязательной простоте. Он превратил их в свои десницу и шуйцу и обнял ими действительность, будто щупальцами, всесторонне; он работал ими, как фокусник, согласованно и раздельно, — если правая, допустим, писала стихи, то левая ковыряла в носу, — подобно изваяниям Индии, в буре жестов, многорукому идолу, перебегая, фигаро-фигаро-фигаро, неистовствуя по двум клавиатурам. Он столкнул их лбами и, покуда Поэт величаво прохаживался, заставил человека визжать и плакать. Но давайте по порядку:

*Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон;
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.*

Такое слышать обидно. Пушкин, гений, и вдруг — хуже всех.

— Не хуже всех, а лучше... Нелепо звучит. Требовательность большого поэта, гения...— Хотел лазейку оставить. Женщинам, светскому блеску. Любил наслаждаться жизнью...— Ну были грешки, с кем не бывает? Так ведь же гений! Творческая натура. Простительно, с лихвой искупается...— Какой пример другим! Непозволительно, неприлично. Гению тем более стыдно...— Нельзя с другими равнять. Гений может позволить. Все равно он выше... (И так далее, и опять сначала.)

Вот примерный ход мыслей, ищущих упрекнуть или реабилитировать Пушкина этой странной тираде и как-то ее обойти, отменить, упирая на гениальные данные, обязывающие человека вести себя по-другому, чем это изображается автором, и более соответствовать в жизни своей поэтической должности.

Нет, господа, у Пушкина здесь совершенно иная — не наша — логика. Потому Поэт и ничтожен в человеческом отношении, что в поэтическом он гений. Не был бы гением — не был бы и всех ничтожней. Ничтожество, мелкость в житейском разрезе есть атрибут гения. Вуалировать эту трактовку извинительными или обличительными интонациями (разница не велика), подтягивающими человека к Поэту, значит нарушать волю Пушкина в кардинальном вопросе. Ибо не придирами совести, не самоумалением и не самооправданием, а неслыханной гордыней дышит стихотворение, написанное не с вершка человека, с которого мы судим о нем, но с вершин Поэзии. Такая гордыня и не снилась лермонтовскому Демону, который, при всей костюмерии, все-таки человек, тогда как пушкинский Поэт и не человек вовсе, а нечто настолько дикое и необъяснимое, что людям с ним делать нечего, и они, вместе с его пустой оболочкой, копошатся в низине, как муравьи, взглянув на которых, поймешь и степень разрыва и ту высоту, куда поднялся Поэт, утерявший человеческий облик.

*Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта вострепетает,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы.
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы.*

Речь идет даже не о преобращении одного в другое, но о полном, бескомпромиссном замещении человека Поэтом. Похожая история излагается в пушкинском «Пророке», где человек повержен и препарирован, как труп, таким образом, что, встав Поэтом, не находит уже в себе ничего своего. Задуманный ему в развитие лермонтовский «Пророк» не выдерживает этого горнего воздуха и по сути возвращает Поэта в человеческий образ, заставляя испытывать чувства отверженности, оскорбленного самолюбия, про которые тот и не помнит на высшем уровне Пушкина. «...Как души смотрят с высоты на ими брошенное тело...»

В обосновании прав и обязанностей Поэта у Пушкина были предшественники, потребовавшие от пишущих много такого, о чем они раньше не помышляли, искренне веря, что вся их задача состоит в том, чтобы писать стихи, полезные и приятные людям, в свободные от других занятий часы. В начале века поэзия эмансипируется и претендует на автономию, а потом и на гегемонию в жизни авторов, еще недавно деливших утеху с Музами где-то между службой и досугом. Вдруг выяснилось, что искусство хочет большего.

«Надобно,—упреждает Батюшков,—чтобы вся жизнь, все тайные помышления, все пристрастия клонились к одному предмету, и сей предмет должен быть — Искусство. Поэзия, осмелюсь сказать,—требует всего человека.

Я желаю — (пускай назовут странным мое желание!) — желаю, чтобы Поэту предписали особенный образ жизни, питательную диету: одим словом, чтобы сделали науку из жизни Стихотворца...

Первое правило сей науки должно быть: живи, как пишешь, и пиши, как живешь...» («Нечто о поэте и поэзии», 1815 г.).

Пушкин разделял этот новый взгляд на художника, однако, надо думать, не вполне. Первая часть (требование — всего человека) не могла бы его смутить. Зрелый Пушкин всецело в поэзии, он съеден ею, как Рихард Вагнер, сказавший, что «художник» в нем поглотил «человека», как тысячи других, отдавшихся без остатка искусству, знаменитых и безымянных артистов. Мы слышали с пушкинских уст слетевшую аксиому, подобную утверждению Батюшкова: «Поэзия бывает исключительно страстью немногих, родившихся поэтами: она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни» («О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова», 1825 г.).

В этом смысле — на низшем уровне — в Пушкине уже нет ничего, что бы явно или тайно не служило поэзии. Самые ничтожные «заботы суетного света», в которые он погружается, когда его не требует к жертве никакой Апполон, и те невидимо связаны с искусством, образуя то, что можно назвать поэтической личностью Пушкина, неотделимой от стихии балов и удовольствий. Это и есть «диетика», говоря по Батюшкову. Он и ест, и пьет, и толчется в гостиных, и ухаживает за дамами, если не прямо в поэтических видах, то с неосознанной целью перевести всю эту суету в достоиние, от блеска и изящества которого мы все без ума. Он и в этом, строго говоря, уже не совсем человек, а Пушкин до мозга костей.

И все-таки — вот упорство — он бы не подписался под формулой, что надо жить, как пишешь, и писать, как живешь. Напротив, по Пушкину следует (здесь имеется несколько уровней сознания в отношениях человека с Поэтом, и мы сейчас поднимаемся на новую ступень), что Поэт живет совершенно не так, как пишет, а пишет не так, как живет. Не какие-то балы и интриги, тщеславие и малодушие в нем тогда ничтожны, а все его естество, доколе оно существует, включая самые багородные мысли, включая самые стихи в их эмпирической данности, — не имеет значения и находится в противоречии с верховной силой, что носит имя Поэт. «Бежит он, дикий и суровый...» Какая там диетика — аскеза, не оставляющая камня на камне от того, что еще связано узами человеческой плоти. Пушкин (страшно сказать!) воспроизводит самооценку святого. Святой о себе объявляет в сокрушении сердца, что он последний грешник — «и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Даже еще прямее — без «быть может». Это не скромность и не гипербола, а реальное прикосновение святости, уже не

принадлежащей человеку, сознающему ничтожность сосуда, в который она влита.

У пушкинского Поэта (в его крайнем, повторяю, наивысшем выражении) мы не находим лица — и это знаменательно. Куда подевались такие привычные нам гримасы, вертлявость, болтовня, куда исчезло все пушкинское в этой фигуре, которую и личностью не назовешь, настолько личность растоптана в ней вместе со всем человеческим? Если это — состояние, то мы видим перед собою какого-то истукана; если это — движение, то наблюдаем бурю, наводнение, сумасшествие. Попробуйте, суньтесь к Поэту: — Александр Сергеевич, здравствуйте! — не отзовется, не поймет, что это о нем речь — о нем, об этом пугале, что никого не видит, не слышит, с каменной лирой в руках?

*Поэт на лире вдохновенной
Рукой рассеянной бряцал...*

Аллегории, холодные условности нужны для того, чтобы хоть как-то, пунктиром, обозначить это, не поддающееся языку, пребывание в духе Поэзии. Мы достигли зенита в ее начертании, здесь кончается все живое, и только глухие символы стараются передать, что на таких вершинах лучше хранить молчание.

«Зачем он дан был миру и что доказал собою?» — вопрошал Гоголь о Пушкине с присущей ему дотошностью в метафизической постановке вопросов. И сам же отвечал: «Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше, — что такое поэт, взятый не под влиянием какого-нибудь времени или обстоятельства и не под условьем также собственного, личного характера, как человека, но в независимости ото всего; чтобы, если захочет потом какой-нибудь высший душевный анатомик раззать и объяснить себе, что такое в существе своем поэт... то чтобы он удовлетворен был, увидев это в Пушкине» («В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность», 1846 г.).

«В независимости ото всего»... Да, Пушкин показал нам Поэта во многих, исчерпывающих, вариациях, в том числе — в независимости ото всего, от мира, от жизни, от самого себя. Дойдя до этой черты, мы останавливаемся, оглушенные наступившей вмиг тишиной, бессильные как-либо выразить и пересказать словами чистую сущность Искусства, едва позволяющую себе накинуть феноменальный покров.

*Земных восторгов излишня,
Как божеству, не нужны ей...*

Однако, тем временем на земле живет и томится, слоняясь без дела, вполне нормальный автор, лишь иногда выпадающий в помешательство или в столбняк высшего толка. Он вертится, и мельтешит, и страждет, и знает за собой тайну причастности к Поэту, прекрасную и пугающую, и хочет назвать ее на человеческом языке, подыскав какой-нибудь близкий синоним. Ему припоминаются разные странности его биографии, среди которых привлекает внимание чем-то особенно дорогая черточка крови, происхождения — негритянская ветка, привитая к родовому корню Пушкиных.

Негр — это хорошо. Негр — это нет. Негр — это небо. «Под небом Африки моей». Африка и есть небо. Небесный выходец. Скорее бес. Не от мира сего. Жрец. Как вторая, небесная родина, только более доступная, текущая в жилах, подземная, горячая, клокочущая преисподней, прорывающаяся в лице и в характере.

Это уже абсолютно живой, мгновенно узнаваемый Пушкин (не то что Поэт), лишь немного утрированный, совмещающий в себе человеческие черты с поэтическими в той густейшей смеси, что порождает уже новое качество, нерасторгаемое единство чудесной экзотики, душевного жара и привлекательного уродства, более отвечающего званию артиста, нежели стандартная маска певца с цевницей. Безупречный пушкинский вкус избрал негра в соавторы, угадав, что черная, обезьянообразная харя пойдет ему лучше ангельского личика Ленского, что она-то и есть его подлинное лицо, которым можно гордиться и которое красит его так же, как хромота — Байрона, безобразие — Сократа, пуше всех Рафаэлей. И потом, чорт побери, в этой морде бездна иронии!..

О как уцепился Пушкин за свою негритянскую внешность и свое африканское прошлое, полюбившееся ему, пожалуй, сильнее, чем прошлое дворянское. Ибо, помимо родства по крови, тут было родство по духу. По фантазии. Дворян-то много, а негр — один. Среди всего необъятного бледного человечества один-единственный, яркий, как уголь, поэт. Отелло. Поэтический негатив человека. Курсив. Графит. Особенный, ни на кого не похожий. Такому и Демон не требуется. Сам — негр.

Тогда дети, наверно, еще не читали Майн-Рида и Жюль-Верна и не увлекались играми в жаркие страны. А у Пушкина

уже была своя, личная (никому не отдам!) Африка. И он играл в нее так же, как какой-нибудь теперешний мальчик, играя в индейцев, вдруг постигает, что он и есть самый настоящий индеец, и ему смешно, и почему-то жалко себя, и всё дрожит внутри от горького счастья — с обыкновенною мамой тряситься на извозчике по летней Рузаевке (поезд «Москва — Ташкент»), в то время как он индеец и не забудет уже этого до конца дней. Крыло рока, свидетельство прошлой, затерянной во времени жизни, предчувствие, что, будучи законным сыном, ты все-таки не тот, найденыш, подкидыш, незванный гость, кавказский пленник в земной юдоли, невесть как попавший сюда, и никто о тебе не знает, не помнит, но ты-то себе на уме. Ты сильнее, ты старше, ты ближе к животным, к диким племенам и лесам. Дикий гений. Дымящийся, окровавленный кусок поэзии с провалом в хаос. И ты смотришь исподлобья, арапом, храня спокойствие до срока, когда пробьет и на арапа ты выйдешь в город, «— Даеть Варшаву», оскалишься, знай наших, толпа раступится, спокойно, тише, весь на пружинах, он проносит непроницаемое лицо. «...При виде Ибрагима поднялся между ними общий шепот: "Арап, арап, царский арап!" Он поскорее провел Корсакова сквозь эту пеструю челядь». «Он чувствовал, что он для них род какого-то редкого зверя, творенья особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их ничтожество благополучием».

Это писалось Пушкиным, уже уставшим от зрелища, от славы, от клеветы, вьющейся за ним по пятам, вздыхающим втихомолку о счастье «на общих путях». Смолоду к доставшейся ему от деда Ибрагима черной чужеродности в обществе он относился куда восторженней, справедливо видя в своих диких выходках признак бунтующей в нем стихийной силы. Если белой костью своего дворянского рода Пушкин узаконивал себя в национальной семье, в истории, то негритянская кровь вводила его к первобытным истокам творчества, к природе, к мифу. Черная раса, как говорят знатоки, древнее белой, и поддержанный ею поэт кидался в дионисийские игры, венчая в одной личине Африку и Элладу, искусство и звериный инстинкт.

*А я, повеса вечно праздный,
Потомок негров безобразный,
Взращенный в дикой простоте,
Любви не ведая страданий,*

*Я нравлюсь юной красоте
Бесстыдным бешенством желаний,
С невольным пламенем ланит
Украдкой нимфа молодая,
Сама себя не понимая,
На фавна иногда глядит.*

И тут ему снова потрафил черный дед Ибрагим. Надо же было так случиться, что его звали Ганнибалом! Целый гейзер видений вырывался с этим именем. Туда, туда, в доисторическую античность, к козлоногим богам и менадам убегала тропинка, по которой пришел к нам негритенок Пушкин. «Черный дед мой Ганнибал» сделался центральным героем его родословной, оттеснив рыхлых бояр на нижние столы, — первый и главный предок поэта.

Кроме громкого имени и черного лика, он завещал Пушкину еще одну драгоценность: Ганнибал был любимцем и крестником царя Петра, находясь у начала новой, европейской, пушкинской России. О том, как царь самочинно посватал арапа в боярскую аристократию, скрестил его с добрым русским кустом (должно быть, надеясь вывести редкостное растение — Пушкина), подробно рассказано в «Арапе Петра Великого». Однако неизмеримо важнее, что благодаря Ганнибалу в смуглой физиономии внука внезапно просияло разительное сходство с Петром. Поскольку петровский крестник мыслился уже сыном Петра, поэт через черного дедушку сумел породниться с царями и выйти в гордые первенцы, в продолжатели великого шкипера.

*Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двинулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Рулю родного корабля.*

И был отец он Ганнибала...

Заручившись такою родней, он мог уже смело сказать себе: «Ты царь: живи один...» От негра шел путь в самодержцы. Долго мучившую его, жизненную проблему «поэт и царь» Пушкин разрешил уравнением: поэт — царь.

Царствование Пушкина протекало под знаком Петра, который, как известно, многими чертами характера — разносторонностью интересов и замыслов, дерзостью нововведений, благожелательностью, простодушием — отвечал идеалам и личным свойствам поэта. Тот царственным кивком

головы снаряжал стихи, как флотилии, выстраивал их в потешное войско («Из мелкой сволочи вербую рать») и т. д. Аналогии с Петром диктовались масштабами реформации, предпринятой Пушкиным в русской словесности вдогонку петровским декретам.

«Только революционная голова, подобная Мирабо и Петру,— заверял клятвенно Пушкин,— может любить Россию, так, как писатель только может любить ее язык.

Всё должно творить в этой России и в этом русском языке».

Мысль о взаимозависимости и сходстве Петра и Пушкина уже тогда зарождалась в умах ценителей первого поэта России. Баратынский писал ему (декабрь 1825 г.): «Иди, довершай начатое, ты, в ком поселился гений! Возведи русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами. Соверши один, что он совершил один; а наше дело — признательность и удивление».

Всё это, конечно, он принимал к сведению. Но не только историко-культурные сравнения и запросы влекли его к Петру как к высокому родственнику, к своему божеству-двойнику, а более протяжная, внутренняя тоска. Пушкин обнаружил и обнародовал в нем то, что не нашел в Наполеоне,— выражение своей личной и сверхличной силы, пример и образ Поэта в его независимости от чьих бы то ни было законов и уложений. Дикий гений, самодержавная воля Петра, построившего сказочный город на голом болоте, захватили его, и хоть он не собирался отождествлять себя со своими героями, а творил, что называется, объективно, с соблюдением различных колоритов места и времени, слишком близкие параллелизмы напрашивались сами собою. Это ощутил Пастернак, написавший гениально о Пушкине:

*На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн...*

В этом смысле и «Медный Всадник» и «Полтава», помимо очевидных событий, содержат тему Царя в истолковании, приближенном к судьбе поэта. «...В моей изменчивой судьбе», — помечал он в посвящении к «Полтаве» и ставил эту изменчивость в широкую связь с испытаниями, выпавшими России, Петру, «в пременах жребия земного», тяжких и благодетельных, что их воспитали и вскинули на гребень великой волны, тогда как самонадеянный Карл, идя путем всех

пушкинских антиподов, пытался распоряжаться судьбой по собственному капризу и на этом, как всегда, потерял («Как полк, вертеться он судьбу принудить хочет барабаном»). Когда волны истории всё смыли и заровняли, на земле остался один,— нет, двое в одном лице — Поэт и Царь.

*Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе.*

Слышите?

Я памятник себе воздвиг нерукотворный...

Памятник Царю становится героем «Медного Всадника». Многочисленные его толкователи почему-то слабо учитывали, что эта повесть написана на очень личном, психологическом конфликте, что Петр и Евгений так же соотносятся в ней, как Поэт и человек в стихотворении «Пока не требует поэта...», что Петербург и стихия, его захлестывающая, не противники, а союзники, две стороны одной идеи, именуемой Искусством, Поэзией, противостоящей человеку, который боится и ненавидит ее в своем суетливом ничтожестве.

Замечено: Евгений, верхом на льве, со взглядом, вперенным вдаль, в близкую даль своего личного счастья («И размечтался, как поэт»), размытого затем наводнением, перефразирует контур памятника Петру. Но все его позы, движения обратны Памятнику, и на длань, устремленную ввысь, на чудотворную пушкинскую десницу, вызывающую бурю и умиряющую ее, превратившую природный хаос в гармонический космос Города, Евгений откликается эгоцентрическими всплесками рук, судорожно вьющихся вокруг его угла тела. Это — жалкое и трогательное в жажде счастья человеческое естество, возмнившее в ослеплении, что Всадник его преследует (некоторые поверили и негодуют на Всадника — такой большой гоняется за таким маленьким!); всё бы ему за ним да к нему, да ради него, недоумка, случайно попавшего в оборот Поэзии, подвернувшегося ей под руку.

Евгений! Какое значительное у Пушкина имя, варьирующее один и тот же примерно сюжет человека, глухого к поэзии, далекого от нее, но все-таки чем-то родного и приятного автору. Евгений... Ба! уж не есть ли это светское, мирское имя того, кто в духовном своем сане известен как Александр Пушкин?! Известны его пародийные мысли, близкие Евгению с его маленьким счастьем на общих путях («Мой идеал теперь — хозяйка, мои желанья — покой да

шей горшок, да сам большой»), давшие повод судачить о солидарности Пушкина с горшечными мечтами Евгения и его же, авторской, неприязни к Памятнику, побившему все горшки. Тем более тот именуется в поэме не иначе, как кумир, или еще хуже — истукан. Дескать, идол бесчувственный, Ваал государства... Но причем здесь Ваал? Совсем другой идол. И вообще «кумир» для Пушкина не такое уж бранное слово. Во всяком случае в споре «горшка» с «кумиром» его выбор не вызывает сомнений. Поэт — черни:

*Тебе бы пользы всё — на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей ведь бог!.. так что же?
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь.*

Вся беда в том, что мы не верим в Аполлона. Почитаем его выдумкой, поэтическим иносказанием. Но Пушкину Аполлон не пустой звук, а живой бог, чьи призывы он слышал, чей лик запечатлел.

...Его глаза

*Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как Божия гроза.*

Какое необычное, непонятное уму сочетание: ужасен — прекрасен! И как догадался Пушкин, что это так и есть, что прекрасное ужасает, что смешение восторга и ужаса возбуждает Дельфийский владыка, в чьем облике нам мелькает нечаянно что-то африканское, дикое и в то же время высокое — разящее, громоносное, ослепляющее солнцем лицо?! В полном объеме сам Царь — Аполлон — Ганнибал — Поэт.

Среди мраморов в Царском Селе, поразивших воображение мальчика, выделялись два истукана; им-то Пушкин отводил заглавную роль в своем духовном развитии.

То были двух бесов изображенья.

*Один (Дельфийский идол) лик молодой —
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.*

*Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал —
Волишебный демон — лживый, но прекрасный.*

*Пред ними сам себя я забывал;
В груди младое сердце билось — холод
Бежал по мне и кудри подымал.*

Евгений у подножия Памятника кое-что перенял от смутного ужаса мальчика-Пушкина перед статуями в Царскосельском саду. И тот и другие идолы приковывают, околдовывают, властвуют над душой человека. Но, перенеся в ситуацию «Медного Всадника» отроческие переживания и хождения вокруг Аполлона, Пушкин рассек и развел себя в лице Петра и Евгения. Пиитический ужас, священное безумие, оторванные от Поэзии, в человеческом исполнении сделались смертным страхом и темным помешательством. Не просветленный гением, хаос поглотил несчастного. А Пушкин, переступив через свою низменную природу, через собственное раздвоение между человеком и гением (составившее тему «Медного Всадника»), возликовал и возвысился вместе с Памятником. Последнему найдена уникальная в своем совершенстве позиция:

*И, обращен к нему спиною,
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне.*

Спиной к человеку, всем существом в стройной гармонии сфер, попирающий бездны и самое безумие разъяренных стихий подчинивший грозному взмаху простертой в неколебимую высь, дирижирующей судьбою руки,— таков Аполлон, губитель и исцелитель, хозяин дружественных инструментов—лука и лиры, дальновержец, исполненный нечеловеческой гордости и неземного величия. Те, кому посчастливилось увидеть Аполлона в лицо, находили его точно таким, каким он показан у Пушкина.

«...Я сделал попытку выйти за пределы человеческого и возвыситься до бога Аполлона.

Я узрел его, гневного, в золотистой бронзе, увлеченного битвой и мыслью. Вот она, моя первая попытка подняться

над людьми...» (Из письма Антуана Бурделя Сюаресу, 31 декабря 1926 г.).

К сожалению, сейчас у меня нет возможности поточнее узнать, кого изображала вторая статуя в Царском Селе, повергавшая в трепет юного Пушкина. Не исключено, то был Вакх-Дионис: древние, помнится, представляли его женоподобным. Но как бы там ни было, это уже не столь существенно для понимания «Медного Всадника», текст которого принадлежит Аполлону, тогда как Дионис не имеет здесь самостоятельного лица и представлен со своими стихиями оборотной стороной того же Аполлона, солнценосного бога Поэзии, как ее, Поэзии, так сказать, творческая подкладка. Истукан и безумие — мы уже видели, что в этих обличьях выступает обычно Поэт у Пушкина в своем чистом и высшем значении, в независимости ото всего. Он либо стоит столбом, ни на кого не обращая внимания, либо носится, как сумасшедший, «и звуков и смятенья полн». В «Медном Всаднике» даны оба варианта: истукан-памятник Петра, построившего Город, и безумие-наводнение, грозящее их затопить, а в сущности ими же вызванное, санкционированное и с ними соединенное.

Каким-то темным чутьем Евгений понимает, что Петр повинен в буре, обрушившейся на Петербург, что в этих периодических приливах стихии видны рука и замысел основателя города. В самом деле, волны и Всадник действуют заодно; он их предводитель, полководец, пославший на приступ своих же твердынь. Не забудем о военной и мореплавательской страсти Петра, участвующей в сцене бедствия, мрачной по смыслу, радостной по интонации, написанной с таким же подъемом, как «Тесним мы шведов рать за ратью», и озаренной слышимым в этом вое и вихре шествием вдохновения. Атака духа, ринувшегося в пробитое Петром окно — с видом на море, заставляет вспомнить, что это в обычае Диониса — развязывать страсти, отворять стихии и повергать вакханта в экстаз, который и есть творчество в изначальном его, хаотическом качестве, куда исступление не перейдет в свое светлое производное, безумство не обратится в гармонию. О таком переходе древние говорили: «Дионис бежал к Музам», подозревая, должно быть, союз противоположных по свойствам, но равных в прорицательстве демонов — Диониса и Аполлона, как бы конкурирующих друг с другом в тайнствах искусства. Помните, у Пушкина говорится о вдохновении: «Плывет. Куда ж нам плыть?..» Вот и поплыли:

*Погода пуще свирепела,
Нева вздучалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась...*

Но этот взрыв ничем не ограниченной, неукротимой, первобытной энергии все-таки удержан на самом пределе рукою того же Петра. Как бы ни клочотали волны, вышина-то неколебима, и в ней пребывает Идол, всюду скачущий, не пошевеливший и пальцем, с огненной кровью в бронзовом теле.

Обратите внимание: Петр едет верхом на Неве, никуда не уезжая; у наводнения огненная природа Петра и его коня; а конь — вся Россия, сама Поэзия, рванувшаяся в исступлении к небу, да так и застывшая в слитном смерче воды, огня и металла.

*Но, торжеством победы полны,
Еще кипели злобно волны,
Как бы под ними тлел огонь,
Еще их пена покрывала,
И тяжело Нева дышала,
Как с битвы прибежавший конь.*

.....
*Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?*

В этом — на одних восклицаниях — взлетающем апофеозе малюверы улавливают ноту неудовольствия. Чуть ли не проклятие и предрекание гибели слишком высоко вознесшемуся ездоку. Как будто ужасен («Ужасен он в окрестной мгле!») не предполагает, в самом себе не заключает уже — прекрасен! Как если бы бездна под копытами коня могла озадачить того, кто сам в дионисийском восторге возглашал: «Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю...». Или вздыбленная Россия — та, о кото-

рой сказано, что всё в этой России и в ее языке надлежит творить фантазеру, подобному Петру,—или эта взнуданная у края пропасти буря, сомкнувшая воедино бездну дикости и чудо гармонии,—может пошатнуться и рухнуть, а не останется навсегда памятником самовластной Поэзии?!

«Дионис бежал к Музам»... Бешеная оргия творчества разрешается в гармоническом ладе и строе творенья.

*Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид...*

И на каждом шагу твердость и стройность. «Тяжелозвонкое скаканье». В «стройно зыблемом строю» проходят войска. «Громады стройные теснятся». Тяжесть камня, ковкость металла. «Твоей твердыни дым и гром». Пушкинский Петербург предстает порождением стихии, укрощенной и перелитой в башни, дворцы, ограды. Насколько яростна буря, настолько же крепок гранит, и чем сильнее бьется Нева об эту крепость, «плеская шумною волной в края своей ограды стройной», тем, кажется, сообщает ей большую прочность», и вместе с тем живет и питает ее своей страстью, не давая охладеть, наращивая громады зданий и памятников. В этом смысле пролог держит всё произведение в стройности, в узде; оно не размывается с началом наводнения, но возникает из волн и ветра, воодушевивших эту постройку и застывших в кристаллы поэмы-города.

В итоге Петербург-стихия и Петербург-столица, поэзия Пушкина в двух ее аспектах — дикий гений и чудный город — явлены в едином лике, как нечто слитное, целостное. «Медный Всадник». В названии звучит согласие противоборствующих начал — статики и динамики, стройности и буйства, Аполлона и Диониса, от вражды перешедших к сотрудничеству, к примирению. «Медный Всадник» — уже не заглавие, не герой и не тема пушкинской повести, а ее исчерпывающее определение, покрывающее всё, что в ней имеется и творится, включая жанр, и слог, и стих, которым она написана. Если эту поэму обвести карандашом, мы получим Медного Всадника. Он из нее вырастает, над нею господствует, с нею в конце концов совпадает. Потому-то он по многу раз в ней появляется в одном и том же виде и скачет по всему тексту, ни на миг не исчезая из глаз, увеличиваясь в размерах, и от него нельзя ни уйти, ни укрыться, ибо в нем и этот город, и наводнение, и поэт, что пишет о нем, сидя в своей светелке, взирая на прозрачные улицы, и Евгений, жалко передраз-

нивающий поэта, Всадника и наводнение, оглушенный «шумом внутренней тревоги», пока наконец своим «ужо!» не произнесет себе приговор и не погибнет под копытами Идола, что никого и не думал давить и даже не отпускал поводья взлетевшему над пропастью зверю, а просто во-брал в себя всё и выгеснил собой человека, заполучив поэму в свое распоряжение. Евгений изгоняется из нее по мере того, как она всё более полно принимает очертания скачущего Памятника. Как инородное поэзии тело, он выброшен ею и похоронен кое-как в последних строках — за чертогу города.

Спрашивается: сочувствует ли Пушкин Евгению? Еще бы! Если он себя, свою человеческую мечту и мелкость переехал и обезвредил в Евгении! Впрочем, к чужим несчастьям он относился еще сочувственнее. Но, сострадая Евгению, был беспощаден. Пушкин вообще был жесток к человеку, когда дело касалось интересов поэзии. Любя Байрона, он писал Вяземскому (13—14 июня 1824 г.): «Тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии. Гений Байрона бледнел с его молодостию. В своих трагедиях, не выключая и Каина, он уже не тот пламенный демон, который создал Гяура и Чильд-Гарольда. Первые две песни Дон-Жуана выше следующих».

Словом, сделал свое дело и не задерживайся, не портить впечатление. Так же — и к себе.

Пушкин не отмечал в себе человеческое и не подавлял его, он предоставлял ему волю, простор и весьма благосклонно смотрел на все его проделки и ухищрения, отдаваясь им с открытой душой. Но строго держал дистанцию между собою и человеком и, прощая тому многое, может быть слишком многое в житейском плане, был суров и взыскателен, когда впускал его в свои поэтические апартаменты, и беспрестанно осаживал, как лакея, — знай свое место. Он не давал ему возноситься и упиваться собой и для того писал о себе нелюбезно, с сочувствием и презрением наблюдая, как мечется этот Евгений. Дистанция, неуступчивая позиция Пушкина позволяла ему следить за ним с зоркостью, невозможной, немислимой для автора, отождествляющего себя с человеком, трезво взвешивая все про и contra и создавая в общем нелестный и неутешительный портрет

Таким изображен Онегин, опять Евгений, опять мирская суета, посредственность, в которой всё и ничего от Пушкина, поскольку в нем субъект, знакомый до ногтей,

свой, бесконечно свой, разъят по косточкам поэтом, поднявшимся над человеком. Эпиграф к пушкинскому роману (по-французски, «из частного письма») приоткрывает, как сделан портрет Онегина (читаем, учитывая, что «он» скорей всего здесь — автор): «Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках — следствие чувства превосходства, быть может мнимого».

Откуда берется эта «особенная гордость», этот воображаемый взгляд сверху на собственную некрасоту и достоинства? Очевидно, от поэта-Пушкина, выделившего Онегина как свою человеческую эманацию и спокойно ее рассматривающего — со смесью симпатии и злорадства.

В то время, когда романтики из кожи лезли, чтобы выйти в Корсары, Пушкин предпринял обратный ход и вышел в люди, отступил в тень человека самого обыкновенного, пошлого. Если сопоставить Онегина с Пушкиным (а в романе они сопоставлены), прежде всего в глаза бросается «разность», ухватясь за которую, автор путает карты подсказками, что, де, «я был озлоблен, он угрюм», и долго не мог привыкнуть «к его язвительному спору, и к шутке, с желчью пополам, и злости мрачных эпиграмм» (уж по части-то эпиграмм хотя бы Пушкин задал бы жару Онегину!). Всё это замечает следы в действительном соотношении сил. Взятый как относительно целостный образ (хоть в сущности он не таков), каким он видится издали, в качестве литературного типа, Онегин не походит на Пушкина (что общего с Пушкиным у того, в ком нет ни грана поэзии?), тогда как по частностям и мелочам настолько с ним совпадает, что, кажется, автор смотрелся в зеркало, списывая черту за чертой: поверхностность, светскость, лень, безверие, внимание к ногтям и т. д. Получилась человеческая пародия на поэта, нуль без палочки (палочка — поэт), утратив которую любая пушкинская натуральность становится на себя непохожей, превращается в кислятину, о которой и думать противно (так, великолепная лень поэта стала обыкновенным бездельем бесталанного лоботряса, любовное переполнение выхолостилось в бесполоую «науку страсти нежной», и если поэта-Пушкина убили на дуэли, то человек-Онегин сам не преминул убить без причины такого же, как он, тривиального друга-певца), — всё потеряло смысл, содержание, и разве что респектабельная форма означена

довольно умного по житейским критериям, умеющего вести себя Нулина.

Более унизительной анатомии человеческого организма в ту пору никто не производил, и чтобы скрасить впечатление, оправдать затраты на эту разлезаящуюся под скальпелем психическую ткань, автор наделяет ее приметами среды и времени, названиями от скуки перелистанных книжек и перепробованных блюд, то делая Евгения человеком толпы, добрым малым, каких много, то, противореча себе, высасывает из пальца «мечтам невольную преданность, неподражательную странность» (хоть тот ни о чем не мечтает и сплошь состоит из вялых подражаний), так что его в итоге можно тянуть куда угодно — и в лишние люди, и в мелкие бесы, и в карбонарии, и просто в недоросли, отчего нестойкий характер окончательно разваливается, освобождая место для романа в стихах. Короче, от пушкинской личности, препарированной этим способом, в Онегине ничего не осталось, но плавает перед глазами невнятица, над которой второе столетие бьются педагоги и школьники, пытаются домыслить и выудить образ по частям — из той требухи, что вывалил Пушкин, лихо рассчитываясь с чортом, сосущим его изнутри, как глиста, как некое «я», взятое напрокат, заимствованное у человеческих современников, затем что поэту надо ведь жить, ведь человек же он все-таки...¹

Нет, через Онегина, с его размазанным лицом, с его зевающей во весь рот бездуховностью, не перебросить мостик к Пушкину. Здесь требуется иного сорта характер, пусть и погрязший в массе, а всё же высовывающийся в историю как претендент на высший пост, пускай без прав, пускай позорным клеймом отмеченный пройдоха, а всё ж король (король-то голый!), тщеславный, громкий, из толпы в поэты метящий, похлеще Онегина, здесь нужен — Хлестаков! Находка Гоголя, но образ подсказан Пушкиным, подарен со всей идеей «Ревизора». Не зря он «с Пушкиным на дружеской ноге»; как тот — толпится и французит; как Пушкин — юрок и болтлив, развязен, пуст, универсален, чистосердечен: врет и верит, по слову Гоголя — «бесцельно».

¹ Бесовское прошлое Онегина увидела Татьяна во сне, где он возглавляет адскую шайку. Эта первоначальная природа его образа просвечивает в «Уединенном домике на Васильевском», откуда можно сделать вывод, что в своем окончательном виде Онегин — это трансформированный посрамленный бес, из соблазнителей попавший в потерпевшие и превращенный в человека с нулевым значением. Примечательно, что из того же «Уединенного домика» другая дорожка ведет к Евгению «Медного всадника».

Ну чем не Пушкин? — «Представляет себя частным лицом», а сам — «инкогнито проклятое», «с секретным предписанием», «в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и в лице этакое рассуждение...»

«Не генерал, а не уступит генералу», «— А один раз меня приняли даже за главнокомандующего: солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем». «...Когда же гуляет в обыкновенном виде, в шинели, то уж непременно одна пола на плече, а другая тянется по земле. Это он называл: по-генеральски» (В. Яковлев. Отзывы о Пушкине с юга России. Одесса, 1887).

А сколь оборотлив! То Анна Андреевна, то Марья Антоновна. «— Так вы в нее?...» «— Для любви нет различия».

Конечно, не поэт. Хотя: «— Я, признаюсь, сам люблю иногда заумствоваться: иной раз прозой, а в другой и стишки выкинуты... У меня легкость необыкновенная в мыслях».

Но шутки в сторону. Налицо глубокое, далеко идущее сходство. Как это ни странно выглядит, но если не ездить в Африку, не удаляться в историю, а искать прототипы Пушкину поблизости, в современной ему среде, то лучшей кандидатурой окажется Хлестаков. Человеческое alter ego поэта.

Самозванец! А кто такой поэт, если не самозванец? Царь?? Самозванный царь. Сам назвался: «Ты царь: живи один...» С каких это пор цари живут в одиночку? Самозванцы — всегда в одиночку. Даже когда в почете, на троне. Потому что сами, на собственный страх и риск, назвались, и сами же знают, о чем никто не должен догадываться: что (переходя на шепот) никакие они не цари, а это так, к слову пришлось, и что (еще тише) сперва будет царь, а потом — казнь.

Знал, что дарить Гоголю. Лжедмитрий — Пугачев — Хлестаков. Но если взглянуть повнимательней, самозванцы у Пушкина — в любом звании. Погода, что ли, такая настала, только у него персонажи тронулись с мест и бросились кто куда, лишь бы не в свои сани. Барышня — в крестьянки, улан — в кухарки, Алеко — в цыганы, Дубровский — в бандиты, беглый чернец — на царский престол. «Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств: детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством!»

Самое золотое для поэтов времечко. Они тоже подались вслед за Хлестаковым — в Пушкины, в Гоголи. Никого не

удержишь. Сам себе — царь. Начались неприятности. Все люди — как люди, и вдруг — поэт. Кто позволил? Откуда взялся? Сам. Ха-ха. Сам?!

Пушкин больше других почувствовал самозванца. Кто еще до таких степеней поднимал поэта, так отчаянно играл в эту участь, проникался ее духом и вкусом? Правда, поэт у него всегда свыше, милостью Божьей, не просто «я — царь», а помазанник. Так ведь и у самозванцев, тем более у пушкинских самозванцев, было сознание свыше им выпавшей карты, предназначенного туза. Не просто объявили себя, а поверили, что должны объявиться. Врут — и верят. «Тень Грозного меня усыновила!..»

Смотрите-ка: Пушкина точно так же усыновила тень Петра! Дедушка-крестник? Знаем мы этих крестников!.. Ведь точно такой же трюк выкинул Пугачев. Еще не замышляя никаких мятежей, а много раньше, ради красного словца, и Пушкин, очевидно, не знал этой интересной детали. Не знал, но повторил — в своей биографии.

Еще на действительной службе Пугачеву как-то случилось напиться, и спьяну он хвастал саблей (хорошее оружие давали за какие-нибудь заслуги). «А как он еще заслуг никаких тогда не зделал, а отличным быть всегда хотелось, то сказал: сабля ему пожалована, потому что он крестник государя Петра. Сие сказано, заклиняется злодей, ни от каких иных намерений, кроме, чтоб тем произвесть в себе отличность от других. Слух сей пронеся между казаков и дошел до полковника Ефима Кутейникова, но, однакож, не поставили ему сие слово в преступление, а только смеялись» (Протокол допроса 2—6 октября 1774 г. в Симбирске).

И Пушкину и Пугачеву ссылка на петровского крестника внутренне послужила трамплином, для того чтобы прыгнуть в Петры. Отличность же в себе от других произвесть Пушкину всегда улыбалось (общая черта поэтов и самозванцев). Но более, чем во внешних приметах, она, эта отличность, давалась и подтверждалась в судьбе: человеку вдруг начинало подозрительно везти. У Пушкина мы помним, как это случилось, — так же у Пугачева. «Что ж принадлежит до его предприятий завладеть всем, — в том и сам удивляется, что был сперва очень щастлив, а особливо при начале, как он показался у Яицкаго городка, было только согласников у него сто человек, а не схватили. Почему и уповает, что сие попушение Божеское к нещастию России» (Рапорт П. С. Потемкину гвардии капитан-поручика С Маврина о поимке Пугачева, 15 сентября 1774 г.).

Такое везение, принятое за потакание, за согласие в последней инстанции, и толкает самозванца на решительные шаги, тем же в какой-то мере оправданные в глазах Пушкина. Лжедмитрий ему предпочтительнее и в некотором роде законнее Бориса. Тот захватил чужой престол хитростью и насильем и прилагает горы стараний, чтобы на нем удержаться, тогда как Самозванцу царство само упало к ногам, как созревшее яблоко. «Всё за меня: и люди и судьба».

Поэтому в несколько бледном характере Лжедмитрия (он слишком красивая, кратковременная игрушка в руках Фортуны) всё же вырисовывается петровско-пушкинский психологический тип: пылкое, великодушное сердце, доверчивость к переменам судьбы, способность нерасчетливо идти навстречу первому впечатлению. Подобно Моцарту в эпизоде с трактирным скрипачом, он готов отвлечься от царства ради издыхающей лошади; подобно Петру, добром отзывается о побившем его противнике и после военного разгрома засыпает младенческим сном. Поистине Лжедмитрий у Пушкина прирожденный царевич: на нем видна печать чудесного благоволения.

*Приятный сон, царевич!
Разбитый в прах, спасаясь побегом,
Беспечен он, как глупое дитя;
Хранит его, конечно, провиденье;
И мы, друзья, не станем унывать.*

Царственными повадками блещет и пушкинский Пугачев. Ведь чем его покорил проезжий барчук — тем единственно, что по-царски его пожаловал тулупчиком с собственного плеча. Не тулупчик дорог — плечо. Это в натуре самого Пугачева: «Казнить так казнить, миловать так миловать!» — и он платит Гриневу сторицей, среди прочих милостей не забыв наградить ответным широким жестом — овчинной шубой с своего плеча.

Но самозванцы у Пушкина не только цари, они — артисты, и в этом повороте ему особенно дороги. Димитрий показан даже покровителем «парнасских цветов», причем его меценатство — «Я верую в пророчества пиитов» — отдает высокой, родственной заинтересованностью. Ибо самозванцы тоже творят обман по наитию и вдохновению, вынашивают и осуществляют свою человеческую участь как художественное произведение. «Монашеской неволею скучая, под кло-

буком, свой замысел отважный обдумал я, готовил миру чудо...»

А чудо его вышло из Чудова монастыря. Колыбелью Григорию-Димитрию послужила келья Пимена. При несходстве возрастов и характеров они собратья по ремеслу, и Григорий продолжает повесть с той страницы, где оборвал ее Пимен,— он принимает эстафету от старца: «Тебе свой труд передаю». Самозванщина берет начало в поэзии и развивается по ее законам. Хотя ее сказанья пишутся кровью, облакаются в форму исторических происшествий, их авторы строят сюжет как истинные художники. «— Слушай,— сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением» (следует притча его жизни и творчества).

Оттого, между прочим, им не так уж свойственно упираться на буквальную подлинность своего царского происхождения. Поразительнее, занимательнее в художественном отношении фабула самозванца. Димитрий уверяет Марину, что отдал ей руку и сердце не царевичем, но беглым монахом: ему милее высокой должности лицо и престиж артиста — как придумано, сыграно, какая в этом сила искусства!

Этот острый сюжет в сочетании с задачей новоявленного царя — добыть державу и трон эффектами в первую голову своей заразной личности (его успех в немалой мере обязан артистическому чутью и таланту) — превращает судьбу самозванца в поле театрального зрелища. Все на него смотрят, сличают, гадают; толпа и участник и зритель исторической драмы, аплодирующий одному актеру.

Уже первый выход Пугачева на публику (не в царских регалиях, а в первозданном виде бродяги-проводятого) обставлен как необыкновенное зрелище. Всё внимание устремлено на внешний облик героя, слезающего с полатей, которому уготовано центральное место в событиях, еще не начавшихся, но уже замешанных на средствах по преимуществу зрелищного воздействия. «Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худошав и широкоплеч». Фраза звучит нелепо — ничего замечательного в обещанной наружности нет. Да и Гринев еще не ведает, с кем имеет дело, чтобы пялить глаза на встречного мужика. Не ведает, а пялит: сей мужик — спектакль, притом поставленный так, что нелепая фраза окажется прозорливой. Пугачев сыграть не того царя, на чей титул он зарится, но приснившегося Гриневу чернобородого мужика, царя-самозванца, царя-Емельяна. В этом

вновь обнаруживается поэтическая натура пушкинской инсценировки. У него самозванщина живет, как искусство,— не чужим отражением, но своим умом и огнем. Она своевольна, самодержавна. Пугачев нигде не переигрывает (что, казалось бы, неизбежно в такого направления пьесе), но выявляет свое подлинное лицо, свою царственную природу, отчего его довольно простоватая внешность приводит всех в изумление.

«Необыкновенная картина мне представилась: за столом, накрытым скатертью и уставленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожам и блистающими глазами». Опять необыкновенная! Что он пьяных мужиков не видел, что ли? Нет, необыкновенно то, как они, с каким артистизмом, на свой пьяный, на свой разбойничий лад, играют в цари и поэты. Они свою судьбу каторжников и висельников разыгрывают по-царски. «Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным,— всё потрясло меня каким-то пиитическим ужасом».

Вальтер-Скоттовские формы домашнего вживания в мировую историю, где великие люди показаны как частные лица (Екатерина Вторая в ночном чепце и душегрейке), перемежаются в «Капитанской дочке» мизансценами и декорациями, выполненными в характере площадной, народной драмы. Опыт «Бориса Годунова», вместе с преемственностью по династической линии Гришки Отрепьева—Емельки Пугачева, здесь учтен и развит писателем, утверждавшим зрелищный дух народного театра и нашедшим ему применение в условиях самозванного действия. «Драма родилась на площади и составляла увеселение народное. Народ, как дети, требует занимательности, действия. Драма представляет ему необыкновенное, странное происшествие. Народ требует сильных ощущений, для него и казни—зрелище. Смех, жалость и ужас суть три струны нашего воображения, потрясаемые драматическим волшебством» («О народной драме и драме „Марфа Посадница“»).

Представление подобного рода разыграно в «Полтаве», где зрелище казни без стеснения ударяет по выше-названным струнам, со сценой-плахой и гиперболическим палачом на главных ролях, с лубочной эстетикой крови и топора, доставляющей глубокий катарсис многотысячному зрителю. Нам остается удивляться, как орга-

нично воспринял Пушкин эти вкусы балагана, чуждые его среде и эпохе.

*...Средь поля роковой помост.
На нем гуляет, веселится
Палач и алчно жертвы ждет:
То в руки белые берет,
Играючи, топор тяжелей,
То шутит с черню веселой...
.....
.....И вот
Идут они, взошли. На плаху,
Крестясь, ложится Кочубей.
Как будто в гробе, тьмы людей
Молчат. Топор блеснул с размаху,
И отскочила голова.
Всё поле охнуло. Другая
Катится вслед за ней, мигая.
Зарделась кровью трава —
И, сердцем радуясь во злобе,
Палач за чуб поймал их обе
И напряженною рукой
Потряс их обе над толпой.*

Пугачевщина как явление народного театра, с подмостков шагнувшего в степь и вовлекшего целые губернии в карнавал пожаров и казней, снабдила режиссерский замысел Пушкина прекрасным материалом. Дворец-изба, оклеенный золотой бумагой, но сохранивший всю первобытную обстановку — с шестком, ухватом, рукомойником на веревочке; «енерал» Белобородов, в армяке, с голубой лентой через плечо; рваные ноздри второго «енерала» — Хлопуши; виселица в качестве декоративного фона (на нее надо — не надо натывается Гринев, педалируя стереотипный эффект ужасного зрелища: «Виселица с своими жертвами страшно чернела», «Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу», и еще раз и еще) — всё это необходимый балаганный антураж для главного лица, отлично исполняющего традиционную роль Государя — смешение крайней жестокости с крайним же великодушием, но еще более захватывающего в другой роли — в собственной шкуре царственного вора, художника своей страшной и занимательной жизни. Для него главный спектакль впереди, и виселицы, сопровождающие шествие самозванца, ведут нас туда, к завершающему акту трагедии. Едва начав восхождение,

самозванец знает финал и идет к нему, не колеблясь, как к обязательной в сюжете развязке, к своему последнему зрелищу.

*Мне снилось, что лестница крутая
Меня вела на башню; с высоты
Мне виделась Москва, что муравейник;
Внизу народ на площади кипел
И на меня указывал со смехом,
И стыдно мне и страшно становилось...*

Смех. Жалость. Ужас. Пушкину досталось всё это испытать на себе. Как он лично ни уклонялся от зрелища, предпочитая выставлять напоказ самодеятельных персонажей, не имеющих авторской вывески, их участь его настигла. Потому что сама поэзия есть уже необыкновенное зрелище. Потому что давным-давно он поднял занавес, включил софиты, и стать невидимым уже было нельзя.

Бывает, приходит срок, и находившийся всю долгую жизнь вне поля зрения автор, избегавший высказываться от собственного лица (ради невинных птичек, о которых, в прекрасной безвестности, он что-то там щебетал невнятное на птичьем языке), вынужден напоследок принять участие в зрелище, даже не им затеянном, словно какой-нибудь Байрон, от которого ему бы бежать и отрещиваться, как от чумы. «Гул затих. Я вышел на подмостки...»

Пушкину еще невозможнее было уйти из жизни тихо и незаметно, как ему бы хотелось, потому что всякий мальчишка на улице узнавал его издали и цитировал: «Вот перешед чрез мост Кокушкин...» (далее нецензурно)¹. Его фотогеничная личность уже стала сюжетом сплетни. С его же слов все достоверно знали — с кем, когда, где и о ком, и были в курсе, и держали на мушке, и ждали, что будет дальше. «Народ требует сильных ощущений, для него и казни — зрелище». Приходилось умирать на виду, на площади.

Тынянов, кажется, огорчался, что дуэль Пушкина, изученная в деталях и раздутая сонмом биографов, лирических откликов, обещаний клятвенно отмстить за него, театральных постановок, кинофильмов и просто досужих домыслов, скрыла от зрителей дело поэта, художника. Как будто не

¹ Можно заменить любой другой, по читательскому вкусу, цитатой. Например: «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»

художник ее оформил! Как будто она не была итогом его трудов!..

Может, и не была. Откуда нам знать? Может, стрелял человек, доведенный до крайности, загнанный поэтом в тупик, в безвыходное положение. Потому что сплетню, которая свела его в могилу, первым пустил поэт. Это он всё так организовал и подстроил, что человек стал всеобщим знакомым, ходатаем и доброхотом, всюду сующим нос и получающим публично затрещины. Это он, поэт, понуждал человека раскланиваться и улыбаться, заговаривая с каждым прохожим: «Гм! гм! Читатель благородный, здорова ль ваша вся родня?» На что и читатель охотно интересуется: а у тебя, Пушкин, вся родня в порядке?

Ох, как рискованно впускать в стихи биографию, демонстрировать на подмостках лицо. Это же самозванство! Начнут доискиваться, кто таков, на ком женился, зачем стрелялся.

«— Кто же я таков, по твоему разумению?

— Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку».

Сплетня, пущенная поэтом, набирала ярость. Но главный позор ждал впереди, за смертью, за дуэлью, которая — и он это подозревал, заранее содрогаясь, — разроет прожектором все закоулки так ярко прерванной жизни, любое пятнышко на жилете обратит в размалеванный туз. С дуэлью весь, подогреваемый издавна, интерес к его занимательной личности, к молве, к родне, послужившей причиной выстрела, достиг невиданной тяжести, какая только может обрушиться на человека.

Что, спрошу я прямо, потому что жизнь коротка, и вызов послан, и увертками уже не поможешь, что Пушкин, знавший себе цену, не знал, что ли, что века и века всё слышавшее о нем человечество, равнодушное и обожающее, читающее и неграмотное, будет спрашивать: ну а все-таки, положи руку на сердце, дала или не дала? был грех или зря погорячился этот Пушкин? Если не вслух, интеллигентные люди, то мысленно, в журналах, в учебниках. Потому что не в постели, а на сцене умирал Пушкин. Не на даче, а на плахе целовалась или не целовалась Наталия Николаевна с прекрасным кавалергардом. Выстрел озарил эту группу бенгальским огнем.

— Ну а все-таки?..

От одной этой мысли... «Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе...»

Мы не знаем, кто стрелял. Возможно, стрелял человек, Евгений, сумасшедший Евгений. В поэта, в Медного Всадника. Пуля отскочила.

Поэта ведь не убьешь, не пробьешь. Он будет расти, цвести, набираться славы и распускать позорный слух о Пушкине по всей планете, всяк суший в ней язык... «Добро, строитель чудотворный!..» Но умирать-то приходится человеку.

«...Узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу».

Нет, не могу, не имею права согласиться с Тыняновым. Что ни придумай Пушкин, стреляйся, позорься на веки вечные, всё идет напрокат искусству — и смерть, и дуэль, всё оно превращает в зрелище, потрясая три струны нашего воображения: смех, жалость и ужас. Площадная драма, разыгранная им под занавес, не заслоняет, но увенчивает поэзию Пушкина, донося ее огненный вздох до последнего оборванца. И в своей балаганной форме (из которой уже не понять и не важно, кто в кого стрелял, а важно, что все-таки выстрелил) правильно отвечает нашим общим представлениям о Пушкине-художнике. Покороче узнать — читайте стихи и письма, для первого — самого общего и верного впечатления довольно дуэли. Она в крупном лубочном вкусе преподносит достаточно близкий и сочный его портрет: «...Чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст!» (притча Пугачева).

Фигура Пушкина так и осталась в нашем сознании — с пистолетом. Маленький Пушкин с большим-большим пистолетом. Штатский, а погромче военного. Генерал. Туз. Пушкин!

Грубо, но правильно. Первый поэт со своей биографией — как ему еще прикажете подышать, первому по эту, кровью и порохом вписавшему себя в историю искусства?

Знай наших! Штатские обрадовались. Началась литература как серьезное — не стишки кропать! — не считающееся с затратами зрелище. Как одним этим шагом — к барьеру! — он перегнал себя и оставил потомкам рецепт поэта. Как одним этим выстрелом он высказался до конца и ответил всем своим лицам: негру, царю, самозванцу!..

Расплачиваться за всех достается человеку.

Но есть еще один, кого вся эта пальба, возня, весь этот хохот и стон не достигли. Кто как стоял в протрации, так

и стоит. Он всегда в остатке, вне смерти, вне жизни, вне зрелища. Его сплетня не рассердила, слава не обрадовала. Ему всё равно.

*Не для житейского волнения,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновения,
Для звуков сладких и молитв...*

Может быть даже, это он подал знак — стреляйте. Не с тем, чтобы вмешаться в игру, а просто чтобы тот, на земле, не мучился. Или — вышло время, пора на покой.

От него всё исходит и продолжается в Пушкине, но сам он ни в чем не участвует, предоставив всему идти своим чередом. Разве что молчаливым присутствием вносит иногда разногласия в сочинения автора, чья личность, точно вспомнив о нем, принимается себя отрицать и противоречить себе чуть ли не в каждом пункте. Начинаются неувязки.

Самый доступный в мире, понятный даже детям, писатель вдруг рекомендуется: «непонимаемый никем». Самый компанейский, самый общительный Пушкин внезапно леденеет: «живи один». Самый веселый и разговорчивый автор объявляет себя молчальником: «уныл и нем». Самый пылкий и взбалмошный: «но ты останься тверд, спокоен и угрюм».

Да что же это такое? Как фамилия? Не знаем. «Инкогнито проклятое».

Всё в Пушкине произведя, всё наладив по-пушкински, он тут же от него отмежевывается и твердит: не то, не так, не такой. Такое негативное определение художником собственной природы и образа называется чистым искусством.

Этого еще не хватало! Искусство — чистое? Нонсенс. Искусство и так стоит в чрезвычайно подозрительном отношении к жизни, а тут еще — чистое! Да возможно ли, к лицу ли искусству быть чистым? Никогда. Не одно так другое. Правильно говорят: нет и не бывает чистого искусства. Взять того же Пушкина. Декабристов подбадривал? Царя-батюшку вразумлял? С клеветниками России тягался? Милость к падшим призывал? Плаголом сердца жег? Где же — чистое?!!

Молчит идол. Только глазами хлопает. Да раз в столетие выдаст — хоть святых выноси:

...Поет он для забавы,
Без дальних умыслов; не ведает ни славы,
Ни страха, ни надежд...

Или цыкнет на своего же товарища, вменяющего поэтам в обязанность «согревать любовь к добродетели и воспалить ненавистью к пороку»: «Ничуть. Поэзия выше нравственности — или по крайней мере совсем иное дело» (Заметки на полях статьи П. А. Вяземского «О жизни и сочинениях В. А. Озерова»).

К идеям чистого искусства Пушкин пришел не вдруг и первое время, как было сказано, отводил своим безделушкам вспомогательное, прикладное значение по бытовому обслуживанию дружеского и любовного круга. Он писал ради того, чтобы поставить подпись в альбоме, повеселить за столом, сорвать поцелуй. Но уже за этими, явно облегченными задачами творчества угадывалась негативная позиция автора, предпочитавшего работать для дам, с тем чтобы избавиться от более суровых заказчиков. В женских объятиях Пушкин хоронился от глаз начальства, от дидактической традиции восемнадцатого века, порывавшейся и в новом столетии пристроить поэта к месту. За посвящением «Руслана»: «Для вас, души моей царицы, красавицы, для вас одних...» — стоит весьма прозрачный отрицательный адресат: не для богатырей. Людмила исподволь руководила Русланом, открывая лазейку в независимое искусство.

Вскоре, однако, ему и этого показалось мало: «Я не принадлежу к нашим писателям 18 века: я пишу для себя, а печатаю для денег, а ничуть не для улыбок прекрасного пола» (письмо к П. А. Вяземскому, 8 марта 1824 г.).

На наших писателей прошлого века здесь возведен поклеп. Те когда и писали для улыбок прекрасного пола, то в основном — коронованного. Литературу тогда ведь больше курировали императрицы. Другое дело Пушкин, сколотивший на женщинах состояние, нашедший у них и стол и дом. Давно ли было: «для вас одних»? Давно ли он распинался: «Поэма никогда не стоит улыбки сладострастных уст»? И вот все улыбки по боку (верь ему после этого). «Для себя и для денег». Ишь скряга.

Деньги ему действительно были нужны позарез. Но, помимо материальной поддержки, они, как и женщины, выполняли роль укрытия, благонамеренной ширмы. В одном полуофициальном письме Пушкин именуется свои писательские занятия «отраслью честной промышленности», обес-

печивающей ему приличный доход. Промышленность — звучала солидно, пользовалась льготами, разумела свободное, частное предпринимательство. Под этой маркой он и развернулся, предпочтя прослыть коммерсантом, нежели кому-то служить. Он во всю торговал рукописями, лишь бы не продавать вдохновение.

С другой стороны, «деньги» вчистую увольняли от узко-потребительских целей раннего периода. Поставив на широкую ногу литературное производство, Пушкин уже свысока посматривал на прикладные обязанности, на «отдохновение чувствительного человека», как презрительно аттестовал он теперь привычку стихотворными средствами украшать досуг, развлекать себя и своих домашних.

Наконец, ударение для денег означало — не для славы, не ради поэтических лавров.

Мы видим, как, подменяя одни мотивы другими (служение обществу — женщинами, женщин — деньгами, высокие заботы — забавой, забаву — предпринимательством), Пушкин постепенно отказывается от всех без исключения, мыслимых и придаваемых обычно искусству, заданий и пролагает путь к такому — до конца отрицательному — пониманию поэзии, согласно которому та «по своему высшему, свободному свойству не должна иметь никакой цели, кроме себя самой». Он городит огород и организует промышленность, с тем чтобы весь ею выработанный и накопленный капитал пустить в трубу. Без цели. Просто так. Потому что этого хочет высшее свойство поэзии.

У чистого искусства есть отдаленное сходство с религией, которой оно, в широкой перспективе, наследует, заполняя создавшийся вакуум новым, эстетическим культом, выдвинувшим художника на место подвижника, вдохновением заместив откровение. С упадком традиционных уставов, оно оказывается едва ли не единственной пристанью для отрешенного от мирской суеты, самоуглубленного созерцания, которое еще помнит о древнем родстве с молитвой и природой, с прорицанием и сновидением и пытается что-то лепетать о небе, о чуде. За неимением иных алтарей искусство становится храмом для одиноких, духовно одаренных натур, собирающих вокруг щедрую и благодарную паству. Оно и дает приют реликтам литургии, и профанирует ее по всем обычаям новой моды. Сознание своего духовного первородства мешается с эгоизмом личного сочинительства, сулящего поэту бессмертие в его созданиях,

куда его душа («нет, весь я не умру...») переселяется, не веря в райские кущи, с тем большим жаром хватаясь за артистический паллиатив. Собственно, обожествленное творчество самим собою питается, довольствуется и исчерпывается, определяемое как божество, по преимуществу негативно: ни в чем не нуждающееся, собой из себя сияющее, чистое, беспельное.

Всё это неизбежно выродилось бы в самую злую пародию (и практически вырождается, чуть только духовный источник ослабнет или заглохнет, обращая новоявленный клир в обыкновенную богему), когда б искусство, в самом деле по-видимому, не располагало потенциалом, позволяющим ему, по уши погруженному в пошлость, внезапно, спонтанно загораться и воспарять. Дайте только повод, и чуждое всему, забывшее о небесных дарах, оно откроет в душе «и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь».

Вдохновенью в данном ряду найдено очень точное место — где-то между «божеством» и «любовью». Помимо религиозных эмоций, в чистом искусстве всегда есть привкус распутства. Недружелюбная формула, примененная невзначай к Ахматовой: «барынька, мечущаяся между будуаром и моленной», — правильно определяет природу поэзии, поэзии вообще, как таковой, передает зыбкую сущность искусства в целом. К числу этих барынек принадлежала и Муза Пушкина.

Стремясь подобрать дефиниции эмоциональному состоянию, ведущему к научным открытиям (имеющим в данном случае больше сходства с искусством, как и состояние это — с поэтическим вдохновением), Альберт Эйнштейн пояснял, что оно напоминает религиозный экстаз или влюбленность: «непрерывная активность возникает не преднамеренно и не по программе, а в силу естественной необходимости» (письмо к Максу Планку, 1918 г.). Такое подтверждение пушкинских (да и многих других чистых поэтов) мыслей, посвященных той же загадке, слышать из уст ученого вдвойне приятно.

Не этому ли колебанию между религией и эротикой (а может быть, их сочетаниям в разных дозах и формах) мы обязаны сиянием, которое как бы исходит от лица художника и его творений, специфическим ароматом, душистостью (к чему так чувствительны, по-пчелиному, женщины)? Состояние произвольной активности, вечной, беспредметной влюбленности, счастливой полноты совмещается у поэтов с монашеской жаждой покоя, внутрен-

ней сосредоточенности, с изнурительным, ничему не внимающим, кроме своего счастья, постом. Сравните: конфликт с миром, разрыв с моралью, с обществом — и почти святость, благодать, лежащая на людях искусства, их странная влиятельность, общественный авторитет. Пушкин! — ведь это едва не государственное предписание, краеугольный камень всечеловеческой семьи и порядка, — это Пушкин-то, сказавший: «Подите прочь — какое дело поэту мирному до вас!»? А мы не обижаемся, нам всем до него дело, мы признаем его чару над нами и право судить обо всем со своей колокольни.

Чистое искусство — не доктрина, придуманная Пушкиным для облегчения жизни, не сумма взглядов, не плод многолетних исканий, но рождающаяся в груди непреднамеренно и бесцельно, как любовь, как религиозное чувство, не поддающаяся контролю и принуждению — сила. Ее он не вывел умом, но заметил в опыте, который и преподносит им как не зависящее ни от кого, даже от воли автора, свободное излияние. Чистое искусство вытекает из слова как признак его текучести. Дух веет, где хочет.

*И забываю мир — и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем...*

Попробуйте подставить сюда какую-то цель, ограничить или обусловить процесс... Но именно потому, что это искусство свободно и повинуетя лишь «движению минутного, вольного чувства» (как Пушкин именовал вдохновенье), оно имеет привычку ускользать из любых, слишком цепких, объятий, будь то хотя бы пальцы почитателей прекрасного, и не укладывается в свои же собственные чистые определения. Пушкинские кивки и поклоны в пользу отечества, добра, милосердия и т. д. — не уступка и не измена своим свободным принципам, но их последовательное и живое применение. Его искусство настолько бесцельно, что лезет во все дырки, встречающиеся по пути, и не гнушается задаваться вопросами, к нему не относящимися, но почему-либо оставившими автора. Тот достаточно свободен, чтобы позволить себе писать о чем вздумается, не превращаясь в доктринера какой-либо одной, в том числе бесцельной, идеи.

*Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум...*

Ландшафт меняется, дорога петляет. В широком смысле пушкинская дорога воплощает подвижность, неуловимость искусства, склонного к перемещениям и поэтому не придерживающегося твердых правил насчет того, куда и зачем идти. Сегодня к вам, завтра к нам. Искусство гуляет. Как трогательно, что право гуляния Пушкин оговорил в специальном параграфе своей конституции, своего понимания свободы.

*По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам...
.....
Вот счастье! вот права...*

Искусство зависит от всего — от еды, от погоды, от времени и настроения. Но от всего на свете оно склонно освобождаться. Оно уходит из эстетизма в утилитаризм, чтобы быть чистым, и, не желая никому угождать, принимается кадить одному вельможе против другого, зовет в сражения, строит из себя оппозицию, дерзит, наивничает и валяет дурака. Всякий раз это — иногда сами же авторы — принимают за окончательный курс, называют каким-нибудь термином, течением и говорят: искусство служит, ведет, отражает и просвещает. Оно всё это делает — до первого столба, поворачивает и —

Ищи ветра в поле.

Некоторые считают, что с Пушкиным можно жить. Не знаю, не пробовал. Гулять с ним можно.

1966—1968. Дубровлаг.

Голос

из хора

Моей жене Марии
посвящаю эту книгу,
составленную
едва ли не полностью
из моих писем к ней
за годы заключения.
1966—1971

...Книга, которая ходит вперед и назад, наступает и отступает, то придвигается вплотную к читателю, то убегает от него и течет, как река, омывая новые страны, так что, когда мы по ней плывем, у нас начинает кружиться голова от избытка впечатлений, которые при всем том текут достаточно медленно, предоставляя спокойную возможность обозреть их и провожать глазами, книга, имеющая множество сюжетов при одном стволе, которая растет, как дерево, обнимая пространство целостной массой листвы и воздуха,—как легкие изображают собой перевернутую форму дерева—способная дышать, раздаваясь вширь почти до бесконечности и тут же сжимаясь до точки, смысл которой непостижим, как душа в ее последнем зерне.

I

— Я буду говорить прямо, потому что жизнь коротка.

...Вообще интересно, как человек ищет лазейку, чтобы существовать. И ставит себе вопрос: а что если попробовать жить от противоположного? когда невозможно? когда самая мысль гасится усталостью и равнодушием ко всему? И вот тут-то, на этой голой точке, встать и начать!

Здесь всё немного фантастично — и лица, и вещи. Всё немного «воображаемый мир». Токи ожиданий (конца — срока, жизни, света) сообщают мельчайшим фактам необычную возбужденность. Солнце низко над горизонтом, и поэтому тени длиннее.

Я вдруг убедился, какую роль для художника играет живая натура, доколе она не просто объект изображения, но метафора и дыхание его внутреннего мира. Для художника великое дело найти свою натуру. Ему всегда не хватает действительности, и он вынужден выдумывать. Когда же волей случая или силой судьбы ему подвертывается жизнь, отвечающая его мыслям, он счастлив. Он смотрит на эту страну и говорит «моя», точно она предназначена единственно для его созерцания. Смотреть на нее и радоваться приметам, родственным его распростертой, рвущейся навстречу душе, доставляет такое же полное наслаждение, как сочинение тобой же запроектированной картины. Ты узнаешь себя в окружающем и чувствуешь, как в эти минуты жизнь достигает силы и насыщенности искусства. И нет нужды — сумеешь ли ты воплотить свое открытие. Оно дано тебе во владение, и этого достаточно. Так Пушкин впервые встретился с Бессарабией и наблюдал еще не написанных, но уже готовых цыган. Так Лермонтов застыл на века перед панорамой Кавказа.

...Был и нету тебя. Ты только форма. Содержание — не ты, не твое. Запомни, ты только форма!

Они не живут — они существуют.
(Заключенные в лагере)

— Смотри: луна в окне — как живая!

Если жизнь пуста и скудна, одежда сера, то на этом бескрасочном фоне лицу предоставлено право повышенной изобразительности. Ему отводится место — восполнить недостающие звенья и ответственность за человека. И вот лицо становится откровенно утрированным. Почему у городских, у приличных в общем-то лиц появляется невнятность? Контуры затерты, ступены неопределенным жирком — при наличии характера, костюма и положения. Но в старости или в тюрьме, там, где ничего не оставлено, страдание прорезало лица, и они высунуты на зрителя: нос торчит, как копые, и глаза мечут бисер, и рот оскален, за неимением стандартной улыбки, в нескрываемой жадности — быть. Лицо несет честь последнего представительства.

Старик читает справочник по элементарной математике. Сынок прислал соседу. Ничего не понимает. Какие-то синусы-косинусы. Все равно читает. От корки до корки: сынок прислал!

(Это — к душе вещей. Если бы ты сюда кому-нибудь прислала задачник по геометрии, я, наверное, не утерпел бы и тоже взял — посмотреть. Соприкосновение с лицом важнее содержимого книги.)

— В нашей теплой компании каждый остался жив чисто случайно и помнил потом об этом и рассказывал об этом всю жизнь.

— Кто жрет, а кто спит — у каждого своя способность.

— Нас было шесть камер — убийц.

— Если спросит Господь, что самое худшее-лучшее было в жизни. Худшее — выберу четыре эпизода. А лучшее — скажу: анаша.

— Вот это нас и губит, что мы думаем, что уйдем.
(О преступлении)

— Время двигалось к opravке.
(Эпос)

— Воны смеюцца с руського человека!

— У меня организм атрофирован.

— Съешьте конфету, чтобы сладко было во рту.

...У меня все интересное, что происходит внутри и вокруг, имеет тайную сноску рассказать тебе, и я настолько привык все это сносить с тобою, что такое направление предметов к тебе и дает им смысл.

Когда меня спрашивают, что такое искусство, я начинаю тихо смеяться от удивления перед его непомерностью и своей неспособностью выразить, в чем же заключается все-таки его непрестанно меняющееся и притягивающее, как свет, содержание. Господи, всю жизнь я потратил только на то, чтобы раскусить его смысл, и вот в итоге ничего не умею и не знаю, как об этом сказать. Я говорю: «возможно», «наверное», «будем надеяться», «не есть ли оно то или то», и тотчас теряюсь в неразгаданности задачи. Поэтому так убивают определения присяжных эстетиков, в точности знающих, что оно такое (как будто это кому-нибудь удавалось, как будто это можно узнать!). Искусство всегда более-менее импровизированная молитва. Попробуйте поймать этот дым.

Все время кажется, что есть на свете какая-то книга, которую надо непременно прочесть, да только все никак не найду — какая?..

Отчего человек испытывает удовольствие?

Запоро́шенный пылью дорожно́ю,
Я вернусь на себя не похож...

С какой страстью это поется! Точно нам хочется быть на себя непохожими и узнать — хотя бы так — чудо Преображения. Весь театр отсюда, все наряды: а я — не я. Хочется тоже быть несчастным.

А у нас ни родных, ни знакомых,
И посылки нам некому слать...

Да и взять известную песню: «Теперь я горький сиротина». Он не тройкой тешился, а тем, что — сиротина.

Приятно страшное.

— И умру я страшной смертью — от огня...

Это сказано с пафосом. С дрожью в голосе от благоговения перед торжественностью взятой ноты, обетованной судьбы...

Мне жить осталось мало —
Четырнадцать часов.
Хожу по одиночке,
Хожу я взад-вперед.

И вот встает из мрака
Любимая моя —
Вся блузка окровавлена
И запах кровяной.
— Скажи мне, детка славная,
Скажи мне, что с тобой?

.....
— Скорей, не жди погони,
Пришла я за тобой!
Там за стенами кони
И сумрак голубой.

Это как в балладах Жуковского. Я почему-то вспомнил «Леонору».

Не грусти, милая. Волей судьбы мы перенесены в тот светло-зеленый, романтический период юности, когда объясняются в чувствах пылкими письмами, клянутся в дружбе навеки, делятся планами жизни и вздыхают над фотографиями. У нас не было этой увертюры, и вот она сыграна где-то в середине действия, немного невпопад, на старости лет — для восполнения пропуска. Она позволяет все начать сначала

и с толком с расстановкой пройти эти первые шаги, которые обычно пробегают, не оглядываясь, не думая о прошлом. А у нас есть на что оглянуться и на кого посмотреть, прибавив к прошлому трепетную надежду и робость бесстыдно, навзрыд произнесенного первого слова: — Возлюбленная!

6 мая 1966.

Воспоминание. Во чреве китовом. Лестницы, снасти, мачты, палуба корабля, почему-то внутри корабля, железный трюм, железные внутренности, полутьма, кажущаяся мраком в первый момент, память: «где-то в кино видал», расставленные ноги на палубе, вытянутая, настороженная шея, взмах руки, проходите, азбука жестов, заменяющая голоса, тишина, торжественное спокойствие клиники, больницы, медицинская часть — поэтому тишина. Палата. Приемный покой. Раздевайся. В тишине ненатуральное, цокающее щebetание птиц. Снасти. Стропила. Плавающий дом отдыха. Лубянская тюрьма.

Человек попадает в «ситуацию искусства» подобно тому, как, родясь, попадают в «ситуацию жизни». Тогда для него все — искусство, под каждым листком — и дом и стол. Говорят: «— Он что-то видит» (потому что — художник). А что он видит? Только одно: что все полно искусством.

Я один кругом на свете,
Без подпорок и корней,
Без родных сестер и братьев,
Без отцов и матерей.

Тут вся сила во множественном числе. Безграмотность и неправильность речи, отклонения в жаргон, в диалект смещают слово — в поле слуха. Случается, и беспризорная сказка звучит реально, несмотря на заезжий сюжет злой мачехи или чужого отца. Восемилетний ребенок слышит, как отчим — матери:

— Или он — или я!

— Не беспокойся, Степа, через неделю мы его похороним.

Тогда он убегает из дому, и начинается жизнь. «Наблюдается социальная запущенность и патологическое развитие личности» (из психиатрической экспертизы).

Когда ничего другого нет под руками, искусство начинает рассказывать о себе и на этом сюжете развязывает язык. Существовали поэты, только о том и писавшие, что они — поэты. Искусство, как женщина, вертится перед зеркалом и смотрится на себя в ожидании гостя. Бывает, весь век оно так и сидит — в девках, но это уже не имеет значения.

Хорошо, когда в песне слово тянет слово и сюжет срабатывает, как условный рефлекс.

Там в семье прокурора, безупречно отрадной,
Дочь-красотка жила с золотою косой,
С голубыми глазами и по имени Нина,—
Как отец, горделива и красива собой.

(Вероятно, правильнее: «безупречно невинной»: рифма, и по смыслу экспозиции.)

Было ей восемнадцать. Никому не доступна.
Понапрасну ребята увлекались ей —
Не подарит улыбкой, не полюбит как надо
И с каким-то презрением все глядит на людей.

(Вот и нагладелась!)

Но однажды на танцах к ней небыстрой походкой,
И прилично одет, подошел паренек,
Суеверный мальчишка из преступного мира,
Поклонился он ей и увлек на бостон.

(Правильнее, наверное, все-таки: «и на танго увлек»). Бостон показался шикарнее и выбил рифму. Прекрасен эпигет «суеверный», не имеющий никакого смысла, кроме декоративного.)

И красавица Нина, та же дочь прокурора,
Отдалась безвозвратно в его полную власть,
С немигающим взглядом и пытливостью вора
Осмотрел он ее, что козырную масть.

(Последние две строки — по высшему баллу.)

Сколько было огня, сколько было там ласки!
Воровская любовь коротка, но сильна,
Ничего он не хочет, ничего не желает,
Только тело красотки, только рюмку вина.
Но судьба уркагана изменяется быстро —
То тюрьма, то свобода, то опять лагеря...
И однажды во вторник, суеверный мальчишка,
Он спалил на бану и ее и себя.

(Вот мы и свели счеты с прокурором!)

Вот за красным столом в отуманенном зале
Воду пьет прокурор за стаканом стакан.
А на черной скамье — его доченька Нина
И какой-то совсем незнакомый жиган.

(В жизни коллизия совершенно невозможная — чтобы прокурор судил свою же дочь. Но художественно — достоверная и решающая. На сходном повороте построен, кажется, финал «Девяноста третьего года» Пюго.)

Расставалась молча, как всегда горделиво,
Попросил уркаган попрощаться с женой,
И слились их уста в поцелуе едином,
Лишь отец-прокурор обливался слезой.

(Ради этой слезы написана вся песня.)

Какие только фокусы не выкидывает искусство и пища обо всем на свете, пишет только о том, каково оно из себя, и любитесь автопортретом. Только ли? В конечном счете оно, в самом деле, твердит лишь о собственном необъяснимом присутствии, расцвете, возникновении и, теряясь в действительности, не имеющей к нему отношения, любую глупость готово выдать за факт своего местопребывания в мире, стоит тому едва пошевелить пальцами.

В потенции всякое слово художественно. Произнесите слово с акцентом, с нажимом, и оно загорится и потянет в поэзию, чьи ритмы и рифмы лишь средства и признаки акцентированного произношения.

Всякая речь напевна, созвучна, и достаточно ей чуть-чуть превзойти уровень общеупотребительной, средней ритмичности, как она станет заметной — песней. Это как море, покрывающееся барашками, никому ненужными, вздорными, но сообщающими ударение «мóрю», переводя его в предмет изумления и повергая нас в созерцание уже не пустой воды, но моря в полном смысле морского, которое шумит и волнуется, которое — налицо. И вот искусство уже не пустяк, но — печать существования, явленность (лепота) бытия...

— Но закуски не жди! Что у меня? — душа да хуй!

(Я думаю, последнее слово родилось по созвучию: «закуска». Вообще, человечество в большей степени, чем подзревает об этом, говорит в рифму.)

- А вы зачем ругаетесь?
— Да это у меня так — для красноречия.

Рассуждения о кулачном бое.

- Плечо — как у Степана Разина.
- Маленький, но кулаком владел непревзойденно. С быстротой молнии врежет и два и три раза. Отключал в один миг. А другой ударит — метров двенадцать летишь, перевернешься, а ничего — встанешь, пешком побежишь. Потому что кулак — подушка. Сила — есть, нету — резкости.
- Двадцать три года — самая пылкость дурости.
- Тот — здоровше. А у этого — духу больше.
- Духовитый парень.
- Рука у него была пробита в побеге, и вся сила перешла в другую руку.

— Пусть мне попадет в 10 раз больше и в 20 раз больше — я буду драться, если вопрос стоит, что я должен драться.

Очередь за обедом — как полка с книгами. И вдруг среди равномерно потрепанных томов какая-нибудь лядащая повесть...

Не успеваю читать книги, но думаю о них непрестанно, с удивлением и благодарностью. И не перестаю удивляться способности книги вбирать и выдавать по заказу большой видимый мир. В детстве книга была похожа на раздвижную ширму. Из-под серой, неприглядной обертки лезет на тебя ворох зверей и растений. Закрыл — и все исчезло. В книге есть что-то от шапки-невидимки, от скатерти-самобранки. Это свойство понимали старые каллиграфы, чувствительные к потребности слова расцвести в образ, превратиться в кудрявое дерево, увешанное игрушками. Из проросшего текста — на красной тропе выскакивали рыкающие буквы, и как медленно, с какими прекрасными паузами прочитывалась

книга. Искусство каллиграфов невосстановимо. Но мы можем помочь извечному стремлению книги к сокровенной компактности и сжать ее словесую массу так, чтобы она пружинила и трепегала под взглядом читателя, и он, затаив дыхание, видел бы, как на страницу — из-под черных, горелых пней типографского леса — выбегают зеленые листики и смазливые мордочки красных лисенят.

Письмами в тюрьме меня огорчил Чехов и порадовал А. К. Толстой. Чехов огорчил потому, что при всем его уме, тонкости, обаянии он в письмах, в общем, топорен, и создается впечатление, что ему вообще скучно жилось и он заполнял пустоту деловыми заботами и натужливым гимназическим юмором. Даже Западная Европа в его письмах из-за границы предстает лишенной чего бы то ни было, заслуживающего внимания. Может быть, это объяснялось тем, что Чехов, как большинство его современников, был чужд изобразительному искусству и понимал культуру главным образом как просвещение. Он был «литератором» с ног до головы и зевал, глядя на никчемные соборы, музеи, и, как гимназиста, его тянуло в Африку, в Америку, хотя с тамошней экзотикой ему, как художнику, нечего было делать. Чего стоила его поездка на Цейлон, такая же нелепая, как выходы Шарлотты и Епиходова, как фамилия Чимша-Гималайский у какого-то из его персонажей! Когда б он хоть в этих забавах находил вкус! А то жалко и обидно до слез, когда обнаруживаешь, что даже писательство заставляло его смертельно скучать: «Мне опротивело писать, и я не знаю, что делать. Я охотно бы занялся медициной, взял бы какое-нибудь место, но уже не хватает физической гибкости. Когда я теперь пишу, или думаю о том, что нужно писать, то у меня такое отвращение, как будто я ем щи, из которых вынули таракана,— простите за сравнение» (25 июля 1898 г.).

Конечно, не обязательно писателю быть интересным в письмах. Но жить ему все-таки полагается интересно. А Чехов воспринимал литературу преимущественно как умственный труд и мечтал о праздности как о празднике, не видя ничего феерического в своей невзрачной профессии, и это страшно...

Книги похожи на окна, когда вечером зажигают огонь и он теплится в воздухе, поблескивая золотыми картинками

стекло, занавесок, обоев и какого-то невидимого снаружи, запрятанного в сумрак уюта, составляющего тайну его обитателей. Особенно когда на улице холодно или снег (лучше всего — если снег) — кажется: там, в этажах, под сенью расписных абажуров играет мелодичная музыка и расхаживают интеллигентные феи. С детства это блуждание по удаленным в ночное окнам сопровождалось фантазиями об отдельной квартире из трех комнат, про которую так страстно рассказывала мама, играя вместе со мною в ту жизнь, когда я вырасту и кушно (либо вдруг мы на облигацию выиграем) эту трехкомнатную квартиру, висящую в небе, как сады Семирамиды. Мы так и говорили: «пойдем посмотрим нашу квартиру», отправляясь гулять перед сном в завьюженные переулки, где имели на примете три-четыре окна на выбор. Они менялись в зависимости от возраста и освещения.

Задача иллюстрации (чуть не вырвалось — иллюминации) состоит в поддержании света, исходящего непрочитанной книгой. Бессильная имитировать текст, ненужная в виде хромого истолкователя слов, сказанных прямо, иллюстрация призвана возвестить о празднике, с которым является книга в нашу жизнь. Она ближе к ювелирному делу, чем к рисунку и живописи.

Это понимали старые переплетчики, миниатюристы и просто издатели, одевавшие книгу так, что при встрече с нею мы замираем. Искусство творить предвкушение, заманивать в гости, снаряжать в путешествие по чудным буквам. Ведь картинки мы смотрим, еще не читая книги, лишь приглядываясь к тому, как она мерцает.

Да будь труд писателя самым неблагоприятным занятием, вытягивающим жилы и иссушающим душу, он — в идее — развлечение, времяпрепровождение под абажуром, сродни театру и карнавалу. Это забыли Флобер и Чехов, изнывавшие под бременем литературного дела. С тех пор повелось: «труд», «работа». Ну и что ж, что трудно? Трудно — да сладко. Не дрова грузить: Саламбо, Каштанка. Они забыли, что книга всегда с картинками.

Из письма:

«Мама, сам знаешь, переживает о тебе. Как получит письмо, так плакать, да и все время плачет. И папка плачет о тебе. Как садится есть, так плачет, говорит: «вот мы едим, а Славки нету».

Стихи:

Товарищ, знай! Что жизнь, как водка,
Для всех горька, а мне сладка,
Когда в ногах моих красotka,
Как пес, до гроба мне верна!

Ужасно вульгарно.

— И по превратностям судьбы пришлось побывать за границей.

Галки над лесом — как хлопья сажИ.

Искусство и жизнь? А может, и нет никакой жизни, а есть одно искусство?..

...Порой мне бывает страшно весело, притом без особых причин. Под звуки радио живу, как в кинематографе. И это моя жизнь мне будто бы смеется с экрана.

Все же переключение времени и пространства вносит в существование непередаваемый оттенок — новое измерение, что ли, делающее возможным на все посмотреть с высоты, как будто смотришь немного потугосторонним оком. Не ясно: долго ли — коротко ли, мало — велико, хорошо — плохо, — испытывая холодное чувство отторженного удивления.

Почему к протопопу Аввакуму в одну яму вместилося так много? Не потому ли, что — яма, дыра? И чем она меньше, теснее, тем больше в нее влазит. Иначе не объяснить появление панорамы, дотолe неизвестной иконографии Древней Руси.

Человек только и делает, что изживает себя, а думает — дотяну, заживу.

Интересно посмотреть: что останется от человека после разрушения? Допустим, попал в лагерь, и, пока там барахтался, жена выходит замуж, и друзья забывают, и весь насыженный, казавшийся таким неподвижным, быт вдруг проваливается в пучину, обнаруженную на месте действительности, — спрашивается, как он будет жить и что делать после этого обнаружения, и зашьет ли, или спятит с ума, или просто станет брюзжащим на весь свет стариком? Старик,

выброшенный на остров комнаты, начинает сносить сувениры, спасшиеся случайно и памятные скорее следами многолетнего бедствия, и улыбаться путешествию, предпринятому давно, без расчета всех ветров и течений, выбросивших остаток на такую широту-долготу, куда он никогда и не думал добраться...

Откуда что берется? Вероятно, все дело в пространстве. Человек, открытый пространству, все время стремится вдаль. Он общителен и агрессивен, ему бы всё новые и новые сласти, впечатления, интересы. Но если его сжать, довести до кондиции, до минимума, душа, лишенная леса и поля, восстанавливает ландшафт из собственных неизмеримых запасов. Этим пользовались монахи. Раздай имение свое — не сбрасываешь ли балласта?

Не отверженные, а — погруженные. Не заключенные, а — погруженные. Водосмы. Не люди — колодцы. Озера смысла.

Минимальная камера — как раз по размерам тела — дается во сне, и мы выскакиваем — куда? Мы испускаем дух, удаляясь, однако, не в сторону прочь, а в себя. Мы истаем во сне и, ничем не обремененные, легко переплываем на другой берег реки.

Загнанной в клетку душе не остается ничего другого, как выйти на просторы вселенной с черного хода. Но для этого предварительно ее нужно хорошо затравить.

В «Голубиной Книге» облака происходят из мыслей: «буйные ветры — то дыхание Божие; тучи грозные — думы Божии». Также, согласно «Эдде», когда боги творили мир из тела великана Имира, — из черепа было сделано небо, из мозгов — облака. И где-то еще встречал подобное.

Облака, облака, летающие острова. Мысли — как наплыв облаков, как проносящиеся, полные влаги, клубы воздуха...

В Лефортове я попытался восстановить по памяти значение нескольких книг, читанных еще в детстве. Мысленно перебирая романы о путешествиях, я вынужден был признать, что тягчайшему — по всем статьям — испытанию подверг человека Свифт.

...Заметим: Свифт описывает содержимое наших карманов как удивительный феномен или требующий доказательства казус. У Гулливера часы — не часы, гребенка — не гребенка, платок — не платок, а нечто, на взгляд лилипутов, невообразимое, не поддающееся постижению и потому растянувшееся страницами увлекательной фабулы. Открытие Свифта, принципиальное для искусства, заключалось в том, что на свете нет неинтересных предметов, доколе существует художник, во все вперяющий взор с непониманием тупицы. «Понятно! давно понятно!» — раздаются вокруг голоса. — «Это же просто ножницы! чего тут рассусоливать?» Но художник не может и не должен ничего понимать. Название «ножницы» ему неизвестно. Отступя на пару шагов и продолжая удивляться, он принимается их описывать в виде загадки: «Два конца, два кольца, а посередине гвоздик». Взамен понимания, вместо ответов — он предлагает изображение. Оно — загадочно.

Но задавая загадки, Свифт сохраняет кислую мину в ожидании, когда они захлопнутся, как капканы. В переделку им были пушены не часики с гребешком, но человек как таковой с его исконными свойствами. Все попало под удар переменных измерений, под губительные лучи той теории относительности, что вдохновила нашего пастора на дерзкую вивисекцию и не оставила камня на камне от подопытного кролика (еще тогда, еще на заре современной цивилизации...). Рабле воздвиг, соорудил человека до облаков — Свифт, идя следом, человека разрушил.

В нем сказался естествоиспытатель, с академическим бескорытием рассекающий лягушку и крысу, ганглии короля и мошонку висельника. Недаром свифтовская проницательность предварила учение Дарвина о человеке из обезьяны, искусственные спутники и кибернетический ступор. В его сарказмах над учеными (раздувание собаки и прочее) сквозит высокая нелюбовь профессионала к недоучкам. Из писателей вряд ли кто сравнится с ним в научном анализе, а педантизм в постановке опыта достигает у него фармацевтической дистилляции. Свифт подсчитывает и вымеряет с точностью до дюйма, до унции, изготавливая препарат длинноногого лилипута. (Ему б гомункулуса выводить, ему бы пузыри бнохимии...)

Рядом с другими персонажами Гулливер бесхарактерен. Он лучше прочих подходит под рубрику человека вообще. Что скажешь о нем, кроме того, что это Homo-sapiens, лишь по-разному облученный критериями среды? Но те же перемены в предлагаемых условиях опыта лишают Гулливера на-

дежности и постоянства. Он мал по сравнению, он велик по сравнению, он чист по сравнению и нечист по сравнению, он человек по сравнению и нечеловек по сравнению. Среди лилипутов великан, среди великанов лилипут, среди гуигнмов зверь, среди людей лошадь.

Что сохранится в итоге этих операций на огромном Прокрустовом ложе вселенной? какие еще верования, законы, привычки, статуи? Даже мечта о бессмертии обернулась позором. Даже тоска по родине, влечение к себе подобным побеждены и рассеяны нескрываемым отвращением. Что утерял, кого забыл человек, став Гулливером, куда бежать ему, на что надеяться под взглядом Свифта? Тот из Гулливера сделал вывод: человек — фикция, человек — мнимость...

Но такого ж Гулливера, спасая от треволений свободы, Даниель Дефо посадил на необитаемый остров. Дефо возвратил человека к среднему росту, к существованию обывателя, вернул ему рассудок, семейственность, собственность, благополучие, утраченные в приключениях с другими авторами. Он вынудил его к нормальному образу жизни путем жестоких ограничений, лишив человека возможностей выскочить из себя, сбежать от необходимости жить «как все», «как люди живут». Он сослал его в собственное общество.

Кораблекрушение у Дефо играет роль потопа (тот же — сотворение мира): голый человек остается на голой земле. И что же? Слегка поплавав, узник Робинзон Крузо начал обрастать капиталом. Первобытная пустыня превратилась в доходную ферму, Библия — в настольное руководство на пользу будущим Фордам, которые ведь тоже начинали не с небоскреба, а с какого-нибудь завалывшегося под подкладкой зерна.

Если бы вместо приручения Пятницы, увозящего немного в сторону модной тогда колониальной политики, Робинзон повстречал покладистую людоедку, они бы основали на острое Англию, и возвращаться домой не имело бы смысла. Однако и наличные данные говорят, что наш Адам ни на милю не покидал цивилизованное отечество (один человек здесь общество в его жизнестроительной функции), что каждый лавочник, клерк, молочник, рудокоп и фабрикант вправе считать себя Робинзоном. То же чувство доступно любому из нас, запертому на необитаемом острове своей работы, семьи, города, болезни, богатства, — словом, не имеющему лучшего выхода, чем спасительный эгоизм, чем инстинкт самосохранения, заставляющий

сражаться за развитие нашей личности в пределах камеры и мироздания.

Героя Дефо предохраняет от пошлости, а роман его от скуки — альтернатива жизни и смерти, производительности и одичания, между которыми колеблется судьба Робинзона. С другого конца, нежели Свифт, Дефо передвинул шкалу интересного в среду обыденных предметов и действий, занимательных лишь в результате избранной автором точки зрения — необычной технической трудности их исполнения, изготовления. Он показал, что разводить огород, шить одежду, строить стол — в высшей степени удивительное и ответственное занятие, исполненное препятствий, ловушек и хитроумных преодолений, напрягающих сухопарое тело сюжета. Когда на хлебное зернышко, как на карту, поставлена жизнь, произрастание несчастного злака достигнет остроты детектива...

Книги нас манят к свободе, зовут в путь. Но как нам постараться выжить, никуда не уплывая, не сходя с места, в клетке, — этому учит «Робинзон Крузо», самый полезный и жизнерадостный, самый добрый роман на свете.

— Собачье мясо полезно лагерному человеку.

— У кого табачок — у того и праздничек.

(Пословица)

— На воле человек тоже слабнет.

— У меня только арматура осталась. И шкура.

— Я более-менее одет.

— С конфискацией имущества.

— Я тоже, говорю, с животного мира, от насекомых произошел. Но я знаю — кто рыжий!

— Они еще пожалеют, что меня не убили.

— У каждого есть что-то возлюбленное. А больше всего я любил холодец с хреном!

— Смотрю на дверь и не верю: за дверью — свобода.

— Спрашиваю за Самару: что там нового? какие камеры знаешь? Сам-то я в Самаре только в тюрьме бывал.

— Сегодня я видел во мне то место, в котором я родился.

«Чтобы мои письма не повредили твоей жизни».

(Из письма брату)

— Письма писал — как заявление на валенки.

Прибаутка — при погрузке какой-то тяжелой клад:

— Стоит! Как у молодого.

— А вы доживите сперва до 75-ти, а после говорите!

В лагере человек консервируется. Попавший сюда малолеткой до старости сохраняет в облике и повадках что-то подростковое. Я подивился, приехав, моложавости лиц у многих долгосрочников. Говорят, забот меньше. Либо здесь влияет половое воздержание. Сомнительно. Скорее действует общий психо-физический климат — изоляция от общедоступного, всечеловеческого течения жизни. Как к Марсу не применимы земные признаки времени. Совсем иная система координат. В какой-то мере это присуще и лагерю. Мы действительно «не стареем», а к худшему это или к лучшему — трудно сказать. Наверное, так хочет сама природа в порядке компенсации. Ей виднее.

— Тринадцать лет, как в сказке, пролетело...

(Проходная фраза, которую я услышал впервые, проснувшись утром на верхней койке, в лагере, и подумал — как правильно, как хорошо: как в сказке!)

— Если вам кто-нибудь скажет, что не смог выдержать, потому что это было свыше его сил, — не верьте. Человеку дается ровно столько, сколько он может снести.

- Всё — в силе! — сказал он мне по секрету.
— Всё — в силе страсти! — добавил я и задохнулся...

...Не является ли скрипка имитацией сольного пения? И не была ли она в свое время незаконной попыткой извлечь из струнного создания звуки, нарушающие природу струны, и очеловечить музыку путем подделки и искажения естественных свойств инструмента (на струнах полагается тренькать, брэнчать, на что всегда существовали арфа, гитара)?

Отправные пункты подобных рассуждений убоги. Какая-нибудь пластинка Бетховена, которую по воскресным дням мы слушаем — с тем же прилежанием, как на воле ходят в концерт. Не с тоски или снобизма, но вещи труднодоступные или малочисленные здесь набирают силу и вес и требуют к себе уважения. Не пойти «слушать музыку» — все равно что отказаться от завтрака, пренебречь приглашением выпить кофе. Дело не в насыщении плоти (и духа), а в требовательности предмета, из обыденных и ничтожных ставшего драгоценным, — закон Робинзона Крузо.

...Появилось странное чувство романтической, я бы сказал, увлекательности ложки масла, ломтика сыра. Они стекают в тебя и всасываются мгновенно, без остатка, кажется, еще не успев доползти до желудка. Переваривание и всасывание в кровеносную систему начинаются где-то под языком, в пищеводе, и с одного небольшого куса пьянеешь и оживляешься беспредельно. Причиной тому чистота и изысканность продукта. Об этом удачно выразился один старик, сказавший вполне серьезно, что лица, занимающие высокий пост в государстве, питаются настолько тонкими специями, что в результате по нужде ходят не чаще одного раза в неделю. Я не стал его разочаровывать: у бедности то преимущество, что она знает цену богатства и умеет ее передать в удивительно точной форме.

- В Киеве харчи хорошие.
— В Москве харчи дешевые.

(Разговор)

Сидит со сроком 25 лет и из года в год читает журнал «Здоровье».

Громадное это дело — сапоги. Сколько нужно, чтобы на них заработать!

Искусство нагло, потому что внятно. То есть: оно нагло для ясности. Оно говорит, предварительно воткнув нож в доску стола. Натэ — вот я какое!

(Слушая Гайдна)

— Какой страшный! — сказал обо мне вольняшка, которому меня показали в рабочей зоне. На что последовал ответ какого-то подоспевшего зека: — Тебя бы (эпитет) так нарядить (эпитет) — вышло б еще страшнее!

Но меня самого этот «страшный вид» не шокирует. Скорее забавляет — похоже на маскарад. К тому же еще не известно, какой внешний облик более соответствует нашему назначению.

Иное дело — волосы. Их значение еще не оценено по достоинству. Не для украшения, а в их первичной функции — покрова и восприятия. «С волосами думать легче», — сказал один старик, и это открытие меня поразило. Действительно — легче. Возможно, волосы, наподобие антенны, помогают улавливать полезные токи из воздуха, так же как лес притягивает тучи, усиливает осадки. В то же время волосы могут служить защитой от каких-нибудь электроразрядов. У меня, например, после свежей стрижки обязательно трещит голова...

Точное слово в современной поэзии — остаточная магия: требуется имя выznать и заклясть им кого-то, чтобы появился предмет. Точный эпитет, как искра, рождает вспышку мыслей; в его озарении появляется образ, вызванный из праха к трепетному бытию, состязающийся с природой яркостью, то есть способностью укореняться и жить в сознании так же длительно, как существуют истинные лица, события, а то и дольше...

У меня все время такое чувство к природе — к воздуху, листьям, дождю, — точно она все видит, понимает и хочет мне помочь, очень хочет, но только не может.

9 сентября 1966.

Лагерная жизнь в психологическом отношении похожа на вагон дальнего следования. Роль поезда исполняет ход времени, которое одним своим движением создает иллюзию осмысленности и насыщенности пустого существования. Чем бы ты ни занимался — «срок все равно идет», и, значит, дни проходят не даром, целенаправленно и как бы работают на тебя и на будущее и уже за счет этого наполняются содержанием. И как в поезде — пассажиры не очень склонны заниматься полезным трудом, поскольку их пребывание оправдано уже неуклонным, хоть и медленным приближением к станции назначения. Они могут позволить себе жить в свое удовольствие, насколько это доступно, — играть в домино, слоняться, болтать, не угрызаясь растратой: отбывание срока во всё вносит дозу прекрасной полезности. Я тихо бешусь, слыша постоянные: «да куда вы торопитесь?», «у нас так много времени — сколько лет впереди!», «почему вы не хотите развлечься?» Жить на изживении у будущего не хочется. Но дело не во мне, а в странности всей ситуации, восполняющей отсутствие смысла жизни осмысленностью ее изживания. Иногда кажется, что в таком состоянии, поджидая, когда кончится срок, люди могут быть счастливее, чем в условиях свободы, но только не вполне осознали эту возможность.

— Сидел один год за два.

— ?!

— А в воображении. Год просидит — считает: два года. Себе в облегчение.

— Распутать заколдованный круг.

— В темноте, я заметил, пахнет сильнее.

Здесь хорошо, что человек здесь ощущает себя голой душой.

У Пушкина можно встретить самые порой неожиданные строки, имевшие для него значение пробы пера, оговорки, оказавшихся затем сердцевинкой какого-нибудь отдаленного литературного слоя. Среди прочих прошлой зимой в Лефортове я наткнулся на такие — из отрывков 1821 г. (говорит не сказано кто, скорее всего — ведьма):

— Молчи! ты глуп и молоденек:
Уж не тебе меня ловить!
Ведь мы играем не для денег,
А только б вечность проводить!

Они поразили меня явной интонацией Хлебникова и показались прямым эпиграфом к его поэме «Игра в аду». Удивительна здесь идея бесцельного препровождения вечности (как всегда у Пушкина, от подстановки одного только слова — в данном случае, перевернутого оборота «проводить время» — играет вся строфа, большой кусок текста). Вечности — как неизбывной, длящейся и при всем том замкнутой пространственными рамками, пустующей среды. Вечности — где времени нет, вечности в тесных пределах, о которой много лет спустя скажет Свидригайлов как о «бане с пауками». «Предчувствовалась какая-то вечность на аршине пространства», — повторяет Достоевский по сходному поводу.

...Как люди, выходя на свободу, бледнеют для нас! — конечно, только для нас, не для себя — для себя они наполняются жизнью, для нас линяют, стираются. Не то, чтобы они становились чужими, но уже нездешние, как бы усопшие, и если такая безделица в разделении пространства влияет, то что же говорить о других планетах и землях?..

Поэтому, наверное, нету зависти к уезжающим. Они слишком далеки и кажутся недействительными.

Пространство — засасывает. Имею в виду не какие-то специфические местные интересы и не привычку к определенному образу жизни, а нечто, не поддающееся нормальному объяснению, логике, — чувство растущей оторванности и отрешенности.

Не на этой ли геометрии основывались монастыри? Достаточно очертить человека кругом, и он уйдет в эту дыру-воронку.

Татуировка на плече:

«Будь здоров и счастлив,
сынوك Вася!»

Из писем с воли:

«Да и вина, видно, твоя так велика, что ничего для тебя нет».

«А я женщина молодая и темпераментная».

(Жена — мужу)

«Мама с дядей Сашей капитально поругались».

«Дядя Костя бил ее, что ничего видеть не стала».

«Раз нашлась твоя точка нахождения».

«Он уже большой, почти 6-ть лет».

Иногда кажется — время остановилось и мы летим в снаряде или ковчеге. Неподвижность совпадает с чувством полета — нет, не птицы — земли. Это же чувство поддерживает ветер. Он обдувает остров и свистит в ушах — рассекая время. Очень устаешь жить на постоянном ветру.

Когда такой ветер, то как-то понимаешь — что мы брошены в мир.

Об Аввакуме невозможно рассказывать: он сам о себе все рассказал, он ввалился, как медведь, в свою яму и всю ее занял.

Должно быть, слова в старину читались медленнее и произносились значительнее. По сравнению с позднейшей убористой печатью, на странице помещалось мало знаков. Маленькая, на наш взгляд, повестушка растягивалась на волном, и это влияло на образное и смысловое прохождение текста: он казался громаднее...

Квадратик бумаги — как решетка, сквозь которую я выглядываю.

Большие буквы в детских книжках располагают к проникновенному чтению. Помню, как, перейдя на мелкопечатный шрифт, я грустил по большим буквам, которыми так глубоко читались первые книги. Это было какое-то чувство утра-ты, потери — переход на взрослый язык.

Прекрасная фраза — местного сочинения:

«Вдали, смутно окрашивая горизонт, стояло оранжевое дерево».

Абсолютно литературный пейзаж взят из-за проволоки и подан глазами лагеря.

Там же:

«Человек рождается в единственном экземпляре, и, когда погибает, его никто не может заменить».

Возможно, крупинцы искусства, как соль, всыпаны в жизнь. Художнику предоставляется их обнаружить, выпарить и собрать в чистом виде. При особенно удивительных поворотах судьбы мы говорим: «как в романе». В этом сквозит признание явственного несходства между пресной обыденностью и тем, что по природе своей редко, удивительно, «красиво, как на картинке». От прошедших времен, если они того заслужили, остаются по преимуществу произведения искусства. Не потому ли так часто прошлое кажется нам красочнее настоящего? На самом деле, может быть, оно было ничуть не красочнее. Просто от него краска осталась — чистая, беспримесная соль искусства.

Искусство свойственно личности, нации, эпохе и всему человечеству подобно инстинкту самосохранения. Оно присуще и жизни вообще, существованию в целом. К искусству относятся раскраска цветка, хвост павлина, лучи заката — выделяющие породу и особь вопреки нивелирующим действиям смерти. Не здесь ли связанность искусства — с полом, с продолжением рода? И не есть ли оно в этом случае брачное оперение жизни, которая в расчете на будущее наряжается и прихорашивается?..

Искусство в древности сосредоточено по двум границам человеческой жизни: перед зачатием (свадьбы, весенние игры и пляски) и после смерти (поминки, предания, курганы и прочие способы сохранения). И там и тут преобладает идея преодоления смерти, и то и другое, глубоко прорастая в народный быт, стоит за бытом и над бытом — преджизненный праздник, посмертный памятник. В этом смысле вынесенности за обыденное течение жизни искусство всегда необычно и в силу того необязательно. Без него легко обойтись, оно дано нам вне программы, сверх прожиточного минимума, как некая роскошь, украшение, прихоть, сувенир, безделка. Но это тот избыток (остаток), которым долговечна жизнь. Уберите его — и целые сонмы бесследно сгинут, как обры.

Самое живучее из творений рук человеческих, искусство даже смерть, своего врага, превращает в союзника. Отвечая

за продолжение рода, искусство тем и существует, что творит себя в виду и под угрозой близкой разлуки. В стремлении запечатлеть окружающее художник обводит землю последним, расширенным взглядом. Словно перед скорой кончиной, он хочет навсегда запомнить увиденное, и поэтому изображение становится крепче и насыщенней подлинника. Искусство создается ради преодоления смерти, но в сосредоточенном ее ожидании, в длительные часы прощания.

Поскольку пространство здесь практически исчезает, а время стесняется препятствием на пути и норовит раздаться, убегая мыслью на много лет вперед,—когда пробуждаешься, оно оказывается либо ближе, либо дальше, чем ты ожидал, оно запаздывает и перерастает себя, сразу становясь и больше и меньше своих обыкновенных размеров.

— И вот растешь, как бурьян.

— А растут там одни скорпионы мыльного цвета, которые смертельно кусают людей и животных.

— Взял бы его в свои худые руки!..

— Телевизор послушать, радио посмотреть...

И та и другая жизнь сливаются в одно причитание.

На грузинских миниатюрах (17 в.) к «Витязю в тигровой шкуре» все эпизоды сопровождаются изображением Солнца и Луны в виде двух ликов, стерегущих событие. Преходящее действие погружено в пейзаж как всеохватывающее пространство подсолнечного и подлунного мира. Действие разворачивается (ему есть куда развернуться), так чтобы, ускользая из глаз, не слизнуть со сцены вселенную. Картина — как море, где буря на поверхности соседствует с тишиной в глубине.

Прошлое помнило, что за временем простирается вечность и умело ее обнаружить в любой точке самого молниеносного мига. Не то, чтобы время шло медленнее, но быстротекущий процесс даже со стороны субъективной был облит состоянием длительности.

Пожалуй, только теперь мне сделалось это доступным не чисто умозрительно.

Довелось недавно услышать:

— Жена сердится, что долго сижу.

Сколько уныния в этой реплике, и какая длинная жизнь лежит за нею! Душа плачет: «жена сердится, что долго сижу».

Взгляните на лысого человека. Что с него взять? Всякий смеется: плешь. Но посмотрите: там, где еще растут на его лбу волоски,— да ведь это похоже на Альпы, господа, на хребты Кавказа, покрытые с каждым веком редющим постепенно кустарником!..

Заботы мои просты, радости безыскусны: вчера, например, постриг на ногах ногти.

10 октября 1966.

Когда сведения о себе самом приходят со стороны, перестаешь себя узнавать.

Не спеши, давай слушаем эпическое течение времени.

Иногда кажется, читаешь какую-то книгу, а когда дочтешь и оглянешься,— пройдет жизнь.

Наверное, время воспринимается здесь как пространство—и в этом загадка. По нему как будто идешь, и это тем более странно, что сидишь на месте, не двигаясь, и увязают ноги, и относит как бы назад, в прошлое, так что, придя в себя, удивляешься, что прошел уже год и снова осень.

Здесь не верна пословица: жизнь прожить—не поле перейти. Нет, именно поле. И перейти.

— Я кто в твоём лице?!

Разительное персональное сходство с оригиналом в фаянсовых портретах и много раньше, в Египте, продиктовано необходимостью забронировать место, где поселится в будущем отлетающая душа. Портрет—координаты отбытия и воскресения, указатель в пути, чтобы не заблудилась. И в нем же—помимо сходства с живым индивидуальным

лицом — присутствует отрешенность ее полета, витания в раздумьях, куда бы сесть, на ком удостовериться. Вещественная оболочка лица, включая всю биографию и психологию, в ней напечатанную, на себе не задерживает, но пропускает вас дальше, в ту погруженность, куда все они смотрят посмертно. Чувство последней инстанции, стены, вы здесь не испытываете — столь непрошенной, непрошибаемой в портретах реалистической школы, где живое лицо нацелено на вас, как ружье, заряженное ненужным и навязанным насильно знакомством. Сходство с человеком, о которого спотыкаетесь, который служит препятствием, перестает вам мешать. Это сходство — окно, стрелка входа и выхода, и мы радостно бежим по растворенному коридору: лицо затягивает, — у-у-у! как выталкивает взглядом самодовольный 19-ый век, где каждый портрет кричит: «уходи, это — я», или: «посмотри, это — я», так или иначе задерживая, не пуская пройти.

...Итак, реализм впервые в портретном искусстве понадобился совсем не затем, чтобы себя показывать и собой восторгаться, но чтобы потом во времени и пространстве себя разыскать, и эта серьезность намерений его питала, оправдывала, и радуешься за человека, озабоченного большими запросами своего местонахождения.

Но тотчас возникает проблема: что такое лицо, не на портрете, а в жизни, и зачем оно нужно, и почему мы к нему подбегаем, и, разговаривая друг с другом, засматриваем в лица, как в зеркало, и пляшем перед ним, и примериваемся, словно хотим войти?..

Облизал по-собачьи ложку и сунул в карман. Я тоже облизал и тоже сунул.

— Он навел пистолет и кричит «руки вверх», а я поднял руки и вижу, что у него от страха дрожит лицо.

— У меня глаза — вот такие! А почему я знаю? — все гримасы мои ему передавались и были у него на лице написаны.

— Разинул он рот, сколько можно разинуть. Глаза выкатил. И тут я увидел, как человек на глазах седеет. Волоса

поднялись, шапка упала. А по волосам, по лицу — будто кто молоко льет.

Смех снизу и плач сверху — оба они потрясают действительность и не дают ей устояться.

Когда нам плохо, губы съезжают вниз, когда весело — вверх, и все лицо перекашивается и прыгает — вибрирует. Не есть ли это способ балансировки, поиски спокойствия, из которого вывели нас и к которому мы возвращаемся, минуто-другую подергавшись, покачавшись в разные стороны, по образу канатоходца, восстанавливающего равновесие? И не служат ли гримасы плача, ужимки смеха, так похожие друг на друга, защитной мерой или пантомимой организма, предпочитающего имитировать смертные судороги, нежели их на деле испытывать? Вслед за гимнастикой лицевых мышц и профилактическим сотрясением тела наступает облегчение. Игрою физического покрова мы уняли дрожь души, внешней встряской предотвратили внутренний взрыв...

Сама природа украсила голову лицом.

— Жаль — вот лик испортил!
(После драки — на вырванный клоч бороды)

— У меня-то рожа стрёмная (срамная)...

— Ну губе — усы. С мошонки пересажены.

— Моя жизнь у меня на лице написана!
И все лицо — в каких-то шрамах, буграх. И острый нос заканчивался раздвоенным, на двух шарах, наконечником.

Надзиратель:

— Я тебя по лицу вижу — кто ты есть.

— А раздеть — еще больше увидишь.

Наколки:

На груди (на плече) стереотипная надпись — «Нет в жизни счастья».

На животе — «Еще не наелся».

На ногах — «Они устали».

И на члене — «Нахал».

Схема человека.

Но иногда — в дополнение к ней — на коленных чашечках татуируют цветы.

Хорошие прозвища:

Коля Птичка и Витя Мудрец.

Морозы, выяснилось, я переношу лучше, чем можно было ожидать. На воле, бывало, очень мучился в предвечерние холода, когда солнце неживое и на сердце смерть. Здесь — не так. Соответствие помогает. Как-то весь напрягаешься с утра, чтобы пережить день.

Зрелище в самом деле величественное, и вокруг луны большая слепящая сфера. Звезды дробятся, как льдинки, и не уцепишься за них. Однако этот спектакль почему-то приободряет. Ах так? — так вот!

19 декабря 1966.

Я часто берусь за письмо не потому, что имею намерение написать тебе что-то серьезное. А просто прикасаюсь к листу, который ты будешь держать...

Все беды — от раздвоения: хотим — но не можем, можем — но не хотим. Качания между жизнью и смертью (агония), не доведенные до конца чувства и поступки. Страх, нетерпение: будет — не будет. Ожидание или мечта, не перешедшие в явь. Но стоит перейти границу и погрузиться во что-то, пускай безнадежное, полностью, без надобности поворачивать вспять, избегать, выкраивать, как эта цельность существования, не угрожающая потерей, не сулящая выгоды, — обнимает чувством и покоя и безмятежной доверчивости.

...И от больших холодов собаки выли почти человеческими голосами.

II

Тем временем первый день года склонился уже к вечеру и наступило утро опять очень холодного дня.

2 января 1967.

— На улице мороз 42-го года.

Мороз вчера доходил до 37-ми, и столбы дыма, сверхъестественные — как на детском рисунке, упираются вертикально в пунцовые небеса и так стоят часами — не растекаясь. Похоже на извержение гейзера или вулкана, а к печкам больше подошло бы название — «топка».

Лежит на койке и изучает космические пространства:

— И вся наша система несется в созвездие Козерога!..

На вагонках, что бегают по Заводу, большими буквами написаны их имена — как на кораблях: «Лолита», «Гертруда», «Сюзанна» и сплошь в этом роде.

Йог ходил босиком по снегу и таинственно говорил, что всем кажется, будто он в сапогах.

— Видите — я достиг третьей степени посвящения!

Но все видели, что он без сапог, и смеялись.

— Бог дал нам время — чтобы собраться с мыслями...

Пороги холода для выскочившей души. Нагишом. Как холодно. С открытым ртом. Плотая воздух. Тонны воздуха.

— Писателю и умирать полезно!

Огорчает непроизводительность жизни, вылетающей дымом в трубу, лишь на один процент осаждаясь теплым чувством к тому, что можно назвать непрофессиональностью, неумением превратиться в занятие мыслящих и пишущих дядей, имеющих опыт и стаж, к сохранению дара в виде слабости или ребячества, отрочества, не поднявшего глаз

с земли, с застенчивого детства, кончающего жить, как начали, на нижней ступени, без титула, вне названий, из художников в сапожники, не научившиеся тачать сапоги, с растерянной, виноватой улыбкой бездействия, к бесформенности, на вопрос — кто ты и что? — отвечающей: никогда...

Спасибо, снег немного рассеивает. Зима вернулась, и снег валит круглые сутки. И как-то усмиряешься, видя, как он идет себе и идет, невзирая ни на какие капризы. Ему и горюшка мало. Знает свое дело и сеет, и сеет, как манна небесная.

Снег еще тем приятен, что падает совершенно безшумно. Как свет.

— Не все ли равно, через какой костер уйти, если дверь открыта?..

Слово писателя (чем больше размышляешь об этом) может быть каким угодно. Образность, точность, предметность, грамотность и даже художественность — не обязательны. «Какой меткий эпитет!» — восхищение дилетанта. Абсолютность — единственный признак. Слово сказано — оно абсолютно.

Жить так, чтобы никого не объесть.

Чурки нетяжелы и приятны на ощупь, горяченькие, как пирожки, немного поджаренные и слабо припахивающие каким-то керосином. На самом же деле это выжаренная смола. Потеснь главным образом от их количества и неслыханной быстроты, с какою нужно все это подвозить, разгружать, складывать, кидать и подхватывать. Похоже на игру в кубики. Я думаю, Егору было бы интересно.

Тоже и весь Завод создает у меня ощущение чего-то реального и полезного. Не то что прежние железки или абстрактный «продукт», но вполне достоверные стулья, шкафы. Завод имеет в себе занимательность: очень фокусно, виртуозно закладывается простое бревно с одного конца и вылезает мебель с другого, а посередине вереница

промежуточных звеньев в виде раскройки, полировки, кишок, по которым летит сжатый воздух, образующих Конвейер...

Стоит призадуматься: что являет собою Завод? Не может быть, чтобы такая большая и мудреная затея ничему не учила, не имела бы аналогий в природе мира и человека. Зачем-то нужен этот процесс, обеспечивающий, как здесь говорят, «выпуск стула»?

Сравнение с живым организмом напрашивается. Кровообращение, пищеварение, метаморфоза вещей и веществ, проходящих эмбриональные стадии. Но сходство нарушается, едва посмотришь, как все изменения вносятся наружным путем, извне, и не содержат ничего таинственного.

Скорее процесс производства воссоздает известную схему биологического развития, примем ли мы за основу Ламарка и воздействие внешней среды (сушилка сойдет за пустыню, пилорама с бассейном — за земноводный период), или остановимся на Дарвине с его отбором, устраняющим из примитивной доски все лишнее, нежизнеспособное в породе стула. Теория эволюции принимает в этом прообразе несколько пародийный оттенок и наводит на подозрение, не зародилась ли она под впечатлением фабрики, откуда, получая первые уроки-примеры, и позаимствовала идею всемирного прогресса-конвейера...

12 января 1967.

— Работа царская — думать не надо.

— Один хер — удовольствия я на этом свете не получу.

Внезапный вопрос:

— Андрей, а что ты думаешь о драконах?

— ?!

— Куда они подевались?

— Рок судьбы.

— Зачем перелопатили материю?

— Курил два года (опиум) и был почти у самых врат.

— Нет, есть Бог. Кто скажет — Бога нет, я тому глаз выколую.

— Это такой человек, что, если есть на том свете загробная жизнь, то его там надо двадцать раз повесить!

О рубахе со вшами:

— Я в ней живу!

О Земле, на которую сбросят водородную бомбу:

— С орбиты она не сойдет, конечно, но содрогнуться она содрогнется.

Сидел как все, разговаривал. Вдруг шепотом:

— Кто-то вошел, ребята.

Мы смотрим — никого. Дверь заперта. Он опять:

— Кто-то вошел!

И выскочил в окно. Потом уже его ловили в запретке.

(Как сходят с ума)

...Описали, как резали поросенка, и тот, с ножом в сердце, вышел из сарая, посмотрел вокруг и пошел назад — подышать. Всё молча. Вся сцена — ни звука. Только хозяйка под окном жене резника — шепотом:

— У меня дрожат ноги. Давай матом ругаться, погромче!..

Мне так и послышался в этом месте — полет валькирий.

— За что сидите, мальчик?

(Способ знакомства)

Искусство, кажется, только тем и занято, что перерабатывает материю в дух и обратно, по методу растений, которые, дыша и питаясь, создают нам атмосферу и почву и перетаскивают грузы снизу — вверх, сверху — вниз, взяв эту работу в образ существования.

На чьей-то тумбочке, смотрю, — журнал дамских мод! Как током ударило, разводишь руками: находчивость...

— Все-таки женщина пользуется большой популярностью в мире!

Там далеко на Севере далеко
Я был влюблен в пацаночку одну,
Я был влюблен и был влюблен жестоко,
Тебя, пацаночка, забыть я не могу.

А где же ты теперь, моя пацанка?
А где же ты, в каких ты лагерях?
Я вспоминаю те стройненькие ножки,
Те ножки стройные в фартовых лапарях¹.

Идут года, летят часы, минуты —
Так пролетит твоя любовь ко мне,
И ты отдашься вновь другому в руки,
Забудешь ласки, что я дарил тебе.

Отдашься вновь, не понимая чувства.
Хотя ты женщина, но все же ты — дитя.
О, милая, любимая пацанка!
Ребенок взрослый, как я люблю тебя!

А где же ты теперь, моя пацанка?
А где же ты, в каких ты лагерях?
Я вспоминаю те стройненькие ножки,
Те ножки стройные в фартовых лапарях.

Так где же ты, и кто тебя ласкает?
Или начальник, или уркаган?
Или в расход ушла уже налево?
Или в побеге уложил наган?

Пройдут года, пройдут минуты счастья —
Так пролетит и молодость твоя,
И ты отдашься вновь, не понимая ласки,
И так забудешь, как я любил тебя...

— Если хочешь раскусить женщину, читай «Декаameron», и тогда узнаешь, что это за яблоко!

¹ Лапары — сапоги. Поэтому, по всей вероятности, они пишутся через «а»: от «лапы».

— Я еще не знаю, что такое женщина. Жизнь-то пролетела. Как ни смешно, но это факт.

— С женщинами я был безжалостен!

— Меня интересуют только женщины и автомашины.

— Я выбил из себя женщину!

На свидании (двадцать лет не видалась) сестра спросила у брата — с интересом взрослой уже, замужней женщины:

— А правда, говорят, у вас тут лошадей пользуют?..

— Такая была человек!

— Ее за две минуты уговорить можно.

— Перед последней девкой чувствуешь себя гимназистом. Не испуг — благоговение.

— Нам даже по радио женский голос был сладок, как яблоко.

— У нашей кассирши розовые трусы. Я во сне видел!

— Мне больше подходят женщины типа мадам Бовари.

— С поварихой сожительствовал.

— Одел ее по моде: чтобы все выделялось — как у русалки.

— Валёхается на мене. Смотрю — дочь генерала.

— Все они потом сожалели, что я в них не влюбился.

— Девочки меня любят: я им даю покурить.

— Это непотребные женщины любят — чтобы мужчина курил.

— Всякая женщина имеет свое стремление к жизни!

— Она была такая по сравнению со мной, что я никогда не рассчитывал. И то меня друг толкнул. А она никому не жалела.

— Ну так и идет на меня во всей прелюбодейной одежды и улыбается, показывая все 38 зубов!

— Я, говорит, себе возьму с золотыми погонами, а ты мне не нужен.

— Узнал городскую женщину.

«Познакомился с дамой ночной красоты...»

(Из песни)

— Одна баба была красивая, я тебе серьезно говорю.
(Серьезно о бабе? да еще о красивой?! — требует оговорки.)

— Как я посмотрел на бабу — форменно кукла! Да не до бабы, не до кина: меня уже ищут...

— А в общем-то все дело из-за бабы получилось, я так считаю. Из-за красавицы жены погиб.

(О Пушкине)

Красивую кофту одела,
Ты очень мне нравишься в ней,
Ты душу мою ей задела,
Немного ее пожалей.

— Из уст ее должны только красивые слова исходить, а она ругается!

— Златогривая еврейка.

Сделав глоток кофе:

— Точно по груди прошла мордочка в лапоточках!

«Вдали мелькала мокрая фигурка хрупкой девушки».

(Из сочинения)

— Девушка всесторонне грамотная.

— Девка хорошая — засадить можно.

— Если бы там была девушка, которая рассуждает в высоком духе, я бы с нею скорее общий язык нашел.

— Я не хочу ей голову крутить: я не знаю, что со мной завтра будет.

— Бывает — инженерша, или целка, или проституточка какая-нибудь... Встанешь перед ней на колени: — Прошу руки!..

— Я при женщине еще ни разу не заругался.

— Фигурная дама.

— И будет целовать меня в губы интересная женщина!..

— Под ножом каждая даст. Но еще вопрос — будет ли она подмахивать?

— Для коллекции.

(О вдове)

— Имел с ней половое общение.

— Взломали лохматый сейф.

(Групповое изнасилование)

На погрузке не следует чересчур напрягаться — и поэтому говорят:

Сама ляжет. Как баба

У одной бабы, рассказывают, на брюхе была наколка: «Добро пожаловать».

— Дурной у меня характер. Преданность у меня какая-то к бабам. Знаю, что гуляет, а все равно к ней поеду. Недельки две поживу. Я ей на пузе самолет наколол, и поэтому она замуж не вышла. А сейчас бы я ей нарисовал еще чуднее.

Не эротика — экзотика. Человек без штанов выглядит куда более странно и чрезвычайно, нежели пристойно одетый. Так родился стиль: верхом на губернаторской дочке, Африка в бане — «порнография» (в чем меня обвиняют), давшая доступ фантастике и не возбуждающая ничего, кроме удивления: фокус.

Татуировка: впереди — орел, клюющий грудь Прометея; сзади — собака, употребляющая даму диким способом. Две стороны одной медали. Фасад и задник. Свет и тьма. Трагедия и комедия. И пародия на собственный подвиг. И соседство секса и смеха. Секса и смерти.

Голая дама в шикарной шляпе восседает на черепе, как на глобусе, — при виде этой наколки мне показалось, что ее обладатель запечатлел у себя на спине собственную голову, реализовал метафору своего сознания.

Разговор с отъезжающим:

— На кой... мне идти в Третьяковскую галерею?

— Там голых баб увидишь. Как живые.

Музеи в зрелищном смысле проходят сейчас по общему ряду с магазинами и зоопарком. Куда-нибудь пойти — посмотреть. Музеи — суррогат балагана, в самом положительном, в том числе познавательном его значении.

Ну, а как бы ты сам сейчас описал наготу женщины? То есть возможно ли ню вообразить и увидеть всерьез?

...Это было — как прилив крови в голову, от которого темнеет в глазах, пока эта чернота, этот удар мрака не рассеивались, оставив на пляже выброшенную красавицу ослепительно белого, до тяжести в сердце, цвета.

Задумчиво:

— Я все никак не пойму, почему ей такой грубое название дали...

Вся сниженность, грубость в определении пола не безумный ли бунт, не попытка ли вырваться — оттого что кругом покорны, не в состоянии уйти и забыть, и вот закликаем, отпугиваем (сгинь! пропади! я тебя не боюсь!), тогда как слишком зависим.

Цитата (приснилась во сне):

«Зандер побледнел перед обязанностью соития едва ли не с каждой остающейся с ним с глазу на глаз в силу случая девушкой.

— Все они от меня чего-то хотят, — говорил он, нервно помаргивая».

Вопрос: а что если пол — адский способ достичь райских врат? Отравленный заменитель потери? Нельзя ли тогда по суррогату вообразить забытый источник, по низкой копии — высокий подлинник? И не прекрасна ли тогда вся эта сфера секса только потому, что в ней искажен тот потерянный образ (да, искажен, но ведь — *тот!*)? Тогда, приняв ее за пародию, реставрировать приблизительный стиль и загадку оригинала, и если *это* бросает в восторг и ужас, то что же делало *то*?! Через обман доискаться до истины и содрогнуться, почуяв, на какой глубине мы привязаны, и что значит дух, когда плоть так сильна...

Из приобретений последнего времени: я тебя все явственней чувствую как собственное тело — что ты из меня соткана, по клеточкам, почти как Егор, а может быть и ближе, потому что не по наследству, а более прямо и просто — как растение.

В дополнение к теории о чистоте породы — мне недавно рассказали, что жена уподобляется мужу не фигурально, а буквально, и не в силу — только — духовных токов, но даже ее естество постепенно замещается в составе его молекулами, и в этом смысле «плотская жизнь» значительно сложнее

и глубже, чем подозревают. В этом смысле муж рождает жену, пропитывая ее насквозь собою, так что и получается в итоге «едина плоть».

Поэтому, наверное, в браке сфера интересной экзотики переходит в витье гнезда, семейной конуры, где всё настолько родное и кровное, что проходит по разряду кормления, с навыками младенца и матери в одном лице.

Молчаливый старичок, отрешенный от суеты,— всплеснув ручками, под наплывом воспоминаний:

— Жена! жена!.. Если она имеет милость — то когда и ляжет с тобою!..

В больнице:

— Раскричался: ты пришел жену искать или лечиться?! Я говорю: я — живой человек...

— Давай подженимся!

— Жениться — остановиться.

— Ну — женился, взял вдову, мужа ее убило на тракторе...

— Было у меня две жены, три сына.

— Женщины все это понимают больше нашего. — Чего ты боишься? — спрашиваю. — Я боюсь, — отвечает, — что ты меня бросишь.

— А математику я страшно любил — как жену!

— Что такое является источником для процветания жизни? Я так понимаю, что счастье, во-первых, и дети, во-вторых. Жена — нет. Дети.

— Двое детей у нее. Одного он состругал. Второго прижила.

— У нее дом в Ростове и муж непьющий.

— Муж мне попался неплохой, надо прямо сказать. Я даже согласна, пишет, если б теперь был наполовину хуже. Выпивал, правда, изрядно.

«Женой я изменен».

(«Поэма из личной жизни»)

— Жена пошла работать в баню.

(Предел падения)

— И вся структура моей семейной жизни поломана!

— А это твоя пацанка?

— Кто ее знает? Жена пишет — моя.

Четырехлетний мальчик — девочкам постарше:

— У вас хоть какой-нибудь отец есть?..

Вернувшемуся из лагеря:

— Знаешь, папа, я очень боялся, что приедешь не ты, а мне скажут, что это — ты.

— И може будет еще и у нас товарищ киндер!

Из прошлого. Где-то в Сибири по комиссии выпускают на волю 58-ую статью. Женщины, понаехавшие из деревень, выстроились у вахты — предлагать себя в жены и выбирать в мужья. Гулящую опер погнал:

— Здесь не для таких!

Ситуация торговых рядов. Скромно, степенно, никаких шуточек и смешочков, с пониманием важности шага. У 58-ой репутация — дай Бог. Хороший товар. Может, кто и останется. Колорит, если угодно, Киевской Руси. Ожидание.

В жензоне:

— Дай я тебе рубашку постираю.

(Если произнести эту фразу просительно, как о милости, то можно уловить, что с нее и начинается семейная жизнь,

пускай все общее хозяйство, и дом, и любовь — в одной этой рубашке...)

Оказался возможным еще один поворот низменно-эротической темы — со знаком плюс. Секс — как знак доверия (что может быть доверительнее, чем эта близость вчера еще незнакомых людей — когда даем друг другу то, что никому не показываем?..)

Надзирательница в тюрьме — заключенному:

— Приходи, когда освободишься. Сама штаны сниму.

(Освобождаться же ему — и она это знает — не раньше, чем через одиннадцать лет.)

Здесь слышится нищета и незащищенность гостеприимства — всё в печи мечу на стол — на, попробуй! — панибратство, завязывание родства с бедняком, которому никто не подал, а я не жадная, поделилась общим куском, не претендую на большее, чем сели встречные и закурили. А что еще мы можем предложить друг другу?..

Вообще пол — это какой-то сплошной плач на реках Вавилонских.

...Почему-то у мужчины виднее срам.

И клеймо (дополнительное) на человеке — еврей.

Всякий человек — еврей.

...Я повторяюсь и переливаю из пустого в порожнее. В оправдание замечу, что текст как пространственная задача не может быть ни статичной площадкой, ни движущейся в одном направлении лентой. Он ближе к кругам по воде. Антиномии — типа «зимы», «солнца», «острова», «женщины», «книги» и т. д. — заставляют слова разбегаться по радиусам, повторяя и исключая друг друга, производя вращение речи, ее возвращение к старым загадкам, берущимся как бы усилием, приливом смысла, а затем отливом в бессилии разрешить с кондачка обратимые парадоксы, которые без такой обратимости были бы данью формы и только. В том же роль иронии, не дающей миру застыть с выпученными глазами однозначной, горластой безжизненности, но вносящей колыхание в речь, наподобие модуляции голоса, который, удаляясь, без конца возвращается к своему началу, пока мы не догадаемся, что это не поток слов, не голос, но сам горизонт вращается

и поворачивает вспять, даря и черпая силы жить дальше и дальше.

Два писателя открыли нам, что юмор — это любовь. Гофман и Диккенс. Они открыли, что Бог относится к людям с юмором. В юморе есть снисходительность и ободрение: «ну-ну!»

В самом имени Данте слышится ад: эффект перевертня.

Мне кажется, «Бедные люди» Достоевского родились по звуковой аналогии и по контрасту с «Мертвыми душами». — Не мертвые души, — спорит Достоевский (и очень при этом сердится), — а бедные люди!

Приятны случайные встречи и узнавания в словах, которыми мы, болтая, не придаем значения, покуда оно само вдруг не проступит на свет, поражая нас точным и осмысленным буквализмом. Сила и страсть восклицания «И ты, Брут!» так ясно звучит по-русски, потому что в нем скрывается: «И ты, брат!»

Мы умираем от голода, от страха, от скуки, но более глубоко и правдиво мы выражаем суть дела, когда говорим о себе трафаретной фразой из романа: «Я умираю от любви». В любви (как самой простой и первичной психической достоверности, которая позволяет судить о том, что мы действительно любим) нас охватывает порыв и восторг самоуничтожения. Мы забываем и вытесняем себя, наполняемся светом и воздухом возлюбленного лица и предмета, переходя в состояние невесомости, потерянности, исчезновения, что как-то сродни ощущению и признакам умирания. Наша физика в этих случаях ведет себя подобающим образом, мы вздыхаем, как будто душа отделяется, а сердце «замирает», а чувство подъема соседствует с ослабленностью состава, готового, кажется, испариться в приближении к источнику света. Меня — нет. Я — это ты. «Ах, я умираю!»

Посылаю тебе стихи из альбома, дикий цветок романсно-эпистолярного стиля. Ради экономии места я сократил их немного и подчеркнул слова, мне особенно приглянувшиеся.

Я никогда бы, слышишь? Никогда!
С письмом таким к тебе не обратился,
Если б душой не чувствовал тебя
И образ твой ночами мне не снился.

...И образ твой я выкинул бы прочь
Из головы, как сор, как кучу хлама,
И спал спокойно каждую бы ночь,
Не жгла бы сердце ноющая рана.

Любимая, я все хочу узнать,
*Что тебя сегодня побудило
Пылающую лиру оборвать?*
Ведь ты вчера еще меня любила!

В расцвете смяла сердца алый цвет,
Растерла в пыль безжалостной ногою.
Я не прощу тебе за это, нет!
Я буду жить, чтоб встретиться с тобою.

...Не я пишу изношенным пером
Слова письма, *рифмуя предложенья,*
Диктует сердце бедное мое,
Это его простое сочиненье.

(Какой
галлоп!)

Это оно молчало до поры,
Переноса все горести и муки,
Это оно, желанью вопреки,
Писать письмо удерживало руки.

Это оно сегодня так стучит,
Это оно кровь в жилах возбуждает,
Это оно, родная, не велит
Забить тебя и, мучаясь, страдает...

...Бессилен я потребовать ответа,
Различен быт у каждого из нас:
Ты дорогими *тканями* одета,
А я в бушлате *временно* сейчас.

Но я такой же в лагерном бушлате.
Что во мне было, то во мне и есть.
А ты в своем нарядном, новом платье
Не замечаешь, как теряешь честь.

Что ждет письмо, я этого не знаю
Возможно, ты *для практики* прочтешь.
А может быть, конверта не вскрывая,
Ты бросишь в печь и *спичкой* подожжешь.

Сгорит конверт, листы и эти строки,
С золою пепел в мусор отнесешь...
Но ты не можешь быть такой жестокой,
И мне ответ, я верю, ты пришлешь!

Ниже — афоризм: «Если женщина отдала мужчине сердце, она отдаст ему и кошелек.

Б а л ь з а к».

Ай-да Бальзак!

13 марта 1967.

Искусство — место встречи. Автора с предметом любви, духа с материей, правды с фантазией, линии карандаша с контуром тела, одного слова с другим и т. д. Встречи редки, неожиданны. От радости и удивления: «ты? — ты?» — обе стороны приходят в неистовство и всплескивают руками. Эти всплескивания мы принимаем как проявления художественности.

О писательстве трудно сказать что-то определенное. Это — как любовь, которую носишь повсюду и заходишь в гости вдвоем.

В сказке о красоте и любви говорится: совсем не свой сделался. Нас тянет стать не своими. В этом суть.

Катон, по свидетельству Плутарха, сказал: «Душа влюбленного живет в чужом теле», и, хотя это было сказано, вероятно, в осудительном смысле, отсюда явствует, что любовь подразумевает всегда переход, размыкание собственной личности. Без «я», к сожалению, не обойтись. Ядро. Закон и форма существования, есмь, точка отсчета, мера вещей, инстинкт продолжения вида, эгоизм, согласуясь с которым, все до поры стоит на месте и остается собою. Любовь в это не верит и нарушает порядок мира ради его единства, взаимности. Любовь бесформенна, и она наводит мосты, мысль всякую вещь не по моему, но по твоему подобию.

— Этот кофе уже потерял свое «я».

«Я» исключительно, «я» всегда исключительно — по типу исключенного третьего: есть ты да я.

Сообщает как величайшее чудо:

— В детстве мне казалось, что я никогда не умру!..

И думает, что только ему, ему одному, в порядке исключения, было даровано это сознание и—кто знает?—быть может, предвестие, намек или тень надежды... Но от снисходительной жалости вначале: чудак, да ведь это же всем казалось, особенно в детстве!—мы переходим к догадке, что ощущение это верно в зерне и, действительно, с ним одним был заключен союз, дана гарантия: не умрешь. Каждый бессознательно носит в душе подобный урок, заканчивающийся в сказке исполнением обещанного.

— И ты был когда-то «Я»!..

Перед расстрелом или побегом думают, что уцелеют, что пуля пройдет мимо. Навылет. Он говорил: для *таких* не бывает конца, но есть дверь: она откроется в последний момент: не убит, но—спасен.

(Почему-то все-таки просил стрелять не в лицо: выстрел в лицо—последняя смерть, без вых о д н а я—выход души—лицо?)

Возможно, минута сверхъестественного напряжения, в какую «видят всё», отмыкает замок как ключом, и дверь открывается—ровно по мерке, по форме тела,—куда человек, не успев умереть, уходит... Я—дверь.

(Другой случай, обратный: перед казнью себя ослепил—чтобы не видеть смерти, как под одеялом укрылся, либо как тот мальчишка уцепился, когда уводили, за ногу такого же смертника:—Дяденька Шота, не отдавайте!—Тот потом рассказал...)

— Я не хотел жить, когда впервые услышал о смерти.

— Тринадцать раз я в него стрелял. В упор. Но так его, значит, Господь оберегал, что он встал и ушел.

— Господь устраняет меня из любви ко мне, я подумал. Чтобы я лишнего не нагрешил.

(Перед расстрелом)

Колдун посмотрел на воду и говорит:

— Будет жить... Но лучше б его Господь прибрал.

Разговоры о вероятном этапе. Старик:

— Да я уже, милоч, о другом маршруте думаю.

— Дал простор фантазии, написав на запретке: «Не бойтесь смерти».

Предположим, встречный рассказывает о расстреле, и весь ход изложения заставляет подозревать, что это его расстреляли, но он, не досказав, уходит, как ни в чем не бывало, оставляя вас теряться в догадках, с кем же вы разговаривали.

Наверное, у него позади большая, «главная» жизнь, а сейчас — ее отражение в полутьме тюремного быта, в полубытьи, воспоминание о «том», настоящем, чем он, в сущности, живет до сих пор (спрашивается, о чем разговариваем, если каждый твердит о своем, о «главном», и диалог перерастает в повторение мысленных жалоб, отправляемых по привычке в пространство, по отрешенной способности жить «главным» событием жизни и по отношению к нему всё располагать, объяснять), о чем не спрашивают, не принято спрашивать, но что послужило причиной, завязкой «этой», вторичной жизни, о чем непрестанно думает человек, переживающий в частной судьбе, может быть, всю глубину нашего грехопадения в целом, — и, может быть, наиболее правилен этот вид существования, как более осмысленный, сообщающий тусклой действительности «ту», «большую» мотивировку.

...Смех соседа по ночам, давящийся хохот под одеялом (я думал, он онанирует, а он смеялся), на верхней койке, тихо живущего днем своими, такими большими, «главными» мыслями: тупое лицо идиота, и такой полный, такой осмысленный хохот ночью.

Отсюда же страх перед выходом, перед жизнью «на воле», ничем не мотивированной и совершенно «пустой», на взгляд пережившего состояния полноты. — Ну а женщины?! — ему говорят. А что ему женщины? — молчать, улыбаться и снова молчать. Одиноким скитальцам с прошлыми жизнями, молчащие потому, что — какое, собственно, ко всему «этому» они имеют касательство?

Мы пришли на землю для того, чтобы что-то понять. Что-то очень небольшое, но крайне важное.

Лицо человека, иссеченное мелкой нарезкой каких-то необычайно запутанных, хиромантических линий. Человек в переплете истории, плачущий над ненастоящей, предписанной ему до кончины в ходе дознания жизнью. Куда ему обратиться? Существование в подтексте истории. Кто вернет ему доисторическое, заурядное, живое лицо?

Задумчивость и додумывание до крайних степеней глубины у выдернутых из жизни и посаженных за решетку созданий. Трансцендентное в сознании выдернутого. Личность в нем неизбежно уходит на задний план.

В итоге: не люди — просторы. Не характеры — пространства, поля. Границы человека простираются в прикосновении к бесконечному. Преодоление биографического метода и жанра. Сквозь биографию! Каждый человек — сквозь. Стоит положиться на какие-то начатки характера, и мы проваливаемся по пояс. Личность — яма, едва припорошенная хворостом психологии, темперамента, жизненных привычек и навыков. Попал мимо — в яму, шагнув навстречу подошедшему ко мне незнакомцу.

А что если развернутые ступни Будды в позе лотоса иная проекция сомкнутых молитвенно рук!..

...Бывают интонации, которыми говорящий словно хочет удостовериться себя, что он действительно был. Как если бы — не назови он этого паспорта, адреса — не было бы и человека.

— Я жил в Москве. Кропоткина, 28.

Это сказано с ожесточением.

Ответная реакция: — Меня не было, слышите — не было! (Только слабое эхо: — Был...)

— Во сне я увидел фотокарточку самого себя.

Если во сне нам снится улица, по которой ходят люди, — значит, внутри у нас просторно, как в городе, и наша душа велика, и по ней можно пройти и спуститься по лестнице к морю, и сесть на берегу и смотреть.

Собственную душу мы знаем лучше других, и она рисуется иногда какой-то кучей червей, грудой мусора. Лишь

посмотрев вокруг себя, успокаиваешься: не все такие! По сравнению с благообразной наружностью окружающих наша внутренняя непривлекательность, о которой мы можем судить довольно здраво,— потрясает, кажется невероятной и понуждает от себя отворачиваться, равняясь на более обнадеживающую внешность друзей и соседей. Глядя друг на друга, мы как бы прибодряемся и стараемся соответствовать образцу — лица.

Когда соберешь мысленно все горе, причиненное тобою другим, сосредоточив его на себе, как если бы те, другие, все это тебе причинили, и живо вообразишь свое ревнивое, пронзенное со всех сторон твоим же злом, самолюбие,— тогда поймешь, что такое ад.

— Дьяволу все люди не нужны. Ему нужны некоторые. Я — ему нужен. Но я не поддамся.

Начальник лагеря:

— Что же ты — сам Богу молишься, а посылку просить к Сатане приходишь?!

Мужик говорит кошке:

— Видишь, какой я хороший? Вот — принес...

(Не оттого ли мы все понемногу творим добро? И не потому ли им одним не спасешься?)

— Мне достаточно пять минут посмотреть на стену, чтобы сказать, что вот в этой стене больше зла, а в той — меньше... Добро, правда, я различать еще не научился.

В русском апокрифе есть эпизод: дьявол дрючком нанес Адаму 70 язв, а Господь повернул их внутрь — «и обороти вся недуги въ него» («Сказание, како сотвори Бог Адама»). Развивая аналогию, не получим ли мы в итоге подобного выворачивания — изгнание из Эдема, во-первых, а во-вторых, — посмертные адские муки, когда вывернутая вновь, на старый салтык, душа попадает в атмосферу собственной внутренней жизни, которая станет отныне ее физической средой, окружением? Тогда она сама создает себе погоду в аду, и наказание за грехи, заложенное в самих же грехах, может восприниматься как нечто вполне вещественное.

- Эта наглая смерть...
- Этот смертельный человек...

Меня занимает сказка как проявление чистого, может быть впервые отделившегося от жизни искусства, и как оно проясняет действительность и делает ее более похожей на себя, разделяя добро и зло и заканчивая все страхи и ужасы счастливым концом.

Неужели свадьба в финале сказки — лишь иллюзия, которой мы пытаемся подсластить судьбу? Скорее все же это настоящая, окончательная реальность развязки, которая себя обнаруживает, когда страшный сюжет рассеивается в ходе своего изложения...

- Трудно, Господи.
- А ты думал как?

Боль нужна для того, чтобы, уходя, оставить полное, освобождающее блаженство.

...А бесы тогда водились, как лягушки в болоте.
Человек, человек, общающийся с Богом сосуд.

— За что я благодарен Господу, так это — что за всю мою жизнь не убил никого. А сколько было случаев!..

— Один у меня родственник — Бог...

Он слышит ночью хор голосов — может быть, духов земли, или всех рассыпанных по ней бесчисленных племен и народов — и, прислушиваясь, чувствует вдруг, что, если поймет он сейчас из этого хора хоть слово, то сойдет с ума. Понять — сойти.

Каким мы голосом будем кричать в аду? — Не своим. Если даже в падуей каждый кричит совершенно неузнаваемо.

...И кашель двух стариков в бараке, похожий на диалог. Послушав их немного, вступает третий

Или — один, казалось, кашля говорил с собою на два голоса. Хриплым и страшным — спрашивал, спокойным, своим — отвечал.

А еще бывают ходики с вырезанной над ними из жести кошачьей головой, у которой глаза тикают туда-сюда с томительной методичностью.

30 июня 1967.

...Не к Достоевскому лишь применимая, но ко всякому роману в его универсальном значении — засасывающая роль сюжета. Писатель интригует, заманивает в свою страну, куда, как с горки, мы скатываемся и оглядываемся, но поздно: попались! Книга — ловушка, лабиринт, по которому нас тянет сюжет, пока мы с головой не окунемся в стихию книги и не станем ее пленниками и поверенными. Не оттого ли на практике особенно широко применяются затягивающий сюжет путешествий, а также любовные истории с поджидаемой свадьбой в конце пути? В этих схемах пути с соблазнительной приманкой в финале — выражена идея книги как умозрительного пространства, которое необходимо покрыть: прочтешь — узнаешь, чем дело кончилось. «По усам текло, а в рот не попало», — лукаво сказанное в конце, знаменует и мнимость нашего присутствия на завершающем пировании, и внезапное исчезновение автора, который, помазав нас по губам давно обещанной приманкой, уже зазывает в другую сказку новым приготовлением к свадьбе.

Было бы интересно писать перетекающей фразой, начатой в ключе одного человека, а кончающейся другим, с тем чтобы она строим своим и развитием несла два лица, которые бы шли по ней навстречу друг другу и качались бы, как на качелях, увязывая и обнимая пространство шире общих возможностей. В этом прелесть деепричастных наивностей, типа: «подъезжая к станции, у меня слетела шляпа». Да и не в том ли развее задача языка — связывать разные планы и вещи, не обязательно по прямой, но чтобы ветвилось, росло, повинувшись собственной прихоти... Если, допустим, я иду к тебе, то, сказав вначале «я», почему бы тебе в конце не протянуть мне руки?..

Нужно доверие к речи, которая поведет, к руке, по примеру скульптора, режущего дерево в согласии с его волокном, не знающего, что выйдет по ходу, какой сушок или слово выпрет и повернет, и даст оборот и строение.

— Сам инстинкт души говорит.

— Справедливостью моей души заявляю...

— Перекрестись в душе тихонечко и пойдешь.

— Чтобы я кошкой интересовался?! Да я душе своей не рад.

— Душа все предчувствует, но предсказать не может.

— Зачем фуфайку надел? По глазам вижу — бежать хочешь, а я стрелять не могу — душа не позволяет. Снимай фуфайку!

(Старый надзиратель)

И наши души, взлетев к небесам, отвернутся от нас.

...В нашем северном неолите в могильниках не находят детей, но только — скелеты взрослых. По-видимому, детей хоронили иным способом — как до недавнего времени у некоторых народов Севера умерших младенцев, завернув в ткань и бересту, погребали в дупле дерева, либо подвешивали к стволу или веткам. Также известно, что у тунгусов духи-предки обитали в корнях, тогда как вершина Вселенского дерева служила резервуаром коллективной души народа, обеспечивающим смену и живой приток поколений. Нельзя ли отсюда вывести, что дети, не успевшие в досталь пожить, для восстановления равенства отправлялись не в землю, но специальным рейсом — прямой дорогой — через дерево — на небо, с тем чтобы скорейшим образом снова появиться на свет?.. Какая связь с дождями и росами, которые испаряются и скоро вновь выпадают! какая непрерывная циркуляция в воздухе!..

Я похож на таракана, но не когда он бежит, а когда сидит, застыв на месте, в пустой отрешенности, уставившись в одну умунепостижимую точку.

Эпитет должен быть не прямым, но чуточку сдвинутым по отношению к определяемой вещи. Чтобы, помимо определения, выводить ее на иную косую смысла и заставлять поворачиваться и озираться по сторонам. Его неточность в данном случае создает живое пятно, размазывающее контур предмета до ощущения связанности с его окружением и продолжением. Эпитет призван смотреть и боковым и затылочным зрением, схватив несколько зайцев зараз. Нужно, чтобы от него у зрителя немного разбегались глаза.

Интересно думать на минимуме — когда ничего нет, ни книг необходимых, ни сил, и негде взять справку. Дано несколько строк или одна картинка, одна музыкальная фраза — и вот в нее погружаешься и начисто забываешь себя.

Куда девается эта сквозящая точка — я?

И чей-то ласковый голос скажет:

— Тебя нет. Понимаешь, тебя нет! Забудь. Забудься. И я засну.

— Жаждал работать. Потому что это как во сне, когда работаешь. Потому что меня нет, когда я работаю.

Странно: человек вполне счастлив, когда забывает себя, не принадлежит себе. С самим собою — скучает. Средства заместить себя — работа, игра, любовь, вино и т. д. Счастливейшие минуты — не помним себя, исчезли из собственных глаз. Сон без снов — синоним нирваны (Лермонтов: «Я б хотел забыться и заснуть!»). Так же бабочки летят на огонь. О дай мне исчезнуть в блеске Твоей славы!

«Я» — такая точка, что, без конца вопия «дай! дай!», тут же шепотом шарит, как от себя избавиться. Неустойчивое равновесие личности, пульсирующей между жизнью и смертью.

— И во сне все кому-то доказывал, что он не виновен.

Какие бывают сны.

— Я часто во сне летаю. Утром залезешь на крышу, голова кружится, кажется — сейчас полечу.

— А я во сне все гадать начинаю — сколько еще сидеть. Но каждый раз на этом месте просыпаюсь.

— Ты знаешь, Андрей, я во сне и Бога видел, и ангелов. Один раз вижу — идет здоровый такой мужик. По воздуху. Борода седая, с палкой. И гонит перед собою по небу отару овец. Наклонился ко мне и что-то сказал, непонятное.

— Запомни, — говорит.

И дальше погнал. И уже далеко — как тучка.

А потом — ангел летит. С крылышками. Как на картинке. Подлетел и спрашивает:

— Понял, что тебе сказали?

Я говорю: — Нет.

— Ну, после поймешь.

(И похабные междометия на этом рассказе кончаются, без усилий, сами собой. А сны про чертей — тоже чудесные, но с матерком.)

— Когда спишь — не грешишь, не ругаешься...

— Вижу во сне — снайпер в меня стреляет.

— Приснилось: двое хотят зарезать. С одной стороны и с другой. Никуда не скроешься. И я — улетел!

— Во сне меня преследовала знакомая гермафродитка.

Сценарий из сна, достигаемый расположением фраз. Похороны. Гроб. Попрощавшись, уходим. В автобусе натыкаемся: он самый, живой! Не знаю, что и подумать. Едва решил заговорить, смотрю — под нашим автобусом — высунившись из окна — под колесами — клубящиеся, как дым, облака...

«Я буду являться к тебе привиденьем,
Я буду тревожить твой сон».

(Из песни)

Во сне мне белая курица поднесла в лапе облупленное яйцо, и я его съел.

Я увидел себя во сне со спины — маленьким таким человечком.

Оставалось ждать и надеяться на приснившиеся тапочки.

Рассказали сон, приснившийся одному латышу-двадцатипятилетнику, в далеком прошлом — спортсмену. Он увидел себя молодым — в марафонском беге на 25 км. В теле ощущение свежести и как бы легкого опьянения. Но ровно на середине дистанции, откуда ни возьмись, появляется судья: довольно! вам пора отдохнуть. Тот было отнекиваться, ничуть не устал, но судья мягко и упрямо: на отдых! Здесь же покойная жена, и тоже — хватит! довольно! Наутро, успев пересказать свой сон товарищам, бегун внезапно скончался от разрыва сердца. До окончания срока он не дожил ровно 12 лет и 6 месяцев.

Странно, что, просыпаясь, я всякий раз оказываюсь — я. На чем это держится?

Согласился бы я заснуть на те годы, что здесь нахожусь, чтобы как-то скрасить и сократить этот срок? Наверное, не согласился бы. Потому что надо это время не проскользнуть, но прожить, медленно и тяжело ступая, каждый день в отдельности и все подряд, один за другим пройти...

Сон — водопой души, убегающей по ночам на источники жизни.

Во сне мы получаем — я не могу подыскать другого, более подходящего слова — уверение. Мы уверяемся в том, что нужно жить дальше.

Как хорошо, что все спят, что всем нам дано спать, и, наделав массу глупостей за день, мы можем нырнуть, прикрыв глаза кожной пленкой, чтобы не захлебнулись, отчаливаем, отваливаем, и все твари тоже ныряют в тот океан,

откуда все просыпаются омытые этим чудом, ежесуточно умыкающим нас и выплескивающим обратно с ласковым напоминанием — пошел жить, опять жить!..

Мы самими собой заглушаем этот Голос и говорим: — Помоги!

А Он отвечает: — Я с тобой. Я же с тобой. Неужели ты не слышишь?

Удивительно владычество Бога над нами. Самое полное, деспотическое и безболезненное, нечувствительное, предоставляющее бездну свободы, не дающее и шагу свернуть с предназначенного пути. Царь самый явный и нигде не показывающийся, вмещающий всё и позволяющий думать, что Его нет.

...Тучи, создающие видимость осмысленной драмы: — Встать!

И я понял: отныне оно никуда от меня не уйдет. Эсхатология в сапоге, апокалипсис, шагаю, полнота счастья. Как ему трудно, как ему сладко, в спорадическом виде, в надежде, в надежде всегда сомнение: неужели попустишь? Сито, сети, просится в плотину, с печалью неисполненности в сердце, ведь это не перейдет, застрянет, останется. Богатство, трудно богатому, сторож, стрелочник, стрелочник всегда виноват...

Мы не пишем фразу, она пишет себя, а мы лишь выясняем по силе возможности скрытый в ней, скопившийся смысл.

...Может быть, истинное искусство обнаруживает всегда неумение, отсутствие мастерства. Когда автор не знает, «как это делается», и начинает писать неподражаемо, невпопад с принятым образцом. Во всяком случае в гениальных созданиях открывается подчас что-то граничащее с самым элементарным невежеством.

Хуже нет, когда из-под слов торчит содержание. Слова не должны вопить. Слова должны молчать.

От дождя, который не хочет уняться, появляется чувство уютности — не сидя в тепле, а напротив — замерзнув, промо-

кнуж, странное чувство пропадания, немного одушевленное нежностью — не поймешь к кому и к чему? — даже к этой дикой сырости, к этому не думающему о людях дождю. Пусть идет.

27 сентября 1967.

Подошел к осине: — Дрожишь? С тех пор всё? Ну дрожи, дрожи.

Колдун на базаре. Женщине:

— А ты — иди! Тебе я ничего не скажу.

Через два часа ее задавил грузовик.

Колдун, сказавший парню, где у его жены родинка (ту родинку, понятно, кроме парня никто не мог углядеть).

И девушке: — Ты один раз вешалась. Один раз топилась. Ничего — на третий раз уйдешь.

Я заметил, что моя тень шла рядом со мною, но двигалась помимо меня.

— В зеркале, видимо, есть как что-то нечистое, так и зазорное.

Зачем в картины и фотографии так часто вставляют зеркало в виде реки или озера, с тем чтобы дополнить предмет его же собственным отражением, которое по обыкновению смотрится и живописнее и чуть ли не ярче подлинника?.. Предмет, удвоенный в зеркале или в воде, кажется цельнее, единственнее. Он не раздваивается, но удваивается, помножается сам на себя. Он замыкается на себе в этом пребывании на границе своей же иллюзии.

В отражении важно, что оно перевернуто, во-вторых — подернуто зыбью, дымкой, оно струится, и дышит, и проступает из тьмы, со дна водоема. Это как бы тот свет предмета, его психея, идея (в Платоновом смысле), заручившись которой, тот крепче высится на берегу. Зеркало его подтверждает, удостоверяет и вместе с тем вносит долю горечи, тоски, недостижимого далека, становясь по отношению к миру легендой о граде Китеже.

...Поэзия Анны Ахматовой похожа на пруд или озеро, отороченное лесом, или на зеркало, в котором все кажется

менее реальным, но более выпуклым, чем в действительности. Отражение яркого неба и блистающих облаков, которые становятся еще ярче — в черной заводи, где черти водятся, но на поверхности ни зыби, ни плеска: всё в невидимой тишине, в озарении темного, подводного света. Заливка. Белое на черном. Странная чернота в белизне. Зависимость от фона, который по-зеркальному гладок, глубок, траурен, на котором контур предмета резок и в нем посверкивает что-то пронзительное, магическое, непонятно откуда берущееся, потому что — «ничего нет».

То же: низкий, бархатный фон ее голоса и рокошущая манера читать, и ахматовское платье, глухое, закрытое. То же: традиционность Ахматовой, ее приверженность к классическому зеркалу стиха, в которое она смотрится пристально и где, как в венецианских затонах, отражается и нынешний день, и живая мелодия речи, торжественно, авторитетно — на неподвижном фоне Лирики прошлых столетий. В ее стихах — до нее кто-то прошел — как в зеркале, когда взглянешь внезапно, кажется — кто-то только что был и вышел, и вещи настроенно прислушиваются — к отсутствию.

Зеркало — анаграмма ее стиля. Жест застылости, знак почета и немоты, величия. А цвет — всегда черный. Кого ни спроси: какого цвета Ахматова? — и всякий скажет: черного. И когда она вызывающе произнесла: «Из мглы магических зеркал», — ей, разумеется, не мог не припомниться Пушкин, с его «магическим кристаллом», сквозь который все так ясно светится, а у нее — зеркальная мгла, откуда никто не выглядывает, но скользят по стеклу титулованные отражения. Таков же аристократизм Ахматовой — алмазное зеркало в обрамлении Санкт-Петербурга, Царского Села (Версаля), которые подстать ее позе, всегда позе, играющей роль фона. Точнее сказать, роль и фон, на котором она играет, медлительная, важная, чтобы не потревожить эту замороженную воду, — слились в позе Ахматовой, в неподвижном, зеркальном состоянии Королевы.

В алмазном зеркале немотствующих вод
Сияют облаков живые очертанья...

Из орудий к созвездиям ближе всего трезубец.

От кошек почему-то есть ощущение, что у них голубая кровь. В буквальном, окрашивающем значении слова.

Метафоры и сравнения бывают по сходству, по смежности, а то и по удаленности уподобляемых друг другу рядов. Но здесь же таится возможность фантазировать средствами речи, вглядываясь в темноту какого-нибудь предмета до тех пор, пока у него не появится удивленная мордочка. Вот эти личики, когти, крылья, хвосты, языки, мелькающие в вещах, пожалуй, пуще всего привлекают меня в метафоре, способной обратить серый тетрадный лист в струящийся, звероподобный орнамент.

«— Солнышко!» — привычно в письмах женщины именуяют мужчин, не имеющих отношения к солнцу. Но взглянув на него, я сразу подумал, что вот этот старец и есть то самое искомое «Солнышко». Серенькое сияние исходило от его бороды, торчащей редковатыми лучиками, сквозь которую легко обрисовывалось всегда ослабленное, как сам он выразился однажды со скромностию, рылообразное лицо. Торжественная и немного строгая доброта бродила и плавила там, и с молчаливых уст спархивали без конца и удалялись в пространство круги-улыбки. Я только однажды видел его глубоко скорбящим — когда умер большой начальник, что не вызывало, понятно, у нас ничего, кроме злорадства.— Чего же тут расстраиваться? — удивился я слезам старика, немало потерпевшего в жизни от того же чиновника.— Да ведь как же! ведь его душа сейчас прямо в ад идет! — сказал он в безмерной тоске, не переставая, впрочем, улыбаться.

...Ему противостояла Луна, круглолицая, бритая, жалостливая по-бабьи, слегка осповатая, с носом картофелиной и потупленным конфузливо взором, похожим на глазок в той же картофелине, упрятанный в припухлости щек. Но я ни о чем не догадывался, пока в какой-то вечер не заговорил о разбойнике, распятом вместе с Христом. Не о том, который покаялся, но о втором разбойнике, который, как известно, не поверил в Христа и погиб.

— А вы знаете,— сказал он загадочно, и у меня по спине пробежали мурашки,— и второй разбойник спасен... Да, он тоже спасся... Только об этом никто не знает...

И из всезнающего глаза — слеза, и потупился, и я понял вдруг, что это он о себе говорит, что передо мною тот самый, неисповедимым путем спасенный разбойник, и он же парный пророк — из тех, что еще придут или уже пришли — Илия или Енох.

На старинных картинах, гравюрах Солнце и Луна размещались по сторонам, в виде человеческих ликов. Солнце и Луна, два Завета, две Церкви, два пророка, две масличные ветви... И пускай Солнце старше и выше, молодая Луна ему дана в симметрию — чтобы светить по ночам, когда спят.

— И от сих восхищений я просыпаюсь.

Перед допросом в тюрьме у нее было видение. Явились во сне Никита Мученик и Иоанн Воин:

— Раиса, помнишь ли слово «не знаю»?!

«Ниточка жизни». Для этой «ниточки» долго жили: Иоанн — 114 лет, Никита — 95. Нельзя помереть — «чтобы не перервалась»: остальцы Соловецкого монастыря. В 1732 г. Никита, возвращаясь от Иоанна с Топ-озера, направлялся в Ярославль. По дороге его по незнанию завернуло в село Сопелки, куда сошлись в ту же пору 30 других остальцев. Неделю постились, тянули жребий — кому быть Преимущим. Каждый за себя не ручался, опасались: «не повредился ли я, помяная некрещеных?» Один Никита — «неповрежденный». От него — отсюда пошла и продолжилась неповрежденная ниточка староверческого благочестия — секта бегунов (в просторечии), церковь истинно православных христиан-странников.

— Остальцы!.. Верный остаток!..

«Остаток обратится, остаток Иакова — к Богу сильному.

Ибо, хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится; истребление определено избыливающего правдою...»

Исайя, 10, 21 — 22.

— На лбу шишка набита, на плече свищ — от непрестанных молебствий. Крестит очко в уборной, когда — садится. Одним словом — погряз в христианстве.

— Этот старец настолько светел, что иной раз сама одежда блестит на глазах у собеседника.

— Когда он впервые забожился — ну, думаю, сейчас его гром разразит, крыша провалится. Я даже пригнулся...
(На первом допросе)

— Выслушал он разъяснения Апокалипсиса — и про зверя, и про дракона, и что значит число шестьсот шестьдесят шесть (имеющий мудрость — сочти), — внимательно слушал, часа два, не перебивая. Потом встал, потянулся, обошел вокруг моего стула и с тоской говорит:

— Ох, попался бы ты мне два года назад, ведь я бы с тебя всю шкуру спустил!..

— Смеялись над ним. Особенно один подполковник из бытовиков. Я, говорит, подполковник, а никакого Бога за всю свою жизнь не встречал. Где он — твой Христос? Хоть кто-нибудь когда-нибудь его видел?

— А я, отвечает, Его каждый день вижу.

Наука своим глазам не верит и все спрашивает — а как это может быть? Спрашивая и силясь понять, она утолщает стены, отделяющие от истины. Уж на что воздух прозрачен — так нет, он состоит, оказалось, из кислорода с азотом, плюс углекислый газ; нам кажется в первый момент, что мы пошли дальше и глубже воздуха — в действительности наткнулись на новую, еще более толстую, сумму вопросов и принимаемся выяснять, что такое азот, кислород, пока не установим, что даже один кислород плотнее и толще воздуха, не просто О, но О₂ (не считая азота); из утолщенной стены вещества в итоге перепадает кое-какая пища уму и телу, но стена-то все растет и растет...

...Теперь я догадываюсь, зачем носили паранджу. Она имела значение занавеса в театре, который раздергивался в редкие дни спектакля. За четыре часа, что мы почти молчали и только смотрели друг на друга, я совершенно уверился, что лицо — окно, подобие иллюминатора, откуда можно выглянуть, куда возможно войти, а также откуда льется на землю мягкий свет. И поэтому у лица обратная перспектива, оно и уводит за собой и просится наружу, наступает и атакует, и, глядя в лицо, не знаешь, в каком мире живешь и какой больше, глотаешь этот поток и тотчас уносишься в нем, и плаваешь, и тонешь. (И если бы люди

внимательнее смотрели друг другу в лицо, они бы относились почтительнее и осторожнее к ближнему, заметив, что человек похож на хрустальный дворец, в котором кто-то живет, имея внутренний выход в то самое искомое царство...)

Короче, все пространственные законы лицом нарушаются. В нем мы, вероятно, имеем тончайшую перегородку, просвечивающую в оба конца — духа и материи. Лицом мы как бы высовываемся оттуда сюда и являемся в мир, расцветаем на поверхности жизни.

Огонь и вода, помимо окна, ближайшая ему аналогия — и на реку и на костер смотреть не наскучивает, и потом оно тоже течет, и уносит, и горит не сгорая... Можно было бы написать диссертацию о портрете или иконе под названием — «Свет, зримый в лице».

— Мы живем в пальцах истукана! — сказал он в объяснение, почему мировая история видна нам сейчас как с птичьего полета. Удаленность не отдаляющая, но способствующая прояснению действия, подобно тому, как становятся дальноточными к старости, и толща времени служит увеличительным стеклом, фиксируя в поле зрения древнюю Иудею, Египет, Вавилон, более нам очевидные, чем если бы мы смотрели на эти лица вблизи.

Как от одной запятой зависит решение посмертной судьбы человека, о чем ведутся споры со ссылкой на евангелиста Луку (эпизод с прощенным разбойником, 23, 43): «истинно говорю тебе: ныне же будешь со Мною в раю». Отрицающие загробную жизнь и признающие лишь последнее, для Страшного Суда, вокресение (адвентисты, свидетели Иеговы и другие) говорят, что расстановка знаков препинания в этих текстах — дело позднейшего времени, и предлагают читать ту же фразу по-другому: «говорю тебе ныне же, будешь со Мною в раю». То есть обещание переносится до дня Воскресения.

Принципиально разногласие со старообрядцами по Символу веры: «не будет конца» или «несть конца». От этого «несть» зависит очень многое. В частности, представление о тысячелетнем царстве святых, которое — утверждают они — уже было на земле — до первого разделения церквей. Другим вся эта эпоха Средних Веков и более — все, по сути, историческое христианство — рисуется царством Антихриста.

Вот вам и спор о букве.

«Кол в горло, вбиваемый 7-ю ударами стопудовым молотом истины каждому изрыгателью лжи и хулы на Иегову и на всех друзей и другинь Его».

(Название книги)

«Тайна 1-ая и самая величайшая, а именно — Книга с неба.

За одиннадцать лет до разорения Ерусалима, или в 62 году, Иегова или Бог св. пророков прислал Книгу с неба за своеручным подписом и со своим Ангелом, чтоб показать рабам своим, что начнется происходить вскоре, а именно: Сатана сочинит во 11-ом веке чрез Папия и Оригена такое христианское священное писание, от которого произойдет 666 адски-враждебных христианских вер, и этими сатанинскими верами он омрачит все народы и племена.

...Дабы никто из человек и в особенности из всех Иудеев не узнали бы, что оная Книга от Иеговы, то Сатана назвал ее «сочинением апостола Иоанна».

...А лютеранину он внушил написать вместо «Иегова» выражение собачьей злости: герр-герр».

(Из рукописной книги миротворцев или ильинцев «Открытие 12-ти тайн из последней битвы Иеговы с Сатаной».)

Согласно учению миротворцев, они же — ильинцы, они же — иеговисты (прошу не путать со свидетелями Иеговы), «всетворец» — отец Иеговы, Сатаны и других богов, распределенных по солнечным системам, также имеет отца, а тот — своего отца и т. д. По их выражению, у Бога есть «дедушка и бабушка», а на вопрос: откуда же произошел первоначальный Бог? — они отвечают: не известно (ибо, в сущности, все это не боги, а люди, располагающие тайными знаниями и высокими энергиями) — «может быть, из какого-нибудь комара» (в знак иронической уступки теории эволюции). Религия принимает вид научной фантастики и сказочной, авантюрной интриги. Сатана захватил Землю и всю солнечную систему (по закону ему причитались), а Иегова с ним борется, опираясь на «свой народ». Оба они — боги, один — смертных людей, другой — бессмертных. Нравственное различие — не ощутимо. Голгофа — не искупление, но хитрый маневр: Иегова умер с расчетом, что Сатана за ним последует и не вернется на землю, тогда как Иегову вос-

кресят по предварительной договоренности. Первородный грех — Еву соблазнил Сатана, зачав от нее Каина, в ответ на что Иегова, тоже в физическом смысле, повел свой род — от Авраама. Поэтому предпочтение отдается иудейскому племени, которое, во главе с миротворцами, поведет достойных бессмертия истинным путем — Иеговы. Мир — не сотворен, а приведен в порядок, налажен богами-магами из вечной и несотворенной материи. Апелляция к разуму, к материальной выгоде, к человеческому приложению божественных путей. Это какая-то «антропософия» на народной почве. Возможно, поэтому мне довелось наткнуться на след этой редкой и, казалось, уже не существующей секты. Я бы, говоря откровенно, предпочел хлыстов и скопцов.

«Если за тысячным солнцем еще квадранлион миль пройдешь, то и там вашего Бога не найдешь, а мой Бог ходит по земле и заходит к друзьям Своим и ужинает у них подобно тому, как Он заходил к Аврааму, обедал у него под дубом и после ходил и стоял с ним у Содома...»

Религиозный умелец. Едва ли не с Урала. Хитровато-спокойный взгляд, ладно скроен, хотя сутуловат, кривоног, тяжел телом. Есть что-то от премудрого мастера-инструментальщика в самой постановке веры. Образ рассуждений — догадка (воскрешение Лазаря): «а может, у Него порошок в кармане?» Научное отношение к огненной колеснице Или: ракеты в первообразе. Усмешечка понимающего. Отрицание заведомо «нереальных свойств» — таких, как всемогущество Божие (когда бы все мог, не так бы все устроил!). Проблема устройства, механики — на первом месте. Недоверие к слову, к абстракции, к книжным источникам. Ясно: спрятали, исказили, надо докопаться до истины, т. е. до хитроумной пружины. Не развенчивает — развинчивает. Волшебная сказка рассказывается как быль: именно потому, что в сказке все понятно устроено. Тайна воспринимается штукой, фокусом. Чудо — проделка, маневр. Вкус к золотым яблокам, к коврам-самолетам создает в итоге научно-фантастический жанр. Превосходство не святости, но знания и мастерства. Знаем, как было сделано! Боги — владеющие секретом производства. Миром управляют состояющиеся «маги», заменившие неправдоподобных «богов». Христианством не назовешь. Язычество на технической почве. Не мораль, не мистика — фабульная увлекательность, авантюрная хитрость интриги,

постепенно приоткрывающей колесики механизма. К духу он относится как к электричеству—с уважением, но кто же станет молиться на электричество?! Жадность к земному раю.

«Тайна IV-ая...

После 1000 лет Иегова совсем истребит из бытия Сатану со всеми принадлежащими ему людьми, сделает новую землю в миллион раз больше этой и без океана и морей и поселится на ней со своими бессмертными людьми на 280.000 лет; после же сего Он опять сделает новую землю, гораздо лучшую для их жизни и т. д. Он станет со временем переделывать землю все лучше и лучше, до бесконечного уму непостижимого совершенства и жить на ней нескончаемо вместе с бессмертными людьми.

Город Ерусалим же на преображенную землю будет спущен с неба, сделанный небесными людьми, т. е. жителями на других планетах, украшенный драгоценными камнями, а улицы вымощены прозрачным золотом. Посреди города будет дворец Иеговы, а храма и никаких жертвоприношений уже не будет. Из-под дворца будет протекать по всем улицам река, и на берегах ее будут расти дивные фруктовые деревья, приносящие новые плоды каждый месяц, и от еды сих фруктов люди не станут ни стареть, ни умирать, а на всю нескончаемую вечность будут оставаться бессмертными, мужчины в возрасте 34, а женщины—14 лет...

Он сделает тебя не только телесно-бессмертным, но и святящимся, как звезды».

— Вся наша жизнь только след давно угасшей звезды!

Ну что нам звезды! Какое нам дело до них? Почему же так жадно мы о них размышляем? И почему звезды к каждому обращены персонально, ко всякой душе в отдельности и словно бы вторгаются в душу, и про них говорится, что «звезды смотрят» на землю, тогда как луна, хотя светлее и больше, на нас и не глядит и имеет отрешенную внешность? Ведь луна, казалось бы, глубже должна касаться нашей земной природы, влияя на приливы, отливы,—но существует, тем не менее, как бы в отсутствии нас, а звезды со всех концов устремлены прямо и точно в грудь, и не

оттого ли мы проявляем встречный к ним интерес и, чувствуя внутреннюю свою зависимость от них, рисуем созвездия, составляем гороскопы?..

— Сажу на диване в одном белье и, чтобы увериться, спрашиваю, есть ли жизнь на Венере?

— Нет на Венере жизни,— был мне голос в ночи.

Светлый спутник. Мягко вздетый перст.— Бодритесь!.. — Всегда со значением. Советы его всегда несли какой-то провидческий смысл. Я удивился однажды точности его предсказания, имевшего практический, в лагерном отношении, вес.

— А то ли будет, когда начнем летать по воздуху в назидание!..

— И вот говорит Господь: «Слушай, народ Мой, не выходи из барака...» А там уже пулеметы стрекочут...

«Слушай слово, народ мой: готовьтесь на брань и среди бедствий будьте как пришельцы земли.

Продающий пусть будет как собирающийся в бегство, и покупающий — как готовящийся на гибель;

Торгующий — как не ожидающий никакой прибыли, и строящий дом — как не надеющийся жить в нем.

Сеятель пусть думает, что не пожнет, и виноградарь — что не соберет винограда;

Вступающие в брак — что не будут рождать детей, и не вступающие — как вдовцы.

Посему все трудящиеся без пользы трудятся.

Ибо плодами трудов их воспользуются чужеземцы, и имущество их расхитят, дома их разрушат, и сыновей их поработят, потому что в плену и в голоде они рожают детей своих».

Третья книга Ездры, 16, 41—47.

— Читаю Сенкевича «Камо грядеши» и от слез букв не вижу.

— Ну, пробулькали они всю ночь...

(Апостолы-рыбаки, не поймавшие рыбы)

Евангельский текст взрывает смыслом. От него — сияние смысла, и если что-то не видим, то не потому, что темно, но оттого, что много, что смысл слишком яркий — ослепляет. К нему можно — всю жизнь. Не иссякает. Как солнце. Блеск его поверг в изумление варваров, и они уверовали. Искусства здесь нет — при всех притчах. Прямое чувство — оттуда, без посредников. Искусство всегда вторично. Ино-сказание. А здесь — вся прямота. Исхождение духа и чуда. Иносказаниям — подсобная роль. Ради нашего несовершенства. «Эстетический подход» не возможен. Легче весь мир вообразить иносказанием, нежели эту книгу...

— Если, говорит, мне срок сократят, то я...

— Господь сделает, — отвечаю.

Вдохновенный Оранг. Пятидесятник. Первозданный, диковатый мордвин. Между прочим, был циркачом, странствовал, прохлаждался в Париже. Говорит с повинованием.

— И все отправления текут по фарфоровым дорожкам, и ни одна капля не пропадает!..

(О европейских клозетах)

В нем ощутима, я бы назвал, какая-то физика духа. Главное дело — дышать (потому что в воздухе — дух?). Мне он посоветовал:

— Дыши больше — выживешь!

С братьями по вере не в ладах. Слишком для них эксцентричен. Мыслит и живет обособленно. Старый самец. Фокусы этимологии — попытки овладеть дыханием языка и через слово понять корень вещей. Эдем — равнозначен — Адам (то же — «человек» по-мордовски). В середине Эдема-Адама расположены органы пола — древо греха и познания. Здесь-то и сорвано яблоко. Телесно. В аналогиях не церемонится. Но через грубое дух осязается реальнее, тверже. Мистику, нисхождение духа сравнивает с выпивкой, с дамским соблазном. Одно дело — каждый день, другое — раз в месяц. Такова же яркость прямых потусторонних контактов.

По вечерам за баракон в одиночку громко молится на ангельских языках. Пророчествует. Свобода в обращении с текстами. Бесформенность этих веяний, дающая силу судить обо всем бесстрашно, по-крупному. Меня он называет (с ударением) — ч е л о в е к.

— Человек, ты здесь нужнее!

Мне это лестно.

Рассказывая о своих откровениях — с воздетыми руками, в витках бороды, похож на Самсона, объявшего космос и Бога в восторженном самозаклании:

— Пусть все бомбы — атомные, водородные — сбросят на меня одного!

Он алчет подвига. В эти мгновения, мнится, сливается со Вселенной и говорит о себе, пережившем состояние транса:

— Небо открылось. Заревел, как паровоз. Руки во все стороны — прилипли к стенам!..

Он сам себе кажется лесом.

Ночью ему приснилось, что язык у него воспламенился во рту, и в тот же день, став на молитву, он заговорил впервые на иных языках — пройдя Крещение Духом.

Певцы (почти по Тургеневу). Демонстрация не себя, не таланта, но — песни. Чья песня сильнее? И признание силы соперника с легким сожалением в голосе. Но не — «хорошо поешь», а — «песня хорошая». Желание превзойти, победить самим текстом. Певцы могли бы стирать белье или что-то мастерить по-тихому, но тогда уже отставляя немного в сторону работу и чуточку начеку, со вниманием к песне.

«Побежденный» разрыдался. Не от поражения — от стиха, подошедшего к горлу: — Наших братьев вспомнил...

Слишком трогательные слова. Слишком близкое, буквальное восприятие текста. Мотив, мелодия не так уж существенны. Если угодно, певцы перейдут на речитатив, на чтение любимых куплетов, наконец — на пересказ песни: настолько важен ее смысл, а совсем не «художественное исполнение».

Искал объяснение образу Троеручицы, но никаких цветов, которые бы Дева Мария срывала третьей рукой, никто из стариков не вспомнил. Кроме Иоанна Дамаскина, у которого заступничеством Богородицы отросла отрубленная рука (что послужило, возможно, основой иконографии Троеручицы), нашлась, однако, еще одна версия, по всей видимости апокрифическая. Скитаясь по земле, Богоматерь зашла переночевать в кузницу. Там были кузнец и его безрукая от

рождения дочка. Вот как это поется в странническом духовном стихе:

В двери кузницы Мария
Постучалась вечерком:
— Дай, кузнец, приют мне на ночь,
Спит мой Сын, далек мой дом.

Отворил кузнец ей двери:
Матерь Божия стоит,
Кормит Сына и на пламя
Горна мрачного глядит.

Летят искры, ходит молот,
Мастер дышит тяжело,
Часто дланью огрубелой
Утирает он чело.

Рядом девочка-подросток
Приютилась у огня,
Грустно бедную головку
На безрукий стан склоня.

Несколько строф в своей узловатой манерности великолепны. Но в общем-то стих обедняет сюжет, переводя его в сентиментальное русло уличной песенки прошлого века («Шел по улице малютка, посинел и весь дрожал»). Песенка сама по себе хороша, но в данном случае сюжет как-то крупнее и крепче речевого строя, которым он преподан. Кузнец кует гвозди и вдруг начинает пророчествовать... От ужаса Мария выронила Младенца, а безрукая девочка сделала движение поймать, удержать и— удержала. Стих, к сожалению, несколько расслабляет это чудо. Я не мог удержаться, чтобы не заменить одного «малютку» Младенцем и «ручки» руками.

Говорит кузнец: — Вот дочка
Родилась калекой, что ж!
Мать в могиле, дочь со мною,
Хоть и горько, да куешь.

Вот начал ковать я гвозди,
Четыре их них меня страшат —
Эти гвозди к древу казни
Чье-то тело пригвоздят.

Я кую и словно вижу:
Крест тяжелый в землю врыт,
На кресте твой Сын распятый,
Окровавленный висит.

С криком ужаса малютку
Уронила Божья мать.
Быстро девочка вскочила,
Чтоб Младенца удержать.

В Богом данные ей руки
Лег с улыбкою Христос.
— Ах, кузнец, теперь ты счастлив,
Мне же столько горьких слез!

Мне вспомнилось, что в старину кузнецов почитали колдунами. Я вижу эту сцену больше в манере Рембрандта — за счет мрачного горна и горящих, как свечи, гвоздей, впере-мешку с сыплющимися искрами и темным пением мужика-колдуна...

А снег опять валит. И нет сил его удержать.

Все больше и больше мне нравится лагерная зима. Душа глубже, душе глубже — под бушлатом.

26 ноября 1967.

...Взять тот же Север. Ведь наивысшее ощущение подлинности лежало за пределами памятника. В этом смысле Кий-остров и Пустозерск оказались для нас крайними точками в поисках, совпав с пространством, — как источник, вынесенный за край, за грань истории. И дело, конечно, не в том, что там, на Кие и в Пустозерске, ничего нет (хотя и это существенно), но в какой-то крайности одушевления этих мест.

Чем ночь темней,
Тем ярче звезды.
Чем глубже боль,
Тем ближе Бог.

Вопрос — где источник? По закону контраста (по закону боли) он должен располагаться не в столице, но в стороне, на периферии — текста, города, общества, цивилизации. Как монастырь, удаленный за городскую черту, в пустыню, на край света, в древности был тем не менее духовным центром культуры — центром, который при всем том всегда почему-

то лежит вне круга жизни и даже где-то вне поля досягаемости. Пророки берутся чаще из низших классов или со стороны, во всяком случае — не из элиты. Не потому ли, что снизу, издали им сподручнее подняться над общим и даже над высшим уровнем и выйти за рамки культуры? Культура ли апостол Павел, Ян Гус, Нил Сорский? Наверяд ли. Это, быть может, источник культуры, вынесенный за ее скобки, — скорее произведение ветра, нежели человека, скорее сосредоточие боли, чем успехов и достижений. Культура — книжки, картинки (им хорошо!). Но уберите корень боли — и облетят картинки...

Словом, круг культуры (жизни, народа, истории) описан из центра, который странным образом находится за пределами положенной им же окружности и соотносится с нею более по касательной.

...В очерке самолета, несущего водородную бомбу, он усматривал занесенный над землею крест. Вот уж кто горяч! Топка внутри человека. Кто заложил уголь? Красное лицо, красные отсветы на стене, чумазый. Всего проще, всего честнее. Воистину: пролетарий у горна. Готовый. И только ропот: доколе? Не эмоции — дух, идеи, пылающий интеллект. Материальная форма вещей для него лишь одеяние мыслей. Идеи обросли мясом, железом. Тела — орудия духа.

— Когда освободишься, купи яблоко, Андрей, обыкновенное яблоко и разрежь его пополам. И ты увидишь — в расположении семечек — голову Адама. Понятно?! Смерть — в яблоке. И кое-что увидишь еще...

Здесь думают и умствуют напряженнее, чем в ученой среде. Мысли не вычитываются из книг, но растут из костей. Нигде человек так густо и солено не духовен, как здесь, на краю земли. Крутой замес.

«Господи, аще хощу аще не хощу спаси мя, понеже бо аз яко кал любовешный греховныя скверны желаю, но Ты яко благ и всесилен можеши ми возбранити. Аще бо праведнаго помилуеши ничто же велие, аще чистаго спасеши ничто же дивно, достойны бо суть милости Твоя. Но на мне паче, Владыко, окааннем и грешнем и сквернем удиви милость Свою, покажи благоутробие Свое, Тебе бо оставлен есмь нищий, обнищах всеми благими дела. Господи, спаси мя, милости Твоя ради, яко благословен еси во веки, аминь».

У Рембрандта в «Возвращении блудного сына» у отца разные руки, и правая в буквальном смысле не знает, что

делает левая. Руки отца соответствуют ногам сына. Христианская форма лотоса с развернутыми ладонками ног. Обмен жестами здесь полнее Леонардовой «Тайной Вечери». Картина к нам обращена пяткой, более выразительной, чем человеческое лицо,— замусоленной, шелушащейся, как луковица, как заросшая паршой башка уголовника, источающей покаяние пяткой. В картине ничто не устремлено на зрителя. Она, как главные лица в ней, отвернулась к стене — в себя. Поистине: внутри вас есть. В итоге нет более картины на тему Церкви.

Она погружена в этот благодный, кафедральный мрак глубже, чем Садко на дно морское. И хорошо, что ее живопись со временем так потемнела. Когда она совсем потемнеет, скрывшись из наших глаз,— тогда блудный сын встанет с колен и откроет лицо.

Опять все тает. Начинай сначала. А так было спокойно — зима. В нас есть что-то от медведей, лежащих в спячку, на долгий дрейф.

— Но будить сонного человека не советую!

Сидит и рассуждает, что бы он делал и как жил, если б у него было пять жен. А у него и одной нету.

Жизнь человека — как статуя: как бы она ни ветвилась, ее можно описать и поставить одним взглядом.

— Куцепалый!

Кошка умильно мяукает на дверную ручку — открыть.

— Каждая могила стоит четыре пятьдесят. Вырыть и возвести холмик.

Свет такой слабый в бараке, что хочется заболеть. Кашляни — и вылетят зубы. Догадываюсь, как завтра с утра я стану удивляться бессилию этого вечера...

Не пойму — то дым бежит по стене или тень от дыма?

III

— Вставай, земляк! Страна колеса подала!

(В тюрьме — перед этапом)

...Цыганка с картами, глаза упрямые,

Монисто древнее да нитка бус...

Хотел судьбу пытать с бубновой дамою,

Да снова выпал мне пиковый туз!

Зачем же ты, моя судьба несчастная,
Опять ведешь меня дорогой слез?
Колючка ржавая, решетка частая,
Вагон стальной да стук колес...

— Пошел Крым и Рим.

— Вся отрицаловка.

— Общество — это интересная, жизнерадостная среда!

— Человеку нравится, когда ему молчаливо поддакивают.

— Не говорит «прости», но подразумевает...

— Не знаешь, кому сказать «здравствуйте», а кому — «здорово».

— Здорово, Валек, — говорю.

— А меня, — отвечает, — уже не Вальком звать.

— Живет сам на сам.

— Он такой изоляционный, что с ним никто не пьет.

— Я говорю тому вору, который заболел: ну что будем делать?

— Жить — надо? Курить — надо?

— Жизнь надо толкать.

— Жизнь — это трогательная комбинация.

— Эх, жизнь-пересылка!..

— Все хотел до матери доехать. Четыре, говорит, раза ехал напрасно. Только бы, говорит, до матери. В пятый раз поеду.

— Приехал — снял полоску.
(Со спеца: особый режим — «полосатики», «зебры».)

— Я сижу следственный, а Вася — за сухаря.

— Значит, чтобы и вам подогрев не шел. А нас — как хотите: хотите — грейте, хотите — нет, это ваше личное дело...

— Обстановка — будь-будь!

— Устроился я-тебе-дам!

— Пардон, хлопцы!

— Было нас пять человек. Все — интеллигенты, за исключением меня...

— Конечно — разница! Он — солдат, домашняк, а я — бродяга, без никому.

— Видно, нам суждено жить в шуме и крике...

Стояли и лаяли друг на друга, многократно варьируя слова «козел» и «кобель».

— Ты со мной не киськайся — я тебе не ребенок!

— Вы воба для меня одинаковые псы!

— Просто по своей скромности я не решаюсь вас послать на три буквы.

— Я человек надрывистый!

— Заделаю я ему чесотку! Будет соломой укрываться, зубами чухаться.

— Как я ему дам по скулятине!..

— Не обманет — ограбит. И я там крысятничал. Жить-то надо!

— Надо было лёгче: мы рвали, как волки.

— Как ни говори, а все же за счет этого пьешь.

— Так разодела, что две недели пить можно, если ее ограбить.

— Кто не рискует — тот в тюрьме не сидит.

— Днем ножи точить — ночью на работу ходить.

— ...Да что вы — никого пальцем не тронул! Исключительно — игрой!

(Вариант «Господина Прохарчина»)

Русские скупцы не так копят деньги, как фантазируют вокруг них. Порфирий Головлев, Плюшкин, пушкинский Скупой Рыцарь — все это очень русские натуры. Они больше воображают, сидя на сундуке. Они заводятся по мелочам, а на серьезные потери и выгоды смотрят сквозь пальцы.

— У меня была мания — разбогатеть.

— Деньги такой соблазн, что от них никто не отказывается.

— Для девчонки тоже нужно деньги имени: она телепатически чувствует, есть что в кармане или нет.

— Старуха копила деньги пацану на мотоцикл.

— А денег мне не надо, — говорю. — Я сам золото.

— Вот выйду на волю, овладею черной магией...

— Корень зарыт в том, кому как повезет...

Воспоминания о роскошной жизни:

— Питаюсь одними шпротами, ем угрей!..

— А в магазине — что хочешь, только живой воды нет
Лишь бы — твои деньги.

— Батоны в пупырьях. Консервы «Крабы»: черви такие
белые — в бумажках.

— Экспресс обтекаемой формы.

— Портфель из чистокровной кожи!

— Люди с большой буквы.

— Им дана вся свобода жизни!..

— А в тот бокал поллитра влазит!

— В Ленинграде все дома — архитектурные! Заходи
в любой подъезд и любуйся на голых ангелов.

— Вынимаю белый батон, чтоб меня расстреляли, вы-
нимаю поллитру...

— Шампанское там между прочим мелькало.

— Пьяницы цокаются: за ваше! за наше!

— Увеселяющий напиток.

— Пьяный я добрый, и она любила, когда я пьяный.

— А у меня мысль развивается, когда я сильно выпью

— Лежишь — как на Луне, блаженство!

— Вытаскивают меня на улицу, а улица у меня как мельница, и люди по ней на головах ходят и ногами машут — овечью шерсть стригут.

...И в таком разбитом виде иду на вокзал. Фуражку на глаза и иду, на грани отключения, и мозги мои уже где-то там...

— Был бы я президентом, я бы для людей устроил такой закон: 60 лет пей, 40 опохмеляйся и — конец!

— Нет, без работы нельзя. Интересу нет.

— А я и работал, и пил.

— Один плачет, другой смеется, третий чего-то боится. Кто что вспомнит. Бывали чудные мгновенья. Как бы тебе сказать? — дурешь. Совсем дурешь. Отключаешься!

(Курение плана)

— Да я специально выпил — чтоб разговаривать с вами достойно!..

(Встреча с начальством)

— Я говорил несвязно, но мысль свою удерживал. Вы, говорю, господа, меня не гипнотизируйте!..

Искусство рассказывания в значительной мере держится на постепенности вхождения в частности и детали. Речь должна быть медленной, глубокомысленной, рассеченной паузами на предметно-весомые отрезки.

Мало сказать:

— Иду в баню.

Лучше растянуть, углубиться:

— Иду — в баню. Беру... (что беру?) мыло. (Да? подумал-помолчал еще секунду.) Полотенце. (С усилием, с каким-то восторгом.) Мочалку!!

И все слушают — замороженные. Жаль, не всегда хватает самоуверенности в произнесении слов. Сбиваешься на скороговорку — в урон рассказу. Важно хотя бы простое членение, вроде:

— Баба. Кацапка. Такие вот титьки. Тамара.

Также — закон композиции. Начало должно быть вкрадчивым. Удар кинжалом наносится в конце первой главы.

Еще речь должна быть душистой или лучистой. Чтобы к ней хотелось еще и еще вернуться. Чтобы фраза дышала тайным восторгом, азартом. Чтобы, читая, хотелось еще в нее поиграть.

Вот и вернулось все на свои следы, и снова метет февралем, заворачивая бушлаты, и, кажется, в десятый раз принимается таять, и сеять, и опять мести и крутить. Но кто-нибудь хлопнет дверью и объявит прокуренным голосом:

— Март.

Сыро, веско, непререкаемо так припечатает:

— Март.

И все повеселеют.

И кошка сидит на снегу, угревшись, и слушает свои животные токи.

14 марта 1968.

— Сердце бывало стучит, как скорострельный пулемет. А сейчас — как рыба: тук, тук...

— Я был молодой, физически здоровый, ничего не боялся.

— У тебя еще в штанах кудахчет!

— А он, сука, дубаря секанул утречком!

— Баба выбей окна.

— Дед освобожден особо опасным рецидивистом.

(Дед — кличка)

- Кую пиковый туз!
- Бей в глаз — делай клоуна!
(Прибаутка в драке)
- Невыносимые наши удары им отразить было нечем!
- Прижали нас к карбид-заводу...
- Пурды-пурды.
(Иностраннй язык)

Точные определения:

- Бюст Пушкина во весь рост.
- Три богатыря: Минин и Пожарский.
- Я достиг своего фиаско!
- Голова не болит ни грамма.
- Человека два медсестры.
- Во-первых, три причины.
- До кості мозгов!
- Вся автобиография жизни.
- Продукты не принимают за исключением деньги.
- Я получил сумму в разрезе 120 рублей.
- У тебя буржуазная жила в голове.
- Воет, как кобыла.
- Он, сука, длинный, как заяц.
- (И я подумал, что зайцы в самом деле непропорционально длинны.)
- И всякий человек для него — Коля.
(О сумасшедшем)
- Все одеты в шляпах.
- Стоит мне поговорить с человеком полчаса — и я о нем составлю беспринципную резимю.
- Этот неморально устойчивый человек.
- При наличии отсутствия энергии.
- Все это иллюзорный обман.

- А я стою — как вот та бухгалтерия.
 - Стоит повар — будка: 40 на 90.
 - У меня невменяемость на 45%.
 - Сторублевая Катя.
 - Чтобы из этого не получился какой-нибудь сыктывкар.
 - На мне — хаки-брюки, хаки-бушлат, хаки-шапка.
(В побеге)
 - Травя против нервной системы.
 - Солидные хлопцы — Пушкин и Гете...
 - Четыре языка знает: немецкий, французский и английский этот самый.
 - Смотрю: сидит баба-капитан.
 - Судьиха.
 - Девушка из Баку.
 - Молодая баба с 42-го года.
 - Чан-кай-ша.
(Чайхана)
 - Итальянский танец кампанелла.
 - Где-то в Харькове или в Одессе — вот в этих местах...
 - Командировочка не доходя реки Индигирка.
 - Каком песня — таким мотив.
- И после каждого стишка в альбоме было написано слово: «К о н е ц».

Постоянные эпитеты:

- Тупой, как валенок.
- Темный, как махорка.
- Псы кудлатые! Козлы вонючие!
- Окозлел.
- Ты не лошадей!
- Силаускас!
(В подражание литовскому)
- На выкинтшейн.
- Голый васер.
- Что ты вертишься, как змей на огне?
- Бесхребетный полузмей.

- Калики-моргалики.
- Устал, как конь.
- Я работал, как лев, возле этого деда.
- Морская колбаса.

(Треска)

- Ну, мне хаванину принесли. Покушать то есть.
- Пустой шараш-монтаж, ловить нечего.
- Обрыв Петрович, драп-марш.
- Бессвязный дурак.
- Прокаженная морда.
- Полкаши в папах.
- Укроп Помидорович.
- Асфальт Бетонович.
- Ломом подпоясанный.
- Студент Прохладная Жизнь.
- Фуцан, дико воспитанный,— ни украсть, ни покараулить.

С нарастающим вдохновением:

- Я им говорю —

ну что?!

Бля двó.

Педерастня.

Гондовня.

Но иногда слово повергает меня в отчаянье. Уж на что кошка отвлеченное существо, так он и кошке ласковым голосом норовит сказать пакость:

- Ну иди сюда, проститутка.

Слова его, прилепляясь к вещам, превращаются в язвы. Он заражает ими все, к чему ни притронется. Назвать вещь значит для него — обругать.

Иерархия навыворот:

- Вы примите, пожалуйста, книжонки и я этот стульчик возьму.

Эту печку складывали с такой матерной бранью, что, постояв полгода, она разваливалась. Вещи, когда их делаешь, не любят ругани.

Мужчина ругается, чтобы обругать, оскорбить. Женщина ругается, для того чтобы произнести — губами — непотребное слово.

— Да ты хоть выругайся — проще будет!

Не легче, а проще. Свой брат. Средство фамильярной общины. Ругань — как создание дома, уюта, семейной атмосферы. Ругань — как тело души.

Бедный эстонец. Попав в лагерь, он принял русскую ругань за норму языка. В больнице у старичка вышел конфуз.

— Ну как здоровьице?

— Куево, доктор.

Католик-поляк — надзирателю:

— Ты меня не тревожь, чтобы я в праздник свой не ругался!

— Я еще плакать не умел по-русски.

Пропавших коров обычно кличут какими-то мыкающими, по-утробному зывающими голосами. Чувствуется попытка найти с гулёной общий язык.

Иностранные слова в русском языке. Аэроплан, электричество. Стыдиться ли нам этих слов, тем более чураться ли их? Не в том дело, что вошли, но в том, что, войдя и прижившись, отозвались для русского уха полнее и многозвучнее иных исконных. Простенький, доморощенный, общеупотребительный теперь «самолет» меньше говорит нашему сознанию, нежели заимствованный «аэроплан». Ну что такое самолет? В ряду подобий — самокат, самовар, самогон — наименее яркое слово, ничего не говорящее, кроме сообщения пустой голове: сам летает. В сочетании «ковер-самолет» еще куда ни шло, а так — не слово, обглодыш. И как значителен рядом по смыслу *аэроплан*! Это — целая эра плана, европа плавания, парящие, распластанные крылья и закрученный вихрем винт-аэро; мы понимаем его чужеродность, на этом неестественном *аз* глотку свихнешь — и все-таки, раскорячив пасть, из неба-неба исторгнешь, выдавишь горлопана во внешний воздух, в смерч. И — *айра* (тарайра!), вихляясь, подтанцовывая плечами, дрожание планок, хрупкость конструкции (аппарат — аэроплан), на переборках, растяжках,

и крепкость и пустота каркаса, дребезг в тверди, стрекотание, заглывание воздухом, облаком, соплом — и на арапа — раплан.

Электричество Опять это выворачивающее, растягивающее рот до ушей, заезжее — Э, переходящее в наше плавное *еле-еле, или-или*, скользит, пока не встретится *ктри* — включатель, взрыв, шелканье, зажглась тонкая проволока — *трик-трак, ич-ич* (птичий щебет), — и это сочетание начальной мягкости с внезапной яркостью спички, с искусственной химией, на спинах количеств вступает в строй всевозможных «э» — энергий, эпох, экономик (сюда, сюда — электричество).

Эти произвольные ассоциации уха сродни народной этимологии, однако не настолько буквальны и не так наивны; случайно перекликаясь, они вправляют чужое слово в родимый ряд, приращивают и приравнивают, — цветет.

Получилось: калоши (галoши) более в духе русского языка, чем мокроступы. Они точнее: тут и около, и ложь, и ложка, и лошадь, и шел гольшом. Более дальняя связь у К. Чуковского калош с крокодилом тоже возможна и законна: и те и другие водятся в воде, ползают по грязи, — мокрая, прикинувшаяся подошвой невидаль.

Дирижабль — в первую голову жаба. Потом: дери, держи, жиры и жида. Был — дилижанс, а стал — дирижабль.

Но мне почему-то еще в дирижабле слышится Симферополь.

«Лесенка» Маяковского, помимо очевидных ритмических и архитектурных проекций, двигавших рукою строителя, вызвана к жизни стремлением вдохнуть энергию в текст путем его особого, бросающегося в глаза, экспонирования. Любая речь, в принципе, расположенная подобным образом, читается с нажимом и начинает походить на стихи. Но от этого непрерывного нажимания она в конце концов устает.

В «Записках охотника» Тургенева об охоте почти ничего не рассказывается. Охота нужна, чтобы барин встретился с мужиком. Где им еще было встретиться? То же делал Некрасов. Охотник тогда заменял спецкорреспондента: вылазка в жизнь. До него контакт ограничивался встречами на постоялом дворе, и все совершалось под звон колокольчика. С ямщиками тоже беседовали. Но сколько можно путеше-

ствовать из Петербурга в Москву и обратно? Барин вылез из коляски и взял ружьецо. Ситуацию предвосхитил Пушкин в «Барышне-крестьянке».

Попался томик Лескова. Очень нравится его взломанная и рыщущая, как собака, в разные стороны фраза. Она почти полуграмотна и торчит. «Наш ротмистр был прекрасный человек, но нервяк, вспыльчивый и горячка». Такая корявость! — «против всяких законов архитектуры и экономии в постройке рассказа» («Интересные мужчины»).

У Лескова в «Головане» высказана мысль, об которую обломают зубы любители изображений с натуры. Мне-то она кажется крайне важной.

«Я боюсь, что совсем не сумею нарисовать его портрета именно потому, что очень хорошо и ясно его вижу».

Именно потому! А еще рекомендуют рисовать то, что хорошо знаешь.

В этой фразе — гроб всякой преднамеренной точности и, может быть, основа общей психологии творчества, работающего, в сущности, всегда на незнакомом материале, который поражает и будит воображение. Оно-то, воображение, встав на дыбы, и натывается на «сходство с натурой». То, что слишком знакомо, не удивляет и поэтому не поддается копированию. Искусство всегда для начала действительность превращает в экзотику, а потом уже берется ее изображать.

Танцую отсюда, Лесков создает своей речью в первую очередь ощущение растерянности и неумения рассказать о случившемся и тычет слова как попало, с грубой неуклюжестью, надеясь, что эта мечущаяся в слепом недоумении речь в конце концов ненароком напорется на предмет и тот оживет и воспрянет в ее косноязычии — в «стремительной и густой дисгармонии». Как описать самоубийство, чтобы оно в итоге не было бы протокольным отчетом, но передавало бы весь ужас и бессмыслицу события? По-видимому, для начала следует избавиться от самой задачи описать его в точности. И вот он, отступя, растопыривает слова, как пальцы, и машет ими, так что в результате это открещиванье от рассказа становится лучшим способом ввести нас в курс и ухватить совершившееся беспомощным нагромождением речи, даже и не пытающейся ничего изображать:

«Очень трудно излагать такие происшествия перед спокойными слушателями, когда и сам уже не волнуешься

пережитыми впечатлениями. Теперь, когда надо рассказать то, до чего дошло дело, то я чувствую, что это решительно невозможно передать в той живости и, так сказать, в той компактности, быстроте и каком-то натиске событий, которые друг друга гнали, толкали, мостились одно на другое, и все это для того, чтобы глянуть с какой-то высоты на человеческое малоумие и снова разлиться где-то в природе».

Отказался воспроизвести — и этим воспроизвел.

Удивительно слышать по радио «Славное море — священный Байкал» или «По диким степям Забайкалья». Кажется, что тут особенного. Но как звучит это здесь и как это слушается!..

— Для меня даже спирт тяжел. Дайте мне тихое утро на углу леса! Выйду в поле и грохнусь в обморок.

— Клянусь свободой!

(Почти междометие)

Обращение к деревьям:

— Кормильцы!

— И не поймали?

— Где поймаешь! У них миллион дорог, а у меня — одна.

— В руках у меня — пугачевская пушка: ракетница с автоматным стволом. Свинцом заварена. Без мушки. Как дашь в лоб — глаза выскочат.

— Судья спрашивает: зачем же вы, свидетельница, показываете на человека, что он стрелял, когда вы сами не видели, да и вообще вас не было в это время?

Старушка отвечает:

— А я думала — мне пенсию дадут.

— В парикмахерской скосил глаз, а рядом, у соседнего зеркала, вижу, тоже бреется и давит на меня косяка.

(В побеге)

— Там оперативка — как паутина. И тайга. И зима.
И населения — нету.

— Склонник.
(Склонен к побегу)

— Чувствую, на висках у меня капельки холодного
пота.

— У меня очко сыграло.
(Были сомнения, внутренняя расколотовость, несбыточная
надежда)

— Выбери, говорит, свою звезду и иди. Масса железных
дорог останутся слева.

— Беру велосипед и еду в другую сторону.

— Девчонка, с которой я таскался, кинулась мне на шею.
(В побеге)

— Смотрю — фалует, чтоб явился в прокуратуру.

— Волк и меченых берет.
(Поговорка)

— Вы, говорю, змеи, не вешайте мне лапшу на уши!

— Что вы мне нахалку шьете!

Врач говорит:

— Либо дураком тебя признать, либо здоровым — в
любом случае вилы.

— И я сегодня сижу на вашей подсудимой скамье!..

— Все дивлятся на меня, як на тигра.

— Покажите же теперь ваше мужество!

— ...Чтобы работать и приносить пользу стране, где мой народ живет!

— Одна минута молчанки.

— И тем самым устранить из жизни.

— Но ихний образ у меня в глазах остался!

...Если в секции слишком шумно, надеваю ушанку. Это уже закон: чем человек ниже в умственном или образовательном цензе, тем в большинстве случаев он громче, крикливее. Это какая-то страсть производить в воздухе шум. Некоторые, даже рассказывая, надрывают горло, вопят. Точно хотят перекричать кого-то.

Радио не выключают. Говорят, под радио им крепче спится. Шумовой фон, вероятно, создает иллюзию жизни, полной смысла, событий. Или это способ заговорить пустоту, гложущую изнутри, как болезнь, попавшего в беду человека? В тишине они сошли бы с ума.

Как я жил вчера? Небо было очень звездным. Пришел ночью с работы и повесил в головах чистое полотенце. Как будто убрался к празднику. Бывает, от этой мелочи все в жизни зависит. Вот и полотенце — почти вымытая до блеска квартира.

21 апреля 1968. Пасха.

...Или просто тихо сидеть, отдыхая всем телом.

Любовь к ночи за избытком света. Слушание (подслеповатость) пейзажа.

— Одеться бы небом и как по ковровой дорожке — через запретку!..

Поверил в факт бессмертия от его повторения: сошло два раза в побеге, и в третий сойдет.

— Солдат не посмеет стрелять — у него рука отсохнет вместе с ружьем...

Мораль: за что даруется высшее благо? Возможно, за то, что птичек кормил, когда самому есть хотелось. И сам не помнил потом, когда же он их кормил.

Мне лист бумаги — что лес беглецу.

— Лес лучше поля: в лесу укрыться можно.

— А ты возьми палочку в руки и иди, и иди...

— Иди — там тебя ждет недописанная страница!

«Очарованный Странник» Лескова, возможно, написан в пику разочарованным дворянам Пушкина и Лермонтова.

— Напиши ей тогда, что я не умер. Что я просто — ушел.

Говорят: как звезд в небе. На самом деле звезд не так уж много. Их можно пересчитать по пальцам. Сколько в Большой Медведице? От силы семь. Но они видят друг друга и помнят: наперечет.

Одинокий брезгливец:

— Я бы мог несколько месяцев с вами интересно беседовать. Не переставая!

Смешно. Тетерева. Вслушайтесь лучше в свист ветра.

Живу одиноко и замкнуто. Прогуливаюсь вечерами, по полчаса перед сном. Приятно, когда никого рядом.

Это от тесноты. А пишут в книгах-журналах, что каждый человек нуждается в личном пространстве и, если всюду люди, можно заболеть. Невольно набрасываешь на ресницы невидящую сетку и, пользуясь рассеянным зрением, смотришь, но не видишь. Видишь только, что кошка вытянула ногу, как фабричную трубу, и вылизывает, — хорошо.

Всё как встарь, как в прошлом году: сижу за тем же столом под той же березой, и всякие сережки и семечки капают на бумагу, словно это было вчера. Скорость

в распускании листьев, в повороте солнца на лето такая, как пускают в кино, когда хотят показать, что прошло столько-то лет,—не успел снег выпасть, и уже тает, и уже вишни цветут. Как-то даже жалко, что время так быстро течет.

10 мая 1968.

В музыке Моцарта, Гайдна сохраняется значение благовеста. Правда, у них он становится благовестом любви и весны. Когда до нас по радио долетает подобная музыка, то как-то не допускаешь умом, чтобы автор ее мог умереть.

Пока жду разгрузки, люблюсь на лес, подошедший близко к запретке. Такая осиянная плоть, фосфоресцирующая зернистость. Кроме Клода Лоррена, ничего не подберу.

Впадаю в пастораль. Но когда смотришь подолгу на один и тот же, навязчивый, манящий ландшафт, и он внезапно меняется на фоне неизменного быта и растет быстрее, чем мы живем, когда природа оказывается подвижнее человека и реагирует более внятно, сознательно, давая даже в этом ничтожном загончике столько пищи душе и глазу, что хочется ее непрестанно благодарить,—тогда возвращаешься неволью умом к одному и тому же дереву, и стремишься постичь это плотное, пучеглазое облако, и удивляешься его доброте и спокойному превосходству над нами.

Говорят, в Западной Германии самые интересные люди — полицейские. Они же всего человечнее и снисходительнее к нашему брату. Видимо, все же какое-то, по характеру и духу профессии, соприкосновение с фантазией, с чрезвычайным и экзотичным в быту делает их понятливее и живее для нас. Русский бродяга-пропойца, странствуя по Германии, по несколько суток (недель) регулярно отдыхал за решеткой. Накормят и, случалось, опохмелиться поднесут — за свои деньги. Как-то подобрали на улице. Камера-одиночка. Вдруг — добродушная, толстощекая рожа шуцмана в кормушке и кружка пива. В виде приветствия (рот до ушей):

— Смерть немецким оккупантам!

Единственные русские слова, какие знает.

— У немца была задача капитулировать Россию.

— Всю грудь оккупировало.

— Ауфштейн! — пошутил мужичонка, вбегая в курилку, но таким грозным тоном, что я ужаснулся: помни! И рассмеялся ненатурально каким-то демоническим смехом. Удивительно, как ненависть разъедает сердца. Как ненавидящие слабы и беспомощны, как ненавидящие беззащитны...

О Гитлере:

— Его обращение погубило. Страшно погубило. Наш не любит, когда по морде.

— Жиды снятся?!

(Обычная шутка на тему стонов или криков во сне. Жиды приходят ночью душиТЬ и мучить спящего, который, надо думать, когда-то их ликвидировал. Конечно, не грех было тогда их убрать, но вот теперь они — снятся...)

...Сидит в камере мальчишка —
Лет шестнадцать дитё.

— Ты скажи, скажи, мальчишка,
Сколько душ ты загубил?

— Восемнадцать православных
И сто двадцать три жиды.

— За жидов тебя прощаем,
А за русских — никогда!

Завтра утром на рассвете
Расстреляем мы тебя.

(Старинная песня)

Человек всегда и много хуже, и много лучше, чем от него ожидаешь. Поля добра так же бескрайни, как и пустыни зла...

— А если есть изверг — что хотите делайте, он все равно — изверг!

— Хватит ли у меня силы мужества кошку в топке сжечь?

— Я за свою идею не одного на тот свет отправил.

Русский человек только и делает, что искушает Господа каким-нибудь раппредложением. То один вариант предложит, то другой по части устройства мира. Богу хлопотно с русским человеком.

— Всех, кто не в нашей компании, я бы уничтожил!

— Если б снял я тогда с него золотые часы, давно бы был на свободе...

— На мне два трупа.

— Дал ему руки замарать.

— Я ему говорю с той стороны (у брода): — Не ходи, Василий Иванович. Стрелять стану.— А он — идет, смеется: не выстрелишь...

Что было делать?

— Ладно, отвечаю, о вашем деле я никому не расскажу. Но как вы могли, скажите, детей ведь, детей, трех-четырех лет, сколько их там оставалось, в детсаду?..

— Да дети-то были бесхозные!..

— Хочу, говорит, чтобы меня зарезали чистые руки...

— Ну а жалко было?

— Какая жалость, Андрей?

Убийца, даже праведный и несчастный, обязательно убьет «неправильно», «неуместно», не так и даже подчас совсем не того, кого намеревался убить. Труднее понять, зол ли убийца, или это больше — судьба, случай, стечение обстоятельств. Преобладающее чувство — «не я!» (а так получилось). Но не всегда ли у нас при самом плохом — «не я»? Не способен ли «добрый» на зло, любой добрый

на любое зло, а все решает какой-то третий случай? И не потому ли — кто в мыслях своих, ибо этого уже достаточно: убийца!?

— Во мне злости столько, что положи меня на лед — на полтора метра оттает.

— Пускай я лучше умру, чем убью.

...Посмотрел на кошку, сказав ни к селу, ни к городу:

— Ее убить надо.

Беззлобно, спокойно, как говорят — пора завтракать, или не мешает побриться.

— Не вытерпел — замочил.

Живьем он никого не брал. Но, подкравшись к беглецам — ночью, в лесу, у костра, — никогда не стрелял сразу, но, взяв на прицел, выжидал минуту-другую:

— Пускай поживут, помечтают...

— В своих глазах я вижу его прокаженным!

— Так и сгинул от мужицкой руки — как свинья.

— Да ты бандитее меня!

— И она уже чувствует, кобра, что ее свеча догорает.

— Что человек думает — то ничего не значит.

За несколько месяцев, как объявиться ему Гбсударем, Пугачев и не думал об этом. Не обнаружим мы в нем и склонностей к злодейству. На допросе 16 сентября 1774 г. Пугачев показывал — о своем пребывании в Казанском остроге: «Между тем пропало у меня не помню сколько денег, а как многия о сем узнали и хотели отыскивать, однакож, я об них не тужил, а сказал протчим: «Я де щитаю сие за милостыню, кто взял — Бог с ним». Вина же я тогда не пил,

и временем молился Богу, почему протчия колодники, также и солдаты почитали меня добрым человеком. Однакож, в то время отнюдь еще не помышлял, чтоб назваться Государем, и сия жизнь не была тому причиною, чтоб вкрасться людем и после, как назовусь Государем, чтоб можно было и на сию благочестивую жизнь ссылатся».

Это зима 1773, а летом — все начнется. Доброту души Пугачева подметил Пушкин, а также — его плутоватость, ловкость, прыжливость. Недаром, как участник Прусского похода, Пугачев вспоминал о полковнике Донского войска Денисове, «который и взял меня за отличную проворность к службе в ординарцы».

Скорее всего Пугачев представлял собою обычный в России тип «легкого человека», которым играет судьба и который при случае сам не прочь с ней поиграть, становясь то добрым, то злым, не будучи таковым по природе, но принаравливаясь к обстоятельствам, имеющим характер везения, легкого и непрочного «щастья», как и в эпизоде с деньгами милостиво вдруг одарил такого же случайного и легкого на руку вора.

Узкая, как сабля, рука и модное слово «лайнер» — вот и весь человек.

— Я с шестнадцати лет — как рыба в воде.

— Полтора класса окончил пополам с братом.

Об удаче:

— А это я добыл без отца и без матери!

— Сколько вас?

— Восемь человек, и все — ни за что!

(Обычная острота)

Игровой человек не постесняется рассказать о себе лую гадость. С удовольствием даже расскажет: вот я какой! Он отделяет себя от себя и созерцает свои непотребства в третьем лице — как художник. Судьба для него лишь сюжет, требующий занимательности. Но сколько в этом сюжете он бед натворил!..

«В моей жизни и биографии нет ничего, кроме заслуг перед человечеством...

Таких людей, как я, везде только награждают...

Беру на себя смелость заверить вас, что с таким бескорыстным человеком, как я, вы еще не встречались...»

(Из «Жалобы Генеральному Прокурору»)

...Но встречаются натуры мечтательные:

— Почему Москва — не в Сухуми?! Вот если бы в Сухуми Москва была!.. Красивейшее место!

— Москва — столица: туда со всего мира приезжают в шляпах.

— Купите туфли — и вы сразу почувствуете себя Королем Лиром.

«Печальна жизнь, и я вот так сижу печально в печальной действительности и жду экзистенциального озарения».

(Надпись на фотографии)

Приучил сожительницу курить и садиться на колени к приятелям — чтобы потом докладывала, кто и как из друзей с нею себя ведет.

— Косы ей обстриг по-городскому, «под колдунью»: спереди челка, сзади висят — западный момент.

— Я придерживаюсь японского принципа вежливости.

— Я им открыл большую Америку.

— Западная культура — это чтобы сопли в кармане носить. Сморгнешь в платочек и носишь.

— Делай — как смешнее!

(Поговорка)

— Это же смех на палочке!

— Ох, и посмеялся я в 959-ом году: мужик в яму упал, а потом — баба!

— Как вспомнишь, что есть нечего — так смех берет.

...На какой-то стадии приходит сознание несерьезности всего, что делал, чем жил, и это чувство способно довести до отчаянья, пока не вспомнишь, что и вся мировая история не очень-то серьезна.

Все, что он ни писал, он писал о себе и собою, вытаскивая из собственной — такой ничтожной — персоны, как фокусник из пустого цилиндра, то утку, а то ружье, удивляясь своей же находчивости.

(Абрам Терц)

...Приятно, что нашему ребеночку полюбили слово «о к а з ы в а е т с я». Не знаю, часто ли я им пользуюсь. Но по смыслу всегда: оказывается. Отсюда же перегруженность оборотами с «потому», «оттого» и «поэтому», логическими лишь по видимости, на деле — больше от фокуса: а что оказалось? Поэтому (оттого): из-под ширмы, яичница в шляпе. Не доказательство — появление — из воздуха, из ничего: оказывается!

Умываясь, потрогал голову и вдруг удивился — до чего же она маленькая...

Никак не придумаю: зачем у мышей хвост?

Как взглянешь на карте на очертания Австралии, так сердце радуется: кенгуру, бумеранг!..

Очень смешно купаются воробьи: нагибаясь, мочат брюшко, а потом долго отряхиваются. И в это время очень заметно, что у них нету рук.

Интересно, как мыши относятся к птичкам и как жуки — к бабочкам? Они же видят друг друга. Но что думают?

Жаль все-таки, что в лагере я хуже стал относиться к собакам.

Еще подозреваю, что старички более дети, чем кажется с первого взгляда. У них детские интересы. Съесть какой-нибудь пряник. Сходить в кино. И они чаще, чем мы думаем, внутренне прыгают на одной ножке. О том, что старички — дети, можно судить по гномам.

Трехцветная кошка, в-четвертых, вымазанная зеленкой.

...Когда зеленые листья становятся черными на бледно-розовой, как морковь, заре.

Нужно уметь вить из фразы веревки. И ходить по ней, как по канату. По воздуху. Ни за что не держась. Вне тела. Без формы. Как чистый воздух.

Стихи:

Люблю ходить я на охоту
И уважаю труд,
Иду на всякую работу,
Люблю культурно отдохнуть.

Интересно при всем том, что охота на первом месте.

Поэзия пародирует быт, изъясняясь с преувеличенной вежливостью, обстоятельностью: «Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел; был сильный мороз...» Внутри же, про себя, она в это время так и покатывается со смеху: совсем как настоящая! вот умора.

Стоило бы пройти по Третьяковской галерее и посмотреть на живопись глазами пантомимы. Хогарт, убежденный, что копирует жизнь, в автобиографии проговаривается (не подозревая, что выдает себя и всех своих соумышленников):

«Я старался трактовать мои сюжеты как драматический писатель: моя картина — моя сцена, а мужчины и женщины — мои актеры, которые посредством определенных действий и жестов должны изобразить пантомиму».

От «реализма» в подобной трактовке мало что остается. В ход идут насквозь условные приемы.

Во-первых, эффект узнавания (примерно так, как это подают экскурсоводы, правильно поймавшие, в чем тут корень дела). Посмотрите направо, посмотрите налево. Вот пожилой господин открыл рот и поднял палец в рассуждении позавтракать, а его молодая жена закатывает истерику под видом нет денег, покуда знакомый гусар выпрыгивает в окно, забыв под стулом разбитый, стоптанный во многих походах сапог, и так далее, по порядку, вплоть до кота Васьки, улетающего по диагонали хозяйский завтрак,— мораль. Зритель радуется: все совпадает, однако — не с жизнью, с программой. Удовольствие доставляют ясность читаемой ситуации, сформулированная осмысленность жестов, складывающихся в задание, в котором кот и сапог наносят последний удар по недоверию скептиков и ставят точку над *i* в развитии реализма.

Во-вторых, эффект занимательности: все сошлось в одном холсте как в фабуле романа, переплелось, завязалось интересным бантиком: смотрите, какие шутки выкидывает случай — тут и кот, тут и сапог (без сапога не было бы картины — на нем все вертится). «Типические характеры в типических обстоятельствах» сплошь и рядом оказываются счастливым совпадением карт. Искусство правдоподобия сводится к умению заинтриговать, составить ребус с подсказкой, как его расшифровывать. Как в жизни? — да нет, как в искусстве, где все предвзято, придумано.

В-третьих, эффект внезапности. Необыкновенно сгустившийся, остановившийся, как вкопанный, миг — сцена остоленения (подобная «Ревизору»), выдернутая из времени, — не миг, а гром с ясного неба, диктующий всем замереть в пойманной, как карманник, позиции. Автор только и делает, что накрывает героев с поличным: — Ага, попались!

От жизненной правды здесь разве что материал, украденный из-под носа у зрителя: улица, бедность, низменность быта, подглядыванье в ближайшую скважину. Но компановка и живопись зиждятся на искусственных трюках, вплоть до приноровленной к мелкому зрению техники. С жанром пришел микромир, микроклимат. Помимо сюжетной скромности, не прозвояющей сватовство майора представить в масштабах последнего дня Помпеи, маленькое отвечало задачам узнавания и занимательности: интригу нужно распутывать и для того — разглядывать. Отсюда доступность манеры, ясность и точность прочтения — совсем не от «реализма», но чтобы было видно, где что лежит. Отказ от густой светотени, красочного богатства, широкого мазка: картина должна хо-

рошо обнюхиваться и для того вылизывается — чтобы не потерялись из вида ни кот, ни сапог. Отсюда — учитесь точному отображению жизни, точнее — учитесь искусству разыгрывать пантомимы!

Люди — это дети. Если их не занимать работой, они все время играют — в карты, в «чертей», в домино. Для камерного режима (с подвохом для новичков) придуманы специальные игры: «Лесопилка», «Гуси», «Пуговица» (с кружкой), «Хитрый сосед». Все очень смешные.

— Я его старше, а он меня ударил!

— На морды люблю смотреть, когда в карты играют, — ой, комедия!

«Строить дамский сортир» (прием игры в шашки).

...Меня раздражало (да и сейчас иногда доводит до белого каления) — с какою тупостью целыми днями, годами дуются в домино, стуча костяшками так, чтобы все дрожало, подпрыгивало, с машинальным повторением одних и тех же ругательств — обязательно стучать, приговаривая: «пошел!» «пошел!» — без этого не бывает игры. Но приглядеться — за этим скрывается вторая действительность, в которой немой человек находит не просто отдых, но незаменимый сюжет разумного существования, переживает драму побед и поражений, испытывает близость судьбы, казалось, от него отступившейся, — поработал на станке, поиграл в шашки для поддержания интереса — игра содержит схему жизни, полную приключений, и за недостатком событий таковые воссоздадут на доске, проходя не в люди, а в дамки, — такая же реальность, как, скажем, сочинительство, чтение, когда ныряешь в книгу, как в жизнь, и живешь параллельно игрой или движением речи, более интересным, сюжетным, чем собственная судьба, — и все эти доски и плоскости, составленные под углом, торчащие в разные стороны, образуют объемное, запутанное бытие человека, имеющее несколько срезов, уровней и направлений. Это — повседневно, всеобщее, но какой же это быт?

Литературная речь в старину, возможно, была свободнее в синтаксическом отношении и допускала обороты,

сплетающие как бы разные потоки или пласты бытия. Идея сочленения букв и слов, может быть, всего очевиднее представлена в книжном орнаменте, который не только украшен, но весь увязан и перевит, где звери сцепились хвостами и люди наткнулись на сабли, закручивая единую линию в растительный лабиринт, который своей непрерывностью возбуждает желание заново описать эту цепь, то есть связать ее взглядом,— и все это вяжется свыше сакральным узлом заставки, сплетающим начальные фразы с названием и оглавлением в большую общую букву со множеством завитушек и ребусов, требующих расшифровки — прочтения. Тогда лучше чувствовали и больше помнили, что, читая, мы сопрягаем «аз» и «буки» в связно растущую речь, и, упиваясь ее витием, уже от рисунка букв впадали неудержимо в словесную витиеватость, которая так естественна для книжного языка, более связного и продолжительного по сравнению с разговорным, что и получило акцент и осознание в орнаменте. Раньше мне представлялось — в орнаменте на нас словесные образы лезут, а теперь я вижу, что сильнее в нем лезет их речевая связь.

...Прибавлю в доказательство осень, вторгшуюся в лето с массой неудобств и загоняющими дождями. И тучи, обложившие дымом, невольно наводят на мысль, что в позднейших этюдах пейзаж — прозаический и живописный — утратил значение зрелища, которое хорошо б возродить, наподобие старинных баталий, где солнце с факелом в руках поднималось над степью и освещало сцену, как днем.

21 июня 1968.

...Еще пришло ощущение, что эта бездна дерева, бревнистость Древней Руси соотносится с духом народа и характером нашей истории по цвету и на ощупь — сочетание угловатости и круглоты, вещественность телесная, теплая, но не слишком долговечная, расслаивающаяся, выгорающая дотла, до пустого поля, и вновь растущая, как трава, по сравнению с камнем европейского средневековья наша деревянная древность ближе к живому нутру, бесформеннее и ненадежнее, мало уцелела, не заботилась о накоплении, пробелы, невыявленность замысла, всякий раз заново, пусть и на старом месте, расплывчатые черты, лишь кое-где в океане бревна вдвинуты каменными островами соборы, Иван Грозный, Нил Сорский, посреди невнятных песен, лицо довольно аморфное, неопределенное, готовое принять первый понав-

шийся образ, топорное и нежное вместе, мечтательное и тупое, лишенное четкости, вспомним Кавказ, чекан по металлу, очерченность гор и горцев, ястребиный нос, острие усов и бровей, острые пряности, перец, и деревянная наша еда — каша, которую не испортишь, все воспримет, усвоит, финны, греки, татары, варяги, французский жаргон, Петербург, как масло, растворяются в каше, не теряем бесформенности, не гонимся за чистотой крови, переваривая любое добро, и нос картошкой, скулы косяком, сойдет, авось, Сократ в лаптях, мудрец под простеца, и в красоте древесная стертость, твое струящееся, растекающееся под взглядом лицо, как пейзаж, сероватое дерево, на фоне жухлого неба, в древесине тяжесть и легкость, воздушность линий, волокон, душевность, непостоянство, не то что камень, и это городское гнездо, сплетенное из бревен с навозом, которым устлали дворы, подгребая, материнским тряпьем, укроешься с головкой, и мягко, тепло на той мостовой.

— Но малые слова благодарности вы бы сказали России, не сейчас, а лет через сто, через триста, из вашей удаленной, свободной и к тому времени, пусть, процветающей и благополучной Европы, на то хорошее, что видели у нас иногда, или читали, встречали? Хоть два слова...

— Не знать и забыть.

Приятно, когда вдальеке кудачет курица, мычит корова — голоса мирного мира. В сущности, уже август. В вещах проступает августовская чернота. Днями светло и жарко: самый разгар. Но присмотреться — тени вечером темнее, мрачнее, да и в полдень в зрелой листве, в лазури раскинута сеть какого-то черноватого тумана, дурмана, и воздух чуть что, кажется, поплывет кляксами. Не осенью или зимой, а именно теперь, в августе, кладет начинку в вещах червоточинка смерти. Дело сделано, плод заложен — в августе.

27 июля 1968.

...Вокруг очень ругаются, решая задачу, кто на войне командует авиацией,—

— И мы сразу меняем направление и идем бомбить!..

Ужасно кричат, спорят, как всегда по пустякам, и трудно писать под эту диктовку. И если мы будем и дальше

так продвигаться, то скоро наступит зима. Та самая зима, к которой я не успел приложиться в прошлом году. Очень маленьким стало понятие — год.

Иногда почему-то ужасно хочется молока. Цельного и чтобы много. Ничего, потерпим, и дальше потерпим.

— Видно, она из барской семьи. Из такой, что и цедить нечего.

— Фамилия ему позволяет врезаться в хорошее общество.

— И тебе дадут без звука.

Нужно быть все же признательным своему желудку. Мы тут развлекаемся и ни о чем не думаем, а он переваривает и днем, и ночью, обеспечивая наши потребности. Мог бы болеть, капризничать, сказать «будет с меня», но он работает, кормилец, и не выходит из строя.

Вспоминайте, глядя на людей, о недавнем их рождении, детстве или о близкой кончине — и вы полюбите их: такая слабость!

...В Бабеле проявилась общеписательская, быть может, черта — не наблюдателя только, но тайного соглядатая. Всю жизнь он подсматривал «в щелочку» в ожидании интересного казуса. Авторская позиция его всегда со стороны, в стороне от экзотических сцен, подбираемых в каком-нибудь мусоре, чем и вызваны скрытность взгляда, незаметность его биографии. Какой, собственно, может быть взгляд у человека, всецело погруженного в розыски необыкновенных вещей и сюжетов, затерянных среди хлама, — биография не живущего, но прикомандированного к жизни лица (писарская должность в Конармии ему очень подошла), встречающего в любую среду, обстановку — без предрассудков. Шпион от литературы, в быту подсмотревший невидаль, деклассированный лазутчик, снимавший комнату у наводчика для своих «Одесских рассказов». Национальность ино-родца тоже ему подошла.

Бывший солдат — журналисту:

— Я кровью за это платил, а вы писать хотите?!

Неописуемость жизни. Бесстыдство литературы, всюду сующей нос. Как — о крови — пером?

— О животных бы рассказывал! Рассказы о животных никому не повредят.

— Верблюд! До чего некрасивая животная, а вот мясо — вкусное...

Узнал новость о волке. Волк, выясняется, имеет привычку хватать лошадь за хвост.

— Лошадь — что ей характерно? — бегит. Волк — кидается. Когда же он видит, что слишком он легкий, чтобы ее удержать, он ест землю — килограмм пятнадцать, двадцать. Накушавшись — опять кидается. Потом, после охоты, волк всю эту землю дочиста вырыгивает.

Что за чудо эти двери!

— И кто бы мог подумать, что такое одичавшее, кровожадное существо так липнет к человеку!

Это о коршунах — Ваське и Катеньке, таскавших в лагерь курятину. Воробьев они лопали прямо с перьями.

— Сидят красавцы, глаза голубые!

И заяц, прибегавший на звук гармошки, и медведь, спасший девочку, дочку опера, упавшую в реку, и незаслуженно убитый, когда нес ее в лапах — отдать. — Все лезет к человеку!

— И потом та собака мне ночью во сне приснилась: вот с такими глазами!

(Собака, которую съели)

— Она калории никуда не расходует.

(О кошке)

— Вот ее в сапог посадить — и пусть сидит!

(О кошке)

— Но нам же интересно: раз она в руках побывала, так не должна бояться!..

(Мышь)

— Поймали под рельсой. Энергичная и воючая ласка!

— Корова дулась-дулась. Пусть, говорят, скушает живую лягушку. Даем. Проглонула, только облизывается. И все сошло. Хошь — на клевер. Хошь — на люцерну.

— И вот я бушлат расстелил и вижу — все время птички летают. Круг делает и садится. Покамест я расстилал, ковырялся, смотрю — она из-под бушлата вынырнула. Оказывается, я лежал на гнезде. Вот хитрая птичка! И хуя! — разбежались по всем сторонам, и нет ни одного.

Львы на лубочных картинках не яростны, а добродушны. Не оттого, что художник в жизни льва не видел или решил пошутить. Юмор лежит в самой наружности зверя. Они все смешные. Даже при виде собаки нас охватывает удивление: — Совсем как я, но с хвостом! На четырех ногах! — В народном льве прослеживается басенная природа животного. Ему самим Творцом велено нас передразнивать. Звери при дворе человека играют роль скоморохов. Какие хари, рога! С ними наша жизнь больше похожа на театр.

Речь о петухе, которого поили водкой. В обычном состоянии: — Был петух ленивый, как слон. Но стоило его подпоить: — И стал петух — как огонь!

Женщины тоже заметно театрализуют жизнь человека. Им бы все наряжаться, раскрашиваться.

— Она была замужем за армяшкой. ...И вторым она была заряжена, не знаю сколько, но уже здорово.

Женщина по природе своей предназначена к зрелищу.

Из песни:

Катечка, моя чудачечка,
Моя Катюшечка, мой идеал!
Как скачок замолочу,
Я тебя озолочу!
Катечка!
Чтоб я пропал!

Почему в народе так любят имя Катя? — потому что оно от слова катить и кататься.

Просидев в лагере больше двадцати лет, он уже сорокалетним мужчиной впервые в жизни пошел в зоопарк. И кто же больше всего ему там понравился? — Жирафа!

От Древнего царства в Египте до наших дней дошел лишь один (и прекрасно!) Указ фараона — чиновнику, посы-

лавшемуся на Юг в экспедицию. И о чем же единственно пишет и печется тот фараон в том единственном Указе? — О карлике, которого надлежит поскорее доставить в Египет как самую интересную и драгоценную невидаль. «Мое Величество желает видеть этого карлика более, чем дары рудников и Пунта» («Хрестоматия по истории Древнего Востока», стр. 31).

Страсть к искусству (к экзотике), к загадкам (и чудесам), видно, у нас в крови.

— Знаешь, что такое баклажан? Это такое синее бычье яйцо растет из-под земли!

Туберкулезник — с гордостью:

— Из меня палочки летят!

— И в ту минуту моя молитва не дошла до Бога, потому что я тогда все на того жида дивился.

(На Рождестве)

— Кирюха говорит: пойдем посмотрим, как тут одного резать будут.

Старик вслед за всеми тащится в кино и там периодически спит. Выспался — пошел в барак вместе с толпой. В ответ на расспросы, насмешки — зачем ходит в кино?

— А я сижу и смотрю свои кинофильмы.

В тесноте он, должно быть, полнее испытывает состояние зрителя. Зрелище предполагает всеобщее и совместное чувство уюта, тепло толпы «на миру». Внимание к звуку, к пятну, казовая сторона восприятия укрощают работу воли и интеллекта. В театре совсем не обязательно понимать, важнее — видеть и слышать. Не исключается, что театром можно лечить как успокаивающими пассажами. Включено или выключено сознание? Оно притушено. Как в стихах ритм поедает смысл, так на сцене явление поглощает бытие.

— Ансамбль грузин и одна баба, не знай какой нации, вся седая, играет на аккордеоне.

— А я проделал дырочку гвоздиком и всю историю вижу!

— Все вылезли на решку.

«Решетка для нас сцена и экран».

(Из песни)

— Раньше в лагере веселее было. То кого-нибудь избьют, то повесят. Каждый день — чепе.

Котенок на полу играет с невидимой мышью. Судя по всему, она не больше мухи. Но и мухи у него нет. Одна мечта.

Интеллигентские привычки — сверчки. Поют на всю шилку. Как смолкнут станки, слышно — просто захлебываются. Новичок с тихим восторгом:

— Да тут у вас — сверчки-и-и!

Точно родных встретил.

Спрашивается: отчего так приятно носить внакидку пальто, телогрейку и даже пиджак? Должно быть, у нас за спиной образуется подобие крыши, и живешь как в укрытии, в своем доме.

Улитка, хижина.

Мы даже не подозреваем, какими окольными запахами, шелестами располагает искусство. Оно действует на нас всегда не прямо, а каким-то дальним, Бог весть из какого запаса, касанием. Как, например, восхитительно в старинных романах звенят золотые цехины. Ими можно играть, они блестят, мы взвешиваем на руке кошелек и швыряем к ногам негодяя. Что бы делали те романисты с кредитками, с бумажником, набитым квитанциями? Их поэтический шарм наполовину состоял из золотого блеска и звона. Дублон, дукат. «Я не дал бы и фартинга!» Экую. О, чудная заумь...

— Скажите Соне, что Золотой поплыл с пятёркой на Колыму!

Растягивая и перебирая слова, как колоду карт, которую тем временем он артистически пропускает сквозь пальцы, выстреливая одним дуновением, с руки на руку, тасуя, любу-

ясь собой по достоинству Золотого, он выкликает свои позывные и, расхаживая по камере большой пересыльной тюрьмы, воспроизводит снова и снова, ни о чем не заботясь, кроме чистой поэзии,—эту тему своей судьбы и высокого воровского искусства:

— Скажите Соне, что Золотой поплыл с пятёрой на Колыму!..

...А фраера вдвойне богаче стали:
Кому их трогать неопытной рукой?

Как понятны эта песенная тоска и забота профессионала, попавшего в западню,— об утраченной на свободе, в его отсутствие, квалификации!

(Нечто похожее я испытываю, смею заметить, в отношении современной словесности.)

Воры. Кокетливо:

— Ничего тяжелее кошелька в руках не держал! Это значит — не хочет и не может работать. Это значит — на первом месте по почету и уважению не грабеж, не разбой с оружием в руках, «на гоп-стоп», но тонкое мастерство специалиста-карманника, «щипача» — вора в истинном смысле (в метафизическом значении — фокусника).

Бандиты и убийцы не пользуются в этой среде авторитетом. «Мокрое дело» третируется не только потому, что влечет обычно серьезные осложнения с властями (хотя и такой расчет возможен), но — свидетельствует о непрофессиональности, о грубой работе. Надо «выдурить фраера», так чтобы тот и не заметил.

Казалось бы: кто сильнее — у того и власть. Ничего подобного: власть в руках чародея. С тонкой инструментровкой в пальцах. У щипача-музыканта. Власть в руках искусства.

Почти как у поэтов, в воровском этикете первенство отдано зрелищу и зрелищному пониманию личности и судьбы человека. Презрение к «фраерам», то есть ко всем свободным от воровского закона, ко всем «не вора́м», которые и людьми недостойны называться (— Люди есть? — Все молчат: в огромной, тысячной толпе этапа нашлось лишь два человека...), в немалой степени строилось на неспособности обывателя (в особенности — из чистой публики) на театральный подвиг и жест, на эффектную смерть, на что так падки воры. «Как жадный фраер» вошло в пословицу: «Жадность фраера губит».

Два надзирателя пришли забирать вора в бур. Ему не охота идти, капризничает (может быть, настроение плохое). Вынимает нож и, наставив на себя, угрожает кинуться голой грудью, если не отвяжутся.

— Видали мы таких!

— Таких — не видали!

И мгновенным, порхающим жестом показывает, кого и какого они видят перед собою.

Театральная поза и репутация вора породили сотни легенд, которые до сих пор, когда воровской закон уже полог, на добрую половину составляют поэзию лагеря.

— Хорошие, справедливые люди были...

Вот отзыв мужика (употребляю в значении — масти), того мужика, о котором хороший вор иронически скажет:

— Спасибо, кошелек близко ко мне кладет.

Впрочем, воры оцениваются и крайне отрицательно. По-видимому, и та и другая оценки соответствуют действительности и отвечают понятию вора как моральному кодексу, сложившемуся в условиях отсутствия морали. На месте нравственных выбоин появились горбы морали: порядок, каста, этикет, иерархия — там, где обычно царили произвол и беспредел. Вор в точном смысле совсем не аморальный субъект, но человек, придерживающийся элитарных принципов нравственности, более строгих, нежели дворянская этика чести, ибо малейший грех здесь карался немедленной смертью, почитавшейся более мягкой, чем отступление от воровского закона.

Бывший вор мне как-то разъяснил, что по старым понятиям — ежели бы нарядчик, допустим, или дневальный обозвал меня «сукой» в сердцах, ничего плохого не думая, то он, вор, слыша такое, должен был бы его убить, хотя бы я просил не делать этого, — поскольку он, вор, «со мною пьет», то есть пригубливает общую кружку чая, и, когда бы мое бесчестье не было смыто кровью, следовало бы, что вор спокойно пьет вместе с «сукой», что автоматически зачисляет его самого уже в «сучью масть», — и если бы он не зарезал тут же моего ругателя, его самого надлежало бы срочно зарезать как «суку» другому, узнавшему об этом дефекте со стороны, моралисту.

По этой логике я попадал в категорию «воровских мужиков», пользовавшихся когда-то покровительством воровского союза, за что и платили ему определенную дань в ла-

герях, как в седую старину мужики содержали, скажем, дружину князя.

В этом свете тот же «закон» представился мне орденным рыцарей (навыорот, но именно рыцарей), в котором, помимо строжайших регламентаций, поддерживался неугасимый и также в особом значении употреблявшийся дух.

— Чтобы вздернуться — надо дух иметь.

— Если ты дух, говорю, то бери нож и иди на таран!

Гордое присутствие духа, шепетильность в исполнении долга доходили до того, например, что вор, уезжая из лагеря, в качестве ритуала мог подойти к любому со словами: — Я тебе должен? — Получи. (Хороший тон.) «Получающий» был вправе зарезать (но если бы он зарезал неправильно, его бы самого зарезали).

От тех времен сохранилась до наших дней присказка, которую произносят уже больше в шутку — когда хотят удостовериться, что собеседник доволен и ничего не держит на сердце:

— Ну, смотри — чтобы не было разговоров на пересылке!..

Пересылка когда-то служила перекрестком многих дорог и потоков, где репутации подвергались обсуждениям и пересмотрам. Там склонялись и переходили из уст в уста имена знаменитостей — Пушкина, Спартака и других претендентов на лагерные рассказы из цикла «героических жизней».

— А у него кликуха была — Дантес.

Какие еще бывают прозвища:

Толик Питлер, Тайга, Генерал Безухов, «Страшно гудит», «Тлидцать тли», Вася Недорубленный.

Хорошие фамилии:

Кошкодан и Скакодуб.

Богобоязненный православный мужик сказал, разводя руками, о ворах как общественно необходимом явлении:

— У них живое дело. Сегодня магазин обокрасть, завтра — банк. От них и судья, и прокурор кормится.

Как грабить магазин. В обеденный перерыв, еще лучше вечером, перед самым закрытием, подходишь. Дверь на крючке. Самое главное — резкость интонации:

— Считаю до трех — стреляю через дверь — раз, два...

«Раз, два» нужно говорить очень быстро, не делая пауз, — фраза произносится на одном дыхании, на ускоряющемся вихре. До «трех» не выдерживают: всегда открывают.

На суде продавщица узнала:

— Он! Он! — Его волчьи глаза...

Но свидетели из покупателей все очень хвалили:

— Такой вежливый, обходительный. Мы думали — артист...

Подсудимый — адвокату:

— Вы — защитник? Вы пришли — *защищать*? (Критически окидывая неказистую, должно быть, фигуру) *Меня*? Чем же вы будете меня защищать? Бумагами? (Кивнув назад) Они меня — под штыками, а вы — *бумагами*?!..

Мечтательно:

— Хорошая вещь — эф-8!

(Лимонка)

— Если шуметь будем — так вместе!

(Формула предостережения — потерпевшему в грабеже)

...Сидя долгие годы, он обдумывал новые планы, пока не остановился на одном, абсолютно, как он уверял, безопасном. Поздно вечером на пару с товарищем приходишь в вагон-ресторан. Перекрываешь вход и выход. Снимаешь кассу. Ну, по мелочам у кого. Потом велишь всем присутствующим выпить до капли винный запас в буфете. Силой оружия. Все, понятно, в стельку, до потери сознания. Пока они проснутся, очухаются — мы уже далеко.

(План, в самом деле, представился мне генеральным: в нем слились воедино — вино, грабеж и фокус.)

Как брали Спартака. Трое с ломачами, раскалив их предварительно докрасна, в рукавицах, пошли на него. Просто на нож взять его было нельзя. Спартак начал хвататься за ломы и пожег руки. Тогда его убили.

— Кончина его была довольно замечательна.

О Пушкине рассказывают, что, когда он сидел однажды у костра с одним шпаненком, к ним подошел старшина с пистолетом и начал гнать на работу. Шпаненок огрызнулся. Мент выстрелил и убил.— Ах, ты мразь! — говорит Пушкин, и нащупывает сзади, как сидел, какую-нибудь палку или топор, но ничего не нашарил, и медленно встает, и медленно идет на мента.— Мерзавец!

А в углу рта у него еще дымилась папироса.

— Не подходи — убью! — кричит мусор, и целится, и пятится, побледнел, как вот эта стенка, и руки у него дрожат.

— Духу не хватит! — отвечает Пушкин, придвигаясь вплотную.

И, вынув изо рта окуроч, он погасил его о лоб старшины. Потом повернулся и спокойно пошел себе. Тот так и не выстрелил.

...Чищу стулья — старательно, и по качеству они у меня лучше всех блестят, но с нормой не могу справиться — медленный, а надо очень быстро летать руками, хватая то шкурку, то циглю, то замазку для замазывания щелей и царапин. Хороший стиль (или стул), я заметил, достигается неуверенностью в себе. Стилисты, как правило, неувереннейший народ, и свою недостаточность они стараются компенсировать вниманием к слову, шлифовкой. Неуверенный не может позволить себе работать плохо, левой ногой. Гений — позволяет.

Хорошо, когда в заголовок вынесено что-нибудь яркое, блестящее: «Князь Серебряный», «Остров Сокровищ». Потом такие названия сохранились только на марках: Борнео, Бразилия. Но первый роман в литературе уже был позолочен: «Золотой Осел».

«Таинственный остров», «Три мушкетера»... Названия книг тогда издавали чудную музыку и, кажется, заключали в себе больше смысла, чем сами книги. Вспоминаю, с каким замиранием это произносилось, как пахли те страницы и корешки и каким серебром отливал нечитанный до сих пор «Князь Серебряный», полнота слова в детстве, кто нам вернет ее, кто вернет?..

Стихотворение блатного поэта, обращенное к братьям-писателям, начиналось словами.

Вам рассказать теперь спешит
Ваш сын и брат духовной плоти,
Что мы — как давленные вши
Или посуда с-под харкотин.

Больше я, к сожалению, не запомнил. Но у меня были еще хорошие строки — о заключенных:

Им белый свет — уже с дырой,
Им небо валится на плечи!

Литературные обороты — из автобиографического романа местного сочинения:

«Мы рвали цветы и т. д.»

«Патефон лил песни».

«Мелодия стояла в голове».

«Я ничего тогда не знал о краткости жизни».

Штампы, оказалось, играют сюжетобразующую роль, а не только стилистическую. На них опирается сознание, разматывая рассказ по знакомой канве. Глупейшие обороты, типа «как гром среди ясного неба», «я весь тряусь, но у меня сильно работают сдерживающие центры», «обнимаю-раздеваю, и она отдается», — при многократном повторении превращаются в колеса сюжета, в механизмы действия. «Красавец», «кровь с молоком», «в самом соку», «в ратиновом пальто» — они перепрыгивают с ветки на ветку, по событиям, с «него» на «нее» («как лань», «как серна»), и благодаря им все совершается естественно, само собою — как в жизни.

Попробуйте усомниться в штампе — обида: так на самом деле было (и ведь, действительно, все так и было). Человек с биографией счастлив: все-таки пожил. «Пожил» — как приобрел, накопил. Ему кажется, стоит все это богатство описать своими словами — и получится «великий роман» (не получится).

Штампы — знаки искусства. Верстовые столбы. Следуя ими, жизнь, сама не замечая того, превращается в легенду и сказку.

... Пела скрипка приволжский любимый напев,
Да баян с переливами лился,
И не помню тогда, как в угаре хмельном
В молодую девчонку влюбился.

Чтоб красивых любить, надо деньги иметь,—
Я над этим задумался крепко,
И решил я тогда день и ночь воровать,
Чтоб немного прилично одеться.

Воровал день и ночь, как артистку одел,
Бросал деньги налево-направо,
Но в одну из ночей крепко я подгорел,
И с тех пор началась моя драма.

Коль настала беда — открывай ворота.
— До свидания,— крикнул,— красotka!
Здравствуй, каменный дом, мать-старушка тюрьма,
Здравствуй, цементный пол и решетка!

— Простой такой, нескандальный. Смеяться любил,
шутить. Померли все.

Кашу опять получаю и заметно поправился, смешно,
когда зависишь от мизеров, но это и правильно — понимать
легчайшую свою уязвимость, ткни пальцем и нет тебя, все
держится на соплях, а как живуч, поди ж ты...

29 ноября 1968.

...Когда стало совсем плохо, я лег на койку и в подкреп-
ление взял у соседа новеллы Эдгара По, случившиеся вдруг
под рукой. В рассказе «Низвержение в Мальстрем» мне
между прочим встретилось то, что я желал бы услышать,—
настолько точно оно поворачивало мысли попавшего в во-
дovorот человека в искомую сторону. Осмелюсь процитиро-
вать:

«Можно подумать, что я хвастаюсь, но я вам говорю
правду: мне представлялось, как это должно быть величест-
венно — погибнуть такой смертью и как безрассудно перед
столь чудесным проявлением всемогущества Божьего ду-
мать о таком пустяке, как моя собственная жизнь. Мне
кажется, я даже вспыхнул от стыда, когда эта мысль мельк-
нула у меня в голове. Спусти некоторое время мысли мои
обратились к водовороту, и мной овладело чувство жгучего
любопытства. Меня положительно тянуло проникнуть в его
глубину, и мне казалось, что для этого стоит пожертвовать
жизнью. Я только очень сожалел о том, что никогда уже не
смогу рассказать старым товарищам, оставшимся на суше,
о тех чудесах, которые увижу».

Когда суки положили Пушкина на железный лист и начали подпекать на костре, он прокричал стоявшим поодаль зрителям — фразу, лучше которой я не смог бы выбрать в эпиграф, если бы только счел себя достойным ее повторить:

— Эй, фраера! Передайте людям, что я умираю вором!..

IV

В черном небе — перенесенные с турецкой мечети — четкие выбиты серебряный полумесяц и серебряная — рядом — звезда.

Как я встречал Новый год? — листал картинки, вырезанные из старых журналов, подряд, случайные, незабвенные... Спящая Венера Джорджоне, елочная стекляшка, пустышка. Живопись, по всей вероятности, изначально и состояла в окрашивании-очерчивании притягательного предмета, который потому и цветной — совсем не по аналогии с жизнью, наоборот, по контрасту, на ее бескрасочном фоне — приковывающее пятно. Однако эти картинки возвращают мне чувство реального; на них опираешься сознанием и как бы встряхиваешься, пробуждаешься, ясно припоминая, что это и есть действительность, и, значит, ты вроде живешь, а не только снишься себе. В этом смысле цветное пятно, привлекающее наше внимание, радуя глаз, преодолевает безумие бесформенности, небытия и возвещает истинность мира, в котором красота и реальность где-то на высшем уровне сходятся в одной точке. Элементарная красочность, вкрапленная в природу, явленная в искусстве, уже своими простейшими свойствами — задерживать, притягивать к себе, активизировать чувство и ум — свидетельствует о том, что процент достоверности в ней выше, чем в серой бесцветности, не оставляющей воспоминаний и готовой рассыпаться, стоит лишь проснуться, подуть...

Пока Одиссей плавает, Пенелопа прядет. Пряжа — волны — волны — суженая — супруга — судьба, и все кончается свадьбой, потому что сказка прядет о том, как исполнить судьбу. Прялка — весло, и ладья, и парус судьбы в доме.

Говорят, Солнце в сто шесть раз больше нашего радиуса. Это хорошо. Но лучше, когда на небольшом — ну, как печка — Солнце держится такая большая и беспомощная Земля. На днях мой напарник по вывозу опилок спросил:

— А правда, что Земля — это шар?

Я затруднился ответить и сказал:

— Я точно не знаю.

Если вдумаясь в свою жизнь и встречи, ее составляющие, то как бы сквозь сон приходит сознание, что она замешана не на стечении обстоятельств, которых, может быть, могло и не быть, но заложена с детства и существовала заранее в каком-то предварительном очерке и теперь лишь проявилась на свет и достигла силы судьбы, при всей ее странности не кажущейся случайной, но только так и в таком виде способной к осуществлению. Приглядываясь дальше, заметишь, что не всё, однако, подряд проявлено этой печатью исполненного предвестия, и многое наносно, случайно и вроде бы не имеет к тебе прямого касательства, тогда как другие, ясные вехи-события обязательны, неизбежны и, встретившись, обновляют память, что о них ты давно догадывался или где-то их видел. Живя, мы в значительной части сталкиваемся в итоге со знакомым материалом: мы не знали, что с нами будет, но бывшее в главном и важном открывает нам с полуслова узнаваемое лицо. Живя, мы узнаем, как нам предписано жить, и хотя по второстепенной, по собственной воле кое-где замутили нашу судьбу отсебятиной, самое реальное в ней вспомнилось и исполнилось в точности.

30 января 1969.

Спрашиваю себя: — Возя опилки, думать о птице-Сирин, — разве так это должно быть?

И отвечаю: — Да — так.

...Играй, гитара, играй!

А песня — заблудшая птица

Искала потерянный рай

Формула искусства. Самая общая и широкая его формула.

Мне раньше казалось (проверял на других — и они так же думали), что сирены, с которыми встретился Одиссей, своим обликом напоминают русалок. Вдруг смотрю: совсем наши Сирины — в сцене с Одиссеем на аттической вазе V века до н. э. Вот как давно — в виде птиц. В их пении, кстати, не возвещается ли предсмертное отождествление с небом, в итоге которого «я» растворяется в прекрасном звучании и душа, все позабыв, покидает тело? На русских сундучках о Сирине и Алконосте сказано (близко к теории музыки в Древней Индии): «Егда же в пение глас испускает тогда сама себе не щущает». То же с человеком: «И тако ум его весма пленится еже и лика своего изменится». Самосознание кончилось — начинаются райские сласти.

— Оттуда вылазишь такой, все равно что новорожденный...

(О деревенской бане, где парятся в рукавицах и шапке, чтобы не обжечь руки и уши, а тело привыкает.)

...Мне всегда хотелось спросить у Егора: «Откуда ты?» Но он тогда еще не умел говорить. И если бы мы сейчас жили вместе, это не он меня, а я бы его донимал на тему «зачем», «почему» — чтобы с его помощью дознаться до правды, которую мы, взрослые, уже забыли. Кажется, я у него научился бы большему, чем он у меня. Мы слишком привыкли понимать чистоту детства как отсутствие, как *tabula rasa*. А если наоборот: нечистота — отсутствие?..

Примета. В камере смертников. Трое. Ночью с потолка паучок опускается по нитке одному на грудь и не уезжает обратно. Значит — к утру расстреляют. На вторую ночь — второму опускается на грудь. И этого увели. И когда третий приговоренный остался один, паучок опустился к нему днем и, повисев над койкой, у самого носа, поднялся к потолку, и так до трех раз. Помиловали.

...Идет снег хлопьями, и дуют сонливые весенние ветры. Почему ветер навевает сон? Потому что это — дыхание.

В литовском языке слова «жизнь» и «змея» одного корня: *gyvate* (змея) — *gyvūbe* (жизнь). Русская «жизнь» и пошла, по-видимому, от этого “*gyv*”, а свою «змею» подсоединила к «земле». Удивительный получился веноч.

Еще в Литве, говорят, столбы на дорогах, увенчанные позднее крестами, изображали первоначально древо жизни.

А у латышей существовало до недавнего времени узелковое письмо. И песни, и сказки, и важнейшие домашние даты-события наносились на нитку и сматывались постепенно в клубок. Так создавалась книга.

Вот она — паутинка прялки, прядущей нить судьбы и одновременно, попутно — канву литературы.

Борода, доброта. Все звуки совпадают. Поэтому можно сказать: «добрая и бородатая морда». Напротив: «бритый, злой старик». Добрый и бритый, бородатый и злой — не соединяются, разваливаются. Какой же злой, когда по всему лицу — доброта?

Надзиратель — русскому парню:

— Ты — жид, что ли, что бороду отпустил?

Я изумился: всё навыворот: исконно русские бороды стали признаком отщепенства. Но потом — как глубоко! к какой старине восходит! Посреди гололищего, однообразно бритого люда борода — знак чужеродности, почти противоестественности. Когда-то бритые почитались едва ли не жидовством, нынче — борода. Но принцип — древний: «свои!» Жид — звучит неприлично, гадливо: жид — чужак — вражина — не наш — жидяра! «Не наши» — в русских сказках иногда называют чертей. Собственное имя некоторых народов означало буквально «наши люди». И вот снова: «— Вы — не наш человек». А почему я должен быть «вашим»? Да только потому, что здесь все — «свои», среди которых любое «не то» звучит отчуждением: жид!

Снова проводы. Костюмчик много портит. Ботиночки, брючки отглажены — на снегу смотрятся нелепо и жалко, обряд обмывания, обряжания, зековский ватник куда вальжнее. И признаки невозвратимой утраты за месяцы до отъезда, стена с той и с другой стороны, ему требуется усилие, чтобы говорить с остающимися, уже живущему с другими, в другом, как и нам почему-то неможется, неловкость, не наш, почти отчужденность, когда он через каждое слово спохватывается без нас и вне нас, как неживой, и смотрит куда-то вдаль выцветшими глазами, — с сознанием долга

провожаем, но только тело, да и то непохожее. Звание: душа витает...

19 марта 1969.

Из писем с воли:

«На улице, где прошло наше детство, почти никого не осталось из тех ребят, что проходили совместное детство, а кто и жив, тот давно где-нибудь пристроился в семейном кругу благоустроенной квартиры».

«Много пришлось учиться и познать ряд наук, а особенно в профиле работы, по которой сейчас и работаю».

Мы и они. Для *них* не могу подыскать другого сравнения — призраки, привидения. Слоняются где-то за сценой, приглядываясь: куда бы вмешаться? Но почти не вмешиваются. Некуда. Жизнь течет, по сути, отдаленно от них. Поскольку сцена занята нами, участниками драмы, — они оттеснены на задний план, в позицию закулисных статистов. На них не обращают внимания и, даже страшась, не очень-то верят в реальность их существования. Поэтому и внешне эта категория лиц как-то склоняется в сторону небытия. Печать отсутствия в чертах, в одеянии, взгляд выражает формальную заинтересованность, но в самом появлении призрака в зоне есть что-то отсутствующее. И еще вопрос — кто от кого зависит. Во всяком случае мы не думаем, чем заняты незваные гости у себя дома. Те же, напротив, льнут, засматривают в глаза, заговаривают — с сознанием полноты, которую им невольно доводится наблюдать, и с неосознанной завистью к судьбе людей, более живой и богатой, чем их миссия посетителей, надзирателей — захребетников рода людского.

О «Декларации прав человека» начальник отряда сказал:
— Вы не поняли. Это — не для вас. Это — для негров.

Вольный мастер — зеку:

— Не может быть, что бы ты был счастливее меня. Не верю!..

Грузин-часовой (с отчаяньем):

— Это я — не человек?! Да разве вы — люди?!..

— Смотрит? Его дело — смотреть.

(О надзирателе)

Из прошлого. На Сахалине распускают лагеря. Жена опера — в голос, не стыдясь свидетелей-зеков:

— За что, Господи? Чем мы провинились? Четыре бы годика только их еще подержать! Дети школу кончат. Мужа бы — до пенсии. За что такое несчастье?!..

Из прошлого. Коми. Пеший этап зимой. Партия арестантов с конвоем заночевала в избе. Хозяйка, заворотив подол на голову, на четвереньках ползает по полу, изображает медведя — рычит и голым задом пугает расшалившихся ребятшек. Изжелтые, в засохшей моче — волосы. Дети боятся.

На печи — слово из трех букв. Старший сын, второклассник, написал — в подарок безмужней матери. Хотели стереть, но та запротестовала. С добрым восторгом, с доверием повторяет: хорошее слово!

— Закон — тайга. Медведь — прокурор.

(Старая поговорка)

Надзиратель — зекам:

— Наша собака в жизни того не сделает, если ваша не скажет.

— Доносчик и спит наготове.

— Люди, имеющие продажную кровь в своем теле.

— Считать за подлянку!

— А може, сука, дешевит?

— Мрасть из мрастей.

— У него незапятнанность в глазах.

— Он вызверился на меня.

— Морда пиратская и улыбается, как роза.

...И взгляд соседа на моем лице — как щупкий шаг паука.

Пейзаж начинает постепенно смахивать на декорацию. Меня предупреждали. Небо и лес приклеены к заднику, — это я заметил на четвертый год. Но все-таки становлюсь мягче, даже сентиментальнее. Перестают отпугивать прямые изъявления чувств. В юности мы все боимся показаться смешными и напускаем на себя некоторую холодность. А каким прекрасным при желании мог бы обернуться тот же самый ландшафт!

...Река и поле были покрыты мягкостью, как если бы в них на рассвете истаяло тело певца. Что-то похожее случилось уже — с Канентой на берегу Тибра. Шесть дней она не ела, не пила в поисках пропавшего мужа, а потом уселась в тоске, запела, запела, и растворилась, и рассеялась в воздухе, создав точно такую же утреннюю дымку...

«Эскимосские женщины при длительной отлучке мужа делали его изображение, кормили, одевали и раздевали фигурку, укладывали ее спать и всячески заботились о ней, как о живом существе. Подобные фигурки изготавливались и в случае смерти человека... Изображениями умерших были часто и те настоящие куклы, которыми играли эскимосские девочки... Кукла оказывалась, таким образом, вместилищем души и «представителем» покойного среди сородичей. Заключенная в кукле душа, согласно этим понятиям, переходила в тело женщины и возрождалась затем к новой жизни. Она считалась, таким образом, душой умершего родственника и душой будущего ребенка» (А. П. Окладников).

Ничего значительнее про кукол не читал, хоть изложено все это по-научному вязко. Наши куклы, возможно, — последние тех связанных, переносивших вести из мертвого тела в живое. А искусство? Не вышло ли оно всё — из этой куклы? Весь портрет, включая современные фотографии, живущий теперь одними напоминаниями об умершем, уехавшем (а когда-то одевали, кормили!), не начинается ли с куклы, исполнявшей некогда роль промежуточного звена в цепи жизней? Без нее, без куклы, мир бы рассыпался, развалился, и дети перестали бы походить на родителей, и народ бы

рассеялся пылью по лицу земли. Искусство — посредник в наследовании поколений, в нем прямые связи сменились иносказательными, а некогда деды буквально превращались в малых внучат, пожив какое-то время в промежуточной стадии куклы.

И бабочка из гусеницы проходит стадию куколки («Бабочка» — бывшая «бабушка», ср. диалектное «душичка» в значении бабочки, т. е. отлетевшей души), и мумию пеленали когда-то подобным, кукольным образом и клали в подобный же гроб. Или (переходя на стихи):

Дети играют гробами.
Куклы глеют в земле.

Постой... А тело? Тело ведь тоже было сначала куклой. Из глины. Временное жилище души — тот же повапленный гроб. Повапленный: вапы — краски. И матрешки! Откуда взялись матрешки — одна в другой? Какая-то дальняя связь с Египтом, пирамидами, где гроб имел подобие матрешки, тела, куклы, окупленной куклы...

Раньше так не держались за жизнь, и легче было дышать.

Твои мысли должны быть так глубоки, чтобы ты не слышал шума, не видел мира.

Представляете, уже Гезиод жил в железном веке!..
— Тут у меня мозги и прозрели.

Во мне открылась дверца, и я увидел... Так приходит слово, приходит понимание. Все прочее в искусстве, в науке — необязательный комментарий.

Состояние пассивной готовности в ожидании, когда дверца откроется, балансирование на грани страстной, всепожирающей жажды открыть самому и увидеть (не откроешь и не увидишь) и одновременно — расслабленности, неучастия и нежелания хотя бы пальцем пошевелить ради такого зрелища, то есть, по сути, взаимоисключающее сочетание ненапряженного напряжения, бездеятельного труда, — вот единственное, что имеет художник в виде исходной, а возможно, и конечной точки работы.

По-видимому, близкий момент в постижении истины подразумевали мудрецы, говоря, что знание, опыт, память, авторитет, тренировка, традиция и даже само желание

постичь реальность становятся неодолимым препятствием на пути и сдвигают нас в сторону ложного самогипноза, что будто мы близимся к истине, и только все отбросив и погасив, и ни на что не надеясь, можно еще надеяться, что эта дверца вдруг сама собой приоткроется...

Как приятно (как страшно), набравши побольше воздуха и не зная толком, с чего начать, нырнуть в обжигающую на первых ударах фразу, которая размыкается и смыкается за тобой, как вода, и не имеет к тебе отношения, пока ты не войдешь в нее полностью и, почувствовав внезапную помощь, прилившую извне, из этой речи, куда ты неосмотрительно прыгнул, не доверишься вашему общему с ней течению, руслу с риском захлебнуться и не выплыть никогда из реки, что, сжалившись и взяв тебя тихонечко на руки, уже, кажется, подталкивает к предмету, о котором ты брался писать, если бы вдруг не заметил, что он теперь уж не тот, и дело к вечеру, и надо плыть, не капризная, молча повинувшись согласной с тобой еще цацкаться матери, и хочешь не хочешь оставить замашки свои при себе, и погрузиться на самое дно, где, почти потеряв сознание того, о чем говоришь, сказать наконец нечто тождественное этой силе, что, вытолкнув тебя на поверхность, свидетельствует о своей доброте, но не об опытности пловца. Из фразы выходишь немного пристыженным и ошарашенным тем, что сказалось.

...И опять признаюсь: лучше стал относиться к античности. Только не римской. Вероятно, греческим подлинникам очень повредили позднеримские копии. Через них-то по преимуществу мы и воспринимаем античность. Реализм в дурном понимании (интерес к запечатлению внешности) впервые возник у римлян. В качестве маски они взяли живую кожу и приспособили священный сюжет к своей голой истории. В ней исчезла двойная вазопись Илиады, где герои не столько дерутся, сколько оглядываются, и вот эти двойные жесты, исполненные динамики и оглядки на волю богов,— изумительны. А в Риме ничего родного, сколько помнится, кроме Капитолийской волчицы, да и та скорее проходит по этрусскому ордеру.

Восторгаясь Еленой Прекрасной, как-то запомнили, что она дочь Зевса, и поэтому сыр-бор загорелся: кому

владеть? Ее перемещают, как куклу, из акрополя в акрополь, а ей все равно как будто, где и при ком состоять. Елена подобна деревянному «Палладиону», статуе Афины Паллады, упавшей с неба, чтобы сделаться защитницей Трои. Город пал, когда Одиссей с Диомедом похитили эту защиту, подсунув вместо нее начиненного борцами коня. Они поступили с ней так же, как Парис с женой Менелая, обеспечивающей владельцу покровительство Афродиты. Не так борьба за женщину, как за охранную статую, с которой начинается циркуляция богов и культур.

...Напрасно ты критикуешь сына за его рисунки. У человечков уже появились руки, растущие из живота, у талии. Это правильно: мы машем руками, начиная с локтя главным образом, и если смотреть на них сверху (как мы и смотрим на них), то они болтаются где-то у пояса. Кто же знал, что руки начинаются от подбородка? Они же — сбоку! Дети вернее нас берут и воспроизводят натуру — не перед собой, но с себя.

11 мая 1969.

В науке существует мнение, что каменные бабы (тюркского происхождения — в отличие от половецких, причерноморских богинь) изображают не дорогого покойника, погребенного где-то поблизости, но убитого им врага. Недоказанная эта теория основывается на том, что у некоторых народов (якуты, тунгусы и проч.) души умерших опасны и враждебны живым, и чтобы мертвеца обезвредить, его увековечивали. Тюрки стремились, естественно, как можно больше врагов вывести из игры и обратить в камни. Если эта гипотеза в какой-то части верна, в ее свете по-новому прочитывается былина о том, как перевелись богатыри на Руси. Помнится, всех поборов, под действием мистических сил, все богатыри внезапно окаменели, то есть, переложив по-научному, были убиты кочевниками и замурованы-изваяны в камне. Тюркская скульптура попутала и запечатала души последних богатырей, прекратив процесс возможного их обновления. Не знаю, сопоставлял ли кто-нибудь нашу былинку с каменными изваяниями, рассеянными по Алтаю, Киргизии, Монголии. Но было бы неплохо, если бы они оказались заехавшими так далеко русскими богатырями.

Еще в XIX веке у нас ходили поверия, согласно которым в рисунке поселяется душа нарисованного, и,

значит, искусство портрета волшебное, предосудительно. Но интереснее другое. Архаическая скульптура совсем не портрет, но сосуд, в котором обитает душа запечатленного существа, будь то покойный родственник, враг или демон. Это-то и позволяет идолу быть таким неотесанным, массивным, безликим, приближаясь более к камню, нежели к человеку. Он — вместилище, храмина, темница души, а не тело. Его можно сравнивать с амфорой, в которой погребается прах. Присутствие именно этого, а не другого лица почти не отражается на поверхности камня, глядя на который, следует помнить не о том, кто здесь нарисован, но о том, кто в нем заключен, и накидывать мысленно образ тайного обитателя на грубую его оболочку, отчего она в наших очах вострепещет и заиграет. Как на фасаде здания не написано имя хозяина, а знают лишь посвященные, кому принадлежит, так в лице истукана не ищите портретного сходства. Оно — стеноподобно. Удобно ли жить в доме, представляющем точную копию вашего индивидуального облика со всеми случайностями позы и настроения? Нет, мы выбрали бы себе более конструктивную форму. Так и здесь — с Аполлоном Бельведерским. Он-то — как живой. Да в нем никто не живет. Ему — в позе танцора — поклоняться не тянет. Скифской бабе — тянет: в ней кто-то сидит. В архаическом искусстве главенствовала не идея изображения, но идея поселения. Впоследствии кукла — как дом и гроб — сменилась более зримым и возвышенным пониманием в иконе: лица — окна.

Прошлое нам говорит своими курганами: — Ты думаешь, я было менее реальным, чем ты?

Не странно ли, что от всего погребального обряда — от египетских пирамид, отпеваний, жертвоприношений — нам остались одни тапочки? Те тапочки, без веры в Бога, продаются при похоронных бюро — из черной бумаги: чтобы покойнику было легче на тот свет идти...

Старики говорили: — Спортишь сапоги! — А я не верил...

Человек любит свои сапоги: сапоги — это реальность. Но в сапогах главное — не головки, а голенища. Они обхватывают и держат ногу в тисках. В сапогах человек собран, подтянут. Поэтому их любят военные. Не грязь, не пыль тому причиной, но ценное самоощущение, которое дают сапоги. То же — тугой

ремень, португезя стимулируют активность к удару, готовность к приказу. Так же некогда дамы затягивались в корсет. Они выезжали на бал, как на бой. Оседлание тела. В сапогах человек увереннее в себе. Он не одинок — в сапогах. Они держат его в руках так же крепко, как рука сжимает эфес сабли.

...Летний перегон, расстилающийся перед глазами наподобие пустыни, только тогда станет менее тоскливым, когда мы вступим в него, пойдем по нему, и ожидаемая тоска начнется и обоймет, а не будет вечно маячить где-то на горизонте. Всякое дело важно начать, и лето тоже, а оно с этой погодой как бы отодвигается и посмеивается, шепча: я еще далеко, а когда вы до меня доживете, то еще увидите, какое я буду большое!

...Писать фразами, пространными как рыдания, и покрыть долготу дней протяженностью текста.

Мандельштам прекрасен. Удивительны в нем при нелюбви к философствованию чувство осмысленности бытия и — обжитости мироздания при собственной бездомной беспомощности. Он отовсюду извлекает лад и порядок — без гроша за душой. Его голод к естественно-научным занятиям посреди бродяжничества, как видно из записных книжек, питался тоской по структурам, по иерархическим комбинациям, предлагаемым на выбор наукой, к идеям которой он, в сущности, безразличен, пассивен. Это более интерес к стилистике жизни, чем к теориям и практическим выводам, это — лишенное профессорского пиетета, подвижническое культурничество, воодушевленное не высшим образованием, не желанием просвещать и командовать, но голосом крови, которая тоже ведь не из пустой воды, но имеет твердый состав. Как Есенин назвался последним поэтом деревни, так Мандельштам явил собою последнего интеллигента. Но ему был уже внятен призыв: «и среди бедствий будьте как пришельцы», и, сбросив доспехи сословности, благополучия, брюсовщины, авторитетную тяжесть столетий и академий, он остался голым человеком не на голой, однако ж, земле, но помня, откуда пришел — на раздольях истории.

Как дети ставят ультиматум матери:

— Привезу жену с крашенными пальцами.

— Привози кого хочешь, только сам приезжай.
А что еще она может ответить?

Знакомый зек рассказал. В день, когда у него родился сын, он обошел киоски и купил все газеты за то число. Чтобы потом, когда сыну исполнится восемнадцать,— преподнести: что было в твой день рождения! План не удался. Жена вышла замуж, и сын не знает отца, и пакет со старыми газетами, наверное, выкинули. Жена была без фантазии. А хорошо было задумано!..

Рассказали о лагернике, который многие годы уже не пользуется ларьком. Не потому, что экономит деньги, а просто организм, говорит, уже так приспособился, и не нужно сбивать его с рельс. Глядишь, ларек отменят, и, уже привыкнув, не выживешь. Психо-физиология низких температур. Экзистанс на дальних дистанциях.

Кто как приспособится. Один приспособился— все десять лет просидеть в буре, чтобы не работать, на пониженном питании: так уже легче— привык. Уезжая, он одолжил у кого-то сорок копеек. Паспорт, говорит, я сразу выброшу. И денег мне не надо. Мне бы, говорит, только до железной дороги добраться...

Когда его били, он думал только о том, как бы возможно скорее потерять сознание. Но тело помимо воли само выворачивалось, стараясь принять удары так, чтобы подальше оттянуть смертельный исход.

Один все десять лет, проведенные в лагере, притворялся немым. Освобождаясь, сказал начальникам:

— Ловко я вас одурачил!

— Хороший парень: за пять лет, кроме «майна» и «вира», я ничего от него не слышал.

— И врач стоит в белом халате.

Я говорю: — Слепну.

Он говорит: — Манья.

(В дурдоме)

— Ну, мы как сидели, смеялись, он ушел...

(Самоубийца)

Жизнь значительнее, чем мы думаем, да, значительнее, чем мы думаем.

Имеется сорт людей, живущих наполовину и меньше отпущенных им природой возможностей. У которых позади (впереди) иная, запасная возможность прожить в другом месте и по другому поводу, и вот они существуют словно вопсили и как бы необязательно. Поэтому они мало заметны и молчаливы и даже телесно кажутся не совсем полноценными, не выявленными до конца. Словно спиной растворяются, теряются в темноте, откуда пришли, с тем чтобы бесследно пройти между нами и исчезнуть неузнанными. Лишь узкая полоска видна от человека на нашей поверхности.

Другие осуществились вполне, нашли себя и, действуя в нашей среде, реальны сверх меры, вжились и выжились здесь, энергичные, говорливые, но эта законченность облика внушает легкую жалость: у них ничего нет, кроме наличных данных, которые пройдут без остатка, когда истечет срок.

...Человек, до того истощенный, изъятый во всех отношениях, что от него остались одни, чудовищно, казалось, разросшиеся половые части.

(В бане)

...Похоже, что «Гамлет» — это видоизмененный «Эдип», и как это странно, что там и здесь одна и та же идея — противопоставленного убийства отца и кровосмесительной женитьбы на матери. Эдипов мотив, действующий в античности в образе неизбывной судьбы, отчужден и вынесен у Шекспира во внешнюю ситуацию, с которой спорит по-видимому независимый от нее человек, имеющий право выбора, но оно-то, право, и делает его виноватым и непонятным, так что мы столетия мучаемся, герой он или слабак, и всё лишь потому, что судьбой ему предоставлена свобода реагировать по-своему на ситуацию, по существу исключая выбор.

Что такое характер в художественной прозе, имеющей определенную склонность в XX веке сменить роман

характеров на роман состояний? Не условная ли это фигура, такая же, допустим, как в классицизме олицетворенный порок, добродетель, аллегория и т. д.? Уже у Толстого характер перестает выступать в четко вычерченных границах характерности, позволявших лицу ходить в нарицательных именах, служа экспонатом какого-либо сословия, умонастроения, вроде Печорина или Базарова. Экая вы Анна Каренина, экий вы Левин — сказать нельзя, в отличие от Хлестакова, Обломова, замешанных много плотнее. Физиономия характера начала расплываться, и он из типового явления превратился в только и просто мимически-живое лицо.

Еще дальше идет Достоевский. Разлившаяся по его персонажам стихия одержимости сообщает их идеям, поступкам форму заболевания, сошедшего на человечество смерча, вихря, обуявшего духовного пламени, сжигающего сухожилия и хитросплетения психики в мировом маниакальном пожаре. «Думал он горячо и порывисто», — сказано о мыслях Раскольникова. — «А тела своего он почти и не чувствовал на себе...» Тело — легкая оболочка, она горит изнутри или лопается, как скорлупа, под давлением духа, который селится в человеке и по временам из него высовывается, калеча снятую во владение плоть.

Следом за телом — со скандалом трескается на человеке характер, столь же — оказалось! — проходящий в своей новооткрытой типичности, как муляжи карнавальных масок, устаревшие для Тургенева, по вот и Тургенев устарел в собирании точных черточек, и натуральный роман характеров проваливается в роман состояний.

Эпизодическое лицо, некто Калганов (сцена в Мокром), так же неподвижно в своих чертах, немотивированно меняющихся, как и главные герои романа: «Иногда в выражении лица его мелькало что-то неподвижное и упрямое: он глядел на вас, слушал, а сам как будто упорно мечтал о чем-то своем. То становился вял и ленив, то вдруг начинал волноваться, иногда, по-видимому, от самой пустой причины».

Больше о Калганове ничего не известно, но это — эмбрион, готовый в своей задумчивости развиться до полноценного медиума — какими, протянутые в пространство, являются едва ли не все персонажи Достоевского, неподвижные (кусок провода), вялые до срока и заранее волнующиеся в предощущении удара. Удар! повело-поехало! низошло! закружились, подхваченные — не жизнью — бурей радения о духе...

Характер в литературе, по-видимому,— это попытка вывести движения души и судьбы из имманентных свойств человека, собранных в более-менее четкое, неизменное и замкнутое по образу тела психологическое клише. Конечно, он реален, естественен — так же, как олицетворенный порок, ходячая добродетель (что не исключает условности всех этих комбинаций), и поэтому его признак, присутствие встречаются уже у Змея Горыныча. Однако акцент на характере, приведший к его осознанию, развитию и усложнению, стали делать тогда, когда человеку подоспело время выступить в полномочной роли Гамлета или Дон Кихота, превратившись из должностной и подопечной фигуры в самостоятельное лицо, не имеющее руководящих инстанций помимо своего свободного, по всем рассуждениям, «я». В этом смысле характер есть не что иное, как гуманистическая мотивировка судьбы и души, и, как всякая мотивировка, существует лишь в строгой системе исторических координат — с личностью в виде принципа. Отныне персонаж начал действовать, повинуюсь собственной воле: «у меня такой характер — ты со мною не шути», и появился роман в объяснение его независимой жизни, которая хотя и подвержена воздействию сторонних стихий, среды, наследственности, но все они перемалываются в нем — в этой первичной для данной системы и главенствующей единице-инстанции мыслимого миропорядка.

В подобном качестве — мотивировки человека, исходящей из самого человека, — характер не был известен раньше. Герои античности — не характеры в полном смысле, а более ситуации, в которые попадал человек, «ситуации героя», родившегося, допустим, от богини и смертного или призванного разыграть уготованное ему назначение. Какой характер у царя Эдипа — нам, в сущности, не важно (так себе, добрый человек, невольно впавший в злодейство) — важно, куда он впал, что ему подложила судьба, которая и являлась тогда решающим аргументом в существовании личности, переживавшей не свою психологию, но свою участь и принадлежность.

Наше ощущение живости, реализма от серии литературных характеров XIX века по интенсивности, вероятно, ничуть не сильнее, чем то ощущение живости и реализма, какое испытывали в старину от чтения патериков и хронографов. Мы говорим «как живой», имея в виду способность действующего лица жить в полном соответствии со своим характером, поскольку это для нас безусловная реальность, органически присущая жизни, не имеющей

других доказательств, тогда как в иной раскладке или системе координат для наивысшей живости тому же лицу пришлось бы прибегать к предначертанию рока или к наущению беса, а не сваливать все на фикцию своей психики. Доводы жизненной правды, применяемые к литературным созданиям («так в жизни бывает»), нуждаются в уточнении: в каком онтологическом смысле и стилистическом выражении употребляется понятие «жизнь»?

...А может быть, раздоры богов в принципе то же самое, что по-нынешнему называется физикой души? Человек уподобляется посадочной площадке, на которую то и дело приземляются вертолеты. Сам по себе он ничего не значит — он сплошное чистое место, летное поле... (Боже! какие фурии носятся над нашими головами!)

Это был уже не человекак, но обвал или гора щебня, не арестант, но лагерь, вздыбленный, первозданный, как хаос, лагерь, в котором чужие жизни занимали, пожалуй, уже больше места, чем собственный его, от первого лица, рассказ и характер, как бывает в сплаве леса запань или затор, от которого бревна встают, как волосы на голове,— вот так был собран в охапку и брошен падалью я — кому-нибудь не в укор, однако на погляденье...

...Вторая жизнь накладывается на ленту моей повседневности, образы которой в процессе всех этих отправок работы, отбоя, подъема кажутся нереальными. Возникает обратное солипсическим принципам чувство, когда все вокруг меня более убедительно, нежели я сам. Мне легче допустить, что меня нет, а жизнь идет полным ходом.

— И вот он помаленьку начал легко мешаться.

— Утром проснулся и слышу: космос — кричит!

Бывший урка мечтает написать стихотворение, прочтя которое, люди хлопались бы в обморок и вставали прозревшими. Это максимальное стихотворение, способное (даже!) пересоздать природу человека, и есть философский камень,

который всегда искала и ищет мировая культура, не подозревая о том.

— У человека столько направлений — сколько у солнца лучей. Кто же им регулирует?

— Когда у меня такое психическое настроение...

— У меня такая натура, с молоком матери всосанная!

— Услышав это, я весь внутренно почернел.

— Я смотрю на это сквозь свое зрение.

— В голове всякие игреки мелькают.

— Тут он начал думать, и волос у него полез.

— Нам не хватает того, чтобы додуматься до настоящей точки!

— Самое главное — правильно пóнять!

— До чего умен — даже страшно!
(Недопустимость, безнравственность слишком большого ума.)

Сумасшедший — не слишком ли хорошо закрепившийся на своем уме человек? Сумасшедший живет спокойно в ожидании, когда призовут его в России на царство. Ради своей идеи он ничего не предпринимает, уверенный в ее исполнении. Суеются, волнуются окружающие начальники, поставленные в тупик бездействием помазанника. В конце концов, он более уравновешен, нормален, чем все эти сбитые с толку, сошедшие с ума прокуроры, требующие от него отречения. Словно они боятся, что он окажется правым в своей непоколебимой уверенности, и кому-то придется не его, но их урезонивать, приводя в согласие с фактом его высокого и законного существования.

— Дегенератор.

— Шизофроник.

— Он был грамотный, но слегка помешался.

(И так играл на гармонике, что оба глаза сходились к самому переносью.)

...О, этот поток существ!

Нет-нет, Лета, река Лета совершенно необходима!

Никогда меня раньше не занимал Шевченко. Я и не читал его по-настоящему. И, перелистывая разрозненный томик в русских переводах, не очень, признаться, рассчитывал найти что-то новое. Слишком укоренились в нашей памяти штампы, может быть и пленительные для нежного украинского уха, но вызывающие у нас снисходительную улыбку. Все это и вправду имеется в избытке — знакомые эталоны в живописании милого края так и просятся подписью к назойливому лубку. Но кроме того — неизвестное, неслыханное нигде...

Шевченко не известен, оттого что стоял в стороне от русской стихотворной культуры XIX века, воспитанной в основном на гладком и легком стихе. В некотором отношении он ближе XX веку, протягиваясь непосредственно к Хлебникову, который тоже наполовину был украинцем и воспринял южные степи как эпическое пространство и родственную речевую стихию непочатого еще чернозема, архаической праматери-Скифии. Народная старина у Шевченки не только декоративный набор, но подлинник, унаследованный от предков вместе с собственным корнем. Чувство национальной и социальной (мужик) исключительности, поиски «своих» в истории и быту позволили ему окунуться в фольклорные источники глубже, чем это позволялось приличиями и чем удалось это сделать в ту пору русским поэтам, хотя те немало тогда предавались народоискательству. Поэтому же Шевченко в самом поддонном прошел мимо сознания XIX столетия. Воспринимались его биография крепостного самородка и мученика и кое-какие красивые призывы. Но как стихотворец он казался неотесанным юродом, и воротили нос, хотя в этом было стыдно признаться из-за всеобщей любви к мужику. (Белинский вот не постыдился высказать свою неприязнь, точнее свою глухоту к его грубой музе.)

У нас ему в аналогю ходили Кольцов с Никитиным, но они конфузились и оглядывались на господ, а Шевченко пер напралом в первобытном козацком запале и, укладываясь в «идею», торчал стихом поперек. Ему, чтобы не прислушиваться к этим диким струнам, отводили локальный загончик второстепенного значения, на что и сам он как будто охотно соглашался, мысля себя певцом обойденной счастьем окраины. В этой привязанности к однажды облюбованному углу, к своему неизменному месту Шевченко довольно навязчив и однообразен, как однообразен его незатейливый, перенятый у думы распевчик, за который он держится обеими руками, словно опасаясь свернуть с усвоенной дорожки и навсегда потеряться в море дворянских ямбов.

Но без конца повторяя одни и те же, в общем, уроки, он глубок, как колодец, в своей узкой и темной вере. Здесь господствует стихия исступления и беснования. Любая тема лишь повод к шабашу. Соблазненная или разлученная женщина мешается в уме и принимается выкликать страницами шевченковский текст. Уже первое, известное нам, произведение Шевченки несло наименование — «Порченная» (1837 г.), затем чтобы порченные жены и девы, одержимые, припадочные образовали у него хоровод, скачущий из поэмы в поэму. Переходя местами на заушь, впадая в глоссолалию, Шевченко, нетрудно заметить, влечется изъясняться на нутряном наречии захлестывающего мозг подсознания. Безумие ему служит путем к собственным темным истокам, где свобода граничит с ознобом древнего колдовства и шаманства и в разгуле смыкается с жаждой всеистребления.

— О дайте вздохнуть,

Разбейте мне череп и грудь разорвите!

Там черви, там змеи,— на волю пустите!

О дайте мне тихо, навеки заснуть!

Не поймешь: то ли дайте мне волю, то ли выпустите из меня, изгоните беса!— настолько эти значения сливаются в порыве к свободе, и очередное беснование жертвы становится прологом к кровавым пирам гайдамаков, вырвавшихся из-под контроля власти и разума. Связав социальный бунт с инстинктивным, подсознательным взрывом, Шевченко ближе других подошел к «Двенадцати» Блока и стихийным поэмам Хлебникова «Настоящее», «Горячее поле»...

Между прочим, знатоки удивляются, откуда у Шевченки, почти не жившего на Украине и не занимавшегося

этнографией, такое проникновение в миф, в древнейшие пласты народных поверий. Можно полагать, его иррациональная природа изначально была отзывчива на все эти веяния. Также и народ (фольклор) Украины, не исключается, глубже нас сопряжен с первобытными токами и образами подсознания, отчего касания сказки, возможно, переживаются здесь более внятно и непосредственно, как живой, получаемый в психическом опыте факт. Подтверждение тому, помимо Шевченки,— Гоголь...

Я не знаю другого поэта, кому бы так поклонялись — в массе, словно святому, обливаясь слезами, как в церкви, заскорузлые мужики, перед иконой-портретом, в полотенцах, на потайном юбилее, в каптерке, хором, как Отче наш: — Батьку! Тарасе!..

На вопрос о христианстве, Евангелии — с оскорбленным лицом:

— Почему апостолы — не украинцы?!

Какой ветер! Столбы пыли смерчем носятся по земле.

— Дидько свадьбу справляет.

(Дидько — чорт на Западной Украине. Дидько — нельзя сказать старику, обидится.)

Сборы в дорогу. Прощания. Последние встречи. Последние книги. Книги тоже уезжают по разным лагерям, и хочется их дочитать, пролистать, сделать выписки, вырезки. Следовало бы спокойно обойти в одиночестве зону, прощаясь с углами, которые были ко мне так добры. Не сумею. Очень уж людно. В такие часы рекомендуют читать Плутарха. Но неплохо и Византийские хроники. Образы и фон совпадают, мешаются, спорят. Сутолока, беготня, негде сесть. Много слов, прощальных речей. Сегодня проснулся в пять, чтобы поспеть с Византией.

Странная реплика, из которой следует, что зло — во спасение, очищает душу. Но не путем покаяния или наказания, как можно думать, а в самом преступлении — выход:

— Я свое зло согнал, и теперь спокоен, и не жалею. А то бы век на душе лежало.

Я вспомнил Г.— тот же психологический тип. Отсюда опять получается, что душа вроде что-то постороннее человеку. И душа у нас хорошая, когда мы плохие.

Много вырезок накопилось за эти годы. Этнография, археология. Куда уложить эту кипу? Бушлат я брошу. Все равно на три года не хватит. Табор. Вспоминаются тибетейки, которые были в моде в начале 30-х годов. Носили их в столице деловые, бритоголовые люди. В пошив, говорили, идут безхозные ризы с церквей. Сколько в той тибетейке пересеклось эпох и народов!..

27 июня 1969.

В «Истории» Марцеллина о гуннах сказано:

«Все они отличаются плотными и крепкими членами, толстыми затылками и вообще столь чудовищным и страшным видом, что можно принять их за двуногих зверей или уподобить сваям, которые грубо вытесываются при постройке мостов».

В архаическом искусстве вообще, при безразличии к индивидуальным чертам, отчетливее видны родовые, этнические, возрастные признаки. Как в иконописи, вдруг обнаружилось, грудные дети представлены вернее и правдивее Рафаэлей, подменявших Младенца трехгодовалым купидоном. Как в русских матрешках точнее Репина воссоздан собственно русский тип лица. И чем больше встречаю в жизни иноплеменников — готических немцев, ассириоподобных армян, — тем виднее истинность древних искусств, понимавших природу как род и корень. В свете свай Марцеллина, на которые походили гунны, становится очевиднее и какое-нибудь Идолище Поганое, списанное с живого татарина. Татары в оценке средневековой Европы (Альберик, XIII в.) выглядят так же, как Идолище в глазах былинного богатыря («Голова у него — что люто лохалище» и т. д.):

«Голова у них большая, шея короткая, весьма широкая грудь, большие руки, маленькие ноги, и сила у них удивительная. У них нет веры, они ничего не боятся, ни во что не верят, ничему не поклоняются».

Глядя на поезд: так вон оно, оказывается, что значил Змей Горыныч! Когда он весь в огнях извивается по холмам.

Искусство одержимо таким чувством реального, какое и не снилось людям практической жизни. Для них — для всех нас в дневном свете — отдаленного прошлого не существует. Мы знаем отвлеченно, что были когда-то готы и гунны, но в сущности в это не верим. Искусство — верит.

...Меня временно поставили ночным сторожем. Лучше работу трудно придумать. Стерегу железо, которое никто не берет. По каменной эстакаде скачут большие лягушки и при виде меня немедленно обращаются в камень. Лопают больших черных жуков и далеко упрыгивают друг от друга, как не заплутаются?..

Мне вспомнилась мышь на одиннадцатом лагпункте. Она сидела на подоконнике, когда я вошел ночью в пустую курилку и включил свет, и заметалась, не помня, как слезть оттуда, и, хоть я не двигался, побежала в ужасе прочь по горячей батарее, обжигая лапы, пока не сверзилась кое-как в свою нору.

— А всего хуже, что ничего не скушаешь. Если б мясокомбинат или кондитерская. А то — одни железяки!

— Ремонтируй эти машины — они не пожалуются.

— Бревнотаска.

— В шахте у человека развивается характер мечтательный.

— Мужик лаял на трактор.

— А контейнеры волнистые — как на сопках Маньчжурии.

— Сорвал нарезку на сердце.

Мужики говорят о моторах — сколько тонн, лошадиных сил. С той же серьезностью они обсуждали когда-то, во сколько пудов была палица богатырская или меч-кладенец.

— Радикационные установки такие. Посылают волну. А оттуда возвращается уже сфотографированная. И все объекты у них уже налицо.

— Работа на открытом объекте.

— Работал баландёром.

— Работала по легкой атлѣтике.

— Работала в вакантной для меня должности поваром.

— Пока меня не благоустроят на работу.

— Нет, ты пойми! Работает без каких-либо физических усилий!

(Чудодействие машины)

— А это — металл! притом холодный металл! и он — вращается!..

(С вытаращенными глазами — по поводу машинного холода)

Саркастически — о машине:

— Она визжит, как поросенок...

— Не каждая баба такая капризная...

— В двадцатом веке все механизировано. Только спариваются вручную.

— Нервотрепалка.

(Нервотрепка)

— Дуборезка.

(Морг)

— Электроуничтожалка.

(Фантазия)

— Ты читаешь журналы, читаешь газеты, читаешь все, что для человека предоставлено. Скажи, что такое наука? Наука — це дизеля, це компрессора, це трактора. Це книга и все такое.

— Почему я должен слушать ученого? Он такой же — как я!

— Он — ученый человек. Но — хороший.
(Трудно ученому быть одновременно хорошим!)

О Пугачеве один мужик сказал с восхищением:
— Темный человек парализовал грамотных!

...Для рассеяния читал Стивенсона. Любопытные случаются вещи: то, о чем много думаешь, вдруг приходит само. Так уже бывало — с Пушкиным. Ничего нет, а нужные справки, цитаты сами являются, откуда не ждешь. С потолка. Так и сейчас. Я где-то слышал, что у Стивенсона есть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», и, услышав одно название, стал к нему ревновать и рваться душой: само название, казалось, что-то обещает, какая-то в нем слышалась тайна. Спустя месяцы, узнаю — у какого-то мальчика здесь имеется пятитомник. А я и не знал, что издали. Спрашиваю про Джекила — такого, отвечают, нет. Ну я и мечтать перестал. И вот открываю очередной том и глазам не верю: «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда!» (умеют эти англичане звуки подбирать — мурашки по коже). История и впрямь замечательная. Правда, я почему-то на большее рассчитывал. Но и на том спасибо. И в ней нашлась страница, давно уже меня поджидавшая, с тем чтобы узаконить одну догадку.

«...С каждым днем обе стороны моей духовной сущности — нравственная и интеллектуальная — все больше приближали меня к открытию истины, частичное овладение которой обрекло меня на столь ужасную гибель; я понял, что человек на самом деле не един, но двоичен. Я говорю «двоичен» потому, что мне не дано было узнать больше. Но другие пойдут моим путем, превзойдут меня в тех же изысканиях, и я беру на себя смелость предсказать, что в конце концов человек окажется всего лишь общиной, состоящей из многообразных, несхожих и независимых друг от друга сочленов».

Как все, однако, ложится в цвет.

8 августа 1969.

Произведение искусства ничему не учит — оно учит всему. Произведение не в пользу ни того, ни другого, ни третьего. Ни даже в пользу себя. Оно обратимо в своей полезности, в своем воздействии на сердца. Чему служит «Демон» Лер-

монтова — атеизму или мистицизму? Сперва тому, потом этому.

Распогодило, но вечерами прохладно и закатами похоже на Север. Откуда берется такой напор — на стыке, за включенностью облаков, образуется запруда, позволяющая судить о реальности, — рассуждать-то не составляет труда, но как представить, вообразить, если свыше слов, ощущений, а только на их языке изъясняется чувство реального? Потолок мог бы треснуть под давлением этого света и солнце померкнуть от тех лучей.

...Я пью здесь удивительный квас — холодную воду, настоянную на листиках вишни. Она оставляет во рту почти тот же привкус, что вишневые ягоды. Приятно, что всюду — в листьях, в траве — одни и те же соки. И все это в чистой кадлушке, которая грезит деревней.

Иногда балуюсь грибами — собирать их по зоне находят охотники. — На воле такими бы давно отравились! — сказал недавно один грибник. Опытный. Прежде чем жарить, отваривает поганки во многих водах. И получается съедобно.

— А у чеснока какая тенденция? — зимой улезает в землю. Весной выйдешь — море на огороде!

Угостили медом. Какой у него витиеватый вкус и сколько вложено в эту зернистость, в сверкающую плотную вязкость всякого ума и таланта из полосатых пчелиных пузичек, из цветов и воздуха! Мед для нашего рта все равно что благоуханное лето, лес в красках и пение птишек. Все напичкано сюда и все сгустилось в один эликсир жизни.

В древнеегипетской повести о двух братьях есть такая хорошая фраза — о башне, которую построил герой собственными руками:

«Она была полна всяких хороших вещей, которые он сделал, чтобы дом был наполнен».

Глядя на леса, понимаешь, что в мире раскинуто громадное царство добра. Оно не там и не потом, а вот тут. Как град Китеж. Только его не видно, вернее — видны его вершинки, утопленные в глубине купола. Когда жена сказала

мужу о беглом: — Если ты его выдашь, я тебя брошу! — мы поняли, что добро велико и правит нами невидимо, одетое в мантию зла ради сохранения тайны.

— Я бы таких до конца жизни посылал в санаторий. Чтобы они только кушали и увлекались.

В теории эволюции приятно то, что при виде лягушки думаешь: вот и я из лягушки произошел, и эта мне — как сестра.

Влюбляюсь в русские сказки. Но воспринимаются они не так сюжетно, как живописно и музыкально. Сверкающие краски, летающие фразы. Возьмем чистый лист бумаги и нарисуем буквами: избушка на курьих ножках. Распластанная сказка. Для ясности представим пейзаж. Попробуем описать, что такое снег. Ну, снег, понимаете, снег — что вы снега никогда не видали? Настойчивость. Говорят вам русским языком: собака разговаривала. Какой-нибудь святой старичок. Кентавр в овсах и в осиннике, полкан, полкаша. Антика. Абракадабра. Как тянется! Без конца. Какой восторг! А Иванушка ногу не вытянет из завязки у трех дорог...

27 августа 1969.

Метафора — это память о том золотом веке, когда все было всем. Осколок метаморфозы.

А знаешь, что бывает, когда дождь идет, а солнце светит сквозь дождь? «Тогда русалки Богу молятся». Это мне сказали латышскую поговорку. Будем надеяться, что и у русских найдется что-то похожее.

— С кошкой у него был общий язык.

(У меня тоже был общий язык с кошкой. Она служила нам посредницей и переводчицей. Общение культур, наций и поколений осуществлялось у нас через кошку.)

...Наконец-то я понял, почему Лорелея чешет волосы: потому что волосы — волны. Женщина — пряжа — вода. Это единство помимо прочего увязано волосами. О том гласит армянский заговор — чтобы волосы у девицы росли. Произносит его дородная женщина, ударяя по волосам — со словами: «Да будут волосы в ширину с меня, в длину — течения воды».

Вот это течение воды чешет Лорелея-русалка.

Ах, если бы мне удалось связать всем кошкам хвосты! Чтобы получилось некое округление жизни. Чтобы фантастика взгляда соединилась с магией сказки и с метафизикой Средних Веков. Тогда бы и был — реализм.

Кстати, у колдуна должно быть все заколдованным. И кашу с маслом он ест из заколдованной плошки — заколдованную кашу с заколдованным маслом. А когда два колдуна дерутся, то, поскольку магические силы у них примерно одинаковы, они постепенно съезжают с верхнего этажа и бьются уже чем попало, кастрюлями, кулаками — как люди.

А богатырь в бою должен поминутно переговариваться со своими конечностями — чем куда бить. И со своими глазами-ушами тоже — на тему меткости. И с сердцем, и с печенью. Богатырь весь в деле, всем составом. Он должен по временам расчленяться и вновь собираться — в кучу.

Различие сказки и былины основывается на переводе магической силы в физическую. Это как разные цирковые номера. Сказка — фокусы. Былина — тяжеловес, атлет, кажущий необыкновенные бицепсы. В широком смысле, бицепсы — уже упадок, огрубление первоначального фокуса. Голый кулак.

Вообще, почти все, что осталось от сказки, теперь находится в цирке. Колдун — фокусник — вор: эволюция образа. С цирка я начал. Цирком и надо кончать.

Черное море. Лучшего названия морю не придумаешь. Не удвоение признака — синее море, а изъявление сущности — черное: море, и мрак, и смерть. Сначала любые моря были Черными. Потом уже появились Красное, Белое...

Странно: живешь-живешь и вдруг увидишь. То увидишь, что знал и без этого, что всем известно, но почему-то не обращал внимания, а сейчас обратил и удивился — увидел.

Вчера ведут на погрузку, и вдруг вижу: лес — темный. В самом деле темный, темнее всего, что ни есть вокруг, точно он исчерпал собою всю темноту, вобрав ее в мягкую, как промокашка, зелень. Это знали давно, называя лес не зеленым, а именно и только — темным лесом.

То же, если подумать, — сырая земля. Она всегда сырая, в самый сухой сезон, бесконечно сырая. И поэтому в ней берут начало ключи и реки, — не оскудевая.

Вот он — постоянный эпитет. Боже, как все правильно и как глубоко!

Но каков, стало быть, борзый конь, если впоследствии самым быстрым собакам дали кличку — борзая?!

Из Словопрения юноши Пипина, сына Карла Великого, с его наставником и писателем Алкуином (или Альбином-схоластиком) можно вывести ряд силлогизмов, касающихся природы поэзии. Диалог этот строится на разгадывании загадок. Например:

«П и п и н. Что такое вера? — А л к у и н. Уверенность в том, чего не понимаешь и что считаешь чудесным.

П и п и н. Что такое чудесное? — А л к у и н. Я видел, например, человека на ногах, прогуливающегося мертвеца, который никогда не существовал. — П и п и н. Как это возможно, объясни мне! — А л к у и н. Это отражение в воде. — П и п и н. Почему же я сам не понял того, что столько раз видел? — А л к у и н. Так как ты добронравен и одарен природным умом, то я тебе предложу несколько примеров чудесного: постарайся их сам разгадать. — П и п и н. Хорошо; но если я скажу не так, как следует, поправь меня. — А л к у и н. Изволь!

Один незнакомец говорил со мною без языка и голоса; его никогда не было и не будет; я его никогда не слышал и не знал. — П и п и н. Быть может, учитель, это был тяжелый сон? — А л к у и н. Именно так, сын мой.

Послушай еще: я видел, как мертвое родило живое, и дыхание живого истребило мертвое. — П и п и н. От трения дерева рождается огонь, пожирающий дерево. — А л к у и н. Так.

Я слышал мертвых, много болтающих. — П и п и н. Это бывает, когда они высоко подвешены (ответ: колокола). — А л к у и н. Так.

Я видел мертвого, который сидит на живом, и от смеха мертвого умер живой. — П и п и н. Это знают наши повара (котел с похлебкой, перекипевший через край и заливший огонь). — А л к у и н. Да; но положи палец на уста, чтобы дети не услышали, что это такое...

Кто есть и не есть, имеет имя и отвечает на голос? — П и п и н. Спроси лесные заросли (эхо)...

А л к у и н. У кого можно отнять голову, и он только поднимется выше? — П и п и н. Иди к постели, там найдешь его (по всей видимости — подушка).

А л к у и н. Было трое: первый ни разу не рождался и единожды умер, второй единожды родился и ни разу не умер, третий единожды родился и дважды умер. — П и п и н.

Первый созвучен земле, второй — Богу моему, третий — ни-
щему (Адам, Илия и Лазарь).

Алкуин. Видел я, как женщина летела с железным
носом, деревянным телом и пернатым хвостом, неся за
собой смерть.— Пипин. Это спутница воина (стрела)»
и т. д.

Происхождение загадок, мы видим, прямо связано с чу-
десами. Загадка преподносится как производное чуда и бо-
лее того — как проявление чудесного в жизни. Поэтому
богословские рассуждения о вере (восходящие к ап. Павлу)
непосредственно перерастают в загадывание загадок. Но,
строго говоря, с другой стороны, сами загадки, почерпну-
тые в большем числе из повседневного опыта, не могут
служить примером чуда в полном и точном значении. Иначе
Алкуину пришлось бы сделать дикий, ни с чем несообразный
вывод, что вера в Бога и Его чудеса приравнивается к уве-
ренности в существовании эха, огня, котелка с кипящей
похлебкой, колоколов и вообще всего, что существует в обы-
денной жизни и может быть занимательно преподано в виде
загадок.

И все же скрытая связь между чудом и загадкой, логи-
чески не подтвержденная, но наивно декларированная, при-
сутствует и дает знать о себе в атмосфере Словопрения, что
позволяет и нам, объясняя загадку, выводить ее генетически
из чуда таким же примерно путем, как вышел из чуда фокус,
цирковой трюк, восполнивший недостачу в магии обманом
и ловкостью пальцев. Загадка восполняет чудесное ловко-
стью языка, игрою мысли. Слово, вызывавшее некогда и за-
клинавшее огонь, избрало здесь обходный маневр иносказа-
тельного описания пламени, когда, вместо буквального воз-
горания хвороста под напором вещего слова, в результате
ментальных усилий ощущается щелчок в голове и вспыхива-
ет пламя отгадки. Но дальнейшее сходство с чудом поддержано
не только словесностью, и там и тут изумляющей нежданно
пережитым открытием; чудесен в некотором роде и сам
предмет разговора — мир, представленный здесь серией ин-
тересных загадок.

Обращает внимание факт, что немалая часть загадок
Алкуина строится на перевороте понятий живого и мертвого,
убиваемого и воскресаемого, существующего и несущест-
вующего вместе, на явлениях, пусть и известных всем,
но таинственных по происхождению, не вполне понятных,
чудесных в своем истоке (эхо, отражение в воде, сон,
огонь), намекающих на загадочность мира, равно как
и на его очарованность. Эти ходячие мертвецы, невидимки,

умирающие и воскресающие боги, живущие в горшке. в огне, заполняют сказки и мифы, на которые все еще мысленно ориентируется загадка в такую блаженную пору, как восьмое столетие, когда жил и писал Алкуин. Поэтому подушка, вспухающая к потолку после того, как с нее снимают голову, без стеснения соседствует с Илией, живым вознесенным на небо. Собеседники еще помнят о валькирии и сравнивают с нею стрелу. Мир еще достаточно метаморфичен, чтобы переворачиваться с боку на бок, обращая одно в другое и давая слову толчок к производству иносказаний-загадок. Мы присутствуем как бы на действе рождения искусства, когда фольклорная почва еще горяча и дымится, и вспухает ростками метафор, когда жизнь языка, памятуя о чуде своего происхождения, еще кажет фокусы, которыми, как и загадками, как всевозможным плутовством и обманом, выдумкой и хитроумием, полнится и пенится сказка. Здесь мы понимаем, что все мировое искусство движимо скрытой в нас, неутолимой жаждой чудесного. Здесь выясняется, что поэт, даже в новом, современном значении слова, это неудавшийся колдун-чудотворец, заменивший метаморфозу метафорой, дело — игрою слов.

Глаз не могу оторвать от картины поединка героя ирландских саг Кухулина с Фердиадом. Оба не уступают друг другу в силе и ловкости и бьются уже несколько дней, выбирая всякий раз новые роды оружия, пока дело не доходит до рогатого копыя¹.

«...Тогда произошло с Кухулином чудесное искажение его: весь он напыжился и расширился, как раздутый пузырь; он стал подобен страшному, грозному, многоцветному луку, и рост храброго бойца стал велик, как у фоморов, далеко превосходя рост Фердиада².

Так тесно сошлись бойцы в схватке, что сверху были их головы, внизу ноги, в середине же, за бортами и над шишками щитов, руки. Так тесно сошлись они в схватке, что щиты их лопнули и треснули от бортов к середине. Так тесно сошлись они в схватке, что копыя их согнулись, искривились и выщербились. Так тесно сошлись они в схватке, что демоны козловидные и бледнолицые, духи долин и воздуха испустили крик

¹ Секрет рогатого копыя до наших дней не дошел, хотя это оружие имело, по-видимому, вполне реальный прообраз. В приведенном поединке рогатым копьём владел лишь один Кухулин.

² Вообще-то он был невысокого роста.

с бортов их щитов, с рукоятей их мечей, с наконечников их копий. Так тесно сошлись они в схватке, что вытеснили поток из его русла, из его пространства, и в его русле обрзовалось достаточно свободное место, чтобы лечь там королю с королевой, и не осталось ни одной капли воды, не считая тех, что два бойца-героя, давя и топча, выжали из почвы. Так тесно сошлись они в схватке, что ирландские кони в страхе запрыгали и сорвались с места, обезумев, порвали привязи и путы, цепи и веревки и понеслись на юго-запад, топча женщин и детей, недужных и слабоумных в лагере мужей Ирландии.

Бойцы теперь заиграли лезвиями своих мечей. И было мгновение, когда Фердиад поразил Кухулина, нанеся ему своим мечом с рукоятью из рыбьего зуба удар, ранивший его, пронзивший в грудь его, и кровь Кухулина брызнула на пояс его, и брод густо окрасился кровью из тела героя.

Не стерпел Кухулин этих мощных и гибельных ударов Фердиада, прямых и косых. Он велел Лойгу, сыну Риангабара¹, подать ему рогатое копьё. Вот как было оно устроено: оно погружалось в воду и металось двумя пальцами ноги; единое, оно внедрялось в тело тридцатью остриями, и нельзя было вынуть его иначе, как обрезав тело кругом.

Заслышал Фердиад речь о рогатом копьё, и, чтобы защитить низ тела своего, он опустил щит. Тогда Кухулин метнул ладонью дротик в часть тела Фердиада, выступавшую над бортом щита, повыше ошейного края рогового панциря. Чтобы защитить верх своего тела, Фердиад приподнял щит. Но некстати была эта защита. Ибо Лойг уже приготовил рогатое копьё под водою, и Кухулин, захватив его двумя пальцами ноги, метнул далеким ударом в Фердиада. Пробило копьё крепкие, глубокие штаны из литого железа, раздробило натрое добрый камень величиной с мельничный жернов² и сквозь одежду вонзилось в тело, наполнив своими остриями каждый мускул, каждый сустав тела Фердиада.

— Хватит с меня! — воскликнул Фердиад. — Теперь я поражен тобою насмерть. Но только вот что: мощный удар ты мне нанес пальцами ноги, и не можешь сказать, что я пал от руки твоей».

Поражает теснота изобразительного ряда, переданная теснотой схватки — головною массой, настолько плотной,

¹ Своему вознице.

² Который тот привесил как дополнительную защиту от рогатого копьёя.

что ноги, торчащие снизу, и головы сверху приводят в изумление автора, а демоны-духи, витающие обычно возле героя, вытеснены физически в этой стыковке тел, и все это требует специальной раскройки и оговорки. Теснота здесь такая, что просится на пряжку, на пряник, вызывая в памяти орнаментальную плетенку варягов, уловившую затем в свои сети русские буквы. Но при такой тесноте удивительна разветвленность рисунка, опрокидывающая понятие о былинном схематизме и впускающая в наше сознание бездну подробностей, острых, торчащих во все стороны и в то же время сомкнутых, подобно рогатому копы, которое ударом ноги Кухулин загнал в Фердиада. Это рогатое копые — символ искусства викингов, витиевато-раздирающий образ, действующий сразу на все наши нервы и ощущения. Чего, скажем, стоят такие, внедренные сюда же, в общую свалку, детали, как — недужные и слабоумные, потоптанные конями героев, специально упомянутые, не позабытые среди детей и женщин, или — король с королевой, которые могли бы улечься в русло вытесненного потока, пожелавшего в этой сжатости измеряться не иначе, как шириною королевской постели, набивая ряд до отказа и сообщая ему остроглазие изощренной, до какой-то болезненности, хищно-вычурной жизненности.

Но самое здесь интересное и перспективное в общепозитическом смысле — это, безусловно, чудесное искажение впавшего в ярость героя. Таков уж талант Кухулина: он раздувается, как пузырь, по типу игрушки «уди-уди», и весь преобразается в высший момент битвы, возбуждая ликование демонов, которых он пресвосходит своим изменившимся обликом, являя нам образ прекрасного в его кульминации, граничащей уже с чем-то чудовищным. Подобные образцы красоты доносят до нас драконы, украшавшие ладьи скандинавов. Вот как это происходило в более подробном отчете, позволяющем судить о фантастичности искусства Ирландии:

«Все суставы, сочленения и связки его начинали дрожать... Его ступни и колени выворачивались... Все кости смещались, и мускулы вздувались, становясь величиной с кулак бойца. Сухожилия со лба перетягивались на затылок и вздувались, становясь величиной с голову месячного ребенка... Один глаз его уходил внутрь так глубоко, что цапля не могла бы его достать; другой же выкатывался наружу, на щеку...¹ Рот растягивался до самых ушей. От скрежета его

¹ Поэтому, сказано, женщины Ирландии, повально влюблявшиеся в него, кривели на один глаз — ради сходства с Кухулином.

зубов извергалось пламя. Удары сердца его были подобны лвиному рычанию. В облаках над головой его сверкали молнии, исходившие от его дикой ярости. Волосы на голове спутывались, как ветки терновника. От лба его исходило «бешенство героя», длиною более, чем оселок. Шире, плотнее, тверже и выше мачты большого корабля была вверх струя крови из его головы, рассыпавшаяся затем в четыре стороны, отчего в воздухе образовывался волшебный туман, подобный столбу дыма над королевским домом».

Этот отрывок для меня равен открытию. Во-первых, он открывает, почему боевой поединок становится в центре искусства, требуя отдельного блюда, специального кадра для своего воплощения. Человек предстает в нем в чудесно-искаженном, живописно-раздувшемся образе. В этом смысле битва, требующая тотального выявления всех сил и способностей воина, наиболее пригодна для художественных созданий. Не только своим драматизмом, но резкой, переходящей в гротеск, означенностью прекрасного поединка, а также война, занимает передний план в истории мирового искусства, всякий раз возбуждая любопытство тысячных зрителей (включая бои гладиаторов и рыцарские турниры как форму театрального зрелища). В данном отношении сказка не отстает от «Илиады», а военные парады имеют общий с танцами индейцев сюжет, жаждущий от бойца не только силы и смелости, но и яркого оперенья, изобразительного вихря и грома. В основе битвы лежит взрыв физических и магических сил, дающий искусству желанное изобразительное исполнение.

Далее мы видим, прекрасному не противопоказан гротеск. Это же высказал Пушкин в воинствующем Петре: «Его глаза сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен...» — способность красоты ужасать и почти смыкаться с уродством. Красота всевозможных идолов, варварских масок и т. п. заключается в том, что лицо восходит здесь в чудесно-искаженном, экстатическом состоянии, близком природе художественного вдохновения. Отсюда же мы постигаем, зачем во все времена, но особенно в полосе фольклорного созидания, народы любили чудовищ и со страстью предавались искусству демонстрации змеев, драконов — не в нарушение красоты, но во исполнение высших ее потенций. За исключением греко-римской античности (и то далеко не всегда), вовлеченной в интригу человекоподобных пропорций, все языческие религии влеклись к изображению божества как чудовища, видя в этом знамение магии суперпрекрасного — свойства богов убивать одним своим ослепительным

ликом. Бог выступал, так сказать, в ярости своей красоты, извергающимся вулканом чудесного.

Наконец, много позже искусство христианской Европы строилось, мы здесь убеждаемся, не на пустом месте и не на греко-латинском фундаменте только, но на базе местных, древнеязыческих форм, чутких и восприимчивых к голосу новой эстетики именно соединением крайностей красоты и гротеска. Магические культы и образы оказываются более гибкими в отношении высшей религии, нежели застывшая в классических нормативах античность. В этом плане чудесное искажение Кухулина поистине благодатная почва для выращивания химер Нотр-Дама и шире — всей системы вывернутых конечностей, непропорционально укороченных или удлиненных фигур, перекошенных физиономий в искусстве Средних Веков, перешедшем от ярости битв к воссозданию духовных восторгов и божественных преображений. Лик божества чудесно искажился в язычестве кельтских, германских, славянских и прочих варварских капищ и без особых трений принял мимику таинства, облагороженную, просветленную по сравнению с монстрами прошлого, но высказанную столь же пронзительно рогатым копыем гротеска.

Осенью оранжевый цвет мешается с лиловым, и оба они имеют что-то общее — сверх своей желтой и синей основы, — и это общее мечется и перебегает из одного цвета в другой, как молния, и ударяет внезапно — красный!

9 октября 1969.

У меня густота стиля появляется там, где ничего нет, кроме листа бумаги, и вот сюда, на этот крохотный поплавок, необходимо взгромоздиться и жить, а мысли бьются и прыгают, и тогда, чтобы удержаться, ты скручиваешь ковчег чрезмерной метафорой.

На день рождения мне сделали подарок. Какой-то, почти незнакомый зек подает кулечек, а в нем — трубочка для шариковой ручки (одна). Ах, луковка, сколько раз она спасала, и я бы позволил всем, подавшим ее, взобраться на небо по ней, как по лестнице. В бедности сильней доброты. Как лохмотья — лучше греют. Лохмотья — лохматые. Они уютнее и больше нам к лицу. Их не потому противно носить, что они лохмотья, но только — если чужие. И ощущение «чужих» сильнее дает нам знать, потому что душа, в них прозяба-

нощая, лучше прилипает к лохмотьям и на них остается — душой. Кому-то они были «свои» и об этом помнят. Но собственные наши лохмотья — что из вещей может быть роднее и ближе?..

Пришил тесемки на зимнюю шапку. А то старые — истлели. Смешно и трогательно — эти тесемки, эта беспомощность и тишина человека. На этом все мы держимся. И поэтому — живые...

13 октября 1969.

На дворе уже рано темнеет, и романтическим светом зажигается электричество. Стоило бы задуматься над мистикой электричества. На него уповал, о нем гундосил весь девятнадцатый век. Возвращаясь мысленно в детство, вспоминаешь электрический свет как первое соприкосновение с предосудительной магией. В электричестве есть ослепительность бриллиантина и хлесткость бенгальского пламени. Что-то потустороннее, шарлатанское и шутовское...

Мы слишком привыкли, что из спички вылетает огонь, а детям все это в новинку. И что собаки лают, и петухи — поют... В первоизданном виде некоторые научные открытия также рисуются фантастически. Воображаю моего отца в провинции, с пылкостью неопита показывающего в волшебный фонарь, каким сверхъестественным шаром была когда-то земля и как смешно произошел человек из обезьяны. Это похоже на фокус, на демонстрацию чуда толпе, где функцию Демиурга временно исполняют вулканы. Вулкан должен быть из железа, его долго строили — чтобы хорошо работал. Какая, однако ж, за всем этим божественная игра!

Насколько романтизм в историко-культурном отношении оказался богаче и перспективнее реализма, сообщив толчок развитию даже ряда наук — истории, филологии, этнографии, эстетики и т. д. Даже своим открытием, что и крестьянки чувствовать умеют, реализм обязан влечению к дальнему в ближнем человеке, который прежде, чем сделаться Платоном Каратаевым, хорошо уже себя показал в образе Квазимодо. Интерес Эдгара По к науке также говорит нам об этом влечении к дальней тайне, о попытке

оседлать в романтических полетах к чудесному оказавшийся под руками и подымавший голову разум. Кабинет ученого смахивал еще на обиталище мага (Фауст) и сулил изумление сгоравшему от любопытства, вышедшему за границы действительности познанию, желавшему удивляться скорее, нежели изучать и осваивать. Героями романтиков стали ученые, больше тогда похожие на волшебников и отшельников. Наука еще находилась на уровне эзотерических знаний, а техника, имея дело с воздушным шаром, с электромагнитными волнами, проходившими поблизости от гипноза и спиритизма, сбивалась на чистую лирику, на искусство для искусства...

Еще о скрипке. Не была ли скрипка подругой гомункулюса, а позднее — паровой машины, толкнувшей развитие техники на путь метаморфоз? Покуда не научились превращению энергий, не было и никакого прогресса. Музыкальные инструменты, тренькавшие или подсвистывавшие, сопровождали танец и пение и не стремились имитировать голос, превратив раздельно звучащую вибрацию в голошение души. Появление поющего ящичка, издающего как змея извивающуюся мелодию, воспринималось поначалу как что-то противоестественное, заставляя подозревать первых скрипачей-виртуозов в общении с темным помощником. Вообще в скрипичном повизгиванье слышится демоническое. Недаром на скрипке особенно хорошо удаются всякого рода дьяволы трели. И по части сладострастия она заткнула за пояс флейту, считавшуюся когда-то самым развратным инструментом.

В скрипке заговорила душа Фауста, Шварца и других чародеев-алхимиков, валом поваливших в XVI веке. Тогда бесовщина в знак ренессанса являлась почти в открытую, и алхимики бились над тайной превращения веществ и энергий, открыв по ошибке вместо золота порошок. В моде были полеты на Брокен, и скрипка их подхватила...

Уже в пользовании этой ретортой по перегонке музыки в голос — проскальзывает некая странность. Скособочившись, изогнувшись, скрипку вскидывают, как ружье, и вдавливают в тело, с тем чтобы она торчала не то из глотки, не то из груди артиста, надрывая душу живым и жалостным мяуканьем. Из скрипки вылез Скрябин — с коготками экстаза. Под ее звуки у присутствующих потрескивает в волосах электричество и легкие магнитные бури сотрясают зал.

— И приезжали к нам в город разные филгармонии...

— Мы люди немзыкальные — симфонии нам не нужны.

— Когда начинают симфонию, меня тянет рвать!

— Что-то мне не нравится этот Шульберт. Як бы спивал. А то — як пилорама.

Слушая по радио концерт для скрипки с оркестром Моцарта, один мужик заметил:

— Это как полет комара.

Реплика на арию Ленского «Куда, куда вы удалились...»:

— Долго он петь будет, Мопассан этот?!..

Искусство — не изображение, а преобразование жизни. Сам образ возникает по требованию преобразования: образ сдвинут с предмета, толкая его к изменению в иную, преобразенную сторону. Мы замечаем «образ» лишь в преодолении того, что он силится изобразить. Стол или лес — не образ. Золотой стол — образ. Зеленый лес — не образ: нужен — зеленый шум.

Вместо «Бразилия» кто-то сказал «Образилия», словно давал нам понять, что в искажениях речи нет-нет, а промелькнет желанный образ, который поэзия добывает своими силами, сдвигающими слово с предмета — из «Бразилии» в «Образилию».

— Сiju в тюрьме до теплых времен весны.

— В собственном берлоге.

— Дезентир.

— Биркулезник.

— Люди молодые, энергетичные...

— Все, как говорится, под одной землей ходим.

— Сыр Рокфеллер.

— Рыба порционная.

- Огалдельный бандит.
- Солнце жгет вертикально.
- Разве что шальная муха пролетит.
- А «Граф Монтекристо» совсем не Дюмой написан!

В индийской «Повести о плутах» (по Махабхарате и пуранам) излагается история искушения Брахмы красавицей Тилоттамой, сотворенной художником Вишвакарманом и затмившей красотой богинь. Тилоттама танцует перед Брахмой. И ее жесты, движения, и то, как созерцает ее красоту Брахма, воспроизводят стиль Индии, где скульптура, кажется, выросла из танца лесом многоруких и многоликих богов. Следя за Тилоттамой и Брахмой далее, мы понимаем, почему слон обитает в Индии: слон — в ее стиле: хобот. И как возникает образ: глаза предмета. На самом деле глаза растут у зрителя, но переносятся на картину, на образный строй языка или храма, у которых отверзаются очи по мере того, как мы к ним приглядываемся.

«...Когда она это почувствовала, то подобная реке, полной нектара и прелести, прошла в танце направо от него. Он же, очарованный ее красотой и преисполненный пылом любовным, чтобы непрестанно любоваться ее прелестью, сотворил себе другой лик, глядящий к югу, третий, на запад смотрящий, и четвертый, обращенный на север. Когда же проносилась она в прыжке над его головою, создал он себе и пятый лик, направленный кверху».

Это похоже на дерево, которое растет и плодоносит глазами. При виде его убеждаешься, что творчество в первую очередь это прорезание глаз в веществе за счет собственной зоркости, что образ, истинный образ, граничит с Преображением.

В яванском театре теней («Ваянг») куклы, говорят, тщательно разукрашены, позолочены и прорисованы, хотя на экране все это не отражается. Не оттого ли, что мир — это тень, а значит, первообраз (в данном случае — куклы) обязан быть ярче, реальнее своей тени? Не видимость, но реальность занимает художника. Мало ли что куклу зритель не видит: она же есть, она сама по себе существует!..

Нельзя ли фразу со всеми придаточными уподобить одному сундуку, в котором утка, в которой заяц, в котором

яйцо, в котором смерть Кашея Бессмертного (или любовь Елены Прекрасной), возможно ли, короче, превратить ее в лабиринт или, лучше, в куклу-матрешку, посредством всяческих «что» и «которых» сворачивающуюся клубочком и бегущую в глубь себя, наполняя свое составленное из стольких слагаемых тело тихим светом, загорающим внутри, в сердцевине, как душа, откуда, которая, где, потому что, еще раз которая, и если не, то то начнется и то?..

Почему «королевна» звучит милее, нежели «королева»? Только ли потому, что за ней королевское будущее? Или — прекрасный признак без отягчающей власти, не должность, а только титул, не престол, но лицо, и самая корона на голове лишь гордое украшение? В «королевне» всегда есть какой-то дополнительный завиток.

Ничего не зная о предмете, мы составляем о нем представление по его словесному образу, по окраске и благоуханию имени. Таковы братья Гримм — близнецы, в толстых шерстяных чулках и широкополых одинаковых шляпах. Допустимы также камзолы, пудренные парики, треуголки. В их имени — артистизм, не оперный, однако, а фокусный, помесь доброты с чертовщиной. Ведь братья! Это надо же — братья Гримм!..

Но как все зыбко! Врубель потерял бы половину таланта, если б жил не в России, а в Польше. По-польски он — Воробей. Куда бы подевались тогда его многоугольники, его прекрасные кристаллы?

...Тире я тоже люблю. Но важнее двоеточие: в нем дано направление фразы, уводящей в глубь текста: выражение мысли, быть может, недостаточно еще проясненной, многословной, рассеянной: но рыщущей по окончательным, последним формулировкам.

А еще я люблю скобки. Не то, что люблю, а как-то хочется постоянно говорить в скобках, забываясь куда-то между слов, глубже, в нору. Иногда, помимо круглых, хочется даже ставить квадратные и угловые скобки, чтобы, уезжая, не сбиться и не запугаться в лабиринте.

...В расчеты прозы до сих пор слабо входили возможности скобок. Скобки имели в основном вспомогательное значение и не смели претендовать на внимание. Между тем

построение речи на каких-то параллельных и пересекающихся путях или уровнях, что графически можно выявить скобками, сближает письменность с формами пространственного искусства, в котором глаз перепрыгивает с предмета на предмет, с одного пятна на другое, и придает словесному полю своего рода рельефность, неровность, слоистую глубину, в чем скобки в принципе могут сыграть не подсобную, но первую скрипку, образуя запруды, пещеры, ущелья, откуда и истекает, разлившись по тексту, главный, проникающий смысл.

А что если создать свой язык и жить в нем, как обезьяна в лесу?

В английской литературе непоследнюю роль играет сырой климат Лондона. Туманы, дождь, вечерняя мгла и, как приятный контраст и завязка повествования, уютный камин с чашкою грога, пригубив которую мысленно, мы поудобнее поджимаем ножки и готовимся слушать.

В русской литературе климат не столь выдержан, не возведен в принцип и стиль. Пушкин преподнес нам впервые зиму — с «Метелью», «Бесами» и сном Татьяны, и за нее надо б держаться. Что нам «вешние воды», когда у нас в запасе такая зима!..

Зато в русских сказках, промышляющих больше летними цветами да ягодами, неизбежной мебелью является печка. На печи рассказываются сказки, на печи сидит дурак либо богатырь тридцать три года, и какой-нибудь Емеля по щучьему велению развезжает по Руси на печи. Сказка в буквальном смысле танцует от печки. Сказка впрягла печку в свои сани и покатила свадебным поездом.

— Уют и теплота рождают новые мысли.

Я знаю, отчего воробьи раскаркались: им было слишком темно на этом белом снегу.

Залезть за печку и слушать, как она гудит.

19 ноября 1969.

Прятался в погребе шестнадцать лет, пока зять не выдал. Семейная тайна соблюдалась — пока девочки (у него

было пять дочерей) не вышли замуж. Пятилетние и двенадцатилетние — хранили молчание. Вышедши, — все до одной — рассказали мужьям.

Когда его увешивали фотографиями монашек и спецкорреспондент уже изготовился снимать для газеты «распутного попа», старик не вытерпел и пригрозил следователю, что дочь у того, девушка, так же, как эти карточки, будет отныне вешаться на мужчин. Так следователь отменил фотосъемку...

— Потому что ты тоже своей участи не знаешь.

«И невидим бысть» (о бесе). Удивительно, как затертый стереотип соответствует событию, действию. Старославянская фраза, вставленная в современную речь, звучит, как молния, — эффект исчезновения с точностью выловлен в звуке.

...Забавно, когда обнаруживается, что за всей этой необычайно серьезной научной аргументацией, в качестве исходного пункта, молчаливо стоит одно простое и твердое допущение, что древние люди были дураками. Чтобы чувствовать силу сказки, в нее нужно хоть немного верить. Природная доверчивость помогает детям. Ну а ученым трудно.

Отсюда возникает второе затруднение: все нужно понимать не прямо, а иносказательно. Избушка на курьих ножках совсем не изба и не на курьих, а что-то более научное.

Но в теории Проппа хорошо, что вместо всюду сущего солнечного культа найден другой, главный водораздел: тот свет — тридцатое царство. Читая его, постигаешь, как громадна тоска по бессмертию, движущая человечеством. Хотя автор едва ли об этом думал.

В алтайской мифологии первые люди, еще не знавшие греха, рождались от цветов и имели крылья, излучавшие свет. Небесных светил еще не было. Потом они съели какой-то корень, познав грех, отчего потеряли светоносные крылья, и по их просьбе были созданы Солнце и Луна («Легенды и сказки Центральной Азии, собранные графом

А. П. Беннигсеном», СПб. 1912). И есть же где-то на свете такие книги!

Сказочный змей похож на какое-то насекомое: он летает по небу, а когда крылья отказывают, садится и едет по полю, как таракан.

В какой-то момент змей и Иван меняются местами, сами не замечая того. Так меняются местами похоть и ревность, жертва и месть, кошки и мышки.

В основе любого сюжета, установлено, лежит подвох или обман. Сюжет мировой истории начинается с грехопадения. Потом мы только и думаем, как бы покрыть недостачу. Наверное поэтому так много сказок о лисе. В лисьей шубе ходит по свету дьявол-обманщик.

Зато в Древнем Египте, кроме астрального двойника «Ка», была душа «Ба». И она рисовалась в виде птицы с человеческой головой. Вот как далеко летает птичка-Сирин!

...Возможная форма речи — забвение. В усилиях вспомнить, ничем не кончающихся, увязая, спохватываясь — опять о змеях, о бабе-яге.

Птица, которую дурак впервые увидел во сне, потом живет в зоопарке. — Я тебя знаю, Настасья!

Я так любил того фазана, что сам соглашался стать тем фазаном.

Кормили ее только мозгами зверей.

Каждая фраза, как изумруд, должна сверкать дикой выдумкой. (И при каждой фразе в невидимых скобках невидимая присказка: я тебя люблю.)

У птицы возможна своя партия — флейты. Пусть нам помогут Барток и Брейгель.

Представим, что в битве с Полканом меч у Бовы-королевича вошел сразмаху в землю и тот не смог его вытащить, и прыгал вокруг, и дергал, заливаясь слезами.

Вопрос: что на самом деле делал змей с какой-нибудь Люсей? Люся может переворачиваться — то Настасьей, то Еленой Прекрасной. Смотря на каком уровне.

Имена теряются, забываются. Вошел Антоном, выпшел Андреем. Отчества тоже путаются. Это так же допустимо, как цифры в потоке слов.

На Руси был X-ый век нашей эры. И рассвет уже вставал на четвереньки. Витязи ехали на прямых — как столы — конях.

Возьмем тетрадку, засветим огарок, окунем перо поглубже в чернильницу и отправимся путешествовать. На все четыре стороны. Куда перо поведет. Древний город — заплата, сторожевые вышки, забор. Солнце, в большие морозы похожее на планету Юпитер. Сугробы, салазки. Лошадь, опрокинувшись на спину, дрыгает большими конечностями, похожими на ножки кузнечика. На Руси тем временем уже XV-ый век. (Дожили — XV-ый век!)

Сказка складывается из разбитых, вывалившихся кирпичей. Они готовы заранее. Порядок, в общем, тоже известен. Не известно только — к чему они и о чем. Что делал с ней змей, тоже никто не знает. Один кирпич крепче, второй почуднее, и дело идет. Витязи скачут на поджарых, как собаки, конях.

Змей, должно быть, похож на большое черное дерево. Одна голова у змея спала, мерно похрапывая, вторая с усмешкой следила за маневрами Ивана-царевича, а две другие головы перешептывались о чем-то своем, наклоняясь друг другу к уху и закатываясь, как по радио, деланным, преувеличенным смехом, пятая вылизывала собственную шею, как кошка, шестая с папиросой в зубах потянулась к спящей подруге и прикурила от ее синеватым пламенем попыхивающей ноздри... От этого разветвления Ивану стало казаться, что он сам — одна из голов в этом черном лесу. И кто змей? Не Иван ли? Во всяком случае, в соответствии с данными сказок, змей не имеет четкого облика и то едет верхом на коне, то разгуливает в калошах по горнице, то пьет хоботом воду или тянет за собою царевну, как собака на поводке. Эти изменения никак не объясняются, и у бедного зрителя идет голова кругом.

Светоний в истории, говорят, интересовался по преимуществу забавным и развлекательным и в итоге собрал довольно много фактов, приоткрывающих древнейшие, доисторические пласты и имеющих аналогии в мифах. Современный исследователь с оттенком презрения замечает, что важное у Светония подчас упущено, а занимательное раздуто. Но мне в этой анекдотической породе видны искорки никакими иными путями недостижимой жизни.

«Решающее сражение сицилийской войны интересно для него тем, что Октавиан перед боем спал непробудным сном», — подсмеивается исследователь. И пусть подсмеивается. Посмотрим на это место сицилийской войны, когда Август разбил Помпея между Милами и Навлохом: «Перед самым сражением его внезапно охватил такой крепкий сон, что друзьям пришлось будить его, чтобы дать сигнал к бою».

А я припоминаю, что в сказке герой имеет привычку непробудно засыпать перед боем или каким-либо ответственным делом, так что бедной царевне только горючей звездой-слезой удается его добудиться. Сон тот, возможно, обращенное в заочную область за помощью — транспортная артерия, питающая душу избранника. И сон тот важнее стратегии.

Невзирая на всю науку, пускай даже самую правильную, никак не могу отделаться от желания рассматривать сказку как известие о чем-то реальном. Гляжу на того же божественного Августа и вижу: «Тело его, говорят, было покрыто на груди и на животе родимыми пятнами, напоминавшими видом, числом и расположением звезды Большой Медведицы...»

И вспоминается сказочный сын, у которого на спине светел месяц, а по бокам часты звезды — словом, весь гороскоп отпечатан. Не говоря уже о созвездии Большой Медведицы, которое, по приметам корейцев, китайцев и у других народов, обеспечивает спокойствие в доме, богатство и долголетие.

Вот куда приводит никому не нужная родинка.

Для ее — сказки — корней надо бы чаще вникать в иконографию сновидений. Тогда многое проявится, и за метафорой оживет онтология. Мне довелось здесь выслушать столько снов, в которых несомненно мелькают реликты мифов. Например — о змиях.

Пожилой уже украинец, из партизан, рассказал пришившийся ему в отрочестве и имевший, как он считает, пророческое значение сон. Сидит он на печи (рассказчик и спал на печи), а в дверь вползает змея. Не простая — на лапах: ящер. Хам! и старшую сестру проглотила — только брызги. Затем подняла голову, и тут он встретился с нею глазами и от ужаса проснулся. Мать сказала: — «Отче наш» на ночь не прочитал! — Через двенадцать лет сон исполнился.

Спустия много лет, уже в лагере, та же змея во сне свесилась к нему с потолка, и они долго боролись, пока он ее не задушил. Но она все же успела укусить его в ногу, и старшая сестра, к тому сроку уже покойная, высосала яд из раны. Этот сон еще не исполнился, но он верит — все это будет.

Или — сон о подземном царстве, в точности совпадающий с формулировками сказки (хотя выяснилось, что рассказчик — на мои окольные расспросы — вообще не слыхивал в жизни никаких сказок):

— Провалился в колодец и долго летел, пока не упал в другой мир (буквально в таких выражениях излагает это и сказка). А там (с интонацией недоумения) — такой же свет, и реки текут, и все то же самое.

В противоположность этим снам, где просвечивает что-то подлинное, — рассказали также историю о лагерном наркомане, который под кейфом видел необыкновенные вещи, с пробуждением всякий раз испарявшиеся, но заключавшие, как он помнил, тайну и смысл мироздания. Однажды, собравшись с силами, записал — одной фразой всю тайну — и, когда пришел в себя, прочитал: *«Повсюду пахнет нефтью»*.

14 декабря 1969.

Человек видит чудо, и отчаянно хочет курить, и ищет спички, бегая ночью по зоне с пустым коробком в кулаке, и заскакивает в курилку, где слышался гул голосов, и, войдя, убеждается, что нет ни души, хоть непроходимо от дыма, и вдруг замечает у ног на полу чистую, свежую спичку, которая своей сверхъестественностью ошеломляет его больше, чем чудо, только что виденное, и, рассказывая о нем, он поминутно возвращается к спичке, ставшей в этой жизни камнем преткновения.

Потеплело, и это плохо — тяжесть в воздухе, вялость в теле, а главное — неэкономно. Сколько тепла тратится без толку, зимой — вместо лета. Сколько холодных дней летом можно было бы обогреть, а так — кому это нужно!..

Как я начинаю день? Если выпадет снег за ночь, я, придя на работу, поскорее перелезаю во все грязное и, как Лев Толстой, с метелкой в руках, обмахиваю эстакаду. По белому полю мышки и птички развели следы — всякие, значит, пляски были у них на рассвете. Жаль замечать.

Тем временем в избушке растопили печку, можно и погреться, пока не пошел груз. Светоний. Вольче лицо Цезаря. А там теплушка — наши часы: десять. Дым, клубящиеся характеры Шекспира вылетают из трубы. То Макбет, то Ричард III. У нарисованного Егором человечка удались волосы — в виде домика на голове.

— Что ты живого человека к чорту посылаешь!

Нищий старик, судимый по пятому разу.

Лес совсем фиолетовый. Это от березы. Ее белый ствол на самом деле чернильный, и издали получается — сплошное море чернил.

Что такое лес?

Лес — это море, где, кто, куда...

Что такое лес?

Лес — это город, откуда, который, в котором...

Что такое лес?

Лес — это небо, благодаря чему, оттого что, за неимением, будто...

Что такое лес?

Лес — это лес.

V

Человек перед волей задумчиво говорит:

— Пива выпью... (долгая пауза). Колбаской закушу (пауза)...

...И переулки такие длинные, что идешь по ним целую вечность. И в каждом окне горит своя лампа.

Мне повезло, что мы жили неподалеку от Музея изобразительных искусств, и он сделался куском города моего детства, и подростком я бегал туда просто так посидеть в соседстве статуй и помечтать в одиночестве в каком-нибудь Итальянском дворике, где было так безлюдно и всегда царил полумрак, и этот дворик, и античный портик, особенно зимой, в сияющей изморози, остались потом на всю жизнь. И потом изобразительные искусства, в отличие от книг, несут с собой обстановку, в которой мы можем жить посреди

произведений, как среди леса, проникаясь ими как общим фоном существования. Два места — куда бы мне хотелось пойти, по которым больше всего скучаю, и они как-то объединяются в памяти — лес и музей...

Когда мы вспоминаем о детстве, фигуры близких кажутся очень большими — в соответствии с малым ростом и опытом ребенка. Но, вероятно, они еще больше и простираются до размеров вселенной, захватывая все вещи и приметы действительности, разделенной, допустим, на материнскую и отцовскую половины, так что «Ореховая гора», например, была продолжением как бы отцовского тела, а в «Соснах» слышалась собственность матери.

Появление родного лица происходит не на фоне вещей, не имеющих к лицу отношения, но в их образование и развитие, проясняющее знакомые черточки до видимого единства. Не «мама идет по улице», но улица становится мамой, которая материализуется из состояния рассеяния, почему в любую минуту ее можно вызвать из мира, числящегося за нею так же, как ее платье или пальто. Ребенок кличет мать, как бы та ни была далека, в надежде, что эта всеобщая материнская одушевленность вещей просияет наконец очевидностью их внутренней сути — ее присутствием — стоит только позвать. Поэтому он не слишком удивится, если комната обернется матерью, или та, как солнце, выглянет из-за облака. И поэтому же воспоминания о милом лице незаметно принимают характер размытого, расплывающегося во все стороны, без края, повествования. Им ближе не портрет, но пейзаж — география родимого имени, вкрапленного повсюду и ждущего оклика.

А на завтра — сегодня был чудесный зимний день, совершенно розовый, как в детстве, в прекрасном равновесии снега, мороза и воздуха.

10 января 1970.

В одной научной статье говорится, что обычай петь на море существовал до недавнего времени у наших поморов, о чем свидетельствуют беломорский сказитель М. М. Коргуев и пудожский — Ф. А. Конашков. Сказывание былин, говорят, усмиряло стихии — отсюда история с гусями и морским царем у Садко. Ту же магическую задачу имеет в виду

распространенная в былинах концовка: «Синему морю на тишину, добрым людям на послушание».

Но если продолжить этот мысленный ряд, то можно заметить, что вода и пение вообще тесно связаны. Не оттого ли, не от воды ли столько песен — о лодке, о кораблике, начиная с «Мы на лодочке катались...» до «Белеет парус одинокий» и «Из-за острова на стрежень», так и лежащихся на музыку, на волну? Тон песен — протяжный, успокаивающий, независимо от словесного смысла, будь то бурное «Нелюдимо наше море» или обнадеживающее «Славное море — священный Байкал». И я подумал, что песня так же связана с водной стихией, как сказка — с лесом, и лодка — с ладом, и поэтому Вейнемейнен или Гайавата строили лодку пением: это — устройство гармонии на море (ладьи — в предметном образе). Песня — лодка, которую мы пускаем плавать, чтобы установить тишину на волнах. И я подумал, что на воде вообще тянет петь (как в лесу — говорить шепотом), что мы и делаем практически — поем, не подозревая, что тем самым мы молимся Морскому Царю. И я не подозревал об этом, когда пел по пути на Кий-остров «А море бурное ревело и стонало». На самом же деле я бессознательно пел о том, чтобы оно не ревело. И ничего не чувствовал, кроме «душевного подъема». Но этот подъем и толкает людей петь на воде — это и есть та самая подводная потребность-необходимость лада, регулирующего волны моря.

Многие древние традиции, проявляющиеся в фольклоре, живут в нас негласно и потому проявляются, что поддержаны изнутри нашей организацией, об устройстве которой мы не отдаем себе отчета, ну а древние в этом знали толк. Иначе не понятна стойкость этих традиций, существующих, как пишут исследователи, с первобытных времен. Они бы просто не сохранились. Если бы они не поддерживались нашей нынешней психикой, уже не опирающейся, правда, ни на какую логику, ни на какие обряды, но тем не менее значащей и подсказывающей неслышно, что нужно, а что нельзя, — мы бы не помнили ни сказок, ни песен. Но природа сильнее доводов разума, и мы даже в официальном порядке шьем для покойников тапочки и приносим им цветы на могилку, хотя давно уже не пытаемся их оживить своим подношением, и поем — о море и на море.

Ночь, когда родился Пророк, была необычайной:
Солнце еще не вставало, но мир уже озарило сияние.

Когда младенцем Пророк однажды от обиды заплакал,
Пришла от Господа весть, что плакать ему нельзя.

— Там, где одна слезинка из глаз твоих упадет,
Трава не сможет расти, земля иссохнет.—

Исполняя волю Господню, он плакать перестал,
Лишь устами своими шептал: — Ла ила йлла-л-ла́.

Я начал собирать чеченские песни, по-видимому еще не записанные. Они несколько напоминают духовные стихи, арабская традиция мешается с местными преданиями и обычаями. Они удивительны несвойственными обыкновенно песне сложностью и гибкостью психологического рисунка. Все движется на полутонах и оттенках, и песня как бы поворачивается в своем течении, меняя значения, при монотонности общей мелодии, в которой господствует хоровое начало — с лирическим, однако, акцентом.

Следует учесть, что этот религиозный эпос, живой до сего дня и весьма обширный, разветвленный, обнимающий душу народа, складывался в Дагестане не ранее прошлого века, когда идеи ислама возродились в огне Шамиля. То есть почти на наших глазах происходит становление жанра, удаленное у других народов в необозримые времена.

Выспрашивая имена и детали, чтобы не ошибиться в смысле изложенных здесь событий, я почти не отходил от подстрочника и лишь немного упорядочил текст переложения — в надежде, что поэзия подлинника лучше сохранится в необработанном виде.

Когда Великого Пророка приблизилось время кончины,
Призвал, говорят, он к себе своего асха́ба Би́лала,
Сказал он ему: — Настало время моей кончины,
Созови-ка в мечеть всех моих верных асхабов.—

И Би́лал по его слову созвал это славное братство,
Объявив, что Пророк в мечеть их к себе приглашает,
С плачем асхабы собрались по его слову в мечети,
Читая молитвы и к Господу Богу взывая.

И став на то место, где всегда молитву читал он,
Пророк сказал им, к Господу Богу взывая:
— Жалел я вас, как жалеют отца и мать,
И как сестра страдает о брате, страдал я о вас¹.

¹ Говоря по-нашему, Пророк свою любовь к ученикам сравнил бы с любовью родительской, но в Чечне любовь к отцу и матери стоит дороже, чем — к детям. И особенно почитается сильной и выскокой любовь сестры к брату.

Скоро я преставлюсь, добрые мои асхабы.
Должен, любя вас, сегодня я с вами проститься.
Пусть теперь тот, кого я в жизни обидел,
Встанет и возьмет с меня долг — до наступления
Судного дня.—

Тогда встал, говорят, верный асхаб Укашат,
Сказав Пророку: — Мы были на Газавате,
Когда ты меня ударил. Если бы дважды и трижды
Не объявил ты нам свою просьбу, я бы не спросил
с тебя долг.—

И Пророк послал своего асхаба Билала,
Чтобы сходил он к Фатиме и принес ему розгу,
Фатима, услышав такое, заплакала, жалея Пророка:
— Кто посмеет себя ублажать, спрашивая долг
с моего отца?! —

И Билал-асхаб, говорят, передал розгу Пророку,
Пророк эту розгу передал асхабу Укашату,
И сказал Укашат: — Ты ударил меня по голому телу! —
И Пророк тогда заворотил на спине рубаху.

Встал тогда Абу-Ба́кр, встали Ума́р и Усма́н,
И было ими сказано: — Если ты ударишь Пророка,
Кто тогда наши возмущенные сердца успокоит?
За старую обиду свою ты рассчитайся с нами.—

Встали Хасан и Хусейн, и было ими сказано:
— Мы — сыновья Али, рожденные Фатимой.
Если нас ты ударишь, месть твоя совершится.
Долг получи ты у нас — чего тебе больше? —

Тогда встал сам Муртаза́л-Али́, и было им сказано:
— Если ты ударишь Пророка, кто наши сердца успокоит?
Если ты ударишь Пророка, куда ты сам денешься?
Вот за тело Пророка наши тебе тела!

Встал тогда Укашат, и было им сказано:
— Кто бы мог помыслить тебя ударить, Пророк?!
Стыд этот взял я на себя, убоявшись ада,
Дабы зрелище твоего тела святого спасло меня
в будущей жизни.—

Поражаюсь, как много мне дали отец и мать и как далеко продолжается их тихая жизнь во мне, пускай и не прямо. Как существуют в памяти какие-нибудь Жигули, Озерки, где они жили до моего рождения, никогда не видан-

ные, да и бессмысленно, и уже неотвязные. Вспоминается храп отца — как охрана. Слыша его, я чувствовал себя защищенным. И запах его — охрана.

Сверхъестественно толстые, как морковины, пальцы. Взглянув на них — какие грузы?! Но если белые и холеные — с толстой кожей? Но если — у тшедушного, у сморщенного словно философ-конторщик? Что исполнялось этими пальцами? Каждый — как хобот. При небольшой, в общем, ладошке...

...Предсказания обманывают гадателей, поскольку в расстановке событий те не принимают в сознание возможности проявления какой-то новой, не учтенной еще совершенно силы и оперируют знакомыми, актуальными именами. У Светония значится, что царствование Веспасиана (чей путь к императорской власти начался с Иудеи) было предсказано.

«На Востоке распространено было давнее и твердое убеждение, что судьбой назначено в эту пору выходцам из Иудеи завладеть миром. События показали, что относилось это к римскому императору; но иудеи, приняв предсказание на свой счет, возмутились, убили наместника, обратили в бегство даже консульского легата, явившегося из Сирии с подкреплениями, и отбили у него орла».

Забавно, как каждая сторона принимает благоприятные знаки на свой счет, в то время как во всемирной истории речь, вероятно, шла о незаметном тогда выдвижении нового царства — Христа. О том же у Тацита — по случаю осады Иерусалима Титом — читаем:

«Над городом стали являться знамения, которые народ этот, погрязший в суевериях, но не знающий религии, не умеет отводить ни с помощью жертвоприношений, ни очистительными обетами. На небе бились враждующие рати, багровым пламенем пылали мечи, низвергавшийся из тучи огонь кольцом охватывал храм. Внезапно двери святилища распахнулись, громовый, нечеловеческой силы голос возгласил: «Боги уходят», — и послышались шаги, удалявшиеся из храма. Но лишь немногим эти знамения внушали ужас; большинство полагалось на пророчество, записанное, как они верили, еще в древности их жрецами в священных книгах: как раз около этого времени Востоку предстояло якобы добиться могущества, а из Иудеи должны были выйти люди, предназначенные господство-

вать над миром. Это туманное предсказание относилось к Веспасиану и Титу, но жители, как вообще свойственно людям, толковали пророчество в свою пользу, говорили, что это иудеям предстоит быть вознесенными на вершину славы и могущества, и никакие несчастья не могли заставить их увидеть правду».

Но каков самоуверенный, просвещенный Рим! И каков этот голос: «Боги уходят» — перемещение центров, культур и путей истории, начинающееся всегда — с храма!

...Что за сон привиделся мне вчера! Резкость в ощущении цвета и запаха оставляет уверенность, что в душе у нас выстроен дом, где давнопрошедшие образы сохраняются, как в музее, способные в любой момент оживать и возвращаться на прежнее место, продолжаясь уже вне времени, вне пространства, так что даже страшно таскать за собою этот запас. Цвет был зеленый, прозрачно-зеленый, похожий на камень, на кристалл, — чистый кусок затвердевшего цвета, излучавшегося у тебя из очей, но представленного теперь в каком-то отдельном значении — цвета. А следом за тем, безо всякой связи, тоже как абсолютное качество, приснился запах отца, столь отчетливо слышимый, что я его сразу узнал и подивился во сне точности ощущения, которое по памяти сейчас я не смогу воспроизвести наяву. Неожиданность не в сюжете, подсказанном, по всей вероятности, моими дневными мыслями и письмами к тебе, но — в фактической очевидности образа и беспримечном соответствии этого призрачного материала — действительности. Если душа прочнее вещей и держит их в себе так крепко, то, может быть, вещи тоже никогда не умрут?..

Что ребенку надо? — быть подле отца с матерью. Не так ли душа наша тоскует — когда и где?

В иконе Успения Пресвятой Богородицы, сколько помнится, Сын принимает на руки душу Матери. Беленькая фигурка похожа на спеленутого ребенка и дает нам повод представить, что душа в самом деле имеет детскую внешность.

Однако формально схема воспроизводит, могут возразить, не душу как таковую, но тело Богоматери, взятое вскоре на небо и обернутое в саван. Его малость объясняется, возможно, принятым в иконе соотношением величин

физических и небесных. В целом же в композиции сомкнуты, как обычно, разные времена-повороты единого в общем События.

А все равно эта свечечка на руках так и тянет сказать: душа и дитя.

...Снег хорош еще тем, что идет ни к чему и дает лишь отдаленную, косвенную пользу. Снег безо всяких намерений. Не то, что дождь. Даже не то, что солнце. Он бескорыстен, бесцелен.

— Конь такой белый, что его и не видно, когда он по снегу скачет.

Чтобы написать что-нибудь стоящее, нужно быть абсолютно пустым.

Не устаю удивляться тому, как писатель ничего не знает, не помнит, не умеет, не может и этой немощностью своей — всем бессилием высказать что-либо путное — обращен ко всему свету, и только тогда он что-то может и знает.

Рисунки Матисса я люблю больше его живописи. В отличие от других художников, у которых рисунок вспомогателен и служит эскизом к картине, матиссовские картины всплывают в памяти эскизом к его рисункам, которые, как ни странно, идут дальше по тому же пути — чистого цвета.

...Измеряю жизнь количеством стрижки.

Мне нравится замедленность здешнего существования по сравнению с обычным ритмом жизни, которым, хотяг — не хотят, руководствуются на воле, для того чтобы успеть на автобус, на службу, в кино. Поэтому мысль в лагере течет как бы естественнее, без ухищрений разума кого-то опередить. Торопишься лишь в отдельных, локальных случаях, но в более обширном значении перестасшь спешить — (куда?). И бытие раскрывает шире свои голубые глазки.

Чему учит жизнь, так это быть благородным. На стандартный вопрос — как поживаете? — в молодости отвечаешь:

«ничего» (с оттенком — «неважно»), в зрелости: «нормально», в старости: «слава Богу».

Чтобы душа была тиха и чиста.

Из богослужебных текстов на праздник Успения Богоматери выяснилось все же, что на руках у Сына — душа. И еще прояснилась одна загадка: значимость этого праздника на Руси, отчего самым распространенным с древних времен храмом был у нас — Успенский. Более половины названий, если считать по кафедральным соборам, — Успенские¹. Не несет ли Успение, помимо почитания Матери, признаки пасхального чуда, которому в Православии отводится первое место (в отличие от Запада, где во главе — Рождество)? Служебный праздничный текст, оказалось, протягивает ниточку — на Успение задостойник гласит (по староверческой записи — другого нет под руками): «Побеждаются естества уставы о тебе дево чистая, девствует бо рождество и живот обручает смерть, по рождестве дева и по смерти жива...»

Величайшее чудо на свете в том и состоит, что «побеждаются естества уставы» — смерть попирается и в гробе и в семени. Почти как на Пасху Христову — «живот обручает смерть», знаменуя воскресение-вознесение Пресвятой Богородицы. Как же не праздновать нам это двойное чудо, двойную победу над уставами естества!..

Ты заступница святая,
Ты родная наша мать,
Не по тебе ли, дорогая,
Нам придется пострадать?

Ты жалела всех нас, грешных,
И воспитала, как дитя.
Пришло времечко такое —
Мы забыли про тебя.

В чуткий звон ты ударяла,
Каждый день во храм звала.
Отчего же, дорогая,

¹ Еще много Преображенских, но сравнительно мало Рождественских (зато много — Рождества Богородицы), — по описи ранних всков.

Ты стоишь, как сирота?
Куда делась, куда скрылась
Вся земная красота?

Ты отвори ко храму двери,
Возбуди наши сердца,
Мы не видим, мы не слышим
Божье слово никогда.

(Духовный стих)

Недавно в статье М. А. Ильина «О единстве домонгольского русского зодчества» была сделана попытка разграничить византийский и русские храмы на принципиальной основе разного мирознания, а не по формальным частностям, как это делается обычно. А именно, сопоставляя Софию Киевскую, выполненную в византийской традиции, с Софией Новгородской и последовавшими за нею постройками, автор показывает, как переместился акцент с внутреннего пространства на внешнюю форму храма, повлекший русскую архитектуру по пути декоративизма, что увенчалось собором Василия Блаженного в Москве.

Все это похоже на правду. Киевская София смотрится у нас одиноко, выделяясь и своим глубоким внутренним дыханием, и внешней непрезентабельностью по сравнению с собственно русскими формами. Вопрос — мотивы. Русская церковная архитектура, по Ильину, вернулась к язычеству. И хотя никаких сведений о том, как выглядел и что представлял собою славянский языческий храм, мы не имеем, Ильин полагает, что внешняя форма там играла первостепенную роль, поскольку все эти святилища служили объектом поклонения и, значит, были рассчитаны на внешнее восприятие.

«Можно думать, что введение на Руси христианства не изменило отношение к сакральному сооружению. Именно по этой причине внутренняя пространственность византийского храма, взятого за образец, утратила свои свойства, в то время как внимание к внешней архитектурной форме сильнейшим образом возросло. Иными словами, в XII в. наши предки как бы вернулись к древнему пониманию архитектуры культового сооружения. Правда, христианский храм был рассчитан уже на внутреннее богослужение, он стал доступнее для рядовых прихожан, но все же в его архитектуре продолжала сказываться идея, восходящая к глубокой древности — идея храма как объекта поклонения, как местопребывания божества.

Подобное отношение к храму и определило известную безучастность и равнодушие зодчих к разработке внутреннего пространства и, наоборот, их повышенное внимание к внешней архитектурной форме. Последняя, как конкретная материальность, была ближе практическому мышлению русского человека эпохи средневековья, нежели достаточно абстрактное, скорее ощущаемое, нежели видимое, внутреннее пространство храма, отвечавшее абстрактному пониманию божества византийскими схоластами и мистиками».

Любят ученые люди поворачивать русский народ к язычеству. Для атеистов язычество все же приятнее христианства. Этим объясняется, между прочим, ни с чем не сравнимый, еще в XIX веке, успех «Слова о полку Игореве» — за счет всей христианской литературы Древней Руси. А не менее яркий и самобытный, чем «Слово», Киево-Печерский Патерик — забыт. Но если даже согласиться на языческую традицию в русском православном народе, то в сфере церковного строительства она выражалась больше отталкиванием от опасных соблазнов, нежели возвращением к старым и еще влиятельным идолам (как чорта предпочитали не изображать на Святой Руси, оттого что слишком реально представляли его и боялись).

Что же касается храма как объекта поклонения и местопребывания божества, то нет причин таковому непременно облекаться во внешнее великолепие. Это было бы слишком просто и грубо. Напротив, здесь скорее напрашивается иной подход — влечение к заведомой скромности и нивелированности вместилища. Так, еврейская скиния, очевидно, не блистала роскошью формы. Присутствие Бога на земле означено по преимуществу тайной, сокровенностью места. «Господь сказал, что Он благоволил обитать во мгле...» (Третья книга Царств, 8, 12). Есть много поводов думать, что и у нас языческие святилища-капища, именно как объект поклонения и местопребывание божества, обыкновенно не бросались в глаза красотой внешней разделки. Должно быть, идолы жили в лесу, в пещере, в ямке — сокровенно, невзрачно.

Иное дело христианский храм на Руси, в котором преобладание архитектурной формы над внутренней пространственностью, возможно, крепче всего зиждилось на нашей излюбленной, национальной религиозной идее Покрова, несшей в себе не языческое, но до конца православное, хоть и русское, понимание. Русская церковь — Покров. Внутри — не бесконечность пространства, не космос, не гармония сфер,

но прежде всего — тепло, защита, уютность. Наши предки имели обычай греться в церкви, хранить казну, спастись от злой осады. Войти в русский храм — в этом есть что-то от того, как мы влезаем под одеяло, накидываем шубу на голову. А шуба та — с Божьего плеча, и внешне ей, как Покрову, надлежит цвести и блистать. Небо в звездах — строя собор, мы укутываемся в звездное небо, одеваемся в снежные ризы зимы, в растительное переполнение лета — мироздание (ибо всякий храм — мироздание) расстилаем покровом, ковром. Преимущественная декоративность русской архитектуры — отсюда (иногда в ущерб конструктивности): не как построить, а чем укрыться.

Русской идее Покрова, отраженной в церковном зодчестве, созвучно (по внутренней уютности и интимности этой идеи) следующее признание — у Лескова в рассказе «На краю света» (речь идет о чувстве Божьего покровительства, которое в рассказе Лескова переживает мальчик, спрятавшись в бане, под полоч, от грозившего ему наказания):

«— Да ведь как я, Владыко, Его чувствовал-то! Как пришел Он, батюшка мой, отрадненький! удивил и обрадовал. Сам суди: всей вселенной Он не в обхват, а, видя ребячью скорбь, под банный полочек к мальченке подполз в душе хлада тонка и за пазушкой обитал...

Я должен признаться, что я более всяких представлений о божестве люблю этого нашего *русского Бога*, который творит себе обитель «за пазушкой». Тут, что нам господа греки ни толкуй и как ни доказывай, что мы им обязаны тем, что и Бога через них знаем, а не они нам Его открыли; — не в их пышном византийстве мы обрели Его в дыме каждений, а Он у нас свой, притоманный¹ и по-нашему, попросту, всюду ходит, и под банный полочек без ладана в душе хлада тонка проникает, и за теплой пазухой голубком приборкается».

Здесь, конечно, автор не удержался, чтобы в русском смирении не превознестись перед «пышным византийством». Пышности и у нас хватало. Но если взять эту «пазушку», разукрасить ее сверху с пониманием, кто укрывает, мы и получим нашу искомую архитектурную форму — Покрова.

Тихонечко вздохнем, раскинем мыслями и попишем еще... Отпуст — «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко», положенный на слова Симеона, читается ежедневно в конце, завершая вечернюю службу. Спрашивается — зачем, если

¹ Собственный, домашний.

Симеон, произнеся это, умер, а мы живы? Затем, говорят, что служба подразумевает отход ко сну, окончание дневного пути. Символика ночи и сна подобна символике смерти. Отпуст это учел.

Почему смерть приходит чаще всего весной, а также — на рассвете? Ведь ей соответствует ночь и зима. А рассвет и весна — начало цикла, вступив в который, человек, умерший зимой и ночью, обнаруживает свою ненужность, отсутствия. Он не выживает в начале нового цикла, потому что его жизнь завершилась раньше, в конце прошедшего круга, и этот час уже лишний. Начинается следующий день, без него, и тогда он уходит.

Полнота дня, бездонность ночи, и только вечер какой-то ни то ни се.

4 марта 1970.

И как маятник — по талому снегу — работая руками, ногами, — гимнастика, чтобы дольше прожить, неуклюже и упрямо, как нанятый, ходит убийца Блюхера.

Из чеченских песен.

Руками мельницу крутя, устами Коран читая,
Умом обозревая прочитанное,
Сидела, говорят, однажды дочь великого отца Фатима.

— Мир тебе, о дочь великого отца Фатима! —
Склоняясь над нею, сказал Ангел Смерти Мулкүлмот.

— Мир и тебе, о Ангел Смерти Мулкулмот!
Случаен ли твой приход, или ты прибыл по делу?

— Не случаен приход мой, по делу я прибыл к тебе:
Нынче по воле Аллаха настало время твое.

— Ногти на руках и ногах моих я еще не постригла,
Хасана и Хусейна не уложила я спать, накормив,
И мужа моего Муртазál-Али нету дома.

— Пусть ногти на руках и ногах твоих я, вернувшись,
застану постриженными,
Хасана и Хусейна уложи ты спать, накормив,
А за мужем твоим Муртазал-Али я отправляюсь сам.

В горной пещере, восседающим со святыми в совете,

Нашел он мужа Фатимы Муртазал-Али.

— Мир тебе, о Муртазал-Али!

— Мир и тебе, о Ангел Смерти Мулкулмот!

Случаен ли твой приход, или ты прибыл по делу?

— Не случаен приход мой, по делу я прибыл:

По воле Аллаха пришел я за душою Фатимы.

— О Господи Боже, дочь великого отца Фатима,

Кто обмоет тело твое?

— О Господи Боже, Муртазал-Али,

Обмоют тело мое райские девы.

— О Господи Боже, дочь великого отца Фатима,

Где возьму я материю сшить тебе саван?

— О Господи Боже, Муртазал-Али,

Саван сошьет мне Ангел Джабраил.

— О Господи Боже, дочь великого отца Фатима,

Кому поручу я нести носилки с телом твоим?

— О Господи Боже, Муртазал-Али,

Носилки мои понесут райские девы.

— О Господи Боже, дочь великого отца Фатима,

Кому поручу я выкопать могилу тебе?

— О Господи Боже, Муртазал-Али,

Могилу мне вырост Ангел Джабраил.

В этой песне, столь целомудренно поддерживающей равновесие между святостью и человечностью, сыновья Фатимы Хасан и Хусейн представлены маленькими детьми. В предыдущей песне о смерти Магомета, то есть — о событии более раннем по времени, те же Хасан и Хусейн выступают взрослыми мужчинами. Восхитительна эта бездумная и порывистая расторопность искусства, строго преследуя истину, свободно перестраивать факты в зависимости от правды конкретного места и времени. В день смерти Фатимы ее сыновьям — пускай они давно уже выросли — подобает оставаться детьми. Вспомним замечание Гёте о правоте Шекспира, то наделявшего леди Макбет детьми, то — в зависимости от характера монолога — изображавшего леди Макбет бездетной. Так же делал Рубенс в ландшафте с одним источником света, бросающим двойные тени в противоположные стороны.

Как заискивают старики у молодых и здоровых: поговорить хоть немного. Снимет шапку, пожелает здоровья.— Ну как,—спросит,—заработок, сколько на харчи и что остается?—Как будто ему интересно. А ему все равно—заработок, харчи. Нужно перемолвиться, поддержать себя сознанием, что он в силе еще, пускай с костылями, но тоже живой и в жизни все понимает. Как настоящий, как взрослый.

— Теперь девке—и платье купи, и брюки—купи!..
(О модах)

— Рубашка на нем—центровая!

— Портсигар—пластмассовый: положишь сигарету—дырку прожжет.

— Шарфик с этикеткой.

— И по культуре он выделялся. Разговор такой, сами понимаете. Перстень на нем золотой, с большим камнем. Шофер первого класса.

— Васёк пищит.
(О кошке)

— У меня к кошкам серое отношение.

— Какие события разворачиваются? А вот какие.

— В 38-ом году захожу я в магазин, беру поллитру—нет, взял я две четвертинки, помню...

— Тары-бары, сарай-амбары.

— Закрой кашеглотатель!

— До сих пор не могу вложить себе в рамки, как все это произошло...

— А он каким-то способом остался жив.

— Тут не зависит от головы.

— Инстинкт свое играет.

— Ну, конечно, внутри у меня все волнуется, а на лице ничего не видно. Говорю: ноги мои, ноги, несите мою задницу!

— До гробовой доски наших детей!

По радио — женский смех. Как соловьиное пение. Ни от чего. Женщины любят смеяться. И даже существует особый сорт — хохотуши. Есть в этом что-то непостижимое. Холодное. Смеяться ни от чего. Это, наверное, какой-то физиологический смех. Как щекотка. Смех в отсутствии юмора. Как внешний раздражитель.

Зато как вполне прекрасна беспомощная косолапость детей. И во сне мы тоже часто спим косолапо, пятками врозь, уткнув коленки...

За эти годы так устал от людей, что, бывает, зайдешь в секцию, и по телу физически, волнами разливается блаженство: она — пуста!..

Но что меня выводит из себя, так это — ноги. Когда человек молчит, болтают ноги. Они притоптывают в такт радиопередаче, и без такта, просто так, у глухонемого ноги ораторствуют. Не посидят ни минуты спокойно. Тело спит, а ноги беснуются. Тело лежит на лавке, а одна нога сползла на пол, осмотрелась, освоилась и начинает выбивать четечку. Узнаю — по ногам. Вон — знакомый ботинок, а вон — сапог. Каждый топчет свое. Солдаты. Мало им шума, подавай барабаны. Чтобы читать и писать, мне хочется быть глухим.

...Космография Средних Веков прекрасно представлена в душеполезной повести Никодима, тиникариса Соловецкого, — «О некоем брате». Там Архистратиг Михаил водит душу грешного монаха по небу и преисподней, а тот затем

чистосердечно повествует братии обо всем увиденном. Сперва они поднимаются, минуя облака, и выше — твердь ледовидную, и выше — воды, лежащие над твердью и облаками, пока не достигают небес, расступающихся, чтобы открыть им зрелище неизреченного света. Потом они опускаются на землю, и под землю, проходят нижние воды, лежащие под землей, и попадают в темную область неподалеку от адского пламени. Там несчастный монах молит отпустить его на покаяние, и по знаку Архистратига разом распахиваются все этажи Вселенной:

«...И возвед очи свои выспрь, и абие разступися вода и земля горе, разступишася же облацы и твердь и воды, яже выспрь, и небеса якоже трубою вверх. Архангел же горе зря, такоже и аз воззрех, и видех вверх, яко трубою, даже до онаго неизреченнаго света, его же прежде на небеси видех, не слышах же его глаголюща что».

Разверзшееся трубою пространство являет точную копию обратной перспективы в иконе. Да и все описание очень похоже на композицию Страшного Суда.

Вообще большие пространства — небо, поле — открываются даже в нашей действительности скорее в обратной, нежели в прямой перспективе. Мы-то крохотные, а пространство громадное и, чем дальше, тем больше и шире — выспрь. Раструб трубы разверзается вдаль, и, чтобы передать эту трубную музыку, приходится и ближние вещи разворачивать в том же ракурсе: из подземных глубин — к неизреченному свету.

...Если католичество живет и дышит под знаком Отца, если протестантизм отдает предпочтение Сыну, то православие вольно или невольно ставит акцент на третьем сочлене Троицы — на Св. Духе. Образ Пресвятой Троицы (недейственный без третьего Лица) приобрел у нас особый авторитет, как и праздник Троицы, приуроченный ко дню сошествия Св. Духа. Поэтому и спор о «Филиокве» («и от Сына»), введенном на Западе в дополнение к Символу веры, был столь суров, радикален, что повлек разделение Восточной и Западной церквей. Православие в этом пункте усматривало умаление Св. Духа, который в новой редакции оказывался как бы ниже второй ипостаси — Сына.

С этим незначительным, на современный взгляд, эпизодом — смещением акцента в пользу Св. Духа связано очень многое в религиозной и исторической жизни России: и то,

что от Троице-Сергиевой лавры пошла Московская Русь, и что самой знаменитой русской иконой оказалась рублевская Троица, и что повелось у нас старчество, и был Серафим Саровский...

Наша русская чувственность в отношении к чуду, иконам, мощам, обрядам питается осязательным, вплоть до магических импульсов, приятием Духа Святого, Господа животворящего. Его разлитие в мире, приуроченное иной раз к часу праздника-таинства (Крещения, Троицы, Пасхи Христовой), вовлекает всю тварь и плоть земную в круг духовных стяжаний. «Языческие» и «пантеистические» смещения в русском христианском сознании в основе своей православны: Дух мы склонны воспринимать столь же реально, как плоть.

Религия Св. Духа как-то отвечает нашим национальным физиономическим чертам — природной бесформенности (которую со стороны ошибочно принимают за дикость или за молодость нации), текучести, аморфности, готовности войти в любую форму (придите и владейте нами), нашим порокам или талантам мыслить и жить артистически при неумении налаживать повседневную жизнь как что-то вполне серьезное (зачем? кому это нужно? надолго ли? надоело! сойдет и так!). В этом смысле Россия — самая благоприятная почва для опыта и фантазий художника, хотя его жизненная судьба бывает подчас ужасна.

От духа — мы чутки ко всяким идейным веяниям, настолько, что в какой-то момент теряем язык и лицо и становимся немцами, французами, евреями, и, опомнившись, из духовного плена бросаемся в противоположную крайность, закостеневаем в подозрительности и низколобой вражде ко всему иноземному. Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Слово для нас настолько весомо (духовно), что включает материальную силу, требуя охраны, цензуры. Мы — консерваторы, оттого что мы — нигилисты, и одно оборачивается другим и замещает другое в истории. Но все это оттого, что Дух веет, где хочет, и, чтобы нас не сдуло, мы, едва отлетит он, застываем коростой обряда, льдом формализма, буквой указа, стандарта. Мы держимся за форму, потому что нам не хватает формы, пожалуй, это единственное, чего нам не хватает, у нас не было и не может быть иерархии или структуры (для этого мы слишком духовны), и мы свободно циркулируем из нигилизма в консерватизм и обратно.

Отсюда же в искусстве — разительное отсутствие скульптуры (может быть, больше других искусств предполагающей

осознание формы) — это при нашей-то телесности, «идолопоклонстве», при всех запасах Эллады (кстати, не возродивших скульптуры и на православно-византийской основе). Мы восполнили этот пробел разлитием песни и живописи (течет). К ним подверстываются (при соблюдении чина) нарушение иерархии жанров, вечная жажда русских авторов написать вместо романа евангелие, наши вечные неладьи со строгими литературными рамками, неразвитость новеллы и фабулы, аморфность прозы и драмы — духовное переполнение речи... Нам до смешного хочется сразу сказать обо всем.

Отчасти те же черты проявились уже в Византии. Западному: сюзерен и вассалы — противостояло восточное: государь и холопы. От государя ожидается не гарантия (закон), но амнистия (милость, отпущение грехов). Царь, как Божий наместник, не нуждается в доказательствах, перед ним все равны, как перед Богом (холопы): на практике — произвол, в идее (в духе) — Царство Божие на земле. Отсутствует лестница ценностей, абсолютный верх и абсолютный низ (при случае они могут поменяться местами), все держится на одном обожествленном лице Базилевса. Кого хочет милует, кого хочет казнит, сам едва передвигаясь под тяжестью одежд и регалий (короста роскоши вместо формы), выстаивая часами положенный караул — представительный манекен Божества, нет его выше, страшнее — нет бессильнее, ткни его пальцем — никто (только Символ). По бесформенному полю скачут, как блохи, выскочки, из рабов в императоры, из грязи в князи, самозванцы, кликуши, прорывы смуты, состояние катастрофы граничит с вершиной могущества.

Худо ли это? Для быта, может быть, худо, для Духа — вполне приемлемо (более, чем западная комфортабельная форма, законность).

Средневековым огородам Европы противостоит на Востоке равнина, на которой люди под ветром жмутся друг к другу — равны, доступны, обшительны, земляки и соседи. Земляк! Кто не земляк? (Даже косоглазый на вахте казах и киргиз — землячки!) Какое емкое слово! Родство не по крови, по месту жительства, а место то простирается по всей евразийской равнине. Нет, дом мой — не крепость (крепость лишь в духе). Одушевленная материальность — земля. Даже не семья — добрососедская грязь и тепло бока, панибратство вперемешку с предательством, всеобъемлющее слово «земляк», круглый храм с мирообъемлющим куполом.

«Идеалом семейных отношений в Византии,— пишет современный ученый,— была не римская неограниченная и беспрекословная отцовская власть, но неразрывная духовная близость супругов: „словно не две души у них, а одна“».

Прочел, и словно опять повеяло Духом. Земное, отдаленное эхо к духовным упражнениям старцев. «Повесть о Петре и Февронии» — ее можно включить в первую пятерку произведений Древней Руси — вместо Тристана с Изольдой (с их готическим томлением и поисками возлюбленной, с вечным вожделением достичь недостижимое — Фауст), взамен куртуазной лирики, рыцарской (à la шпиль) страсти к даме. Почти старосветские помещики, Адам и Ева, чье мещанское счастье освящено и облагорожено тем, что уютное гнездышко вьется посреди пустыни и губительных вихрей, когда духи с цепей сорвались, и плывет по житейским волнам последним ковчегом, прибежищем человека. И какая редчайшая связь иконописания и сказки, обычно идущих поодаль друг от друга, а тут вдруг сошедшихся на любви к мудрой жене. Я не знаю сильнее произведения, посвященного узам супружества, чем «Повесть о Петре и Февронии», вся перевиная нитью судьбы и пряжи, от встречи до последнего вздоха, до точки, поставленной иглою Февронии, которую та перед смертью воткнула в недошитый воздух и обернула старательно ниткой, — как сподобился автор не упустить эту нитку, иголку в стоге сена, в тексте их совместного жития и успения?..

...Все идет колесом, через запятую — солнечные дни, сигареты в ярких обложках, твое бледное личико в окне вагона, просохшие тропки и снег в запретке.

10 апреля 1970.

- И гром уже прогремел над голым лесом.
(В ознаменовании засухи)
- Внезапно смертный.
- Поручись за него в трех экземплярах.
- Кирюха, которого по суду расстреляли.
- Спалился на персылке.

— А ему уже четвертак корячился.

— Каждому понятно — как 12 часов ночи.

— ...Чем быть в тягость. Я лучше исчезну, как привидение.

— Пустыня, где даже красный камень не растет.

— От роду двадцать лет, а кровь не греет!

Мать уже старушка, но чувствует себя ничего еще.

— Я был тогда совсем клопом.

— Как я его любил! Как маленького пацана! Поднимешь рамку — на пятьсот метров бьет без промаха!

(Револьвер)

— Была у меня девка. И я думал: нету ей счастья, и мне нету счастья. И не какая-нибудь профура. Рыжеватенькая. Вот такого росточка. Но — характер!..

— Баба такая, что не дает выпить. Ну, я ему устраивал...

— Дети у них — Игорек и Валерка.

— Драться я не люблю. Безнравственно — раз. Судить будут — два. В-третьих, человек все-таки. Жалко как-то...

— А ты не vznikай!

Приятный разговор о лошади, которую надо кормить, потому что она нам возит обед, а сама худая. Но мы-то, где можем, мы должны быть справедливыми?!..

У лошадей всегда непроницаемое выражение. Они и смеются и плачут с невозмутимым видом. Но мимика у лошади

переселилась в ушки. Ни минуты не постоят — так и скачут, и крутятся, и сигналият в разные стороны. Одно удовольствие на них смотреть. Этакая подвижность на уныло-меланхолическом, немного брезгливом фоне морды. А вся душа в ушах — тревожная и певучая.

Мы со страстной субботы твердо перешли на тепло. Об этом вернее всех оповестили пчелы. — Пчелы прилетели — значит, зима уже не вернется! — это я услышал три дня назад и удивился сочетанию: грачи прилетели. Только пчелы — тверже.

По радио передали, что Тур Хейердал отправляется в плаванье на папирусной лодке «Ра-2». И ты, Брут? А если бы ему предложили ехать по какому-нибудь арабскому маршруту, он, что, свою машину назвал бы «Аллах-4»?!

Подошел золотарь Толик и начал мне рассказывать, сколько бочек нечистот он вывез за прошлый месяц. Надо же с кем-то поделиться.

— Чеши по Чехову! (в смысле — ври, заливай).

Зато птички разговаривают по-старинному, и, слушая их, убеждаешься, что существует птичий язык, в изучении которого когда-то и состояла самая большая наука. Тут один друг видел хороший сон (ему вообще везет на интересные сны). Будто сидит на окне птица с длинным клювом, и он ей говорит, как это бывает у нас в общении со всякой живностью: — Ты меня не бойся! — А птица вдруг отвечает: — А я и не боюсь!

И с этого у них начался разговор, чем-то замечательно-важный, смысл которого, к сожалению, он забыл.

...У меня на тумбочке (чуть было не сказал — на балконе) стоит букет полевых цветов. Сегодня мы ели салат из одуванчиков. И вот уже лето проехало на тройке гнедых коней: Июнь, Июль, Август.

7 мая 1970.

Холодно. Идут тучи, похожие на копоть и дым пожаров. Картина неба дает простор полю древних сражений. Не на этом ли покоилась вера в Перуна, когда человек чаще смотрел вверх и видел на небе знамения столь же отчетливо, как мы в темноте на экране смотрим кинохронику? Перун, разумеется, связан не с обособленным фактом грома и молнии.

но с общим контекстом неба — со зловещим воинством туч, ведущим осаду заоблачных городов-крепостей, с периодическими сдвигами в Солнце, Луне и звездах, более разительными в ту пору, когда земля лежала в сырой неподвижности и только небо, испещренное кометами и зарницами, стояло, кажется, ближе к динамике исторической фабулы, чем к жесткости природы.

У Авраамия Палицына в Сказании об осаде поляками Троице-Сергиевой лавры с точностью в описи всех попаданий представлен артиллерийский обстрел. Ядра исполняют роль экскурсовода — по святым местам. «Во время же псалмопения внезапно ядро удари в большой колокол, и сплыв в олтарное окно святых Троица, и проби в деисусе у архистратига Михаила дску подле праваго крыла. И ударися то ядро по столпу скользь от левого крылоса и сплы в стену, отшибесе в насвещник пред образом святых живоначальных Троица (уж не Андрея ли Рублева?!) и наязви свещник, и отразися в левой крылос и развалися. В той же час иное ядро проразил железныя двери с полуденныя страны у церкви живоначальных Троица и проби дску местнаго образа великаго чудотворца Николы выше левого плеча подле венца; за иконою же ядро не объявися».

Замедленная и старательно подсчитанная архитектоника ударов делает в тексте погоду и создает своего рода чертеж фиксированных перетяжек, скрепляющих войну и икону, историю и живоначальную Троицу. Так пишется протокол на месте убийства — с подробным перечнем всех нанесенных телу увечий. Драматизм события усугубляется тем обстоятельством, что обстрел ведется не когда-нибудь, а 8 ноября, в день Собора Архангела Михаила, в момент праздничной службы, по молящимся, просящим защиты у тех же икон, по которым стреляют. И мы не знаем, читая, куда качнется и перевесит качание ядра-маятника и что ужаснее: то, что Архистратиг Михаил молча сносит удары (не может, не хочет ответить?!), или то, что нагнетаемое врагом святотатство отзовется с гаком, — и сами качаемся между надеждой и общим плачем, прервавшим церковную службу.

В тот же день ядром оторвало ногу у клирика Корнилия, шедшего к службе в эту же церковь, и он, кончаясь на паперти, предрекал, что Архангел не оставит без отмщения кровь православных. Тоже старице оторвало руку — терпят

и люди, и доски икон, и в этом терпении ожидания нарастают волны осады.

Но обстрел 8 ноября 1608 г. имеет и более дальний прицел, занимая центральное место в повествовании Палицына, которое завязалось тоже с двойной динамики иконы — истории. Уговаривая Бориса на царство, посмели вынести чудотворный Смоленский образ Пресвятой Богородицы из Девичьего монастыря — ради узурпатора. «Двигнут бысть той образ нелепо, двинута же и Россия бысть нелепо».

С этого сдвига иконы и начинается Смута.

Чудов монастырь, откуда вышел Самозванец, посвящен был чуду в Хонех или, как его еще называют, чуду Архангела Михаила, обратившего речной поток под землю. Тогда тот поток как бы вновь вышел из-под земли и разлился по стране, и нужен был снова приступ Архангела Михаила, чтобы успокоить чудовище из Чудова монастыря. Как все связано, как все значаще!..

В главе о добывании дров, которые находились за пределами крепости и требовали немалых жертв, Авраамий Палицын внезапно переходит на рифмованную прозу: «...Иде же режем бываше младый прут, ту растерзаем бываше человеческий труп. ...Текущим же на лютой сей добыток дров, тогда готовляшеся им вечный гроб» и т. п.

Любопытно, что именно этот эпизод повлек рифмовку. Очевидно, пикантность ситуации: за дрова платили жизнью — обернула мысли рассказчика не то что бы в игривую, но в затейливую, хитроумную форму и повела к сближению этих рядов — дрова и трупы. Напрашивается вывод, что рифма вообще любит связывать не близкие, но далекие вещи и в качестве условия требует перца, предполагает некую парадоксальность суждений, игру ума, — недаром у Пушкина рифма фигурирует как признак остроумия.

Сравнивая искусство светское и религиозное, можно заметить, что, хотя первое как будто свободнее чувствует себя искусством и предается разнообразным утехам, второе, даже отказавшись от художественных задач в собственном смысле слова, на практике оказывается искусством в квадрате и несет на себе двойную эстетическую печать. Ибо мир оно склонно принимать за икону и давать ей подчеркнуто образное истолкование. Любопытный факт в его свете обретает двойное,

а то и тройное значение, переносный смысл сгущается, взаимодействие идеи с материей принимает более гибкие и затейливые очертания, и если всякое искусство есть игра с жизнью, то там, где жизнь поминутно сверкает отблесками горней игры, искусство вдвойне играет, внося бездну движения в самые вялые формы. Ничего плоского. Все восходит-нисходит, и всякая мелочь значительна, а отвлеченное предметно, и все, к чему ни притрагивается взгляд художника, воодушевляется сознанием своего места под солнцем, и тянется к нему, и бросает глубокую тень.

Не потому ли иные великие произведения, давно потерявшие связь с религиозной традицией, типа «Фауста» Гёте или «Войны и мира»,— также прибегали к верхнему освещению? Стоит отнять у «Гамлета» тень его отца, как он тотчас исчхнет.

...Опять эта потеря места во времени. Всегда либо позже, либо раньше времени скажешь. Вот и возраст—спросят: сколько лет?—задумаюсь и не сразу отвечу: надо припомнить, подсчитать. Где-то около сорока—сорока пяти представляю, но где именно—сразу сказать нелегко. И с числами в письмах—как-то вдруг вздрогнешь, опомнишься: одиннадцатое июня?!

11 июня 1970.

Все хотелось поглубже вздохнуть и очнуться от сна—к какой-то высшей жизни.

Писать нужно так, чтобы сначала, с первых абзацев, отрезать себе путь к отступлению и жить уже по закону предложенного сцепления слов, как единственного пространства, которое ты имешь в наличии, не давая потачек надеждам на какой-то другой свет, кроме этого, довлеющего себе текста, который отныне всецело распоряжается сюжетом и речью и должен отринуть все задние мысли с порога и сжечь все корабли, чтобы действовать с несвойственной тебе самоуверенностью. Творчество—это отчаянная постановка вопроса: жить или не жить?

Поезд мчался с большой быстротой,
Рассекая морозный туман...

Та же прекрасная определенность — в формуле, которой пользуются обычно блатные:

— Держу проезд.

(Вместо — еду.)

Слово должно звучать солидно. Литературный язык — это солидная по преимуществу речь. В «Истории франков» Григория Турского есть такой эпизод. Беглецы под покровом ночи укрываются в лесу. Они третью ночь уже ускользают от погони, не евши. «Но тут по воле Божией они нашли дерево с обильными плодами, называемое в просторечии сливой. Поев и несколько восстановив силы, они отправились далее, держа путь в Шампань. Во время этого пути они услышали цокот скачущих лошадей и воскликнули: «Бросимся на землю, чтобы нас не увидели приближающиеся сюда люди!» К счастью их, тут оказался большой куст ежевики, за него-то они и легли с обнаженными мечами, чтобы, если их заметят, отбиваться от недобрых людей. Когда же и те всадники подошли к этому месту и остановились около ежевичного куста, то один из них, пока лошади мочились, промолвил: „Беда! сбежали эти мерзавцы, и никак их не найти!..“»

Три удара. Слива, столь чудесная, что, по обыкновению называя ее, следует извиниться: слива. Куст ежевики, столь неотразимо-живой, что, укрываясь за ним, можно подробно и долго — для ясности читающих — переговариваться о том, почему мы так основательно прячемся. В-третьих, пока лошади мочились, вся эта детективная сцена стала вполне достоверной.

Я влюблен в такие куски чистопородной, зернистой прозы. Из них можно было бы составить коллекцию, вроде минералов и камней, что хранились у отца в подвале в тех желтоватых ящиках. Ах, Боже мой, я их помню до сих пор — по запаху. Камни — по запаху. Они так остро и прямо пахли, те камни...

...В принципе только чудо достойно того, чтобы о нем писать, — и это знает сказка. И если уж мы взялись рассказывать обыкновенные вещи, они должны воскреснуть в сверхестественном освещении. У повествовательной речи всегда вот такие глаза.

Двум закадычным друзьям в побеге встречается на вокзале красавица и приглашает на квартиру отужинать.

Следует описание роскошного стола с взлелеянной Атлантикой сельдью и широким выбором вин. Потом хозяйка предлагает гостям снять карту. Красная? — тому отдается. Черная карта? — смерть. Вариант Клеопатры. Друзья переглядываются (оба уже влюблены), наконец, благородный герой, секунду поколебавшись, решает... Черная карта! Туз!! И вдруг рассказчик спрашивает — в тот роковой момент, когда все свесились с нар и вытаращились на черную карту: — У кого закурить найдется? — И эта остановка над пропастью развязывает кисет у самого нещедрого зрителя — его торопят, давай-давай, делать нечего, черная карта — и он лезет со вздохом за пазуху, тогда как автор небрежным движением сворачивает табак и неспеша, театрально затягивается, срочно соображая, как вывести из-под удара поставленного на карту героя.

Что представляло собой в исходе драгоценное изделие и что оно значило когда-то по высшему смыслу и классу? — дает понять нам Павел Диакон в «Истории лангобардов». Речь в данном случае пойдет о короле франков Гунтрамне, жившем в VI веке и известном своими добрыми порядками и миролюбием.

«Случилось ему однажды быть в лесу на охоте, и, как это обыкновенно бывает, его спутники разбежались в разные стороны, а сам он остался только с одним самым верным ему человеком; тут стал одолевать его сильный сон и он, склонив голову на колени своего спутника, крепко заснул. И вот выползло из его рта маленькое существо, вроде ящерицы, и стало пытаться переползти узкий ручей, протекавший поблизости. Тогда тот, на коленях которого отдыхал король, вынул свой меч из ножен, протянул его над ручьем, и по нему эта ящерица, о которой я говорю, перебралась на другую сторону. Потом она заползла в какую-то неглубокую щель в горе и, спустя некоторое время, выползла оттуда, перешла по мечу через упомянутый ручей и опять скользнула в рот Гунтрамну, откуда вышла. Гунтрамн, проснувшись, рассказал, что он видел чудесное видение. Он говорил, что привиделось ему во сне, будто перешел он по железному мосту реку и, взобравшись на какую-то гору, нашел там огромную кучу золота. Тот же, у кого на коленях лежала голова спящего короля, в свою очередь рассказал ему по порядку, что он видел. Короче говоря, то место было прорыто и были найдены там несметные сокровища, положенные туда еще в древние времена. Впоследствии король приказал

из этого золота отлить кубок, необыкновенной величины и тяжеловесный, и, украсив его множеством драгоценных камней, намеревался отправить его в Иерусалим к гробу Господню. Но когда ему не удалось исполнить этого, приказал он поставить его над гробницей св. мученика Марцелла, похороненного в Кабаллоне (где была резиденция короля); там она находится и до сего дня. Нигде нет ни одной вещи, сделанной из золота, которая могла бы с ней сравниться».

Проследим сюжетный эскиз создания драгоценного уникама: он скользит, как ящерица, описывающая сложную, но точную фигуру, возвращаясь туда же, откуда пришла. Чудо, уже немного переходящее в анекдот, в странный и удивительный случай, сопяженное с какой-то древней, языческой, может быть, праприродой души, выскальзывающей из тела во сне в виде ящерицы, разрешается созданием чудного кубка, который, как цветок на стебле, увенчивает событие, увековечивает его и возвращается по принадлежности — Богу, на тот свет, через гроб Господень или ближнюю гробницу св. Марцелла. Перед нами как бы явленный кубок, найденный и возвращенный шедевр. (И поразительно, что он открылся во сне, который с той же неодолимостью методично действует в сказке, связывая героя с источником, с магической страной или силой, с бессознательной жизнью души, которая здесь все еще норовит обернуться ящерицей, возможно в память о прошлом, животном существовании, либо о первобытном предке династии, если не о волшебном, утраченном за давностью лет искусстве королей оборачиваться зверями и гадами, чьи образы вписались в гербы стольких знатных фамилий!) Раньше этот кубок заложили бы в могилу, в курган с королем Гунтрамном — также для переправы к исходной точке, к источнику. Сверхъестественный стимул вливается в священное назначение вещи. Вещь создавалась не просто так и между прочим, но между двумя кладами, двумя захоронениями, как и жизнь человека лежала в узком промежутке — между горами-запасниками до и паки-бытия.

В приведенном рассказе, помимо того, бросается и раду-ет глаз чрезвычайно четкий, контурный, западноевропейский рисунок повествования. Как все это остроугольно и сколь иерархично: ящерица по мечу переползает ручей. У нас на Руси на той же основе получилось бы куда более расплывчато. В этом смысле Запад фантастичнее даже Востока. Здесь химеры яснее, отчетливее рекомендуют себя. Не какая-то змея — ящерица. Не вообще извивалась, но переправилась по

мечу. По железному мосту. Знала, куда ползет. Гербовость образа. Игла гравера. Альбрехт Дюрер уже здесь. На страже. Как тот рыцарь, что своевременно подал меч душе короля Гунтрамна. Как ящерица, так железно вмонтированная в человека. Как строгая — коготь в коготь — связанность рассказа.

...Средние Века в Европе костлявее и конструктивнее нашей средневековой истории. Наша, возможно, сочнее. Но даже от приземистого романского стиля веет духом стройности. У них, в Европе, больше того, что можно сравнить с прожилками листьев, с нервюрами ветвей. У нас средневековье бескостное, больше мякоти, которая потому и сгнила.

Также в европейском искусстве бросается в глаза графичность, геометрическая терпкость, колючесть изображения. Там орнамент рельефнее, тверже, структурнее (у нас — витиватее). Уже тянет классицизмом, кубизмом — означенностью форм. Вытянутые фигуры, кажется, подчеркивают не высоту, но остроту рисунка. Острые локти, острые коленки, остроносая туфля из-под платья. Экспансия, язвительность выдумки, скорпионы и броненосцы Европы. Пространство похоже на треснувшее стекло.

Для того чтобы разрезать пространство и представить в мозаическом виде, как бы заново сложенным из множества остроугольных кусков, понадобились складки в одеждах, избыточность складок, разбегающихся пучками, лучами, колчаном стрел — разграфить, не считаясь с объемами тела, с покроем платья, — нескрываемым скелетом контрфорсов и аркбутанов, скорлупой кровеносных сосудов и сухожилий храма, демонстрирующего в открытую свой стройный остов, расчлененный и сложнотрубный орган. В избытке складок усматривают подчас неумелое подражание антикам; но к складкам там независимые от античности и анатомии, самодовлеющие интерес и влечение. Им вторит многочисленность-составленность самих уже человеческих тел и фигур, собранных по частям, из кусков и блоков, аккуратно, с учетом каждого пальчика, приставленного по отдельности к рассеченному человеку, у которого — в отсутствии опять-таки интереса к анатомической стороне — прочерчена с усердием вся архитектура состава, разграниченного для начала непроходимой грудобрюшной преградой, а затем уже преподанного в целости из сочленений. Искусство здесь сродни строению на-

секомых; внутренний скелет — на поверхности; человек ли, храм ли — простирает хитином своего естества и ансамбля, как в костюме средневекового рыцаря выперло на поверхность железо.

Недаром ко двору там пришелся витраж. В витраже, помимо светописи, важна темная прорись, образованная ободком всех этих пограничных кусочков-стеклышек, собранных и одновременно раздробленных, исполняющих роль рентгена для просвечивающего скелета решетки. Смотреть витраж — извлекать из света чернеющую кристаллограмму оснастки. Средневековое искусство Европы в стилистическом выражении — это по преимуществу перепончатокрылая структура.

В византийско-русской традиции преобладает округлость, окружность. На Западе в средневековом каноне круг композиции взрыт и раскромсан прущим изнутри костяком, сонмом перегородок; рисунок стрельчат и агрессивен, как готический шрифт. Планы храмов в памяти вызывают то чертеж самолета, то проект подводной лодки. Чьи это бомбардировщики — из будущего или из прошлого полета валькирий?..

Хочешь — не хочешь, а десятилетний юбилей. На грузовике, и в чулане с тапочками — обувь. Как обвал эпохи — памятник в пыльном скверике, и пыль за грузовиком, за лафетом, и солнце. И ни души рядом. И монолог, монолог вместо залпа.

Говорят — характер. Не знаю, что такое характер. И в себе я больше чувствую не себя, а отца, мать, тебя, Егора, Пушкина, Гоголя. Целая толпа. Накладываются на восприятие, участвуют в судьбе и едут, куда нас повезут, давая знать о себе ежечасно, и если писать человека реально, то это выльется скорее в пространство — в ландшафт, в океан, чем в характер.

Тогда-то, по дороге за гробом, я понял, как много во мне отцовского...

16 июля 1970.

Исчезновение времени происходит еще по причине писем, которые так долго идут, что живешь одновременно на месяц назад и на месяц вперед. Назад — когда ты писала письмо, вперед — когда мое письмо дойдет. «Сегодняшний день» воспринимается очень общо, в смутных контурах времени года — где-то посреди лета или ближе к зиме.

— Ты мне покушать не дай, а письмо — дай!
(Альтернатива начальству)

— А имя «Маргарита» я знаю, потому что с одной Ритой переписывался.

Один заключенный писал письма «заочнице», и, поскольку не разбирался в грамматике и писать ему, в общем, было не о чем, он обычно — сам рассказывал — понапишет побольше ничего не значащих слов и зачеркнет их погуще, и так почти все письмо сочиняется — на одном зачеркивании. Так она эти темные места и на свет смотрела, и молоком размачивала, и все ей мнилось — там самое главное сказано, и она все просила его воспроизвести еще раз в письме те зачеркнутые слова. Они ей были всего слаще. Отсюда мы видим, как важен закон поэтической недосказанности.

Прекрасный анонс в провинциальном городе: «Русский богатырь Николай Жеребцов».

И выражение женской заботливости в письме лагернику: «Береги себя и застегивайся на все пуговицы».

Вспомнил твою присказку о времени года в этой части света и подумал, что новое в этих дурачествах — сентиментальный лиризм общечеловеческих стремлений сыскать какое-никакое тело голой душе. Началось, вероятно, с оборотов и надписей, типа: «Вспомни, где будешь». Зоценковские шаблоны мертвее, бессердечнее. А здесь какой-то сплошной плачущий смех...

Какие бывают письма.

«Хочешь быть откровенным? Я хочу. Дело в том, что ты завоевал расположение меня к тебе».

Бабья стилистика: не знаешь — смеяться или плакать. Смесь трогательности и наготы ужасающей, беспросветной. По радио сейчас передают арию Татьяны, и я дивлюсь — до чего похоже.

«Даю тебе твердое слово, что писать тебе буду. Но обещать тебе что-то определенное не буду, так как я не монашка. Но писать тебе буду все подробно о себе. Да к тому же правду. Хорошо? А там все будет по ходу действий».

Буду — буду — не буду — буду. Пословицы на все случаи жизни. Шаблоны. А у нее за спиною тюрьма, солидный срок: участие в грабеже — «на гоп-стоп». И лишь одна живая — переворачивающая сердца — интонация: «Не знаю почему, но я сразу тебе поверила». Манон Леско.

Еще одна теория местного сочинения. Смесь русского марксизма с матриархатом. Общение с лошастью облагораживает человека. Грубый ржаной хлеб массирует кишечный тракт, и оттого мужик здоровее и лучше барина. Баба — опора жизни, потому что ближе к природе. Баба — базис.

В восемнадцатом веке в России правили по преимуществу женщины. То не было, конечно, случайностью или капризом судьбы, поставившей на престол Самодержца почти исключительно представительниц слабого пола — в такое жестокое и мужественное, в общем, столетие. Тут чувствуется некий расчет, позволивший физиономии века принять более мягкие, сглаженные очертания. Дело не в том, что под царицей было легче, чем под царем. Но здание Петра нуждалось в обживании, во внутренней отделке, что лучше могли исполнить женщины, отдававшие больше внимания сервировке, мебелировке, кулинарии, модам и прочей домашней заботе. Правление этих варварок, падких на развлечения, наряды, маскарады, галантное обхождение, сообщало русской культуре ту естественность в усвоении западных вкусов и правил, что вынырнула Пушкина через сто лет после Петра — в живой и в то же время душистой, оранжерейной атмосфере. Даже то обстоятельство, что императрицы у нас были неважными матерями и женами, но несколько уподоблялись гетерам, искали любви, удовольствий, светского блеска и шарма, придало цивилизации бальный лоск, надолго за ней удержавшийся и позволивший ей в пустынях — в литературе, искусстве — конкурировать с пригожей Европой. Ода, посвященная женщине, сбивалась на мадригал. Восшествие Елисаветы на руках гвардейцев заставляло их проникаться духом куртуазности, мушкетерства и превращало вчерашних долдонов в кавалеров и шелкоперов. Не будь женщин на троне, не был бы создан стиль жизни «осемнадцатого столетия», начинавшийся с проблем этикета и туалета. И русский классицизм и барокко не принесли бы золотые плоды на бо-

лоте, обращенном Петром в строительную площадку. Нужны были почва—навоз—воздух, и все это сделали дамы.

— Отчего вы иногда приятнее, а иногда менее приятнее?
(Разговор с дамою)

— Минокль (монокль).

— Миндальон.

— Рыдикуль.

— Она до того входит в эстакт...

— Пойду покобелирую.

— Принимаю сеанс.

...И женщины, в позе кондоров восседающие на нарах, демонстрирующие себя откровенно и отчужденно.

А на днях мы с тобою во сне видели Гоголя, заслав в деревню, где он жил на покое, не знаю, право, на небе или на земле. Потому что Гоголь имел не совсем телесный оттенок, но скорее голубоватый, и был раза в два крупнее обыкновенных людей. Но—живой, немного грустный, погруженный в свою всегдашнюю протрацию, и мы не решились его беспокоить и любовались со стороны. Он сидел в профиль к нам, очень милый и добрый, но я удивился, какой у него, оказалось, маленький подбородок. Надежда Васильевна, сопровождавшая нас в экскурсии, сказала, что Лев Толстой лучшим русским поэтом считал Алексея Толстого, на что я сердито ответил, что это он для того, чтобы и в поэзии на первом месте стояло имя Толстого. А в деревне у Гоголя в почете были иконки, им сочиненные,—лицевой подлинник на бумажке здесь же висел на виду, пришилennyй к дощатой стене,—довольно схематическое, простенькое, чуть ли не елочкой, изображение двух святителей в рост, Иоанна Воина и, не помню, кого еще, хотя брезжило искуше-

ние выпросить у жителей листочек с наброском Гюголя, почитавшегося в своей деревеньке не то помещиком, не то блаженным...

Из письма:

«...Сейчас Егор уложен, и я опять почитала ему Киплинга. На сей раз — про слоненка. И вдруг, когда началась вся эта история с крокодилом и бедному слоненку стало очень больно и трудно, Егор прижал кулачки к носу и так захлопал круглыми, полными слез глазами, что я не выдержала и стала его утешать:

— Не огорчайся, Егорушка! Ты же знаешь, что все это хорошо кончится, и крокодил слоненка не съест. Мы же много раз читали эту сказку...

— А вдруг сегодня у него не хватит силы удержаться и он свалится в речку... И всё...»

В его пору этот рассказ и мне был тяжек каким-то бессмысленным мучительством крокодила, которое ужасно и длинно описано у Киплинга, так что у меня и сейчас сохраняется от него неприятный осадок, как если бы автор здесь слегка занялся истязанием детской доверчивости. Но какова реплика Егора по поводу слоненка, который в новом прочтении может не выдержать и свалиться в реку! То есть литературный сюжет обладает способностью вечного осуществления, для чего снова и снова требуется приложить усилие, чтобы все произошло именно так, как должно быть. Отсюда непреходящий драматизм мистерий, которые еще не известно, чем могут кончиться, если актеры не сыграют правильно роли, а зрители своим пособничеством, слезами, криками — давай! давай! — не помогут знакомому лицу и событию пройти по искомой канве. Поэтому и сказку в момент рассказывания нельзя прерывать. И потому же высшая Драма с праздниками-узлами продолжает разыгрываться всегда, а не единожды в истории. Здесь — проявление мифа, который не просто действительное, но сущее, воспроизводящееся вечно и повсеместно Событие.

28 августа 1970.

...А какой из себя Тверской-Ямской переулок? В Хлебном переулке тротуар возле нашего дома был когда-то плиточный, большими квадратами, из-под которых летом прорастала трава, и булыжная мостовая, и тумбы на всех углах, и стояли кружевные фонари с газом, и я еще смутно помню фонарщика, который всякий вечер шество-

вал с лестницей на плече и по очереди их зажигал. Поэтому сказки Андерсена не казались совершенно несбыточными.

Трубочиста, правда, и я не помню.

Почему трубочисты, фонарщики — сказочная профессия? В меньшей степени, но тоже — мусорщики. На периферии жизни? На окраине дня и жилища? Почти что в небе?..

Генераторы — тюрьма. Аккумуляторы — лагеря. Все полыхание света, выработанное там («О ночи, полные огня!»), здесь уходит под землю, на долгое сохранение. Поэтому — центр. В любом отдалении — центр. Работа, важная для бытия, для существования в целом, нуждающегося в балансе, в запасе энергии. Сладость этого вакуума, этой разреженной, как в горах, атмосферы, и тоска по ней, заранее тоска — по источнику. Вот где все производится!

Идут на Север срока огромные,
Кого ни спросишь — у всех указ.
Взгляни, взгляни в глаза мои суровые
И обними меня в последний раз.

Друзья укроют мой труп бушлатиком,
На холм высокий меня взнесут
И похоронят меня в земле промерзш(и)ей,
А сами песню запоют.

А ты не будешь стоять у ног покойника,
Глаза батистовым платком утрешь...
Не плачь, не плачь, любимая, хорошая,
Ты друга жизни еще найдешь.

Идут на Север срока огромные,
Кого ни спросишь — у всех указ.
Взгляни, взгляни в глаза мои суровые
И обними в последний раз.

Начнем с конца. Белый, струганный гроб больше похож на ладью и более подходит человеческой смерти, чем кондитерские изделия столичных похоронных бюро. В бюро у гроба делают рюш, как у торта. В лагере всё лапидарнее, проще, законченнее. Серьезнее наконец. И равнодушная лошадь с телегой, и благодушный конвойный, плетущийся за

гробом в качестве провожатого, поотстал немного, замешкавшись, то ли по скромности, для приличия, то ли ему в самом деле не до того. Ничего более достойного и правдивого в обряде похорон мне не доводилось встречать. И как хорошо: из-за железных ворот, из-за проволоки — в ельник — на волю...

— Лечебный корпус санаторного типа.

— Врач взойдет, намордник наденет и режет животяру.

— Пришли к нему разные врачи и хирурги и говорят: не по нашей линии.

Брезгливо:

— А труссы вы не снимайте. Я грыжу и так прощупаю.

Женский медперсонал. Вольняшки. Умывальник на каблучках. Сюрреалистический шкафчик. Прихорашивается — как на смотрины. Семенит. Туфельки. Носик. Титечки — носиком. Модница. Независимый вид. Дымные взоры халатников. Скукоженных мужиков. Не вожделие — зрелище, вроде кино или цирка.

— Смотри: мини-юбка!

Но медсестра — на этих мощах — распаляется. Похвсталась больному (с каким-то садизмом):

— Пройдешься под этими взглядами днем — туда, сюда. И — под мужа!..

Пишу тебе из больницы, где нахожусь уже несколько дней. Место тихое, похожее на каникулы, в миниатюрной упаковке, отчего и почерк у меня, смотрю, становится мельче. Микроклимат.

Не писал тебе раньше под впечатлением переезда. Или за пять лет я стал таким впечатлительным, что ничтожные перемены разрастаются обвалом сознания, или на самом деле это так огромно, оглушающе — переход в соседнюю зону, где за двести метров все уже по-другому?.. Озадачивает, однако, не так другая действительность, как возможность ее присутствия рядом с тобой, с перспективой ступить шаг и оказаться в новой реальности, столь же замкнутой в себе, правомочной, как и мысль о множестве

миров, подтверждаемая со страшной внезапностью... Тем отраднее было получить от тебя открытку сегодня утром. (Вот видишь: письма всегда вечером, а тут утром, точно солнце восходит здесь с другой стороны.) Тем отраднее — что, попадая в иное измерение, что ли, человек ощущает себя потерянным перед этой открытостью жизни, которая, пока повторяется, кажется невероятно устойчивой и вдруг обнаруживает способность теряться в тысяче мельчайших случайностей...

8 сентября 1970.

Исторический колорит, позволяющий воспринимать эпохи и страны локальным, монохромным пятном, в виде, допустим, восемнадцатого столетия или итальянского Ренессанса, не исключено, создается благодаря четкой границе, проведенной в географии-хронологии довольно-таки условно. А вот провели — и видим: Италия, Ренессанс. То есть — зона. Контур ее совпадает с горами и реками, веками и десятилетиями, перетекающими естественно из одного в другое, размытыми физически, но в сознании тот контур не смоешь, хотя в сущности какая разница, на двадцать лет раньше ли, позже ли родился и умер Державин, и так ли уж важен рубеж между итальянскими и французскими Альпами? Но Альпы! но восемнадцатый век! — и не сдвинешь с места, ставшего вместилищем времени, которое в свой черед обрамляется, умещается только так и тут, никуда не колеблясь, безжизненно, — пятном цивилизации, зоной страны и эпохи: от сих и до сих!

Человек в тюрьме наиболее отвечает понятию человека. Это есть, так сказать, естественный человек, самый натуральный. По той простой причине, что в тюрьме он отделён, разделён. Что там, за решеткой — свобода...

— Никак не вырвусь на свободу — кумысу попить!

Трое с носилками. На носилках труп в простыне — ясно просвечивающий. Девушка отравилась. Несут: сзади — надзиратель, и две зечки-бытовички — впереди. Одна — в больничном мини-халате, страшно испитая, в деревенском платочке, крестится левой рукой. Вторая — толстенная, принаряженная, накрашенная, пьяно голосит на всю зону: — Хотите бы мужчинским духом подышать!..

Обе хохочут. Всего нормальнее в этом шествии — просвечивающий труп в простыне.

Умиравший за неделю до смерти у другого умирающего украл очки.

Маньяк — из долгосрочных больных: каждый вечер должен, хоть одним глазком, посмотреть на покойников в морге. Особенно — если привозят свежеумершего.

— Если я на них не посмотрю — они мне во сне являтся!

Может быть, мертвые потому нас пугают, что, кажется, зорко подсматривают за нами из-под приспущенных век. Поэтому специалисты — могильщики, санитары, служители крематориев, моргов — именуют их непочтительно «жмуриками».

Служитель морга, потрошитель, долгосрочник-заключенный — Коралис. Аккуратный и черный старик из Литвы. Одинокий. Отдельная койка в сторонке. Никто не желает спать рядом с Коралисом. У него колорит средневекового палача: смесь страха, уважения и какой-то преисподней гадливости. Не человек — дуборез. Он продан за диету. Отпив спирт, выданный от трупного яда, что-то поет неразборчивое в своей мастерской. В свободные часы иногда штудирует одну и ту же книгу — так не бывает в жизни: Коралис читает «Ад» Данте...

Его не любят еще за то, что у своих же товарищей мозги он зашивает вместе с кишками — в живот. И однажды хотели бить за украденную с мертвеца рубаху.

У ботинок Коралиса — inferнально черных — ярко оранжевая — какой не бывает — подкладка.

Дни стоят прекрасные, и я провожу их сплошь на дворе, на скамейке, любуясь одним и тем же кустом деревьев, сквозь который уже начинает просвечивать реденький горизонт, и эти деревья похожи на японский букет в две или три веточки, то струящийся солнечным дымом, то служащий сестью луне, неправдоподобно большой и розовой, и длительность жизни с утра до вечера укладывается в один вздох.

...Как давно это было! Еще не заря, но заря зари, предварение. Еще не было Рождества, Благовещения. Ничего не было. У двух бесплодных стариков родилась Дочь. Исток нового времени. Сияние, первый свет в недрах ветхого храма. Слабый зайчик будущего чуда, плескавшегося покамест в домашней, не подозревающей еще ни о чем, младенческой естественности. Какая мягкость краски понадобится для этой сцены?

Почему новая эра имеет дело с младенцами? Никогда не было столько детей. Невинность и мысли о будущем как-то сплелись. Впервые — так много о будущем. Впервые — изобразительным символом, наравне с главным распятием, стало дитя, а раз дитя, то и мать, и мать — дитя. И всё к дитю припадает, так и не повзрослев.

Навряд ли это — история, будущее историческое. Они-то всегда свысока, снисходительно смотрят на ребенка, зная наперед, что выйдет из тех шагов, которые делаются во тьме неведения и для того, кто их делает, вроде бы никуда не ведут. Будущее смеется над прошлым, имея в руках всю карту-раскладку судьбы, которую действительность не видит, не понимает, предоставленная двигаться ощупью и жить сначала и заново, в чем мать родила.

Здесь же Младенец — как будто не в прошлом, а впереди, в перспективе, не росточком истории, но вечностью, Рождеством Богородицы, непрерывным напоминанием, что в Боге не затухает Дитя.

21 сентября 1970.

Живу словно на необитаемом острове и читаю мифы и сказки Океании. Они засасывают меня, как болото, полное прекрасных возможностей. Вот начало одной — из Новой Каледонии. Оно напоминает детский рассказ о карликах, у которых было много дела. И кроме того похоже — на нашу жизнь.

«Вождь Туо расчищал валежник вокруг своего дома, отбрасывал сор в одну сторону, отбрасывал в другую. Он подумал: «Что бы мне сделать, чтобы поесть мяса? Сделаю-ка я силок для птиц».

Он лег спать, а утром начал плести веревку. К вечеру он сделал силок, пошел и поставил его на большом фикусе. Потом вернулся домой, покурил и лег спать. Он спал до света, а утром встал и пошел проверять силок. Там он увидел двух крыланов. Туо взобрался на фикус, распутал их, отрезал им лапы и крылья и сбросил крыланов вниз. Потом он

спустился, поднял их и отнес своей матери. Мать взяла копалку и вырыла два клубня ямса и два клубня таро, завернула крыланов в листья и сунула все это в горшок. Она стала готовить на печи и нюхала пар, чтобы узнать, когда еда будет готова. Потом она достала еду: вот один крылан для вождя Туо, вот один для нее—его матери, вот один клубень ямса и один клубень таро для вождя Туо, один клубень ямса и один клубень таро для матери. Так они ели, пока не съели все. Они покурили и пошли спать. Утром вождь Туо встал и пошел проверять силок.

И что же он там увидел? О чем пойдет наш рассказ?

Наш рассказ пойдет о вожде Тендо, о духе, который попал в силок».

Словом, прежде чем рассказывать, нужно сперва победать. Все время ждешь завязки, а она оттягивается за счет изложения жизни, которая сама по себе важна и интересна рассказчику, обдумывающему чего бы покушать, понюхать, как бы соснуть, покурить. Гениальное начало—сквозь которое быт и сознание дикаря являются как на ладони, и все это между прочим, попутно, безо всяких стараний отображать действительность. «Так они ели, куда не съели все». И все-таки самое главное, ради чего пишутся книги и рассказываются сказки, это, поев и поспав,—поймать духа в силок!

...С летом разделались. На ближних деревьях листья сидят уже—как несколько птичек. Пора приучаться к сосредоточенной жизни на пятачке.

Но какие давние вести! Твои письма стали ходить из Москвы больше месяца, и при такой скорости до сегодняшнего дня я доберусь только в конце октября. Уже снег будет идти, когда я до него доберусь.

24 сентября 1970.

Кошка с голой, мясистой, отвратительно вырванной грудью: старуха попала в капкан—для ворон. И когда вылизывает розовую грудь языком, слышно, как он шуршит.

И снег пошел. И в нервах слышно: пошел снег.

...Утром поднялся с рассветом и пошел за кипятком, и вдруг вижу, что лес, совершенно уже осенний, светится

каким-то особым, несотворенным огнем. Вспомнив золото на иконах, можно догадаться, что лес отдает солнце, набранное за лето, и оттого становится желтым — уподобляется свету, которому так много обязан.

Интересно, почему у меня в письмах столько места уходит на природу и на погоду — потому что ее много или потому что ее слишком мало в моей нынешней жизни?.. Но помимо прочего — появилось доверие к ней — с любимыми дождями, жарой, морозом. Все эти действия ее воспринимаются как забота о нас и прямое оказание помощи. Небо теперь надежнее крыши над головой. Не в фигуральном или каком-нибудь возвышенном смысле, но в самом телесном, насущном. Шкурой чувствуешь поддерживающую руку природы. Какая же она равнодушная, когда на ней одной только все и держится? И в журналах пишут: малейший перегрев с нашей стороны, или отбросы, физика, химия — и все летит к чорту. Но, значит, по какой тропке между холодом и огнем, наводнением и засухой, по какому, точнее сказать, лезвию ножа ведет нас природа, чтобы мы жили, вот уже сколько веков, никуда не сворачивая и выбирая среди стольких возможностей этот предельно узкий и единственно правильный путь!..

...А с первым снегом всегда — детство. Такого не бывает ни весной, ни летом. Чему тут радуются люди, если не внезапному преображению, чуду?

Нужно быть скромнее и не думать, что в своем естестве мы очень уж превзошли лошадей или кошек. Мы ближе к ним, чем это кажется с первого взгляда, и это тоже неплохо. Почему лошадь можно бить, а меня нельзя? Наоборот, присутствие во мне «развитого сознания» это более допускает, поскольку я понимаю что к чему и, значит, мне легче. Если меня следует пожалеть, то скорее за мою физическую невыносимость по сравнению с лошадью. Не потому что я выше ее, а потому что слабее. Как неприлично бить женщин.

Такие понятия, как «личное достоинство», «неприкосновенность» и т. п., я ощущаю как воляпюк, общепринятый и практически выгодный, удобный своего рода жаргон или код, типа восклицаний «да что вы говорите», «скажите пожалуйста», на котором можно с приятностью объясняться, но

всерьез это понять и принять никак не возможно. В глубине нет никакого «личного достоинства».

В какой-то книге возмущаются, что Платона продали в рабство. Платона! — и вдруг — в рабство! А почему бы и нет? Разве это не подходит Платону?..

Все-таки лагерь дает ощущение максимальной свободы. (Может быть, только крытка это еще больше дает.)

...Спросили его, что же делать, если, предположим, священник обращает свои стопы духовника на стезю доносительства.

— Да что вы! Такого и быть не может! Да он забудет все сейчас же! Да ему — для такого дела — Господь уста затворит!

В молодости я представлял себе исповедника перегруженным чужими грехами лицом. Сколько он слышит, сколько помнит всего — от этого зрелища впору охладеть к людям. В действительности — не слышит, не помнит. В действительности — отсутствие задерживающего в своем решете и сохраняющего себе на потребу какие-то улики сознания. Скорее не ухо — раструб — проходом в темное небо. Скорее щель. Как пылесосом, вытягивает сор через щель, залежавшийся годами, спрессованный, отламывая комками, с гудением, — словно ветром подуло в уход, в простор, в отверстия врата, засасывающие так жадно, что следом за своими грехами, кажется, сам улетишь. Человека нет в исповеднике, и поэтому у тех, кто стоит на исповеди, удерживающий признания стыд тоже как бы стирается; напротив, торопишься ничего не забыть, выскрести себя, — и редкие реплики не оставляющего следа свидетеля, легкие вздохи, вопросы помогают освободиться, уносят. Видимый образ его в эту ночь призрачен и словно исчезает, редсеет, присутствуя более голосом, подобным античному хору, слабым стенанием, сопровождающим действие исповедуемой и отпускаемой жизни. И вот уже в себе самом ты не различаешь больше ни имени, ни личности, но только безликий хор, создающий подобие фона, на котором клубками свивается сброшенная кожа душа — на этом ветре, на этом дожде голосов...

Вот и месяц октябрь уже за плечами, такой тяжелый, что не след к нему оборачиваться, а идти и идти, не

оглядываясь, и вдруг с удовольствием ушедшего уже далеко вперед человека заметить, что темнеет рано, а светает-то вон как поздно, позднее некуда, и, значит, мы — в глубине.

Вокруг давно уж зима, небывало ранняя в этом году. Хотя далеко еще до центра зимы (звучит — как до центра земли), много проще, что она началась — в интонациях минорных, мажорных.

Сама по себе зима безусловно — в мажорных. Она удивительно молодая и сильная и возвращает к жизни...

Снег идет. Но небо и земля все еще теплые, и поэтому — идет снег. Не будь они теплыми, ничего бы не шло и повсюду торчали одни ледяные иглы.

После бани я выбросил в урну продравшиеся совершенно носки — с тем же наслаждением, как если бы сбросил со счета незаметно просиженные два месяца. Материализация времени и овестьствованная свобода. За год — за полтора до окончания срока начинают уже раздавать и выбрасывать вещи, испытывая чувство громадного, растущего преимущества. Человек готовится себя, можно заметить, к отлету. Как облегчает нам жизнь — выбрасывание вещей!

15 декабря 1970.

Всегда мне казалось, что наше существование — остров, а сейчас смотрю — материк, континент, и люди, здесь побывавшие, приехавшие или уехавшие, живущие и умершие, входят в его состав, почему этот остров растет и прихватывает пространства и дали, столь открытые умозрению, что при всей неподвижности жизни вы начинаете примечать, как создавался эпос, всегда привязанный к месту, к какому-то, в форме острова, обитавшему народу и племени, от которого ответвлялись, однако, многочисленные ручейки путешествий, караванных путей и судеб, в свой черед втекавших назад, в уже материковую зону. Связь по месту рождения, по пересечению жребия сообщала разбежавшимся лицам и мыслям родство, благодаря чему единица, включавшая память о множестве, могла сделаться центром (как это вышло, например, в Одиссее) пространного эпического материка и рассказа.

С декабрем мы перерезали зиму пополам, она упала за нашей спиной и лежит без движения, а мы по колено в снегу бредем дальше — туда к маю, к июню...

Возможно, зимние страхи тоже уже позади.

Все это немного отдает путешествием. Заранее по карте прикидываешь проливы, заторы. Январь и февраль — компактные. А март — растяжимый. Март всегда растяжимый.

VI

— Хаджи, о Хаджи!

Говорят, ты посланник Бога,
говорят, ты наследник Пророка.
Если бы так это было —
мы с тобою в темнице были бы заперты разве?

Хаджи, о Хаджи!

Говорят, ты посланник Бога,
говорят, ты наследник Пророка,
говорят, ты имам святых.
Если бы так это было —
у нас на руках эти стальные оковы были бы разве?

Хаджи, о Хаджи!

Говорят, ты посланник Бога,
говорят, ты наследник Пророка,
говорят, ты имам святых
и учитель мюридов.
Если бы так это было —
у нас на ногах эти железные путы были бы разве?

— Мовсар, о Мовсар!

В день расставания с Дагестаном
Гайрак-гора, содрогнувшись от боли, вышла нас проводить.
Тогда явилась мне мысль
одним ударом меча разбить, снести и стереть город
Владикавказ.

Но происшедшее с Юсупом-пророком,
когда одолела земная сила,—
вспомнив, я отступил.

Мовсар, о Мовсар!

В день расставания с Дагестаном
мать-земля, содрогнувшись от боли, вышла нас проводить.

Тогда явилась мне мысль
одним ударом меча разбить, снести и стереть Столицу
нечестивых.

Но происшедшее с Юнусом-пророком,
когда одолела земная сила,—
вспомнив, я отступил.

Мовсар, о Мовсар!
Я помолюсь, а ты говори: «аминь»,
и на молитву нашу пусть нам ответит Бог!—
Сказал он и помолился,
и пали, обуглившись, цепи к ногам их, и двери открылись,
и они увидели небо и широкую зеленую степь.

— Теперь ты свободен, Мовсар!
Пусть в Дагестан открыт, и нет на нем никого, кроме Бога.—
И заплакал Мовсар и к брату воззвал:
— Не делай меня несчастным, не гони от себя!
Ведь мы же братья, рожденные одною матерью, Хёдой,
и одному отцу, Киши́, родила она тебя и меня!

Потому что ты с Богом в беседу вступаешь,
полюбили тебя мы.
Ла́ ила илла-л-ла. (3 раза)

Потому что вместе с ангелами ты в круге молитву
свершаешь,
полюбили тебя мы.
Ла ила илла-л-ла. (3 раза)

Потому что рядом с Пророком ты Богу молитву творишь,
полюбили тебя мы.
Ла ила илла-л-ла. (3 раза)

Это из чеченских песен о Кўнта-Хаджи. Священные имена не принято произносить, и поэтому его, как самого высокого и чтимого в народе святого, называют чаще по-другому: по имени отца — Киши-Хаджи, или по деревне, откуда он родом,—Хаджи из Иласхан-юрта. В духовной жизни нации он имеет авторитет не менее Мухаммада, чья дочь Фатима была, говорят, подругой матери святого —Хеды (еще до рождения обеих, разумеется,—в бытность душами). Имя его более громко и значимо, чем имя Шамиля, современника и почитателя Киши́-Хаджи.

Видимо, за причастность к религиозно-национальному движению Хаджи был загочен русскими властями и отправлен в изгнание вместе со своим братом Мовсаром. В приве-

денной песне святой намекает, что ему ничего не стоило бы победить русских, уничтожив Владикавказ и Санкт-Петербург, и вообще все устроить наилучшим образом. Но его удивляет, так сказать, сознание необходимости свершившегося. Ссылка на Юсупа-пророка, то есть на Иосифа Прекрасного, очевидно, подразумевает, что тот простил своим братьям, точнее говоря, остался бездеятельным, положась на волю Господню.

В разъяснении нуждается круговая (или быстрая) молитва, которая была нововведением Кунта-Хаджи и, встречая сопротивление местных богословов и книжников, рассматривалась как величайшее достижение ислама. Суть ее заключалась в призывании и оказании немедленной помощи, почему до сих пор по отношению к своим духовным детям Киши-Хаджи сохраняет за собою право скорого помощника, играя такую же роль в жизни народа, как у нас на Руси Никола Угодник. Что же до словесного текста круговой или быстрой молитвы, то он не поддается расшифровке как своего рода священная речь. По косвенным и непроверенным данным, ее начало звучит как искажение традиционной арабской формулы «Ла ила илла-л-ла», допущенное, вероятно, Киши-Хаджи по безграмотности. Впрочем, это не исключает ее таинственной силы. Значение слов было, по-видимому, не понятно самим участникам круговой молитвы.

Песни о Кунта-Хаджи завершаются обычно концовками, в которых преобладает хоровое начало. Они могут меняться, переходить из одной песни в другую, из сказания в сказание, как своего рода общие возгласы и крылатые заклинания.

Твоих дней богословы твоими врагами были,
Науку твою не записывая, они зло творили,
Что учитель твой сам Пророк — они не знали.
Да сохранит тебя Господь, Божий посланник.

Великий Хаджи из Саясана сказал при виде богословов, листавших свои книги в безуспешных поисках круговой молитвы, которой учил людей Хаджи из Иласхан-юрта:

— Если бы все воды земли превратились в море чернил и писать следовало бы всеми деревьями и всеми травами мира, то много ли удалось бы набрать оттуда кончиком иголки? Вот ровно столько же дал Господь мудрости в руки богословов, тогда как весь остальной

океан сделал достоянием святых. Так неужели вы посмеете утверждать, что в целом море не найдется того, что вы не нашли у себя на острие иглы?!

Этой молитвы правильность отрицая, не делайте себя
несчастливыми.

Этой молитвы святость отрицая, не становитесь
безбожными.

О древнем царе-мудреце Нуме Плутарх сообщает, что тот повелел похоронить себя вместе со своими сочинениями, смысл которых предварительно растолковал жрецам. Самих же текстов он им не оставил, «считая неподобающим доверять сохранение тайны безжизненным буквам. Исходя из тех же доводов, говорят, не записывали своего учения и пифагорейцы, но неписанным передавали его памяти достойных».

Подобные соображения напоминают, что в прошлом высшая мудрость вообще не подлежала записыванию, но передавалась изустно. В чем причина разделения истины и книги, которая ведь тоже несла тогда не вымысел, а сущую правду — только, может быть, не в ее изначальном содержании, которое как бы что-то теряет, если его записать? Или виною тому безразличие книги к читателю, ее готовность общаться с первым встречным, тогда как глубина нуждается в глубоком восприемнике? Или требовалась гарантия безобманного извещения, которым может быть только живое свидетельство? Или сказывалось законное недоверие к мертвому слову, которое сковывает, уничтожает тем уже, что закрепляет сказанное, и не подходит голосу мудрости, настолько живому и вдохновенному, что любая жесткая форма становится здесь искажением? Отказ от буквы ради духа, который дышит, где хочет, и сам найдет, когда понадобится, себе убежище в ученике и позаботится о потомстве новым нисхождением истины. (Добавим сюда ограниченность речи — в особенности речи начертанной — в передаче несказанного и значение тишины. Не слышится разве в стихах — тишина? Стих не только чередование звуков, но больше — организация пауз, устройство тишины и молчания.) Истина беззаботна о будущем, все ее мысли о ближнем, о здешнем, вот об этой горстке знакомых, кратковременно-вечные встречи — как отец в общении с сыном, играя с ним, его научая, не станет записывать даты и правила. Запись — уже иная задача, не общения, сохранения, памятник, закон, хронология, точность сводов, фактов, имен — выполня-

лась обычно оставшимися без наставника, без отца. Живой с живыми — зачем фиксировать? Фиксируют живое — мертвые.

Какую форму могут иметь книги? Пульсирующего сердца, допустим, разгоняющего текст сразу по многим дорогам. Или — уходящей дороги, по которой автор уходит по мере того, как течет рассказ, и он уходит следом за текстом, пока не исчезает из глаз, восхищенный физически в одушевленное удаление книги, которая, заполучив его душу и тело, обыврается крупными буквами, высекаемыми через силу, по-детски, взяв ручку в обе руки, почти с того света, — короче, автор себя исписывает в материальное образование книги, которая уносит его за собой и теряется в молчании.

Сложим бумажку пополам, потом согнем в четвертушку, потом еще раз аккуратно согнем и разрежем в одну восьмую листа, и на свежей, такой небольшой и приятной по виду страничке, в этой книге, точнее сказать, полученной хитроумным путем, напишем буквами четыре слова, и этого хватит, я уверяю вас, нам этого хватит...

Вот и наступил он, мягкий и вкрадчивый месяц-февраль.
31 января 1971.

Странно, но моя болтовня в письмах в значительной мере не речь, но слушание, прислушивание к себе. То с одного краю, то с другого. А вот что ты скажешь на это или на то? Мне важно, когда пишу, слышать тебя. Язык как средство улавливания, выслушивания. Язык как средство созерцающего молчания. Абсолютно пустой. Силки, сети. Сетка речи, брошенная в море молчания с надеждой вытащить какую-нибудь золотую рыбку. В какую-то паузу, в какую-то минуту безмолвия рыбка вытаскивается, но слова здесь ни при чем. Они лишь помогают расставить паузы. Ими мы только заговариваем зубы себе, открывая доступ к совершеннейшей тишине.

...После шмона, взамен изъятой тетради, соседи по секции подарили мне целый рулон бумаги — прекрасной оранжевой, плотной, оберточной! и можно теперь писать по ней,

не экономя, широко, как рука поведет. И мне сразу захотелось всю ее исписать, со страшной скоростью, в восполнение пробелов, белых пятен — на желтой бумаге.

Все же пустая бумага вдохновляет, и, я полагаю, Бальзак и Дюма понаписали горы томов, потому что им повезло с запасами чистой бумаги. Она ждала и обязывала... Как загрунтованный холст в предвкушении живописца сам покрывается красками. Или как норовистый конь, в нетерпении бьющий копытом: когда поедем? Жаждащее путешествий пространство. И как чудесно, что она не белая, а цветная, словно наделенная готовым фоном, на котором остается лишь выявить и уточнить кое-какие фигуры. На оранжевой бумаге черные буквы смотрят так зорко, так красноречиво!.. Уже резать этот рулон на полосы и лоскуты огромное удовольствие. А что начнется, когда начнешь, задыхаясь, на ней писать!..

...Было бы неплохо когда-нибудь написать о «Гамлете» — как он воспринимается с дальнего расстояния, откуда не то что подробности, но главные лица мутнеют и расплываются, и, значит, можно попытаться схватить общую мысль и атмосферу произведения, которые только и осели в памяти с того дня, когда я читал эту вещь последний раз, лет пятнадцать-двадцать тому назад. Тогда, если бы я отважился высказать суждение о таком огромном и незнакомом предмете, стоило бы для начала признать в нем не писателя даже, но скорее учителя жизни, каким он оказался чуть ли не для всего нового времени, вот уже несколько столетий собирая толпы учеников, как ни одно художественное творение на свете. По-видимому, это вызвано тем, что Гамлет поставлен перед необходимостью решать вопросы, на которые до него уже давался ответ строгим старинным укладом, пока он вдруг не распался и не рассыпался в прах, бросив человека на произвол судьбы, в положении потерпевшего, голого, свободного и призванного восстановить справедливость с ситуации потерянности, внутренней и внешней разрухи. В этом смысле Шекспир совсем не ренессансный, но средневековый автор, посланный утвердить старый закон в новых условиях, когда закон, как дерево, должен вырасти наново и должен быть пройден и найден ходом живой судьбы, воли и ума человека, обязанного самостоятельно, на собственный страх и риск, пройти и выполнить то, что раньше делалось просто, по обычаю и традиции, под диктовку окружающей жизни, среды, семьи, теперь потерявших

смысл и нуждающихся в восстановлении закона и долга методом личного пути и развития. То, что в Гамлете видели время от времени слабовольного неврастеника, который, ничего не делая, обо всем рассуждает (проявляя, однако, заметим, бездну энергии и находчивости, среди массы вариантов сумев избрать наилучший, единственно правильный выход),— было следствием вверенной ему миссии заново найти и осмыслить весь путь, который ему должно пройти, придав нравственным догматам зрелось личного поиска. После того, как мать изменила отцу, став женою братоубийцы, все в мире стало подозрительным и доступным, мир открыт катастрофам, богохульству, предательству, и все в нем требует сомнений, проверки, которую и производит Гамлет, начав с проверки истинности самой заповеди отца, переданной ему неожиданной и подозрительной тенью. Присмотритесь, как накладываются, расходясь и совпадая, закон (буквально, автоматически и поэтому плохо исполненный Лаэртом, и так виртуозно и музыкально разыгранный Гамлетом) и свобода героя поступать, как ему вздумается, превратившаяся в обязанность действовать наилучшим, наитончайшим образом; как связаны мнимое и подлинное актерство героя, его искусно разыгранное и подпирющее изнутри сумасшествие и сумасшествие жизни, в которую он угодил, всего лишившись затем, чтобы вырасти принцем — из отпрыска царских кровей в художники и властелины судьбы. Накладывающиеся и распадающиеся, чтобы снова сложиться, эти планы бытия, завихряясь вокруг фигуры Гамлета, обрисовывая ее, создают ощущение множества оболочек, которыми она словно дышит, окутываясь собственными отделившимися образами, и принимает всякий раз неокончательный вид и характер, но дымящийся в будущее очертание, в соответствии с ненавязанным тождеством вырастающей души и закона, которое еще нужно достичь. Гамлет настолько не установлен заранее, но нищ и обширен, зыбок и открыт в своем облике, что мы абсолютно не знаем, что он сделает через пару минут, и нам нужно с ним всякий раз заново и лично решать, как ему быть и что делать, чтобы исполнить задачу с той артистической грацией, в какую только может сложиться естественное единство лица — разума — воли — таланта — вкуса — инстинкта — долга — судьбы. Гамлет открыт всему человечеству. Им может, в принципе, оказаться каждый. Гамлет для нового времени — средневековый рыцарь, внезапно лишенный всех своих старых запасов и вынужденный вплавь пересекать море истории. Кто из новых героев обладает бóльшим авторитетом для нас, основанным

единственно на внутренней музыке образа? Почему он объемлет собой первого интеллигента в высшем значении слова, истинного аристократа в нравственном смысле, всякого принца, рождающегося в неустроенном мире не для того, чтобы стать королем, но — выйти и, без подказок исполнив предназначение, сложить свою голову принцем? Шекспировская эскизность есть следствие того же учительства, которое не задает уроков, но проверяет жизнью, на ощупь, — на все случаи жизни.

...Как пронзительно холоден март — не сейчас только, а вообще, всегда, всякий март. В январских морозах чувствуешь радушие, широту натуры. Но мартовские ветры до костей приводят в растерянность какой-то уже совершенно бессмысленной, необъяснимой злобой. Март в лагере мне хорошо запомнился, и я уже знаю его каверзный нрав — зимы впереди еще целое поле белого снега. А я жду, когда он немного потает: две пришедшие в ветхость рубашки не терпятся разорвать на носовые платки.

2 марта 1971.

Первый весенний день. Как-то не верится: и солнышко припекает, и слегка закапало. Какая-никакая худенькая весна показалась. И с весной небеса поплотнели и отвердели, оформились, появились розовые и фиолетовые полоски, на фоне которых серая масса деревьев смотрится с отчетливостью прямо-таки орнаментальной. В общем итоге заметно, что деревья составляют средний, между небом и землей, простенок, из чего следуют два вывода.

Во-первых, разделение Неба и Земли — первое условие возникновения и существования мира. Об этом говорят Ново-Зеландские мифы: пока Небо и Земля пребывали слитными, была тьма; с разделения начинаются свет и жизнь, хотя это им, Земле и Небу, в обиду. Интересно тоже, что Мать от Отца, Землю от Неба никто из детей не мог оторвать, кроме их сына и бога, ведающего лесами, растительным царством со всем живым населением. Таким образом, видна, во-вторых, промежуточная, срединная роль деревьев. Поэтому, вероятно, деревья и воспринимаются нами как что-то очень нормальное, естественное, устойчивое. Естественнее дерева нет ничего на свете. Они нашего — среднего — поля ягода. Они — мера мира, а значит, и норма. Дерево как промежуток составляет дорогу с Земли на Небо (проросший гроб). И тот же срединный образ (аршин) взят

за основу в общей экспозиции космоса: мировое древо. Все три мира (подземный, земной и небесный) мы постигаем с помощью выкроенного из середины — из нашей середины — отрезка. Древо с нами вровень. Как человек мера вещей, взятых в отдельности, так древо мера в пути и в охвате.

6 марта 1971

...Никто из современных поэтов не обладал столь живым и непосредственным, врожденным чувством истории, как Мандельштам. Это не историзм археолога или коллекционера, эрудита, пассаиста, романтика, и совсем не интерес современника великих событий, измеряющего свое собственное и этих событий достоинство сравнением с великими, апробированными именами. Мандельштам живет в истории, как в воздухе, который дан — подарен и задан, из которого не выйти, в который не войти. Он обращается с ней так же свободно и естественно, как Пастернак — с природой, и прибегает не к реставрации, но к дерзкой интимизации отдаленных веков, как если бы они располагались у него под боком. Он не делал из истории отдельного блюда, но помнил о ней всегда по праву прямого родства и был чужд футуристическим ужимкам XX века, лишь подчеркивающим нашу оторванность и несогласованность с прошедшим. В его фамильярной общительности с образами прошлого, в исторических сдвигах, смещениях, свидетельствующих об отсутствии того священного трепета, который свойственен людям, превратившим реликты в реликвии, жизнь в поклонение вещам, есть вместе с тем мера, какой обладает лишенный натянутости, но любящий и почтительный сын. С историей он находится на равной ноге, как с современной эпохой, и лишь наша ненормальность, проявляющаяся либо в безродности, потерянности, либо в обожествлении старины (что методом от противного показывает на то же отсутствие свободного и естественного к истории расположения), мешает нам без запинок усваивать взгляд Мандельштама на вещи, лежащие для нас как бы на разных полках сознания.

Иллюстрацией могут послужить воспоминания о нем художника Вл. Милашевского. О Мандельштаме так мало известно, что любое слово дорого, но в данном случае мемуарист перешел к обобщениям как бы от лица интеллигентской элиты начала 20-х гг. — по поводу стихов Мандельштама.

«Он казался выходящим с другой планеты

Само мышление, строй его образов были непривычны.

Лист гербария и лист на дереве! Живой, влажный кленовый лист, лист естественный, почти не обращает на себя внимания. Но этот же лист в гербарии поражает своими остро-дьявольскими, изощренно-колкими очертаниями. Он фантастичен, почти страшен! В нем можно усмотреть и шпили готических соборов, удушливое гетто средневековья, костюмы Мефистофеля и доктора Фауста. Зеленый же лист прост, как народная песенка.

Искусство Мандельштама — тоже какая-то «сухая ветка», основа его — некая отчужденность от всего того, что для других насущная жизнь, жизнь мира» («Звезда», 1970, № 12).

Я думаю, что чувство «гербария», «сухого листа», «марсианина» в общении с Мандельштамом проистекало не из его отчужденности от мира и жизни, но, напротив, — необыкновенной способности видеть в текущей жизни историю и жить не просто на свете, как все живут, но в исторической жизни, в воздухе века. Обычно история предстает как что-то, нас не касающееся, с нами непосредственно не связанное, за исключением, быть может, отдельных, дорогих нашему сердцу имен («— Но то же история!» — вскричал возмущенно начальник, когда ему напомнили по какому-то поводу, что Римская Империя в конце-то концов развалилась). История обычно — не живое, как мы, но окаменевшее где-то позади, в виде хронологических таблиц и учебников, тело. Для Мандельштама история — реальна, проста и сложна, как наша жизнь, и поэтому, в свою очередь, наша жизнь ему исторична. Мы делим время на живое растение (когда мы живем) и гербарий (древность), а гербарий у Мандельштама рос уже в нашем лесу («Страусовые перья арматуры», «Ассирийские крылья стрекоз»), а ветхая древность цвела живым Саламином.

В этом смысле я не знаю другого, более дояльного к современности поэта, увековечившего эпоху в иероглифах исторической жизни. В крови действительности, как она есть, он исхитрился выделить известь и, не повредив тканей, снять с ее помощью живой и четкий слепок с эпохи. Здесь проявилось не так мастерство поэта, как его искусство жить в человечестве вполне конкретно и целостно, опираясь ногами в землю людей, которые жили до нас. Связать песенкой распавшуюся связь времен и вдруг, не спросясь, оказаться в океане единого для всех поколе-

ний пространства и единого времени. Отчего он и числился каким-то чужаком, будучи всех ближе к нестареющей семье человечества.

Егор написал в письме:

«Я хочу, чтобы ты мне нарисовал меня, а я тебе нарисую мяч».

Бесподобная фраза по изяществу композиции. Ожидать: «а я тебе нарисую тебя». Ан совсем и не тебя, а — мяч. Так и летает этот мячик из одного конца фразы в другой...

11 марта 1971.

На днях, посмотрев на лес, который всегда был далеким и недоступным, я вдруг подумал, что это мой лес, и удивился такой свободе мыслей. Что значит весна. В последний год, полагаю, мне будет уже не до этих тонкостей. И вот предпоследняя весна уже делается постепенно моей, как будто мне завтра на волю.

11 марта 1971.

Март выдался труднее февраля, и нужно переехать в апрель, чтобы избавиться от этой зимы, начавшейся чуть ли не в сентябре и все еще неотступной. Признаться, от зимы порядочно устаешь. Устаешь ощущать на лице сосредоточенный взгляд соседа. Хочется смахнуть его, как муху, а он ползает и мешает писать. И даже получая великолепные Егоровы письма, я не решаюсь их сразу читать: на эти необычно крупные буквы насадут мухи.

А месяц апрель рисуется нежным и сиреневым. И вот, кажется, рядом уже апрель, а никак до него не дотянешься. Март мешает.

20 марта 1971.

Когда все создания Божии успокоились сном,
на разостланную к ночи циновку
присел, говорят, тот,
чью тайну да сохранит Бог.

Окинув дом печальным взглядом, взяв в руки
мотыгу,
на поле, очищенное своими руками,
вышел, говорят, тот,
чью тайну да сохранит Бог.

Снова — Киши-Хаджи. В его облике, говорят, было много странного. Одежда состояла из двух черкесок, наде-тых одна на другую, нижняя черкеска заменяла белье. На ногах сырмятные поршни. Вместо пряжки воротник у него застегивался палочкой. Ходил он всегда не по дороге, а стороной, вдали от людей. Но самое странное заключа-лось, конечно, в установленной им круговой или быстрой молитве.

От богословов и книжников к Шамилю начали посту-пать донесения, и Шамиль назначил суд. Если доносы ока-жутся ложными, он поклялся, что снимет головы с тех, кто обвиняет Хаджи. Но если сам Хаджи не докажет свою правоту, что же, в таком случае Шамиль готов объявить об этом публично.

Все — Шамиль со своим войском, богословы со своими книгами, Хаджи со своими мюридами — заняли места, и па-лачи стали на виду у всех. Богословы читали цитаты из книг, и Хаджи их объяснял, пока все цитаты не были исчерпаны. Тогда Хаджи произнес, обращаясь к Шамилю:

— Шамиль, — сказал Хаджи, — слышал ли ты, что по четырем концам земли поставлены Богом четыре Стража?

— Слышал, — сказал Шамиль.

— Слышал ли ты, что в центре земли стоит пятый Страж, к которому идут эти четыре Стража, когда соверша-ется чудо свыше их разумения?

— Слышал, — сказал Шамиль.

— Если бы тебе случилось встретиться с ним, ты узнал бы его, Шамиль? — сказал Хаджи и повернулся спиной к имаму.

И тогда встал Шамиль.

— У меня есть просьба к тебе, — сказал Хаджи.

— Я исполню все твои просьбы, кроме одной!

— У меня к тебе одна — именно эта — просьба.

— Но хоть трое из них должны поплатиться! — сказал Шамиль.

— «По вине этого юродивого из Иласхан-юрта три мужа науки лишились голов!» — станут говорить обо мне. Я прошу тебя не трогать и эти головы.

— Я исполню твою просьбу, о благословенный Ки-ши, — сказал Шамиль. — Теперь, если ты найдешь нас того достойными, сверши перед нами со своими мюридами эту круговую молитву.

И встали мюриды, и молились они своей быстрой моли-твой, а когда она кончилась, встал Великий Хаджи из Са-ясана и сказал:

— Да сохранит Бог твою тайну, о благословенный Киши! К моим мюридам лишь изредка приходящего на помощь Пророка с его апостолами из Мекки — ты молитвой, оказывается, всегда приводишь к своим мюридам.

Тогда встал Газы-Хаджи из Зандики и сказал:

— Да сохранит Бог твою тайну, о благословенный Киши! К моим мюридам лишь изредка приходящих на помощь ангелов — ты молитвой, оказывается, всегда приводишь к своим мюридам.

Эти синие небеса, Мовсар,
за твоего брата к Богу зывали.
Пусть Всевышний Господь и Пророк Его
помогут им, Мовсар.

Также ангелы небесные, Мовсар,
за твоего брата к Богу зывали.
Пусть Всевышний Господь и Пророк Его
помогут им, Мовсар.

Когда по доносу нечестивцев и книжников
разлучали Хаджи с Дагестаном, —

— Нет, я не пойду отсюда, пока не расскажу вам,
как мне досталось мое учение! —
сказал он, остановившись.

За две тысячи лет до сотворения мира
души людей были созданы Богом, мужи науки.

За две тысячи лет до сотворения мира
124 тысячи душ пророков были созданы Богом, мужи науки.

За две тысячи лет до сотворения мира
124 тысячи душ святых были созданы Богом, мужи науки.

За две тысячи лет до сотворения мира
124 тысячи священных учений были созданы Богом,
мужи науки.

За две тысячи лет до сотворения мира
Господь разложил перед нами эти священные учения
и поставил одно во главе всех, окруженное огненным
драконом,

сказав нам:— Пусть каждый выберет свою долю.—

Их брали, начиная с нижнего края,
и то, что было во главе, осталось последним,
мужи науки.

— Подними свою долю, о благословенный Киши, нет
у нее иного владельца!—
сказал нам Господь, мужи науки.

— Нет, не возьму!
День, когда души разлучаются с телом,
будет труден детям моим.
Ночь, когда человек впервые остается один в могиле,
будет тяжелой детям моим.
День Первого допроса пред Господом
будет страшен детям моим.

Если на все это время не будет мне выдано право
быстрой помощи детям моим,
я не возьму оставшейся доли!—
сказали мы Богу, мужи науки.

— День, когда души разлучаются с телом,
оставил Я за тобой.
Ночь, когда человек впервые остается один в могиле,
оставил Я за тобой.
Право помощи на Первом допросе
дарю Я тебе.—

Сказал и бумагу за подписью ангелов
Джабраила и Минкаила, Исрафила и Израила,
ватную, белую как снег, бумагу
вручил нам Господь, мужи науки.

— Во имя Господа милостивого и милосердного —
с этим великим именем Бога
ступив на огненного дракона,
мы подняли нашу долю, мужи науки.

— Эта быстрая молитва на мне и на мне
пусть будет исполнена! — сказали
высокие горы и низкие холмы,
широкие равнины и тесные ущелья.
И для разрешения этого спора
был послан от Бога ангел Джабраил.

Между высокими горами и низкими холмами
был брошен жребий, и выпал жребий Гайрак-горы.
Не мучьте меня, оставьте меня
(я ведь у вас не отнимаю право сельского муллы)
моего Бога и Пророка славить!

Между широкими равнинами и тесными ущельями
был брошен жребий, и выпал жребий Иласхан-юрта.

Не мучьте меня, оставьте меня
(я ведь у вас не отнимаю право на сиротские деньги)
моего Бога и Пророка славить!

С Востока пусть будет нам помощь, о Господи.

С Запада пусть будет нам помощь, о Господи.

В быстрой молитве с ангелов хором
пришли нам на помощь Киши-Хаджи!

Днем течет, а ночью подмерзает, и поэтому не очень грязно, и ветерок успеваает обдуть и подсушивать почву, и вся весна идет как-то по словому, в замедленном несколько, но твердом темпе. А я тем временем радуюсь расплзающимся дыркам на носках и рубашках — как проталинам чистой земли.— Быстрее расплзайся! — говорю своей одежонке.— Время не ждет, и нам некогда!

Отношения с весной в этом году напоминают мой детский способ ускорения поезда, когда, глядя в окно вагона, я часами давил на раму — чтобы быстрее ехали. Или в прошлом году тоже так было? Не помню.

— Донатович! Что такое негоциант?

— Донатович! Что такое дуализм?

— Донатович! Что такое похоть?

Еще потому так спешу дожить до лета, что надо же дать голове какой-то роздых — а то я очумел немного за эти зимние месяцы. Подумать только — можно будет весь выходной день просидеть под открытым небом!

28 марта 1971.

...А как ты однажды хорошо и проникновенно сказала в доме свиданий, посмотрев на мои шерстяные, прохудившиеся на пятках носки, что не стоит их выбрасывать, потому что все равно, и рваные, они будут еще греть. И они действительно честно служили всю зиму. Но я не к тому, а как ты это серьезно и убедительно произнесла, немного понизив голос, словно раздумывая и сообщая важную весть, как-то очень достойно, по-лагерному сказала, и я сразу поверил и до сих пор удивляюсь этому проникновению в суть — не носков, а вещей, существования в его шемящей и серьезной реальности. Покачав головой.

Но как прекрасно дожить до 31 марта! 31-е вообще лишнее число и стоит совсем уже с краю в окончании зимы, и добираться до него, как бы это объяснить, ну все равно что достичь конца какой-то земли, какого-нибудь Мыса Доброй Надежды, хотя до него, наверное, добирались океаном, а мы идем материком и вот достигли этого Мыса, с которого, кажется, можно прыгнуть — и полетишь, полетишь...

31 марта 1971.

Вечером — впервые и еще совсем ненадежно — пахнуло сырой землей, и у меня от этого запаха душа перевернулась от счастья. После столькой зимы вдруг такая пронзительная, живительная сырость. Правильно-правильно: земля — вода — змея — женщина. Правильно: сырая земля. Сырость как стихия и основание жизни. И все-таки жизнь и животность, любовь и воля больше всего другого причастны к запаху. И запах — это тоже дух, хоть и низшей породы. И уже низшие формы жизни означены духом — запахом.

Смешно постигать мифологию личным, осязаемым опытом. На ощупь. Как собственные мысли и тело. Вглядываясь в кусты, в ночь, в воздух. Но если это возможно, то в качестве условия человек должен быть всего лишен и от всего отрезан.

7 апреля 1971.

Солнце печет на холодном воздухе, и, сдается, я порядочно уже загорел. Давно не смотрелся в зеркало, но по соседним лицам заметно. Мухи на ходу оживают. Кто-то заметил, что я тоже бегаю веселее. — Вам сколько осталось?

Когда желают человеку сказать приятное, спрашивают: — Вам сколько осталось?

12 апреля 1971.

— Через девятнадцать дней мне останется ровно год и семь месяцев!

(Искусство подсчета)

Что за притча, что под дождь спится лучше? Возрастает ощущение крыши над головой. Сон как раз и начинается с того, что в засыпающем сознании образуется подобие

крыши, и это образование легче идет под дождь. Что-то вроде домика, в котором мы замыкаемся (и куда подмешивает свои чары одеяло, из которого, помимо тепла, мы предварительно извлекаем еще одну хижину-крышу). В сущности, все это — постройка нового, в другое пространство уводящего тоннеля, вокзала, откуда нам предстоит отправиться в сонный рейс. Вот отчего так раздражают, мешая заснуть, всякие шумы: они разрушают иллюзию домика, куда мы уже забрались. Сон в этом смысле — уединенное жилище души и, как всякое жилище, нуждается в повышенном чувстве уюта, укрытия, и мы поживаемся от удовольствия, вспоминая, что на улице дождь, а нас не достает, нам и не слышно, мы под крышей, мы спим.

13 апреля 1971.

А проснулись — всё бело. И окна заморожены. По пятому разу зима. И сейчас — дело к вечеру — идет крупа. Кажется, зима — не эта, следующая — начнется, минует лето.

Вчера был чистый четверг. Дивное название. И я тоже помылся в бане. В чистый четверг положено мыться — один мужик в бане это всем объяснял. — Я вчера, — говорит, — мылся, но сегодня — Чистый Четверг!..

16 апреля 1971.

Сегодня выдался удивительно тихий и светлый день. При нашей холодной весне просто чудо. На солнце. Скворцы. Дымные дали.

Почему-то в пасхальной службе, говорят, читается первая глава от Иоанна. Может быть, самое духовное из четырех и с обозначением Духа в первой же главе, по событиям, казалось бы, довольно далекой от Пасхи. Но и духовность этого дня чувствуется сильнее, чем в остальные праздники, сильнее даже, чем на Троицу. Какая-то серебристость, воздушность и легкая воспламеняемость линий. Световая сотканность дня. Духовная сотканность света. Кресало жизни. Возжечь. Но как заливаются пташки!..

Иконография. Только два сюжета: Сосшествие во ад и Жены мироносицы. А Воскресение — как бы опущено. Потому что нет и словесного текста. Темнота, тайна, нельзя. Где есть слова — там есть и икона: смертью смерть поправ. В композиции Сосшествия во ад — попирает буквально. Но

это раньше, а потом, что же было потом?! — бледный довольно слепок Жен мироносиц. На тему пустого гроба. Но высшее событие осталось вне выражения. Воскрес, ушел, но нам не дано и не надо видеть главного чуда. Потому что — главное. За текстом, вне композиций. Как центр, всегда съезжающий в лес. Источник — вне культуры. Творец — вне творенья.

И то же подобие — от первой главы Иоанна, она как-то сверх сюжета, вне измерений. «...Истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божних восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому» (I, 51). Родство не по теме — по стилю, по духу, по свету этого Дня.

18 апреля 1971.

...В седьмой раз наступила зима — до того натуральная, что вся ее белизна казалась галлюцинацией, каким-то навязчивым бредом на тему неизбывной зимы, подмывающей хохотнуть в кулачок, как это делают сумасшедшие, догадываясь о бесконечной подстроенности вещей. Какая быстрая жизнь — и быстрая, и длинная...

26 апреля 1971.

Что-то я не припомню в своей жизни, чтобы 1-го мая шел снег. А вот идет, и не то что идет, а валом валил с утра и за полчаса едва не покрыл всю землю.

К обеду потеплело ровно настолько, чтобы снег сошел, грозясь нападать в любую минуту снова, но стало видно в выставленное окно, как напряженно, отзывчиво простерлись ветки, еще совершенно голенькие, гибкие, ивовые, готовые приняться, раскрыться, забравшие в свои прутья целые кипы и клубы выпуклого, в белых подпалинах, в синих потеках неба, обращенного в запасник летнего вольного воздуха.

Птички верещат как в Зоологическом саду.

В царстве природы человек служит канонам, на который изобразительно резонирует весь животный мир и строит рожи, пишет карикатуры на своего царя и хозяина, впрок заготовленные, начиная с лягушки, безусловно на нас похожей, созданной в подначку нам, живущим сплошь в окружении таких юморесок, с преувеличенными ушами, носами, хвостами, как в обществе фамильных портретов, которые, однако, не предки, но скорые фантазии будущей физиономии, получившие выход в сказ-

ке о животных, уловившей эту комическую ветвистость жизни, принятую в науке за теорию эволюции, но сохраненную искусством в истинном виде — эскизов к тому проекту, который был задуман в лягушке и предъявлен затем образцом, человеком, в паноптикуме природы, где любая корова с козой смеются над дружеским шаржем, что так ясно и непосредственно чувствуют малые дети, избирающие птиц и зверей в товарищи уже потому, что те смешные, а значит, родня и под пару. Если бы они не были нашей пародией, возникшей, быть может, раньше оригинала, но в вящее его восхваление и узнавание, не было бы такого контакта между животными и детьми, с пеленок принимающими это сходство за приглашение к игре и веселому выяснению, кто на кого похожий. Может быть, в принципе существует всего лишь одно лицо, принятое в человеке за норму, которое себя узнает, перемигиваясь и передразниваясь в бесчисленных зеркалах животного царства. Человек в зверинце — как тема с вариациями.

1 мая 1971.

...В «Записках от скуки» Кэнко-Хоси подкупает способность видеть вещи сквозь устойчивую живописную традицию, дающая почувствовать словом, что такое средневековый японский импрессионизм даже более внятно, чем изобразительное искусство Японии, где любая фигура, вынутая из жизни, воспринимается быстро написанным, растекающимся иероглифом, какие автор не раз видел на старинных картинах и теперь безошибочно распознает и созерцает в действительности как вторичное отражение многих застывших изображений, лишь оживленных фактом живого существования. Его записки изумляют искусством переносить на бумагу куски из жизни так, как если бы они специально были к тому предназначены и заранее изготовлялись в быту как знаки японской живописи-письменности, закрепленные в сознании многократным воспроизведением самых прихотливых извивов, сопровождаемых всегда дополнительным, эстетическим прикасанием, длинным взглядом покоящихся на предмете, разгоряченных очей созерцателя. Это какой-то японский Ван-Гог, но более успокоенный.

«Что ни говори, а пьяница — человек интересный и безгрешный. Когда в комнате, где он спит утром, утомленный попойкой, появляется хозяин, он теряется и с заспанным

лицом, с жидким узлом волос на макушке, не успев ничего надеть на себя, бросается наутек, схватив одежду в охапку и волоча ее за собой. Сзади его фигура с задранным подолом, его тощие волосатые ноги забавны и удивительно вяжутся со всей обстановкой».

Кажется, этого пьяницу вы видели множество раз на старинных гравюрах — в том же самом притом повороте, уводящем в перспективу веков. Здесь постигаешь, что истинная живопись есть бесконечно продолженный, длящийся в вечности жест, приглашающий к неизбывной задумчивости, к бесконечному обтеканию взглядом всех завитков рисунка, к созерцательной циркуляции...

Недавно я обнаружил, что в стихотворении Гумилева «Заблудившийся трамвай» мелькает сцена, когда-то, в ином воплощении, разыгранная у Пушкина в «Капитанской дочке»:

Как ты стонала в своей светлице,
Я же с напудренной косой
Шел представляться императрице
И не увиделся вновь с тобой...

Машенька в «Заблудившемся трамвае» восходит, таким образом, не только к Анне Ахматовой (много позже взявшей оттуда себе в эпиграф: «А в переулке забор дощатый...») или какой-либо другой живой жене и невесте, но — к пушкинской Машеньке, невесте Гринева, фамильное сходство с которым, возможно, подсказало эту метаморфозу, подтвердившуюся смертью поэта.

4 мая 1971.

Всё так же и даже прохладно. Но яркости вдруг прибавилось в два раза. Крап-лак. И это потому — какой сегодня день? То-то. Пускай холодное, но лето с сегодняшнего дня началось.

Быть может, устойчивость праздника, его внеисторическое, непреходящее содержание закреплены еще принадлежностью к определенному времени года, твердому, вечному распорядку и кругообороту погоды, которые, повторяясь, восстанавливают событие в первоначальной ясности и не дают ему остыть и уйти. И каждый раз святой Георгий пронзает змия.

Весь день погрузка. Но как летом все-таки легче. На солнышке, на воздухе — словно на пароходе — плывем. Об-

лака несутся к обеду. Роща кружится. Океан света в подарок: живи и Царствуй!

6 мая 1971.

И верно — поворот состоялся, и мы окунулись и вынырнули посреди лета. Все-таки май самый яркий месяц из всех. То ли потому, что листва еще не застит неба и нет этой летней черноты, червивости и зачумленности в природе, то ли свет еще не закалился вполне, не зачерствел и сохраняет прозрачность, оставаясь в чистом виде белым светом, как будто даже холодным, скользящим и лишь кончиками лучей обжигающим и ударяющим, как электрический скат, — от светового избытка испытываешь сотрясение. И не у меня одного. Все единодушно подтверждают состояние какой-то опоенности светом. Как-то даже теряешься и захлестываешься в этой щедрости; не верится, что столько разом дано нам, наподобие молочных рек и кисельных берегов; и солнышко не то что греет, а прищипывает и припечатывает со всех боков и, как душ Шарко, сует иголки под кожу.

Стараюсь выставить на свет больной локоть — пусть исправится. Прижигания целительные и, я бы сказал, питательные. Что-то от растительных соков, хлорофилловых зерен распространяется по телу. Кажется, на одном этом солнышке-воздухе можно продержаться. Дни короткие и яркие, как вспышки выстрелов. К ночи спохватываешься: уже?!

8 мая 1971.

Весна привлекательна тем еще, что производит впечатление первого подмалевка. На белый или черный (уже потаявший) лист наносится самый общий контур и тонкий слой краски, которым еще суждено породить неизвестно какую живопись, которые оставляют вопрос о будущем открытым и допускают массу гипотез, фантазий и толкований. Здесь восприятие зрителя предусматривается активным, приведенное в состояние бодрствования эскизностью весны и в ожидании еще больших свершений забегающее вперед, полня воздух предчувствиями и томлениями. Весенняя дымка далее заставляет скорее угадывать, нежели наблюдать видимые перемены в природе, зовя нас к сотрудничеству, чем в сущности самоценен эскиз, имеющий преимущества перед законченным полотном.

Художественные работы Чекрыгина — уже по характеру темы Воскресения, превосходящей любые фантазии, — обязаны были остаться на уровне эскизов, дающем нам более полное понятие об этом предмете, чем всякое исчерпывающее его воспроизведение. Но в то же время сознание фрески и жадное влечение к ней должны были присутствовать в художнике, подобно тому как лето присутствует в весне, ведя ее за ручку, хотя та содержит более обещающую программу, чем все, что способно исполнить фреска-лето. Здесь фреска — почти иллюзия достигнутого бессмертия, в направлении которой пишутся листы, наиболее доступно и вместе с тем удаленно от нас демонстрирующие движение к теме, которая и может быть воплощена лишь в отдаленном к ней приближении, в тоске, стремлении и невозможности к ней вплотную приблизиться. Возможно, Чекрыгин погиб совсем не безвременно, но для того, чтобы так и застыть на границе эскиза, ничем ее не нарушив, доказав собою, что это оборвавшееся начало и было самым истинным, близким среди всех возможных лимитов постижением темы. Художник словно понял, что живопись — это черновик Воскресения, и оставил нам — черновик.

19 мая 1971.

Странное это лето. Как будто оно репетирует следующее, через год. И все примеряет, как платье, — май, июнь...
27 мая 1971.

«Некий отшельник — уже не помню, как его звали — сказал однажды:

— Того, кто ничем с этим миром не связан, трогает одна только смена времен года.

И действительно, с этим можно согласиться».

(Кэнко-Хоси «Записки от скуки»)

Наверное, так бывает потому, что смена времен года развертывается иносказанием к человеческой судьбе, достаточно от нас удаленным, чтобы невольное сходство всякий раз потрясало как художественный параллелизм. Мы стоим неподвижно, наблюдая, как вертится колесом погода, в этой изменчивости ведущая себя словно живое существо, успевающее многократно отжить, умереть и воскреснуть, пока мы готовимся это сделать. Ее верность временным переменам и закреплённость в прост-

ранстве лишь усиливают интригу, стимулируют чувство сценического единства и действия, которыми наслаждаешься, как старым спектаклем в новом всякий раз исполнении. Сплошные дебюты. Человечество в эти часы всецело обращается в зрителя.

— Не разлука ли с Дагестаном тебя опечалила?
Не разлука ли с мюридами тебя опечалила?
Не разлука ли с семьей тебя опечалила?
Сегодня я вижу тебя печальным, о брат мой Хаджи.

— Не разлука с Дагестаном меня опечалила,
Не разлука с мюридами меня опечалила,
Не разлука с семьей меня опечалила.
Сегодня Всевышний Господь говорит мне:

— Когда разлучал Я тебя с Дагестаном,
Я не жалел тебя.
Когда разлучал Я тебя с мюридами,
Я не жалел тебя.
Когда разлучал Я тебя с семьей,
Я не жалел тебя.
Сегодня Я разлучаю тебя с любимым братом твоим
Мовсаром,
Сегодня Я жалею тебя.

— Хаджи, о Хаджи! Зачем нас разлучает Господь?
— Мовсар, о Мовсар! Ухожу я к Великому Морю,
Омывающему землю. Живут там народы без веры.
Вере в Бога учить их посылает меня Всевышний Господь.

— Но если к ним, о Хаджи, тебя посылает Господь,
То что Он мне говорит?
— От доносов нечестивцев и книжников
Брат наш Висхан бежал и ныне укрывается в Турции,
С именем Господа на устах ступай к нему, Мовсар.

— «Почему ты вернулся один? Что случилось с Хаджи?» —
Станут спрашивать люди. Что я должен ответить?
— Не заставляй их ждать, обещая мое возвращение.
Не заставляй их забыть меня, говоря, что я не вернусь.—

Полдня пути оставалось Мовсару до назначенной цели,
Когда голос молитвы его первой услышала Сёда:
— Висхан, о Висхан! Или ты не слышишь молитвы?
Это же голос живого брата твоего Мовсара! —

И вышла навстречу Мовсару и, обнимая, спрашивала:
— Почему ты вернулся один? Что случилось с Хаджи?
— Дай вам Бог терпения!
Дай вам Бог терпения!

Сайд-Сéлам из Мекки, куда дели Хаджи нашего
Всевышний Господь наш,
и славный Пророк наш,
и Ангел Джабра́ил?
Ла ила илла-л-ла.
Просите вернуть нам.
Ла ила илла-л-ла.
Остались одни мы.
Ла ила илла-л-ла.

Ангелы небесные, куда дели Хаджи нашего
Всевышний Господь наш,
и славный Пророк наш,
и Ангел Джабраил?
Ла ила илла-л-ла.
Просите вернуть нам.
Ла ила илла-л-ла.
Остались одни мы.
Ла ила илла-л-ла.

Это — последнее известие о Киши-Хаджи. Впрочем, существует предание, что он до сих пор еще не умер и еще вернется, потому что ему отпущен возраст в четыре человеческих жизни.

VII

Я хожу по дому, как привидение. Но не то, которое здесь жило когда-то. Но то, какое еще придет.

9 июня 1971.

7 июня. Во сне я пел. Утром на разводе — останьтесь.
— Полчаса на сборы.
Клетка. Меня разглядывают. Четыре чемодана. Тройник. Старший конвоя:
— Куда тебя везут?

— Не знаю.
Везли, оказалось,— на волю.

Самое интересное, что я испытал в эти первые дни и недели моего освобождения, это чувство умершего, явившегося на жизненный пир.

Горбун посмотрел на меня внимательным, немигающим взглядом. Откуда он взялся в пустом вагоне Столыпина? Или у него работа такая? Или просто любопытство к едущему в клетке зверю? У него за лицом, за горбом была вражда и неприступность хорошо одетого, свободного человека. Потом он отошел немного, к недоступному мне окну, и я увидел его руку, державшуюся за раму, с длинными, продолговатыми пальцами, по которой безошибочно вы узнаете горбуна, хотя горб его был уже мне не виден. Рука отражала присутствие горба. Рука, позади которой горб, тоже необычайна.

7 июня 1971.

Зверское, притерпевшееся ко всему добродушие дежурного надзирателя в большой пересыльной тюрьме.

Стеклянная шаткость, прозрачная звукопись стен.
Какая воля у Господа — все это держать в уме!

На самом дне — грусть. Но чуть она тронута жалостью, любовью наконец,— смех. Рябь смеха на ровном зеркале грусти.

В уборной пересыльной тюрьмы на Потьме, куда водят поочередно мужчин и женщин и где между ними идет оживленная переписка на стенах, стираемая и поновляемая, в глаза мне бросилась надпись:

«Сергей, я люблю тебя. Марина.

г. Таруса».

И вдруг ясно представилось, что это Маринца Цветаева проехала здесь недавно этапом. Уж очень имена совпадают: Марина, Сергей и Таруса....

8 июня 1971.

Солдат в своем доме, держащийся за старый мундир. Вот здесь у него, в проношенном кармане,—собственный платок, табачок.

9 июня 1971.

Какой самый драгоценный, самый волнующий запах вас ожидает в доме, куда вы вернетесь через десять, может быть, лет? Вы думаете — запах роз? Нет — тление книг.

Выйдя из тюрьмы, как будто посмертно являешься на этот свет. Не то, чтобы второе рождение, потому что ты старый и слабый, но многое утекло, и странно нам созерцать, что время продолжает идти помаленьку, как ни в чем не бывало, равнодушно к нашему отсутствию в нем, и эта невозмутимость действительности, которая крутит свою шарманку, невзирая на все разлуки, потери и возвращения в ее веселый поток, я думаю, пуще всего и возмущает и подавляет вернувшихся. Ощущение посмертного, вторичного существования вырастает из нашей непричастности к жизни, из отдаленного еще взгляда, которым ее мы окидываем уже вблизи. Перестаешь чувствовать и тело свое и душу. Остается голая точка зрения, то есть свое пребывание в мире чувствуешь как присутствие призрака. Отсюда неумение и нежелание (тоже достаточно вялое) действовать наравне с этой суголокой: покупать бутерброды, распивать бутылку пива — все это не главное, не обязательное в то время, когда существует лишь функция присутствия при сем. Виновата не жизнь, виновата наша апатия жить уже после того, как нас однажды похоронили. Возможно поэтому нередко бывает, что вернувшиеся, возвращенные к жизни довольно скоро умирают. Им бы жить и жить (о чем они так мечтали, находясь в нетях, и только поэтому жили), а они охладели, расхотели жить. Просто у них не хватило решимости, жадности — войти. И призрачная точка зрения в них победила.

9 июня 1971.

Главное — не какое-то особое внутреннее «самоощущение», не ум и не воля. Но чувство, я бы сказал, своей руки и ноги. Понять, что ты в теле. Кто ты-такой?

— Давай я тебе расскажу, как земля образовалась.

(Егор)

Вещи, если они хотят, чтобы у них была душа, должны быть древними. Здесь исход всем стилизациям. И право на новую вещь. Какая только и смеет быть новой — оттого, что через века и века, доживя, окажется старой вещью.

Какое вдруг обнаруживается соответствие человеку в его пальто на вешалке. В оставшихся от человека ботинках. Вещи, я уверен, перенимают наше лицо.

Модные локоны до плеч у рыщущего в чемодане юнца. Теперь я понял: и жабо, и римские тоги, и, если угодно, египетские парики, прельщающие тысячелетним изяществом, экзотикой, новизной, сладостной новизной старины, всепрощающей, не делающей различия между Брутом и Цезарем, гвельфами и гибеллинами, таими, милыми вместе, без разницы кого убивают, — лишь форма, ничтожная форма, и дело совершенно в другом...

8 июня 1971.

Еще получается так, что ты голый перед людьми, и эта нагота стоит у тебя комком в горле.

Все-таки это где-то уже на краю мира — где нищему милостыню подадут с оглядкой.

У живых должок перед мертвыми. У попавших в рай — муки и корчи за тех, кто не так уже и страдает в аду.

— Я за вас, А.Д., две свечки поставил — по шестьдесят копеек.

Странное чувство заброшенности этих огней и машин, этих реклам, ресторанов, магазинов, костюмов. Провинция, периферия. Центр исчез (куда подевался центр?). Только растущая жалость к этой провинциальной потерянности. Бедные дети, бедные милые дети! Невеселые забавы у вас. Бедность дворцов и театров. И глядя на эту шубу из норки, над которой так трясется хозяйка, — но первобытные шкуры, мадам, были богаче, громаднее, уверяю вас, и все

же бесследно растаяли. Сгнили те шкуры, кареты. Куда вы с автомобилем? Смешно.

— Время тикает!
(Егор)

Время здесь медленнее. Явно медленнее. И пока я сижу в кресле и длятся часы, я знаю, как там, с какой скоростью, с пустой быстротой проносится время — и все еще на той скорости сижу здесь и длю часы. Вот это переключение скоростей, может быть, самое сложное.

9 июня 1971

Что переменялось? Небо и запретка. Небо и яблоня. И воробьи стучат клювиками по крыше.

В сущности, мое «я» меня несколько не занимает. Так, подопытный кролик. Уловить в крови, в голове бродящие идеи, законы.

Все-таки я жил там не собой. И вот это внезапное переключение на себя озадачивает: а ты откуда взялся? и что нам с тобою делать?

Вообще приятная комната. Мухи ползают по потолку вниз головой. Мне все равно, кем быть в жизни. Понимаете — все равно! Я — дух...

Но если ты не умираешь, значит, ты что-то должен...

Все-таки шесть лет — это хорошо. Это имеет вес.

Все-таки *там* понимаешь, что все кончается. Обитель смерти все-таки. И я там побывал. Краешком, но побывал. А людям — скучно с покойниками.

Но как мне совсем, оказалось, не нужны люди. Сидеть в тени, в тишине — уже довольно.

Теряюсь между розой и чайником. Между слухом и осязанием. Как будто дали в охапку всё сразу, и я стою,

прижимая всё и ничем не владея, и не знаю, куда положить и что взять. Какой-нибудь бедняк, на которого свалилось наследство, я уверен, ничего не берет. Он сидит во дворце, в главном зале, и безмолвствует в рассеянности.

В детстве было такое сладостное звучание: «сырковая масса». Папа иногда приносил.

Господи, на эту колбасу я смотрю как на что-то нереальное. И поэтому я равнодушен, я грустен по отношению к колбасе.

Когда поешь, понимаешь, что еда — это бренность. И когда попьешь — тоже бренность. И что такое вода? Подумаешь — попить, пожевать... Но нужно сначала — поесть, испить водицы. И сытый: какая бренность!

Им не понять. Вечная благодарность лагерника — за белый хлеб.

И еще большое спасибо: чувство закрытой спины.

Как много значит в жизни — настольная лампа. Не та, под потолком, голопузая, бесстыдная и безжалостная, что в каждом бараке висит и никому не светит. Но эта, на столе, озаряющая угол стола, чашку, скатерть, страницу книги. В осиянии мрака — нисхождение света.

Книги почему-то я всегда воспринимаю в единственном числе. Говорю: «Сочинения Гоголя» и мысленно вижу те самые сочинения, в том же переплете и составе томов, что стоят у меня на полке. Невозможно представить, что точно таких «сочинений Гоголя» тысячи, миллионы, и у каждого точно такое же. Даже допуская умом какие-то (редкие) дубликаты, обнаруживаешь — не то, пятнышко другое, иная сохранность, ворс, запах, все по-другому. Поэтому не книгопечатание, но скорее — создание книги, не печать, но — музей, не размножение, но — появление на свет. А то, что их много, — мне нет никакого дела. У меня-то — одна такая. И у каждого есть только одна книга.

Хорошее слово: «изготовление». Не написание, не творчество, не сочинительство, не литературный труд, нет — изготовление... Очень точно!

(Из приговора)

Интересно: если бы меня лишили права писать, в прямом, вещественном смысле лишили — ни слова, ни буквы, — что бы я делал?..

Я напоминаю себе героя Л. Андреева из «Красного Смеха», вернувшегося с войны. Пишет и пишет сухим пером по бумаге, не оставляя следа, — сумасшедший. И книгу его составляет пачка чистых листов.

Об этом листе бумаги я мечтал, как о поле, о лесе — утонуть, захлебнуться. Разбежаться. И донести — нет, не до конца страницы, не до середины, а где-нибудь сбоку, в уголке — несколько беглых строк...

Бумага нужна затем, чтобы в ее белизне забываться. Когда пишешь — ныряешь в страницу и выныриваешь с какой-нибудь мыслью, с каким-нибудь словом. Чистая бумага располагает к погружению — в глубь бесхитростного пространства листа. Писатель — немножко рыбак. Сидит и удит. Ничего не понимая, не думая — положите мне чистый лист, и я из него непременно что-нибудь выужу.

Но поэтому опасен сюжет. Сюжет обязывает. Повинуешься уже не бумаге, но ходу пьесы. В сюжете есть что-то фальшивое. Зато какая свобода и непосредственность — в очерке, в каких-нибудь «заметках», «записках» с того или с этого света. Очерк — просто очерчиваешь и размазываешь по бумаге. Очерк — озеро, клякса на пустом месте.

Пространство всегда спохватывается: я здесь, и здесь, и вон там! Пространство всегда оказывается где-то за вашим затылком. Не впереди — позади. В обхват.

Ты оставляешь ее, бросаешь (почти подбрасываешь) и говоришь небрежно — закончил, слушаешь критику, один говорит — исправить эту, другой — другую фразу, главу, страницу, но тебе уже все равно. Она — живет. Она родилась и живет уже помимо тебя, не спрашиваясь, со всеми недо-

статками, оставленная — каково ей будет, когда ты уйдешь, умрешь, никто не поможет, не скажет и полслова, не исправит неисправную фразу, и та, зияя немощностью своей и твоей, так и будет стоять, уничтожаясь, как ты поставил, — ничтожная, посреди десятилетий, отвергнутая, бездомная, едва ли в трех экземплярах, и как это может быть, что она одна, без тебя, останется и постепенно начнет наверстывать, воспользуется не твоими стараниями, но больше промахами и пропусками, расправив крылья в могиле, тебя забывая, отбрасывая (зачем ты нужен?), стоустая, и примется жить судьбою и участью книги.

А они идут, идут сейчас. И пока я здесь живу, пока мы все живем — они будут идти и идти...

9 июня 1971.

СОДЕРЖАНИЕ

СИНЯВСКИЙ И ТЕРЦ	3
ЛЮБИМОВ	13
РАССКАЗЫ	113
В цирке	114
Ты и я	126
Квартиранты	144
Графоманы (Из рассказов о моей жизни)	154
Гололедица	179
Пхенц	233
Суд идет	251
МЫСЛИ ВРАСПЛОХ	313
ПРОГУЛКИ С ПУШКИНЫМ	339
ГОЛОС ИЗ ХОРА	437

АБРАМ ТЕРЦ
(Андрей Донатович Синявский)

Собрание сочинений
в двух томах

Том I

Редактор Н.С. Кочарова
Художественный редактор И.В. Хачатурова
Технический редактор В.А. Барышников
Корректор Г.С. Бережнова

Сдано в набор 28.05.92 г. Подписано в печать 19.08.92 г.
Формат 84 × 108/32. Гарнитура "Таймс". Бумага офсетная
Усл. печ. л. 35.28. Уч.-изд. л. 42.33. Тираж 50 000 экз.
Заказ № 422. Цена С (№ 10)

СПТО "Старт", 123242, Москва, Дружинниковская, 15
Издание подготовлено к печати КТПО "Экран"

Отпечатано в МПО "Первая Образцовая типография"
113054, Москва, ул. Валовая, 28